

Kryn

2

Family

Kryn Family

Күүт
Тамсун

Кнута Тамсунт

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ

Редколлегия:

М. КЛИМОВА

А. СЕРГЕЕВ

Ю. ЯХНИНА



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1991

Книга Тамсун

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ВТОРОЙ

ВИКТОРИЯ
ПОД ОСЕННЕЙ ЗВЕЗДОЙ
БЕНОНИ
РОЗА
Романы
Перевод с норвежского



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1991

ББК 84.4Нр
Г 18

KNUT HAMSON
1859—1952

Составление
Ю. Яхниной

Комментарии
А. Сергеева

Оформление художника
А. Лепятского

В книге использованы репродукции
с картин норвежских художников Э. Мунка и Т. Киттельсена.

Г 4703010100-345 Подписное
028(01)-91

ISBN 5-280-01701-9 (Т. 2)
ISBN 5-280-01700-0

- © Составление. Яхнина Ю. Я. 1991 г.
- © Комментарии. Сергеев А. В. 1991 г.
- © Перевод. Фридлянд С. Л. 1991 г.
- © Перевод. Суриц Е. А. 1991 г.

Викториа

РОМАН

Перевод
Ю. Яхниной

VICTORIA

1898



I

Сын мельника шел и думал. Это был широкоплечий подросток лет четырнадцати, загоревший на солнце и на ветру и великий мастер придумывать всякую всячину.

Когда он вырастет, он будет делать спички. Вот это ремесло, опасное не на шутку: перепачкаешь пальцы серой, и ни один смельчак не решится протянуть тебе руку. Да и приятели станут уважать за то, что ты искусен в таком страшном деле.

В лесу он наведаясь к своим птицам. Все они были его старыми друзьями, он знал, где они вьют гнезда, понимал их язык и отвечал им на разные голоса. Частенько он кормил их хлебными шариками из муки, смолотой на мельнице его отца.

Деревья, что росли вдоль тропинки, тоже были его старыми знакомцами. Весной он собирал древесный сок, а зимой по-отечески заботился о них и стряхивал снег с ветвей, чтобы они не гнулись. Даже на самом верху, в заброшенной каменоломне, не было камня, с которым он не был бы накоротке: он высекал на них буквы, а потом расставлял камни: тот, что в середине,— пастор, а вокруг — прихожане. Да и вообще каких только чудес не видела старая каменоломня.

Он свернул в сторону и спустился к плотине. Крутилось мельничное колесо, стоял невообразимый грохот. Но он привык бродить здесь, разговаривая вслух с самим собой. Казалось, каждая жемчужинка пены живет своей особой жизнью и может кое о чем порассказать, а от запруды река падала вниз совершенно отвесно, будто это развесили для просушки нити блестящей пряжи. Пониже плотины в реке водилась рыба; он не раз закидывал там свою удочку.

Когда он вырастет, он станет водолазом. Водолазом, и никем другим. С палубы корабля он спустится в морскую пучину и окажется в неведомой стране, где волны колышут диковинные леса, а на самом дне высится дворец из коралла. Принцесса поманит его из окна и скажет: «Войдите!»

И тут он услышал, что кто-то его зовет. Это отец кричал ему: «Юханнес!»

— За тобой присылали из Замка. Надо отвезти молодых господ на остров!

Юханнес быстро зашагал к Замку. На долю мельника сына выпала неожиданная великая милость.

Господская усадьба и в самом деле была похожа на маленький замок, на одинокий сказочный дворец среди зелени. Полукруглые окна шли по стенам и скатам крыши деревянного дома, выкрашенного белой краской, а когда к хозяевам приезжали гости, на круглой башенке развеялся флаг. Усадьбу в народе прозвали Замком. По одну сторону от нее тянулся залив, по другую густые леса, а далеко-далеко виднелись маленькие крестьянские хутора.

Юханнес встретил молодых господ на молу и помог им разместиться в лодке. Он знал их давно—это были дети владельца Замка и их друзья из города. Все они надели высокие болотные сапоги, и когда причалили к острову, только Викторию, обутую в маленькие туфельки—ей и минуло-то всего десять лет,—надо было перенести на руках.

— Можно я тебя перенесу?—спросил Юханнес.

— Я сам перенесу,—заявил Отто, молодой человек из города, которому уже пора было конфирмоваться. Он взял Викторию на руки.

Юханнес смотрел, как Отто перенес ее на пригорок подальше от берега, и слышал, как она сказала: «Спасибо». Потом Отто приказал:

— А ты, как тебя там зовут, присмотришь за лодкой.

— Его зовут Юханнес,—объяснила Виктория.— Правда, пусть он присмотрит за лодкой.

Юханнес остался один. А молодые господа, взяв корзинки, пошли в глубь острова собирать птичьи яйца. Юханнес постоял в размышлении, ему очень хотелось пойти вместе со всеми, ведь лодку можно попросту втащить на берег. Думаете, тяжело? Ничуть не бывало.

Юханнес изо всех сил толкнул лодку, и нос ее оказался на берегу.

Он слышал, как молодые господа, смеясь и болтая, уходят все дальше. Ну и ладно, счастливого пути. А все-таки могли бы взять его с собой. Он показал бы им гнезда — таинственные впадины, спрятанные в горах, где живут хищные птицы с пушком на клюве. Однажды Юханнес даже повстречал там горностаю.

Юханнес столкнул лодку на воду и стал грести вокруг острова. Он отплыл уже довольно далеко, когда услышал окрик:

— Греби обратно! Ты распугиваешь птиц.

— Я хотел показать вам нору горностаю, — объяснил Юханнес, и в голосе его прозвучал вопрос. — А то, хотите, выкурим из гнезда змею? — предложил он немного погодя. — У меня с собой спички.

Но никто не отозвался. Юханнес повернул и стал грести обратно, к тому месту, где они причалили. Там он втащил лодку на берег.

Когда он вырастет, он купит у султана остров и никого к нему не подпустит. Корабль с пушками на борту будет охранять его владения. «Государь», — доложат ему рабы, — какое-то судно наскочило на риф, там молодые люди, они погибнут». — «Пусть гибнут», — ответит он. «Государь, они молят о помощи, мы еще можем их спасти, среди них молодая женщина в белом платье». — «Спасите их!» — прикажет он громовым голосом. И вот после многих лет разлуки он вновь видит детей владельца Замка, а Виктория бросается к его ногам и благодарит за спасение. «Не стоит благодарности, я только выполнил свой долг», — отвечает он. — «Гуляйте же свободно по моим владениям». И он гостеприимно распахнет двери своего замка для молодых господ и прикажет подать угощение на золотых блюдах, и триста темнокожих рабынь будут всю ночь танцевать и петь для них. Потом молодые господа соберутся уезжать, но Виктория не захочет ехать с ними, она, рыдая, падет перед ним ниц — ведь она любит его. «Позвольте мне остаться, государь, не гоните меня, пусть я стану одной из ваших рабынь...»

Замирая от волнения, Юханнес быстро зашагал в глубь острова. Решено, он спасет детей хозяина Замка. Как знать — а вдруг они заблудились? Вдруг Виктория провалилась в расселину между камнями и не может оттуда выбраться? Юханнесу стоит только протянуть руку, и он ее спасет.

Но молодые господа посмотрели на Юханнеса с удивлением. Как же это он бросил лодку?

— Ты отвечаешь мне за лодку,— заявил Отто.

— Хотите, я покажу вам малинник?— предложил Юханнес.

Пауза. Только Виктория спросила:

— Малинник? А где он?

Но молодой горожанин быстро нашелся и заявил:

— Сейчас нам некогда.

Юханнес сказал:

— И еще я знаю, где можно набрать ракушек.

Снова пауза.

— А жемчужины в них есть?— спросил Отто.

— Ой, а вдруг и вправду там жемчужины!— воскликнула Виктория.

Нет, за это Юханнес поручиться не мог, а вот ракушки лежат на белом песчаном дне далеко от берега; надо отплыть на лодке и потом нырнуть.

Но эту затею подняли на смех, Отто фыркнул:

— Тоже водолаз нашелся, нечего сказать!

Юханнес тяжело перевел дух.

— Хотите, я заберусь вон на ту скалу и сброшу вниз громадный валун?— предложил он.

— Зачем?

— Просто так. А вы будете смотреть.

Но и эта затея не пришлась по вкусу молодым господам, и пристыженный Юханнес замолчал. Потом он пошел искать птичьи яйца в стороне от всех, на другом конце острова.

Когда вся компания снова собралась у лодки, оказалось, что Юханнес набрал гораздо больше яиц, чем все остальные. Он бережно нес их в шапке.

— Как это ты ухитрился набрать столько яиц?— спросил горожанин Отто.

— Да я же знаю, где птичьи гнезда,— радостно объяснил Юханнес.— Я положу эти яйца вместе с твоими, Виктория.

— Не смей!— крикнул Отто.— С какой это стати?

Все уставились на Отто.

— Кто может поручиться, что шапка чистая?

Юханнес ничего не сказал в ответ. Но радость его померкла. Он повернулся и побрел назад, к скалам, унося яйца в шапке.

— Что это с ним? Куда он?— нетерпеливо спросил Отто.

— Куда ты, Юханнес? — крикнула Виктория и побежала за ним вдогонку.

Он остановился и тихо ответил:

— Положу яйца обратно в гнезда.

Они постояли, глядя друг на друга.

— А после обеда я пойду в каменоломню, — сказал он.

Она промолчала.

— Хочешь, я покажу тебе пещеру?

— Ой, боюсь, — испугалась она. — Ты и сам говорил, что там очень темно.

Тогда, несмотря на все свое горе, Юханнес улыбнулся и храбро сказал:

— Ничего, ведь с тобой буду я.

В старой каменоломне Юханнес любил играть с малолетства.

С дороги было слышно, как он что-то мастерит наверху и разговаривает вслух сам с собой; иногда он воображал, будто он священник, и читал проповеди.

Каменоломня была давно заброшена, камни поросли мхом, и уже не видно было тех мест, где когда-то сверлили буром и закладывали взрывчатку. Зато в самой глубине была таинственная пещера, которую сын мельника расчистил от камней и искусно разукрасил, — здесь жила самая храбрая в мире шайка разбойников, и он был ее главарем.

Вот он звонит в серебряный колокольчик. Вбегает крошечный человечек, карлик, в шапочке с бриллиантовой пряжкой. Это прислужник. Он кланяется до самой земли. «Когда придет принцесса Виктория, введите ее сюда», — громко приказывает Юханнес. Карлик снова кланяется до земли и исчезает. Развалясь на мягком диване, Юханнес предается раздумью. Он усадит гостью на почетное место и прикажет подать ей изысканные яства на серебряных и золотых блюдах; освещать пещеру будет пылающий костер, а в глубине за тяжелым пологом из золотой парчи ей приготовят ложе, и двенадцать рыцарей будут охранять ее покой...

Юханнес вскочил, на четвереньках выбрался из пещеры и прислушался. Внизу на тропинке шуршали листья.

— Виктория! — окликает он.

— Я! — раздается в ответ.

Он спускается ей навстречу.

— Ой, мне страшно! — говорит она.

Он пожимает плечами и отвечает:

— Да ведь я только что там был. Я прямо оттуда.

Они входят в пещеру. Движением руки он приглашает ее сесть на камень и говорит:

— Вот на этом самом камне сидел великан.

— Тс-с, молчи, не рассказывай дальше! А ты испугался?

— Нет.

— Но ты говорил, что у него только один глаз, а один глаз бывает у троллей.

Юханнес задумывается.

— У него было два глаза, но на один он ничего не видит, это он сам мне сказал.

— А еще он что сказал? Нет, не надо, не рассказывай!

— Он спросил, не соглашусь ли я поступить к нему на службу.

— Боже сохрани! Ты, конечно, не согласился?

— Не то чтобы согласился, но и не отказался наотрез.

— Ты с ума сошел! Неужели ты хочешь, чтобы тебя заточили в пещеру?

— Сам не знаю. На земле тоже ничего хорошего нет.

Пауза.

— С тех пор как приехали эти гости из города, ты только с ними и водишься,—говорит он.

Пауза.

Юханнес продолжает свое:

— А ведь я сильнее их всех, я в два счета перенес бы тебя на берег. И вообще, я могу продержать тебя на руках целый час. Смотри!

Он взял ее на руки и поднял. Она обхватила его за шею.

— Ты устал, отпусти.

Он поставил ее на землю.

— Но ведь Отто тоже сильный. Он даже дрался со взрослыми,—говорит она.

Юханнес переспрашивает с сомнением:

— Со взрослыми?

— Да. В городе.

Пауза. Юханнес размышляет.

— Ну раз так, говорить не о чем,—решает он.— Я знаю, что мне теперь делать.

— Что же?

— Наймусь в услужение к великану.

— Ой! Ты с ума сошел! — вскрикивает Виктория.

— А что тут такого! Мне теперь все равно. Пойду и наймусь.

Виктория обдумывает, как выйти из положения.

— А может, он вообще больше не придет?

— Придет,— отвечает Юханнес.

— Сюда? — быстро спрашивает она.

— Сюда.

Виктория вскакивает и пробирается к выходу.

— Лучше уйдем отсюда!

— Спешить некуда! — говорит Юханнес, хотя он и сам побледнел. — Великан придет не раньше ночи. Ровно в полночь.

Виктория успокоилась и готова занять прежнее место на камне. Но Юханнесу уже нелегко совладать с чудовищем, которое он сам вызвал, — в пещере оставаться опасно.

— Если хочешь, давай уйдем, — предлагает он. — Там наверху есть камень, а на нем твое имя. Я тебе его покажу.

Они на четвереньках выбирают из пещеры и находят камень. Виктория горда и счастлива. А растроганный Юханнес со слезами на глазах говорит:

— Когда меня здесь не будет, ты посмотришь на этот камень и вспомнишь обо мне. Помянешь меня добрым словом.

— Обязательно, — обещает Виктория. — Но ведь ты вернешься?

— Как знать. Может, и не вернусь.

Они идут по дороге к дому. Юханнес чуть не плачет.

— Ну что же, прощай! — говорит Виктория.

— Пожалуй, я провожу тебя еще немного.

Как бессердечно и поспешно она попрощалась с ним, — Юханнес обижен, его самолюбие задето. Он круто останавливается и говорит, не скрывая праведного гнева:

— Одно я скажу тебе, Виктория. Никто никогда не будет так хорошо относиться к тебе, как я. Никто.

— Отто тоже ко мне хорошо относится, — возражает она.

— Вот как! Ну и водись с ним на здоровье, — отвечает он.

Они молча проходят несколько шагов.

— А обо мне не беспокойся. Я буду жить припеваючи. Ты еще не знаешь, что мне обещано в награду.

— Не знаю. А что тебе обещано?

- Полцарства. Это раз.
- Да ну! Неужели полцарства!
- И принцесса в придачу.
- Виктория остановилась.
- Скажи, ведь это неправда?
- Так обещал великан.

Пауза.

— Интересно, какая она из себя? — тихонько говорит Виктория.

— Боже мой, да она прекрасней всех на свете. Кто этого не знает.

Виктория побеждена.

— А ты хочешь жениться на принцессе? — спрашивает она.

— Конечно, — отвечает он. — Почему бы нет? — Но, видя, что Виктория не на шутку огорчилась, добавляет: — Впрочем, может статься, я разок-другой загляну на землю. Приеду как-нибудь в гости.

— Только не бери ее с собой, не надо, — просит Виктория. — На что она тебе здесь?

— Пожалуй, я приеду один.

— Обещай мне это, ладно?

— Хорошо, обещаю. Но не все ли тебе равно? Ясное дело, тебе совершенно все равно.

— Зачем ты так говоришь? — возражает Виктория. — Уж наверное она любит тебя меньше, чем я.

Сердце сладко замирает у него в груди. Он счастлив и так смущен ее словами, что готов сквозь землю провалиться. Он не смеет взглянуть на нее и отводит глаза. А потом подбирает с земли прутик и, содрав с него кору, похлестывает себя им по руке. Наконец в полном смятении начинает насвистывать.

— Пожалуй, мне пора домой, — говорит он.

— До свиданья, — отвечает она и протягивает ему руку.

II

Сын мельника уехал в город. Он долго не возвращался домой, он ходил в школу, изучал разные науки, вырос, стал большим и сильным, и верхняя губа у него покрылась пушком. До города было далеко, поездка в оба конца стоила дорого; бережливый мельник много лет подряд держал сына в городе зимой и летом. И Юханнес целыми днями сидел над книгами.

И вот он стал взрослым, ему исполнилось восемнадцать, потом двадцать лет.

Однажды весенним днем он сошел с парохода на берег. Над Замком развевался флаг в честь хозяйского сына. Дитлеф приехал домой на каникулы тем же пароходом, за ним на пристань прислали коляску. Юханнес поклонился владельцу Замка, его жене и Виктории. Как выросла и повзрослела Виктория! Она не ответила на его поклон.

Он еще раз снял шапку и услышал, как она спросила брата:

— Кто это поздоровался с нами, Дитлеф?

— Да это же Юханнес, сын мельника,— ответил брат.

Виктория снова посмотрела в его сторону, но Юханнесу было неловко здороваться еще раз. И коляска уехала.

А Юханнес зашагал домой.

Господи, до чего же маленький и смешной у них дом! Юханнес не мог пройти под притолокой, не согнувшись. Родители встретили его праздничным угощением. Он был взволнован до глубины души. Здесь все было полно дорогих и трогательных воспоминаний, добрые старики отец и мать по очереди протянули ему руку и поздравили с возвращением.

В тот же вечер Юханнес пошел бродить по окрестностям, осмотрел все вокруг, побывал на мельнице, в каменоломне и у запруды, где он когда-то удил рыбу. С грустью прислушивался он к знакомым голосам птиц, которые уже вили гнезда на деревьях, и даже сделал крюк, чтобы поглядеть на громадный муравейник в лесу. Муравьи исчезли, муравейник вымер. Юханнес поворошил кучу, но не нашел в ней следов жизни. Гуляя по лесу, он заметил, что лес, принадлежащий владельцу Замка, сильно поредел.

— Ну как, узнаешь родные места? — пошутил отец. — Нашел дроздов, своих старых знакомцев?

— Узнаю, но не все. Лес порублен.

— Лес не наш, а хозяйский,— ответил отец. — Не нам считать чужие деревья. Нужда в деньгах случается у всякого, а хозяину Замка денег нужно много.

Дни шли своей чередой, светлые, отрадные дни, сладкие часы наедине с милыми воспоминаниями детства — когда все зовет тебя вернуться к земле и чистому небу, на деревенский простор и в горы.

Юханнес шел по дороге к Замку. Утром его ужалила оса, и верхняя губа у него распухла; если ему встретится кто-нибудь из господ, он поклонится и тотчас пройдет мимо. Но он никого не встретил. В саду перед Замком он увидел даму и, поравнявшись с ней, низко поклонился, а потом пошел дальше. Это была хозяйка Замка. Проходя мимо Замка, Юханнес и сейчас еще чувствовал, что сердце у него бьется, как в былые дни. Большой дом с его бесчисленными окнами и суровый, надменный владелец Замка и поныне внушали ему почтение.

Юханнес свернул к пристани.

Тут он вдруг увидел Дитлефа с Викторией. Юханнеса взяла досада,—еще, чего доброго, подумают, что он нарочно старается попасться им на глаза. Вдобавок у него распухла губа. Он замедлил шаги в сомнении, идти ли ему дальше, и все-таки пошел. Еще издали он поклонился им и, пока они шли ему навстречу, держал шапку в руке. Оба молча кивнули в ответ и медленно прошли своей дорогой. Виктория посмотрела на него в упор; по ее лицу скользнула тень.

Юханнес продолжал свой путь к пристани, но им овладела тревога, даже походка выдавала его смятение. Подумать только, как выросла Виктория, совсем взрослая девушка, и как хороша! Ее брови почти сходятся на переносице и похожи на две изящные бархатные полоски. Глаза потемнели, стали темно-синими.

На обратном пути Юханнес свернул на тропинку, которая шла лесом далеко от Замка. Никто не сможет его попрекнуть, будто он преследует по пятам детей владельца Замка. Он поднялся на холм, облюбовал удобный камень и сел. Птицы пели исступленно и страстно, зазывали и манили друг друга, переносили прутьики в клювах. В воздухе стоял приторный запах чернозема, распускающихся почек и гниющего дерева.

Но нежданно-негаданно Юханнесу опять пришлось увидеть Викторию—она шла прямо к холму, где он сидел, с противоположной стороны.

Бессильная досада овладела Юханнесом—оказаться бы где-нибудь за тридевять земель; уж на этот раз она непременно подумает, что он ищет с ней встречи. Здороваться с ней снова или нет? Может, лучше сделать вид, будто он ее не заметил, тем более что у него распухла губа.

Но когда Виктория поравнялась с ним, он встал и снял шапку. Она улыбнулась, кивнула.

— Добрый вечер. С приездом,— сказала она.

Ему показалось, что губы ее снова чуть дрогнули, но она быстро овладела собой.

— Этому трудно поверить,— поспешил объяснить он,— но я не знал, что ты пошла в эту сторону.

— Конечно, вы не могли этого знать,— ответила она.— Мне вдруг взбрело в голову пойти этой тропинкой.

Ай-яй-яй! А он-то сказал ей «ты»!

— Вы надолго?— спросила она.

— До конца каникул.

Он с трудом подбирал слова, она оказалась вдруг совсем чужой. Зачем вообще она с ним заговорила?

— Дитлеф рассказывает, что у вас большие способности, Юханнес. Вы так хорошо учитесь. И еще он говорит, что вы пишете стихи. Это правда?

Он ответил коротко и нехотя:

— Что тут особенного. Стихи все пишут.

Наверное, сейчас она уйдет, потому что она замолчала.

— Такая досада, меня сегодня ужалила оса,— опять заговорил он, показав на свою губу.— Вот почему губа так распухла.

— Вы слишком долго не приезжали домой, здешние осы вас больше не узнают.

Его ужалила оса, а ей и горя мало. Что ж, понятно. Стоит себе, вертит на плече красный зонтик с золоченой ручкой, а до других ей дела нет. А ведь он не раз, бывало, таскал эту благородную гордую барышню на руках.

— Я и сам не узнаю здешних ос,— ответил он.— Хотя когда-то они были моими друзьями.

Но она не поняла глубокого смысла его слов и не ответила. А смысл-то ведь был ох какой глубокий.

— Я многого здесь не узнаю. Даже лес и тот повырублен.

Ее лицо затуманилось.

— Тогда, наверное, вам не захочется писать здесь стихи,— сказала она.— А вдруг вам вздумалось бы однажды посвятить стихотворение мне! Да нет, что я говорю! Видите, как мало я смыслю в этих вещах.

Задетый, он молча опустил глаза в землю. Она прикидывается любезной, а сама потешается над ним, роняет высокомерные слова и ждет, какое они произведут впечатление. И напрасно— все эти годы Юханнес не тратил времени зря и не только марал бумагу, он прочел больше книг, чем некоторые другие.

— Ну что ж, мы, верно, еще увидимся. До свидания. Он снял шапку и ушел, ничего не ответив.

Знала бы она, что ей одной, и никому другому, посвящал он свои стихотворения, все до единого, даже то, которое обращено к ночи, и то, которое о болотном огоньке. Но она никогда этого не узнает.

В воскресенье за Юханнесом явился Дитлеф звать его на остров. «Опять мне придется сидеть на веслах»,— подумал Юханнес, но согласился. Несмотря на воскресный день, гуляющих на пристани было немного. Стояла тишина, на небе ярко сияло солнце. Потом вдруг раздались звуки музыки, они доносились с моря, с далеких островов— это почтовый пароход, описывая большую дугу, подходил к пристани; на палубе играла музыка.

Юханнес отвязал лодку и сел на весла. В этот ослепительный день он был в каком-то приподнятом и умиленном настроении, а музыка, доносившаяся с парохода, ткала в воздухе узор из цветов и золотых колосьев.

Но почему мешкает Дитлеф? Он стоит на берегу и смотрит на пароход и на его пассажиров, словно кого-то ждет. «Нечего мне сидеть на веслах, сойду-ка я на берег»,— подумал Юханнес и стал поворачивать.

И тут перед его глазами мелькнуло что-то белое, он услышал всплеск. Отчаянный многоголосый крик раздался с парохода, а те, кто был на берегу, неотрывно глядели и показывали пальцами туда, где скрылось белое видение. Музыка смолкла.

Юханнес немедленно бросился на помощь. Он действовал, повинаясь только инстинкту, без раздумий, без колебаний. Он не слышал, как на палубе кричала мать: «Моя девочка, моя дочь!» Он никого не видел. Не теряя времени, он прыгнул с лодки в воду и нырнул.

Несколько мгновений его не было видно, только в том месте, где он исчез, по воде шли круги, и все понимали: он ищет. Вопли на пароходе не умолкали.

Вот он вынырнул снова, чуть подальше, в нескольких саженьях от того места, где стряслась беда. Ему кричали, тыкали пальцами: «Нет, там, сюда, сюда!»

Он снова скрылся под водой.

Снова мучительное ожидание, неумолкающий горестный вопль женщины, какой-то мужчина на палубе в отчаянии ломает руки. Скинув куртку и башмаки, в воду с палубы бросился еще один человек— штурман. Он тщательно обыскивал то место, где девочка пошла ко дну, и теперь все надеялись только на него.

Но тут над водой снова показалась голова Юханнеса, еще дальше, чем прежде, намного саженой дальше. Шапку Юханнес потерял, его голова лоснилась на солнце, точно голова тюленя. Видно было, что ему трудно, что-то мешает ему плыть, одна рука у него занята. А через мгновение он уже держал свою ношу в зубах — это была утопленница. На берегу и на палубе раздались возгласы изумления, должно быть, и штурман услышал эти крики, потому что, вынырнув из воды, огляделся вокруг.

Наконец Юханнес добрался до лодки, которую отнесло в сторону; он положил в нее девочку, а потом забрался и сам; все это заняло у него не больше минуты. С берега видели, как он склонился над девочкой, разорвал ей на спине платье, потом схватил весла и стал что есть силы грести к пароходу. Когда утопленницу втащили на палубу, на пароходе прогремело многократное ликующее «ура!».

— Как вам пришло в голову искать ее так далеко? — спросили Юханнеса.

Он ответил:

— Я знаю здешнее дно. Тут течение. Я помнил об этом.

Какой-то господин пробивается сквозь толпу пассажиров к самому борту, он бледен как смерть, судорожно улыбается, в глазах у него стоят слезы.

— Поднимитесь на палубу, пожалуйста! — кричит он. — Я хочу поблагодарить вас. Мы вам так обязаны. Только на минутку.

И бледный как смерть господин снова скрывается в толпе.

С парохода в лодку сбросили трап, и Юханнес поднялся на палубу.

Он пробыл там недолго, сообщил свое имя и адрес, какая-то женщина прижимала его, насквозь промокшего, к груди, бледный, растерянный мужчина совал ему в руку свои часы. Юханнес зашел в каюту, где двое хлопотали над спасенной, они сказали: «Она вот-вот придет в себя, сердце уже бьется».

Юханнес посмотрел на пострадавшую — белокурая девочка в коротком платьице, разорванном на спине. Кто-то нахлобучил на Юханнеса шапку, его проводили к лодке.

Он совершенно не помнил, как оказался на берегу, как вытащил из воды лодку. Он только слышал, как еще раз прокричали «ура», и, когда пароход двинулся дальше, на борту грянула веселая музыка.

Волны блаженства сладким холодком пробежали по его телу, он улыбался, беззвучно шевеля губами.

— Выходит, наша прогулка сегодня не состоится, — сказал Дитлеф. Вид у него был недовольный.

Появилась Виктория, она шагнула вперед и быстро сказала:

— Ты сошел с ума, ему надо идти домой и переодеться.

— Экая важность — в девятнадцать-то лет!

Юханнес зашагал домой. В его ушах еще звенела музыка и крики «ура», возбуждение подгоняло его. Миновав свой дом, он прошел лесом к старой каменоломне. Тут он облюбовал себе местечко на самом припеке. От его одежды шел пар. Он сел. Но блаженная, необузданная тревога не дала ему усидеть на месте. Счастье переполняло его. Упав на колени, он в горячих слезах возблагодарил Бога за этот день. Виктория стояла на берегу, она слышала крики «ура!». «Ступайте домой и переоденьтесь в сухое», — сказала она.

Он сел, снова и снова смеясь ликующим смехом. Она видела, как он совершил этот поступок, этот подвиг, она с гордостью следила за ним, когда он спасал тонувшую.

Виктория, Виктория! Знаешь ли ты, как безраздельно я принадлежу тебе каждую минуту своей жизни! Я готов быть твоим слугой, твоим рабом, сметать все препятствия на твоем пути. Я готов целовать твои крошечные туфельки, впрячься в твою карету, а в морозные дни подбрасывать поленья в твою печь. Золотые поленья в твою печь, Виктория!

Он оглянулся. Никто его не слышит. Он наедине с собой. В руке он держал дорогие часы — они тикали, они шли.

Благодарю, благодарю тебя, Боже, за этот день! Он провел рукой по мшистым камням, по валежнику. Виктория не улыбнулась ему, нет, это не в ее обычае. Она просто стояла на пристани, и легкий румянец проступил на ее щеках. Может, если бы он подарил ей часы, она согласилась бы их принять.

Солнце садилось, жара спадала. Он только теперь почувствовал, что вымок, и, легче перышка, помчался домой.

В Замок съехались гости, знакомые из города, там были танцы и веселье. И целую неделю на круглой башне днем и ночью развевался флаг.

Пора было убирать сено, но на лошадях катались веселые гости, и сено осталось в поле. А кое-где косить

даже и не начинали, батракам пришлось стать кучерами и гребцами, и трава засыхала на корню.

А в желтой гостиной, не умолкая, играла музыка...

В такие дни старый мельник останавливал мельницу и запирали свой дом. Он был научен горьким опытом: городские гости уже не раз, бывало, являлись к нему веселой гурьбой и портили забавы ради мешки с зерном. Ночи стояли теплые и светлые,— как тут удержаться от проделок. Когда богач-камергер был молод, он однажды явился на мельницу, в руках у него была лохань, а в ней муравьиная куча, он взял да и сбросил ее на жернова. Сам камергер уже давно состарился, но Отто, его сын, по-прежнему наезжает в гости к хозяевам Замка, а он горазд на всякие выдумки. Чего только о нем не рассказывают.

Вот из лесу донеслись крики и стук копыт. Это молодые гости верхами на разгоряченных и потных лошадях. Всадники подскакали к дому мельника и застучали хлыстами в дверь. Притолока была совсем низкая, а им, поди ж ты, приспичило въехать в дом верхами.

— Здравствуйте! Здравствуйте! — загалдели они. — Мы приехали к вам в гости.

И мельник приниженно смеялся над их затеей.

Молодые люди спешили, привязали лошадей и пустили мельницу в ход.

— В ковше нет зерна! — закричал мельник. — Вы сломаete мельницу!

Но в грохочущем шуме жерновов никто не расслышал его голоса.

— Юханнес! — завопил мельник во всю силу своих легких.

С каменоломни спустился Юханнес.

— Они сотрут в порошок мои жернова! — крикнул мельник, указывая на гостей.

Юханнес медленным шагом направился к гостям. Он был страшно бледен, на его висках набухли жилы. Он узнал камергерского сына Отто, который носил теперь кадетскую форму; с ним было еще двое молодых людей. Один из них улыбнулся и поздоровался с Юханнесом — он не хотел ссориться.

Юханнес не стал кричать или грозить, но продолжал двигаться вперед. Он шел прямо на Отто. И тут он увидел двух всадниц, выехавших из леса, — одна из них была Виктория, в зеленой амазонке, на белой кобыле, принадлежащей хозяину Замка. Виктория не спешила,

но придержала лошадь и обвела всех вопросительным взглядом.

Юханнес круто повернул в сторону, поднялся на плотину и открыл затвор; грохот мало-помалу стих, мельница остановилась.

Отто крикнул:

— Эй, не трогай! Ты зачем ее остановил? Не трогай, говорят тебе.

— Это ты пустил мельницу? — спросила Виктория.

— Я, — смеясь, ответил Отто. — Почему она стоит?

— Потому что в ней пусто, — задыхаясь, ответил Юханнес. — Понятно? Пусто.

— В ней пусто. Слышишь? — повторила Виктория.

— Откуда мне было знать? — возразил Отто со смехом. — А позвольте тогда спросить: почему в ней пусто? Разве зерно не засыпано?

— Ладно! По коням! — перебил один из приятелей Отто, чтобы положить конец спору.

Они вскочили на коней. Перед тем как уехать, один из молодых людей извинился перед Юханнесом.

Виктория уезжала последней. Отъехав на несколько шагов, она повернула коня и возвратилась.

— Будьте так добры, извинитесь за нас перед вашим отцом, — попросила она.

— Кадет мог бы и сам извиниться, — ответил Юханнес.

— Ну да, вы правы, но все же... Он такой выдумщик... Я, кажется, давно не видела вас, Юханнес.

Он поднял на нее взгляд, не веря своим ушам, — уж не ослышался ли он? Неужели она забыла воскресенье — великий день его торжества?

Он ответил:

— Я видел вас в воскресенье на пристани.

— Ах, да, — сразу же отозвалась она. — Как хорошо, что вам удалось помочь штурману. Ведь девочку нашли?

Он ответил коротко, с обидой:

— Да. Девочку мы нашли.

— А может, — продолжала она, точно эта мысль только сейчас пришла ей в голову, — может, вы один... Впрочем, не все ли равно. Я надеюсь, вы передадите извинения вашему отцу. Спокойной ночи.

Она с улыбкой кивнула ему и, подобрав поводья, усакала.

Когда Виктория скрылась из виду, Юханнес, взволнованный и оскорбленный, тоже пошел в лес. И вдруг

увидел—у дерева стоит Виктория, совсем одна. Она рыдает, прижавшись к стволу.

— Может, она упала? Ушиблась?

Он подошел к ней и спросил:

— Что с вами?

Она шагнула к нему, протянула руки, глаза ее сияли. Но тут же она остановилась, руки ее повисли, она ответила:

— Ничего со мной не случилось, я пустила лошадь вперед и пошла пешком... Юханнес, не смотрите так на меня. Там, у плотины, вы стояли и смотрели на меня. Чего вы хотите?

— Чего я хочу? Не понимаю...— еле выговорил он.

— Какая у вас рука,— сказала она, положив свою руку на его запястье.— Какая у вас широкая рука вот здесь, в запястье. И как вы загорели—совсем смуглый.

Он рванулся, хотел взять ее за руку. Но она, подобрав подол платья, сказала:

— Нет, нет, со мной ничего не случилось. Я просто хотела пройтись. Спокойной ночи.

III

Юханнес снова уехал в город. И потекли дни и годы, долгое, напряженное время, заполненное трудом и мечтаниями, учением и строками стихов. Счастье ему улыбнулось, он написал стихотворение об Эсфири—«еврейской девушке, которая стала королевой персиян», и это произведение напечатали и даже заплатили гонорар. А другое стихотворение «Любовные странствия», написанное им от имени Мункена Вендта, принесло ему известность.

Что такое любовь? Это шелест ветра в розовых кустах, нет—это пламя, рдеющее в крови. Любовь—это адская музыка, и под звуки ее пускаются в пляс даже сердца стариков. Она, точно ночная фиалка, распускается с наступлением сумрака и, точно анемон, от легкого дуновения свертывает свои лепестки и умирает, если к ней прикоснешься.

Вот что такое любовь.

Она может погубить человека, возродить его к жизни и вновь выжечь на нем свое клеймо; сегодня она благосклонна ко мне, завтра к тебе, а послезавтра уже к другому, потому что она быстротечна. Но она может

наложить на тебя неизгладимую печать и пылать, не затухая, до твоего смертного часа, потому что она — навеки. Так что же такое любовь?

О, любовь — это летняя ночь со звездами и ароматом земли. Но почему же она побуждает юношу искать уединенных тропок и лишает покоя старика в его одинокой каморке? Ах, любовь, ты превращаешь человеческое сердце в цветущий сад и грязную свалку, в роскошный и бесстыдный сад, где свалены таинственные и мерзкие отбросы.

Не она ли заставляет монаха красться ночью в запертые ворота сада и через окно глядеть на спящих? Не она ли насылает безумие на послушницу и помрачает разум принцессы? Это она клонит голову короля до земли, так что волосы его метут дорожную пыль, и он бормочет непристойные слова, и смеется, и высовывает язык.

Вот какова любовь.

Но нет, она бывает еще совсем другая, и ее не сравнить ни с чем в мире. Весенняя ночь спустилась на землю, и юноша увидел перед собой очи — два ока. Он глядел в них — и не мог наглядеться. И поцеловал девичьи уста, и тогда ему показалось, будто в сердце его встретились два светильника: солнце и звезда. Девичьи руки обвили его, и больше он ничего в мире не видел и не слышал.

Любовь — это первое слово создателя, первая осиявшая его мысль. Когда он сказал: «Да будет свет!» — родилась любовь. Все, что он сотворил, было прекрасно, ни одно свое творение не хотел бы он вернуть в небытие. И любовь стала источником всего земного и владычицей всего земного, но на всем ее пути — цветы и кровь, цветы и кровь.

Сентябрьский день.

Эта глухая улочка — излюбленное место его прогулок. Юханнес бродит по ней взад и вперед, точно по своей комнате, потому что никогда не встречает прохожих, а по обе стороны улицы тянутся сады, где стоят деревья, одетые красной и желтой листвой.

Как могла Виктория очутиться на этой улице? Что привело ее сюда? Он не ошибся, это в самом деле она, и вчера вечером, когда он выглянул в окно, должно быть, это тоже была она.

Его сердце громко стучит. Он знал, что Виктория в городе, он слышал об этом. Но сын мельника не вхож

в тот круг, где она бывает. Да и с Дитлефом он тоже не водит знакомства.

Взяв себя в руки, он пошел навстречу даме. Узнала она его или нет? Величаво и задумчиво идет она своей дорогой, горделиво неся головку на стройной шее.

Он поклонился.

— Здравствуйте! — тихо ответила она.

Но она не выказала намерения остановиться, и он молча прошел мимо. Ноги у него подгибались. В конце короткой улицы он по привычке повернул обратно. «Я буду смотреть на тротуар и не подниму глаз», — подумал он. Только пройдя шагов десять, он поднял глаза.

Она остановилась у какой-то витрины.

Что ему делать — свернуть в ближайший переулок? Почему она здесь стоит? Это неказистая витрина бедной лавчонки, где громоздятся положенные крест-накрест куски красного мыла, какая-то крупа в банке да погашенные почтовые марки.

Пожалуй, он пройдет еще десяток шагов, а потом повернет обратно.

И вдруг она посмотрела на него и пошла навстречу. Она шла быстрыми шагами, точно разом набралась смелости, а заговорив, с трудом перевела дыхание. И улыбка ее была какая-то напряженная.

— Здравствуйте! Как забавно, что я вас встретила.

Господи, что делалось с его сердцем, оно не билось, оно дрожало. Он хотел что-то сказать, но не мог и только пошевелил губами. От ее одежды, от ее желтого платья, а может, от ее дыхания исходил едва уловимый аромат. В эту минуту он еще не успел рассмотреть ее лицо, только узнал нежную линию плеч и увидел длинную, узкую кисть на ручке зонтика. Это была ее правая рука. На пальце было кольцо.

В первые мгновения он этого не понял и не осознал беды. Просто рука ее была невыразимо прекрасна.

— Я уже целую неделю в городе, — продолжала она. — Но вас я не видела. То есть нет, видела однажды на улице, и кто-то мне сказал, что это вы. Вы так возмужали.

Он пробормотал:

— Я знал, что вы в городе. Вы долго пробудете здесь?

— Несколько дней. Нет, недолго. Мне надо возвращаться домой.

— Спасибо вам за то, что мне посчастливилось увидеть вас, — сказал он.

Пауза.

— Вообще-то я заблудилась,— сказала она наконец.— Я живу в семье камергера. Куда ведет эта улица?

— Если позволите, я провожу вас.

Они пошли вдвоем.

— А Отто сейчас дома?— спросил он первое, что пришло ему в голову.

— Дома,— коротко ответила она.

Из какой-то подворотни вышли несколько мужчин, они тащили пианино и загородили тротуар. Виктория отшатнулась влево, на миг прижавшись плечом к своему спутнику. Юханнес посмотрел на нее.

— Извините,— проговорила она.

От ее прикосновения по всему его телу разлилась блаженная истома, ее дыхание на мгновение коснулось его щеки.

— Я вижу, у вас кольцо,— сказал он и улыбнулся с равнодушным видом.— Вас можно поздравить?

Что она ответит? Он глядел на нее, он затаил дыхание.

— А вы?— спросила она.— Разве вы не обзавелись кольцом? Ах да, в самом деле... А кто-то говорил... Теперь о вас так много рассказывают и в газетах пишут.

— Я напечатал несколько стихотворений,— ответил он.— Но вы, наверное, их не читали.

— А разве это не была целая книжка? Мне казалось...

— Да, была еще и небольшая книжка.

Они вышли к какому-то скверу, и, хотя ее ждали в доме камергера, она не спешила, она села на скамью. Он остановился перед ней.

Вдруг она протянула ему руку и сказала:

— Сядьте тоже.

И только когда он сел, выпустила его руку.

«Теперь или никогда!»— подумал он. Он снова попытался заговорить насмешливым и равнодушным тоном, улыбнулся, поглядел в пространство. Ну же, смелее.

— Что ж это такое, вы обручены, а мне, своему старому соседу, об этом ни слова!

Она задумалась.

— Я не об этом хотела говорить с вами сегодня,— сказала она.

Сразу сделавшись серьезным, он тихо отозвался:

— Да я и так уже все понял.

Пауза.

Он продолжал:

— Я всегда знал, что как бы я ни старался... все равно, не я... Я всего лишь сын мельника, а вы... Ну да ничего не поделаешь. Я даже сам не понимаю, как у меня хватает смелости сидеть с вами рядом, да еще заводить такой разговор. Я бы должен стоять перед вами или, вернее, пасть перед вами на колени. Так было бы правильнее. А я сижу... Должно быть, годы, что я не жил дома, сделали свое. Я как-то осмелел. Я ведь знаю, что я уже не ребенок, знаю, что вы не можете бросить меня в тюрьму, даже если захотите. Вот почему я осмелел. Только не сердитесь на меня, уж лучше я помолчу.

— Нет, говорите. Скажите все, что хотели сказать.

— Можно? Все, что хотел? Но тогда и ваше кольцо не будет мне помехой.

— Да,— тихо сказала она.— Пусть оно не будет вам помехой.

— Правда? В самом деле? Благослови вас Бог, Виктория, неужели я не ослышался?— Он вскочил с места и наклонился, чтобы видеть ее лицо.— Разве кольцо ничего не значит?

— Сядьте.

Он снова сел.

— О, если бы вы знали, как неотступно я думал о вас все это время. Господи! Да разве хоть на одно мгновение в мое сердце закралась какая-нибудь другая мысль! Кого бы я ни встречал, с кем бы ни знакомился, вы оставались для меня единственной. И думал я все время только одно: Виктория всех лучше и всех прекрасней, и я знаком с ней! И при этом я думал всегда — *фрекен* Виктория. О, я прекрасно понимал, что я от вас дальше, чем кто бы то ни было, но я был знаком с вами — а для меня это вовсе не такая уж малость,— знал, где вы живете. А вдруг вы изредка вспоминаете обо мне? Конечно, вы обо мне не вспоминали, но часто по вечерам, сидя в своей комнате, я думал: а вдруг вспоминаете. И я был наверху блаженства и писал вам стихи, *фрекен* Виктория, на все свои деньги покупал вам цветы, приносил их домой и ставил в воду. Все мои стихи посвящены вам, кроме нескольких, но те не напечатаны. Но вы, наверное, не читали и тех, что напечатаны. Теперь я взялся за большую книгу. О господи, как я благодарен вам, ведь я так полон вами, в этом все мое счастье. Каждую минуту я слышал или видел что-нибудь, что напоминало мне о вас, и днем и ночью. Я написал ваше имя на потолке, я лежу и смотрю на него. Но девушка, которая у меня прибирает, его

не видит — я написал его маленькими буквами, только для себя. И в этом для меня особая радость.

Она отвернулась, вынула из-за корсажа листок бумаги.

— Посмотрите, — сказала она, прерывисто дыша. — Я вырезала их и спрятала. Зачем скрывать — я перечитываю их по вечерам. В первый раз мне показал их папа, и я подошла к окну, чтобы их прочесть. — Где же они? Никак не найду, — сказала я, разворачивая газету. Но на самом деле я их увидела сразу и успела прочитать. И я была так счастлива.

Листок бумаги пропитался ароматом ее кожи, она развернула листок и показала ему, это было одно из его первых стихотворений, четыре короткие строфы, обращенные к ней, наезднице на белом коне. Это было признание из глубины сердца, бесхитростное и взволнованное, порыв, который невозможно сдержать, каждая строчка источала его, как звезды — свет.

— Да, — проговорил он, — это написал я. Это было давно, стояла ночь, я писал стихи, а за моим окном громко шелестели тополя. Как, вы прячете их снова? Спасибо! Вы их спрятали снова. О! — прошептал он в смятении, и голос его был едва слышен. — Подумать только, вы сидите так близко от меня. Я касаюсь рукой вашей руки, от вас веет теплом. Часто, когда я думал о вас в одиночестве, я холодел от волнения. А сейчас мне тепло. Когда я в последний раз приезжал домой, вы были прекрасны, но сейчас вы еще прекраснее. Глаза, брови или улыбка — нет, не знаю, все вместе, просто вы сами.

Она улыбалась и смотрела на него из-под полуопущенных век, за длинными ресницами темнела глубокая синь. Щеки ее порозовели. Казалось, она вся лучится радостью, бессознательным движением руки она вторила его словам.

— Спасибо, — сказала она.

— Нет, не благодарите меня, Виктория, — ответил он. Вся его душа рвалась к ней, ему хотелось говорить еще и еще, это были какие-то сумбурные возгласы, он был как пьяный. — Но если я хоть немножко дорог вам, Виктория... Этого не может быть, но скажите, что дорог, даже если это неправда. Пожалуйста! О, тогда даю вам слово, я чего-нибудь добьюсь, добьюсь многого, почти недостижимого. Вы даже не представляете себе, чего я могу добиться. Иногда я чувствую в себе огромный запас нерастратченных сил. Часто они рвутся наружу, ночью

я встаю и расхаживаю взад и вперед по комнате, потому что видения обступают меня. За стеной в постели лежит сосед, я мешаю ему спать, он стучит мне в стенку. На рассвете он приходит ко мне и бранится. Но что мне за дело до него, ведь я так долго мечтал о вас, что мне начинает казаться, будто вы рядом со мной. Я подхожу к окну и пою, брезжит рассвет, шумят тополя. «Доброй ночи!» — говорю я утру. Но это я говорю вам. Теперь она спит, думаю я, доброй ночи. Благослови ее Бог! И сам ложусь спать. И так ночь за ночью. И все же я никогда не представлял, что вы так прекрасны. Теперь, когда вы уедете, я буду вспоминать вас такой, какая вы сейчас. Я буду так явственно видеть вас...

— А вы не приедете домой?

— Нет. Я еще не закончил работу. Что это я, приеду, конечно, приеду. Сию же минуту. Я еще не закончил работу, но я сделаю все, что вы захотите. А вы иногда гуляете возле Замка по саду? А вечерами выходите из дому? Тогда я мог бы посмотреть на вас, поздороваться с вами, о большем я не мечтаю. Но если я хоть немножко дорог вам, не противен вам, не гадок, скажите мне... Доставьте мне эту радость... Знаете, есть такая пальма, талипотовая пальма, она цветет один раз в жизни, а живет до семидесяти лет. Но цветет она раз в жизни. Вот и я теперь расцвел. Да, да, я добуду денег и поеду домой. Я продам все, что уже написал, я пишу сейчас большую книгу, вот ее я и продам, продам завтра же все, что уже написано. Мне заплатят довольно много денег. А вы хотите, чтобы я приехал домой?

— Да.

— Спасибо, спасибо вам! Простите меня, если я питаю слишком смелые надежды—это такое блаженство верить в несбыточное. Сегодня самый счастливый день в моей жизни...

Он снял шляпу и положил ее рядом с собой.

Виктория оглянулась, в конце улицы показалась какая-то дама, а чуть подалее—женщина с корзиной. Виктория встрепенулась, посмотрела на свои часы.

— Вам пора?—спросил он.— Скажите мне что-нибудь, прежде чем уйдете, дайте мне услышать... Я люблю вас, вот я сказал вам это. От вашего ответа зависит... Я весь в вашей власти... Ответьте же мне!

Пауза.

Он поник головой.

— Нет, не говорите,— попросил он.

— Не здесь,— сказала она.— Я отвечу вам там, у дома.

Они пошли по улице.

— Говорят, что вы женитесь на этой девочке, на девушке, которую вы спасли. Как ее зовут?

— Вы имеете в виду Камиллу?

— Да, Камиллу Сейер. Говорят, что вы женитесь на ней.

— Ах, вот как. Почему вы спросили об этом? Ведь она еще ребенок. Я бывал у них в доме, это большой и богатый дом, настоящий замок, вроде вашего. Я бывал там не раз. Но она еще ребенок.

— Ей пятнадцать лет. Я ее видела, встречалась с ней у знакомых. Она очень понравилась мне. Она прелестна!

— Я не собираюсь жениться на ней,— сказал он.

— Вот как.

Он посмотрел на нее. По его лицу прошла тень.

— Почему вы заговорили о ней? Вы хотите привлечь мое внимание к другой?

Она ускорила шаги и не ответила на его вопрос. Вот и дом камергера. Она схватила его за руку и повлекла за собой в парадное, по ступеням лестницы.

— Я не хочу заходить,— сказал он с удивлением.

Она нажала кнопку звонка, повернулась к нему, ее грудь вздымалась.

— Я люблю вас,— сказала она.— Понимаете? Люблю вас.

И вдруг поспешно потянула его вниз — три ступеньки, четыре,— обвила его руками и поцеловала. Он чувствовал, что она вся дрожит.

— Я люблю вас,— повторила она.

Наверху отворилась дверь. Она высвободилась из его объятий и побежала вверх по лестнице.

IV

Время близится к рассвету, занимается заря, синева-тое знобкое сентябрьское утро.

В саду негромко шелестят тополя. Окно распаивается, из него высовывается человек и что-то напевает. Он без пиджака — полуодетый безумец, нынче ночью он за-хмелел от счастья.

Вдруг он оглядывается — в дверь постучали. «Войдите»,— кричит он. Входит сосед.

— Доброе утро,— говорит он соседу.

Сосед — пожилой человек, бледный и раздраженный, в руке у него лампа, потому что рассвет только чуть брезжит.

— Я еще раз заявляю вам, господин Меллер, господин Юханнес Меллер, вы ведете себя совершенно неприлично,— раздраженно бурчит он.

— Вы правы,— отвечает Юханнес.— Вы совершенно правы. Понимаете, я кое-что написал, это вышло само собой, поглядите, вот видите, все это я написал за ночь, сегодня мне выпала счастливая ночь. Но теперь я кончил. Я открыл окно и стал напевать.

— Вы стали орать,— поправляет сосед.— Разве можно так надрывать глотку? Да еще среди ночи.

Юханнес хватает бумаги, разбросанные по столу, целый ворох листков, больших и маленьких.

— Поглядите,— восклицает он.— Никогда в жизни мне еще не писалось так легко. Точно все вокруг озарилось молнией. Я видел однажды, как молния бежала по телеграфному проводу, словно огненная лента. Вот и во мне вспыхнула сегодня такая же молния. Что мне было делать? Я уверен, вы не будете сердиться, если узнаете, как все получилось. Я сидел здесь и писал, я ни разу не встал со стула, я все время помнил о вас и сидел, не шелохнувшись. А потом наступил момент, когда я забыл про все, грудь мою распирало, может, я тогда и встал, может, я и ночью вставал и даже прошелся по комнате. Я был так счастлив.

— Как раз ночью-то я ничего особенного не слышал,— говорит сосед.— Но открывать окно в такую рань, да еще вопить во весь голос — форменное безобразие.

— Вы правы. Конечно, безобразие. Но я ведь вам объяснил, как это вышло. Понимаете, я пережил необыкновенную ночь. Вчера в моей жизни произошло огромное событие. Я шел по улице и встретил свое счастье, слышите — встретил свою звезду и свое счастье. Понимаете? И она поцеловала меня. У нее такие алые губы, я люблю ее, она поцеловала меня, и ее поцелуй опьянил меня. Вас охватывал когда-нибудь такой трепет, что вы не могли вымолвить ни слова? Я не мог вымолвить ни слова, а сердце стучало так, что я весь дрожал. Я прибежал домой и мгновенно уснул; уснул прямо на стуле. К вечеру я проснулся. В моей душе все кружилось от восторга, я начал писать. Что я писал? Вот это! Какое-то великолепное, небывалое состояние овладело мною, я был

в раю, моя душа раскрылась, точно под лучами солнца, ангел поднес мне вино, я выпил его; это было хмельное вино, и пил я его из гранатовой чаши. Разве я мог слышать бой часов? Разве мог видеть, что моя лампа погасла? Дай вам Бог понять меня! Я опять пережил все сначала: я снова шел по улице с моей возлюбленной, и прохожие глядели ей вслед. Мы вошли в парк, мы встретили короля, на радостях я снял шляпу и поклонился ему до земли, а король поглядел вслед моей возлюбленной, потому что она стройна и прекрасна. Мы снова вернулись в город, и все школьники глядели ей вслед, потому что она молода и на ней светлое платье. Мы очутились возле красного каменного дома и вошли в него. Я поднялся за нею по ступенькам и хотел преклонить перед ней колена. И тут она обвила меня руками и поцеловала. Это случилось со мной вчера вечером, совсем недавно. Хотите знать, что я написал? Я написал нескончаемый гимн радости и счастью. Мне казалось, будто счастье во всей своей смеющейся наготе лежит передо мной и протягивает ко мне руки.

— Не о чем мне с вами больше толковать,— отчаявшись, сердито говорит сосед.— Но я вас предупредил, и это в последний раз.

Юханнес останавливает его у дверей.

— Погодите минутку. Если бы вы только видели — сейчас ваше лицо было как бы освещено солнцем. Вот сейчас, когда вы обернулись, эта лампа, ее свет лег солнечным пятном на ваш лоб. И я увидел, что вы больше не сердитесь. Все верно, я открыл окно и пел слишком громко. Я был счастлив и по-братски любил всех вокруг. Так иногда случается. Рассудок молчит. Я должен бы сообразить, что вы еще спите...

— Весь город еще спит.

— Ну да, ведь еще рано. Я хочу вам кое-что подарить. Вы примете от меня этот подарок? Это серебряный портсигар, мне самому его подарили. Подарила девочка, которую я когда-то спас. Пожалуйста. В него входит двадцать сигарет. Не хотите? Ах, вы не курите! А вы научитесь. Можно, я зайду к вам утром попросить прощения? Мне так хочется что-нибудь сделать, извиниться перед вами...

— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи. Сейчас я лягу. Обещаю вам. Вы не услышите больше ни звука из моей комнаты. А впредь я буду следить за собой.

Сосед ушел.

Юханнес вдруг снова распахнул дверь и крикнул ему вслед:

— Да, ведь я же уезжаю. Я вам больше не буду мешать, я завтра уезжаю. Я совсем забыл об этом.

Он не уехал. Разные причины задержали его: надо было закончить кое-какие дела, что-то купить, с кем-то расплатиться, так прошел еще один день, и настал вечер. Он метался по городу, словно в чаду.

Наконец он позвонил у двери камергера.

— Фрекен Виктория дома?

Виктория куда-то отлучилась.

Он объяснил, что они с фрекен Викторией земляки, он просто хотел заглянуть на минутку, если она дома, взял на себя смелость заглянуть на минутку. Ему хотелось послать весточку своим. Ну что ж, ничего не поделаешь.

И он отправился бродить по городу. Вдруг он встретит ее, вдруг увидит, может, она сидит в карете. Он бродил целый вечер. Он ее увидел у театра, поклонился ей, улыбнулся и поклонился, она ответила на его поклон. Он хотел подойти ближе — их разделяло всего несколько шагов, — но тут заметил, что она не одна, с ней Отто, сын камергера. На нем был мундир лейтенанта.

Юханнес подумал: «Сейчас она подаст мне какой-нибудь знак, может, незаметно посмотрит в мою сторону». Но она поспешила в театральный подъезд, вся покраснев и опустив голову, точно желала спрятаться.

Что, если попытаться увидеть ее в театре? Он купил билет и вошел в подъезд.

Он знал, где находится ложа камергера, — ну да, у этих богачей собственная ложа. В ложе сидела Виктория, нарядная и прекрасная. Она смотрела по сторонам, но в его сторону она не взглянула. Ни разу.

Во время антракта он подстерег ее в фойе. Он снова поклонился ей. Она поглядела на него с некоторым удивлением и кивнула.

— Прохладительное подают там, — сказал Отто, указав куда-то вперед.

Они прошли дальше.

Юханнес смотрел им вслед. Странная пелена затуманила его взгляд. На него ворчали, его толкали, он машинально просил извинения и продолжал стоять на месте. Она ушла.

Когда она появилась снова, он низко поклонился ей и пробормотал:

— Извините, фрекен...

Отто ответил на поклон и, прищурившись, смерил его взглядом.

— Это Юханнес,— представила она.— Помнишь его? Вы, наверное, хотели узнать новости о родных,— продолжала она, и лицо ее было прекрасно и спокойно.— Толком я не знаю, но думаю, что все здоровы. Да, да, здоровы. Я передам привет вашим родителям.

— Спасибо. Вы скоро возвращаетесь домой, фрекен?

— На днях. Так я передам привет.

Она кивнула и ушла.

Юханнес снова проводил ее взглядом, пока она не исчезла, потом вышел из театра. Он бесцельно бродил по улицам, тяжело и уныло шагал взад и вперед, он старался убить время. В десять часов он стоял перед домом камергера. Скоро кончится спектакль, и она придет. Вдруг ему удастся открыть ей дверцу кареты и, сняв шляпу, поклониться, открыть дверцу кареты и поклониться до земли.

Наконец спустя полчаса она приехала. Удобно ли торчать у самых ворот и снова напоминать о себе? Быстро, не оглядываясь, он перешел на другую сторону улицы. Он слышал, как открылись ворота камергерского дома, как карета въехала во двор и ворота закрылись снова. Тогда он обернулся.

Целый час он расхаживал взад и вперед возле дома. Он никого не ждал и не строил никаких планов. Вдруг дверь отворяется, и на улицу выходит Виктория. Шляпы на ней нет, она просто набросила на плечи шаль. Она улыбается испуганной, смущенной улыбкой и спрашивает, чтобы начать разговор:

— Вы гуляете и о чем-то думаете?

— Думаю? Нет,— отвечает он.— Просто гуляю.

— Я увидела, что вы ходите взад и вперед, и решила...

Я увидела вас из окна. Мне надо сейчас же вернуться.

— Спасибо, что вы вышли, Виктория. Еще минуту назад я был в таком отчаянии, а теперь все прошло. Не сердитесь, что я поздоровался с вами в театре. Я сделал еще большую глупость, я заходил сюда, я надеялся увидеть вас и узнать, что вы хотели сказать, что вы имели в виду.

— Но вы же сами знаете,— отвечает она.— Позавчера я сказала вам так много, вы не могли неправильно понять меня.

— И все-таки я не могу поверить.

— Не будем больше говорить об этом. Я сказала много, даже слишком много, и сейчас я нехорошо поступаю по отношению к ним. Я люблю вас, я не солгала позавчера и сейчас не лгу, но нас разделяет слишком многое. Я очень привязана к вам, мне так приятно разговаривать с вами, приятнее, чем с кем-нибудь другим, но... Мне нельзя дольше здесь оставаться, нас могут увидеть из окна. Юханнес, есть причины, которых вы не знаете, поэтому никогда не просите меня больше говорить вам, что я имела в виду. Я думала об этом день и ночь, я сказала вам правду. Но это невозможно.

— Что невозможно?

— Все. Все вообще. Юханнес, избавьте меня от необходимости оберегать и свою, и вашу гордость.

— Извольте. Я избавлю вас! Но, стало быть, позавчера вы просто дурачили меня. Выходит, я случайно попался вам на улице, вы были в хорошем настроении, и вот...

Она повернулась, собираясь уйти.

— А может, я в чем-то провинился? — спросил он. Его лицо побледнело до неузнаваемости. — Иначе как я мог потерять вашу... За эти два дня и две ночи я, наверное, совершил какой-то дурной поступок.

— Нет, дело совсем не в том. Просто я все обдумала. Неужели вы не подумали о том же? Поймите, это всегда было невозможно. Я привязана к вам, ценю вас...

— И уважаю.

Она смотрит на него и, оскорбленная его улыбкой, продолжает с еще большей горячностью:

— Боже мой, неужели вы сами не понимаете, что папа вам откажет? Зачем вы принуждаете меня говорить вам это? Вы ведь сами понимаете. К чему бы это привело? Разве не так?

Пауза.

— Так, — говорит он.

— И вообще, — продолжает она, — есть столько причин... Нет, в самом деле, вы не должны больше преследовать меня, вы меня так напугали в театре. Не надо.

— Не буду, — говорит он.

Она берет его за руку.

— Может, вы ненадолго приедете домой? Я была бы так рада. Какая у вас горячая рука, а я вся дрожу. Мне пора идти. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, — отвечает он.

Холодная и серая улица тянется по городу, словно песчаный пояс, словно путь, которому нет конца. Юханнесу встретился мальчик, он продает старые, увядшие розы. Юханнес окликнул мальчика, взял у него розу и дал ему монету — пять крон золотом, щедрая плата, а сам пошел дальше. Вот стайка ребят играет возле подворотни. Мальчик лет десяти неподвижно сидит и смотрит на них; голубыми старческими глазами он следит за игрой, щеки у него впалые, подбородок квадратный, а на голове полотняная шапочка. Вернее — это подкладка шапки, она заменяет мальчику парик. Кожная болезнь навсегда обезобразила его голову. Наверное, и душа его совсем зачахла от болезни.

Все это невольно заметил Юханнес, хотя он не мог бы сказать, в какой части города находится и куда идет. А тут еще стал накрапывать дождь, но он ничего не почувствовал и не раскрыл зонта, хотя носил его с собой весь день.

Наконец он очутился в сквере и сел на скамью. Дождь все усиливался, он машинально раскрыл зонт и продолжал сидеть. Вскоре им овладела неодолимая сонливость, мысли плавали в каком-то тумане, он закрыл глаза и задремал.

Немного погодя он проснулся, его разбудил громкий голос прохожего. Он встал и побрел дальше. В голове у него прояснилось, он вспомнил все, что произошло, все мелочи, даже то, что заплатил пять крон за одну розу. Он представил себе, как обрадовался мальчуган, когда среди своих грошей обнаружил эту удивительную монету — не какие-нибудь двадцать пять эре, а пять крон золотом. Господи помилуй!

А стайку детей, наверное, прогнал дождь, и они продолжают играть уже в подворотне, играют в «классы» и в шары. А десятилетний старичок-уродец все сидит и смотрит. Кто знает, может, он глядит и чему-то радуется, может, в каморке на заднем дворе у него есть кукла, картонный паец или волчок. Может, не все в жизни для него потеряно, и в его зачахшей душе теплится надежда.

Вот впереди показалась изящная, стройная дама. Юханнес вздрогнул, остановился. Нет, он ее не знает. Она вышла из бокового переулка и пошла дальше, у нее нет зонтика, хотя дождь льет ливнем. Он нагнал ее, взглянул на нее и прошел мимо. Как она изящна и молода! Она промокла, она простудится, а он не смеет подойти к ней. Он взял и закрыл свой зонт — промокнуть, так уж обоим. Когда он вернулся домой, было за полночь.

На столе лежало письмо, приглашение. Супруги Сейер будут рады видеть его у себя завтра вечером. Он встретит у них кое-кого из знакомых и, между прочим, угадайте кого? Викторию, дочь хозяина Замка. Искренне ваши — такие-то.

Юханнес уснул прямо на стуле. Часа через два он проснулся, его знобило. Еще не до конца стряхнув с себя сон, дрожа от озноба, измученный горестями минувшего дня, он сел к столу, чтобы ответить на письмо, на приглашение, которое он не хотел принять.

Он написал ответ и собрался было отнести его вниз в почтовый ящик. Но вдруг сообразил, что и Виктория тоже приглашена к Сейерам. Вот как, она не сказала об этом ни слова, боялась, что и он туда придет, она не желала встречаться с ним при посторонних.

Он порвал письмо в клочки и написал новое — спасибо, буду. Рука его дрожит от волнения, странная горькая отрада наполняет его грудь. Почему бы ему не пойти? Чего ради прятаться? Довольно!

Все чувства его в смятении. Одним махом срывает он пригоршню листков с календаря, забежав сразу на целую неделю вперед. Он воображает, будто получил какое-то радостное известие, он на седьмом небе от счастья, ему хочется насладиться этим мгновением, вот сейчас он закурит трубку, развалится на стуле и будет блаженствовать. Но трубка засорилась, он тщетно ищет нож или шило, чтобы ее прочистить, и вдруг выламывает стрелку часов, которые висят в углу. Приятно смотреть на искалеченные часы. «Ха-ха!» — смеется он про себя и шарит по комнате, ищет, чего бы еще сломать.

Время идет. В конце концов, как был в промокшей одежде, он бросается на постель и засыпает.

Когда он проснулся, уже давно рассвело. Дождь все шел, на улице стояли лужи. В голове его царил сумбур, обрывки снов спутались с воспоминаниями о вчерашнем. Лихорадки он не чувствовал, наоборот, жар утих, на него веяло прохладой, словно он всю ночь бродил по сырому лесу и теперь очутился вблизи воды.

В дверь стучат, посыльный приносит письмо. Он распечатывает конверт, смотрит, читает, с трудом начинает вникать в смысл. Это от Виктории, записка на клочке бумаги: она совсем забыла ему сказать, что сегодня вечером приглашена к Сейерам; ей хотелось бы увидеть его там, объяснить все как следует, просить, чтобы он забыл ее и перенес удар как подобает мужчине. Простите за плохую бумагу. Искренне ваша — такая-то.

Он вышел из дому, где-то наскоро поел, вернулся к себе и тут наконец написал Сейерам ответ — сегодня он прийти не может, но хотел бы воспользоваться их приглашением в другой раз — ну хотя бы завтра вечером.

Письмо он отправил с посыльным.

V

Наступила осень, Виктория уехала, а на маленькой глухой улочке стояли все те же дома и было все так же тихо. В комнате Юханнеса по ночам горел свет. Он загорался вечером со звездами и гас, когда уже занимался день. Юханнес работал не разгибая спины, он писал свою большую книгу.

Шли недели и месяцы, он сидел взаперти, ни с кем не встречался, у Сейеров больше не бывал. Воображение часто играло с ним злые шутки, вплетая в его книгу не идущие к делу были и небылицы, и написанное потом приходилось вымарывать и бросать в печь. Это очень затягивало работу. Внезапный шум в ночной тишине, грохот колес по улице давал мыслям неожиданный толчок и уводил их в сторону:

По улице несется карета.

— Эй! С дороги!

Но зачем? Зачем остерегаться этой кареты? Она пролетела мимо, теперь она уже, верно, за углом. А там, быть может, стоит человек без пальто, без шапки, стоит, наклонясь вперед, подставив голову под удар, он хочет, чтобы карета на него налетела, изувечила, убила. Человек хочет умереть, ну что ж, дело его. Он уже давно не застегивает пуговиц на рубахе и не зашнуровывает по утрам ботинки, все на нем нараспашку, худая грудь обнажена; он хочет умереть... А вот этот человек лежит на смертном одре, он написал другу письмо, записку, просьбу. Человек умер, а письмо осталось, в нем число и подпись, прописные и строчные буквы, а тот, кто его писал, час спустя умер. Как странно! Подписывая свое имя, он даже сделал обычный росчерк, и через час умер... А вот другой человек. Он лежит один в своей маленькой комнатушке, стены в ней выкрашены синей краской и обшиты деревянными панелями. Ну и что? Да ничего. Именно ему одному в целом мире предстоит сейчас умереть. Об этом он и думает, думает до изнеможения. Уже вечер, часы на стене показывают восемь, он смотрит

на часы и не понимает, почему они не бьют. Часы не бьют. А вот уже и восемь с минутами, часы продолжают тикать, но не бьют. Бедняга, он теряет сознание, часы *пробили*, а он не слышал. На стене висит портрет его матери, — раз! — он проткнул портрет пальцем — на что ему теперь этот портрет, для чего беречь портрет, когда ему самому крышка? Его мутнеющий взгляд упал на стол, на горшок с цветами, он протянул руку, рассчитанным, неторопливым движением сбросил горшок со стола на пол, и горшок разбился вдребезги. Для чего беречь цветы? Потом он выбросил в окно свой янтарный мундштук. К чему он теперь? Ведь это ясно как день — нет смысла, чтобы мундштук лежал здесь, когда он сам будет в могиле. Через неделю человек умер...

Юханнес встает и начинает расхаживать по комнате. Сосед за стеной просыпается, храп прекратился, слышится вздох и тоскливый стон. Юханнес на цыпочках идет к столу и снова садится. Под окном в тополях шелестит ветер, Юханнес вздрагивает. Листья на старых тополях облетели, и деревья похожи на несчастных калек; узловатые ветви постукивают в стену дома, издавая надтреснутый звук, точно разошедшаяся деревянная колотушка, которая все тарахтит и тарахтит.

Глядя на свои листки, Юханнес перечитывает написанное. Так и есть, опять воображение завело его бог весть куда. При чем тут смерть и летящая мимо карета? Ведь он описывает сад, зеленый цветущий сад в своем родном краю, сад возле Замка. Вот о чем он пишет. Сад сейчас мертв и одет снегом, и все же Юханнес описывает сад, и описывает не зиму и снег, а весну, благоухание и свежий ветерок. Вечер. Вода в заливе глубокая и недвижная, точно расплавленный свинец; благоухает сирень, живая изгородь вся усыпана почками и зелеными листьями, и воздух так тих, что слышно, как на другом берегу залива поет птица. В садовой аллее стоит Виктория, она одна, в белом платье, и ей двадцать лет. Она стоит в саду. Она одна. Она выше самых высоких розовых кустов, она смотрит на залив, на леса и спящие вдали скалы; она точно белоснежный дух в зелени сада. Внизу на дороге слышны шаги, она подходит к спрятанной в зелени беседке и, облокотясь на ограду, глядит вниз. Путник на дороге снимает шляпу и кланяется почти до земли. Она отвечает на его поклон. Пришелец озирается, на дороге ни души, он делает не-

сколько шагов к ограде. Отпрянув назад, она кричит: «Нет, нет!» — и машет рукой. «Виктория, — говорит он ей, — то, что вы сказали мне однажды, святая правда, я не должен был мечтать о вас, потому что это невозможно». — «Конечно, — отвечает она. — Но тогда чего же вы хотите?» Он подходит совсем близко, их разделяет только ограда, и он говорит ей в ответ: «Чего я хочу? Я хочу постоять здесь всего одну минуту. В последний раз. Я хочу подойти к вам как можно ближе; вот я стою совсем рядом с вами». Она молчит. Минута проходит. «Спокойной ночи», — говорит он и снова снимает шляпу, почти подметая ею землю. «Спокойной ночи», — отвечает она. И он уходит, не оглядываясь...

При чем же тут смерть? Скомкав исписанный листок, Юханнес бросает его в печь. Там уже лежат и другие листки, обреченные огню, — летучие брызги воображения, которое вышло из берегов. И он снова пишет о путнике на дороге, о страннике, который поклонился и сказал «прощайте», когда минута свидания истекла. А в саду осталась юная девушка в белой одежде, и ей было двадцать лет. Она не хотела стать его женой, о нет, ни в коем случае. Но все же он постоял у стены того дома, где жила она. Вот как ему однажды посчастливилось.

И опять потекли недели и месяцы, и наступила весна. Снег уже сошел, и воздух был весь напоен гулом, словно от солнца до луны заструилась полая вода. Прилетели ласточки, а за городом в лесу засуетились четвероногие, загомосились птицы, говорящие на чужеземном языке. Свежим пряным запахом потянуло от земли.

Юханнес всю зиму просидел за работой. День и ночь, отбивая ритм, бились о стену дома сухие ветви тополей, но теперь, с приходом весны, ветры улеглись и колотушка умолкла.

Распахнув окно, Юханнес выглядывает на улицу. Уже все стихло, хотя до полуночи еще далеко, в безоблачном небе мерцают звезды, все сулит на завтра ясный и теплый день. Он прислушивается к городскому шуму, который сливается с неумолчным отдаленным гулом. Вдруг раздался пронзительный паровозный свисток, это сигнал ночного поезда, он похож на одинокий крик петуха в ночной тишине. Пора приниматься за работу, всю зиму этот паровозный свисток звучал для него, как призывный гонг.

Юханнес закрывает окно и снова садится за стол. Он отбрасывает в сторону книги, которые читал, придвигает бумагу, берет перо.

Большая книга почти дописана, не хватает только последней главы—прощального привета с уходящего вдаль корабля, но и она уже сложилась у него в голове.

В придорожном трактире сидит человек, он здесь мимоездом, он держит путь в далекие-далекие края. Волосы и борода у него седые, прожитые годы оставили на нем свой след, и хотя он еще строен и полон сил, выглядит он старше своих лет. На дворе его ждет экипаж, лошади отдыхают, кучер весел и доволен—седок накормил его и поднес ему вина. А когда незнакомец вписал свое имя в книгу постояльцев, хозяин узнал его, склонился в поклоне и принял его с большим почетом. «Кто живет теперь в Замке?»—спрашивает приезжий. «Капитан,—отвечает хозяин,—он очень богат, а хозяйка Замка, его жена, добра ко всем». «Ко всем?—спрашивает про себя гость со странной улыбкой.—Стало быть, и ко мне тоже?» Гость садится и пишет что-то на бумаге, потом перечитывает написанное—это стихи, торжественные и сдержанные, но в них много горьких слов. А потом приезжий рвет листок, сидит и продолжает рвать листок на мелкие-мелкие клочки. Но тут в дверь стучат, и входит женщина в желтом платье. Она откидывает вуаль, это хозяйка Замка, фру Виктория. У нее осанка королевы. Гость вскакивает, и кажется, будто его угрюмое лицо озарилось вдруг изнутри. «Вы так добры ко всем,—с горечью говорит он ей,—вот и ко мне вы пришли». Она не отвечает, она стоит и молча смотрит на него, лицо ее заливают густая краска. «Что вам угодно?—спрашивает он с прежней горечью.—Не затем ли вы пришли, чтобы напомнить мне о прошлом? Но знайте, мы видимся в последний раз, благородная госпожа, потому что я уезжаю навсегда». Молодая хозяйка Замка по-прежнему молчит, но губы у нее дрожат. «Неужели вам мало того,— снова спрашивает он,— что однажды я признался вам в своем безумии? Ну что ж, я признаюсь еще раз: я отдал вам свое сердце, но я вас недостоин. Теперь вы довольны?—И он продолжает, волнуясь все больше:—Вы отвергли меня и вышли за другого, я был деревенщина, медведь, варвар, который по молодости лет забрел в королевский заповедник». Тут гость упал на стул и, рыдая, стал молить: «Уходите!

Простите меня и ступайте своей дорогой!» Краска сбежала со щек хозяйки Замка. И она сказала медленно, выговаривая каждое слово: «Я люблю вас; поймите же наконец: люблю вас одного. Прощайте!» И тут молодая женщина закрыла лицо руками и быстро вышла из комнаты...

Отложив перо, Юханнес откидывается на спинку стула. Итак, точка, конец. Вот лежит его книга, все исписанные им страницы, труд девяти месяцев. На душе у него легко и радостно — работа доведена до конца. Но пока он сидит, уставившись в окно, за которым брезжит рассвет, в его мозгу все еще напряженно бьется мысль, и фантазия продолжает неумолимо работать. Он полон неизбытого возбуждения, его сознание похоже на заросший сад, полный несобранных плодов и жарких испарений земли.

Каким-то таинственным образом перенесся он в глубокую мертвую долину, где нет ничего живого. Только издали доносятся звуки органа. Он подходит ближе к органу, осматривает его, орган истекает кровью, он продолжает играть, а из его боковой стенки сочится кровь. Он идет дальше и приходит на площадь. Она пуста, ни единого деревца, ни звука — площадь пустынна. Но на песке видны следы башмаков, а в воздухе еще звучат отголоски последних сказанных здесь слов, так недавно ушли отсюда люди. Странное чувство охватывает его, отзвуки слов, висящие в воздухе над площадью, пугают его, обступают его, давят. Он отгоняет их, они надвигаются снова, да это вовсе не слова, это старички, пляшущие старички, теперь он их ясно видит. Почему они пляшут, и почему пляшут так уныло? Ледяным холодом веет от этого старческого хоровода, старички его не видят, они слепы, он окликает их, но они не слышат, они мертвы. Он бредет дальше на восток, к солнцу, и подходит к горе. «Это ты стоишь у подножия горы?» — спрашивает его чей-то голос. «Да, — отвечает он, — это я стою у подножия горы». И слышит: «Гора, у которой ты стоишь, это моя нога. Я лежу в оковах на самом краю Земли, приди и освободи меня!» И он пускается в путь, он бредет на край Земли. На мосту его подстерегает какой-то человек, у каждого, кто проходит по мосту, он отбирает тень. Человек сделан из мускуса. Ледяной страх охватывает его при виде мускусного человека, который хочет отнять у него тень. Он плюет в него, грозит ему кула-

ками, но стражник неколебимо стоит и ждет. «Обернись»,— кричит ему кто-то сзади. Он оборачивается и видит голову, которая катится по дороге, указывая ему путь. Это человечья голова, время от времени она беззвучно смеется. Он идет следом за головой. Голова катится день и ночь, а он все идет за ней следом; у берега моря голова вдруг проваливается в землю и исчезает. А он бросается в воду, ныряет. И вот он стоит у исполинских дверей, и его встречает огромная лающая рыба. У нее лошадиная грива, а все повадки собачьи. Позади рыбы стоит Виктория. Он протягивает к ней руки, на Виктории нет одежды, она улыбается ему, вихрь развеивает ее волосы. Тогда он громко зовет ее, он сам слышит свой крик и просыпается.

Юханнес встает и подходит к окну. Уже почти совсем рассвело, в маленьком зеркале, висящем на оконном переплете, он видит, что веки у него покраснели. Загасив лампу, в тусклом свете утра он еще раз перечитывает последнюю страницу своей книги и ложится спать.

В тот же вечер Юханнес расплатился за комнату, отнес рукопись издателю и уехал из города. Он отправился за границу — никто не знал куда.

VI

Большая книга вышла в свет — целое царство, маленький мир изменчивых настроений, голосов и картин. Книгу покупали, читали, откладывали в сторону. Прошло еще несколько месяцев. К осени Юханнес выпустил новую книгу. И что же? Теперь его имя было у всех на устах, к нему пришел успех, новая книга была написана на чужбине, вдали от привычной обстановки, она была крепкая, как выдержанное вино.

«Дорогой читатель, перед тобой повесть о Дидерике и Изелине. Повесть, написанная в счастливое время, в пору пустычных горестей, когда любая ноша кажется легкой, написанная от полноты души повесть о Дидерике, которого Господь поразил любовью».

Юханнес жил за границей, никто не знал где. И прошло больше года, прежде чем это стало известно.

— Никак стучат в дверь? — говорит однажды вечером старый мельник.

И оба они с женой умолкают и прислушиваются.

— Да нет никого,— говорит жена.— Уже десять часов, вот-вот стемнеет.

Проходит несколько минут.

В дверь стучат — на этот раз громко и решительно, словно набрались наконец храбрости. Мельник открывает дверь. На пороге стоит дочь хозяина Замка.

— Не бойтесь, это я,— говорит она, а сама робко улыбается. Она входит в комнату, ей предлагают стул, но она не садится. На плечах у нее только теплый платок, а обута она в открытые туфли, хотя весна еще не настала и на дорогах слякоть.

— Я хотела вас предупредить, весной сюда приедет лейтенант,— говорит она.— Лейтенант — мой жених. Наверное, он будет стрелять вальдшнепов. Вот я и хотела вас предупредить, чтобы вы не пугались.

Мельник и его жена удивленно смотрят на Викторию — не в обычае хозяев Замка предупреждать, когда их гости вздумают стрелять дичь в лесу и на лугах. Они смиренно благодарят ее: «Спасибо за вашу доброту».

Виктория повернулась к двери.

— Я только за этим и пришла. Подумала, вы люди пожилые, будет лучше, если я скажу заранее.

Мельник отвечает:

— Спасибо, что побеспокоились о нас, фрекен! Не промочила ли фрекен туфельки?

— Нет, на дороге сухо,— коротко говорит она.— Да и вообще я хотела пройтись. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Она поднимает щеколду и открывает дверь, но вдруг, обернувшись на пороге, спрашивает:

— Да, а что Юханнес? У вас не было от него вестей?

— Нет, не было. Спасибо на добром слове, фрекен. Не было.

— Наверное, он скоро приедет. Я думала, может, он вас известил.

— Нет, он не писал нам с прошлой весны. Должно быть, он за границей.

— Ну да, я знаю, что он за границей. Ему там хорошо. Он сам пишет в книге,— для него настала пора пустычных горестей. Стало быть, ему хорошо.

— Ох, дай-то господи! Мы его ждем. Только не пишет он нам, да и никому не пишет. А мы ждем.

— Стало быть, ему лучше там, где он сейчас, раз у него пустычные горести. Ему виднее. Я просто хотела узнать, не приедет ли он весной. Еще раз спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Мельник с женой провожают ее за порог и глядят ей вслед, а она, высоко подняв голову, идет в своих открытых туфельках по раскисшей дороге к Замку, обходя грязные лужи.

А два дня спустя приходит письмо от Юханнеса. Он вернется домой примерно через месяц, вот только закончит еще одну книгу. Все это долгое время дела его шли хорошо, скоро он завершит свою новую работу. В ней он дал волю своему воображению...

Мельник идет в Замок. На дороге он подобрал платок с меткой Виктории, она обронила платок позавчера вечером.

Барышня наверху, но горничная предлагает доложить. Что ему угодно?

Спасибо, ничего, он лучше подождет.

Наконец дочь хозяина спускается вниз.

— Вы хотели меня видеть?— спрашивает она и открывает дверь в соседнюю комнату.

Мельник подходит к ней ближе, протягивает носовой платок и говорит:

— А еще мы получили письмо от Юханнеса.

На мгновение, на одно короткое мгновение радость озаряет ее лицо. Она отвечает:

— Спасибо, это и в самом деле мой платок.

— Он возвращается домой,— продолжает мельник почти шепотом.

Она принимает равнодушный вид.

— Говорите погромче, мельник. Кто возвращается?— спрашивает она.

— Юханнес.

— Юханнес? Ну и что же?

— Да нет, я просто... Мы подумали, что надо бы вам сказать. Мы тут с женой толковали, вот она и подумала... Позавчера вы справлялись, не приедет ли он весной. Так вот, стало быть, приедет.

— Вы, наверное, рады?— спрашивает дочь хозяина.— Когда же он приедет?

— Через месяц.

— Вот как. Это все?

— Ну да. Просто мы подумали, коли вы спросили...

И все. Больше ничего.

Мельник опять понизил голос.

Она провожает его до дверей. В коридоре они сталкиваются с ее отцом, и она роняет мимоходом громко и равнодушно:

— Знаешь, мельник говорит, что Юханнес скоро вернется домой. Помнишь Юханнеса?

А мельник, выйдя за ворота Замка, божится про себя, что ни за что на свете не будет больше таким простофилей и не станет слушать жену, когда ей померещится, будто она знает, что у кого на душе. Так он ей напрямик все и выложит.

VII

Эту стройную рябину у мельничной запруды он хотел когда-то срезать на удилице. Прошло много лет, и рябина стала толще его руки. Он оглядел ее с удивлением и пошел дальше.

Выше по течению реки стеной стояли все те же буйные заросли папоротника, целая чаща, скот протоптал здесь тропинки, и листья папоротника сомкнулись над ними. Юханнес, как в детстве, пробивал себе дорогу сквозь заросли, раздвигая их руками и ощупью переставляя ноги. Насекомые и ящерицы прыскали во все стороны от шагов великана.

Наверху, у развалин каменоломни цвели анемоны, фиалки и терновник. Он нарвал цветов, родные запахи вернули его к минувшим дням. Вдали синели холмы соседней деревни, на другом берегу залива куковала кукушка.

Он опустил на камень, посидел немного и начал напевать. Внизу на тропинке послышались шаги.

Был вечер, солнце село, но зной еще трепетал в воздухе. Леса, холмы и залив дышали безграничным покоем. По тропинке к каменоломне шла женщина. Это была Виктория. На руке у нее висела корзина.

Юханнес встал и поклонился, собираясь уйти.

— Я не хотела вам мешать,— сказала она.— Я хотела нарвать тут цветов.

Он не ответил. Ему не пришло в голову, что в ее собственном саду сколько угодно цветов.

— Я взяла с собой корзину,— продолжала она.— Но может быть, я ничего и не найду. Это для гостей, к столу. У нас будут гости.

— Вот анемоны и фиалки,— сказал он.— А повыше растет хмель. Но для хмеля, пожалуй, еще слишком рано.

— А вы побледнели с тех пор, как я вас видела,— заметила она.— Это было два года назад. Мне говорили, что вы уезжали. Я читала ваши книги.

Он по-прежнему не отвечал. Ему подумалось, что, пожалуй, следует сказать: «До свидания, фрекен»,— и уйти. От того места, где он стоял, был всего один шаг до соседнего камня и еще один шаг до тропинки, где остановилась она,— отсюда уже легко спуститься с холма. Но она преграждала ему путь. На ней было желтое платье и красная шляпа, она была загадочна и прекрасна; шея ее была обнажена.

— Я мешаю вам пройти,— пробормотал он и спустился чуть ниже. Он сдерживал себя, стараясь не выдать своего волнения.

Теперь их разделял всего один шаг. Но она и не думала посторониться. Взгляды их встретились. Вдруг она залилась краской, опустила глаза и шагнула в сторону; на лице ее появилась растерянность, хотя она улыбалась.

Он прошел мимо нее и остановился, его поразила ее печальная улыбка, сердце вновь рванулось к ней, и он сказал первое, что пришло в голову:

— Вы, наверное, часто бывали в городе с тех пор? С тех пор, как... Теперь я вспомнил, где в прежние годы было много цветов,— на холме, вокруг вашего флагштока.

Она обернулась к нему, и он с удивлением заметил, что она взволнована и побледнела.

— Пожалуйста, приходите к нам,— сказала она.— Приходите, когда будут гости. Мы ждем гостей,— продолжала она, и лицо ее снова стал заливать румянец.— Кое-кто приедет из города. Это будет в ближайшие дни, но я еще дам вам знать когда. Отвечайте же, вы согласны?

Он не отвечал. Ему не место среди ее гостей, он им не компания.

— Прошу вас, не отказывайтесь. Вы не будете скучать, я все обдумала, я приготовила для вас сюрприз.

Пауза.

— Вы меня уже не удивите никакими сюрпризами.

Она прикусила губу; скорбная улыбка опять скользнула по ее лицу.

— Чего вы от меня хотите?— спросила она почти беззвучно.

— Я ничего не хочу от вас, фрекен Виктория. Я просто сидел здесь на камне, я готов уйти.

— А я бродила по лесу, целый день бродила по лесу и вот забрела сюда. Я могла пойти вдоль реки, другой дорогой, тогда бы я не оказалась здесь, как раз когда...

— Милая фрекен, этот лес ваш, а не мой.

— Я когда-то причинила вам зло, Юханнес, я хотела все исправить, загладить свою вину. Я и вправду приготовила вам сюрприз и думаю... надеюсь, что вы будете рады. Больше я ничего сказать не могу. Но я прошу вас прийти к нам.

— Если это доставит вам удовольствие, я приду.

— Придете?

— Да, спасибо за приглашение.

Спустившись по тропинке в лес, он обернулся. Она села на камень, корзина стояла рядом. Юханнес не пошел домой, а стал расхаживать взад и вперед по дороге. Тысячи мыслей роились в его мозгу. Сюрприз? Она сама сказала это, сказала минуту назад, и голос ее дрожал. Тревожная радость вспыхивает в нем, сердце гулко колотится о ребра, ему кажется, что у него выросли крылья. Может быть, не случайно она и сегодня надела желтое платье? Он успел поглядеть на ее руку, в прошлый раз он видел на ней кольцо,— сегодня кольца не было.

Прошел час. Испарения леса и земли окутывали его, проникали в легкие, в сердце. Он сел и откинулся назад, сцепив на затылке руки и прислушиваясь к голосу кукушки на другом берегу. Воздух был напоен страстным пением птиц.

Вот и опять все началось сызнова. Когда она показалась возле каменоломни в своем желтом платье и красной, как кровь, шляпе, она была похожа на летнюю бабочку, которая перелетала с камня на камень. И вдруг она остановилась перед ним. «Я не хотела вам мешать»,— сказала она и улыбнулась, и ее улыбающиеся губы были красны, и все лицо ее озарилось, и глаза рассыпали звезды. На шее у нее появились тонкие голубые жилки, а несколько веснушек под глазами придавали коже теплый оттенок. Ей было теперь двадцать лет.

Сюрприз? Что она имеет в виду? Может, хочет показать ему его книги — выложит перед ним два-три томика и порадует его тем, что купила их и даже разрешила. Вот, прошу, маленький знак внимания и утешения. Не побрезгуйте моим скромным подаянием!

Он порывисто вскочил и замер. Виктория шла обратно, ее корзина была пуста.

— Вы не нашли цветов?— спросил он, думая о своем.

— Да нет. Я и не искала, я просто посидела на камне...

— Кстати, я хотел вам сказать,— заговорил он,— пожалуйста, не думайте, будто вы причинили мне зло. Вам нечего заглаживать и незачем утешать меня.

— Не в том дело,— сказала она растерянно. Потом сообразила что-то, поглядела на него и задумалась.— Со всем не в том. Мне просто казалось, что тогда... Я не хотела, чтобы вы затаили на меня обиду из-за того, что произошло в тот раз.

— Я не таю на вас обиды.

Она подумала еще немного. И вдруг резко выпрямилась.

— Ну что ж, тем лучше,— сказала она.— А мне вперед наука. Не такое уж это было для вас горе. И довольно об этом.

— Будь по-вашему. А мои горести вам безразличны теперь, как и прежде.

— До свидания,— говорит она.— До свидания.

— До свидания,— говорит он.

И они уходят, каждый своей дорогой. Он остановился и обернулся. Вот она идет. Он протянул руки и зашептал ей вслед, еле слышно повторяя нежные слова: «Я не таю на вас обиды, нет, не таю. Я люблю вас по-прежнему, люблю вас...» И вдруг крикнул: «Виктория!»

Она услышала, вздрогнула и обернулась, но не остановилась.

Прошло несколько дней. Юханнес совсем потерял покой, он не работал, не спал и почти весь день проводил в лесу. Как-то раз он поднялся на большой, поросший сосною холм, где стоял замковый флагшток: флаг был поднят. На круглой башне Замка тоже развевался флаг.

Странное волнение охватило его. В Замок приедут гости, там будет праздник.

День был жаркий, среди притихших от зноя холмов, точно жилка, билась река. К берегу приближался пароход, оставляя за собой на воде белый пенистый веер. Со двора Замка выехали четыре коляски и стали спускаться к пристани.

Пароход причалил, господа и дамы сошли на берег и разместились в экипажах. С башни Замка раздались выстрелы, там стояли двое мужчин с охотничьими ружьями, они заряжали их и стреляли, заряжали и стреляли. На двадцать первом выстреле экипажи въехали в ворота Замка, и стрельба прекратилась.

Так и есть, в Замке будет праздник, приезжих встречают флагами и салютом. В экипажах сидели какие-то военные, может, среди них и Отто, лейтенант.

Юханнес спустился с холма и пошел к дому. Его нагнал человек из Замка. Человек нес в шапке письмо, письмо от фрекен Виктории, она ждет ответа.

Юханнес с бьющимся сердцем прочел письмо. Виктория все-таки настаивала на своем приглашении, она обращалась к Юханнесу с задушевными словами и просила его прийти. Именно на сегодняшний праздник она и хотела его пригласить. Передайте ответ через посыльного.

Вот какое неожиданное-негаданное счастье выпало Юханнесу, кровь бросилась ему в лицо, он ответил посыльному, что придет, спасибо — придет сию же минуту.

— Вот вам, возьмите!

Он сунул посыльному до смешного щедрые чаевые и помчался домой переодеваться.

VIII

В первый раз в своей жизни он переступил порог Замка и поднялся по лестнице во второй этаж. В гостиной жужжали голоса, сердце его лихорадочно билось, он постучал в дверь и вошел.

Хозяйка Замка, молодая еще женщина, вышла к нему навстречу, приветливо поздоровалась и пожала ему руку. Очень приятно — она помнит его еще вот таким... а теперь он большой... Казалось, хозяйка Замка хочет сказать что-то еще, она задержала руку Юханнеса в своей и испытующе на него поглядела.

Хозяин Замка тоже подошел к Юханнесу и протянул ему руку. Жена права — он теперь большой. И дело не только в возрасте. Он теперь известный человек. Очень рад...

Юханнеса представили гостям, камергеру, который был при всех орденах, его супруге-камергерше, владельцу соседнего имения, лейтенанту Отто. Виктория не показывалась.

Прошло некоторое время. Вошла Виктория, бледная и смущенная; она вела за руку молоденькую девушку. Они обошли всю залу, со всеми поздоровались и каждому сказали несколько слов. Потом остановились перед Юханнесом.

Виктория с улыбкой обратилась к нему:

— А вот и Камилла, разве это не сюрприз? Ведь вы знакомы.

Она постояла, глядя на них обоих, потом вышла из гостиной.

В первую минуту от неожиданности у Юханнеса просто язык прилип к гортани. Так вот он, сюрприз — Виктория по доброте душевной нашла себе заместительницу. Прощу вас, любезные друзья. Совет вам да любовь! Весна в цвету, солнышко сияет. Если угодно, распахните окна, потому что сад полон ароматов и на вершинах берез уже возятся скворцы. Ну, что же вы молчите? Улыбнитесь друг другу!

— Конечно, мы знакомы,— без смущения объявила Камилла.— В этих местах вы когда-то вытащили меня из воды.

Она была юная, светлая, веселая, на ней было розовое платье, ей минуло семнадцать лет. Овладев собой, Юханнес стал смеяться и шутить. Но, слушая ее радостный щебет, он и в самом деле мало-помалу оживился, они долго болтали вдвоем, сердце его стало биться ровнее. Она сохранила милую детскую привычку склонять голову набок, прислушиваясь к тому, что он говорит. Он узнал ее — сюрприза не получилось.

Виктория снова вошла в залу, взяла под руку лейтенанта, подвела его к Юханнесу и сказала:

— Вы узнаете Отто, моего жениха? Вы, верно, его помните?

Мужчины помнили друг друга. Они обменялись подобающими случаю словами и поклонами и разошлись. Юханнес и Виктория остались наедине. Он спросил:

— Это и был ваш сюрприз?

— Да,— ответила она нетерпеливо и с досадой,— я сделала все, что в моих силах, больше я ничего сделать не могу. Не дуйтесь же, а лучше поблагодарите меня. Я видела, что вы обрадовались.

— Благодарю вас. Да, я обрадовался.

Безысходное отчаяние охватило Юханнеса, вся кровь отхлынула от его лица. Что верно, то верно: она причинила ему когда-то зло, но зато с какой щедростью она теперь вознаградила его, загладила свою вину. Он благодарен ей от всей души.

— Я вижу, сегодня вы надели кольцо,— глухо сказал он.— Не снимайте же его больше.

Пауза.

— Больше не сниму,— ответила она.

Они в упор взглянули друг на друга. Его губы дрожали, он кивком указал на лейтенанта и сказал хрипло и грубо:

— У вас хороший вкус, фрекен Виктория. Красивый мужчина. А в эпюлетах у него и плечи широкие.

Она ответила очень спокойно:

— Нет, он вовсе не красив. Но зато он хорошо воспитан. А это тоже кое-что значит.

— Это камешек в мой огород. Спасибо! — Он громко рассмеялся и развязно добавил: — И карманы у него набиты деньгами, а это и подавно имеет значение.

Она сразу отошла от него.

Он как неприкаянный слонялся по гостиной. Камилла что-то ему рассказывала, о чем-то спрашивала, он не слушал и не отвечал. Она опять что-то сказала, даже дотронулась до его руки и повторила свой вопрос, тщетно добываясь ответа.

— О чем он только думает! — смеясь, воскликнула она. — Все думает и думает!

— Ему хочется побыть одному, — отозвалась Виктория. — Он и меня прогнал. — Но вдруг она подошла вплотную к Юханнесу и, повысив голос, добавила: — Наверное, вы обдумываете, как лучше извиниться передо мной. Не трудитесь. Наоборот, это я должна просить прощения, что так поздно пригласила вас. Это большая оплошность с моей стороны. Но я спохватилась в последнюю минуту, я совсем о вас забыла. Впрочем, надеюсь, вы меня извините, мне было просто не до вас.

Он оторопело уставился на нее. Камилла удивленно переводила взгляд с одного на другого. Виктория стояла перед ним, спокойная, бледная, и на ее лице было написано удовлетворение. Она отомстила.

— Таковы уж нынешние мужчины, — заговорила она снова, обращаясь к Камилле. — Нельзя требовать от них слишком многого. Там сидит мой жених и рассуждает об охоте на лося, а тут стоит поэт и думает о своем... Скажите же что-нибудь, о поэт!

Он вздрогнул, жилы на его висках набухли.

— Ах вот как. Вы просите меня что-нибудь сказать. Извольте.

— О нет, не трудитесь.

И она хотела отойти.

— Чтобы приступить прямо к делу, — начал он с расстановкой и улыбаясь, хотя голос его дрожал, — чтобы не ходить вокруг да около, скажите, не были ли вы недавно влюблены, фрекен Виктория?

На несколько секунд воцарилась мертвая тишина, все трое слышали, как бьются их сердца. Испуганная Камилла поспешила ответить:

— Ну, конечно же, Виктория влюблена в своего жениха. Они ведь недавно обручились, разве вы не знаете? Двери в столовую распахнулись.

Юханнес нашел свое место за столом и остановился возле него. Стол ходил ходуном перед его глазами, он видел множество каких-то лиц и слышал гул голосов.

— Прощу вас, садитесь, это ваше место,— дружелюбно сказала хозяйка.— Пора бы уж и всем сесть за стол.

— Извините,— раздался вдруг за спиной Юханнеса голос Виктории.

Он посторонился.

Она взяла карточку Юханнеса и переложила ее ближе к концу стола, на семь приборов ближе к концу стола, по соседству с пожилым человеком, который когда-то был домашним учителем в Замке и слыл охотником выпить. Карточку, лежавшую возле этого прибора, Виктория положила туда, откуда взяла карточку Юханнеса, и только тогда села на свое место.

Юханнес все видел. Смущенная хозяйка поспешно захлопотала на другом конце стола, избегая его взгляда.

В смятении и замешательстве Юханнес побрел к своему новому месту; а то, которое предназначалось ему вначале, занял приехавший из города приятель Дитлефа, молодой человек с брильянтовыми запонками на рубашке. По его левую руку сидела Виктория, по правую Камилла.

Обед начался.

Старый учитель помнил Юханнеса еще ребенком, они разговорились. Учитель рассказывал, что и он когда-то в молодости писал стихи, рукописи хранятся у него до сих пор, при случае он покажет их Юханнесу. А сегодня его пригласили в Замок на семейное торжество, чтобы он принял участие в общей радости по случаю помолвки Виктории. Хозяева замка по старой дружбе приготовили ему этот сюрприз.

— Я не читал ваших книг,— сказал он Юханнесу.— Когда мне приходит охота почитать, я читаю свои собственные произведения. В ящике моего стола лежат рассказы и стихи. Когда я умру, они будут изданы. Пусть читающая публика узнает, что я был за человек. Да о чем толковать, мы, писатели старого закала, не чета нынешней молодежи, мы не спешили предавать гласности свои творения. Ваше здоровье!

Трапеза продолжается. Хозяин Замка стучит по своему бокалу и встает. На его худом, надменном лице волнение — как видно, он очень счастлив. Юханнес низко опускает голову. Его бокал пуст, никто не налил ему вина; он сам наполняет бокал до краев и опять склоняется над столом. Вот оно!

Хозяин говорит долго и красноречиво, радостные возгласы встречают его речь — помолвка оглашена. Со всех концов стола на дочь хозяина Замка и на сына камергера сыплются поздравления.

Юханнес осушил свой бокал.

Через несколько минут его смятение улеглось, к нему вернулось самообладание; шампанское ласковым теплом разлилось по его жилам. Он слышит, как слово берет камергер, как снова раздаются крики «ура», «браво» и звон бокалов. Один раз он бросает взгляд на Викторю — она бледна и как будто подавлена, она не поднимает глаз. Зато Камилла кивает ему и улыбается, и он отвечает ей кивком.

А его сосед, учитель, продолжает свое:

— Как отрадно, как отрадно видеть, что эта чета соединится брачными узами. Мне судьба судила иначе. В юные годы я был студентом — большие виды на будущее, редкий талант! Отец родом из почтенной семьи, дом — полная чаша, куча денег, кораблей не счесть. Так что, смею сказать, виды на будущее у меня были отличные! Она тоже была молода, из хорошей семьи. И что же? Прихожу я к ней, открываю свое сердце. Нет, говорит она. Можете вы это понять? Нет, говорит, не хочу. Ну что ж, я сделал все, что мог, — я продолжал учиться, перенес удар как подобает мужчине. А тут для отца настали плохие времена, кораблекрушения, векселя, — короче, он обанкротился. Что делаю я? Переношу и этот удар как подобает мужчине. Но зато ее словно подменили. Она возвращается в наш город, является ко мне. Как вы думаете, что ей от меня понадобилось? Я обеднел, стал учителем, все надежды на будущее рухнули, мои стихи валяются в ящике письменного стола — и вот она пришла ко мне, и теперь она согласна. Согласна!

Учитель посмотрел на Юханнеса и спросил:

— Можете вы ее понять?

— Но тут уж вы сами не согласились?

— А разве я мог согласиться, скажите на милость?

Я был нищ, нищ и наг, жалованье учителя, в трубке

дешевый табак, да и то по воскресным дням. Что мне было делать? Я не мог причинить ей такое зло. Но ответьте мне: можете вы ее понять?

— А что с ней случилось потом?

— Черт возьми, вы не отвечаете на мой вопрос. Она вышла замуж за капитана. Год спустя. За артиллерийского капитана. Ваше здоровье!

— Говорят, есть женщины, которые всегда ищут кого-то, кто нуждается в их жалости. Пока мужчина счастлив, они его ненавидят и чувствуют себя лишними, а вот стоит ему попасть в беду и сломиться, они заявляют: я твоя.

— Но почему она отказывала мне в счастливые дни? У меня были виды на будущее не хуже, чем у наследного принца.

— Кто ее знает. Стало быть, она ждала, пока вы склоните голову.

— Но я не склонил головы. Ни разу. Я сохранил свою гордость и отказал ей. Что вы на это скажете?

Юханнес молчал.

— А может, вы и правы,— продолжал старый учитель.— Клянусь Господом Богом и его небесным воинством, вы правы,— воскликнул он вдруг и снова выпил.— В конце концов она вышла за старика капитана, нянчится с ним, кормит его с ложечки, как младенца, и верховодит у него в доме. У артиллерийского капитана!

Юханнес поднял глаза. Виктория, сжимая в руке бокал, смотрела прямо на него. Потом она высоко подняла бокал. Он встрепенулся и тоже схватил свой бокал. Рука его дрожала.

Тогда она засмеялась и громко обратилась к его соседу. Этим соседом был старый учитель.

Пристыженный Юханнес опустил бокал на стол, растерянно и беспомощно улыбнулся. Все гости глядели на него.

Старый учитель был растроган до слез любезным вниманием своей ученицы. Он торопливо осушил свой бокал.

— И вот я дожил до старости,— продолжал он,— и брожу по свету одинокий и безвестный. Так мне судила судьба. Ни одна душа не знает, что таится в моей груди, но ни одна душа не слыхала, чтобы я роптал. Да зачем далеко ходить— наблюдали ли вы горлинку? Знаете ли вы, что эта великая печальница никогда не станет пить из чистого, прозрачного ручейка, пока не замутит его?

— Нет, я не знал об этом.

— Жаль. Тем не менее это так. Вот и я вроде нее. Я не получил в жены ту, которую хотел; однако и у меня есть в жизни свои радости. Но я нарочно стараюсь их замутить. Всегда стараюсь их замутить. Зато потом мне не грозят разочарования. Взгляните, вот сидит Виктория. Она только что выпила за мое здоровье. Я был ее учителем, теперь она выходит замуж, и я радуюсь этому, радуюсь от всего сердца, как если бы она была моей родной дочерью. Может, когда-нибудь я буду учить ее детей. Да, что ни говори — жизнь полна радостей. Но, кстати, знаете, вы тут рассуждали о женской жалости... чем больше я думаю об этом, тем больше чувствую, что вы правы... Ей-богу, правы... Простите, одну минутку.

Он вскочил, схватил свой бокал и направился к Виктории. Он уже не совсем твердо держался на ногах и шел, согнувшись в три погибели.

Застольные речи сменяли одна другую, говорил лейтенант, потом владелец соседнего имения поднял свой бокал за женщин, за хозяйку дома. И вдруг встал молодой человек с бриллиантовыми запонками и назвал имя Юханнеса. Он, мол, получил разрешение говорить не только от собственного имени — он хочет приветствовать молодого поэта от имени молодого поколения. Это была искренняя благодарность сверстников, прочувствованные слова, исполненные признательности и восхищения.

Юханнес не верил своим ушам. Он шепнул учителю:

— Это он обо мне?

— Да. Он меня опередил. Я сам собирался предложить за вас тост. Виктория еще утром просила меня об этом.

— Кто вас просил?

Учитель поглядел на него в упор.

— Никто, — ответил он.

Во время речи взгляды всех гостей обратились к Юханнесу, даже хозяин Замка кивнул ему, а госпожа камергерша стала его разглядывать в лорнет. По окончании речи все выпили.

— Ну что же, ответьте ему, — заявил старый учитель. — Он поднял за вас бокал. А полагалось бы это сделать старшему собрату по перу. Впрочем, я отнюдь не разделяю его мнения о вас. Отнюдь не разделяю.

Юханнес смотрел в ту сторону, где сидела Виктория. Это она попросила молодого человека с бриллиантовыми запонками поднять за него бокал — зачем? Сначала она обратилась с этой просьбой к другому, еще рано утром

ее занимала эта мысль — почему? А теперь она сидит, потупив глаза, и на лице ее ничего нельзя прочесть.

И вдруг глубокое волнение затуманило его глаза, ему захотелось броситься перед ней на колени и благодарить ее, благодарить без конца. Так он и сделает, когда все встанут из-за стола.

Камилла, сияя улыбкой, без конца болтала со своими соседями. Она была довольна — за все свои семнадцать лет она не изведала ничего, кроме радостей. Она несколько раз подряд кивала Юханнесу, знаками призывая его встать.

Он встал.

Он произнес краткую речь глубоким, взволнованным голосом. На празднестве, которым этот дом отмечает радостное семейное событие, даже его — человека постороннего — извлекли из неизвестности. Ему хочется поблагодарить того, кому первому пришла в голову эта любезная мысль, а затем и того, кто обратил к нему такие дружеские слова. Но он не может также не высказать своей благодарности всем собравшимся за то, что они благосклонно выслушали похвалы ему — постороннему. Ведь единственная причина, по которой он присутствует на этом торжестве, — это то, что он сын соседа, живущего в лесу, неподалеку от Замка...

— Верно! — крикнула вдруг Виктория, сверкнув глазами.

Все повернулись к ней, ее лицо пылало, грудь вздымалась. Юханнес осекся. Воцарилось тягостное молчание.

— Виктория! — удивленно произнес хозяин Замка.

— Продолжайте! — снова крикнула она. — Итак, это единственная причина. Но говорите же дальше. — И вдруг глаза ее погасли, она беспомощно улыбнулась и покачала головой. Потом, обернувшись к отцу, пояснила: — Я нарочно так умаляю... Ведь он сам умаляет себя. Но я не хотела перебивать...

Услышав ее объяснения, Юханнес сразу нашелся. Сердце его стучало очень громко. Он заметил, что хозяйка Замка смотрит на Викторию со слезами и с бесконечной жалостью во взгляде.

— Фрекен Виктория права, — сказал он. Он и вправду напрасно умаляет себя. Она любезно напомнила ему, что для детей хозяина Замка он не только соседский сын, но и товарищ детских игр. Это и дает ему право присутствовать здесь сегодня. Спасибо фрекен Виктории — она права. Здешние края — его родина. Леса вокруг Замка

когда-то составляли весь его мир, а за ними скрывались неведомые страны, жизнь, полная приключений. В те годы Виктория и Дитлеф часто приглашали его, когда затевалась какая-нибудь прогулка или игра, — и это было самым ярким впечатлением его детских лет. Позже, вспоминая об этом, он понял, что эти часы сыграли в его жизни роль, о которой никто не подозревает, и если слова, сказанные здесь, справедливы и в его книгах вспыхивает порой какая-то искра, то высекают ее воспоминания; это отблеск счастья, которым двое друзей одарили его в детстве. Вот почему в том, что он создал, немалая доля принадлежит им. Он присоединяется ко всем добрым пожеланиям по случаю помолвки и еще от себя хочет поблагодарить обоих наследников Замка за счастливые дни детства, когда ничто — ни время, ни обстоятельства — еще не разделяло их, за счастливый, короткий летний день...

Застольная речь — во всяком случае нечто похожее на речь. Не слишком удачная, но и не такая уж плохая, гости осушили бокалы, ужин шел своим чередом, разговоры возобновились. Дитлеф сухо заметил матери:

— Выходит, это я писал за него книги, а я-то и не подозревал. Забавно!

Но хозяйка Замка не поддержала шутки. Она чокнулась со своими детьми и сказала:

— Поблагодарите его, непременно поблагодарите. Его легко понять, ребенком он был так одинок... Что ты делаешь, Виктория?

— Хочу попросить служанку передать ему в знак благодарности эту ветку сирени. Разве нельзя?

— Нельзя, — отрезал лейтенант.

После обеда гости разбрелись кто куда — кто по комнатам, кто на веранду, а некоторые даже в сад. Юханнес спустился в гостиную, выходящую окнами в сад. Здесь уже сошлись несколько курильщиков, сосед-помещик и еще какой-то господин, вполголоса рассказывавший о денежных делах хозяина Замка. Усадьба запущена, ограда развалилась, лес вырублен; ходят слухи, что хозяину трудно будет выплатить непомерно большую страховку за недвижимое и движимое имущество.

— А во сколько они застрахованы?

Помещик назвал сумму, громадную сумму.

— Впрочем, хозяева Замка никогда не стеснялись в расходах и сорили деньгами. Во что, например, обошел-

ся сегодняшний обед! Но нынче, как видно, закрома опустели — опустела даже знаменитая шкатулка с драгоценностями хозяйки, зато денежки зятя должны восстановить былое великолепие.

— А он богат?

— О-о! У него денег куры не клюют.

Юханнес снова встал и вышел в сад. Цвела сирень, аромат лунника и жасмина, нарциссов и ландышей хлынул ему навстречу. Он нашел укромный уголок возле самой ограды и устроился на камне; кусты защищали его от посторонних глаз. Он был измучен всем, что ему пришлось пережить, он смертельно устал, мысли его путались; он подумал, что надо бы пойти домой, но вяло и тупо продолжал сидеть на месте. И тут он услышал приглушенный говор на дорожке, кто-то приближался к нему, он узнал голос Виктории. Юханнес затаил дыхание и прислушался, в листве блеснул мундир лейтенанта. Жених с невестой прогуливаются вдвоем.

— Сдается мне, тут что-то не так,— говорит лейтенант.— Ты ловишь каждое его слово, волнуешься, вскрикиваешь. Что все это значит?

Она остановилась перед ним и вскинула голову.

— Хочешь знать? — спрашивает она.

— Да.

Она молчит.

— Впрочем, если это ничего не значит, мне все равно,— продолжает он.— Можешь не говорить.

Она поникла головой.

— Это ничего не значит,— говорит она.

Они идут дальше. Передернув эполетами, лейтенант громко заявляет:

— Тогда пусть поостережется. А то как бы по его физиономии не прошла рука офицера.

И они уходят в сторону беседки.

Юханнес долго сидел на камне, все такой же вялый и подавленный. Все стало ему безразлично. У лейтенанта зародились подозрения, и невеста немедля развеяла их. Она сказала все, что полагается говорить в подобных случаях, успокоила офицерское сердце и пошла дальше своей дорогой вместе с женихом. Щebetали скворцы. Ну что ж. Дай им бог долгой жизни... За обедом Юханнес произнес застольную речь в ее честь, растоптав себе сердце; нелегко ему было замять ее неуместную выходку, а она даже «спасибо» не сказала. Схватила свой бокал и осушила до дна. Ваше здоровье, глядите, мол, как

изящно я пью... Кстати сказать, приходилось ли вам смотреть сбоку на женщину, когда она пьет? Пьет хоть из чашки, или стакана, да из чего угодно. Поглядите на нее сбоку. Кривляется так, что смотреть тошно. Вытягивает губки, еле касается напитка, а если, не дай бог, вы в это время посмотрите на ее руку, места себе не находит. Вообще не советую вам смотреть на руку женщины. Она этого не выносит, сразу теряет голову. То прижмет руку к груди, то положит ее по-другому, покрасивее, и все ради того, чтобы скрыть морщинку, или кривизну пальца, или какой-нибудь не совсем изящный ноготок. Под конец она не выдержит и непременно спросит вне себя от ярости: «На что вы так смотрите?..» Однажды она поцеловала его, однажды летом. Много воды утекло с тех пор, — да полно, было ли это? И как это случилось? Кажется, они сидели на скамье, долго разговаривали, а потом пошли по улице, и он шел так близко, что даже касался ее руки. А у двери она поцеловала его. «Я люблю вас», — сказала она. А теперь она прошла мимо с другим, может, они все еще сидят в беседке. Лейтенант заявил, что намерен дать ему пощечину. Юханнес отлично все слышал, он не спал, но он не двинулся с места, не выступил вперед. Рука офицера, заявил тот. А-а, не все ли равно!..

Поднявшись с камня, Юханнес побрел к беседке. Она была пуста. С террасы его звала Камилла: в гостиной подан кофе. Юханнес пошел на ее зов. Жених с невестой сидели в гостиной, были тут и другие гости. Юханнесу подали чашку, он взял ее и устроился поодаль.

Камилла завела с ним разговор. Лицо ее так сияло, и она так доверчиво глядела на него, что он не мог устоять и разговорился сам, отвечал на ее вопросы и смеялся. Где он пропадал? В саду? Не может быть, она искала его в саду и не нашла. Тут что-то не так — в саду его не было.

— Виктория, он был в саду? — спрашивает она.

— Я его не видела, — отвечает Виктория.

Лейтенант хмуро косится на свою невесту и, чтобы предостеречь ее, нарочито громко спрашивает соседа-помещика:

— Мне помнится, вы приглашали меня в свое поместье поохотиться на вальдшнепов?

— Конечно, конечно, — отвечает помещик, — милости прошу.

Лейтенант бросает взгляд на Викторю. Она сидит в прежней позе, молчит и даже не пытается уговорить его

не ездить на охоту. Лейтенант хмурится все сильнее и нервно теревит усики.

Камилла снова спрашивает о чем-то Викторию.

Лейтенант вдруг вскакивает и говорит помещику:

— Решено, я еду с вами нынче же вечером.

И с этими словами выходит из гостиной.

За ним выходит помещик и кое-кто из гостей.

Наступает короткое молчание.

И вдруг дверь распахивается, и снова появляется лейтенант. Он необычайно возбужден.

— Ты что-нибудь забыл?— спрашивает Виктория, вставая.

Он как-то странно пританцовывает возле двери, точно не может устоять на месте, а потом, размахивая рукой, идет прямо к Юханнесу и будто ненароком ударяет его по лицу. Потом бегом возвращается назад и опять пританцовывает на пороге.

— Поаккуратнее, вы попали мне в глаз,—говорит Юханнес с сиплым смешком.

— Ошибаетесь,—заявляет лейтенант.—Я вам дал пощечину. Вы поняли? Поняли?

Юханнес вынул платок, отер им глаз и сказал:

— Никакой пощечины вы мне не дали. Вы отлично знаете, что я могу одной рукой согнуть вас пополам и сунуть в карман.

И тут же встал.

Поспешно открыв дверь, лейтенант выбежал из гостиной.

— А вот и дал!—крикнул он из коридора.—Мужлан!—И с грохотом захлопнул дверь.

Юханнес сел.

Стоя на прежнем месте, посреди комнаты, Виктория смотрела на него. Она была бледна как смерть.

— Он ударил вас?—с величайшим изумлением спросила Камилла.

— По неловкости. Он попал мне в глаз. Видите?

— Господи, глаз весь покраснел, это кровь. Нет, нет, не трите, дайте я его промою. У вас очень грубый носовой платок, уберите его, лучше я своим. Слыханное ли это дело! Прямо в глаз!

Виктория тоже протянула Юханнесу свой платок. Она не произнесла ни слова. Потом медленно подошла к стеклянной двери и остановилась возле нее, спиной к гостиной, глядя в сад. Свой платок она изорвала на узкие полоски. А еще через несколько минут она открыла дверь и молча вышла из гостиной.

На мельницу пришла Камилла, веселая и беззаботная. Она была одна. Без церемоний вошла она в маленький домик и сказала, улыбаясь:

— Извините, что я без стука. Река так шумит, что я подумала, вы все равно не услышите.— Она огляделась по сторонам и воскликнула:— Ой, как здесь чудесно. Просто чудесно. А где Юханнес? Я знакомая Юханнеса. Как его глаз?

Ей подали стул, она села.

Юханнеса позвали с мельницы. Глаз у него весь заплыл.

— Меня никто не посылал,— были первые слова Камиллы.— Мне самой захотелось сюда прийти. Вам надо по-прежнему прикладывать к глазу холодные примочки.

— Обойдется и так,— возразил он.— Благослови вас Бог за вашу доброту. Что привело вас сюда? Хотите посмотреть мельницу? Спасибо, что пришли.— Он обнял свою мать, подвел ее к Камилле и сказал:— А это моя мать.

Они спустились к мельнице. Старый мельник сорвал с головы шапку, низко поклонился и что-то сказал. Камилла не расслышала, но улыбнулась и на всякий случай ответила:

— Спасибо, спасибо! Мне очень хотелось посмотреть мельницу.

Грохот напугал ее, она схватила Юханнеса за руку и, широко раскрыв глаза, переводила настороженный взгляд с Юханнеса на его отца, словно ожидала от них объяснений. Она была как глухая. Множество колес и других мельничных приспособлений привело ее в изумление, она смеялась, в восторге дергала Юханнеса за руку и расспрашивала то об одном, то о другом. Мельницу остановили и снова пустили в ход, чтобы Камилла могла посмотреть, как это делается.

Еще долго после того, как они ушли с мельницы, Камилла продолжала говорить забавно громким голосом, словно шум колес все еще стоял у нее в ушах.

Юханнес провожал ее до Замка.

— Просто в голове не укладывается, что он посмел вас ударить,— недоумевала она.— А потом в один миг собрался и уехал на охоту с помещиком. Ужасно неприятное происшествие. Виктория всю ночь не сомкнула глаз.

— Отоспится днем,— ответил Юханнес.— Когда вы собираетесь домой?

— Завтра. А когда вы вернетесь в город?

— Осенью. Могу я увидеть вас сегодня еще раз?

Она воскликнула:

— Ну конечно! Вы рассказывали мне, что у вас есть пещера, покажите ее мне.

— Я зайду за вами,— сказал он.

На обратном пути он долго сидел на камне, погружившись в раздумье. Радостная надежда крепла в его душе.

В полдень он явился к Замку, но в дом не вошел, а послал известить Камиллу о своем приходе. Когда он ее ждал, в окне второго этажа на мгновение показалась Виктория; она внимательно посмотрела на Юханнеса, повернулась и скрылась в комнате.

Вышла Камилла, Юханнес повел ее в каменоломню и к пещере. У него было на редкость спокойное, радостное настроение, молодая девушка прогоняла его тоску, ее легкие, безмятежные слова порхали в воздухе, точно рассыпая благословения. Сегодня Юханнеса охраняли добрые духи...

— Помните, Камилла, когда-то вы подарили мне кинжал. Он был в серебряных ножнах. Я положил его в шкатулку с безделушками, потому что не знал, что с ним делать.

— А с ним и вправду нечего делать. Ну и что было потом?

— А потом я его потерял.

— Подумайте, вот невезение. Впрочем, не беда, может, мне удастся найти другой такой же. Я постараюсь.

Они повернули к дому.

— А помните, вы когда-то подарили мне медальон? Такую массивную штуку из золота. И на внутренней стороне вы написали несколько дружеских слов.

— Как же, помню.

— В прошлом году за границей я отдал ваш медальон, Камилла.

— Да что вы! Неужели отдали? А почему?

— Я отдал его на память одному молодому другу. Он был русский. Он на коленях благодарил меня за этот подарок.

— Неужели он так обрадовался? Господи, ну конечно же, он страшно обрадовался, раз он упал на колени! Я подарю вам другой медальон, и уж этот останется у вас.

Они вышли на дорогу, которая вела от Замка к мельнице.

Юханнес остановился и сказал:

— Вот у этого кустарника со мной как-то раз приключилась забавная история. В ту пору я часто бродил здесь один, был тихий летний вечер. Я прилег за кустами, думая о своем. И вдруг на дороге показались двое. Дама остановилась. Ее спутник спросил: «Почему вы остановились?» Ответа он не получил и спросил снова: «Что с вами?» — «Ничего, — ответила она. — Но вы не должны так смотреть на меня». — «Но ведь я ничего дурного не делаю — только смотрю на вас», — возразил он. «Да, — сказала она, — я знаю, что вы меня любите, но поймите, папа вам откажет: это невозможно». Он шепнул: «Вы правы, это невозможно». И тогда она сказала: «Какая у вас широкая рука! Какое широкое запястье», — и с этими словами положила руку на его запястье.

Пауза.

— А дальше что? — спросила Камилла.

— Не знаю, — ответил Юханнес. — Но почему она сказала эти слова насчет его запястья?

— Может, у него были красивые запястья. И они были прикрыты белой сорочкой. О, я, кажется, понимаю, в чем дело. Наверное, она тоже его любила.

— Камилла, — сказал он, — а если бы я очень любил вас и готов был ждать несколько лет... Я просто спрашиваю... Одним словом, я недостоин вас, но все-таки, как вам кажется, согласитесь вы стать моей женой, если я попрошу вас об этом через год или два?

Пауза.

Камилла вдруг залилась краской, смутилась и, стиснув руки, стала раскачиваться взад и вперед. Он привлек ее к себе и спросил:

— Как вам кажется? Вы согласитесь?

— Да, — ответила она и упала в его объятия.

День спустя Юханнес пришел за Камиллой, чтобы проводить ее на пристань. Он поцеловал ее маленькие руки, детские и невинные — сердце его переполняли радость и благодарность.

Виктории с ней не было.

— Почему тебя никто не провожает?

В смятении глядя на Юханнеса, Камилла рассказала, что в Замке случилось ужасное несчастье. Утром пришла

телеграмма, хозяин побелел как мертвец, старый камергер и его жена заплакали навзрыд. Вчера вечером на охоте убит Отто.

Юханнес схватил Камиллу за руку

— Убит? Лейтенант?

— Да. Тело везут сюда. Какой ужас!

Они пошли дальше, погрузившись каждый в свои мысли; только людная пристань, пароход, крики матросов заставили их очнуться. Камилла застенчиво протянула руку Юханнесу, он поцеловал ее и сказал:

— Камилла, я недостойн тебя, во всех отношениях недостойн. Но если ты согласна выйти за меня, я приложу все силы, чтобы ты была счастлива.

— Я согласна. Я всегда этого хотела, всегда-всегда.

— На днях я вернусь в город,— сказал он.— Через неделю мы увидимся.

Она поднялась на палубу. Он помахал ей рукой и продолжал махать, пока она не скрылась из виду. Повернувшись, чтобы идти к дому, он увидел Викторину, она тоже держала в руке платок и махала Камилле.

— Я немного запоздала,— сказала она.

Он не ответил. Да и что было отвечать? Выразить сочувствие по случаю ее утраты, поздравить ее, пожать ей руку? Ее голос был совершенно беззвучен, и на лице глубокая растерянность,— видно было, что она пережила сильное потрясение.

Пристань опустела.

— Глаз у вас все еще красный,— сказала она и тут же пошла прочь. Потом оглянулась.

Он все еще стоял на месте.

Тогда она вдруг вернулась и шагнула к нему.

— Отто умер,— резко сказала она, и глаза ее сверкнули.— Вы молчите, вы так уверены в себе. А он был во сто крат лучше вас, слышите? А знаете, как он умер? Его застрелили, его голову разнесло на куски, его маленькую, глупую голову. Он был во сто крат...

Она разрыдалась и в отчаянии поспешила прочь.

Поздним вечером в дом мельника постучали. Юханнес открыл дверь и выглянул— на пороге стояла Виктория, она сделала ему знак. Он вышел к ней. Она схватила его за руку и повлекла по дороге; рука ее была холодна как лед.

— Присядьте,— сказал он.— Присядьте и отдохните, вы так измучены.

Они сели.

Она прошептала:

— Что вы должны думать обо мне! Ни на одно мгновение я не оставляю вас в покое.

— Вы очень несчастны,— ответил он.— Послушайте меня, Виктория, успокойтесь. Не могу ли я вам чем-нибудь помочь?

— Ради всего святого, простите мне мои сегодняшние слова!— взмолилась она.— Я и вправду очень несчастна, несчастна уже много лет. Я сказала, что он во сто крат лучше вас, это неправда, простите меня! Он умер, и он был моим женихом, только и всего. Вы думаете, я дала согласие по доброй воле? Посмотрите сюда, Юханнес,— это мое обручальное кольцо, я получила его давно, очень, очень давно, и вот я бросаю его, бросила!— И она бросила кольцо в кусты; оба услышали, как оно упало.— Этого хотел папа. Папа беден, он совершенно разорен, а Отто рано или поздно получил бы очень много денег. «Ты должна»,— сказал мне папа. «Не хочу»,— отвечала я. «Подумай о своих родителях, подумай о Замке, о нашем родовом имени, о моей чести».— «Хорошо, я согласна»,— ответила я.— Я согласна, но подождите три года». Папа поблагодарил меня и согласился ждать, и Отто ждал, все ждали, но меня заставили надеть обручальное кольцо. Время шло, я видела, что меня ничто не спасет. «Чего еще ждать? Пусть мой муж придет»,— сказала я папе. «Благослови тебя Бог»,— ответил он и снова стал благодарить меня за то, что я дала согласие. И вот приехал Отто. Я не пошла на пристань его встречать, я стояла у окна в своей комнате и видела, как он подъехал к Замку. Тогда я бросилась к маме и упала перед ней на колени. «Что с тобой, дитя мое?»— спрашивает она. «Не могу»,— отвечаю я ей.— Не могу выйти за него, он приехал, он стоит внизу, лучше застрахуйте мою жизнь, и я утоплюсь в заливе или у плотины, это для меня легче». Мама побледнела как смерть и заплакала от жалости ко мне. Пришел папа. «Ну что же ты, дорогая Виктория, ты должна сойти вниз и встретить жениха»,— говорит он. «Не могу, не могу»,— повторяю я и снова прошу его, чтобы он сжалился надо мной и застраховал мою жизнь. Папа не ответил ни слова, сел на стул и задумался, а руки у него трясутся. Когда я это увидела, я сказала: «Приведи моего мужа, я согласна».

Голос Виктории прервался. Она вся дрожала. Юханнес взял ее другую руку и стал греть в своих.

— Спасибо,— говорит она.— Пожалуйста, Юханнес, сожмите мою руку покрепче. Пожалуйста, сожмите по-

крепче! Господи, какие у вас теплые руки! Как я вам благодарна. Только простите мне те слова на пристани.

— Я давно их забыл. Хотите, я принесу вам платок?

— Нет, спасибо. Не пойму, почему я дрожу, хотя голова у меня так и горит. Юханнес, я должна просить у вас прощения за многое...

— Нет, нет, не надо. Ну вот, вы немножко успокоились. Посидите тихо.

— За столом вы подняли за меня бокал, вы произнесли застольную речь. Я себя не помнила с той самой минуты, как вы встали, и до той, пока вы не сели. Я слышала только звук вашего голоса. Он звучал как орган, и я страдала от того, что он так волнует меня. Папа спросил, почему я крикнула вам что-то и прервала вас, он был очень недоволен. Но мама ни о чем меня не спросила, она поняла. Я давным-давно во всем открылась маме, а два года назад, когда вернулась из города, опять ей все рассказала. Это было в тот раз, что мы с вами встретились.

— Не надо говорить об этом.

— Хорошо, но только простите меня, будьте милосердны! Как мне теперь быть? Папа сейчас дома, он расхаживает взад и вперед по своему кабинету, для него это страшный удар. Завтра воскресенье, он распорядился, чтобы отпустили всех слуг, за весь день он больше не отдал ни одного распоряжения. Лицо у него стало серое, и он все время молчит, так на него подействовала смерть зятя. Я рассказала маме, что хочу пойти к вам. «Завтра утром мы с тобой обе должны поехать в город с камергером и его женой»,— сказала она. «Я иду к Юханнесу»,— говорю я ей снова. «У папы нет денег, нам втроем здесь больше жить не придется, он останется в Замке один»,— отвечает она и все время старается переменить тему. Тогда я пошла к двери. Мама посмотрела на меня. «Я иду к нему»,— сказала я в последний раз. Мама подошла ко мне, поцеловала и сказала: «Ну что же, благослови вас Господь».

Юханнес выпустил руки Виктории из своих.

— Ну вот вы и согрелись, — сказал он.

— Большое спасибо, да, да, теперь мне совсем тепло... «Благослови вас Господь»,— сказала мама. Я призналась маме во всем, она давно знает. «Кого же ты все-таки любишь, дитя мое?» — спросила она. «И ты еще спрашиваешь»,— ответила я. — Я люблю Юханнеса, его одного я любила всю жизнь, его одного... его одного...»

Он шевельнулся.

— Уже поздно. Дома, верно, беспокоятся о вас.

— Нет,— ответила она.— Они знают, что я люблю вас, Юханнес, вы, наверное, и сами почувствовали, что они знают. Но я так тосковала о вас все эти годы, что никому, никому на свете этого не понять. Я бродила по этой дороге и думала: «Лучше я буду держаться опушки леса, потому что он тоже больше любил ходить по лесу». Так я и делала. А в тот день, когда я узнала, что вы приехали, я надела светлое платье, желтое платье, я просто захворала от тревоги и ожидания и все бродила из комнаты в комнату. «Ты вся сияешь сегодня!» — сказала мама. А я ходила и твердила самой себе: «Он вернулся! Он здесь, и он прекрасен, и то и другое — правда!» А на другой день я не выдержала, снова надела светлое платье и пошла в каменоломню, чтобы увидеть вас. Помните? И я вас увидела, только я сказала вам, что собираю цветы, а я вовсе не за тем туда пришла... Вы уже не обрадовались мне, но все равно спасибо за то, что я вас увидела. С нашей последней встречи прошло больше двух лет. У вас в руке была ветка, вы сидели и размахивали ею, а когда вы ушли, я подняла ветку, спрятала ее и унесла домой...

— Виктория,— сказал он дрожащим голосом.— Никогда больше не надо так говорить.

— Не надо,— с испугом сказала она, схватив его руку.— Не надо. Вам неприятно.— Она в волнении погладила его по руке.— Да и как я могла надеяться, что вам это будет приятно. Я причинила вам столько зла. Но, может быть, пройдет время, и вы меня простите.

— Я давным-давно вас простил. Дело не в том.

— А в чем же?

Пауза.

— У меня есть невеста,— ответил он.

Х

На другой день, в воскресенье, хозяин Замка собственной персоной явился к мельнику и попросил его прийти в полдень в Замок, чтобы отвезти на пристань к пароходу тело лейтенанта Отто. Мельник озадаченно уставился на него. Тогда хозяин Замка коротко пояснил, что отпустил работников, они ушли в церковь, и дома никого из прислуги не осталось.

Как видно, хозяин Замка провел бессонную ночь, он был похож на выходца с того света и вдобавок небрит. Но он, по обыкновению, вертел в руках тросточку и держался прямо.

Надев свою лучшую пару, мельник отправился в Замок. Он запряг лошадей, а перенести тело в коляску ему помог сам хозяин Замка. Все это было проделано тихо, даже как-то таинственно, без свидетелей.

Мельник поехал к пристани. Следом за коляской шли камергер, его жена и хозяйка Замка с Викторией. Все четверо шли пешком. Хозяин Замка еще долго стоял на лестнице и махал им рукой. Ветер трепая его седые волосы.

Когда тело подняли на пароход, провожающие тоже взошли на палубу. Хозяйка Замка крикнула мельнику, чтобы он кланялся хозяину, и Виктория попросила о том же.

Пароход отчалил. Мельник долго глядел ему вслед. Был сильный ветер, море волновалось, только четверть часа спустя пароход скрылся за островами. И мельник отправился восвояси.

Он отвел лошадей в конюшню, задал им корм и решил наведаться в Замок — передать хозяину привет от жены и дочери. Но дверь на кухню оказалась заперта. Он обошел дом вокруг, чтобы войти через парадную дверь, но и она была на запоре. «Сейчас полдень, должно быть, хозяин спит», — подумал мельник. Но, поскольку он был человек обязательный и хотел исполнить свое обещание, он спустился в бывшую людскую в надежде кого-нибудь встретить и передать хозяину поклон от родных. В людской не было ни души. Он снова вышел во двор, побродил вокруг и наконец заглянул в девичью. Но и тут никого не оказалось. Замок словно вымер.

Мельник совсем уже собрался уйти, как вдруг заметил мерцанье свечи в подвале Замка. Он остановился. Сквозь маленькие зарешеченные оконца он явственно увидел человека, который спускался в подвал, неся в одной руке свечу, а в другой обитый красным шелком стул. Это был хозяин Замка. Он был выбрит и одет во фрак, точно на бал. «Постучу-ка я ему в окно и передам привет от жены», — подумал мельник, но так и застыл на месте.

Хозяин Замка посветил вокруг и огляделся по сторонам. Он вытащил откуда-то мешок не то с сеном, не то с соломой и положил поперек у самого порога. Потом полил его чем-то из лейки. Потом снес к двери ящики, солому и складную садовую лестницу и тоже их полил;

мельник обратил внимание на то, что при этом он старается не испачкать руки и одежду. Наконец он взял огарок свечи и поставил его на мешок, аккуратно обложив соломой. А потом хозяин Замка сел на стул.

Мельник, все больше изумляясь, следил за этими приготовлениями, не в силах оторвать глаз от подвального оконца. Зловещее подозрение закралось ему в душу. Хозяин Замка неподвижно сидел на стуле, глядя, как понемногу оплывает свеча; руки у него были сложены на коленях. Мельник видел, как он стряхнул пылинку с рукава своего черного фрака и снова сложил руки.

И тут у старого мельника вырвался испуганный вопль.

Повернув голову, хозяин Замка посмотрел в окно. Потом вдруг вскочил, подошел к окну и прильнул к нему. В его глазах была невыразимая мука. Рот его искривился, он с немой угрозой поднес к стеклу сжатые кулаки, потом стал грозить уже только одной рукой, а сам все отступал в глубину подвала. Вдруг он наткнулся на стул, огарок опрокинулся. И в то же мгновение вспыхнуло огромное пламя.

Мельник с криком бросился прочь. Сначала он в страхе метался по двору, не зная, что делать, потом обежал дом вокруг. Потом кинулся к подвальному оконцу, выбил стекло и стал звать хозяина; потом, наклонившись, стал трясти железные прутья, согнул их, выломал.

И тут он услышал голос из подвала, голос без слов, стон, точно с того света; дважды повторился этот стон, и мельник вне себя от ужаса отскочил от окна и бросился бежать к своему дому. Оглянуться он не смел.

Через несколько минут, когда они с Юханнесом причкались в усадьбу, весь Замок — большой старинный деревянный дом — был охвачен ярким пламенем. Прибежали еще несколько человек с пристани, но и они уже ничем не могли помочь. Все сгорело дотла.

А мельник хранил мертвое молчание.

XI

Знаете ли вы, что такое любовь? Это просто ветер, который прошелестит в розовых кустах и стихнет. Но бывает любовь — точно неизгладимая печать, она не стирается всю жизнь, не стирается до самой могилы. И ту и другую любовь создал Господь, и на его глазах любовь длилась вечно и любовь умирала.

По дороге идут две матери и беседуют между собой. Первая одета в нарядное голубое платье, потому что ее возлюбленный вернулся из дальних странствий. Другая одета в траур. У нее было три дочери, две смуглые, одна белокурая, и белокурая умерла. С тех пор прошло уже десять лет, целых десять лет, а мать все носит траур по умершей.

— Какой чудесный сегодня день! — всплескивает руками та, которая одета в голубое платье. — Меня опьяняет тепло, меня опьяняет любовь, я переполнена счастьем. Я готова раздеться донага прямо здесь, посреди дороги, и протянуть руки к солнцу, и принять его поцелуй.

Но та, которая одета в траур, молчит, она не улыбается и не отвечает.

— Неужели ты все еще оплакиваешь свою девочку? — в простоте душевной спрашивает женщина в голубом. — Ведь прошло уже десять лет, как она умерла.

Женщина в черном отвечает:

— Да. Теперь ей было бы пятнадцать.

Тогда та, которая в голубом, говорит в утешение:

— Но ведь у тебя есть еще две дочери, и они живы!

— Да, но они обе смуглянки, — рыдает та, что в трауре. — А моя покойная девочка была белокурая.

И обе матери уходят, каждая своей дорогой, унося каждая свою любовь...

Но у каждой из дочерей-смуглянок тоже была своя любовь, и любили они одного и того же человека.

Он пришел к старшей сестре и сказал:

— Я пришел просить у вас совета, потому что я люблю вашу сестру. Вчера я изменил ей, она застигла меня в тот миг, когда я целовал в коридоре вашу служанку. Она вскрикнула — это был даже не крик, а стон — и исчезла. Что мне теперь делать? Я люблю вашу сестру, ради всего святого поговорите с ней, помогите мне!

Старшая побледнела и схватилась за сердце, но потом улыбнулась, точно благословляя его, и ответила:

— Я вам помогу.

На другой день он пришел к младшей сестре, бросился к ее ногам и признался в своей любви. Она смерила его взглядом и ответила:

— Вы просите милостыню, но я, к сожалению, не могу подать вам больше десяти крон. Ступайте к моей сестре, она богаче меня.

И с этими словами она вышла, надменно вскинув голову.

Но очутившись в своей комнате, она бросилась на пол и ломала руки от любви.

Зима, на улице холод, туман, пыль и ветер. Юханнес опять в городе, в своей старой комнатухе, ветви тополей постукивают в стену деревянного дома, из окна которого он не раз любовался рассветом. Сейчас солнца не видно.

Все это время работа отвлекала его, он исписал груды бумаги, за зиму она стала еще больше. Какие только истории не разыгрывались в царстве его фантазии — бесконечная ночь, озаренная пламенем солнца.

Но день на день не приходился, бывали хорошие дни, а бывали и дурные, порой в самый разгар работы какая-то мысль, чьи-то глаза, слово, сказанное давным-давно, могли вдруг всплыть в его памяти и погасить вдохновение. И тогда он вскакивал и начинал расхаживать из угла в угол; он часто так расхаживал, на полу комнаты пролегла светлая дорожка, и она становилась светлее день ото дня...

Сегодня, когда я не могу работать, не могу думать, не могу уйти от воспоминаний, я попробую описать то, что пережил однажды ночью. Дорогой читатель, у меня сегодня на редкость тяжелый день. Идет снег, на улице ни души, все уныло, и на сердце у меня безысходная тоска. Я прошелся по улице, потом часами ходил по комнате, чтобы хоть немного успокоиться; но вот уже дело к вечеру, а мне все не лучше. В моей груди впору бы пылать огню, а я холоден и бледен, как догоревший день. Дорогой читатель, вот в таком состоянии души я попробую описать светлую и упоительную ночь. Работа успокаивает меня,—как знать, может, пройдет несколько часов, и радость вернется ко мне...

В дверь стучат, и в комнату входит Камилла Сейер, его юная невеста, с которой он тайно обручен. Юханнес откладывает перо и встает. Они улыбаются, здороваются друг с другом.

— Что же ты не спрашиваешь меня про бал?— без всяких вступлений говорит она, бросаясь на стул.— Я не пропустила ни одного танца. Бал продолжался до трех часов. Я танцевала с Ричмондом.

— Большое спасибо, что ты пришла, Камилла. Мне так горько и грустно, а ты такая веселая, наверное, это поможет мне развеяться. В каком же платье ты была на балу?

— Конечно, в красном. Господи, я ничего не помню, но, кажется, я очень много болтала и смеялась. Было так

весело. Я была в красном платье, руки открыты — ну просто по самые плечи. А Ричмонд служит при посольстве в Лондоне.

— Вот как.

— Отец и мать у него англичане, но родился он здесь. Что у тебя с глазами? Они совсем красные. Ты плакал?

— Нет, — отвечает он, смеясь. — Я слишком пристально вглядывался в свои сказки, а там очень яркое солнце. Камилла, будь хорошей девочкой и перестань рвать листок бумаги, который ты и без того уже порвала.

— О господи, я задумалась. Не сердись, Юханнес.

— Пустяки, это просто кое-какие наброски. Но постой-ка: в волосах у тебя, наверное, была роза.

— Еще бы, красная роза, почти черная. А знаешь, Юханнес, наш медовый месяц мы можем провести в Лондоне. Там вовсе не так уж плохо, как говорят. Это выдумки, будто там всегда туман.

— Откуда ты знаешь?

— От Ричмонда, он рассказывал мне об этом нынче ночью, а он-то уж знает. Ты ведь знаком с Ричмондом?

— Нет, не знаком. Когда-то он произнес тост в мою честь, у него еще были брильянтовые запонки на рубашке. Вот и все, что я помню о нем.

— Он просто прелесть. Представляешь, он подошел ко мне, поклонился и сказал: «Вы, наверное, меня не помните, фрекен!..» А знаешь, я подарила ему розу.

— Розу? Какую розу?

— Которая была у меня в волосах. Я отдала ему.

— Да ты, я вижу, влюбилась в Ричмонда.

Вся зардевшись, она стала пылко защищаться:

— Ничего подобного, ни капельки. Если человек тебе нравится и ты хорошо к нему относишься, это вовсе не значит... Фу, Юханнес, ты сошел с ума! Больше я ни разу в жизни не назову его имени.

— Господь с тобой, Камилла, я вовсе не хотел... Не думай, пожалуйста... Наоборот, я хочу поблагодарить его за то, что он тебя развлекал.

— Этого еще недоставало — попробуй только! Я никогда в жизни не скажу ему больше ни слова.

Пауза.

— Ну, ну, не будем больше говорить об этом. Ты уже уходишь?

— Да, мне пора. Как подвигается твоя работа? Мама об этом справлялась. Представь себе, я так давно не видела Викторию, а сейчас ее встретила.

— Сейчас?

— По дороге к тебе. Она мне улыбнулась. Боже, как она исхудала! Послушай, ты скоро собираешься домой?

— Да, скоро,— отвечает он, вскочив. Его лицо залилось краской.— Может, даже в ближайшие дни. Только я должен сначала кое-что дописать, я как раз придумал одну вещь, завершение моих сказок. О да, я должен, должен это написать! Вообрази себе, что ты смотришь на землю с птичьего полета — она похожа на прекрасную и диковинную папскую мантию. В ее складках бродят люди, они бродят парами, вечереет, все тихо, это час любви. Я назову свою книгу: «Из рода в род». Мне кажется, это будет грандиозная картина: я часто видел ее перед своим мысленным взором, и каждый раз мне казалось, что моя грудь разверзнется и примет в свои объятия всю землю. Вот они — люди, животные, птицы, и для каждого из них наступает час любви, Камилла. Все вокруг напоено страстным ожиданием, в глазах разгорается пламя, грудь трепещет. Землю заливают нежный румянец, стыдливый румянец всех обнаженных сердец, и ночь окрашивается этим алым румянцем. Только где-то вдали высится огромный спящий утес, он ничего не видел, ничего не слышал. А наутро Господь озаряет все вокруг лучами своего жаркого солнца. Книга будет называться: «Из рода в род».

— Вот как.

— Да. И когда я ее закончу, я приеду. Большое спасибо, что ты пришла меня проведать, Камилла. И забудь все, что я сказал. Я не имел в виду ничего дурного.

— А я и так забыла. Но я никогда больше не назову его имени. Никогда.

На другое утро Камилла приходит снова. Она бледна, взволнованна, просто сама не своя.

— Что с тобой? — спрашивает он.

— Со мной? Ничего,— торопливо отвечает она.— А люблю я *тебя*. Пожалуйста, не думай, будто со мной что-то случилось и я тебя не люблю. Но знаешь, что я решила: в Лондон мы не поедem. Что там хорошего? Этот болтун сам не знает, что говорит, туманы там гораздо чаще, чем он уверяет. Почему ты на меня так смотришь? Я ведь не назвала его имени. Лгунишка этакий, он наврал мне с три короба. Ни в какой Лондон мы не поедem.

Юханнес смотрит на нее, вглядывается пристальней.

— Хорошо, мы не поедem в Лондон,— задумчиво произносит он.

— Вот и отлично! Значит, решено. А ты уже написал эту книгу— «Из рода в род»? Боже, как это интересно. Закончи ее поскорей, Юханнес, и приходи к нам. Час любви, так ведь ты говорил? И чудесная папская мантия со складками, и алый румянец ночи, видишь, как хорошо я помню все, что ты рассказывал. В последнее время я стала реже у тебя бывать, но теперь я буду приходить каждый день и справляться, когда ты кончишь работу.

— Я кончу скоро,— отвечает он, не сводя с нее взгляда.

— А сегодня я взяла твои книги и снесла к себе в комнату. Я хочу их перечитать, мне это ничуть не скучно, я перечитаю их с удовольствием. Послушай, Юханнес, будь так добр, проводи меня до дому, не знаю, хорошо ли мне идти одной. Не знаю, вдруг кто-нибудь ждет меня на улице, расхаживает по улице и ждет. Я почти уверена...— И вдруг она начинает плакать и, запинаясь, шепчет:— Я назвала его лгунишкой, это так гадко с моей стороны. Мне очень тяжело, что я его так назвала. Он мне не лгал, наоборот, он все время... У нас во вторник будут гости, но он не придет, а ты приходи, слышишь? Обещаешь? И все-таки я не должна была говорить о нем дурно. Я не знаю, что ты обо мне подумашь...

Он ответил:

— Кажется, я начинаю понимать, что с тобой.

Она бросается к нему на шею, прижимается к его груди, дрожащая и растерянная.

— Но ведь тебя я тоже люблю!— восклицает она.— Поверь мне. Я люблю не только его, до этого дело не дошло. Когда в прошлом году ты посватался ко мне, я была так счастлива, а теперь появился он. Ничего не понимаю. Неужели я такая гадкая, Юханнес? Пожалуй, я люблю его чуточку больше, чем тебя, я тут ничего не могу поделать,— это просто нахлынуло на меня. Господи, с тех пор как я его увидела, я не сплю уже много ночей и люблю его все больше и больше. Что мне делать? Ты ведь гораздо старше меня, ты должен посоветовать. Он проводил меня сюда и теперь стоит и ждет, чтобы проводить домой, и замерз, наверное. Ты меня презираешь, Юханнес? Я его не поцеловала, нет, нет, поверь мне; я только дала ему розу. Почему ты не отвечаешь, Юханнес? Ты должен сказать, что мне делать, потому что больше я так не могу.

Юханнес сидит, не шевелясь, и слушает. Потом говорит:

— Мне нечего тебе ответить.

— Спасибо, дорогой Юханнес, спасибо, что ты не сердишься на меня,— говорит она, отерев слезы.— Только ты знай, что тебя я тоже люблю. Боже, я теперь стану приходить к тебе гораздо чаще и буду делать все, что ты захочешь. Просто его я люблю больше. Но я не хотела этого. Я не виновата.

Он молча встал и, надев шляпу, сказал:

— Пойдем?

Они спустились по лестнице.

На улице стоял Ричмонд. Это был черноволосый молодой человек с карими глазами, в которых светились молодость и радость жизни. Щеки его разругались на морозе.

— Вы озябли? — спросила Камилла, кинувшись к нему.

Голос ее звенел от волнения. Потом она метнулась назад к Юханнесу и, взяв его под руку, добавила:

— Прости, что я не спросила, не озяб ли ты. Ты ведь не надел пальто. Хочешь, я схожу за ним? Не хочешь? Ну тогда хоть застегни куртку.

И она застегнула ему куртку.

Юханнес протянул руку Ричмонду. Мысли его были далеко, словно то, что сейчас происходило, не имело к нему никакого отношения. С неопределенной улыбкой он пробормотал:

— Очень рад снова встретиться с вами.

На лице Ричмонда не было ни смущения, ни притворства. Он обрадовался Юханнесу как старому знакомому и, сняв шляпу, вежливо поклонился.

— Недавно я видел одну из ваших книг на витрине книжной лавки в Лондоне,— сказал он.— Она переведена на английский. Было так приятно увидеть ее — словно привет с родины.

Камилла шла между ними, то и дело переводя взгляд с одного на другого. Наконец она сказала:

— Так ты приходи во вторник, Юханнес. Ой, прости, что я все о своем,— добавила она со смехом. Но тут же, в раскаянии повернувшись к Ричмонду, пригласила и его.— Будут только самые близкие, Виктория с матерью тоже приглашены, а всего придет человек десять.

Юханнес вдруг остановился и сказал:

— Пожалуй, мне пора домой.

— Значит, до вторника,— ответила Камилла.

Ричмонд схватил руку Юханнеса и с чувством ее пожал.

И счастливые молодые люди продолжали свой путь вдвоем.

Женщина в голубом платье вне себя от волнения, каждую минуту она ждет из сада условленного сигнала, а в дом войти нельзя, пока не ушел ее муж. Ах, уж этот муж, этот муж, сорокалетний, да вдобавок плешивый! Какая зловещая мысль согнала нынче вечером краску с его щек и пригвоздила к стулу, на котором он сидит, сидит неподвижно, упорно, уткнувшись в газету?

Она места себе не может найти — вот пробило одиннадцатый. Детей она уже давно отослала спать, а муж все не уходит. Что, если раздастся условленный сигнал, заветный ключик откроет дверь — и мужчины столкнутся лицом к лицу и глянут друг другу в глаза! Она не смела додумать эту мысль до конца.

Забившись в самый темный угол комнаты, она ломала себе руки и, наконец, не выдержав, сказала:

— Уже одиннадцать часов. Если ты собираешься в клуб, тебе пора.

Муж сразу же вскочил, побледнев еще сильнее, и вышел из комнаты, вышел из дому.

За оградой сада он остановился и услышал тихий свист. Заскрипели шаги по гравию, в садовую калитку вставили ключ, повернули, а немного погодя на занавесях в гостиной появились две тени.

И свист, и шаги, и две тени на занавесях — все было ему давно знакомо.

Он отправился в клуб. Клуб открыт, в окнах горит свет; но он не заходит. Полчаса расхаживает он по улицам и вдоль своего сада, бесконечные полчаса. «Подожду еще немного!» — думает он и тянет еще четверть часа. Наконец он входит в сад, поднимается по лестнице и звонит в дверь собственного дома.

Служанка приоткрыла дверь и, выглянув в щелку, сказала:

— Хозяйка уже давно...

Но тут она осеклась, увидев, кто стоит перед ней.

— Легла, разумеется, — подхватил хозяин. — Передайте, пожалуйста, хозяйке, что ее муж вернулся домой.

Девушка уходит. Она стучит к хозяйке и говорит через закрытую дверь:

— Меня просили передать, что хозяин вернулся домой.

Хозяйка спрашивает из-за двери:

— Что ты сказала: хозяин вернулся? Кто просил передать?

— Сам хозяин. Он стоит на площадке.

Из комнаты хозяйки слышится беспомощный крик; потом торопливый шепот, дверь открылась и захлопнулась, потом все стихло.

Хозяин вошел в дом. Жена встретила его ни жива ни мертва.

— Клуб был закрыт,— поспешно объяснил он из жалости.— Я предупредил служанку, чтобы не напугать тебя.

Она рухнула на стул — она успокоилась, она счастлива, она спасена. В этом блаженном состоянии духа доброта взяла в ней верх, и она спросила мужа, как он себя чувствует:

— Ты так бледен. Тебе нездоровится, милый?

— Я не болен,— ответил он.

— Может, что-нибудь случилось? Ты как-то странно кривишь лицо.

Муж ответил:

— Это я улыбаюсь. Такая у меня улыбка. Отныне я хочу улыбаться на свой особый лад.

Она вслушивается в отрывистые, хриплые слова и не может понять их смысла. Что он хочет сказать?

И вдруг он сжимает ее в объятьях, как в тисках, с чудовищной силой, и шепчет ей прямо в лицо:

— А что, если мы наставим рога ему... тому, кто ушел... что, если мы наставим ему рога?

Она вскрикивает и зовет горничную. С коротким сухим смешком он выпускает жену и, широко разинув рот, хлопает себя по ляжкам.

Наутро доброе сердце опять побеждает в женщине, и она говорит мужу:

— Вчера вечером у тебя был странный припадок, я вижу, он прошел, но ты все еще бледен.

— Да,— отвечает он.— В моем возрасте потуги на остроумие обходятся дорого. Я никогда больше не буду острить.

О самой разной любви рассказал Мункен Вендт, а потом поведал еще об одной и добавил:

— Упоительней этой любви нет ничего на свете!

Новобрачные возвратились домой, долгое свадебное путешествие пришло к концу, и вот они зажили вдвоем.

Падучая звезда скатилась по небу над крышей их дома.

Летом молодые люди гуляли, тесно прижавшись друг к другу. Они собирали желтые, красные и голубые цветы и дарили их друг другу, они смотрели, как трава колеб-

лется на ветру, слушали, как в лесу поют птицы, и в каждом их слове была ласка. А зимой они катались на санях с колокольчиками, и небо было синее, а далеко в вышине по вечным просторам проносились звезды.

Так прошло много, много лет. У молодой четы родилось трое детей, но сердца их по-прежнему принадлежали друг другу, как в день первого поцелуя.

И вот муж захворал, болезнь надолго приковала гордого человека к постели и подвергла суровому испытанию терпение его жены. А когда он наконец выздоровел и встал с постели, он не узнал себя: болезнь обезобразила его, у него выпали все волосы.

Горькие мысли одолели его. И однажды он сказал жене:

— Ты, верно, меня больше не любишь?

Но жена залилась румянцем, обвинила его шею руками и, поцеловав с той же страстью, что в дни их весны, ответила:

— Я люблю тебя, люблю, как прежде. Я никогда не забуду, что твой выбор пал на меня, а не на другую, и ты подарил мне счастье.

И она пошла в свою комнату и остригла свои белокурые локоны, чтобы быть похожей на мужа, которого она любила.

И снова прошло много, много лет, молодая чета состарилась, а дети их стали взрослыми. Как прежде, супруги делили друг с другом все радости; летом они бродили по полям и смотрели, как колышется трава, а зимой, закутавшись в шубы, катались на санях под звездным небом. И сердца их были все так же пылки и счастливы, точно они испили волшебного вина.

Но вот жену разбил паралич. Старая женщина больше не могла ходить, ее приходилось возить в кресле на колесах, и это делал муж. Она невыразимо страдала от своего недуга, и горе провело на ее лице глубокие морщины.

Однажды она сказала:

— Лучше бы мне умереть. Я жалка, я безобразна, а твое лицо прекрасно. Ты не можешь меня целовать и не можешь любить меня, как прежде.

Но муж, вспыхнув от волнения, обнял ее и сказал:

— Нет, мое счастье, я люблю тебя больше жизни, люблю, как в первый день, как в первый миг, когда ты подарила мне розу. Ты помнишь? Ты протянула мне розу и посмотрела на меня своими прекрасными глазами; роза благоухала так же, как ты, а ты покраснела так же, как

она, и я был опьянен тобою. Но теперь я люблю тебя еще больше, ты прекраснее, чем в дни нашей молодости, и я всем сердцем благодарю и благословляю тебя за каждый день, что ты была со мной.

И он пошел в свою комнату и плеснул себе в лицо серной кислотой, чтобы изуродовать себя, а потом сказал жене:

— По несчастью, мне брызнула в лицо серная кислота, мои щеки в ожогах, теперь ты, наверное, разлюбишь меня.

— О мой жених, мой возлюбленный! — прошептала старая женщина, целуя ему руки. — Ты прекраснее всех на земле, мое сердце и сегодня трепещет от звуков твоего голоса, и я буду любить тебя до самой смерти.

XIII

Юханнес встретил на улице Камиллу; она была с матерью, отцом и молодым Ричмондом; остановив карету, они приветливо окликнули Юханнеса.

Камилла схватила его за руку и сказала:

— Ты не пришел к нам. А знаешь, какой у нас был бал! Тебя ждали до последней минуты, а ты не пришел.

— Я был занят, — ответил он.

— Не сердись, что я с тех пор не навестила тебя, — продолжала она. — Я непременно зайду в самые ближайшие дни, вот только Ричмонд уедет. Ах, какой у нас был бал! Виктории стало дурно, ее увезли домой, ты слышал об этом? На днях я ее навещу. Наверное, ей уже лучше, а скорее всего она совсем поправилась. Я подарила Ричмонду медальон, почти в точности такой, как твой. Послушай, Юханнес, дай мне слово, что будешь следить за печкой в своей комнате. Когда ты пишешь, ты обо всем забываешь, и у тебя холодно, как в погребке. Ты должен вызывать горничную.

— Хорошо, я буду вызывать горничную, — ответил он.

Фру Сейер тоже обратилась к Юханнесу, расспрашивая о работе. Как подвигается «Из рода в род»? Она с нетерпением ждет его очередной книги.

Юханнес вежливо ответил на все вопросы и низко поклонился. Карета тронулась. Что ему за дело до всего этого — до этой кареты, до этих людей, до этой болтовни! На душе у него вдруг стало пусто и холодно, и это чувство не покидало его до самого дома. На улице у его дверей прохаживался человек. Это был старый знакомый Юханнеса, бывший учитель из Замка.

Юханнес поздоровался с ним.

Учитель был одет в теплое, длинное, аккуратно вычищенное пальто, и вид у него был решительный и молодецватый.

— Перед вами ваш друг и коллега, — объявил он. — Дайте мне руку, молодой человек. Последнее время Господь Бог вел меня неисповедимыми путями — я обзавелся семьей, у меня дом, маленький садик, жена. На свете еще случаются чудеса. Что вы можете возразить на это?

Юханнес с изумлением посмотрел на учителя.

— Стало быть, ничего? Так вот, понимаете, я давал уроки ее сыну. У нее сын от первого брака, она была замужем, само собой, она вдова. Итак, я женился на вдове. Вы вправе заметить, что не это пророчили мне в колыбели, и однако, я женился на вдове. Наш отпрыск, стало быть, прижит ею в первом браке. Ну, словом, ходил я туда, поглядывал на сад, на вдову и предавался длительным раздумьям на сию тему. И вдруг на тебе — все это предлагают мне. «Н-да, не это пророчили тебе в колыбели», — говорю я себе, — и прочее в этом же духе, и однако, решаюсь, даю свое согласие, ибо, кто знает, может, именно это и было написано мне на роду. Так вот оно и вышло.

— Поздравляю, — сказал Юханнес.

— Стоп! Ни слова более! Я знаю, что вы намерены сказать. А как же та, первая, намерены вы сказать, неужели вы забыли вечную любовь своей юности? Именно это вы и хотели сказать. Но позвольте и мне, в свою очередь, спросить вас, высокочтимый друг, что случилось с моей первой и единственной любовью? Разве она не вышла за артиллерийского капитана? И еще один маленький вопрос: случалось ли вам хоть однажды, хоть однажды в жизни видеть, чтобы мужчина получил в жены ту, которую хотел? Мне не случалось. Слышал я рассказ об одном человеке, Господь внял его мольбам и дал ему в жены его первую и единственную любовь. Но добром это не кончилось. Почему? — спросите вы снова, и я вам отвечу: — По той простой причине, что она вскоре умерла — вскоре, поняли, ха-ха-ха! И ведь так всегда. Никто не получает в жены ту, которую хотел, а уж если свершится чудо и он ее все-таки получит, она тотчас умирает. Вот какую злую шутку играет с нами судьба. И человек вынужден искать себе другую любовь, и уж тут старается не прогадать. Не умирать же ему от этой замены. Уверяю вас, так устроено природой — люди могут вытерпеть и не такое. Взять хотя бы меня.

Юханнес сказал:

— Я вижу, вы довольны жизнью.

— Вполне, насколько это возможно. Внемлите, зрите, осязайте! Разве безбрежное море тяжелых забот оставило след на моей особе? Я обут, одет, у меня есть дом и кров, супруга и дети — я имею в виду отпрыска. Вот это я и хотел сказать. А что до моих стихов, я вам отвечу без обиняков. О мой юный коллега, я старше вас и, пожалуй, несколько щедрее одарен природой. И однако, мои стихи лежат в ящичке письменного стола. Они будут изданы после моей смерти. «Стало быть, вам от них никакого проку», — скажете вы. И снова ошибетесь, ибо в настоящее время я услаждаю ими свою семью. Вечерами, при свете лампы, я открываю ящик стола, достаю свои стихи и читаю их вслух жене и отпрыску. Ей сорок лет, ему двенадцать, оба в восторге. Кстати, если вы при случае заглянете к нам, вас угостят ужином и грогом. Считайте, что вы приглашены. Да хранит вас Бог.

Он протянул Юханнесу руку. И вдруг спросил:

— А про Викторию слышали?

— Про Викторию? Нет. То есть я слышал только, что...

— Неужели вы не замечали, как она тает и тени у нее под глазами становятся все черней?

— Я не видел ее с прошлой весны. Разве она все еще больна?

— Да, — ответил учитель с неожиданной решимостью и притопнул ногой.

— Мне только недавно сказали... Нет, я не видел, что она тает, я не встречал ее. И что же, она опасно больна?

— Очень. Может быть, она уже умерла. Понимаете?

Юханнес растерянно посмотрел на учителя, на свою дверь, словно не зная, уйти ему или остаться, опять на учителя, на его длиннополое пальто, на его шляпу; потом улыбнулся жалкой, страдающей улыбкой, как человек, врасплох застигнутый бедой.

А старый учитель продолжал угрожающим тоном:

— Еще один пример, попробуйте это отрицать. Она тоже не вышла за того, за кого хотела, за того, кто был ее суженым, можно сказать, с детских лет, за молодого, прекрасного лейтенанта. Однажды вечером он отправился на охоту, шальная пуля угодила ему в лоб — и череп разлетелся на куски. И вот он лежит бездыханный — жертва шутки, которую Господу Богу было угодно с ним

сыграть. Виктория, его невеста, начинает таять, змея гложет и точит ее сердце, и все это на глазах у нас, ее друзей. А несколько дней назад она отправляется в гости к неким Сейерам. Кстати, она говорила мне, что и вас там ждали, но вы не пришли. Так вот на том балу она ни минуты не сидела на месте, воспоминания о женихе вдруг нахлынули на нее, и она, наперекор всему, оживилась и танцевала весь вечер напролет, танцевала словно одержимая. А потом упала, пол возле нее окрасился кровью, ее подняли, унесли, отправили в экипаже домой. Она протянула недолго.

Учитель подошел вплотную к Юханнесу и решительно сказал:

— Виктория умерла.

Юханнес, как слепой, начал шарить перед собой руками.

— Умерла? Когда? Не может быть! Виктория умерла?

— Умерла,— ответил учитель.— Умерла сегодня утром, вернее, в полдень.— Он сунул руку в карман и вытащил толстый конверт.— А это письмо она просила передать вам. Вот оно. «Когда я умру»,— сказала она. Она умерла. Я вручаю вам письмо. Моя миссия окончена.

И, не прощаясь, не сказав больше ни слова, учитель повернулся, неторопливо зашагал вниз по улице и исчез.

А Юханнес остался стоять с письмом в руке. Виктория умерла. Он снова и снова громко произносил ее имя ничего не выражающим, тусклым голосом. Он посмотрел на письмо — знакомый почерк; большие и маленькие буквы, и строчки ровные, а та, что написала их, умерла!

Он вошел в парадное, поднялся по лестнице, отыскал в связке нужный ключ и отпер дверь. В комнате было темно и холодно. Он сел у окна и в свете догорающего дня стал читать письмо Виктории.

«Дорогой Юханнес,— писала она.— Когда вы будете читать это письмо, меня уже не будет в живых! Как странно — я вас больше не стыжусь и пишу вам снова, будто между нами нет никаких преград. Прежде, когда я была здорова, я скорей согласилась бы страдать все дни и ночи, чем написать вам еще раз; но теперь жизнь покидает меня, и все изменилось. Чужие люди видели, как у меня пошла горлом кровь, врач осмотрел меня и сказал, что у меня осталась только часть одного легкого, чего же мне теперь стыдиться.

Я лежу в постели и думаю о последних словах, которые сказала вам. Это было вечером в лесу. Тогда я не знала, что это мои последние слова, обращенные к вам, не то

я простилаась бы с вами и поблагодарила бы вас. А теперь я вас больше не увижу и горько сожалею, что не бросилась тогда перед вами на колени, не поцеловала ваши ноги и землю, по которой вы ступали, и не сказала вам, как безгранично я любила вас. Я лежала здесь и вчера и сегодня и все мечтала хоть немного окрепнуть, чтобы снова вернуться домой, пойти в лес и отыскать то место, где мы сидели с вами, когда вы держали мои руки в своих; тогда я могла бы лечь на землю, отыскать на ней ваши следы и покрыть поцелуями вереск. Но я не вернусь домой, если только мне не станет чуточку получше, как надеется мама.

Дорогой Юханнес! Мне так трудно привыкнуть к мысли, что вся моя земная доля была — родиться и любить вас, и вот я уже прощаюсь с жизнью. Очень странно лежать здесь и ждать своего дня и часа. Шаг за шагом я ухожу от жизни, от людей, от уличной суеты; и весны я уже больше никогда не увижу, а все эти дома, улицы, деревья в парке будут жить как ни в чем не бывало. Сегодня мне разрешили недолго посидеть в кровати и посмотреть в окно. На углу встретились двое, они поздоровались, взяли за руки, о чем-то говорили между собой и смеялись, а мне было так странно, что вот я лежу, и вижу это, и должна умереть. Я подумала: эти двое внизу не знают, что я лежу и жду своего смертного часа, но, если бы даже знали, они все равно поздоровались бы друг с другом и так же весело болтали. Вчера ночью, когда было совсем темно, мне почудилось, что мой последний час уже пробил, сердце вдруг остановилось, и мне показалось, будто я слышу издали шепот вечности. Но в следующую минуту я очнулась, ко мне вновь вернулось дыхание. Это чувство невозможно описать. Мама думает, что мне просто вспомнился шум реки и водопада у нас дома.

Господи Боже мой, вы должны знать, как я любила вас, Юханнес! Я не могла вам это показать, многое мешало мне и больше всего — мой собственный характер. Папа тоже бывал жесток к самому себе, а я его дочь. Но теперь, когда я умираю и ничего уже не поправишь, я пишу, чтобы сказать вам это. Я сама удивляюсь, зачем я это делаю, ведь вам все равно, особенно теперь, когда меня не станет; но все-таки мне хочется быть с вами рядом до последней минуты, чтобы хоть не чувствовать себя более одинокой, чем прежде. Я словно вижу, как вы читаете мое письмо, вижу все ваши движения, ваши плечи, ваши руки, вижу, как вы держите письмо перед собой и читаете. И вот уже мы не так далеки друг от

друга, думаю я. Я не могу послать за вами, на это у меня нет права. Мама еще два дня назад хотела послать за вами, но я решила лучше написать. И к тому же я хочу, чтобы вы помнили меня такой, какой я была прежде, пока не заболела. Я помню, что вы... (тут несколько слов было зачеркнуто)... мои глаза и брови; но и они не такие, как прежде. Вот и поэтому мне не хочется, чтобы вы приходили. И еще я прошу вас—не смотрите на меня в гробу. Наверное, я не так уж сильно изменюсь, только стану бледнее, и на мне будет желтое платье, и все же вам будет тяжело, если вы придете посмотреть на меня.

Много раз я принималась за это письмо и все-таки не сказала вам и тысячной доли того, что хотела. Мне так страшно, я не хочу умирать, в глубине души я все еще уповаю на Бога, вдруг мне станет немного лучше и я проживу хотя бы до весны. Тогда дни станут светлее и на деревьях распустятся листья. Если я выздоровею, я никогда больше не буду поступать с вами дурно, Юханнес. Сколько слез я пролила, думая об этом! Ах, как мне хотелось выйти на улицу, погладить камни мостовой, постоять возле каждого крыльца и поблагодарить каждую ступеньку и быть доброй ко всем. А мне самой пусть будет как угодно плохо—только бы жить. Я никогда не проронила бы ни одной жалобы, и если бы кто-нибудь ударил меня, улыбалась бы, и благодарила, и славила Бога, только бы жить. Ведь я еще совсем не жила, я ничего ни для кого не сделала, и эта непрожитая жизнь с минуты на минуту должна оборваться. Если бы вы знали, как мне тяжело умирать, может, вы сделали бы что-нибудь, сделали бы все, что в ваших силах. Конечно, вы ничего не можете сделать, но я подумала: а что, если бы вы и все люди на земле помолились за меня, чтобы Господь продлил мою жизнь, и Господь внял бы вашей молитве? О, как бы я была благодарна, я никому никогда не причинила бы больше зла и с улыбкой приняла бы все, что выпадет мне на долю,—только бы жить.

Мама сидит возле меня и плачет. Она просидела здесь целую ночь и все оплакивала меня. Это немного утешает меня, смягчает горечь разлуки. И еще я сегодня думала: а что бы вы сделали, если бы в один прекрасный день я надела нарядное платье и подошла бы к вам прямо на улице, но не для того, чтобы сказать вам что-то обидное, а чтобы протянуть вам розу, которую я купила бы заранее. Но потом я сразу же вспомнила, что никогда больше не смогу поступать так, как мне хочется, потому что

теперь уж мне не станет лучше, пока я не умру. Я теперь часто плачу, лежу и плачу, долго и безутешно. Если не всхлипывать, то в груди не больно. Юханнес, милый, милый друг, мой единственный возлюбленный на земле, приходи ко мне и побудь со мною, когда начнет темнеть. Я не буду плакать, я буду улыбаться изо всех моих сил от счастья, что ты пришел.

Но где же моя гордость, где мое мужество! Я больше не дочь своего отца; это все оттого, что у меня совсем не осталось сил. Я долго страдала, Юханнес, еще задолго до этих последних дней. Я страдала, когда вы уезжали за границу, а с тех пор, как весной мы переехали в город, каждый день был для меня неизбывной мукой. Раньше я никогда не знала, как бесконечно долго может тянуться ночь. За это время я два раза видела вас на улице; однажды вы, напевая, прошли мимо, но меня не заметили. Я надеялась встретить вас у Сейеров, но вы не пришли. Я не заговорила бы с вами, не подошла бы к вам, я была бы благодарна вам за то, что мне посчастливилось увидеть вас хоть издали. Но вы не пришли. Я подумала, что, может быть, вы не пришли из-за меня. В одиннадцать часов я начала танцевать, потому что не в силах была ждать дольше. Да, Юханнес, я любила вас, любила только вас всю свою жизнь. Это пишет вам Виктория, и Бог за моей спиной читает эти слова.

А теперь я должна проститься с вами, стало почти совсем темно, я ничего не вижу. Прощайте, Юханнес, благодарю вас за каждый прожитый мною день. Отлетая от земли, я до последней секунды буду благодарить вас и весь долгий путь шептать про себя ваше имя. Будьте счастливы и простите мне зло, которое я вам причинила, и то, что я не успела пасть перед вами на колени и вымолить у вас прощение. Я делаю это сейчас в сердце своем. Будьте же счастливы, Юханнес, и прощайте навеки. Еще раз спасибо за все, за все, за каждый день и час. Больше нет сил.

Ваша Виктория.

Зажгли лампу, и стало гораздо светлее. Я снова была в забытьи и унеслась далеко от земли. Слава богу, на этот раз мне было не так страшно, как прежде, я даже слышала тихую музыку, а главное — не было темно. Как я благодарна. Силы оставляют меня. Прощай, мой любимый...»

Под
осенней
звездой

РОМАН

Перевод
В. Хинкиса

UNDER HØSTSTJERNEN

1906



I

Вчера море было гладким, как зеркало, и сегодня оно снова как зеркало. На острове бабье лето, теплынь,— такая вокруг теплынь и благодать! — но солнца нет.

Многие годы мне был неведом этот покой, быть может, двадцать или тридцать лет, а быть может, я знал его лишь в прежней своей жизни. Но я чувствую, что некогда уже изведаль это чувство покоя, оттого и брожу здесь, и напеваю, и блаженствую, и радуюсь каждому камешку, каждой травинке, и они тоже радуются мне. Они — мои друзья.

Я иду едва приметной лесной тропкой, и сердце мое трепещет от чудесного восторга. Мне вспоминается пустынный каспийский берег, где я стоял когда-то. Все там было совсем как здесь, море лежало неподвижное, мрачное, свинцово-серое. Я иду по лесу, и слезы радости туманят мне глаза, и я повторяю снова и снова: «Господи, дай мне когда-нибудь еще вернуться сюда!»

Словно я уже там бывал.

Но как знать, вдруг я попал туда из иного времени и из иного мира, где был тот же лес и те же тропки. И я был цветком в том лесу или жуком, которому так привольно жить в ветвях акации.

И теперь я здесь. Быть может, я птицей прилетел из дальних краев. Или косточкой в каком-нибудь из дикорастущих плодов был привезен торговцем из Персии...

И вот я вдали от городской суеты, и толчеи, и газет, и многолюдства, я убежал оттуда, потому что меня опять потянуло в глушь и тишину. «Увидишь, здесь тебе будет хорошо», — думаю я, исполненный этой благой надежды. Ах, такое уже не раз бывало со мной, я бежал из города и возвращался туда. И бежал снова.

Но теперь я решился твердо — и обрету покой, чего бы это ни стоило. Живу я покамест у старухи Гунхильды, в ее ветхой лачуге.

Рябины в лесу унижены алыми ягодами, тяжелые гроздья обрываются и с глухим стуком падают на землю. Рябины сами снимают с себя урожай и сами себя сеют, расточая свое невиданное изобилие из года в год; на каждом дереве я насчитываю больше трех сотен гроздьев. А вокруг, по пригоркам, еще стоят цветы, они отжили свое, но упрямо не хотят умирать.

Но ведь старуха Гунхильда тоже отжила свое, а она и не думает умирать! Поглядеть на нее, так смерть над ней словно и не властна. В пору отлива, когда рыбаки смолят сети или красят лодки, старуха Гунхильда подходит к ним, и, хотя глаза ее совсем потухли, торговаться она умеет не хуже заправских перекупщиков.

— В какой цене нынче макрель? — спрашивает она.

— В той же, что и вчера, — отвечают ей.

— Ну и подавитесь своей макрелью! — Гунхильда поворачивает назад.

Но рыбаки прекрасно знают, что Гунхильда не шутит, она уже не раз уходила от них прямой дорогой в свою лачугу, даже не оглянувшись. «Эй, обожди-ка!» — окликают они ее и сулят сегодня накинуть седьмую макрель в придачу к полдюжине, по старой дружбе.

И Гунхильда берет рыбу...

На веревках сушатся красные юбки, синие рубахи и исподнее белье невиданной толщины; все это прядут и ткут на острове старухи, которые доживают здесь свой век. А рядом висят тонкие блузки без рукавов, в таких тотчас посинеешь от холода, и шерстяные кофточки, которые растягиваются, как резинка.

Откуда взялись тут эти диковинки? Их привезли из города дочери здешних жителей, молоденькие девчонки, которые побывали там в услужении. Если их стирать пореже и с осторожностью, они целый месяц будут как новехонькие! А когда прохулятся, сквозь дыры так соблазнительно просвечивает тело.

Но уж у старухи Гунхильды башмаки добротные, без обмана. Время от времени она отдает их одному рыбаку, такому же старому и суровому, как она сама, и он смазывает их от подметок до самого верха особой мазью, которую никакая вода не примет. Я видел, как варится эта мазь, в нее входят сало, деготь и смола.

Вчера в пору отлива я бродил по берегу и среди щепок, ракушек и камней нашел осколок зеркала. Как он сюда попал, не знаю; но есть в этом что-то странное и непостижимое. Не мог же какой-нибудь рыбак подплыть сюда, положить его на берег и уехать! Я не тронул его — это был осколок обыкновенного зеркального стекла, тусклого и толстого, какое вставляли некогда в окна трамвайных вагонов. В те времена даже зеленое бутылочное стекло было редкостью — благословенная старина, когда хоть что-то было редкостью!

С южной оконечности острова, от рыбацких хижин, тянет дымом. Уже вечер, хозяйки варят кашу. А сразу же после ужина уважающие себя люди лягут спать, чтобы встать чуть свет. Только легкомысленные юнцы шатаются от порога к порогу и без толку тратят время, не разумея собственной пользы.

II

Сегодня утром на лодке приплыл человек, который подрядился выкрасить лачугу Гунхильды. Но Гунхильда, совсем дряхлая и разбитая ревматизмом, попросила его сперва наколоть впрок дров для кухонной плиты. Я сам не раз предлагал ей это; но она забрала себе в голову, что я слишком хорошо одет, и ни за что не хотела дать мне топор.

Приезжий маляр — коренастый, рыжеволосый, гладко выбритый. Я стою у окна и гляжу, как он управляется с работой. Приметив, что он бормочет себе под нос какие-то слова, я тихонько выхожу за дверь и прислушиваюсь. Когда он промахнется, то помалкивает, а когда попадает себе по коленке, злится и чертыхается: «А, черт, будь ты неладен», — но тотчас озирается и делает вид, будто просто напевает что-то.

Этого маляра я знаю. Только никакой он не маляр, он мой приятель Гринхусен, мы с ним вместе работали в Скрейе на прокладке дороги.

Я подхожу к нему, напоминаю об этом и завожу разговор.

Много лет прошло с тех пор, как мы с Гринхусеном строили дорогу, то было в дни нашей ранней молодости, мы ходили тогда в рваных башмаках и ели что придется, когда у нас заводилось хоть сколько-нибудь денег. А если после этого кое-что оставалось в кармане, мы устраивали

настоящий пир и всю субботнюю ночь танцевали с девчонками, к нам сходились другие рабочие, и мы выпивали столько кофе, что хозяйка оставалась в немалом барыше. А потом мы, не унывая, усердно работали всю неделю, до следующей субботы. Перед рыжим Гринхусеном ни одна девчонка не могла устоять.

Помнит ли он те времена, когда мы работали вместе?

Он пристально глядит на меня и молчит, но мало-помалу я заставляю его припомнить все.

Да, он помнит Скрейю...

— А помнишь Андреаса Фила и Спираль? А Петру помнишь?

— Это которую же?

— Ну Петру. Ведь у вас с ней была любовь.

— Да, конечно. Помню. Мы потом долго не расставались.

И Гринхусен снова берется за топор.

— Значит, вы долго не расставались?

— Ну да. Иначе нельзя было. А ты, я вижу, теперь важная птица.

— С чего ты взял? Это потому, что я так одет? А у тебя разве нет праздничного платья?

— Сколько ты за него отдал?

— Уж не помню, кажется, не слишком много, но вот сколько, право слово, не скажу.

Гринхусен смотрит на меня с удивлением и смеется.

— Не помнишь, сколько отдал?— Он вдруг становится серьезен, качает головой и говорит:— Ну нет, это невозможное дело. Вот что значит быть человеком со средствами.

Выходит старуха Гунхильда и, видя, что мы болтаем возле колоды, велит Гринхусену начинать красить.

— Стало быть, теперь ты взялся малярничать,— говорю я.

Гринхусен не отвечает, и я понимаю, что сболтнул лишнее.

III

Час-другой он орудует кистью, и вот уже северная стена лачуги, обращенная к морю, сверкает свежей краской. В полдень, когда наступает час отдыха, я подношу Гринхусену стаканчик, а потом мы ложимся на землю, покуриваем и болтаем.

— Вот ты говоришь, я взялся малярничать. Нет, какой из меня маляр,— объясняет он.— Но если меня кто подрядит выкрасить дом, отчего не выкрасить, это можно. Если меня кто подрядит, я всякую работу сделаю, отчего ж. А водка у тебя забористая.

Жена Гринхусена живет с двумя детьми в миле от острова, и каждую субботу он ездит к ним; а две старшие дочери уже взрослые, одна вышла замуж, и Гринхусен стал дедушкой. Когда он дважды выкрасит лачугу Гунхильды, то уйдет к пастору рыть колодец; в здешних краях всегда найдется работа. А когда наступит зима и земля промерзнет, он пойдет в лесорубы или просто будет бездельничать, дожидаясь, покуда подвернется какое-нибудь дело. Семейей он не слишком обременен и работает себе на пропитание не сегодня, так завтра.

— По-настоящему, надо бы мне купить инструмент для каменной кладки,— сказал Гринхусен.

— Значит, ты еще и каменщик?

— Ну нет, этого нельзя сказать. Но колодец ведь надо выложить камнем, как полагается...

Я, по своему обыкновению, иду бродить по острову и думаю о всякой всячине. Покой, покой, от каждого дерева веет на меня блаженным покоем. Птичек уже почти не видать, только вороны бесшумно порхают с места на место. Да тяжелые гроздья рябины падают и тонут во мху.

Быть может, прав Гринхусен, не сегодня, так завтра человек может заработать себе на пропитание. Вот уж две недели я не читаю газет, и ничего не случилось, я жив-здоров, и на душе у меня много спокойней, я напеваю, брожу с непокрытой головой, гляжу вечерами на звездное небо.

Восемнадцать лет я прожил в городе, и если вилка в кафе казалась мне недостаточно чистой, я требовал другую, а здесь, у Гунхильды, мне такое и в голову не придет! «Вот погляди,— говорю я себе,— когда Гринхусен раскуривает трубку, он держит спичку, покуда она не догорит почти вся, и его грубые пальцы не чувствуют ожога». А еще я заметил, что когда по руке у него ползет муха, он не сгоняет ее и, может, даже вовсе не замечает. Вот так всегда нужно не замечать мух...

Вечером Гринхусен садится в лодку и уезжает. Начинается отлив, я брожу по берегу, напеваю, швыряю камешки в воду и выуживаю из воды щепки. Небо все в звездах, светит луна. Вскоре Гринхусен возвращается, в лодке

у него полный набор инструментов. «Наверное, украл где-нибудь»,— думаю я. Мы взваливаем инструменты на плечи, уносим их и прячем в лесу.

Уже поздно, и мы расходимся по домам.

На следующий день лачуга выкрашена; но Гринхусен, чтобы полностью отработать поденную плату, уходит до шести часов в лес за дровами. Я беру лодку Гунхильды и отправляюсь рыбачить, чтобы мне не пришлось с ним прощаться. Я ничего не поймал, но весь продрог и поминутно поглядываю на часы. Около семи я решаю: «Наверное, он уже уехал»,— и гребу обратно. Гринхусен уже на дальнем берегу, он кричит и машет мне рукой.

У меня становится тепло на душе, я словно слышу зов юности и вспоминаю Скрейю, а ведь с тех пор целая жизнь прошла.

Я подгребаю к нему и спрашиваю:

— Ты станешь рыть колодец один?

— Нет, мне нужен подручный.

— Возьми меня!— говорю я.— Обожди, я только съезжу уплатить хозяйке.

Когда я уже на полпути к острову, Гринхусен кричит:

— Брось!.. Ночь уже скоро. Да и не пошутил ли ты часом?

— Говорю тебе, обожди минутку. Я сейчас.

И Гринхусен остается ждать на берегу. Наверное, он вспомнил, что у меня еще осталась в бутылке забористая водка.

IV

В усадьбу пастора мы приходим в субботу. Гринхусен долго раздумывал, но все же взял меня в подручные, я купил припасы и рабочую одежду, теперь на мне блуза и высокие сапоги. Я свободен, никто здесь меня не знает, я выучился ходить широким, твердым шагом, а внешность у меня всегда была вполне рабочая— и лицо и руки. Жить мы будем в усадьбе, а стряпать можно в пивоварне.

Мы начали копать колодец.

Я хорошо справлялся с работой, и Гринхусен остался мной доволен.

— Увидишь, из тебя выйдет толк,— сказал он.

Через несколько времени к нам подошел пастор, и мы поздоровались. Это был пожилой, приветливый человек,

говорил он негромко и рассудительно; вокруг глаз у него сеткой разбегались бесчисленные морщинки, оттого что он всегда ласково улыбался. Он извинился, что отрывает нас от дела, но куры без конца залезают в сад, так что придется сперва поправить забор.

Гринхусен согласился заняться этим.

Когда мы взялись чинить поваленный забор, из дома вышла девушка и стала смотреть, как мы работаем. Мы поклонились ей, и я заметил, что она недурна собой. Вслед за ней вышел подросток, остановился подле забора и сразу же засыпал нас вопросами. Оказалось, что они с девушкой брат и сестра. Они стояли, глядя на нас, и мне так славно было работать с ними рядом.

Наступил вечер. Гринхусен отправился домой, а я остался в усадьбе. Ночевал я на сеновале.

На другой день было воскресенье. Из скромности я не решился вырядиться в городское платье, но еще с вечера старательно почистил свою блузу, а когда наступило теплое воскресное утро, пошел к пасторскому дому. Я перебросился словечком с работниками, пошутил со служанками; а когда зазвонил церковный колокол, испросил разрешения воспользоваться молитвенником, и пасторский сын вынес его мне. У самого рослого из батраков я взял куртку, которая все-таки оказалась мне тесна, но я кое-как натянул ее на себя, сняв блузу и фуфайку. А потом я пошел в церковь.

Душевный покой, который я обрел на острове, было легко возмутить; когда зазвучал орган, я растрогался и едва не заплакал. «Не смей распускаться, у тебя просто нервы не в порядке»,— сказал я себе. Отойдя в дальний угол, я постарался, как мог, скрыть свое волнение. И был рад, когда служба кончилась.

Я сварил себе мяса на обед, а потом меня пригласили на кухню пить кофе. Когда я там сидел, вошла давешняя девушка, я встал, поздоровался, и она ответила на мой поклон. Она была прекрасна, потому что юность всегда прекрасна, и у нее были такие красивые руки. Вставая из-за стола, я совсем забылся и сказал:

— Спасибо вам, прекрасная фрекен, вы были так добры!

Она поглядела на меня с удивлением, нахмурила брови и густо покраснела. Потом все же справилась с собой и поспешно вышла из кухни. Такая юная, совсем еще девочка...

А я хорош, нечего сказать!

Проклинаю себя, я побрел в лес, подальше от людских глаз. Вот дурак, вот наглец, не мог придержать язык. Пошлый болтун!

Пасторская усадьба стояла на лесистом склоне, а плоская вершина холма была расчищена под пашню. Мне пришло в голову, что хорошо бы колодец выкопать наверху и проложить к дому водопровод. Я прикинул высоту холма и решил, что уклон вполне достаточен; возвращаясь домой, я измерил расстояние шагами, получилось примерно двести пятьдесят футов.

Впрочем, что мне до этого колодца? Довольно глупостей, знай свое место, а то опять сунешься куда не просят и сболтнешь лишнее!

V

В понедельник утром вернулся Гринхусен, и мы стали копать колодец. Старик пастор снова вышел к нам и попросил врыть столб у дороги в церковь. Столб стоял там и раньше, на нем вывешивались всякие объявления, но его повалило ветром.

Мы врыли новый столб, употребив все старания, чтобы он стоял ровно, а сверху приладили цинковый колпак от дождя.

Пока я приколачивал колпак, Гринхусен сказал пастору, что столб можно выкрасить красной краской; у него были остатки краски, которой он красил лачугу Гунхильды. Но пастор предпочитал белый цвет, а Гринхусен так глупо настаивал, пришлось мне самому сказать, что белые бумажки будут лучше видны на красном столбе. Пастор улыбнулся, и бесчисленные морщинки разбежались у него вокруг глаз.

— Что ж, пожалуй, ты прав,— сказал он.

О большем я и не мечтал: его улыбка и похвала польстили мне, и я был счастлив.

Пришла пасторская дочка и завела с Гринхусеном разговор, ей хотелось знать, что за кардинала в красной мантии он здесь поставил. А меня она словно не замечала и даже не ответила, когда я поклонился.

За обедом я с трудом скрывал отвращение. И вовсе не из-за плохого кушанья,— просто у Гринхусена была отвратительная манера есть суп, и губы у него лоснились от жира. «Воображаю, что будет, когда он примется за кашу!» — подумал я нервно.

После обеда Гринхусен растянулся на скамье, предвкушая отдых после сытной еды, и тут я, не выдержав, крикнул ему:

— Слушай, ты бы хоть рот утер!

Он поглядел на меня, утерся, потом поглядел на свою ладонь.

— Рот? — переспросил он.

Я поспешил сгладить неприятное впечатление от своих слов и пошутил:

— Ха-ха-ха! Ты попался на удочку, Гринхусен!

Но я был недоволен собой и поспешил выйти из пивоварни.

«Ладно, пускай, — подумал я, — а все равно этой молодой красотке придется отвечать на мои поклоны. Скоро она увидит, на что я способен». Ведь я уже обдумал во всех подробностях, как провести от колодца водопровод. У меня не было снаряда, чтобы определить уклон холма, и я принялся мастерить его своими руками. Я изготовил деревянную трубку, приделал к ее концам два обыкновенных ламповых стекла, заполнил их водой и замазал глиной.

У пастора то и дело находилась всякая мелкая работа: выяснилось, что надо то поправить каменную лестницу, то укрепить фундамент; а там приспела пора возить с поля хлеб, и пришлось чинить прогнивший мостик у амбара. Пастор любил порядок, а нам было все равно, что делать, так как платил он поденно. Но Гринхусен с каждым днем все больше меня раздражал. Он резал хлеб сальным ножом, прижимая буханку к груди, и беспрерывно облизывал лезвие, а я не мог этого видеть; к тому же мылся он только по воскресеньям, а всю неделю ходил грязный. Утром и вечером на его длинном носу обычно висела блестящая капля. А какие у него были ногти! А уши — ужас, да и только.

Но, увы, я сам был выскочкой и хорошим манерам выучился в кафе. Часто я не мог удержаться, ругал своего товарища за нечистоплотность, отчего между нами возникла неприязнь, и я чувствовал, что скоро нам придется расстаться. Мы едва разговаривали друг с другом.

Колодец до сих пор не вырыт. Наступило воскресенье, и Гринхусен отправился домой.

Мой снаряд был уже готов, я залез на крышу и установил его там. Оказалось, что отметка, соответствующая высоте крыши, на много метров ниже вершины холма. Отлично. Если даже принять в расчет, что уровень воды

в колодце окажется на целый метр ниже, напор все равно будет достаточен.

Я увидел с крыши пасторского сына. Его зовут Харальд Мельцер. Что я делаю там, на крыше? Измеряю уклон холма? А для чего? Зачем мне понадобилось это знать? А можно и ему попробовать?

Я отыскал веревку метров в десять длиной и измерил холм от подошвы до вершины, а Харальд мне помогал. Потом мы снова спустились в усадьбу, я пошел к пастору и рассказал ему о своих планах.

VI

Пастор дал мне высказаться до конца и слушал со вниманием.

— Вот что я на это скажу,— заметил он с улыбкой.— Положим, ты прав. Но ведь это будет стоить недешево. А что мы выгадаем?

— До места, где мы начали копать, семьдесят шагов. А ведь служанкам придется ходить к колодцу во всякую погоду, зимой и летом.

— Так-то оно так. Но ведь на это нужно целое состояние.

— Если не считать колодца, который вам все равно необходим, весь водопровод, считая трубы и работу, обойдется не дороже двухсот крон,— сказал я.

Пастор удивился.

— Не больше?

— Нет.

Я всякий раз многозначительно медлил перед тем как ответить, словно от природы был рассудительным, таким и родился на свет; на самом же деле я давным-давно все обдумал.

— Конечно, это было бы очень удобно,— сказал пастор раздумчиво.— Кроме всего прочего, от бочки с водой на кухне всегда сырость.

— И к тому же воду еще приходится таскать в жилые комнаты.

— Ну, тут уж ничего не поделаешь. Жилые комнаты наверху.

— А мы и наверх проведем трубы.

— В самом деле? На второй этаж? А напора хватит?

Я дольше прежнего помедлил с ответом, глубокомысленно раздумывая.

— Полагаю, что можно сказать с полной уверенностью: напора хватит в избытке до самого верха,— изрек я.

— Значит, ты так полагаешь?— воскликнул пастор.— Ну, тогда пойдем, посмотрим, где ты намерен копать колодец.

Мы поднялись на холм втроем: пастор, Харальд и я. Я дал пастору взглянуть в мою трубу, и он убедился, что напора хватит с избытком.

— Надо будет мне посоветоваться с твоим товарищем,— сказал он.

Тут я, чтобы умалить достоинства Гринхусена, заявил:

— Нет, он в этом ничего не смыслит.

Пастор посмотрел на меня.

— Ты так думаешь?— сказал он.

Мы спустились с холма. Пастор говорил, ловно размышлял вслух:

— Конечно, ты прав, всю зиму приходится таскать воду. И лето тоже. Я посоветуюсь с домашними.

И он ушел в дом.

А минут через десять меня позвали к крыльцу, где собралось все пасторское семейство.

— Так это ты берешься сделать нам водопровод?— ласково спросила меня жена пастора.

Я снял шапку, вежливо и с достоинством поклонился. а пастор подтвердил: да, это он самый.

Пасторская дочка поглядела на меня с любопытством и сразу же принялась болтать с Харальдом о каких-то пустяках. А хозяйка продолжала спрашивать: неужели водопровод будет совсем как в городе, стоит только открыть кран, и сразу потечет вода? И на втором этаже тоже? Всего за двести крон? Ну, в таком случае и думать нечего, сказала она мужу.

— Ты так полагаешь? Что ж, поднимемся все вместе на холм и посмотрим.

Мы поднялись на холм, я навел трубу и дал всем поглядеть.

— Да ведь это замечательно!— сказала хозяйка.

А дочка промолчала.

Пастор спросил:

— Но есть ли здесь вода?

Я с важностью ответил, что сказать наверняка трудно, но налицо благоприятные признаки.

— Какие же?— спросила хозяйка.

— Во-первых, состав почвы. Кроме того, здесь растет ивняк и ольшаник. А ива любит влагу.

Пастор кивнул и сказал:

— Видишь, Мария, этот человек знает свое дело.

По дороге домой хозяйке вдруг взбрело в голову, что она сможет рассчитать одну служанку, когда будет водопровод. Чтобы она не передумала, я согласился.

— Конечно, в особенности на летнее время. Ведь сад можно поливать из кишки, если протянуть ее через подвальное окошко.

— Да ведь это же просто чудо! — воскликнула она.

Я удержался и не предложил провести заодно воду на скотный двор. А между тем я давно уже рассчитал, что если вырыть колодец вдвое больше и сделать отводную трубу, скотнице будет такое же облегчение, как и кухарке. Но зато и расходы вырастут чуть не вдвое. Нет, затевать такое большое дело было бы неразумно.

Но так или иначе, приходилось ждать возвращения Гринхусена. Пастор сказал, что пойдет прилечь.

VII

Нужно было подготовить Гринхусена к тому, что мы станем копать колодец на холме; я хотел отвести от себя подозрения и сказал, что это сам пастор все затеял, а я только согласился с ним. Гринхусен обрадовался, он сразу сообразил, что тут непочатый край работы, ведь придется рыть еще канавы для труб.

А в понедельник утром пастор, к моему торжеству, спросил Гринхусена как бы невзначай:

— Мы тут с твоим товарищем решили, что колодец надо выкопать на холме, а потом проложить оттуда трубы к дому. Что ты думаешь о нашей затее?

И Гринхусен вполне одобрил эту мысль.

Но когда мы все обсудили и втроем осмотрели место, где предстояло вырыть колодец, Гринхусен заподозрил, что тут без меня не обошлось, и заявил, что трубы надо класть гораздо глубже, иначе зимой они замерзнут...

— На метр тридцать, — перебил я его.

— ...и это обойдется очень дорого.

— А твой товарищ говорит, что не больше двухсот крон, — заметил пастор.

Гринхусен не умел даже считать как следует и сказал только:

— Что ж, двести крон — тоже деньги.

Я возразил на это:

— Зато когда пастор захочет переехать, ему при расчете придется уплатить меньше за аренду хутора.

Пастор вздрогнул.

— При расчете? Но я не собираюсь никуда переезжать.

— В таком случае да послужит вам этот водопровод верой и правдой всю вашу долгую жизнь,— сказал я.

Пастор пристально посмотрел на меня и спросил:

— Как тебя зовут?

— Кнут Педерсен.

— А родом ты откуда?

— Из Нурланна.

Я сразу сообразил, почему он меня спрашивает, и решил не выражаться более таким высокопарным языком, который я позаимствовал из романов.

Но так или иначе, решено было провести от колодца водопровод, и мы принялись за дело...

Теперь скучать было некогда. Поначалу я очень беспокоился, есть ли вода в том месте, где мы копаем, и плохо спал по ночам; но беспокойство оказалось напрасным, и вскоре я весь ушел в работу. Воды было много; через несколько дней нам уже приходилось по утрам вычерпывать ее ушатами. Почва на дне была глинистая, и мы вылезали оттуда перепачканные с головы до ног.

Через неделю мы начали обтесывать камни для кладки стен; этому делу мы научились в Скрейе. Еще через неделю мы добрались до нужной глубины. Вода быстро прибывала, и нам пришлось поторопиться с кладкой, иначе стены могли рухнуть и завалить нас. Неделя проходила за неделей, мы копали, тесали камень и уже приступили к кладке. Колодец получился глубокий, работа спорилась; пастор был доволен. Понемногу мои отношения с Гринхусеном наладились,— когда он убедился, что у меня нет желания получать больше, чем причитается хорошему подручному, хотя, по сути дела, всем руководил я, он тоже пошел на уступки и ел уже не так неряшливо. Лучшего мне и желать не приходилось, я твердо решил, что теперь уж меня в город ничем не заманишь!

Вечерами я шел в лес или бродил по кладбищу, читал надгробные надписи и думал о всякой всячине. Мне давно уже взбрела на ум нелепая выдумка, маленькая смешная причуда. Однажды мне попался красивый березовый корень, и я решил вырезать из него трубку

наподобие сжатого кулака, большой палец должен был служить крышкой, и мне хотелось приделать к нему ноготь, чтобы он был совсем как настоящий. А на безымянный палец я решил надеть золотое кольцо.

Глова моя была занята этими пустяками, и дурные мысли не тревожили меня. Мне незачем было больше спешить, я спокойно мечтал по вечерам и чувствовал себя хозяином своего времени. Ах, если б можно было вновь обрести благоговение перед святостью церкви и страх перед мертвецами; когда-то, давным-давно, я изведаль это таинственное чувство, такое глубокое и непостижимое, и хотел испытать его снова. Вот найду ноготь, а из могилы вдруг прозвучит голос: «Это мое!» И тогда я в ужасе брошу все и уйду со всех ног.

— Как жутко скрипит флюгер на церкви,— говорил иногда Гринхусен.

— Боишься?

Не то чтобы боюсь, но иной раз дрожь пробирает, как вспомнишь, что кладбище рядом.

Счастливец Гринхусен!

Как-то раз Харальд вызвался научить меня сажать деревья и кусты. Я этого не умел, потому что в мое время ничему такому в школе не учили; но я быстро стал делать успехи и теперь каждое воскресенье возился в саду. Сам я, в свою очередь, обучил Харальда кое-чему такому, что могло быть полезно мальчику в его возрасте, и мы с ним стали друзьями.

VIII

Все было бы хорошо, если б я не влюбился в пасторскую дочку; это чувство с каждым днем все сильнее овладевает мною. Зовут ее Элишеба, иначе Элисабет. Я не назвал бы ее красавицей, но розовые губки и голубые, наивные глаза прелестны. Элишеба, Элисабет, ты едва расцвела и смотришь на мир широко раскрытыми глазами. Однажды вечером я видел, как ты разговаривала с Эриком, молодым парнем, что работает на соседнем хуторе, и столько чудесной нежности было в твоих глазах...

А вот Гринхусен хоть бы что. В молодости ни одна девушка не могла перед ним устоять, и до сих пор он, по привычке, ходит молодцом, лихо заломив шапку. Но прыти у него, само собой, поубавилось: таков закон

природы. Ну, а если кто противится закону природы, что его ждет? Как на грех, подвернулась мне эта крошка Элисабет, к тому же никакая она не крошка, а рослая и статная, в мать. И грудь у нее такая же высокая...

С того первого воскресенья, когда я получил приглашение выпить кофе, меня больше не звали на кухню, да я и сам не хотел и старался избежать этого. Меня мучил стыд. Но однажды пришла служанка и передала мне, что нельзя всякое воскресенье удирать в лес, пожалуйста пить кофе. Так велит госпожа.

Что ж, ладно.

Надеть ли городское платье? Конечно, не плохо бы показать этой фрекен, что я по собственной воле покинул город и надел блузу, хотя у меня золотые руки и я могу провести водопровод. Но когда я нарядился, то сам понял, что рабочая блуза мне куда больше к лицу,— скинул городское платье и спрятал в мешок.

Но на кухне меня ждала вовсе не фрекен, а жена пастора. Она положила под мою чашку белоснежную салфетку и долго болтала со мной.

— Знаете, фокус, которому вы научили моего сына, обходится недешево,— сказала она со смехом.— Мальчик уже извел с полдюжины яиц.

Фокус состоял в том, чтобы поместить очищенное крутое яйцо в графин с узким горлышком, разредив в нем воздух. Это было едва ли не единственное, что я знал из физики.

— Зато опыт с палкой, которую кладут на две бумажные рогатки и ломают одним ударом, очень полезен,— продолжала она.— Правда, я в этом ничего не смыслю, но все же... А когда будет готов колодец?

— Он уже готов. Завтра с утра примемся рыть канавы.

— Много ли на это надо времени?

— С неделю. И тогда начнем класть трубы.

— Вот как!

Я поблагодарил за кофе и ушел. У нее была привычка, наверное, еще с детства, разговаривая, поглядывать искоса, хотя в словах ее не было и тени лукавства...

Листья в лесу понемногу желтели, осень давала себя знать. Зато наступила грибная пора, грибы вылезают повсюду и дружно растут— шампиньоны и моховики сидят подле пней и кочек. Тот тут, то там алеет крапчатая шляпка мухомора, который стоит на виду, ни от кого не таясь. Удивительный гриб! Растет на той же почве, что

и съедобные грибы, пьет из нее те же соки, наравне со всеми его греет солнце и поливает дождь, с виду он такой сочный и крепкий, так бы и съел, но в нем таится коварный мускарин. Когда-то мне хотелось придумать красивую легенду о мухоморе на старинный лад и сказать, будто я вычитал ее в книге.

Мне любопытно глядеть, как цветы и насекомые ведут борьбу за существование. Едва пригреет солнце, они сразу воскресают и час-другой радуются жизни; большие мухи летают быстро и легко, как в разгар лета. Здесь водятся удивительные земляные блошки, каких я прежде не видывал. Желтые, крошечные, меньше самой маленькой запятой, они прыгают на расстояние во много тысяч раз большее их собственной длины. Какая необычайная сила таится в этих крошечных тельцах! А вон ползет паучок со спинкой, похожей на золотистую жемчужину. Она такая тяжелая, что паучок лезет по былинке спиной вниз. А если встретится непреодолимое препятствие, падает на землю и начинает взбираться на другую былинку. Нет, это вовсе не паучок, а настоящее чудо, смею вас заверить. Я хочу помочь ему перевернуться и протягиваю листок, но он ощупывает листок и решает: нет, так дело не пойдет, и пятится подальше от ловушки...

Я слышу, как кто-то кличет меня в лесу. Это Харальд, который устроил для меня воскресную школу. Он задал мне урок — выучить отрывок из Понтошпидаана — и теперь хочет проверить, хорошо ли я подготовился. Когда он учит меня закону Божьему, я чувствую, что растроган, — ах, если б меня так учили в детстве!

IX

Колодец готов, канавы вырыты, пришел водопроводчик класть трубы. Он взял в подручные Гринхусена, а мне велел проложить трубы из подвала в верхний этаж.

Я рыл канаву в земляном полу, и вдруг ко мне в подвал спустилась хозяйка. Я остерег ее, что здесь можно оступиться, но она вела себя легкомысленно.

— Тут я не упаду? — спросила она, указывая рукой. — А тут?

В конце концов она оступилась и упала в яму. Мы стояли рядом. Было темно, а ее глаза еще не привыкли к темноте. Она ощупала край канавы и спросила:

— Как же мне теперь выбраться?

Я ее подсадил. Это было совсем не трудно, потому что она была стройная и легкая, хотя у нее уже была взрослая дочь.

— Поделом мне, надо быть осмотрительней,— сказала она, отряхивая платье.— Ух, как я упала... Послушай, ты не зайдешь на днях ко мне, я хочу кое-что переставить в спальне. Давай сделаем это, когда муж уйдет к прихожанам, он не любит никаких перемен. У вас тут еще много работы?

Я ответил, что на неделю или чуть побольше.

— А потом вы куда пойдете?

— На ближний хутор. Гринхусен подрядился копать там картошку...

Потом я пошел на кухню и пропилил ножовкой дырку в полу. Когда я работал там, у фрекен Элисабет как раз случилось дело на кухне, и, хотя я был ей неприятен, она пересилила себя и заговорила со мной, глядя, как я работаю.

— Подумай только, Олина,— сказала она служанке,— тебе довольно будет отвернуть кран, и потечет вода.

Но старой Олине это было не по душе.

— Слыханное ли дело, чтоб вода текла прямо в кухню!

Она двадцать лет таскала воду для всего дома, а теперь что ей делать?

— Отдыхать,— сказал я.

— Отдыхать? Человек всю жизнь должен работать в поте лица.

— Ну, тогда шей себе приданое,— сказала фрекен с улыбкой.

Она болтала глупости, как ребенок, но я был благодарен ей за то, что она поговорила с нами и побывала немного на кухне. Господи, как ловко и проворно я работал, как остроумно отвечал, как легкомысленно себя вел! До сих пор не могу забыть. А потом фрекен Элисабет опохватилась, что ей недосуг болтать, и ушла.

Вечером я, по своему обыкновению, пошел на кладбище, но там была фрекен Элисабет, и я с поспешностью свернул к лесу. Я подумал: «Может быть, она оценит мою деликатность и скажет: «Бедняжка, как благородно он поступил!» Ах, вдруг она пойдет в лес следом за мной. Тогда я встану с камня, на который присел, и поклонюсь ей. А она смутится слегка и скажет: «Я случайно шла мимо, вечер сегодня такой чудесный. А ты что тут делаешь?» И я отвечу: «Да ничего, сиюю себе просто так», —

погляжу на нее невинным взглядом да уйду. И когда она узнает, что я сижу здесь «просто так» до позднего вечера, она поймет, какая у меня тонкая душа, как я умею мечтать, и полюбит меня...

На другой вечер она опять пришла на кладбище, и у меня мелькнула самонадеянная мысль: «Она ходит сюда ради меня!» Но когда я подошел поближе, то увидел, что она убирает цветами чью-то могилу и пришла вовсе не ради меня. Я снова пошел бродить по лесу, набрел на большой муравейник и до темноты глядел на муравьев; а потом я тихо сидел и слушал, как падают еловые шишки и гроздья рябины. Я напевал себе под нос, посвистывал и размышлял, а иногда вставал и прогуливался, чтобы согреться. Проходили часы, настала ночь, а я, влюбленный без памяти, бродил с непокрытой головой, и звезды смотрели на меня с неба.

— Который час? Ведь уже поздно? — спрашивал порой Гринхусен, когда я приходил на сеновал.

— Одиннадцать, — отвечал я, хотя на самом деле было два или три ночи.

— И где тебя черти носят? Чтоб тебе пусто было. Будишь человека, которому так славно спалось.

Гринхусен переворачивается на другой бок и мигом засыпает снова. Ему-то что!

И каких только глупостей не натворит немолодой уже человек, когда влюбится. А ведь я еще мнил послужить примером для людей, желающих обрести душевный покой!

Х

Пришел незнакомый человек и потребовал назад свои инструменты. Стало быть, Гринхусен вовсе их не украл! Что за скучный и неинтересный человек этот Гринхусен, хоть бы раз сделал что-нибудь оригинальное, показал широту души.

Я сказал:

— Ты, Гринхусен, только и знаешь, что жрать да дрыхнуть. Вот пришел человек за своим инструментом. Значит, ты просто взял его на время, жалкое ты ничтожество.

— А ты дурак, — сказал Гринхусен с обидой.

Но я знал способ загладить свою грубость, и обратил все в шутку, как бывало уже не раз.

— Что ж поделаешь! — сказал он.

— Голову даю на отсечение, что ты найдешь выход, — сказал я.

— Ты так думаешь?

— Да. Если только я в тебе не ошибся.

И Гринхусен снова растаял.

После обеда я вызвался постричь его и нанес ему еще одну обиду, сказав, что надо почаще мыть голову.

— Вот ведь дожил до седых волос, а плетешь такой вздор, — сказал он.

Бог весть, может быть, Гринхусен и прав. Сам он уже дедушка, но его рыжие волосы даже не тронуты сединой...

А на сеновале, кажется, завелись привидения. Кто еще мог прибрать там и навести уют? Мы с Гринхусеном спали порознь, я купил себе два одеяла, а он всегда спал одетый, валился на сено, в чем был после работы. И вот кто-то застелил мою постель одеялами без единой морщинки, так что любо глядеть. Может, это сделала одна из служанок, чтобы научить меня аккуратности. Ну и пусть, мне все равно.

Теперь нужно пропилить дырку в полу на втором этаже, но хозяйка велела мне подождать до завтрашнего утра; пастор уйдет к прихожанам, и я ему не помешаю. Но и на другое утро дело опять пришлось отложить, потому что фрекен Элисабет надумала идти в лавку и закупить всякой всячины, а я должен был отнести покупки домой.

— Хорошо, — сказал я. — Вы идите вперед, а я приду следом.

Милая девушка, неужели она готова терпеть мое общество?

Она спросила:

— А ты найдешь дорогу?

— Конечно. Я уже не раз бывал в лавке. Мы покупаем там себе еду.

Я был весь перепачкан глиной и не мог идти в таком виде у всех на глазах, поэтому брюки я сменил, а блузу оставил, какая на мне была. И отправился вслед за ней. До лавки было с полмили; в конце пути я время от времени видел впереди себя фрекен Элисабет, но нарочно замедлял шаг, чтобы не догнать ее. Один раз она обернулась; я съезжился и дальше шел опушкой леса.

Фрекен осталась у подруги, которая жила поблизости от лавки, а я к полудню вернулся домой с покупками.

Меня позвали на кухню обедать. Дом словно вымер; Харальд куда-то ушел, девушки гладили белье, только Олина возилась у плиты.

После обеда я поднялся наверх и начал пилить отверстие в полу.

— Пойди сюда, помоги мне,— сказала хозяйка и повела меня за собой.

Мы прошли через кабинет пастора в спальню.

— Я решила передвинуть свою кровать,— сказала хозяйка.— Она стоит слишком близко от печки, и зимой мне жарко спать.

Мы передвинули кровать к окну.

— Как по-твоему, теперь будет лучше? Не так жарко?— спросила она.

Я невольно взглянул на нее, а она бросила на меня искоса лукавый взгляд. Ах! От ее близости я совсем потерял голову и слышал лишь, как она прошептала:

— Сумасшедший! Ой, нет, милый, милый... дверь...

А потом она только шептала мое имя...

Я пропилил отверстие в полу коридора и закончил работу, а хозяйка не отходила от меня ни на минуту. Ей так хотелось поговорить со мной по душам, она то смеялась, то плакала.

Я спросил:

— А картину над вашей кроватью не надо перевесить?

— Пожалуй, ты прав,— ответила она.

XI

Трубы проложены, краны ввинчены; вода сильной струей потекла в раковины. Гринхусен снова раздобыл где-то инструмент, мы заделали дыры, а еще через два дня закопали канавы, и на этом наша работа у пастора кончилась. Пастор остался нами доволен, он хотел даже вывесить на красном столбе объявление, что два мастера-водопроводчика предлагают свои услуги; но уже поздняя осень, земля вот-вот замерзнет, и работы для нас больше нет. Мы только просим пастора вспомнить о нас весной.

А теперь мы идем на соседний хутор копать картошку. Пастор взял с нас обещание, что в случае надобности мы снова к нему вернемся.

На новом месте оказалось много людей, мы не скучали, жилось нам там хорошо и весело. Но работы едва

могло хватить на неделю, а там, предстояло искать что-нибудь еще.

Однажды вечером пришел пастор и предложил мне наняться к нему в работники. Это было соблазнительно, но я поразмыслил и все-таки отказался. Мне хотелось бродить по свету, быть вольной птицей, жить случайными заработками, ночевать под открытым небом и немножко удивляться самому себе. Когда мы копали картошку, я познакомился с одним человеком и решил уйти с ним вдвоем, а Гринхусена бросить. У нас с ним было много общего, и, судя по всему, он был хороший работник; звали его Ларс Фалькбергер, но он называл себя Фалькенбергом.

Мы работали под началом у молодого Эрика, и он же отвозил картошку на хутор. Этот красивый двадцатилетний парень, очень крепкий и сильный для своих лет, держался заносчиво, потому что у его отца был собственный хутор. Между ним и дочкой пастора что-то было, так как однажды она пришла на картофельное поле и долго с ним разговаривала. А потом, уже собравшись уходить, заговорила со мной и сказала, что Олина начала привыкать к водопроводу.

— А вы сами? — спросил я.

Она из вежливости что-то ответила, но я видел, что ей неприятно со мной разговаривать.

Она была такая красивая в новом светлом пальто, которое очень шло к ее голубым глазам...

На другой день с Эриком случилась беда, лошадь понесла и долго волочила его по земле, а потом расшибла о забор. Он сильно пострадал и, когда опомнился, сразу стал харкать кровью. Фалькенбергу пришлось занять его место.

Я сделал вид, будто это несчастье очень меня огорчило, молчал и хмурился не хуже остальных, но в душе ничуть не печалился. Конечно, у меня не было никаких надежд на успех у фрекен Элисабет, но человек, который стоял на моем пути, теперь не мог мне помешать.

Вечером я пошел на кладбище, сел там и стал ждать. «Вот если б сейчас пришла фрекен Элисабет!» — думал я. Через четверть часа она в самом деле пришла, я вскочил и сделал вид, будто хочу уйти, но от растерянности не могу шагу сделать. И вдруг вся моя хитрость мне изменила, я потерял самообладание, потому что она была так близко, и сказал, сам того не желая:

— Эрик... с ним вчера случилось такое несчастье.

— Я знаю,— сказала она.

— Он разбился.

— Ну да, разбился. Но почему ты мне это говоришь?

— Мне казалось... нет, сам не знаю... Ничего, он ведь поправится. И все снова будет хорошо.

— Да, да, конечно.

Пауза.

Похоже было, что ей нравилось меня поддразнивать.

Вдруг она сказала с улыбкой:

— Ты такой странный. Зачем ты ходишь по вечерам в такую даль и сидишь здесь?

— Просто у меня такая привычка. Коротаяю время перед сном.

— И не боишься?

Ее насмешка заставила меня опомниться, я вновь обрел почву под ногами и ответил:

— Если мне чего-нибудь и хочется, так это снова выучиться дрожать.

— Дрожать! Значит, и ты читал эту страшную сказку! Где же?

— Уж и не припомню. В какой-то книжке, которая случайно попала мне в руки.

Пауза.

— А почему ты не захотел наняться к нам в работники?

— Это не по мне. Я хочу уйти отсюда вместе с одним человеком.

— Куда же вы пойдете?

— Не знаю. На восход или на закат, все равно. Такие уж мы бродяги.

Пауза.

— А жаль,— сказала она.— Нет, я не то хотела сказать, просто ты не должен был... Но говори же, что с Эриком. Ведь я для этого и пришла.

— Боюсь, что дела его плохи.

— А что говорит доктор, он поправится?

— Говорит, поправится. Но кто его знает.

— Ну что ж, спокойной ночи.

Ах, будь я молод, и богат, и красив, и знаменит, и учен... Она уходит...

В тот вечер я нашел на кладбище подходящий ноготь и спрятал его в карман. Потом я постоял немного, озираясь, прислушался — вокруг было тихо. Никто не крикнул «Это мое!»

Мы с Фалькенбергом отправились в путь. Холодный осенний вечер, высоко в небе мерцают звезды. Я уговорил Фалькенберга пойти мимо кладбища,— как это ни смешно, мне хочется видеть, горит ли свет в одном из окошек пасторской усадьбы. Будь я молод, и богат, и...

Мы шли час за часом, ноша у нас была легка, и мы, двое бродяг, еще не знали друг друга, нам было о чем поболтать. Позади осталась одна лавка, потом другая, и в вечерних сумерках мы увидели шпиль приходской церкви.

По привычке я хотел и тут заглянуть на кладбище и сказал:

— А не заночевать ли нам здесь?

— Что за глупости!— сказал Фалькенберг.— Сена полно во всяком сарае, а прогонят из сарая, лучше уж спать в лесу.

И он снова пошел вперед.

Ему было за тридцать, он был высок ростом и хорошо сложен, но слегка сутулился и носил длинные, закрученные книзу усы. Говорил он мало и неохотно, был неглуп, ловок, обладал красивым голосом, хорошо пел и вообще совсем не походил на Гринхусена. В своей речи он невероятным образом смешивал трённелагский и вальдреский говоры, а иной раз ввернет и шведское словечко, так что нельзя угадать, откуда же он родом.

Мы пришли на какой-то хутор, где собаки встретили нас лаем, и, поскольку там никто еще не ложился, Фалькенберг попросил позвать кого-нибудь из хозяев. Вышел молодой парень.

— Не найдется ли для нас работы?

— Нет.

— Но ведь изгородь у дороги, того и гляди, упадет, не хотите ли ее поправить?

— Нет. Уже осень, сами сидим без дела.

— А можно у вас переночевать?

— К сожалению...

— Хоть на сеновале...

— Нет, там спят служанки.

— Вот сукин сын,— пробормотал Фалькенберг, уходя со двора.

Мы пошли без дороги, через лесок, присматривая место для ночлега.

— А что, если вернуться на этот хутор... к служанкам? Может, они нас не прогонят?

Фалькенберг поразмыслил.

— Нет, собаки залают,— сказал он.

Мы дошли до выгона, где паслись две лошади. У одной на шее болтался колокольчик.

— Хорош хозяин, у которого лошади пасутся без присмотра, а служанки спят на сене,— сказал Фалькенберг.— Вот мы сейчас прокатимся на этих лошадаках.

Он поймал лошадь с колокольчиком, засунул в него пучок травы и мха, а потом уселся верхом. Моя лошадь была пугливее, и поймать ее оказалось не так легко.

Мы отыскиали ворота и выехали с выгона на дорогу. Одно из своих одеял я отдал Фалькенбергу, а другое подстелил под себя, но уздечку взять было негде.

Все шло как по маслу, мы проехали целую милю и были уже в соседнем приходе. Вдруг где-то впереди на дороге послышались голоса.

— Скачи за мной! — крикнул Фалькенберг, оборотясь ко мне.

Но долговязый Фалькенберг недалеко ускакал, я видел, как он вдруг ухватился за ремешок, на котором висел колокольчик, и сполз вперед, цепляясь за лошадиную шею. Мелькнула нога, задранная кверху, и он упал. К счастью, нам ничто не грозило. Просто двое влюбленных бродили по дороге и говорили друг другу нежности.

Мы ехали еще полчаса, а когда набили себе синяков и устали, слезли с лошадей да хлестнули их хорошенько, чтоб они бежали домой. Дальше мы снова пошли пешком.

«Га-га-га!» — послышалось вдали. Я узнал крик диких гусей. В детстве меня приучили стоять смиренно, сложив руки, чтобы не испугать гусей, которые тянулись над головой; этого зрелища я никогда не пропускал и теперь замер на месте. Чудесное и таинственное чувство шевельнулось в моем сердце, у меня захватило дух, я глаз не мог отвести от стаи. Вон они летят, словно плывут, рассекая небо. «Га-га!» — раздается у нас над самыми головами. И они величественно уплывают по звездному небу...

Мы нашли наконец тихий хутор и славно выпались на сеновале; спали мы до того крепко, что наутро нас застали там хозяин и его работник.

Фалькенберг не растерялся и предложил хозяину уплатить за ночлег. Он объяснил, что мы пришли поздней ночью и не хотели никого беспокоить, но пускай не думает, будто мы какие-нибудь мошенники. Хозяин денег не взял и даже пригласил нас выпить кофе на кухне. Но

работы у него не было, уборка урожая давно закончилась, и сам он со своим работником чинил заборы, чтобы не сидеть сложа руки.

ХШ

Мы скитались три дня, но не нашли никакой работы, а нам ведь надо было есть и пить, мы поиздержались и выбились из сил.

— Много ли у нас с тобою за душой осталось? Дальше так не пойдет,—сказал Фалькенберг, и из его слов было ясно, что придется промышлять воровством.

Мы поразмыслили немного и решили, что там видно будет. О пропитании беспокоиться не приходилось, всегда можно стащить курицу, а то и две; но без денег тоже никак не обойтись, надо их как-то раздобывать. Так ли, иначе ли, а надо, мы ведь не ангелы.

— Нет, я-то не ангел небесный,—сказал Фалькенберг.— Вот на мне праздничная одежда, а ведь такую и в будни не всякий наденет. Я стираю ее в ручье и жду голый, покуда она высохнет, а когда она расползается в лохмотья, я ее латаю. Надо подработать и купить другую. Так дальше не годится.

— А Эрик говорит, что ты не дурак выпить.

— Щенок твой Эрик! Само собой, иногда я выпиваю. Есть да не пить—ведь это же тоска смертная. Давай поищем усадьбу, где есть пианино.

Я смекнул: «Если есть пианино, значит, усадьба богатая, там будет чем поживиться».

Такую усадьбу мы нашли под вечер. Фалькенберг надел мое городское платье и велел мне нести мешок, а сам шел налегке, будто гулял. Он отправился прямо в комнаты с парадного крыльца и пробыл там довольно долго, потом вышел и сказал, что будет настраивать пианино.

— Что будешь?

— Тише ты,—сказал Фалькенберг.— Я не люблю хватать, но мне приходилось уже делать такую работу.

И когда он достал из мешка ключ для настройки, я понял, что он не шутит.

Мне он велел дожидаться где-нибудь неподалеку, куда он меня не позовет.

Коротая время, я стал бродить вокруг усадьбы и, когда проходил под окнами, слышал, как Фалькенберг

в комнатах ударяет по клавишам. Он не умел играть, но у него был хороший слух, он подтягивал струну, а потом ровно на столько же ослаблял. И пианино звучало ничуть не хуже прежнего.

Я разговорился с одним здешним работником, совсем еще молодым парнем. Он мне сказал, что получает двести крон в год, да еще живет на хозяйских харчах. Встает он в половине седьмого утра и идет задавать корм лошадям, а в страдную пору приходится вставать в половине шестого и работать весь день, до восьми вечера. Но он не унывает и доволен тихой жизнью в своем маленьком мирке. Как сейчас вижу его красивые, ровные зубы и чудесную улыбку, с которой он говорил о своей девушке. Он подарил ей серебряное кольцо с золотым сердечком.

— Ну и что она сказала?

— Удивилась, ясное дело.

— А ты что сказал?

— Что сказал?

— Что сказал? Сам не знаю... Сказал: носи на здоровье. Хочу еще подарить ей материи на платье...

— А она молодая?

— Да. Совсем молоденькая, и голос у нее как музыка.

— И где же она живет?

— Этого я тебе не скажу. А то пойдет сплетня по всей округе.

Я стоял перед ним, будто Александр Македонский, властитель мира, и презирал его жалкую жизнь. На прощанье я подарил ему свое шерстяное одеяло, потому что мне тяжело было носить сразу два; он сказал, что отдаст его своей девушке и ей теперь будет тепло спать.

И тогда Александр Македонский изрек:

— Не будь я тем, что я есть, быть бы мне тобой...

Фалькенберг кончил работать и вышел, вид у него был важный, и говорил он на датский манер, так что я едва понимал. Хозяйская дочка провожала его.

— Ну-с,— сказал он,— а теперь мы направим стопы к соседней усадьбе, ведь и там, без сомнения, тоже имеется пианино, которое необходимо привести в порядок. Прощайте, фрекен!— А мне он шепнул:— Шесть крон, приятель! И с соседей ихних получу еще шесть, всего, стало быть, двенадцать.

Мы отправились в соседнюю усадьбу, и я тащил мешки.

Фалькенберг не просчитался, в соседней усадьбе не захотели оказаться хуже других — пианино давно пора было настроить. Хозяйская дочка куда-то уехала, надо все кончить до ее возвращения — это будет небольшой сюрприз. Она не раз жаловалась, что пианино расстроено и на нем просто невозможно играть. Фалькенберг ушел в комнаты, а меня снова бросил на дворе. Когда стемнело, он продолжал работать при свечах. Потом его пригласили к ужину, а отужинав, он вышел и потребовал у меня трубку.

— Какую трубку?

— Вот болван! Ну ты, что на кулак смахивает.

Я неохотно отдал ему свою трубку, которую только недавно доделал, красивую трубку наподобие сжатого кулака, с ногтем на большом пальце и золотым кольцом.

— Гляди, чтоб ноготь не слишком накалялся, — шепнул я, — не то он покоробится.

Фалькенберг раскурил трубку, затянулся и ушел в комнаты. Однако он и обо мне позаботился, на кухне меня накормили и напоили кофе.

Спать я лег на сеновале.

Ночью меня разбудил Фалькенберг, он стоял посреди сарая и звал меня. Полная луна светила с безоблачного неба, и я хорошо видел его лицо.

— Ну, чего тебе?

— Вот, возьми свою трубку.

— Трубку?

— Не нужна она мне. Гляди, ноготь-то отваливается.

Я взял трубку и увидел, что ноготь покоробился.

Фалькенберг сказал:

— Этот ноготь при свете луны напугал меня до смерти. И я вспомнил, где ты раздобыл его.

Счастливцев Фалькенберг...

Наутро хозяйская дочка была уже дома, и, уходя, мы слышали, как она отбарабанила вальс на пианино, а потом вышла и сказала:

— Вот теперь дело другое. Не знаю, как мне вас благодарить.

— Фрекен довольна? — спросил мастер.

— Еще как! Стало гораздо лучше, просто сравнить невозможно.

— А не посоветует ли фрекен, куда мне обратиться теперь?

— В Эвребё. К Фалькенбергам.

— К кому?

— К Фалькенбергам. Пойдете все прямо, а там справа увидите столб... Они будут рады.

Фалькенберг уселся на крыльце и стал выспрашивать у нее всю подноготную о Фалькенбергах из Эвребё. Неужто он нашел здесь родственников, попал, можно сказать, к своим! Большое спасибо, фрекен. Ведь это неоценимая услуга.

Потом мы снова отправились в путь, и я тащил мешки.

В лесу мы сели под деревом и принялись толковать между собой. Есть ли смысл настройщику Фалькенбергу прийти к капитану из Эвребё и назваться его родственником? Я опасался и заразил своими опасениями Фалькенберга. Но, с другой стороны, жаль было упускать такой счастливый случай.

— А нет ли у тебя каких бумаг, где стояло бы твое имя? Какого-нибудь свидетельства?

— Есть, да оно ни к черту не годится, там только и сказано, что я хороший работник.

Мы подумали, нельзя ли подделать некоторые места в свидетельстве; но тогда уж лучше все переписать наново. Мол, предьявитель сего — настройщик, которому нет равных, и имя можно поставить другое, не Ларс, а, скажем, Леопольд. Кто нам мешает!

— А берешься ты написать такое свидетельство? — спросил он.

— Да, берусь.

Но тут моя разнесчастная фантазия разыгралась и все испортила. Какой там настройщик, я решил произвести его в механики, в гении, он способен ворочать большими делами и имеет собственную фабрику.

— Но фабриканту ведь свидетельство ни к чему, — прервал меня Фалькенберг и не захотел больше слушать мои выдумки. Так мы ни до чего и не договорились.

Мы понуро побрели дальше и дошли до столба.

— Ну как, пойдешь ты туда? — спросил я.

— Сам иди, — ответил Фалькенберг со злостью. — Вот возьми свою рвань.

Мы ушли уже далеко от столба, как вдруг Фалькенберг замедлил шаг и пробормотал:

— А все ж обидно уходить ни с чем. Жаль упускать случай.

— По-моему, тебе надо бы зайти их проведать. В конце концов, может статься, что ты и впрямь с ними в родстве.

— Жаль, что я не справился, нет ли у него племянника в Америке.

— А ты разве умеешь говорить по-английски?

— Помалкивай,— сказал Фалькенберг.— Заткни глотку. Сколько можно болтать!

Он накричал на меня, потому что был зол и разволновался. Вдруг он остановился и сказал решительно:

— Ладно, я пойду к нему. Давай-ка сюда трубку. Не бойся, раскуривать ее я не буду.

Мы поднялись на холм. Фалькенберг сразу напустил на себя важность, время от времени указывал трубкой то туда, то сюда и рассуждал о местоположении усадьбы. Мне было досадно, что он идет как барин, а я тащу мешки, и я сказал:

— Так ты настройщик или еще кто?

— Я, кажется, доказал, что умею настраивать фортепьяно,— процедил он сквозь зубы.— Стало быть, тут и говорить не о чем.

— Ну, а если хозяйка сама что-нибудь в этом смыслит? Возьмет и испробует инструмент?

Фалькенберг промолчал, видно было, что его одолевают раздумья. Он ссутулился и понурил голову.

— Нет, пожалуй, не стоит рисковать. Вот возьми свою трубку,— сказал он.— Спросим просто, нет ли какой работы.

XV

По счастью, в нас случилась нужда сразу же, как мы подошли к усадьбе; тамошние работники ставили высокую мачту для флага, но не могли с этим справиться, тут-то мы подоспели на помощь и легко поставили мачту. Изю всех окон на нас смотрели женские лица.

— Что, капитан дома?

— Нет.

— А его супруга?

Капитанша вышла к нам. Белокурая, высокая, она встретила нас ласково и с милой улыбкой ответила на наш поклон.

— Не найдется ли у вас какой работы?

— Право, не знаю. Боюсь, что нет. Да и муж сейчас в отсуствии.

Я подумал, что ей совестно нам отказывать, и хотел уйти, чтобы избавить ее от неловкости. Но Фалькенберг, видно, произвел на нее впечатление, он был одет так прилично, и мешок за ним носил я, поэтому она спросила, поглядывая на него с любопытством:

— А какая работа вас интересует?

— Всякая работа по хозяйству,— ответил Фалькенберг.— Изгородь поставить, канаву выкопать, поправить стену, если обвалилась...

— Но ведь время позднее, к зиме идет,— сказал один из работников у мячты.

— Да, в самом деле,— подтвердила хозяйка.— Кстати, уже полдень, не зайдете ли в дом закусить? Чем Бог послал...

— Спасибо и на этом! — сказал Фалькенберг.

Мне стало досадно, что он ответил так грубо и осрамил нас обоих. Надо было вмешаться.

— *Mille grâces, madame, vous êtes trop aimable*¹,— сказал я на языке благородных людей и снял шапку.

Она повернулась ко мне и посмотрела на меня долгим взглядом. Забавно было видеть ее удивление.

Нас отвели на кухню и хорошо накормили. Хозяйка ушла в комнаты. А когда мы поели и уже собирались уходить, она вышла снова; Фалькенберг успел оправиться от смущения и, воспользовавшись ее добротой, предложил настроить пианино.

— Так вы и это умеете? — спросила она, пораженная.

— Да, умею. Я работал по этой части неподалеку, у ваших соседей.

— У меня есть рояль. Но хотелось бы...

— Не извольте сомневаться.

— А имеется у вас какая-нибудь...

— Нет, рекомендаций я ни у кого не прошу. Не имею такой привычки. Но вы можете убедиться сами.

— Да, конечно, пожалуйста, сюда.

Она пошла вперед, а он за нею. Когда дверь открылась, я увидел, что стены увешаны картинами.

Девушки сновали по кухне и глазели на меня с любопытством; одна была очень недурна собой. Я порадовался, что с утра успел побриться.

Минут через десять Фалькенберг начал настраивать рояль. Хозяйка снова вышла на кухню и сказала:

— Так вы говорите по-французски? А я вот не умею.

¹ Тысяча благодарностей, мадам, вы очень любезны (*фр.*).

Слава богу, она не стала продолжать расспросы. Не то пришлось бы мне говорить «пardon», приводить французскую поговорку да изрекать: «Ищи женщину» и «Государство — это я».

— Ваш товарищ показал мне свидетельство,— сказала она,— и я вижу, что вы дельные люди. Право, не знаю... я могла бы послать мужу телеграмму и узнать, нет ли для вас какой-нибудь работы.

Я хотел ее поблагодарить, но не мог вымолвить ни слова и только проглотил слюну.

Нервы...

Я обошел усадьбу и поля, всюду был образцовый порядок, и урожай уже убрали; даже картофельная ботва, которая обычно остается на поле до снега, и та была сложена под навесом. Работы для нас не нашлось. Сразу видно было, что хозяйство здесь богатое.

Уже вечерело, а Фалькенберг все возился с роялем, и тогда я, прихватив еды, ушел подальше от усадьбы, чтобы не напрашиваться на приглашение к ужину. Все небо было в звездах, светила луна, но я предпочел темноту и забрался в самую глухую чащу леса. Там было тепло. Какая тишина на земле и в воздухе! Подмораживает, земля вся в инее, порой зашуршит трава, пискнет мышь, вспорхнет с дерева ворона, и снова тишина. Видел ли ты хоть раз в жизни такие чудесные белокурые волосы? Нет, никогда. Она — само совершенство, вся с головы до ног, у нее такие нежные и прелестные губы, а волосы — чистое золото. Ах, если б можно было вынуть из мешка диадему и преподнести ей! Я найду нежно-розовую ракушку, сделаю из нее ноготь и подарю ей трубку для ее мужа, да, возьму и подарю.

Фалькенберг встречает меня у ворот и торопливо шепчет:

— Пришел ответ от ее мужа, мы будем рубить лес. Ты справишься?

— Да.

— Ну ладно, ступай на кухню. Она про тебя спрашивала.

Хозяйка встретила меня словами:

— Куда же вы исчезли? Прошу к столу. Как, вы уже поужинали? Но чем?

— У нас есть кое-какие припасы.

— Помилуйте, вы это напрасно. Неужели вы даже чаю не выпьете? Решительно не хотите?.. Я получила ответ от мужа. Вам доводилось рубить лес? Вот

и прекрасно. Читайте сами: «Нужны два лесоруба, Петтер покажет делянку...»

О господи, она стояла совсем рядом, держа телеграмму в руке. И дыхание у нее было свежее, как у юной девушки.

XVI

И вот мы в лесу, нас привел сюда Петтер, один из работников капитана.

Из разговора с Фалькенбергом выясняется, что он вовсе не чувствует благодарности к хозяйке за эту работу.

— Ее и благодарить не за что,— сказал он.— На рабочие руки сейчас спрос.

Ко всему Фалькенберг оказался не очень хорошим дровосеком, а для меня это было делом привычным, пришлось мне взять Фалькенберга под начало. Он сам сказал, что будет меня слушаться.

И тогда я задумал изобрести одну штуку.

Обычно, когда двое пелят дерево, они ложатся на землю и по очереди тянут пилу на себя. Таким способом за день много не сделаешь, и к тому же остаются уродливые пни. Если же сделать устройство с конической зубчатой передачей, которое врезалось бы под самый корень, можно прилагать усилие сверху вниз, а пила при этом пойдет горизонтально. Я принялся вычерчивать детали. Больше всего пришлось поломать голову над тем, как сделать, чтобы нажим на пилу передавался плавно и не был слишком сильным. Пожалуй, этого можно добиться с помощью пружины, которая действовала бы, как в часовом механизме, или же используя тяжесть подвесной гири. Гиря имеет постоянную тяжесть, и, по мере того как пила будет уходить все глубже в дерево, она станет опускаться и обеспечит равномерный нажим. А стальная пружина будет постепенно слабеть и также регулировать нажим. Я предпочел пружину. «Вот увидишь, все прекрасно получится,— сказал я себе.— Ты прославишься и проживешь свою жизнь не зря».

День проходил за днем, мы валили деревья толщиной в девять дюймов, а потом очищали стволы от веток и сучьев. Кормили нас сытно и вкусно, мы брали с собой в лес еду и кофе, а вечером, когда мы возвращались из леса, нам подавали горячий ужин. Мы умывались, приводили себя в порядок, чтобы нас не равняли с другими

работниками, и сидели на кухне в обществе трех служанок, при свете яркой лампы. Фалькенберг начал ухаживать за Эммой.

Порой из комнат слышались чудесные звуки рояля, а иногда сама хозяйка выходила к нам, девически юная, с чудесной, ласковой улыбкой.

— Ну, как вам сегодня работалось? — спрашивала она. — Медведя в лесу не видели?

А как-то вечером она поблагодарила Фалькенберга за то, что он так прекрасно настроил рояль. Да неужели? Обветренное лицо Фалькенберга просияло от удовольствия, и я сам был горд, когда услышал его скромный ответ:

— Да, мне тоже кажется, что он стал чуточку получше.

То ли Фалькенберг сумел кое-чему научиться, то ли хозяйка просто была ему признательна и радовалась, что он хотя бы не испортил рояль.

Каждый вечер Фалькенберг надевал мое городское платье. Теперь мне уже нельзя было отобрать это платье даже на время: все подумали бы, что я взял его поносить.

— Давай меняться: бери себе платье, а мне отдай Эмму, — предложил я ему в шутку.

— Да забирай ее, сделай одолжение, — ответил Фалькенберг.

Тогда я понял, что Фалькенберг охладел к ней. Ах, мы с ним оба влюбились в ту, другую. Какие же мы были мальчишки!

— Как думаешь, выйдет она к нам вечером? — спрашивал иногда Фалькенберг в лесу.

А я отвечал:

— Хорошо, что капитан все еще в отсуствии.

— Да, — соглашался Фалькенберг. — Но если только я узнаю, что он с ней дурно обращается, ему несдобровать.

Однажды вечером Фалькенберг спел красивую песню. Я был горд за него. Вышла хозяйка и попросила спеть еще раз; в кухне зазвучал его чудесный голос, и пораженная хозяйка воскликнула:

— Ах, это бесподобно!

И тут я впервые позавидовал Фалькенбергу.

— Вы когда-нибудь учились петь? — спросила она. — Знаете ноты?

— Да, — ответил Фалькенберг. — Я посещал общество любителей пения.

«А ведь по совести ему надо бы сказать «нет», потому что ничему он не учился», — подумал я.

— Но пели вы где-нибудь? Перед публикой?

— Да, иногда на гуляньях. И еще как-то на свадьбе.

— Ну, а понимающие люди вас слушали?

— Право, не знаю. Может быть.

— Ну, спойте же еще что-нибудь!

Фалькенберг спел.

«Кончится тем, что она пригласит его в комнаты и пожелает ему аккомпанировать», — подумал я. И сказал:

— Прошу прощения, что капитан, скоро вернется?

— Но... — проговорила она с недоумением. — Но зачем вам?

— Я хотел потолковать насчет работы.

— Стало быть, вы уже срубили все, что отмечено?

— Нет, не все... осталось порядочно, да только...

— Ах так!.. — сказала она и вдруг догадалась: — Послушайте... может быть, вам дать денег?

Я растерялся и пробормотал:

— Да, будьте столь любезны.

А Фалькенберг промолчал.

— Милый мой, так бы прямо и сказали. Вот, пожалуйста. — И она протянула мне бумажку. — И вам тоже?

— Нет. А впрочем, благодарю, — ответил Фалькенберг.

Господи, опять я сел в лужу, да еще в какую! А Фалькенберг, бессовестный человек, строит из себя богача, которому деньги ни к чему! Так и сорвал бы с него мою одежду, пускай ходит голым!

Но, конечно, ничего такого я не сделал.

XVII

Шли дни.

— Если она сегодня вечером опять выйдет к нам, я спою песню про мак, — сказал Фалькенберг, когда мы работали в лесу. — Совсем позабыл про эту песню.

— А про Эмму ты тоже позабыл? — спросил я.

— Про Эмму? Ты, скажу я тебе, нисколько не поумнел.

— Да неужто?

— Я тебя давно раскусил. Ты, конечно, стал бы увиливаться вокруг Эммы на глазах у хозяйки, а я вот на такое не способен.

— Ну и врешь,— сказал я со злостью.— Никогда я не стану любезничать со служанкой.

— Я тоже не стану больше гулять по ночам. Как думаешь, выйдет она сегодня вечером? Я совсем забыл спеть ей эту песню про мак. Вот послушай.

И Фалькенберг запел.

— Напрасно ты радуешься, что вспомнил песню,— сказал я.— Ничего у нас не получится: ни у тебя, ни у меня.

— Не получится, не получится! Вот заладил!

— Будь я молод, и богат, и красив, тогда дело другое,— сказал я.

— Еще бы. Так-то проще простого. Капитан ведь сумел.

— Да, и ты. И я. И она. И все на свете. И вообще хватит трепать языком и сплетничать о ней,— сказал я, сердясь на самого себя за нелепую болтовню.— На что это похоже, два бывалых лесоруба мелют невесть что!

Оба мы осунулись, побледнели. Фалькенберг совсем извелся, лицо у него было в глубоких морщинах; к тому же мы потеряли аппетит.

Мы старались скрыть друг от друга свои чувства, я весело насвистывал, а Фалькенберг хвастался, что ест до отвала, еле ходит и едва не лопается от обжорства.

— Вы совсем ничего не едите,— говорила хозяйка, когда мы приносили домой припасы, к которым едва притрагивались.— Какие же вы лесорубы!

— Это Фалькенберг виноват,— говорил я.

— Нет, это все он,— возражал Фалькенберг.— Хочет уморить себя голодом.

Иногда хозяйка просила о какой-нибудь мелкой услуге, и мы наперебой старались ей угодить; в конце концов вскоре мы по своей охоте стали таскать воду на кухню и следили, чтобы чулан всегда был полон дров. А однажды Фалькенберг ухитрился принести из лесу ореховую палку для выбивания ковров, которую хозяйка просила принести именно меня, и никого другого.

А по вечерам Фалькенберг пел.

Тогда я замыслил возбудить у хозяйки ревность.

Эх ты, дурак несчастный, да она этого и не заметит, даже взглядом тебя не удостоит!

А все-таки я заставлю ее ревновать.

Из трех служанок только Эмма годилась для этой цели, и я принялся с ней любезничать.

— Послушай, Эмма, один человек сохнет по тебе.

— А ты откуда узнал?

— По звездам.

— Уж лучше узнал бы от кого-нибудь на земле.

— Узнал и на земле. Он сам мне сказал.

— Это он о себе,—вставил Фалькенберг, боясь, как бы она не подумала на него.

— Что ж, может быть, и о себе. *Paratum cor meum*¹.

Но Эмма бесцеремонно отвернулась и не стала со мной разговаривать, хотя я умел вести беседу лучше Фалькенберга. Как?.. Неужели даже Эмма не хочет меня знать? С тех пор я гордо замкнулся в себе, сторонился людей, все свободное время делал чертежи для своей машины и мастерил небольшие модели. По вечерам, когда Фалькенберг пел, а хозяйка его слушала, я уходил во флигель, где была людская, и оставался там. Благодаря этому я не уронил своего достоинства. Но, на мою беду, Петтер заболел, и я не мог тесать доски и бить молотком; поэтому всякий раз, как нужно было стучать, приходилось идти в сарай.

Но иногда мне приходило в голову, что хозяйка огорчена, не видя меня на кухне. По крайней мере, так мне казалось. Однажды вечером, во время ужина, она сказала:

— Я слышала от работников, что вы делаете какую-то машину?

— Да, он мастерит переносную пилу,—сказал Фалькенберг.— Но она будет слишком тяжелой.

Я ничего на это не возразил, у меня хватило хитрости и дальновидности промолчать. Всех великих изобретателей поначалу не признавали. Ну погодите, придет мое время. Между тем я не устоял перед искушением и сказал служанкам, что я сын благородных родителей, но меня погубила несчастная любовь; и вот теперь я ищу забвения в вине. Что делать, человек предполагает, а Бог располагает... Видимо, эти рассказы дошли до хозяйки.

— Пожалуй, я тоже стану ходить по вечерам во флигель,—сказал Фалькенберг.

Я сразу сообразил, в чем тут дело: теперь его все реже просили спеть, и это было неспроста.

XVIII

Приехал капитан.

Однажды к нам в лес пришел высокий человек с окладистой бородой и сказал:

¹ Сердце мое готово (*лат.*).

— Я капитан Фалькенберг. Как идут дела, ребята?

Мы почтительно приветствовали его и сказали, что, мол, спасибо, дела идут хорошо.

Он расспросил, сколько деревьев срублено и сколько еще остается, похвалил нас за то, что мы оставляем невысокие, аккуратные пни. Потом он подсчитал, сколько деревьев приходится на день, и сказал, что не больше обычного.

— Но капитан забыл вычесть воскресные дни,— заметил я.

— Ваша правда,— согласился он.— Стало быть, выходит больше обычного. А как инструмент? Пилы не ломаются?

— Нет.

— Никто не поранился?

— Нет.

Пауза.

— Вообще-то вам положено жить на своих харчах,— сказал он.— Но раз уж вы предпочли столоваться у меня, мы учтем это при окончательном расчете.

— Как будет угодно капитану, мы согласны.

— Да, мы согласны,— подтвердил Фалькенберг.

Капитан быстро обошел участок и вернулся.

— А с погодой вам очень повезло,— сказал он.— Не приходится разгрести снег.

— Да, снега нет. Вот если бы еще подморозило...

— Это зачем? Разве вам жарко?

— Бывает и жарко. Но главное, мерзлое дерево легче пилить.

— Вы давно занимаетесь этой работой?

— Давно.

— И поете тоже вы?

— К сожалению, нет. Поет он.

— Стало быть, вы? Мы с вами, кажется, однофамильцы?

— Да, в некотором роде,— ответил Фалькенберг, слегка смутившись.— Меня зовут Ларс Фалькенберг, можете поглядеть в свидетельстве.

— А откуда вы родом?

— Из Трённелага.

Капитан ушел. Держался он дружелюбно, но был немногословен и серьезен, ни улыбки, ни шутки. Лицо у него было приятное, хоть и ничем не примечательное.

С этого дня Фалькенберг стал петь только во флигеле или в лесу, на кухне он уже не пел из-за капитана. Он

приуныл, стал вести мрачные разговоры о том, что жизнь отвратительна, черт бы ее побрал, впору хоть повеситься. Но он недолго предавался отчаянью. Как-то в воскресенье он побывал на тех двух хуторах, где настраивал пианино, и попросил рекомендации. Вернувшись, он показал мне бумаги и сказал:

— В трудную минуту мы с этим не пропадем.

— Значит, ты раздумал вешаться?

— У тебя для этого больше причин,— ответил Фалькенберг.

Но и я уже не был так подавлен. Капитан узнал про мою машину и пожелал вникнуть во все подробности. Едва взглянув на чертежи, он сказал, что они никуда не годятся, потому что я набросал их на клочках бумаги кое-как, даже без циркуля; он дал мне готовальню и научил делать необходимые расчеты. Кроме того, он заметил, что пила будет слишком громоздка.

— Но это не беда, вы сделайте все по правилам,— сказал он.— Строго соблюдайте масштаб, а там посмотрим.

Я прекрасно понимал, что тщательно сделанная модель дает наглядное представление о моей машине, и, закончив чертежи, принялся мастерить модель из дерева. Токарного станка у меня не было, пришлось вырезать вручную оба вала, колеса и винты. Все воскресенье я был занят этим делом и так увлекся, что даже не слышал, как прозвонил колокол к обеду.

Пришел капитан и крикнул:

— Пора обедать!

Увидев, чем я занят, он предложил на другой же день съездить к кузнецу и заказать все необходимые части.

— Дайте мне только размеры,— сказал он.— И потом, не нужны ли вам какие-нибудь инструменты? Ага, ножовка. Разные сверла. Шурупы. Тонкое долото. Больше ничего?

Он все записал. Таких деловых хозяев мне еще не доводилось видеть.

А вечером, когда я поужинал и ушел во флигель, меня окликнула хозяйка. Она стояла на дворе, под неосвещенными окнами кухни, и пошла мне навстречу.

— Мой муж обратил внимание... он заметил, что вы слишком легко одеты,— сказала она.— Может быть, вы... возьмете вот это?

Она сунула мне в руки костюм.

Я, запинаясь, бормотал слова благодарности. Ведь я и сам смогу скоро купить себе костюм, это не к спеху, мне вовсе не надо...

— Да, конечно, я знаю, что вы можете сами купить, но ваш друг так хорошо одет, а вы... да берите же, берите.

Она поспешно ушла в дом, совсем как наивная девушка, которая испугалась, что ее сочтут слишком доброй. Я крикнул ей вслед слова благодарности.

На другой вечер капитан привез мне валы и колеса, и я воспользовался случаем поблагодарить его.

— Ах да,— сказал он.— Это все моя жена, ей вздумалось... Ну как, костюм вам впору?

— Да, как раз впору.

— Вот и прекрасно. Это все жена... Но вот вам колеса. И инструменты. Спокойной ночи.

Должно быть, оба они любили делать людям добро. А сделав добро, каждый кивал на другого. Это такая супружеская чета, какая была явлена лишь в откровениях.

ХІХ

Листья в лесу облетели, птичье пение смолкло, только вороны начинают каркать ни свет ни заря и порхают над голой землей. Мы с Фалькенбергом всякий день видим их, когда идем в лес,— годовалые птенцы, которые еще не знают страха перед человеком, прыгают по тропе у самых наших ног.

Попадается нам и зяблик, этот лесной воробушек. Он уже побывал в лесу и теперь возвращается к людям, близ которых любит жить, потому что он очень любопытен. Милый маленький зяблик! От природы он—перелетная птица, но родители научили его зимовать на севере; а он научит своих детей, что только на севере надо зимовать. Но в нем течет кровь перелетных бродяг, он все такой же непоседа. В один прекрасный день он вместе со всеми своими сородичами соберется в стаю, и они улетят далеко, к новым людям, на которых тоже любопытно взглянуть, и тогда в осиннике станет пусто. Пройдет, быть может, целая неделя, прежде чем другая стая этих крикливых птичек сядет на ветки осин... Господи, сколько раз приходил я поглядеть на зябликов, и как это было интересно.

Однажды Фалькенберг сказал мне, что тоска его прошла. За зиму он скопит сотню крон, работая лесорубом и настройщиком, а потом помирится с Эммой. Да и мне хватит вздыхать по благородным дамам, надо искать себе ровню, таково его мнение.

И он был прав.

В субботний вечер мы кончаем работу раньше обычного и идем в лавку. Нам нужно купить рубашки, табак и вино.

В лавке я увидел швейную шкатулочку, отделанную ракушками, вроде тех, какие в старину моряки привозили из Амстердама своим подружкам; теперь их делают в Германии целыми тысячами. Я купил шкатулку, чтобы отломать одну ракушку и сделать ноготь для трубки.

— На что тебе шкатулка? — спросил Фалькенберг. — Хочешь подарить Эмме?

В нем пробудилась ревность, и он, не желая отстать от меня, купил для Эммы шелковую косынку.

По дороге домой мы не раз прикладывались к бутылке и болтали; ревность Фалькенберга все еще не остыла. Я выбрал подходящую ракушку, отломал ее и отдал шкатулку Фалькенбергу. На этом мы помирились.

Стало смеркаться, вечер был безлунный. Из дома на пригорке донеслись звуки гармоники, и мы поняли, что там затеяли танцы: в окнах мелькали тени, и свет мерцал, словно на маяке.

— Давай пойдем, — сказал Фалькенберг.

Мы с ним развеселились.

Во дворе стояли парни и девушки, они вышли освежиться и подышать воздухом; Эмма тоже была среди них.

— Пляди-ка, и Эмма здесь! — добродушно воскликнул Фалькенберг; он нисколько не рассердился, что Эмма пришла без него. — Поди сюда, Эмма, я купил тебе подарок.

Он воображал, что стоит только ему сказать ей ласковое слово, и все уладится; но Эмма отвернулась и ушла в дом. Фалькенберг хотел пойти за ней, но парни заслонили дверь и сказали, что ему нечего там делать.

— Да ведь там Эмма. Пускай она выйдет.

— Нет, она не выйдет. Она здесь с сапожником Марком.

Фалькенберг был ошарашен; видно, он зашел слишком далеко в своей размолвке с Эммой и она его бросила. Он стоял и хлопал глазами, а девушки подняли его на смех — вот бедняжка, остался с носом!

Тогда Фалькенберг вынул бутылку и у всех на глазах приложился к ней, потом вытер горлышко ладонью и передал бутылку одному из парней. Все оживились, подошли, увидев, какие мы славные ребята, а мы достали из

карманов еще бутылки и пустили их по кругу; кроме всего прочего, мы были нездешние, и всем было любопытно с нами поболтать. Фалькенберг то и дело отпускал шуточки по адресу сапожника Марка, которого он называл Лукой.

Танцы в доме продолжались, но ни одна девушка не ушла от нас.

— Бьюсь об заклад, что и Эмма не прочь выйти,— хвастливо заявил Фалькенберг.

Девушки, которых звали Елена, Рённауг и Сара, глотнув вина из бутылки, по обычаю, подавали Фалькенбергу руку и благодарили его; другие же, которые обучились благородным манерам, говорили только: «Спасибо на угощении!» Фалькенбергу приглянулась Елена, он обнял ее за талию и предложил прогуляться. Они не спеша пошли прочь, и никто их не окликнул; разделившись на пары, мы порознь пошли к лесу. Мне досталась Сара.

Когда мы вернулись, Рённауг все еще стояла подле дома. Вот странная девушка, простояла здесь столько времени! Я взял ее за руку и завел разговор, но она только смеялась и не отвечала ни слова. Мы с ней пошли к лесу, а Сара крикнула нам вслед из темноты:

— Рённауг, пойдем лучше домой!

Но молчаливая Рённауг ничего не ответила. Она была белолицая, медлительная и в теле.

XX

Выпал первый снег, он сразу же тает, но зима не за горами. И наша работа у капитана приходит к концу, недели через две мы все закончим. А что делать потом? В горах прокладывают железную дорогу, а можно попытаться найти работу на каком-нибудь хуторе, где нужны лесорубы. Фалькенберг склоняется к работе на железной дороге.

Но времени остается мало, и я не успеваю сделать свою машину. У каждого свои заботы, мне, кроме этого, нужно еще приделать нготь к трубке, а вечера стали совсем короткие. Фалькенберг непременно хочет помириться с Эммой. Но это дело нескорое и совсем не простое. Так получилось, что она гуляла с сапожником Марком; а Фалькенберг, чтобы досадить Эмме, стал ухаживать за другой девушкой, по имени Елена и подарил ей косынку и шкатулку из ракушек.

Теперь он не знал, как быть, и сказал мне:

— Всюду только грязь, глупость и обман.

— Разве?

— Да, можешь не сомневаться. Вот уйду на железную дорогу, а ее брошу.

— А может, это сапожник Марк ее не отпускает?

Фалькенберг угрюмо промолчал.

— И спеть меня уже больше не просят,— сказал он немного погодя.

Мы заговорили о капитане и его жене. Фалькенберг сказал, что у него дурные предчувствия: между ними не все ладно.

Ну вот, начал сплетничать!

Я сказал:

— Извини, пожалуйста, не тебе об этом судить.

— Ах так?— буркнул он сердито. Он злился все больше и больше.— Может быть, ты думаешь их водой не разольешь? Думаешь, они наглядятся друг на друга не могут? Да я же ни разу не слышал, чтоб они хоть словечком обмолвились.

Вот дурак, болтун разнесчастный!

— Погляди лучше, как ты пилишь,— говорю я с усмешкой.— Пила у тебя криво идет.

— У меня? Но ведь как-никак нас двое!

— Что ж, значит, дерево оттаяло. Возьмемся снова за топоры.

Каждый долго рубит в одиночку, оба мы злимся и молчим. Как он посмел оболгать их, выдумал, будто они слова промеж собой не скажут? Но господи, ведь это же истинная правда! У Фалькенберга хороший нюх, он разбирается в людях.

— По крайней мере, при нас у них все мирно,— заметил я.

Фалькенберг рубит молча.

Поразмыслив еще немного, я говорю:

— А может, ты и прав, они не такая пара, какие бывают явлены в откровениях.

Но Фалькенберг ничего не понял и пропустил мои слова мимо ушей.

В полдень, когда мы отдыхали, я снова завел разговор об этом.

— Ты ведь, кажется, говорил, что если он будет дурно с ней обращаться, ему несдобровать.

— Ну да, говорил.

— И что же?

— Да разве я сказал, что он с ней дурно обращается? — возразил Фалькенберг с досадой. — Просто они надоели друг другу, до смерти надоели, вот что. Только он войдет, она сразу норовит уйти. Только он заговорит о чем-нибудь на кухне, у нее в глазах появляется смертная скука, и она его не слушает.

Мы снова взяли за топоры, и каждый углубился в свои мысли.

— Боюсь, что мне все-таки придется его вздуть, — говорит вдруг Фалькенберг.

— Кого это?

— Луку...

Я доделал трубку и попросил Эмму передать ее капитану. Ноготь совсем как настоящий, и теперь, когда у меня есть такие превосходные инструменты, мне удалось приделать его к пальцу и прикрепить изнутри двумя медными гвоздиками, которые вовсе не заметны. Я очень доволен своей работой.

Вечером, когда мы ужинали, капитан пришел на кухню, держа трубку в руке, и поблагодарил меня; тут я и убедился в проницательности Фалькенберга: как только капитан вошел, хозяйка ушла из кухни.

Капитан похвалил мою работу и спросил, каким образом мне удалось прикрепить ноготь; он назвал меня художником и мастером. Так прямо и сказал — мастер, и на всех, кто был в кухне, это произвело впечатление. Мне кажется, в тот миг Эмма не устояла бы передо мной.

А ночью я наконец научился дрожать.

Ко мне на сеновал пришла покойница, протянула левую руку, и я увидел, что на большом пальце нет ногтя. Я покачал головой, давая ей этим понять, что ноготь уже не у меня, что я его выбросил и вместо него приделал ракушку. Но покойница не уходила, и я лежал, холодея от страха. Наконец я кое-как пробормотал, что, к несчастью, я ничего теперь не могу поделать и молю ее уйти с миром. Отче наш, иже еси на небесех... Покойница двинулась прямо на меня, я хотел оттолкнуть ее, издал душераздирающий крик и притиснул Фалькенберга к стене.

— Что такое? — крикнул Фалькенберг. — Во имя Господа...

Я проснулся весь в поту, открыл глаза и увидел, как призрак медленно исчез в темном углу.

— Покойница, — простонал я. — Она приходила за своим ногтем.

Фалькенберг быстро сел на постели, сон разом соскочил и с него.

— Я видел ее! — сказал он.

— И ты тоже? А палец видел? Уф!

— Ох, не хотел бы я очутиться в твоей шкуре.

— Пусти меня к стене,— попросил я.

— А я как же?

— Тебе нечего ее бояться, ты можешь преспокойно лежать с краю.

— А она придет и сцапает меня? Нет уж, спасибо.

Фалькенберг снова лег и укрылся с головой.

Я хотел было сойти вниз и лечь с Петтером; он уже поправлялся, и я мог не бояться заразы. Но мне стало жутко от мысли, что придется спускаться по лестнице.

Это была ужасная ночь.

Утром я долго искал ноготь и наконец нашел его на полу, в опилках и стружках. Я закопал его у дороги в лес.

— Пожалуй, надо бы отнести ноготь на кладбище, откуда ты его взял,— сказал Фалькенберг.

— Но ведь это далеко, за много миль отсюда...

— Сдается мне, это было предупреждение. Она хочет, чтобы ноготь был при ней.

Но при свете дня я уже снова осмелел и, посмеявшись над суеверием Фалькенберга, сказал, что его взгляды противоречат науке.

XXI

Однажды вечером к усадьбе подъехала коляска, и так как Петтер все еще хворал, а второй работник был совсем мальчишка, пришлось мне держать лошадей. Из коляски вышла дама.

— Дома господа? — спросила она.

Когда послышался стук колес, в окнах показались лица, в коридорах и комнатах загорелись огни, хозяйка вышла на крыльцо и воскликнула:

— Это ты, Элисабет? Я так тебя ждала. Милости просим.

Это была фрекен Элисабет, пасторская дочь.

— Значит, он здесь? — спросила она с удивлением.

— Кто?

Это она про меня спросила. Она узнала меня...

На другой день обе дамы пришли к нам в лес.

Вначале я испугался, что до пастора дошло известие о том, как мы прокатились на чужих лошадях, но никто об этом даже не упомянул, и я успокоился.

— Водопровод работает исправно,— сказала фрекен Элисабет.

Я был рад это слышать.

— Водопровод? — спросила хозяйка.

— Он провел нам воду на кухню и на верхний этаж. Теперь стоит только отвернуть кран, и течет вода. Советую и тебе это сделать.

— Вот как! Значит, у нас тоже можно провести воду?

Я ответил, что да, можно.

— Отчего ж вы не сказали об этом моему мужу?

— Я сказал. Он хотел посоветоваться с вами.

Наступило тягостное молчание. Он не счел нужным поговорить с женой даже о том, что ее прямо касалось.

Чтобы как-нибудь нарушить это молчание, я поспешно добавил:

— Сейчас, во всяком случае, уже поздно. Мы не успеем закончить работу, зима нам помешает. А вот весной дело другое.

Хозяйка вдруг словно очнулась.

— Ах, впрочем, я припоминаю, он в самом деле как-то говорил об этом,— сказала она.— Да, да, мы с ним советовались. Но решили, что уже поздно... Скажи, Элисабет, правда, интересно смотреть, как рубят лес?

Обычно мы валили деревья, притягивая их веревкой в нужную сторону, и теперь Фалькенберг как раз привязывал веревку к верхушке подпиленного дерева.

— Зачем это?

— Чтобы направить падение дерева...— начал я объяснять.

Но хозяйка не стала меня слушать, она повторила вопрос Фалькенбергу и добавила:

— Разве не все равно, куда оно упадет?

И Фалькенберг ответил:

— Нет, его надо направить, иначе оно переломает кусты и молодые деревца.

— Слышишь? — сказала она подруге.— Слышишь, какой голос? А как он поет!

Как я досадовал на себя за свою болтовню и недогадливость! Но она увидит, что урок не прошел для меня даром. Да и вообще мне нравится вовсе не она, а фрекен Элисабет, эта не капризничает, да и красотой ей не уступит, она даже красивее, да, красивее в тысячу раз.

Вот наймусь в работники к ее отцу... Теперь всякий раз, как хозяйка обращалась ко мне, я поглядывал на Фалькенберга, а потом на нее и медлил с ответом, словно боялся, что вопрос ее не ко мне относится. Видно, это было ей неприятно, и она сказала со смущенной улыбкой:

— Я ведь вас спрашиваю.

Ах, эта улыбка и эти ее слова... Сердце мое дрогнуло от радости, я бил по дереву топором изо всех сил, так, что только щепки летели. Я увлекся и работал играючи. Время от времени я ловил обрывки разговора.

А когда мы с Фалькенбергом остались одни, он сказал:

— Нынче вечером я буду им петь.

И вот наступил вечер.

На дворе я встретил капитана и остановился поговорить с ним. Работы в лесу оставалось дня на три или четыре.

— А потом вы куда пойдете?

— Попробуем подрядиться на железную дорогу.

— Пожалуй, вы мне и здесь можете понадобиться,— сказал капитан.— Я хочу проложить новую дорогу к шоссе, эта слишком крутая. Пойдемте, я вам покажу.

И хотя уже смеркалось, он повел меня на пустырь по южную сторону усадьбы.

— Когда дорога будет готова, найдем еще что-нибудь, а там и весна,— сказал он.— Можно будет приняться за водопровод. К тому же Петтер все хворает. Это ни на что не похоже, мне необходим помощник по хозяйству.

И вдруг до нас донеслось пение Фалькенберга. В гостиной горел свет, Фалькенберг был там и пел под аккомпанемент рояля. Его удивительный, нежный голос лился из окон, и меня охватил невольный трепет.

Капитан резко повернулся и взглянул на окна.

— А впрочем...— сказал он неожиданно,— впрочем, и с дорогой лучше повременить до весны. На сколько дней, вы говорите, осталось работы в лесу?

— Дня на три или четыре.

— Стало быть, решено, еще дня три-четыре, и в нынешнем году на этом покончим.

«Удивительно быстро он передумал»,— мелькнула у меня мысль.

Я сказал:

— Но ведь дорогу можно прокладывать и зимой, в некотором смысле это даже лучше. Мы стали бы пока дробить камень и возить щебенку.

— Я знаю, но все-таки... А теперь я, пожалуй, пойду послушаю пение.

И он ушел.

Я подумал: «Это он, конечно, только притворяется; хочет показать, что Фалькенберга пригласили в дом с его согласия. А на самом деле он предпочел бы остаться и поговорить со мной».

Как я был самонадеян и как ошибался!

XXII

Все главные части моей машины готовы, я решил собрать ее и опробовать. За амбаром, у мостика, торчал обломок осины, сваленный ветром, я приладил к нему пилу, и она сразу же заработала. Терпение, друзья мои, дело пойдет на лад! По ровному краю большой, специально купленной пилы я нарезал зубцы, которые сцеплялись с небольшим зубчатым колесом, удерживаемым прижимной пружиной.

Саму пружину я изготовил из широкой костяной планки от старого корсета, который взял у Эммы, но оказалось, что она слишком слаба, и я сделал другую пружину из старой ножовки шириной в шесть миллиметров, с которой спилил зубья. Эта новая пружина оказалась слишком тугой. Пришлось мне всякий раз оттягивать ее только до половины.

На свою беду, я не был силен в теории, мне все приходилось пробовать и проверять, отчего работа продвигалась медленно. Пришлось совсем отказаться от конической зубчатой передачи, которая была бы слишком громоздкой, и насколько возможно упростить все устройство.

Пробовать пилу я начал в воскресенье; белый деревянный каркас и гладкое стальное полотно сверкали на солнце. В окнах сразу показались лица, а вскоре сам капитан вышел из дома. Я поклонился ему, но он не ответил, а медленно пошел через двор, не спуская глаз с пилы.

— Ну как, работает?

Я привел пилу в действие.

— Глядите, глядите, она и вправду пилит!..

Вышли хозяйка и фрекен Элисабет, за ними высыпали служанки. Я снова пустил пилу. Терпение, терпение, друзья мои!

Капитан сказал:

— А не слишком ли долгое это дело — всякий раз прилаживать ее к дереву?

— Зато пилить будет гораздо легче и работа пойдет быстро. Пильщикам не нужно затрачивать лишних усилий.

— Но почему же?

— Да потому, что им не приходится нажимать на пилу, это делает пружина. А здесь как раз и затрачивается более всего сил.

— Но все-таки потеря времени неизбежна?

— Я уберу винт и поставлю вместо него зажим, который можно будет открыть одним движением. Его устройство позволит прикреплять пилу к дереву любой толщины.

Самый зажим я еще не успел сделать, но показал капитану чертеж.

Капитан взялся за пилу и испробовал, какого усилия она требует. Потом он сказал:

— Ваша пила вдвое шире обычной, не знаю, есть ли смысл таскать такую тяжесть.

— Само собой, — повернул Фалькенберг. — Дело ясное.

Все посмотрели на Фалькенберга, потом на меня. Надо было что-то ответить.

— Один человек может двигать по рельсам груженный товарный вагон, — ответил я. — А здесь двое приводят в движение пилу, которая скользит по двум вращающимся валикам, а они, в свою очередь, движутся на хорошо смазанных стальных осях. Работать этой пилой будет куда легче, чем обычной, в случае нужды с ней можно управиться в одиночку.

— Ну, это едва ли.

— А вот увидим.

Фрекен Элисабет вздумалось подшутить надо мной, и она спросила:

— Я в этом деле ничего не смыслю, но скажите, почему бы не пилить, как раньше, обыкновенной пилой?

— Потому что теперь пильщикам не приходится нажимать на пилу сбоку, — сказал капитан. — Усилие прилагается сверху вниз, а пила ходит поперек. Поймите, вертикальное усилие преобразуется в горизонтальное. А скажите, — обратился он ко мне, — как по-вашему, не может пила при этом изогнуться, ведь тогда срез будет неровным?

— Во-первых, этому препятствуют два валика, по которым ходит пила.

— Да, кажется, тут вы правы. Ну, а еще?

— Во-вторых, эта пила дает только ровный срез. Ведь она имеет такую форму, что согнуться никак не может.

Пожалуй, отчасти капитан высказывал мне свои сомнения просто потому, что хотел получше во всем разобраться. Человек с его знаниями сам мог бы ответить на них лучше меня. Но он упустил из виду нечто другое, что сильно меня тревожило. Ведь пила, которую придется таскать по всему лесу, должна быть очень прочной. А я опасался, что тонкие оси могут от удара выскочить из своих гнезд или погнуться, а валики — заклинить. Надо было избавиться от осей и расположить валики по-иному. Нет, моя машина была еще далека от совершенства...

Капитан между тем сказал Фалькенбергу:

— Надеюсь, вы не откажетесь отвезти завтра наших дам? Петтер еще слаб.

— Помилуйте, я буду счастлив.

— Фрекен надо ехать домой, — сказал капитан, уходя. — Будьте готовы к шести утра.

Фалькенберг, гордый доверием, которое ему оказали, стал посмеиваться надо мной и говорил, что я ему завидую. Я и в самом деле немного завидовал. Меня, конечно, огорчило, что предпочтение отдали Фалькенбергу, но, право же, куда приятней побыть одному в лесной тиши, вместо того чтобы мерзнуть на козлах.

Фалькенберг, сияя от удовольствия, сказал:

— Ты даже пожелтел от зависти, советую тебе выпить касторки.

Целых полдня он суетился, собираясь в путь, — мыл коляску, смазывал оси, проверял сбрую. Я ему помогал.

— Боюсь, что ты не сумеешь править парной упряжкой, — сказал я, поддразнивая его. — Ладно уж, завтра с утра я выучу тебя держать вожжи.

— А ты зря экономишь десять эре на касторке, надо беречь здоровье, — ответил он.

Так мы шутили и смеялись друг над другом.

Вечером капитан подошел ко мне и сказал:

— Я не хотел вас затруднять и попросил вашего друга отвезти дам, но фрекен Элисабет хочет ехать с вами.

— Со мной?

— Она говорит, что давно вас знает.

— Но ведь и мой друг — человек надежный.

— Разве вы против?

— Нет, нисколько.

— Вот и прекрасно. Тогда поезжайте.

Тут я подумал: «Эге, они все-таки предпочли меня, потому что я изобретатель и моя пила отлично работает, а если мне еще получше одеться, я буду выглядеть вполне прилично, быть может, даже блестяще».

Но Фалькенбергу капитан объяснил дело по-другому, и все мои тщеславные домыслы сразу рухнули: пастор просил фрекен Элисабет привезти меня, потому что хочет снова предложить мне наняться в работники. Так они договорились.

Я долго раздумывал над этим объяснением.

— Если ты согласишься работать у пастора, мы не сможем вместе наняться на железную дорогу,— сказал Фалькенберг.

И я ответил:

— Нет, я не соглашусь.

XXIII

Дамы выехали ранним утром в закрытой коляске. Поначалу было довольно свежо, и мое шерстяное одеяло очень мне пригодилось,— я то укутывал им ноги, то накидывал его на плечи.

Я ехал той же дорогой, по которой мы с Фалькенбергом пришли сюда, так что места были знакомые: вон усадьба, где Фалькенберг настраивал пианино, вон вторая, а вот здесь над нами пролетели гуси... Взошло солнце, стало тепло, час проходил за часом; у развилины дорог дамы постучали в стекло и сказали, что пора обедать.

По солнцу я видел, что обедать им еще рано, хотя для меня—самое время, потому что мы с Фалькенбергом обычно обедали в полдень. И я поехал дальше.

— Что же вы не останавливаетесь! — крикнули дамы.

— Да ведь вы обедаете в три... Вот я и подумал...

— Но мы проголодались.

Я съехал на обочину, выпряг лошадей, задал им корму и напоил их. Как странно, неужели эти женщины решили обедать раньше времени ради меня?

— Пожалуйте сюда! — крикнули мне.

Я не хотел их стеснять и остался подле лошадей.

— Ну что же вы? — спросила фру Фалькенберг.

— Если уж вы так любезны, уделите мне кусочек,— сказал я.

Они стали наперебой потчевать меня, и им все казалось мало; откупоривали бутылки, я выпил немного пива, и этот пикник у дороги запомнился мне на всю жизнь. На фру Фалькенберг я избегал смотреть, чтобы не смущать ее.

Дамы болтали меж собой и время от времени ласково обращались ко мне. Фрекен Элисабет сказала:

— Правда, приятно закусить вот так на свежем воздухе? Как вы находите?

Она не сказала мне «ты», как раньше.

— Для него это привычно,— заметила фру Фалькенберг.— Он каждый день обедает в лесу.

Ах, этот голос, эти глаза, эта нежная женственная рука, которая протягивала мне стакан...

Я тоже мог бы рассказать кое-что интересное о том, как живут люди на белом свете, поправить их, когда они болтали всякий вздор, понятия не имея, как ездят верхом на верблюдах или собирают виноград.

Но я поспешил кончить еду, взял ведро и пошел за водой, чтобы еще раз напоить лошадей, хотя надобности в этом никакой не было; дойдя до ручья, я уселся на берегу.

Немного погодя фру Фалькенберг крикнула мне:

— Подите, пожалуйста, к лошадям! Мы хотим нарвать хмеля или каких-нибудь красивых листьев.

Но когда я подошел к коляске, они передумали, потому что хмель уже осыпался, а рябины и красивых листьев не было.

— В эту пору лес совсем голый,— сказала фрекен. И спросила, пристально глядя на меня:— Послушайте, ведь здесь нет кладбища и вам негде бродить?

— Кажется, нет...

— Как же вы обходитесь?

И она рассказала фру Фалькенберг, что я такой странный, каждую ночь ходил на кладбище и разговаривал с мертвецами. Там-то я и придумывал все свои машины.

Я не знал, что на это сказать, и спросил, как здоровье Эрика.

— Помнится, лошади понесли, он расшибся и харкал кровью.

— Ему лучше,— коротко ответила фрекен.— Но не пора ли в путь, Ловиса?

— Можем мы ехать дальше?

— Когда вам будет угодно,— ответил я.

И мы поехали.

Час проходит за часом, солнце клонится к закату, свежее, тянет сыростью: понемногу поднимается ветер, начинает падать мокрый снег. Остаются позади приходская церковь, лавки, хутора.

И вдруг мне стучат в стекло.

— Не здесь ли вы катались ночью на чужих лошадях? — спрашивает фрекен со смехом. — Вообразите, до нас дошел слух об этом.

Обе дамы принялись смеяться.

Я ответил, нимало не смутившись:

— И все же ваш отец хочет взять меня в работники, не так ли?

— Так.

— Ну, раз уж мы заговорили об этом, позвольте вас спросить, фрекен, откуда ваш отец узнал, что я работаю у капитана Фалькенберга? Ведь вы, кажется, сами удивились, когда меня увидели?

Она подумала немного, взглянула на свою подругу и ответила:

— Я написала об этом домой.

Фру Фалькенберг опустила глаза.

Я заподозрил, что фрекен солгала. Но она так ловко вывернулась, что мне нельзя было ее уличить. Вполне вероятно, что она написала домой что-нибудь в таком роде: «А знаете, кого я здесь встретила? Того самого человека, который сделал нам водопровод, теперь он работает у капитана лесорубом...»

Но когда мы приехали, оказалось, что пастор вот уж три недели как нанял работника. Этот новый работник вышел поддержать лошадей.

Я ломал себе голову и никак не мог понять, почему же в таком случае именно меня попросили ехать сюда? Может быть, чтобы мне было не так обидно, что Фалькенберга позвали в гостиную и попросили спеть? Но как они не понимают, что я в скором времени закончу работу над своим изобретением и милость их мне не нужна?

Я молчал, хмурился и был недоволен собой; на кухне, когда я ужинал, Олина долго благодарила меня за водопровод, потом я пошел присмотреть за лошадьми. А когда стемнело, я взял одеяло и отправился на сеновал...

Я проснулся от чьего-то прикосновения.

— Зачем ты лег здесь, ведь так можно простудиться насмерть, — сказала жена пастора. — Пойдем, я уложу тебя в доме.

Мы начали спорить, потому что я не хотел идти в дом, и заставил ее сесть рядом со мной. Эта женщина была полна страсти, а может быть, она просто была дитя природы. В ней звучала чудесная мелодия, и я закружился в вихре этой музыки.

XXIV

С утра я был настроен уже не так мрачно, поостыл, успокоился и стал рассуждать здраво. Конечно, для моего блага лучше было и не уходить отсюда, наняться к пастору в работники, стать первым среди равных. Ведь я уже успел привыкнуть к тихой деревенской жизни.

Фру Фалькенберг стояла посреди двора. Золотоволосая, с непокрытой головой, она была высокая и стройная, как колонна.

Я пожелал ей доброго утра.

— Доброе утро,— ответила она и, легко ступая, подошла ко мне. Понизив голос, она сказала:— Вчера вечером я очень хотела поглядеть, как вас устроили на ночлег, но мне нельзя было выйти. Впрочем, выйти было можно, только... Вы ведь легли на сеновале?

Я слушал ее, как во сне, и не в силах был ответить.

— Что же вы молчите?

— Спал ли я на сеновале? Да.

— Вот как? И хорошо ли вам спалось?

— Да.

— Так. Ну что ж. Сегодня мы едем домой.

Она повернулась и пошла прочь, покраснев до корней волос...

Прибежал Харальд и попросил меня сделать ему змей.

— Ладно, так и быть,— сказал я, стараясь совладать с собой.— Сделаю тебе большой-пребольшой змей, он взлетит к самым облакам. Непременно сделаю.

Мы с Харальдом мастерили змей часа два, этот славный мальчик старался от души, а я думал совсем о другом. Мы сплели из бечевки длинный хвост, привязали его к змею да еще приклеили для прочности; фрекен Элисабет два раза подходила к нам и смотрела, как мы справляемся с делом, вид у нее был уже не такой свежий и оживленный, как раньше, но меня это не трогало, я ее будто и не замечал.

Но вот мне велено запрягать. И хотя нужно поторапливаться, потому что дорога предстоит дальняя, все же

я посылаю Харальда с просьбой повременить полчаса. Мы трудимся в поте лица, и наконец все готово. Завтра, когда клей подсохнет, Харальд запустит змей и будет провожать его взглядом, и в его душе всколыхнется такое же неведомое волнение, какое сейчас всколыхнулось во мне.

Лошади запряжены.

Фру Фалькенберг выходит из дома, и все пасторское семейство провожает ее.

Пастор и его жена узнали меня, они отвечают на мой поклон и говорят мне несколько любезных слов; но они даже не обмолвились о том, что хотели взять меня в работники. Голубоглазая пасторша стоит и лукаво поглядывает на меня искоса, будто накануне она меня и в глаза не видела.

Фрекен Элисабет приносит корзинку с припасами и помогает своей подруге усесться поудобнее.

— Может быть, все-таки дать тебе еще что-нибудь теплое? — спрашивает она в который уж раз.

— Нет, спасибо, я не озябну. До свиданья, до свиданья!

— Будьте таким же молодцом, как вчера, — говорит фрекен и кивает мне на прощание.

Мы трогаемся.

День стоит сырой и холодный, я сразу вижу, что фру Фалькенберг плохо укутана и ей холодно.

Мы едем час за часом, лошади, чувствуя, что мы возвращаемся домой, сами бегут рысью, я держу вожжи, и руки мои стынут без рукавиц. Завидев домик неподалеку от дороги, хозяйка стучит в стекло и говорит, что время обедать. Она выходит из коляски, вся посиневшая от холода.

— Пообедаем в этом домике, — говорит она. — Как управитесь с лошадьми, приходите туда, да не забудьте прихватить корзинку.

И она поднимается по косогору.

«Она решила обедать у чужих людей, потому что замерзла, — думаю я. — Ведь не меня же она в самом деле боится...» Я привязал лошадей и задал им корму; похоже было, что пойдет снег, поэтому я накрыл их куском промасленного холста, похлопал по крупам и, захватив корзинку, пошел к домику.

Старушка, хлопотавшая над кофейником, подняла голову, пригласила нас войти и снова занялась своим делом. Фру Фалькенберг распаковала корзинку и сказала, не глядя на меня:

— Ну как, уделить вам кусочек и сегодня?

— Да, спасибо большое.

Мы едим молча. Я сижу на скамеечке у двери, поставив тарелку подле себя; а фру Фалькенберг устроилась у стола, она не отрываясь смотрит в окно и почти ничего не ест. Время от времени она перебрасывается словом со старухой и поглядывает, не опустела ли моя тарелка. В домике тесно, от меня до окна не больше двух шагов, и мы сидим все равно что рядом.

Кофе готов, но на моей скамеечке нет места для чашки, и я держу ее в руке. Вдруг фру Фалькенберг поворачивается ко мне и говорит, не поднимая глаз:

— За столом есть место.

Я слышу, как громко колотится мое сердце, и бормочу:

— Спасибо, мне и здесь удобно... Я уж лучше...

Сомнений нет — она взволнована, опасается, как бы я чего-нибудь не сказал или не сделал; тотчас она снова отворачивается, но я вижу, как бурно вздымается ее грудь. «Не бойся,— думаю я,— скорей я откушу себе язык, чем скажу хоть слово!

Мне нужно поставить пустую тарелку и чашку на стол, но я боюсь ее испугать, а она сидит все так же, отвернувшись. Я тихонько звякнул чашкой, чтобы привлечь к себе ее внимание, поставил посуду на стол и поблагодарил.

Она спрашивает меня, словно я гость:

— Вы сыты? Может быть, еще?..

— Нет, спасибо большое... Позвольте, я уложу все обратно в корзинку? Боюсь только, что я не сумею сделать это как следует.

И я гляжу на свои руки, — в тепле они распухли, стали неловкими и толстыми, так что мне никак невозможно уложить корзинку. Она догадалась, о чем я думаю, тоже взглянула на мои руки, опустила глаза в пол и сказала, пряча улыбку:

— Разве у вас нет рукавиц?

— Нет, они ведь мне ни к чему.

Я вернулся на скамеечку и ждал, пока фру Фалькенберг уложит припасы, чтобы отнести корзинку. Но она вдруг снова повернулась ко мне и спросила, все так же не поднимая глаз:

— Откуда вы родом?

— Из Нурланна.

Пауза.

Немного погодя я сам осмелился спросить:

— Фру бывала там?

— Да, в детстве.

Она поглядела на часы, как бы пресекая дальнейшие вопросы и напоминая мне в то же время, что надо торопиться. Я тотчас встал и пошел к лошадям.

Уже смерклось, небо потемнело, пошел мокрый снег. Я потихоньку взял с козел свое одеяло и спрятал его под переднее сиденье коляски, потом напоил и запряг лошадей. Увидев хозяйку, я пошел ей навстречу, чтобы взять у нее корзинку.

— Куда вы?

— Хотел вам помочь.

— Благодарю вас, это лишнее. Корзинка ведь почти пустая.

Мы подошли к коляске, она села, и я стал помогать ей укутаться потеплее. Я нашарил под сиденьем одеяло и вытащил его, держа так, чтобы не видна была кайма.

— Ах, как это удачно! — сказала фру Фалькенберг. — Где же оно было?

— Здесь.

— У пастора мне предлагали целый ворох одеял, но ведь потом у меня так долго не было бы случая их вернуть... Нет, спасибо, я сама... Нет, нет, спасибо... Садитесь.

Я захлопнул дверцу и влез на козлы.

«Если она еще постучит в окошко, это будет означать, что она хочет вернуть мне одеяло, но я ни за что не остановлюсь», — подумал я.

Час проходит за часом, темно, хоть глаз выколи, мокрый снег валит все сильнее, и дорогу вконец развезло. Время от времени я спрыгиваю с козел и бегу рядом с коляской, чтобы согреться; я вымок до нитки.

Мы уже почти дома.

«Если окна освещены, она может узнать мое одеяло», — подумал я.

Как на грех, в окнах горел свет, хозяйку ждали.

Поневоле я остановил лошадей, не доезжая крыльца, и открыл дверцу.

— Что там у вас случилось?

— К сожалению, мне придется просить вас выйти здесь. Такая грязь... колеса вязнут...

Наверное, ей представилось, будто я невесть что замышляю, и она воскликнула:

— Да езжайте вы, ради всех святых!

Лошади дружно взяли с места, и я осадил их у ярко освещенного крыльца.

Из дома вышла Эмма. Хозяйка отдала ей одеяло, которое свернула еще в коляске.

— Спасибо, что довезли,— сказала она мне.— Боже мой, как вы промокли!

XXV

Неожиданная новость свалилась на меня, как снег на голову: Фалькенберг нанялся к капитану в работники.

Стало быть, он нарушил наш уговор и бросил меня на произвол судьбы. Я совершенно сбит с толку. Что ж, ладно, утро вечера мудренее. Но уже два часа ночи, а мне никак не уснуть, я дрожу от холода и думаю. Тянутся часы, я не могу согреться, и меня начинает трепать лихорадка, я мечусь в жару... Как она меня боялась, не решилась даже пообедать на воздухе и за весь день не взглянула на меня ни разу...

Но вот мысли мои проясняются, я понимаю, что могу разбудить Фалькенберга, могу проговориться в бреду, и, стиснув зубы, я вскакиваю с постели. Натянув одежду, я кое-как сползаю с лестницы и бегу прочь от усадьбы. Понемногу я согреваюсь и сворачиваю к лесу, туда, где мы работали, а по лицу моему катятся капли пота и дождя. Только бы мне отыскать пилу, и я живо избавлюсь от лихорадки; это старое, испытанное средство. Пилы мне никак не найти, зато нашелся топор, который я спрятал в субботу вечером, и я принимаюсь рубить. Вокруг темень, я ничего не вижу, но работаю на ощупь и валю дерево за деревом. Пот заливает мне лицо.

Наконец, выбившись из сил, я кладу топор на прежнее место; уже светает, и я спешу вернуться домой.

— Где тебя черти носили? — спрашивает Фалькенберг.

Я не хочу объяснять ему, что вчера простудился, ведь он все разболтает на кухне, и бормочу, что сам не знаю.

— Ты, верно, был у Рённау, — говорит он.

Я отвечаю, что он угадал, да, я был у Рённау.

— Ну, это не мудрено угадать, — говорит он. — А я вот больше к девчонкам ни ногой.

— Значит, ты женишься на Эмме?

— Да, может статься. А, право слово, досадно, что тебя не было. Ты тоже мог бы присвататься к которой-нибудь из служанок.

И он пускается в рассуждения о том, что любая из них пошла бы за меня, но я больше не нужен капитану. Назавтра мне незачем даже идти в лес... Голос Фалькенберга доносится словно бы издалека, я погружаюсь в глубины сна.

К утру лихорадка отпускает меня, я еще чувствую слабость, но все равно собираюсь в лес.

— Тебе незачем надевать рабочую блузу,— говорит Фалькенберг.— Я ведь тебе сказал.

Что же, он прав. И все-таки я надеваю блузу, потому что вся остальная моя одежда мокрая. Фалькенберг сконфужен, ведь он нарушил наш уговор; в свое оправдание он говорит, будто думал, что я наймусь к пастору.

— Стало быть, ты не пойдешь на железную дорогу?— спрашиваю я.

— Гм. Нет, пожалуй, это не годится. Посуди сам, сил моих больше нет бродяжничать. А лучшего места, чем здесь, не сыщешь.

Я притворяюсь равнодушным и перевожу разговор на Петтера, словно его судьба вызывает у меня горячее участие—бедняга, вот кому хуже всех придется, его теперь вышвырнут вон, останется без крова.

— Скажешь тоже—без крова!—возражает Фалькенберг.— Он провалялся здесь законный срок, сколько положено по болезни, и теперь вернется восвояси. Ведь у его отца собственный хутор.

И Фалькенберг признается, что с тех пор, как мы расстались, его мучит совесть. Если б не Эмма, он плюнул бы на капитана.

— Вот, возьми,— говорит он.

— Что это?

— Рекомендации. Мне они уже не нужны, а тебе пригодятся при случае. Вдруг ты надумаешь стать на-стройщиком.

Он протягивает мне бумаги и ключ для настройки.

Но у меня не такой хороший слух, как у Фалькенберга, мне все это ни к чему, и я говорю, что мне легче точило настроить, чем пианино.

Фалькенберг смеется, у него камень с души свалился, когда он увидел, что я не унываю...

Фалькенберг ушел. А мне спешить некуда, я ложусь одетый на постель, лежу и думаю. Что ж, работа все равно кончена, так или иначе надо уходить, не век же здесь жить, в самом деле. Только вот никак я не ожидал, что Фалькенберг останется. О господи, если б капитан

взял меня, я работал бы за двоих! А может быть, попробовать как-нибудь отговорить Фалькенберга? В конце концов, замечал же я, что капитану не очень-то приятно держать работника, который носит его фамилию. Но, видно, я все-таки ошибался.

Мысли теснились у меня в голове. Ведь мне не в чем себя упрекнуть, я работал на совесть и, занимаясь своим изобретением, не украл у капитана ни секунды времени...

Потом я задремал, и меня разбудили шаги на лестнице. Не успел я встать, как капитан уже появился в дверях.

— Нет, нет, лежите, пожалуйста,— сказал он ласково и хотел уйти.— Или ладно, раз уж я вас разбудил, может быть, мы с вами сочтемся?

— Да, конечно. Если капитану угодно...

— Откровенно говоря, мы с вашим товарищем полагали, что вы останетесь у пастора, и потому... А сезон кончился, и в лесу невозможно работать. Впрочем, там еще остается небольшой участок. Но вот какое дело — с вашим товарищем я уже рассчитался, и не знаю теперь...

— Само собой, я согласен на ту же плату.

— Но мы с ним рассудили, что вам полагается прибавка.

Фалькенберг не говорил про это ни слова, и я сразу понял, что капитан все решил сам.

— У нас с ним был уговор получать поровну,— сказал я.

— Но ведь он работал у вас под началом. И по справедливости я должен накинуть вам по пятьдесят эре за день.

Поскольку он не оценил мое великодушие, я перестал спорить и взял деньги. При этом я обмолвился, что ожидал получить куда меньше.

Капитан сказал:

— Ну и прекрасно. А вот вам рекомендация, в которой сказано, как добросовестно вы работали.

И он протянул мне бумагу.

Это был простой и добрый человек. И если он ни слова не сказал о водопроводе, который предполагалось проложить весной, значит, у него были на то свои причины, и я не хотел задавать ему неприятные вопросы.

Он спросил:

— Итак, вы идете на железную дорогу?

— Право, я сам еще не решил.

— Ну что ж, спасибо за все.

Он пошел к двери.

И тут я, болван этакий, не удержался:

— А не найдется ли у капитана какой работы попозже, весной?

— Не знаю, там видно будет. Я... Это зависит... А как вы намерены распорядиться своей пилой?

— Если позволите, я пока оставлю ее здесь.

— Разумеется.

Капитан ушел, а я остался сидеть на постели. Ну вот, все кончено. Господи, Господи, помилуй нас, грешных! Сейчас девять часов, она уже встала, она там, в доме, который виден отсюда через окно. Надо мне уходить.

Я отыскал свой мешок, уложил вещи, натянул поверх блузы мокрую куртку и собрался идти. Но вместо этого я снова сел.

Вошла Эмма и сказала:

— Иди завтракать!— Я увидел у нее в руках свое одеяло, и меня охватил ужас.— А еще фру велела спросить, не твое ли это одеяло.

— Это? Нет. Мое у меня в мешке.

И Эмма унесла одеяло.

Я ни за что на свете не мог сознаться. Пропади оно пропадом, это одеяло!.. Может, мне спуститься вниз и позавтракать? Это прекрасный случай проститься с нею и поблагодарить. Все получится как бы само собой.

Эмма снова приносит аккуратно сложенное одеяло и кладет его на табурет.

— Иди скорей, кофе остынет,— говорит она.

— А зачем ты положила здесь одеяло?

— Хозяйка велела.

— Наверное, оно Фалькенбергово,— бормочу я.

Эмма спрашивает:

— Ну как, ты уходишь?

— Да, уйду, раз ты знать меня не хочешь.

— Ишь ты какой!— говорит Эмма, бросив на меня быстрый взгляд.

Я спускаюсь следом за ней на кухню; через окно я вижу, как капитан идет по дороге в лес. Я рад, что он ушел. Может быть, теперь его жена выйдет из спальни.

Позавтракав, я встаю из-за стола. Не лучше сразу же уйти? Да, так будет лучше. Я прощаюсь со служанками и шучу с каждой по очереди.

— Надо бы и с госпожой проститься, только вот не знаю...

— Она у себя, я сейчас спрошу.

Эмма уходит, но тотчас возвращается.

Госпожа прилегла, у нее разболелась голова. Но она велела кланяться.

— Заходите к нам,—говорят мне на прощанье служанки.

Держа мешок под мышкой, я покидаю усадьбу. Но тут я вспоминаю про топор, ведь Фалькенберг, наверно, будет его искать и не сможет найти. Я возвращаюсь, стучу в окошко кухни и объясняю, где лежит топор.

По дороге я несколько раз оборачиваюсь и гляжу на окна дома. Но вот усадьба скрывается из виду.

XXVI

Целый день бродил я вокруг Эвребё, заходил на ближние хутора, справлялся насчет работы и шел дальше, несчастный скиталец. Погода стояла сырая и холодная, я только тем и согревался, что шагал без усталости.

К вечеру я набрел на то место в лесу, где мы работали. Стука топора не было слышно, Фалькенберг уже ушел домой. Я отыскивал деревья, которые свалил ночью, и засмеялся, глядя на уродливые пни, которые остались после меня. Наверное, Фалькенберг, увидев такое опустошение, не мог взять в толк, кто все это натворил. Бедняга, он решил, пожалуй, что это дело лешего, оттого и поспешил убраться домой до темноты. Ха-ха-ха!

Но мне было совсем не весело, просто в бреду я разразился лихорадочным смехом, а потом вконец ослабел; и тотчас тоска снова сжала мне сердце. Вот здесь, на этом самом месте, она стояла, когда пришла со своей подругой к нам в лес, и они болтали с нами...

Когда стемнело, я побрел назад к усадьбе. Отчего бы мне не переночевать на чердаке, а утром, когда у нее пройдет головная боль, она выйдет... Но, завидев освещенные окна, я вдруг повернул назад. Нет, пожалуй, еще слишком рано.

Прошло, как мне кажется, часа два, а я все иду, присаживаюсь на землю, и снова иду, и снова присаживаюсь, и вот уже снова передо мной усадьба. Никто не помешает мне подняться на чердак и лечь, пускай этот жалкий трус Фалькенберг только пикнет! Я уже знаю, как быть, надо спрятать мешок в лесу, а потом подняться на чердак, тогда в случае чего можно сделать вид, будто я позабыл какую-нибудь мелочь и поэтому вернулся.

Я иду назад, к лесу.

Там я прячу мешок и вдруг понимаю, что не нужен мне ни Фалькенберг, ни чердак, ни ночлег. Дурак ты, дурак, ругаю я себя, тебе же вовсе не хочется спать, а хочется повидать одного-единственного человека, а потом уйти отсюда хоть на край света. «Милостивый государь,—обращаюсь я к себе,—не вы ли искали тихой жизни и людей, здравых умом, дабы обрести вновь утерянный покой?»

Я достаю мешок, закидываю его за спину и в третий раз подхожу к усадьбе. Я обхожу флигель стороной и приближаюсь к господскому дому с юга. В окнах горит свет.

И хотя уже темно, я скидываю мешок, чтобы не быть похожим на нищего, беру его под мышку и тихонько иду к дому. Но, подойдя совсем близко, я останавливаюсь. Я стою столбом под окнами, обнажив голову, и не двигаюсь с места. В доме никого не видно, даже тень не мелькнет. В столовой темно, господа отужинали. «Значит, час уже поздний»,—думаю я.

Вдруг свет гаснет, и дом погружается в темноту. Только наверху одиноко светится огонек. «Это в ее комнате!»—думаю я. Огонек горит с полчаса и гаснет. Она легла. Спокойной ночи.

Спокойной ночи и прощай навек.

Я, конечно, не вернусь сюда весной. Ни за что на свете.

Выйдя на шоссе, я снова вскидываю мешок за спину, и снова начинаются мои скитания...

Наутро я продолжаю путь. Ночевал я на сеновале и весь продрог, потому что мне нечем было укрыться, и к тому же пришлось уйти крадучись, на заре, в самую холодную пору.

Я прошел уже немало. Хвойные леса сменяются березняком; и когда попадается можжевельник с красивыми прямыми ветвями, я вырезаю себе палку, сажусь на опушке и остругиваю ее. Кое-где на ветвях еще дрожит золотой листок; а березы до сих пор красуются в сережках, унизанные, как жемчужинками, каплями дождя. Иногда на такую березу садится птичья стайка, они склевывают сережки, а потом чистят липкие клювики о камни или шероховатую кору. Они не хотят уступать друг другу, носятся взапуски, гонят одна другую прочь, хотя сережек кругом видимо-невидимо. И та, которую гонят, покоряется и улетает. Маленькая пташка теснит большую,

и большая уступает; даже крупный дрозд не думает противиться воробью, а обращается в бегство. «Наверное, это потому, что натиск воробья так стремителен»,— думаю я.

Мало-помалу озноб и тоскливое настроение, охватившие меня с утра, проходят, я с удовольствием разглядываю все, что попадает на пути, и обо всем раздумываю понемногу. Особенно радуют меня птицы. Впрочем, и деньги, которые лежат у меня в кармане, тоже вызывают приятные чувства.

Прошлым утром Фалькенберг сказал мне про хутор, который принадлежит отцу Петтера, и я решил пойти туда. Хутор, правда, невелик и едва ли там найдется работа, но у меня есть деньги, и меня интересует совсем другое. Ведь Петтер скоро должен вернуться домой, и я смогу кое-что у него выпросить.

Я подгадал так, чтобы прийти на хутор к вечеру. Я передал родителям поклон от сына, сказал, что ему уже лучше и он скоро вернется. А потом попросился переночевать.

XXVII

Я прожил на хуторе несколько дней, Петтер вернулся, но не рассказал мне ничего интересного.

— Все ли благополучно в Эвребё?

— Да, слава богу.

— Ты со всеми простился, когда уходил? С капитаном, с его супругой?

— Да.

— Все ли здоровы?

— Все. Кому там болеть?

— Да хоть и Фалькенбергу,— говорю.— Он жаловался, что вывихнул руку. Но, стало быть, все уже прошло...

Дом был богатый, но неудобный. Хозяин, депутат стортинга, завел привычку читать по вечерам вслух газеты. Ох уж эти газеты, из-за них страдало все семейство, а дочки, те просто умирали со скуки. Когда вернулся Петтер, они все вместе принялись подсчитывать, сполна ли он получил деньги с капитана и отлежал ли весь положенный срок—«предусмотренный законом срок», как выразился депутат. А накануне я по нечаянности разбил стекло, которое гроша ломаного не стоит, и все потом долго перешептывались и косо смотрели на меня;

я сходил в лавку, купил новое стекло, вставил его на место прежнего и тщательно укрепил замазкой. Депутат сказал:

— Стоило ли беспокоиться из-за какого-то стекла.

Но я ходил не только за стеклом, я купил несколько бутылок вина, чтобы лавочник не подумал, будто я пришел только за стеклом, и еще купил швейную машинку, которую решил подарить перед уходом хозяйским дочкам. День был субботний, вечером не грех выпить и как следует выспаться в воскресенье. А в понедельник с утра я собирался уйти.

Но все вышло совсем не так, как я думал. Обе хозяйские дочки залезли на чердак и обшарили мой мешок; швейная машина и бутылки возбудили у них жгучее любопытство, они не могли умолчать и донимали меня намеками. «Имейте терпение,— подумал я,— придется вам обождать до поры до времени».

Вечером я вместе со всеми сидел за столом и принимал участие в общем разговоре. Мы только что поужинали, хозяин нацепил очки и взялся за газету. Вдруг под окном послышался кашель.

— Кажется, кто-то пришел,— сказал я.

Девушки переглянулись и вышли. Немного погодя они отворили дверь и ввели в дом двух молодых парней.

— Садитесь, пожалуйста,— пригласила их хозяйка.

Я сразу заподозрил, что эти парни — женихи хозяйских дочек и их позвали выпить за мой счет. Вот так девицы, из молодых, да ранние, одной всего восемнадцать, а другой — девятнадцать. Ладно же, раз такое дело, не будет им ни капли вина...

Мы разговаривали о погоде, о том, что теперь уж не приходится ждать теплых дней, только вот снег, к сожалению, может помешать осенней пахоте. Разговор шел вяло, и одна из девиц спросила, почему я такой скучный.

— Потому, что мне надо уходить,— отвечаю я.— В понедельник утром я буду уже в двух милях отсюда.

— Тогда не выпить ли нам на прощанье?

Кто-то фыркнул, и я понял, что это по моему адресу,— мол, я жадничаю и мне жалко вина. Но я просто-напросто знать не хотел этих девчонок, они меня нисколько не интересовали, в этом и было все дело.

— Выпить на прощанье?— сказал я.— У меня есть, правда, три бутылки вина, но я купил их на дорогу.

— Зачем же тебе тащить вино с собой целых две мили? — спросила одна под громкий смех. — Разве мало лавок по дороге?

— Фрекен забыла, что завтра воскресенье и все лавки будут закрыты, — возразил я.

Смех умолк, но после того, как я высказался напрямик, они были на меня в обиде. Тогда я спросил у хозяйки, сколько с меня причитается.

— Но к чему такая спешка? Утром успеется.

— Нет, мне надо торопиться. Я прожил у вас два дня, скажите, сколько с меня.

Она довольно долго раздумывала, а потом пошла посоветоваться с мужем.

Дело принимало долгий оборот, поэтому я поднялся на чердак, уложил свой мешок и снес его вниз, к двери. Я совсем разобиделся и решил уйти нынче же вечером. Мне казалось, что так будет лучше всего.

Когда я вернулся к столу, Петтер сказал:

— Уж не собираешься ли ты уйти на ночь глядя?

— Да. Собираюсь.

— Но это же глупо, стоит ли обращать внимание на бабью болтовню!

— Господи, да не удерживай этого старикашку! — сказала ему сестра.

Наконец явился хозяин с хозяйкой.

— Ну, сколько же с меня?

— Гм... Да уж ладно, сколько дадите.

Мне было не по себе среди этих отвратительных людей, я вытащил из кармана бумажку, какая попалась под руку, и сунул ее хозяйке.

— Хватит с вас?

— Гм... Конечно, это не худо, но все же... А впрочем, пускай будет по-вашему.

— Сколько я вам дал?

— Пять крон.

— Что ж, это, пожалуй, маловато.

И я снова полез за деньгами.

— Нет, мама, он уплатил десять, — вмешался Петтер. — Это слишком много, надо дать ему сдачи.

Старуха разжала руку, взглянула на деньги и сказала с удивлением:

— Ах, право, я и не заметила, что это десятка! Я ведь даже не посмотрела. Раз так, большое спасибо.

Депутат смутился и стал рассказывать парням о том, что прочитал в сегодняшней газете: с одним человеком

произошел несчастный случай, молотилка оторвала ему руку. Девицы притворялись, будто не замечают меня, но сидели надутые, и глаза у них горели, как у разъяренных кошек. Мне нечего было здесь делать.

— Прощайте! — сказал я.

Хозяйка проводила меня до двери и сказала ласково:

— Сделай милость, одолжи нам бутылку вина. Право, такая досада, у нас, как на грех, гости.

— Прощайте, — повторил я таким тоном, что она не посмела настаивать.

За спиной у меня был мешок, в руках — швейная машина; ноша была тяжелая, а дорогу развезло; но, несмотря на это, я шагал с легким сердцем. Конечно, вышла неприятная история, и я готов был признать, что поступил нехорошо. Нехорошо? Пустое! Ведь я же, можно сказать, учинил дознание и выяснил, что эти дрянные девчонки хотели за мой счет угостить своих женихов. Положим, это так. Но ведь я только потому и обиделся, что они уязвили мою мужскую гордость: ведь пригласи они не этих парней, а каких-нибудь девушек, разве вино не потекло бы рекой? Еще как! И к тому же она назвала меня старикашкой. Но разве это не правда? Видно, я и впрямь уже стар, если обиделся, что мне предпочли какого-то мужика...

Ходьба утомила меня, и досада понемногу рассеялась, я бросил чинить дознание, я брел по дороге вот уже сколько часов со своей дурацкой ношей — тремя бутылками вина и швейной машиной. День был теплый, окрестные хутора тонули в тумане, и только подойдя совсем близко, я мог видеть, горит ли в окнах свет, а тут еще собаки не давали мне пробраться на сеновал. Подкралась ночь, я изнемог и совсем упал духом, будущее представлялось мне в самом мрачном свете. И зачем только я выбросил на ветер такую кучу денег! Я решил продать швейную машину и выручить то, что за нее уплатил.

Наконец я набрел на хутор, где собак не было. В окошке еще горел свет, я без колебаний постучал и попросился переночевать.

XXVIII

У стола сидела молоденькая девушка, которая, должно быть, совсем недавно конфирмовалась, и что-то шила. Когда я попросился на ночлег, она нисколько не ис-

пугалась, сказала, что сейчас спросит, и вышла в боковую дверь. Я крикнул ей вслед, что с меня довольно будет, если мне позволят посидеть до утра у печки.

Вскоре девушка вернулась, и следом за ней вошла ее мать, поспешно застегивая пуговицы.

Она поздоровалась и сказала, что не может, к сожалению, предложить мне особых удобств, но охотно уступит свою постель в боковой комнатке.

— А сами вы как же?

— Да ведь скоро уж утро. И к тому же дочке надо еще посидеть над шитьем.

— А что она шьет? Платье?

— Нет, только блузку. Хочет надеть ее завтра в церковь, я вот думала ей помочь, да она решила все сама сделать.

Я поставил на стол швейную машину и сказал, что на такой машине сшить блузку легче легкого. Вот я сейчас покажу, как это делается!

— Вы, стало быть, портной?

— Нет. Просто я торгую швейными машинами.

Тут я достаю руководство и читаю вслух, как пользоваться машиной, а девушка внимательно слушает, она совсем еще ребенок, и ее тонкие пальчики все синие от линючей материи. Они такие жалкие, эти пальчики, я гляжу на них, вынимаю бутылку вина и предлагаю всем выпить. Потом мы снова принимаемся за шитье, я читаю руководство, а девушка крутит ручку машины. Она в совершенном восторге, и глаза ее ярко блестят.

Сколько ей лет?

— Шестнадцать. В прошлом году она подтвердилась.

А как ее зовут?

— Ольга.

Мать стоит, глядя на нас, ей тоже хочется покрутить машину, но едва она протягивает руку, Ольга всякий раз ее останавливает:

— Нет, мама, не надо, а то сломаешь!

Когда мы перематываем нитки, мать хочет подержать челнок, но Ольга снова ее отстраняет, боясь, как бы она что-нибудь не испортила.

Хозяйка ставит на огонь кофейник, в домике становится тепло и уютно, мать с дочерью забывают о своем одиночестве, на душе у них легко и спокойно, я потешаюсь над машиной, и Ольга весело смеется всякой моей шутке. Я замечаю, что они даже не спрашивают о цене,

хотя знают, что машина продается,— такая роскошь им не по средствам. Посмотреть, как на ней шьют, и то для них праздник!

— Ольге непременно нужна такая машина. Погляди-те, как ловко у нее все получается.

Мать отвечает, что надо повременить, вот скоро Ольга поступит в услужение и заработает немного.

— Так она хочет поступить в услужение?

— Да, мы надеемся найти для нее место. Две старшие дочери уже пристроены. И живется им, слава богу, не худо. Завтра они тоже будут в церкви, Ольга с ними там увидится.

На одной стене висит треснутое зеркальце, к другой прибиты гвоздиками грошовые картинки, на которых красуются конные гвардейцы и принц с принцессой в роскошных одеждах. Одна, совсем выцветшая, изображает императрицу Евгению, я вижу, что эта картинка висит здесь уже давно, и спрашиваю, откуда она у них.

— Да разве упомнишь? Муж как-то принес.

— А где он ее достал?

— Кажется, в Херсете, он там работал в молодости. Тому уж лет тридцать минуло.

Я уже решил, как мне быть, и говорю:

— Да ведь этой картине цены нет.

Хозяйка думает, что я над ней смеюсь, но я долго рассматриваю картину и с уверенностью заявляю, что она стоит больших денег.

Но хозяйка не так проста, она говорит:

— А вы не ошибаетесь? Ведь она висит здесь с тех самых пор, как мы этот дом поставили. И Ольга с малых лет называет ее своей.

Я напускаю на себя таинственность и спрашиваю с видом знатока, которого интересуют все подробности:

— А где это — Херсет?

— Да тут, неподалеку. В двух милях от нас. Это имение ленсмана...

Кофе поспел, и мы с Ольгой прерываем работу. Остается только пришить крючки. Я прошу показать мне жакет, под который она наденет блузку, и тут оказывается, что никакого жакета нет, вместо него Ольга просто накинёт шерстяной платок. Но старшая сестра подарила ей старую кофту, которую она наденет сверху.

— Ольга растёт так быстро, нет смысла покупать ей хороший жакет раньше, чем через год,— слышу я.

Ольга пришивает крючки, дело спорится в ее руках. Но вид у нее такой сонный, что просто жалко смотреть, и я с притворной строгостью велю ей ложиться спать. Хозяйка под благовидным предлогом остается сидеть со мной, хоть я и уговариваю ее тоже лечь.

— Поблагодари же этого господина,—говорит она Ольге.

Ольга подходит ко мне, подает руку и благодарит. Я пользуюсь этим и отвожу ее в боковушку.

— Ложитесь и вы,—говорю я матери.— У меня от усталости уже язык заплетается.

Я располагаюсь у печки, подмостив под голову мешок вместо подушки, и она, видя это, с улыбкой качает головой и уходит.

XXIX

Наутро я бодр и полон сил, в окна заглядывает солнце, Ольга и ее мать уже причесаны, их влажные волосы так блестят, что просто смотреть приятно.

Мы завтракаем все втроем, а после кофе Ольга щеголяет передо мной в новой блузке, вязаном платке и кофте. Ах, эта невообразимая кофта с атласной оторочкой и атласными же пуговицами в два ряда, ворот и рукава у нее отделаны тесьмой; маленькая Ольга совсем утонула в ней. Это никуда не годится. Девочка совсем крошечная, как птенчик.

— А не ушить ли нам кофту? — предлагаю я. — Время ведь еще есть.

Но мать с дочерью только переглядываются — нынче ведь воскресенье, нельзя брать в руки ни иголки, ни ножниц. Я без труда угадываю их мысли, потому что меня самого так приучили в детстве, но теперь я позволяю себе маленькую еретическую хитрость: шить-то будет машина, а это совсем другое дело, ведь ездят же люди по воскресеньям в каретах.

Но им таких тонкостей не понять. Да и кофта взята на вырост, годика через два она будет Ольге в самую пору.

Мне хочется подарить что-нибудь Ольге на прощание, но у меня ничего нет, и я протягиваю ей крону. Она подает мне руку, благодарит, потом показывает монету матери, и глаза у нее сияют, она говорит шепотом, что, когда придет в церковь, отдаст деньги сестре. Мать, тоже сияя, соглашается, что так будет лучше всего.

Ольга в своей мешковатой кофте уходит в церковь, она спускается с холма и при этом смешно косолапит. Господи, какая она милая и забавная...

— А что, Херсет — большое имение?

— Большое.

Я сижу, сонно хлопая глазами, и раздумываю, что же означает слово Херсет. Может быть, это фамилия хозяйина? Или имя владельца здешних земель? А его дочь — красавица, которой нет равных, и вот сам ярл приезжает просить ее руки. А через год она родит сына, которого возведут на трон...

В общем, я собираюсь в Херсет. Мне ведь все равно, куда идти, и я решаю направиться туда. Может, у ленсмана случится для меня работа, может, подвернется не одно, так другое,— как бы там ни было, я повстречаю новых людей. Теперь, когда я принял это решение, у меня появилась какая-то цель.

После бессонной ночи глаза мои слипаются, поэтому я прошу у хозяйки разрешения прилечь, и она предлагает мне свою постель. Голубой паучок ползет вверх по стене, а я лежу, провожая его взглядом, покуда не засыпаю.

Я проспал часа два и проснулся, отдохнувший, свежий, полный сил. Старуха стряпает обед. Я укладываю мешок, даю ей денег за хлопоты, а потом предлагаю мену: я возьму Ольгину картину, а швейная машинка пускай остается ей.

Старуха снова не верит мне.

— Ничего,— говорю я,— только бы она была довольна, а меня это вполне устраивает. Картина очень ценная, я знаю, что делаю.

Я снимаю картину со стены, сдуваю пыль и осторожно свертываю ее трубкой; на бревенчатой стене остается светлый квадрат. Я прощаюсь.

Старуха выходит вслед за мной и просит подождать Ольгу, пускай она хоть поблагодарит меня.

— Ах, милоч, ну пожалуйста!

Но я тороплюсь.

— Кланяйтесь Ольге, а если будут какие затруднения с машиной, поглядите в руководство.

Она долго смотрит мне вслед. Я удаляюсь с важностью и насвистываю, очень довольный собой. Я отдохнул, мешок у меня теперь совсем легкий, а солнце ярко светит и уже подсушило дорогу. Я так доволен собой, что распеваю на ходу.

Нервы...

До Херсета я добрался на другой день. Имение показалось мне таким большим и богатым, что я хотел было пройти мимо; но мне попался навстречу один из работников, я потолковал с ним и решился предложить ленсману свои услуги. Мне ведь уже приходилось работать у богатых людей, взять хоть капитана из Эвребё...

Ленсман был приземистый, плечистый человек с длинной седой бородой и лохматыми темными бровями. Он разговаривал со мной строго, но я по глазам видел, что он добряк; и в самом деле, потом оказалось, он не прочь при случае поболтать и посмеяться от души. Но иной раз он напускал на себя важность, подобающую его чину и состоянию, бывал заносчив.

— Нет у меня работы. А вы, собственно, откуда?

Я назвал несколько хуторов, куда заходил по дороге.

— Стало быть, вы нищий и клянчите милостыню?

— Нет, я не нищий, у меня есть деньги.

— Тогда ступайте своей дорогой. Работы для вас у меня нет, осенняя пахота кончена. А что, могли бы вы нарубить жердей для изгороди?

— Да.

— Так-с. Но мне ни к чему деревянные изгороди, они у меня теперь проволочные. И каменщиком могли бы работать?

— Да.

— Очень жаль. У меня всю осень работали каменщики, для вас тоже нашлось бы дело.

Он поковырял землю палкой.

— А почему, собственно, вы пришли ко мне?

— Все говорят, что надо только попросить ленсмана, у него всегда найдется работа.

— Вот как? Да, у меня и в самом деле постоянно кто-нибудь работает, вот осенью я нанимал каменщиков. А загон для кур вы можете сделать? Ну уж на это мастера днем с огнем не сыскать, ха-ха-ха! Так вы говорите, что работали в Эвребё у капитана Фалькенберга?

— Да.

— А что вы там делали?

— Рубил лес.

— Я этого человека не знаю, очень уж далеко отсюда его усадьба, но кое-что о нем слышал. А есть у вас рекомендация?

Я подал бумагу.

— Ну, так уж и быть, оставайтесь у меня,—сказал ленсман, прекратив расспросы.

И он повел меня с заднего крыльца на кухню.

— Этот человек пришел издалека, накормите его хорошо,— сказал он.

Я сижу в просторной, светлой кухне, и мне подали такой чудесный обед, какого я давно не пробовал. Не успел я поесть, как ленсман пришел снова.

— Ну вот что...— говорит он.

Вскочив с места, я вытягиваюсь в струнку, и ленсману, видно, по душе этот небольшой знак почтения.

— Пожалуйста, доедайте. Ах, вы уже кончили? Я тут вот что надумал... Пойдемте-ка со мной.

Он повел меня к сараю.

— Если вы не против, я пошлю вас в лес за дровами. У меня два работника, но одного я должен буду взять в понятия, а со вторым вы отправитесь в лес. Дров у меня, как видите, много, но лучше заготавливать их впрок, про запас. Вы, кажется, сказали, что у вас есть деньги, так нельзя ли полюбопытствовать...

Я показал деньги.

— Превосходно. Видите ли, я занимаю ответственный пост и должен знать людей, которые у меня работают. Но у вас, надо полагать, совесть чиста, раз вы пришли к ленсману, ха-ха-ха! Итак, сегодня отдыхайте, а назавтра отправляйтесь в лес за дровами.

Я стал готовиться к завтрашней работе, осмотрел свою одежду, наточил пилу и топор. Рукавиц у меня не было, но морозы еще не ударили, и я мог обойтись без них, а все остальное у меня было.

Ленсман еще не раз приходил ко мне поговорить о том о сем, ему было интересно потолковать со свежим человеком.

— Маргарита, поди сюда!— окликнул он жену, проходившую по двору.— Это новый работник, я посылаю его в лес за дровами.

XXX

Хотя нам не было дано никаких распоряжений, мы по собственному почину стали рубить только деревья с сухими верхушками, и вечером ленсман похвалил нас за это. Впрочем, он обещал назавтра прийти сам и все нам показать.

Я сразу увидел, что работы в лесу не хватит и до Рождества. Ночами подмораживало, но снег все не выпа-

дал, поэтому дело спорилось, мы валили одно дерево за другим, и сам ленсман сказал, что мы работаем как одержимые, ха-ха-ха! Славно работалось мне у этого старика, он часто наведывался в лес, весело шутил и, когда я пропускал его шутки мимо ушей, думал, наверное, что я очень скучный человек, хоть на меня и можно положиться. Со временем он поручил мне носить письма на почту.

В имении совсем не было детей, меня окружали пожилые люди, если не считать служанок и одного работника, долгими вечерами я не знал, как убить время. Чтобы развлечься, я достал кислоты и олова и принялся лудить старые кухонные котлы. Но этого занятия мне хватило ненадолго.

Как-то вечером я сел и написал такое письмо:

«Ах, если б я был подле вас, то работал бы за двоих!»

Утром, когда ленсман послал меня на почту, я захватил письмо и отправил его. Меня беспокоило, что письмо имеет такой неприглядный вид — бумагу я взял у ленсмана и его фамилию на конверте пришлось сплошь заклеймить марками. Бог весть, что она подумает, когда получит письмо! Ни подписи, ни обратного адреса.

Мы по-прежнему рубим вдвоем дрова, болтаем о всякой всячине, чувствуем здоровую усталость и отлично ладим между собой. Дни идут, я с огорчением вижу, как мало остается работы, но все же надеюсь, что, когда заготовка дров будет закончена, у ленсмана найдется для меня еще какое-нибудь дело. Вот было бы хорошо. Мне вовсе не улыбается опять бродяжничать, да еще на Святки.

Когда я снова побывал на почте, мне вручили письмо. Я не сразу понял, что это мне, и в нерешимости вертел его так и эдак; но почтмейстер, который знал меня в лицо, взглянул на конверт и показал мне, что там стоит мое имя, а пониже — адрес ленсмана. Тогда я сообразил, в чем дело, и схватил письмо.

— Да, конечно, я совсем забыл... ведь я же посылал...

В ушах у меня звенит, я выбегаю на двор, вскрываю конверт и читаю:

«Не пишите мне...»

Ни подписи, ни обратного адреса, но как просто и ясно. Второе слово подчеркнуто.

Не знаю, как я добрался до дома. Помню, я сел на придорожный камень и перечел письмо, потом сунул его в карман, добрал до следующего камня, снова вынул

письмо и перечел его. «Не пишите». Но, может быть, в таком случае мне можно прийти туда и даже поговорить с ней? Тонкий красивый листок, торопливый, изящный почерк! Она держала это письмо в руках; оно было перед ее глазами, на него веяло ее дыханием. И многообразие в конце могло обозначать все, что угодно.

Я пришел домой, отдал ленсману его письма и отправился в лес. Мой товарищ не мог понять, что со мной творится,— я был погружен в раздумье, без конца перечитывал письмо и снова прятал его на груди, где у меня хранились деньги.

Какая она умница, что разыскала меня! Наверное, посмотрела конверт на свет и прочла фамилию ленсмана под марками, а потом слегка склонила свою милую головку, прищурила глаза и подумала: «Он сейчас работает у ленсмана в Херсете...»

Вечером, когда мы вернулись домой, ленсман вышел к нам, поговорил немного о пустяках, а потом спросил:

— Так вы говорите, что работали у капитана Фалькенберга в Эвребё?

— Да, а что?

— Мне стало известно, что он изобрел машину.

— Машину?

— Ну, механическую пилу. Так написано в газетах.

Я пожал плечами. Как это он мог изобрести пилу, которую изобрел я?

— Наверное, это ошибка,— говорю я.— Пилу изобрел вовсе не он.

— Не он?

— Нет. Правда, сейчас пила у него.

И я рассказал ленсману все как было. Он принес газету, и мы стали читать вместе: «Новейшее изобретение... Наш корреспондент сообщает... пила особой конструкции может оказаться весьма полезной в лесном хозяйстве... устроена она следующим образом...»

— Уж не хотите ли вы сказать, что это ваше изобретение?

— Вот именно.

— Стало быть, капитан задумал его украсть? Веселое дело, ничего не скажешь. Ладно, предоставьте все мне. Кто-нибудь знает, что вы работали над пилой?

— Да, там это всякий подтвердит.

— Клянусь богом, дело просто неслыханное,— украсть чужое изобретение! Да и деньги... ведь тут миллионом пахнет!

— Право, я не понимаю капитана.

— Зато я все понимаю, недаром я ленсман. Он у меня давно на подозрении, ведь он не так уж богат и только прикидывается богачом. Вот я пошлю ему письмецо от своего имени, совсем коротенькое письмецо, что вы на это скажете? Ха-ха-ха! Уж положитесь на меня.

Но я в нерешительности — слишком рьяно хочет ленсман взяться за дело, а капитан, может статься, вовсе и не виноват, просто газетчик что-нибудь напутал. И я прошу у ленсмана разрешения самому написать капитану.

— Значит, вы хотите снюхаться с этим негодяем? Ну нет! Я этим займусь сам. Помимо всего прочего, сами вы никогда не сможете написать в таком решительном тоне, как я.

Но я долго изворачивался и в конце концов добился того, что он позволил мне написать письмо, с тем чтобы потом я все предоставил ему. Бумагу я снова взял у ленсмана.

После всех этих волнений я долго не мог успокоиться и в тот вечер не сумел написать ни строчки. Я раздумывал: мне нельзя писать капитану — это может поставить в неловкое положение его жену, стало быть, нужно написать моему приятелю Фалькенбергу и попросить его, чтобы он присмотрел за моим изобретением.

А ночью мне снова явилась покойница, скорбная фигура в длинном одеянии, она никак не хотела отвязаться от меня и требовала свой ноготь с большого пальца. И явилась она в самое неподходящее время, когда я еще не оправился от недавних волнений. Леденя от ужаса, я видел, как она проскользнула в дверь, остановилась посреди комнаты и простерла ко мне руки. У противоположной стены спал мой напарник, и я испытал необычайное облегчение, когда услышал, как он стонет и мечется на постели, — значит, он тоже был объят ужасом. Я покачал головой, давая ей понять, что похоронил ноготь в укромном месте и ничего больше сделать не могу. Но покойница не уходила. Тогда я стал вымаливать у нее прощение; и тут меня вдруг охватила злоба, я не выдержал и прямо сказал, что не намерен больше вести с ней пустые разговоры. Да, я по глупости взял на время ее ноготь, но вот уже который месяц пошел с тех пор, как я приделал к трубке ракушку, а ее ноготь снова предал земле... Тогда она скользнула к моему изголовью, чтобы накинуться на меня сзади. С отчаянным воплем я подскочил на постели.

— Ты что? — испуганно спросил мой напарник.

Я протер глаза и объяснил, что просто мне приснился дурной сон.

— А кто тут сейчас был? — спросил он.

— Не знаю. Да разве был кто-нибудь?

— Я видел, как кто-то выскользнул за дверь...

XXXI

Прошло несколько дней, я собрался с мыслями и сел писать письмо Фалькенбергу. «У меня в Эвребё осталось небольшое лесопильное приспособление, — писал я, — возможно, со временем оно пригодится в лесном хозяйстве, и я хотел бы забрать его при случае. Будь так любезен, присматривай за ним, чтобы оно не пропало».

Я выбирал самые вежливые выражения. Мне нельзя было уронить достоинство. Ведь Фалькенберг, конечно, расскажет о моем письме на кухне, а может быть, даже прочтет его вслух, поэтому нужно быть на высоте. Но я не ограничился одной вежливостью и назначил точный срок: в понедельник одиннадцатого декабря я приду и заберу свою пилу.

Я подумал: ну вот, срок поставлен твердо; если в назначенный понедельник пилы там не окажется, я должен буду что-то предпринять.

Я сам снес письмо на почту и заклеил конверт марками...

Смятение не покидало меня, ведь я получил такое чудесное письмо, оно прислано на мое имя и хранится у меня на груди. «Не пишите». Что ж, зато я могу пойти туда. И не зря она поставила многоточие...

А если одно слово подчеркнуто, это вовсе не значит, что она сердится: возможно, это сделано просто для того, чтобы усилить впечатление? Женщины так любят подчеркивать слова и так часто ставят многоточие. Но ведь на нее это совсем не похоже!

Через несколько дней я закончу работу у ленсмана. Все идет как по маслу, я рассчитал правильно, и одиннадцатого числа буду в Эвребё! Мешкать незачем. Если капитан действительно позарился на мою пилу, надо действовать сразу. С какой стати я позволю этому человеку украсть миллион, который достался мне с таким трудом? Разве я не работал в поте лица? Теперь я уже жалел, что написал Фалькенбергу такое вежливое письмо,

надо было проявить твердость, а то он, чего доброго, думает, что я тряпка. Возьмет еще да засвидетельствует, что вовсе не я изобрел пилу. Эге, дружище Фалькенберг, этого только не хватает! Смотри, погубишь свою бессмертную душу; ну, а если это тебя не пугает, учти, что я притяну тебя к ответу за лжесвидетельство, ведь ленсман — мой друг и благодетель. Знаешь, чем это пахнет?

— Ну конечно, вам надо туда пойти, — сказал ленсман, когда я все ему рассказал. — А потом возвращайтесь с пилой ко мне. Надо быть твердым, шутка ли, ведь речь идет о целом состоянии.

Но с утренней почтой пришла новость, которая разом все изменила: капитан Фалькенберг написал в газету, что произошло недоразумение и пилу изобрел вовсе не он. Это изобретение принадлежит человеку, который одно время работал у него. Но о самой пиле он ничего определенного сообщить не может. Под заметкой стояла подпись: капитан Фалькенберг.

— Во всяком случае, капитан ни в чем не повинен.

— М-да. А хотите вы знать мое мнение?

Мы помолчали. Ленсман всегда остается ленсманом, он, конечно, во всем выискивает мошенничество.

— Сомнительно, чтобы капитан был ни в чем не повинен, — заявил он.

— Разве?

— Видел я таких людей. Теперь-то он на попятный. Прочел ваше письмо и испугался. Ха-ха-ха!

Пришлось мне сознаться, что я вовсе не посылал письма капитану, а просто написал несколько слов одному его работнику, но и это письмо еще не могло дойти, потому что было отправлено только накануне.

Тогда ленсман умолк и уже не выискивал во всем мошенничества. Напротив, теперь он стал сомневаться в ценности моего изобретения.

— Очень может быть, что вся эта штука никуда не годится, — сказал он. Но тут же добавил снисходительно: — То есть я хотел сказать, что там, наверно, многое еще нужно доделать и усовершенствовать. Взять, к примеру, хоть военные суда и аэропланы — их ведь тоже постоянно приходится совершенствовать... Так вы твердо решили идти?

Ленсман уже не предлагал мне вернуться с пилой; зато он написал мне прекрасную рекомендацию. Он с удовольствием оставил бы меня у себя, — говорилось там, но работу пришлось прервать ввиду того, что дела потребовали моего присутствия в другом месте...

Наутро я собираюсь в путь и вдруг вижу, что у ворот меня дожидается худенькая девушка. Это Ольга. Бедное дитя, ей, верно, пришлось встать в полночь, чтобы поспеть сюда в такую рань. Она стоит в своей синей юбке и широкой кофте.

— Ольга? Куда это ты?

Оказывается, она пришла ко мне.

— Но как же ты узнала, что я здесь?

Ей люди сказали. Правда ли, что она может считать швейную машину своей? Смеет ли она думать...

— Да, можешь считать ее своей, ведь я взял в обмен картину. Хорошо ли машина шьет?

— Еще бы, очень хорошо.

Разговор наш был недолгим, я хотел, чтобы она поскорей ушла, потому что ленсман мог увидеть ее и стал бы допытываться, в чем дело.

— Ступай-ка домой, девочка. Путь не близкий.

Ольга протягивает мне свою маленькую ручку, которая совсем теряется в моей, и не отнимает, пока я сам не отпускаю ее. Она благодарит меня и уходит, счастливая. При этом она все так же смешно косолапит.

XXXII

Скоро я буду у цели.

В воскресенье я заночевал у одного арендатора неподалеку от Эвребё, чтобы прийти к капитану в понедельник с самого утра. В девять часов все уже встанут, и быть может, мне посчастливится увидеть ту, о которой я мечтал!

Нервы мои напряжены до крайности, и все представляется мне в самом мрачном свете: хотя в моем письме Фалькенбергу не было ни единого резкого слова, капитан все же мог оскорбиться, потому что я назначил срок, дернул же меня черт сделать такую глупость. Господи, и зачем вообще было писать!

С каждым шагом я все больше втягиваю голову в плечи, все сильнее съеживаюсь, хоть и не знаю за собой никакой вины. Я сворачиваю с дороги и делаю крюк, чтобы выйти к флигелю и первым делом повидать Фалькенберга. Он моет коляску. Мы с ним здороваемся по-дружески, словно между нами ничего и не произошло.

— Куда это ты собираешься?

— Да никуда, я только вернулся вчера вечером. Ездил на станцию.

— И кого ты туда возил?

— Хозяйку.

— Хозяйку?

— Ну да, хозяйку.

Пауза.

— Вон что. И куда же она уехала?

— В город, погостить.

Пауза.

— Тут к нам приходил какой-то человек, он пропечатал в газете про твою пилу,— говорит Фалькенберг.

— А капитан тоже уехал?

— Нет, капитан дома. Знаешь, когда получилось твое письмо, он поморщился.

Я зазываю Фалькенберга на наш чердак и преподношу ему две бутылки вина, которые достаю из мешка. Эти бутылки я носил с собой в такую даль, старался их не разбить, и вот теперь они пригодились. У Фалькенберга сразу развязался язык.

— Почему капитан поморщился? Ты дал ему прочесть письмо?

— Вот как все получилось,— говорит Фалькенберг.— Когда я принес письма, хозяйка была на кухне. «Что это за конверт, на котором столько марок?»— спрашивает она. Ну, я вскрыл письмо и говорю, что оно от тебя и ты придешь одиннадцатого.

— А она что?

— Да ничего. «Стало быть, одиннадцатого он будет здесь?»— спрашивает. «Да, говорю, будет».

— А через два дня тебе было велено отвезти ее на станцию?

— Вот именно, через два дня. Я ведь как рассудил: ежели хозяйка знает о письме, то и капитану тоже надо знать. И как ты думаешь, что он сказал, когда я принес ему письмо?

Я промолчал, поглощенный своими мыслями. Тут что-то не так. Уж не от меня ли она убежала? Но нет, видно, я не в своем уме, станет супруга капитана из Эвребё бегать от какого-то работника! Однако вся эта история казалась мне странной. Ведь я надеялся, что хоть она и запретила мне писать, я смогу с ней поговорить.

Фалькенберг был огорчен.

— Наверно, зря я показал капитану письмо без твоего ведома. Наверно, не надо было так делать?

— Нет, это не важно. Но что же он сказал?

— Ты, говорит, непременно присматривай за пиллой,— а сам поморщился.— Не то, говорит, чего доброго, кто-нибудь ее утащит.

— Выходит, он на меня сердится?

— Нет, этого я не скажу. С тех пор я от него ни слова об этом не слыхал.

Но мне нет дела до капитана. Дождавшись, когда Фалькенберг совсем захмелел, я спрашиваю, не знает ли он городского адреса хозяйки. Нет, он не знает, но можно спросить у Эммы. Мы позвали Эмму, угостили ее вином, поболтали немного о пустяках, а потом исподволь приступили к делу. Нет, Эмма адреса не знает. Но хозяйка поехала делать покупки к Рождеству не одна, а с фрекен Элисабет, пасторской дочкой, и ее родители, конечно, знают адрес. Впрочем, зачем это мне?

— Да я тут купил по случаю старинную брошь и хотел уступить ее госпоже.

— Покажи-ка.

К счастью, у меня действительно была старинная и очень красивая брошь, я купил ее у одной служанки в Херсете и теперь показал Эмме.

— Не возьмет ее госпожа,— сказала Эмма,— даже мне и то она даром не нужна.

— Ну уж если и ты, Эмма, против меня, тогда, конечно,— говорю я, принуждая себя шутить.

Эмма уходит. А я снова подступаю с расспросами к Фалькенбергу. У него редкостный нюх, порой он неплохо разбирается в людях.

А что, госпожа просила его петь в последнее время?

Нет. Теперь Фалькенберг жалеет, что нанялся сюда в работники, столько здесь слез и горя.

— Слез и горя? Да разве капитан и его жена не в самых добрых отношениях?

— Какие там, к черту, добрые отношения! У них все по-прежнему. Прошлую субботу она целый день плакала.

— Подумать только, какая неожиданность, ведь так дружно жили, наглядеться друг на друга не могли,— говорю я с притворным простодушием и жду, что он на это скажет.

— Черт ихней жизни рад,— отвечает Фалькенберг на вальдреский манер.— Ты вот ушел, а она с той самой поры вконец извелась.

Я просидел у чердачного окна часа два, не спуская глаз с крыльца господского дома, но капитан не показывался. Почему он прячется? Дождаться было бессмыс-

ленно, и я решил уйти, не объяснившись с ним. А ведь оправдание у меня было, я мог бы ему сказать, не покрывив душой, что после первой статьи в газете слишком много возомнил о себе. Но теперь мне оставалось лишь упаковать пилу, обернув ее, сколько возможно, мешком, и уйти отсюда.

Эмма была на кухне и тайком покормила меня на дорогу.

Дорога предстояла дальняя, — первым делом надо было зайти в пасторскую усадьбу, сделав небольшой крюк, а уж потом идти на станцию. Выпал снег, идти было трудно, а мешкать я не мог, приходилось наверстывать время: они ведь поехали в город ненадолго, за рождественскими покупками, и далеко опередили меня.

На исходе следующего дня я добрался до пасторской усадьбы. Поразмыслив, я рассудил, что лучше всего поговорить с самой хозяйкой.

— Вот зашел к вам по дороге в город, — сказал я ей. — Приходится тащить с собой пилу, так нельзя ли пока оставить здесь хоть деревянный каркас, сами видите, какая это тяжесть.

— Стало быть, ты собрался в город? — переспросила она. — Но почему бы тебе в таком случае не переночевать у нас?

— Нет, спасибо. Завтра к утру мне непременно надо в город.

Она поразмыслила и говорит:

— Элисабет сейчас в городе. Она забыла кое-что взять, может, захватишь для нее небольшой пакетик?

«Вот и адрес!» — подумал я.

— Но посылку нужно еще приготовить.

— А вдруг я не застаю фрекен Элисабет?

— Нет, они с фру Фалькенберг пробудут там до конца недели.

Как я обрадовался, как счастлив был услышать это. Теперь я знал, что получу адрес и приеду вовремя.

А она поглядела на меня искоса и говорит:

— Так ты побудешь у нас до утра? Право, раньше мне никак нельзя успеть...

Меня поместили в доме, потому что уже стояли холода и ночевать на сеновале было невозможно. А ночью, когда все в доме заснуло, она пришла ко мне с пакетиком и сказала:

— Прости, что я в такое время... Но ведь ты уйдешь спозаранку, когда я буду еще спать.

И вот я снова среди городской суеты, и толчеи, и газет, и многолюдства, но прошли долгие месяцы, и я уже не испытываю перед этим отвращения. Все утро я брожу по городу, потом покупаю себе новое платье и отправляюсь к фрекен Элисабет. Она живет у родственников.

Но посчастливится ли мне увидеть ту, другую? Я волнуясь, как мальчишка. Перчатки мешают мне, и я стягиваю их; но, уже поднимаясь по лестнице, я замечаю, что при городском платье мои огрубевшие руки выглядят неприлично, и снова поспешно надеваю перчатки. Нажимаю кнопку звонка.

— Вам фрекен Элисабет? Сию минуту.

Фрекен выходит.

— Добрый день. Вы спрашивали меня... Ах, боже мой, кого я вижу!

— Я привез посылку от вашей матушки. Вот, прошу вас.

Она надрывает обертку и заглядывает в пакет.

— Нет, мама просто неподражаема! Театральный бинокль! Да ведь мы уже были в театре... А вас я сразу и не узнала.

— Разве? Ведь мы виделись не так давно.

— Разумеется, и все же... Но вам, наверное, не терпится узнать о некоей особе? Ха-ха-ха!

— Да,— ответил я.

— Она живет не здесь. Я остановилась у родственников. А она — в «Виктории».

— Что ж, мне ведь нужно было только передать вам посылку,—говорю я, не без труда скрывая разочарование.

— Подождите, у меня дела в городе, пойдемте вместе.

Фрекен Элисабет надевает пальто, кричит кому-то в дверь «до свидания!» и выходит вместе со мной. Мы берем извозчика и едем в какое-то скромное кафе. Фрекен Элисабет говорит, что любит бывать в кафе. Но здесь ужасно скучно.

— В таком случае не поехать ли куда-нибудь еще?

— Да. Поедемте в «Гранд».

Я боюсь, что мне там будет неловко, я отвык от всего этого, а ведь придется раскланиваться со знакомыми. Но фрекен непременно хочется в «Гранд». Она в городе всего

несколько дней, но уже приоровилась к здешней жизни и ничуть не робеет. Прежде она мне больше нравилась.

Мы снова берем извозчика и едем в «Гранд». Уже вечер. Фрекен садится за ярко освещенный столик и вся сияет от удовольствия. Подают вино.

— Какой вы нарядный,— говорит она и смеется.

— Не мог же я прийти сюда в рабочей блузе.

— Нет, разумеется. Но, откровенно говоря, блуза...

Сказать вам мое мнение?

— Сделайте милость.

— Блуза вам больше к лицу.

— В таком случае ну его к дьяволу, это городское платье!

Я сижу как на иголках, не слушая ее болтовни, и на уме у меня совсем другое.

— А вы надолго в город?— спрашиваю я.

— Мы уже сделали все покупки и уедем вместе с Ловисой. К сожалению, это будет скоро.— Она опечалилась, но тотчас снова повеселела и спросила со смехом:— А скажите, правда у нас на хуторе было хорошо?

— Да. Просто чудесно.

— Значит, вы вскорости вернетесь к нам? Ха-ха-ха!

Конечно, она надо мной подшучивала. Ей хотелось показать, что она видит меня насквозь и от нее не укрылось, как неудачно я сыграл свою роль. Глупый ребенок, она не знает, что я мог бы поучить иного мастера и справиться почти со всяким делом. Только вот в главном деле своей жизни я никак не могу достичь предела мечтаний.

— А не попросить ли мне папу вывесить весной на столбе объявление, что вы прекрасный водопроводчик и предлагаете свои услуги?

Она заливается смехом и щурит глаза.

Я еле сдерживаюсь, как ни беззлобны ее шутки, меня они задевают. Чтобы немного успокоиться, я обвожу кафе взглядом, кое-кто приподнимает шляпу, я раскланиваюсь в ответ, но мысли мои далеко отсюда. Красивая девушка, сидящая за моим столиком, привлекает общее внимание.

— Неужели у вас столько знакомых, что вы все время раскланиваетесь?

— Да, кое-кого я знаю... А скажите, вы хорошо провели здесь время?

— Чудо как хорошо. У меня здесь два кузена, они познакомили меня со своими друзьями.

— А бедняга Эрик скучает сейчас в глуши!— шучу я.

— Ах, оставьте меня со своим Эриком. Понимаете, тут есть один человек по фамилии Бевер. Только мы с ним сейчас в ссоре.

— Ничего, помиритесь.

— Вы полагаете? Нет, это довольно серьезно. Скажу вам по секрету, у меня есть надежда, что он придет сюда.

— В таком случае он увидит вас со мной.

— Мы для того сюда и приехали, чтобы он приревновал меня к вам.

— Что ж, постараемся.

— Да, но все-таки... все-таки не мешало бы вам быть помоложе. То есть я хотела сказать...

Я принужденно улыбаюсь.

— Ну, это ничего. Вы напрасно презираете нас, стариков, мы прожили долгую жизнь и не ударим лицом в грязь. Позвольте-ка, я пересяду на диван поближе к вам, тогда моя плешь не бросится ему сразу в глаза.

Да, нелегко переступить порог старости красиво и с достоинством. Человек становится сам не свой, кривляется, паясничает, не хочет отстать от молодых, завидует им.

— Фрекен Элисабет,— говорю я с горячей мольбой,— не могли бы вы позвонить фру Фалькенберг и попросить ее приехать?

Она задумывается.

— Отчего ж, это можно,— говорит она сочувственно.

Мы идем к телефону, она вызывает гостиницу «Виктория» и просит позвать фру Фалькенберг.

— Это ты, Ловиса? Если б ты только знала, кто стоит рядом со мной! Ты не могла бы приехать? Вот и прекрасно. Мы в «Гранде». Нет, этого я тебе не скажу. Ну конечно, мужчина, он теперь стал благородным господином, но ни слова больше. Так ты приедешь? Как, уже передумала? Нужно навестить родственников? Что ж, как знаешь. Да, он здесь, подле меня. С чего это ты так заторопилась? Ну, в таком случае до свидания.

Фрекен Элисабет вешает трубку и говорит коротко:

— Ее ждут у родственников.

Мы возвращаемся к столику. Нам подают еще вина; я стараюсь казаться веселым и предлагаю выпить шампанского.

— С удовольствием,— отвечает фрекен.

Когда мы усаживаемся, она говорит:

— А вот и Бевер. Как хорошо, что мы потребовали шампанского.

Я могу думать лишь об одном, но нужно показать, на что я способен, приходится ухаживать за фрекен, хотя мне это ни к чему, я говорю одно, а на уме у меня другое. Как бы не сказать чего невпопад. У меня из головы не идет этот телефонный разговор: она, конечно, догадалась, что это я хочу ее видеть, но в чем же я провинился? Почему мне так решительно отказали от места в Эвребё и взяли Фалькенберга? Капитан с женой не очень-то ладят, но когда он понял, что меня следует опасаться, то решил уберечь жену от столь смехотворного грехопадения. Вот она и приехала сюда, ей стыдно теперь, что я жил у них, возил ее к пастору и она дважды обедала со мной по дороге. Ей стыдно, что я уже немолод...

— Нет, так у нас ничего не выйдет,— говорит фрекен Элисабет.

И я снова принимаюсь усердно болтать всякий вздор, а она слушает меня и смеется. Я много пью, отпускаю дерзкие шутки, и она, кажется, начинает верить, что я всерьез за ней ухаживаю. Она все чаще поглядывает на меня.

— А я вам и в самом деле немножко нравлюсь?

— Бога ради, поймите... Я же не вам это говорю, а фру Фалькенберг.

— Тс! — останавливает меня фрекен.— Конечно, я знаю, что вы это говорите ей, но не подавайте вида... Кажется, он уже ревнует. Попробуем еще, притворимся, будто мы совершенно поглощены друг другом.

Значит, она вовсе не поверила, что я всерьез за ней ухаживаю. Ну конечно, какой из меня соблазнитель, я слишком стар для этого.

— Но ведь с фру Фалькенберг у вас ничего не выйдет,— говорит она.— Напрасны все ваши надежды.

— Да, у меня с ней ничего не выйдет. И с вами тоже.

— Это вы опять ей говорите?

— Нет, это я вам.

Пауза.

— А знаете ли вы, что я была в вас влюблена? Да, да, в ту пору, когда вы жили у нас.

— Это презабавно,— говорю я и поддвигаюсь к ней поближе.— Ну, держись, Бевер!

— Поверите ли, я ходила по вечерам на кладбище, потому что искала встречи с вами. Но вы были так глупы и ничего не поняли.

— Это вы, конечно, говорите Беверу,— замечаю я.

— Нет, поверьте, я серьезно. А один раз я пришла к вам в поле. К вам, а вовсе не к вашему Эрику.

— Неужели ко мне? — говорю я и делаю вид, будто мне стало грустно.

— Вам это, наверное, кажется странным. Но поймите, ведь и нам, в нашей глуши, надо в кого-нибудь влюбляться.

— И фру Фалькенберг тоже так полагает?

— Фру Фалькенберг... Нет, она говорит, что никогда не влюбится, а будет только играть на рояле, и все такое. Но я говорю о себе. Знаете, что я однажды сделала? Право, стоит ли и говорить? Хотите, скажу?

— Да, любопытно будет послушать.

— Конечно, по сравнению с вами я совсем девчонка, и это все пустое; но вы тогда ночевали у нас на чердаке, я прокралась туда потихоньку и застелила вашу постель.

— Так это были вы! — Я удивлен от души и забываю свою роль.

— Поглядели бы вы, как я туда кралась, ха-ха-ха!

Но бедняжка еще не научилась притворяться, после этого маленького признания она краснеет и принужденно смеется, стараясь скрыть смущение.

Я спешу прийти ей на помощь.

— Ну что ж, у вас добрая душа. Ведь фру Фалькенберг на такое не способна.

— Конечно, нет, но она же старше. А вы-то, верно, думали, что мы с ней ровесницы!

— Стало быть, фру Фалькенберг говорит, что никогда не влюбится?

— Да. А впрочем, не знаю. Она ведь замужем, и у нас об этом речи не было. Поговорите лучше со мной... Помните, как мы с вами ходили в лавку? Я нарочно шла все тише и тише, хотела, чтоб вы меня догнали.

— Вы были очень добры ко мне. И теперь моя очередь.

Я встаю, иду к Беверу и приглашаю его выпить с нами стаканчик. Мы подходим к нашему столику; при этом фрекен Элисабет краснеет до ушей. Я завожу легкий разговор, а когда вижу, что молодые люди увлеклись

друг другом, вспоминаю про одно неотложное дело,— к сожалению, друзья мои, мне придется вас оставить, право, это необходимо. Поверьте, фрекен, я совершенно очарован вами, но ведь все равно у меня ничего не выйдет. А впрочем, как знать...

XXXIV

Кривыми улицами я спускаюсь к ратуше, останавливаюсь у извозчичьей биржи и гляжу на подъезд «Виктории». Может быть, она и вправду сегодня у родственников... Я захожу в гостиницу и справляюсь у портье.

— Фру Фалькенберг у себя. Номер двенадцатый, второй этаж.

— Значит, она не ушла?

— Нет.

— А когда она уезжает?

— На этот счет она ничего не говорила.

Я снова выхожу на улицу, извозчики откидывают кожаные полости, каждый зазывает меня к себе. Я выбираю пролетку и сажусь.

— Куда прикажете?

— Постоим пока здесь. Я беру вас на время.

Извозчики перешептываются, судачат меж собой: этот человек следит за гостиницей, там, наверное, его жена с заезжим торговцем.

Да, я слежу за гостиницей. Кое-где в номерах горит свет, и у меня мелькает мысль, что она, быть может, стоит у окна и видит меня.

— Подождите здесь,— говорю я извозчику и снова вхожу в гостиницу.

— Где номер двенадцатый?

— Во втором этаже.

— А окна выходят к ратуше?

— Да.

— Значит, я не ошибся, это моя сестра махнула мне рукой,— солгал я и проскользнул мимо портье.

Я поднимаюсь по лестнице и, отыскав нужную дверь, тотчас стучу, чувствуя, что готов уже повернуть обратно. Ответа нет. Я стучу снова.

— Кто там, горничная? — спрашивают из-за двери.

Мне нельзя ответить «да», ведь мой голос сразу меня выдаст. Пробую дверную ручку: заперто. Наверное, она

давно опасается моего прихода, а может быть, даже видела меня из окна.

— Нет, это не горничная,— говорю я и сам слышу, как дрожит мой голос.

Я долго стою, прислушиваясь; изнутри доносится шорох, но дверь не отпирают. А потом внизу, у портье, раздаются два резких звонка. «Это она,— думаю я.— Наверное, испугалась и зовет горничную». Чтобы ее не подвести, я отхожу от двери, а когда приходит горничная, быстро спускаюсь по лестнице. Мне слышно, как горничная отвечает: «Да, это я». Дверь открывается.

«Нет,— слышу я снова голос горничной,— просто тут сейчас был какой-то господин, он спустился вниз».

Я хотел было снять комнату в гостинице, но раздумал: она ведь не из тех, кто станет встречаться в номерах с заезжим человеком. У двери я говорю портье, что сестра моя, должно быть, уже легла.

Я выхожу и снова усаживаюсь в пролетку. Час проходит за часом, извозчик спрашивает, не замерз ли я. Да, немножко. Я кого-нибудь жду? Да... Он снимает с козел одеяло и протягивает мне, а я, чтобы не остаться в долгу, даю ему на водку.

Время идет. Час проходит за часом. Извозчики уже, не стесняясь, толкуют между собой, что так и лошадь замерзнет.

Нет, дольше ждать нет смысла. Я расплачиваюсь с извозчиком, иду домой и сажусь сочинять письмо.

«Вы запретили писать вам, но нельзя ли мне увидеть вас хоть на миг? Я справлюсь насчет ответа в гостинице завтра в пять часов».

Не слишком ли поздний час я назначил? Но ведь я взволнован, лицо у меня перекошено, и среди бела дня я выглядел бы просто ужасно.

Я сам отнес письмо в «Викторию» и вернулся к себе.

Как долго тянется ночь, как мучительно медленно ползут часы! Мне необходимо выспаться, отдохнуть, собраться с силами, а я не могу. Встаю я на рассвете. Долго брожу по улицам, потом возвращаюсь домой, ложусь и засыпаю.

Проходят часы. Я просыпаюсь и, едва придя в себя, спешу к телефону. Звоню в гостиницу, спрашиваю, не уехала ли фру Фалькенберг.

— Нет, не уехала.

Слава богу, она не намерена бежать от меня, ведь письмо ей, конечно, передали уже давно. Просто-напросто вчера я пришел в неудачное время.

Поев, я снова лег, а когда проснулся, было уже за полдень, и я снова бросился к телефону.

— Нет, фру Фалькенберг не уехала. Но вещи ее уже уложены. А сама она куда-то отлучилась.

Я наспех одеваюсь, бегу к ратуше и стою там, не спуская глаз с подъезда гостиницы. За полчаса входит и выходит немало людей, но ее все нет. Вот уж наконец пять часов, и я подхожу к портье.

— Фру Фалькенберг уехала.

— Как уехала?

— Это вы звонили? Она пришла через минуту после звонка и забрала чемоданы. А вам велела передать письмо.

Я беру письмо и, не распечатывая его, спрашиваю, когда отходит поезд.

— Поезд ушел в пять без четверти,— отвечает портье и смотрит на часы.

Стрелки показывают ровно пять.

Дождаясь на улице, я потерял драгоценные полчаса.

Понуриив голову, я сажусь на ступеньку лестницы. Портье не отходит от меня. Он отлично понимает, что эта дама мне вовсе не сестра.

— Я сказал фру, что ей звонил какой-то господин. А она ответила, что у нее нет времени, и попросила передать вам письмо.

— Она уехала одна или вместе с другой дамой?

— Одна.

Я встаю и иду к дверям. На улице я вскрываю конверт и читаю:

«Вы не должны более меня преследовать...»

Я равнодушно кладу письмо в карман. В душе моей нет удивления, ведь все это для меня не ново. Женщина всегда остается женщиной, вот она под влиянием минутного порыва написала несколько слов, два из них подчеркнула и поставила многоточие...

У меня остается еще последняя надежда, и я иду на квартиру к фрекен Элисабет; нажимаю кнопку звонка. Я стою, прислушиваясь, у двери, но мне нет ответа, как в пустыне, печальной и дикой.

Фрекен Элисабет уехала час назад.

Сначала я пил вино, потом виски. Я выпил целое море виски. Три недели подряд я пьянствовал и топил свою

тоску в бесчувствии. И среди бесчувствия мне вздумалось послать в один бедный домик зеркало в красивой золоченой раме. Там живет девушка по имени Ольга, такая ласковая и крошечная, как птенчик.

Да, видно, нервы мои все еще не в порядке.

А в комнате у меня лежит пила. Собрать я ее не могу, потому что почти весь деревянный каркас остался у пастора. Но теперь я равнодушен к своему изобретению и нисколько им не дорожу. Милостивые государи неврастеники, мы с вами прескверные люди и, пожалуй, бываем похуже зверей.

Но в один прекрасный день мне опротивеет эта нелепая жизнь, и я снова отправлюсь на какой-нибудь остров.

Бенони



РОМАН

Перевод
С. Фридлянд

BENONI

1908



I

Между берегом и домом Бенони раскинулся лес. Это не его лес, это общинный, большой смешанный лес, из хвойных деревьев, берез и осин.

Летом, примерно в одно и то же время, жители двух соседних приходов заявляются сюда, валят и рубят деревья, управившись, развозят дрова по домам, и лес снова затихает на целый год, а зверье и птицы снова обретают покой. Изредка какой-нибудь лапландец пройдет лесом из одного прихода в другой. Если не считать лапландцев, один только Бенони шагает через лес что зимой, что летом, хоть в сушь, хоть в дождь, как придется, парень он крепкий и рослый, перед трудностями не пасует.

Вообще-то Бенони рыбак, как и все на побережье, но помимо того он еще носит почту, через гору, раз в две недели, а за эту работу получает хоть и маленькое, но твердое жалованье. Далеко не все получают каждые три месяца твердое жалованье от государства, вот почему Бенони тут вроде как первый парень на деревне среди ровесников. Бывает, конечно, что один либо другой вернется с моря после удачной путины и будет шататься по дорогам и посвистывать, гордясь своей добычей, и требовать к себе уважения. Но такого уважения хватает ненадолго. Слишком длинные столбцы цифр стоят под именами этих славных ребят в долговых книгах торговца Мака из Сирилунна, и после того как они заплатят Маку свой долг, у них ничего не остается, кроме воспоминания о том времени, когда они ходили да посвистывали. А вот Бенони неизменно из года в год шагает по дорогам с королевской почтой на спине и неизменно остается первым парнем на деревне, да вдобавок каким-никаким, а начальством с замком и со львом на почтовой сумке.

Однажды утром шагал он по общинному лесу, хотел перевалить через гору, а на дворе было лето, и лес кишел людьми, которые пришли запастись дровами. И была среди них дочь соседнего пастора в шляпке с перьями.

— А вот и Бенони, ну, теперь у меня есть попугачик,— сказала она. Звали ее Роза.

Бенони поздоровался и сказал, что, если ей угодно, с удовольствием ее проводит.

Она была девушка гордая, Бенони хорошо ее знал, она подрастала у него на глазах, но прошел уже целый год с тех пор, как он видел ее в последний раз, не иначе она куда-то уезжала. А в доме у пономаря Арентсена подрастал сын, светлая голова, и сын этот уже много лет изучал право на юге. Вполне может быть, что, когда Розы не было дома, она ездила повидать молодого Арентсена. Толком никто ничего не знал, Роза не любила много разговаривать.

Да, у ней было много своих маленьких тайн, она жила сама по себе, своим умом. Вот, например, сегодня ей не иначе пришлось отправиться в путь около четырех утра, чтобы к восьми оказаться в общинном лесу. Такая она была надежная и неробкая. Отец у Розы был мужчина крупный и гордый, все свободное время он отдавал охоте и ловле всякого зверья. А вдобавок он славился своим красноречием.

Так они прошагали час и другой, Бенони и Роза, толковали по дороге о всякой всячине, и Роза расспрашивала его о том и о сем. Потом они присели отдохнуть. Бенони разделил с ней лепешку, она с удовольствием съела свою долю, чтобы уважить Бенони. Прошагали еще часок, а тут хлынул теплый проливной дождь, и Роза предложила куда-нибудь укрыться. Но Бенони, разносчик королевской почты, не мог себе позволить такую трату времени. Пошли дальше, Роза начала оскальзываться на мокрой земле и шагала уже не так бойко.

Бенони окинул ее взглядом и сжалился. Поглядев на небо, он прикинул, что дождь скоро перестанет, и сказал, чтобы угодить ей:

— Если барышня желает, можно укрыться под обычной горкой.

Они нырнули под выступ скалы, и там оказалась опрятная пещера.

— Здесь можно отлично переждать,— сказала Роза, забираясь поглубже в пещеру,— вот если бы еще вдобавок сесть на твою сумку со львом.

— Вот этого я никак не смею,— сказал удрученный Бенони,— но если барышня не побрезгует старой курткой...

С этими словами Бенони скинул куртку и расстелил на земле, чтобы дама могла сесть.

«Какой пряткий»,— верно, подумала она со своей стороны, и вполне может быть, что Бенони произвел на нее приятное впечатление. Она начала шутить с ним, выспрашивать, как зовут его девушку.

Когда миновало десять минут, Бенони вышел из-под навеса и снова испытующе поглядел на небо. А тут как раз шел мимо один лопарь и увидел Бенони. Звали лопаря Гилберт.

— Дождь все идет?— спросил Бенони, чтобы не молчать. Он был несколько смущен.

— Да нет, небо вроде ясное,— отвечал лопарь.

Бенони вынес из пещеры свою куртку и почтовую сумку, пасторская дочь вышла следом.

А лопарь стоял и глядел очень внимательно...

Потом лопарь Гилберт спустился к морю, принес свою новость в поселок и не обошел стороной даже лавку в Сирилунне.

— Эй, Бенони,— начал с того дня подшучивать народ,— ты что это делал в пещере с пасторской дочкой? А? Ты вышел оттуда полуголый да разогретый, и куртки на тебе не было. Как это прикажешь понимать?

— Так и понимай, что ты старый сплетник,— отвечал Бенони, будто взаправдашнее начальство.— Попадись мне только этот лопарь!..

Но время шло и проходило, и лопарь Гилберт рискнул еще раз повстречать Бенони.

— Так что ж ты делал тогда в пещере и чем занимался?— спросил лопарь осторожно, а сам улыбнулся, прищурив глаза, будто глядел на солнце.

— Не твое дело,— ответил с намеком Бенони и в свою очередь улыбнулся. Ничего более страшного он над лопарем не учинил.

Мало-помалу Бенони начал тщеславиться слухами, которые стали ходить про него и про Розу, пасторскую дочь. Дело близилось к Рождеству; сидя за рождественской выпивкой со своими низкопробными друзьями, Бенони и впрямь выглядел человеком, который много чего достиг. Вот и ленсман начал его приглашать на должность судебного пристава, и не проходило ни одного аукциона или распродажи, чтобы на ней не присутствовал

Бенони. Обученный чтению и письму, он при нужде доставлял также ленсмановы объявления, чтобы зачитать их с церковной горки.

Да-да, жизнь держала себя вполне благосклонно, держала себя вежливо по отношению к Бенони-Почтарю. Всякая работа, за какую бы он ни брался, у него спорилась. И выходит, что Роза, пасторская дочь, не слишком хороша для него.

— В пещере-то!..— говорил он и прицеливался языком.

— Врешь, поди, что ты ее заполучил?— спрашивали дружки.

На это Бенони говорил:

— А как же иначе.

— Чудеса, да и только! Теперь ты хочешь на ней жениться?

И Бенони снова отвечал:

— Вот уж это не твоя печаль. Теперь это зависит только от самого Бенони, ну и от меня, ха-ха.

— А что скажет Николай, сын пономаря?

— Чего ему говорить? Он тут ни при чем.

Итак, слово было сказано.

А потом его повторяли столь часто и столь многие, что, уж верно, повторяли не зря. Одному Богу известно, с чего вдруг, но Бенони вроде бы и сам начал верить в сказанное.

II

Когда достопочтенный господин Якоб Барфуд из соседнего прихода давал человеку знать, что желает с ним побеседовать у себя в приемной, оставалось только повиноваться. Перед приемной у пастора было целых две двери, одна наружная, другая внутренняя, и уже между этими двумя дверьми люди снимали шапку.

Пастор велел пригласить к себе Бенони, когда тот заявится с очередной почтой.

«Это мне за мой длинный язык,— всполошился Бенони.— Пастор прослышал, как я выхваляюсь, а теперь хочет погубить меня и сровнять с землей». Но раз вызов получен, остается только идти.

Между двух дверей Бенони сдернул шапку с головы и вступил в приемную.

Но пастор на сей раз оказался вовсе не грозен. Более того, он даже намеревался попросить Бенони об одной услуге.

— Вот видишь, это шкурки песцов, они у меня с начала зимы, но избавиться от них я до сих пор не могу. Возьми-ка ты их и отнеси Маку из Сирилунна.

Бенони почувствовал такое облегчение, что язык у него сразу развязался:

— Ну как же, ну конечно отнесу, прямо сегодня вечером, в шесть часов.

— А Маку передай на словах, что один песец идет за восемь — десять норвежских талеров.

И Бенони от великого своего облегчения снова завелся:

— Десять талеров? Скажите двадцать. Нечего отдавать их за бесценок, нечего и нечего.

— А деньги ты принесешь мне.

— В следующий раз. Так же верно, как то, что я стою перед вами... Положу деньги прямо на стол господину пастору.

Идучи домой через перевал, Бенони не испытывал ни голода, ни усталости, до того он был доволен и самим собой, и своей жизнью. Глянь-ка, пастор начал пользоваться его услугами. Он на свой манер вводит его в круг семьи. Может, настанет день, когда и фрекен Роза сделает шаг в его сторону.

Как и предполагал пастор, Бенони получил по десять талеров за шкурку, после чего исправно доставил деньги по адресу. Но на сей раз он не застал пастора. Его приняла пасторша, деньги он передал ей, а в награду за труды получил кофе и рюмочку.

Снова Бенони отправился на побережье, к себе домой, и в голове у него бродили разные мысли. Пусть теперь и фрекен Роза сделает что-то от себя, дело идет к весне, самое подходящее время, чтобы ударить по рукам.

Поэтому он написал пасторской дочке письмо и очень искусно его составил. А в конце напрямую просил Розу не отвергать его руки. С почтением, Бенони Хартвигсен, судебный пристав.

Письмо Бенони доставил собственноручно.

Но тут жизнь забыла про свою вежливость по отношению к Бенони. Вести о его недостойных и хвастливых речах за рождественской выпивкой достигли, наконец, соседнего прихода, а в приходе — ушей Розы, пасторской дочери. Настали плохие времена.

Пастор снова за ним послал. Бенони тщательно परिодился, как делал всегда в последнее время, надел одну куртку на другую, чтоб потом верхнюю можно

было снять. А вдобавок он подобрал очень красивую ситцевую сорочку.

«Это ответ на мое письмо,— думал Бенони,— он хочет узнать, какие у меня намерения, и он прав, потому как на свете есть много низких обманщиков и соблазнительей. Вот только я не из таких».

Бенони испытывал некоторое смущение. В пасторате он для начала заглянул на кухню, чтобы порасспросить о том о сем, может, он что-нибудь при этом и выведает.

— Пастор хочет поговорить с тобой,— сказали служанки.

«Ну, ничего хуже чем отказ я во всяком случае не услышу»,— подумал Бенони. Не беда, он и это переживет. В конце концов, он не так уж и обмирал по Розе.

— Хорошо,— сказал он служанкам и приосанился.— Коли так, пойду я к нему.— Он огладил свою буйную шевелюру, потому что волосы у него были густые и косматые.

«Верно, он хочет дать мне новое поручение»,— размышлял Бенони по дороге к приемной.

Когда он вошел, там оказались не только пастор, но и его дочь, и на приветствие Бенони никто из них не ответил. Пастор протянул ему какую-то бумагу и сказал:

— Прочти это.

Сам пастор начал расхаживать по комнате, а Роза так и стояла молча у письменного стола.

Бенони прочел. Это было признание, что, мол, я, Бенони Хартвигсен, распространял порочащие честь и достоинство сведения касательно меня и фрекен Розы Барфуд, а потому настоящим публично беру назад свои слова и заявляю, что все это была с моей стороны гнусная ложь.

У Бенони ушло немало времени, чтобы дочитать бумагу. Под конец уже и сам пастор, озлясь на дрожащие руки Бенони и его затянувшееся молчание, спросил:

— Ну, ты прочел, наконец?

— Да,— ответил Бенони едва слышным голосом.

— Ну, и что ты на это скажешь?

Бенони, заикаясь:

— Все верно. Другого и ждать нечего.

И Бенони помотал головой.

Пастор сказал:

— А теперь сядь и поставь свою подпись.

Бенони положил шапку на пол, втянув голову в плечи, подошел к столу и расписался, даже завитушку не забыл, которой привык заканчивать свою подпись.

— А теперь эту бумагу надо доставить в твой приход, ленсману, чтобы он зачитал ее с церковной горки.

У Бенони в голове была такая неразбериха, что он мог только пролепетать:

— Да, да, так оно и будет.

А Роза простояла все время молча и гордо выпрямившись у письменного стола.

Жизнь перестала быть учливой и обходительной. Близилась весна, вороны уже начали собирать ветви на постройку гнезд, но куда подевалась радость, и пение, и улыбки, и благодать? Для чего ему теперь богатый улов сельди? У Бенони была небольшая доля в трех сетях, поставленных на сельдь. Раньше он самонадеянно думал, что эта доля принесет какой-нибудь достаток для него и для Розы, пасторской дочки. Ну и глупец же он был, жалкий глупец!

С горя он целый день пролежал в постели, глядя, как его старая служанка входит к нему и выходит и снова входит, и когда она спросила, не заболел ли он часом, отвечал, что, мол, да, что заболел, а когда она спросила, не полегчало ли ему, послушно ответил, что, мол, да, полегчало.

Не встал он и на другой день. Наступила суббота. От ленсмана пришел рассыльный с пакетом.

— Тут человек с пакетом от ленсмана,— сказала служанка, приблизясь к его постели.

Бенони ответил:

— Ладно. Положи пакет сюда.

«Это объяснение, которое я должен зачитать завтра»,— подумал Бенони, полежал еще немного, потом вдруг поднялся и вскрыл пакет: аукционы, беглые арестанты, годовое распределение налогов, а среди всего прочего и его собственное объяснение. Обеими руками Бенони схватился за голову.

Выходит, ему самому и зачитывать, взойти на церковную горку и возвестить свой собственный позор.

Он стиснул зубы и сказал:

— Вот так-то, Бенони!

Но когда настало завтра, и день выдался солнечный, он решил не зачитывать свое объяснение, все остальное зачитал, а это нет: солнце-то, солнце светило ну до того ярко, и сотни глаз смотрели ему прямо в лицо.

Домой он отправился один и в самом мрачном расположении, нарочно шел лесом и трясинами, чтобы никого не встретить по пути. Увы, в последний раз кто-то

предложил составить ему компанию, а он отказался, с этого дня ему никто ничего не предложит.

Очень скоро всплыло на свет, что Бенони не зачитал с церковной горки одну бумагу. На другое воскресенье ленсман сам надел фуражку с золотым кантом и сам зачитал объяснение Бенони перед толпой народа.

Случай небывалый для поселка, и загудела молва, перекатываясь от побережья до гор. Падение Бенони свершилось, он вернул почтовую сумку с изображением льва, он в последний раз доставил почту. Теперь он никому на белом свете не нужен.

Он побрел домой, пришел в свою комнату и сидел там, и размышлял, и горевал целую неделю. Но однажды вечером к нему заявился владелец одной сети и принес Бенони его долю улова. «Спасибо!» — сказал Бенони. А на другой вечер к нему заявился Норум, владелец другой, тот, что ставил заградную сеть как раз под окнами у Бенони. И Бенони получил от него за свои три доли в сетях, да вдобавок изрядную плату за свое земле-владение.

«Спасибо!» — сказал и на этот раз Бенони.

Он не испытывал радости. Он никуда больше не годился на этом свете.

III

Если торговец Мак из Сирилунна хотел сделать человеку что-нибудь плохое или что-нибудь хорошее, у него хватало власти хоть на то, хоть на другое. А душа у Мака была и черная и белая. Как и его брат, Мак из Розенгора, он мог делать что захочет, но порой он даже превосходил брата, когда позволял себе делать то, чего делать не положено.

И вот этот Мак послал за Бенони, чтоб тот немедля к нему прибыл.

Бенони последовал за гонцом, а был это один из Маковых приказчиков.

Совсем упав духом, Бенони спросил:

— Зачем я ему понадобился? У него вид сердитый?

— Откуда мне знать, зачем ты ему понадобился, — отвечал приказчик.

— Ладно, тогда с Богом, — мрачно сказал Бенони.

Но перед конторой Мака на него напала робость, как еще никогда в жизни. Он так долго стоял в прихожей, все

прокашливался и приводил себя в порядок, что Мак, услышав движение за дверью, сам рывком ее распахнул.

— Ну, давай входи! — это сказал сам Мак.

И по его виду нельзя было угадать, собирается он возвысить Бенони или, напротив, свергнуть его в бездну.

— Ты плохо себя вел, — сказал Мак.

— Да, — отвечал Бенони.

— Но другие вели себя не лучше, — добавил Мак и с этими словами начал расхаживать по своей конторе, останавливаясь перед окном и выглядывая из него. Потом вдруг он повернулся и спросил:

— Ты за последнее время заработал кой-какие деньжонки?

— Да, — ответил Бенони.

— А что ты с ними намерен делать?

— Не знаю. Я сейчас ни о чем не думаю.

— Ты бы селедки на них купил, — сказал Мак. — Здесь селедка ждет тебя прямо перед дверью, ты засолишь и разредаешь столько, сколько у тебя хватит денег, а потом отправишь на юг. Бочки и соль, если захочешь, можешь взять у меня.

У Бенони даже голос сел, он не сразу мог ответить, и тогда Мак спросил его прямо в лоб:

— Завтра можешь начать?

— Как господин прикажет.

Мак снова подошел к окну и повернулся спиной к Бенони. Должно быть, стоял и думал. Да, уж этот Мак умел думать. У Бенони оставалось немного времени, и он начал думать в свой черед. Что до ведения дел, тут Мак был сущий дьявол, и душа у него, возможно, была скорей черная, чем белая. Бенони знал, что Маку принадлежит большая часть сельди, которая заходит в сети перед его домом, стало быть, теперь он хочет воспользоваться случаем и кое-что сбуть с рук, хочет расторговаться. Время идет к лету, и есть селедку будет уже не совсем безопасно. А заодно он спихнет запас пустых бочек и запас соли.

Прикинув все это в уме, Бенони сказал:

— Смотря по деньгам, само собой.

— А я тебе помогу, — сказал Мак и повернулся к нему лицом. — Чтоб ты снова встал на ноги. Ты наделал ошибок, не без того, но ведь и другие их тоже делают, и хватит тебя наказывать.

Вот видишь, он и вправду так думает, решил Бенони. Он размяк от чувства благодарности и ответил:

— Я очень благодарен господину.

А всемогущий Мак сказал:

— Я собираюсь отправить письмецо нашему доброму пастору из соседнего прихода. В конце концов, я Розин крестный, вот я и хочу сказать от себя несколько словечек ее отцу и ей самой. Впрочем, тебе это и знать-то незачем. Денег у тебя сколько?

— Да уж наберется маленько.

— Ты, наверно, догадываешься,— продолжал Мак,— что большой роли твои талеры для меня не играют. Полагаю, ты и сам это понимаешь. Словом, дело не в деньгах. Просто я хочу помочь тебе снова встать на ноги.

— Великое спасибо господину и великая хвала.

— Ты заводил речь о цене. О цене мы успеем уговориться завтра. Встретимся сразу у катера.

Мак кивнул в знак того, что разговор окончен, но когда Бенони уже открыл дверь, крикнул вслед:

— Постой-ка, раз уж я все равно обронил слово о письме, письмо-то у меня готово, ты можешь взять его и опустить в ящик, тогда оно завтра будет отправлено...

Итак, Бенони начал скупать сельдь. Он нанял людей, которые разделявали и засаливали его сельдь и перекачивали его бочки туда и обратно. Раз уж Мак из Сирилунна вновь оказал ему доверие, у кого бы хватило фанаберии, чтобы уклониться? Мало-помалу Бенони ощутил в своей крепкой груди чувство былого покоя и силы.

Он вовсе не совершил дурацкую покупку, поддавшись на уговоры Мака. Нет, получив первое же хоть и маленькое поощрение, он стал по-прежнему смекалистым и расторопным парнем. И не все свои деньги он вбухал в сельдь. Довольно и половины, подумал он про себя. Вдобавок письмо Мака пастору уже отправлено, и вернуть его назад Мак при всем желании не смог бы.

Бенони скупал сельдь и засаливал и мало-помалу начал становиться человеком. Он заметил, что люди начали с ним здороваться, когда он шел к месту разделки и обратно, а еще что они начали величать его «господин», потому как он заделался коммерсантом.

Торговля сельдкой вполне могла кончиться для него крахом, да и сам Мак не имел того барыша, на который рассчитывал поначалу. Но куда Мак, действуя с большим размахом, снарядил два груженных сельдью парохода в Берген, Бенони и еще два человека команды попоз-

же, когда весна уже близилась к концу, без шума, без гама вышли в море на одной из Маковых шхун. Он приставал к большим и малым поселкам и продавал свой товар бочками. Все могло быть и хуже, а так он кое-что заработал и даже сумел отложить малую толику. Домой он вернулся на Святого Ганса.

И получилось так, что Роза, пасторская дочь, верхом на коне снова пересекла его путь возле церкви. В их поселке мало кто ездил верхом, и все прихожане с любопытством воззрились на Розу. Бенони смиренно и почтительно поклонился, сняв шляпу, чем вызвал у нее ответный кивок. На лице у нее не мелькнуло ни малейшей тени, она просто шагом продолжала свой путь, и ветер развеивал ее вуаль, словно синий дымок. Она и вся-то напоминала видение.

Вот и на этот раз Бенони возвращался домой лесом и трясинной. «Я, конечно, хуже многих других,— думал он,— но благородная барышня прослышала, может быть, краем уха, что я снова встал на ноги и малость поднялся. Не то с чего бы ей кивать в ответ на мой поклон?»

На исходе лета он получил от Мака предложение отвести в Берген Маков галеас с вяленой треской. Он ни разу до того не бывал в Бергене, но ведь надо же когда-нибудь и начать, раз другие находят туда дорогу, найдет и он.

— Вот видишь, у тебя легкая рука на всякое новое дело,— снова сказал ему Мак.

— И рука и нога у меня те, которые господин помог мне обрести снова,— отвечал Бенони, как и следовало отвечать, и тем воздал Маку честь.

Заделаться шкипером на галеасе «Фунтус» было для Бенони немаловажным шагом, он теперь стал вровень со школьными учителями, а поскольку у него завелись деньги, ему незачем было заходить в дальние деревни к мелким торговцам.

Незадолго до Рождества он вернулся на своем галеасе домой, все прошло как лучше и не надо, а сам галеас был доверху нагружен различными товарами, которые Мак заказывал в Бергене, чтобы таким путем сэкономить расходы на доставку.

Отвечая с капитанского мостика на приветствия и потом сходя на берег, Бенони ощущал себя в душе прямо адмиралом. Мак принял его дружелюбно и по-благородному, в собственных покоях, и своими руками поднес ему рюмку. Бенони впервые сподобился там побывать, там

на стенах висели большие картины, и мебель была золоченая, полученная Маком в наследство, и еще на потолке висела люстра с сотней подвесок из чистого хрустала. Потом они вдвоем прошли в контору, где Бенони предъявил свои расчеты, а Мак его поблагодарил.

Итак, Бенони поднялся в глазах людей выше, чем когда бы то ни было, и люди мало-помалу начали величать его по фамилии Хартвигсен, а пример показал Мак. Никогда прежде, даже в бытность свою королевским почтальоном и судебным приставом, он ни для кого не был Хартвигсеном, а вот поди ж ты. Бенони обзавелся гардинами для окон в своей комнате, хоть это, может, и было важничаньем с его стороны, и в доме у пономаря немало о том судачили. Из Бергена он привез несколько тонких белых сорочек и надевал их, когда ходил в церковь...

А на рождественские праздники он получил приглашение к Маку. Мак теперь жил один, дочь его Эдварда вышла замуж за финского барона и совсем не приезжала домой; хозяйничала у него экономка, хоть и посторонняя женщина, но свое дело она знала хорошо и была очень обходительная.

Собралось много гостей и среди них Роза, пасторская дочь. Завидев ее, Бенони робко вильнул в сторону.

Но Мак сказал:

— Это фрекен Барфуд, ты ее знаешь, и она не из тех, кто держит на кого-нибудь зло.

— Бенони, я узнала от крестного, что ты ни в чем не виноват,— прямо и откровенно заговорила Роза.— Что у вас были рождественские посиделки и что сказал это совсем другой. Это меняет дело.

— Не знаю... может, и я сам... ничего не говорил...— залепетал Бенони.

— Ну, и довольно об этом,— вмешался Мак и увел Розу, словно отец.

Бенони приободрился, на сердце у него посветлело и полегчало. Вот и опять Мак ему помог, убелил его как руно. Бенони настолько разыграл духом, что подошел к ленсману и поздоровался с ним. Позднее за столом он, может, и не во всем держал себя как другие благородные господа, но зато он не спускал с них глаз и многое перенял за этот вечер. Макова экономка сидела рядом с ним и славно о нем заботилась.

Из застольного разговора он узнал, что Роза, пасторская дочь, вскоре снова собирается ненадолго уехать. Он

украдкой поглядел на нее. Если кто гордый и благородный, он и есть гордый и благородный, тут уж ничего не попишешь. Какой прок зашибать деньгу на селедке и развешивать гардины на окнах? Коль скоро человек не рожден для благородства, быть ему Бенони до скончания века. Конечно, Роза — девушка уже не сказать чтобы первой молодости, но Бог наградил ее светло-русыми волосами, и еще она так красиво улыбается сочными губами. И груди такой высокой ни у кого нет. Не надо мне быть дураком и дальше глядеть на нее, подумал Бенони.

— В фьордах уже берут сельдь, — в полной тишине вдруг произнес Мак, показывая ему депешу. — Приходи завтра в контору прямо утром.

Бенони предпочел бы посидеть дома, наслаждаясь почтением, которое выказывали ему как шкиперу с галаса. Тем не менее он с утра пораньше отправился к Маку.

— У меня есть для тебя предложение, — сказал Мак. — Я уступлю тебе за наличные свою большую сеть, и тогда ты сможешь закидывать в море свою собственную. Как я уже говорил, сельдь перекрыта в фьордах.

Бенони был не лишен чувства благодарности, он помнил, какую поддержку оказал ему Мак вчера вечером. Но сеть у Мака давно уже была не такая, как вначале. Ответил он только:

— Не гожусь я для этого дела.

— Еще как годишься, — возразил Мак, — у тебя рука легкая. Вот у меня все по-другому, и я должен перепоручать свои дела другим, а для сети у меня и вовсе нет подходящего человека.

— Я бы мог забросить ее для господина Мака, — предложил Бенони.

Мак покачал головой.

— Я ее задешево уступлю, со шлюпками и оснасткой, и дам два бинокля в придачу. Задаром, можно сказать!

— Ладно, я подумаю, — неохотно согласился Бенони.

И вот он думал, и думал, и думал, но дело кончилось тем, что он купил сеть. Среди них всех Мак не знал себе равных, и Бенони боялся лишиться его расположения. Он набрал людей и с большой сетью вышел на своем галеасе в фьорд.

Но теперь вдобавок ко всему требовалась еще и благосклонность небес.

Три недели он стоял на якоре с другими судами и ждал у моря погоды. Сельди было всего ничего, он несколько

раз забрасывал сеть, но вытаскивал только малость суповой сельди, команде на обед, а для-ради такого улова незачем было выкладывать за сеть столько денег. Настроение у Бенони все больше портилось, изрядную часть своих сбережений он ухлопал на эту никудышную покупку, от которой покамест нет никакого проку и которая вдобавок с каждым днем все пуще загнивает. Словом, такой благодетель, как Мак, ему явно не по карману.

Как-то вечером он сказал своей команде:

— Здесь больше ждать нечего. Ночью снимаемся с якоря.

В ночной тишине они выбрали якорь и подняли паруса. Ночь была угрюмая и холодная, они шли вдоль берега. Близилось утро. Бенони как раз собрался было вздремнуть с горя, но тут со стороны открытого моря раздался дальний гул. В полумраке Бенони поглядел на восток и поглядел на запад, но не увидел никаких признаков надвигающейся бури. «Какой странный гул стоит в воздухе»,— подумал Бенони. Он по-прежнему продолжал держаться вдоль берега, слегка развиднелось, занимался туманный день. Гул подступал все ближе. И вдруг Бенони выпрямился, начал пристально всматриваться в даль, и хоть пока немного можно было увидеть, но по дальнему птичьему крику Бенони смекнул, что движется ему навстречу. Он немедленно взбодрил своих людей и приставил к делу.

Это со стороны моря шла сельдь.

Стая сельдяных китов, столпотворение в воде и тысячеголосый крик птиц над водой гнал сельдь в фьорд.

Но шлюпки Бенони отошли на слишком большое расстояние, они уже были почти у берега, и пока он успел достичь середины фьорда, стая китов и птицы прогнали косяк мимо. Поверхность моря забелела от китовых фонтанов и от чаек.

«Незачем было и выходить в море»,— мрачно подумал Бенони.

Теперь не оставалось ничего, кроме как покрутиться в фьорде еще несколько часов, чтобы по возможности поспеть к завершению пира.

Светало. То один, то другой кит на большой скорости проносился мимо под водой.

И тут Бенони увидел огромную стаю птиц, державшую курс в открытое море. Сельдь, описав огромную дугу, повернула, и киты продолжали ее гнать. Бенони стоял в бухте, недалеко от берега, но тут, должно быть,

произошло что-то, заставившее сельдь разбиться на два косяка, возникло непонятное замешательство, может, это ушедшие в глубину киты всплыли навстречу потоку рыбы и рассекли его надвое. Спинки рыб, словно скопления звезд, засверкали между шлюпками Бенони. Не имело никакого смысла вытравливать сеть среди китов. У Бенони дух захватило: он увидел, что бухта словно вскипела, что небо над ней побелело от птичьей стаи и что вся она битком набита сельдью. Бенони бросил несколько отрывочных команд, сделал несколько молниеносных бросков там и тут, и сеть пошла на глубину, натянулась от одного берега бухты до другого, сельдь стояла в бухте словно на суше, и вот тут-то большая сеть пригодилась как нельзя лучше.

А стая китов и птиц висела над морем, указывая, куда подался второй косяк.

Бенони обливался потом, и колени у него дрожали, когда он спустился в шлюпку и приказал провезти себя вдоль сети, чтобы проверить, что она стоит как положено.

«Выходит, мы все-таки не зря вышли в море»,— подумалось ему.

Он отправил двух помощников к Маку с письмом, где сообщал о большом улове, попутно рассказывал, какая именно сельдь, и что хорошо смешаны породы, и что бухта достаточно глубока, стало быть, незачем опасаться донного привкуса. Вдобавок все это похоже на Божий промысел, писал он, сельдь вошла в фьорд и словно сама себя заперла у него на глазах в бухте... А что до количества, то я не смею о нем судить, ибо это дано лишь тому, кто сосчитал звезды на небе. Но оно весьма велико. С почтением, Бенони Хартвигсен, как меня зовут.

Мак и тут оказался ему хорошим другом, он по своему почину разослал депеши на запад и на восток, чтобы обеспечить ему покупателей. Парусники и пароходы каждый день заходили в фьорд и бросали якорь перед сетью Бенони, приходили и рыбацкие баркасы из его родного поселка за наживкой для Лофотенских промыслов; с ними он не мелочился, а отсыпал задаром и полной мерой.

В маленькой бухте царило теперь никогда не виданное здесь оживление: пришлые торговцы, и еврей-часовщики, и канатные плясуны, и утешные девочки из больших городов,— стало шумно, как на ярмарке, на голых берегах воздвигся поселок из ящиков, палаток, балаганов. И во всех руках рыбьей чешуей блестели деньги.

По весне Мак напрямки сказал ему:

— Вот что я тебе скажу, дорогой мой Хартвигсен, пора тебе жениться.

Заслышав эти слова, Бенони из кокетства напустил на себя смиренный вид и ответил:

— Да кому ж я такой нужен?

— Ну, ясное дело, ты должен выбрать себе ровню, а не бросаться очертя голову,— невозмутимо продолжал Мак.— Есть у меня на примете одна дама. Впрочем, об этом мы сегодня говорить не станем. Ты мне лучше скажи, Хартвигсен: терпел ли ты большие убытки с тех пор, как связался со мной?

— Убытки?

— Меня, знаешь ли, вот что удивляет: ты ведь изрядно заработал, а помещать свои деньги у меня и не думаешь.

— Не так уж много я и заработал.

— Значит, ты все прячешь в сундук? Странно, странно. Как твои родители хранили деньги у моих, так и тебе надо бы хранить их у меня. Не то чтобы у меня была в том корысть, но так заведено.

Бенони ответил уклончиво:

— Просто старые люди передали мне свои страхи.

— Страхи? Они, верно, рассказывали тебе про всякие банкротства после войны? Мой отец был крупный коммерсант. Он и не обанкротился. А я, по-моему, тоже не из мелких и тоже не банкрот. Надеюсь и впредь с Божьей помощью...

— Я и сам думал принести господину свои гроши.

Тут Мак снова подошел к окну, задумался, а потом начал говорить, спиной к Бенони:

— Весь поселок ходит ко мне, я им все равно как родной отец. Они приносят мне свои шиллинги и оставляют, пока шиллинги не понадобятся им снова, а я даю им расписку со своим именем: Сирилунн, дня такого-то и такого-то, Фердинанд Мак. Проходит время, когда долгое, когда короткое, люди являются снова и просят свои деньги обратно, вот расписка, говорят они. Ну ладно, я отсчитываю деньги, пожалуйста, получите. А они мне говорят: что-то их больно много. Мы тебе меньше оставляли. А это проценты — отвечаю я.

— Да, проценты,— невольно повторил Бенони.

— Разумеется, проценты. Мне нужны деньги, и я их зарабатываю,— с этими словами Мак отвернулся от ок-

на.— А вот у тебя, Хартвигсен, денег куда больше. И потому я выдам тебе не простую расписку, а составлю закладной лист по всей форме. Я говорю это потому, что так я делаю. Нельзя обращаться с людьми состоятельными, как с мелюзгой, у людей состоятельных должна быть уверенность. Твои деньги—это не такая сумма, которую я могу безо всякого достать из кармана и вернуть тебе по первому требованию, вот почему ты отдашь деньги под заклад Сирилунна со всем его добром и паходством.

— Помилуйте, господин Мак!— вскричал растерянный Бенони. Потом, словно желая смягчить такую свою непочтительность, добавил:— Я думаю, господину не надо так говорить, это уже слишком.

С детских лет, сколько Бенони себя помнил, о Маке из Сирилунна и о его богатстве не было двух мнений. Одни только торговые склады и пристань, мельница и винокурня, причалы, пекарня и кузня стоят во много раз больше, чем жалкие сбережения Бенони, а к этому еще надо добавить самое усадьбу с живорыбными садками, с болотами морошки, с сушильнями.

Но к вящему смущению Бенони Мак продолжал снисходительно и ласково:

— Я просто хочу сказать, как это делается у меня. И значит, ты можешь быть спокоен за свои деньги. Впрочем, довольно об этом.

Бенони, заикаясь:

— Дорогой господин, дайте мне срок обдумать ваши слова. Если б меня в свое время не застращали старики... Но, конечно, раз вы... Сам-то бы я не прочь...

— Довольно об этом. Ты знаешь, о чем я думал, пока стоял у окна? О моей крестнице Розе Барфуд. Почему-то она пришла мне на ум. А ты о ней не думал, Хартвигсен? Удивительное это дело с молодежью. Она уехала на юг после Рождества, собиралась пробыть там целый год, а сама уже вернулась. Может, ее что-нибудь тянет домой? Ну ладно, Хартвигсен, до свидания. И обдумай это на счет денег, обдумай, если захочешь. Только если сам захочешь...

Но дальше все обернулось так, что Бенони и сам носа не казал, и денег своих не приносил Маку. Не беда, пусть доспеет, верно, думал про себя Мак, этот скользкий угорь во всяких делах и делишках, пусть себе мешкает с ответом, верно, думал Мак. А послать к Бенони гонца ему и в голову не приходило.

Бог не обидел Бенони разумом, он прекрасно понял намеки Мака насчет Розы, пасторской дочери. Поразмышляв несколько дней и ночей, он мало-помалу раззадорился и решил не связываться с Маком, а действовать на свой страх и риск. Ну какой он хозяин тому богатству, которое хочет навязать ему Мак, откуда оно возьмется, это богатство? О нет, Бенони был далеко не дурак.

Вырядившись в две куртки и нарядную рубашку, он пошел сперва лесом, потом перевалил через гору. Путь он держал напрямик в пасторат, а пастору по его расчетам следовало быть в соседней, соподчиненной церкви.

Для начала он прошел на кухню и сообщил, что едет по делам, ему надо съездить через пролив, так вот не уступит ли ему пастор на время свою лодку.

А пастора нет дома, ответили девушки.

Тогда, может быть, фру пасторша или фрекен Роза дома? Передайте им поклон от Бенони Хартвигсена.

Лодку он получил, но ни фру пасторша, ни фрекен Роза не вышли к нему и не сказали: «А-а, Хартвигсен, здравствуй, здравствуй! Милости просим зайти в комнату».

Зряшная затея, подумал Хартвигсен. Он перебрался через пролив, побродил какое-то время по лесу, вернулся обратно и снова заглянул на кухню, чтобы поблагодарить за лодку.

Все с тем же результатом. Хозяева так и не показались.

Совсем зряшная затея, подумал Бенони, переваливая через гору по пути домой. Пусть он тверд и удачлив во многих делах, но с важными господами он всегда оставался робким и неумелым. «Как же мне быть? — рассуждал он дальше. — То ли подобрать себе жену по своему достатку, то ли посвататься к одной из прежних подружек и вместе с ней опуститься на дно?»

Дома дел было невпроворот. Четыре плотника подрядились выстроить у него большой навес для баркасов, но охоты заниматься делами совсем не было, недовольство все росло, он стал очень недоверчивый и про себя подозревал, что люди собираются по-прежнему называть его Бенони, а не Хартвигсен. Чем же он навлек на себя такое поношение?

Однажды Мак сказал ему:

— Вот ты строишь навес, а навес тебе без надобности. Для твоего баркаса всегда найдется свободное

место под моим навесом. А тебе надо бы совсем другое: тебе надо бы сделать пристройку к дому. Если ты в добрый час надумаешь жениться, тебе понадобятся еще комнаты. Дамы это любят.

Они еще малость потолковали об этом, и вдруг Бенони осенила мысль, что надо немедля сходить домой и принести деньги,— это самое малое, чем он может доказать Маку свое доверие. По дороге домой он снова все обмозговал и взвесил: при огромном закладе, под который Мак возьмет от него деньги, его шиллингам ничто не угрожает, напротив, он станет как бы тайным компаньоном Мака и совладельцем Сирилунна. Ох, деньги, деньги, когда судьба благосклонна, она и бедняка делает царем.

Бенони вернулся и приволок свое богатство, тяжелый мешок серебра. Бенони не стал жаться, раз уж Мак так высоко его ставит и считает богачом, пусть не испытает разочарования. Вот почему Бенони приложил даже норвежские талеры, чтобы получилось ровным счетом пять тысяч, то есть вполне значительная сумма.

— Господи Иисусе! — воскликнул Мак, чтобы польстить ему

— Вы уж не посетуйте за такой жалкий вклад. Больше не сыскалось, — промолвил Бенони, напыжась от гордости.

Но Мак решил не давать ему спуска.

— У тебя, никак, серебро? Бумажки ведь тоже идут по номиналу.

— Куда идут?

— По номиналу Это значит, что они ничуть не хуже серебра. Да ты ведь и сам знаешь. Хотя, впрочем, серебро лучше.

— Я просто думал, что принес хорошие деньги, и бумажки и серебро, — сказал Бенони, малость обескураженный.

И снова Мак не дал ему спуска и коротко сказал: «Ну да», — после чего принялся считать. Подсчет занял много времени, на столе сперва вырастали столбики талеров, столбики сгребались в кучу, а куча вновь исчезала в мешке. Потом были отдельно подсчитаны бумажные деньги, а потом Мак, с полной торжественностью подойдя к делу, написал большое долговое обязательство.

— Спрячь хорошенько этот документ, — многозначительно сказал он Бенони.

Но тут произошло и еще одно не менее важное событие: Роза, пасторская дочь, не только пожаловала

в Сирилунн, но и поглядела прямо в лицо Бенони добрым и проникновенным взглядом, словно много о нем думала. А потом она и вовсе заявила к нему в отлив и сказала:

— Я просто хотела посмотреть на твой новый навес.

— Не так он и велик, чтобы вам его показывать,— сказал Бенони, не умея совладать со своим смущением и радостью. Немного оправившись от смущения, он сказал:— Я еще хочу и комнаты пристроить.

— Да что ты говоришь! И сколько же комнат ты хочешь пристроить?

— Ну, я думал гостиную и еще спальню,— осторожно ответил Бенони.

— Это ты хорошо придумал,— сказала фрекен Роза приветливо.— А после этого ты, верно, женишься?

— Уж как получится.

— Я, конечно, не знаю, какова она, та, которая здесь поселится, но на твоём месте я бы построила спальню большую и светлую.

— Да, да,— ответил Бенони,— вам бы это понравилось?

— Да.

Тут Бенони расхрабрился и, прежде чем она ушла, сказал:

— Не побрезгуйте, придите взглянуть, когда все будет готово.

И вот Бенони построил гостиную и большую спальню, причем даже малость перестарался и построил спальню тех же размеров, что и гостиную. Когда Роза пришла посмотреть, у Бенони сердце запрыгало, как у зайца, при мысли, что он сделал что-то не то. Но Роза держала себя приветливо, как и в первый раз, и заявила, что точно так она все это себе и представляла.

Именно тут ему следовало бы вымолвить одно словечко, но он его не вымолвил. Вместо того он вечером пошел к Маку и попросил сказать это словечко Розе вместо него, конечно, если Мак видит здесь хоть малейшую возможность.

В кратких словах Мак четко изложил суть дела, слегка улыбнулся обоим и вышел из комнаты.

И они остались вдвоем.

— Скажу тебе по чести, Бенони, я не думаю, что из этого выйдет что-нибудь путное,— прямо ответила Роза.— Я долгое время была помолвлена с одним человеком на юге, и не случайно я так часто уезжала из дому.

— Может, вы за него и собираетесь замуж?

— Нет, из этого ничего не выйдет. С ним у меня никогда ничего не выйдет.

— Тогда, может, вы не откажетесь от меня? Но я именно таков, как сижу здесь перед вами. Я простой человек. Стало быть, мне здесь ждать нечего.

Роза задумалась, изредка помаргивая.

— А если попробовать? По мнению крестного, я именно так и должна поступить. Но для начала признаюсь тебе честно,— с улыбкой добавила она,— что не ты моя первая любовь.

— Нет, нет, об этом я и не мечтаю, но мне до этого нет дела,— отвечал Бенони по своему разумению.

Короче, они ударили по рукам...

В последующие недели люди немало судачили об этом удивительном событии, о том, что хотя здесь, может, и виден промысел Божий, но все равно как-то странно... А в доме у пономаря выражались без обиня ов: Божий промысел, говорите? Никакой не промысел, а сеledка. Не разбогатеи Бенони на сельди, не видать бы ему Розы как своих ушей.

У них ведь подрастал свой сын, и он скорей был бы парой для Розы.

V

Прошло несколько недель. Роза частенько навевдывалась к Маку в Сирилунн, и Бенони всякий раз там с ней встречался. Люди их не поддразнивали: нет такого заведения дразнить парочку, которая ничего не таит, а Роза и Бенони-Почтарь открыто признавали, что, мол, да, что они дали друг другу слово.

Бенони продолжал доводить до ума свой дом и навес, обшивал панелями и красил, не хуже чем у других богатых людей, и те, кто видел его пристройки с моря, говорили: «Вот там стоит господский дом нашего Бенони».

В Сирилунне была веранда, и Бенони уже подумывал, а не пристроить ли и ему такую же веранду к своему дому, конечно, в уменьшенном масштабе, без деревянной резьбы, просто, чтобы был такой уютный уголок с несколькими сиденьями. Для начала Бенони дал задание маляру.

— Чего-то я зазнался последнее время, и хочется мне соорудить закуток,— сказал он,— эдакий ерундовый закуток.

Маляр, из местных, поначалу не понял.

— Закуток?

— Ну, люди еще кличут это верандой,— пояснил Бенони и отвернулся.

— А для чего вам веранда?

— Ты, может, и прав. Я хотел ее для приятности, чтоб было где постоять и поглядеть вдаль.

Никак, маляр смеется? С этим Бенони покончит без всякого, смеяться себе прямо в лицо он никому не позволит. И Бенони кликнул плотников, которым с излишними подробностями растолковал, чего именно ему надо, наметил высоту и дал прочие указания.

— Пусть будет такое место, где можно летом посидеть, попить кофейку.

Плотники были народ смекалистый, родом не из этих мест, а потому успели многое повидать на белом свете.

— У людей с достатком всегда есть веранда,— сказали плотники и одобрительно кивнули.

Несколько дней спустя Бенони осенила новая идея. В Сирилунне ко всему была еще и голубятня. Она стояла посреди двора и держалась на одном столбе, была выкрашена белой краской, а наверху красовалась медная шишечка. Голуби вносили большое оживление, а куры не шли ни в какое сравнение с голубями.

— Надумай я завести хороших, породистых голубей, мне их даже девать будет некуда,— сказал Бенони.

Он взял одного из плотников и показал ему, где должна стоять голубятня.

Так проходили недели, и настала осень. Бенони хлопотал дома и потому не вышел в море. Плотники и маляры уехали, напоследок они выполнили еще одну работу— застеклили веранду цветными стеклами, и получился все равно как вход в райские кущи. Даже в Сирилунне и то не было цветных стекол, этот пронира Бенони выносил идею со стеклами у себя в голове.

Но когда ремесленники ушли восвояси, Бенони одолела скука, он пошел к Розе и прямо сказал ей, что одному здесь просто неведомо, так вот не собирается ли она кое-что изменить? А Роза отнюдь не торопилась сбить себя с рук, они вполне могут пожениться и весной, дело терпит.

Бенони занялся прибрежным ловом, но когда бухта начала покрываться льдом, так что дорога к открытой воде отнимала слишком много сил, он перестал выходить в море. Теперь у него совсем уже не осталось ника-

ких занятий, кроме как ходить в церковь по воскресеньям. Выдавались такие дни, когда он был рад снова взвалить на плечи почтовую сумку со львом. Но сумку теперь носил один мелкий арендатор с пасторского двора, невидный отец семейства.

И Бенони начал ходить в церковь. На нем было две куртки и сапоги с лаковыми отворотами. Он не горбился, спина у него была прямая, как у памятника, и когда все запевали псалмы, он тоже не ударял лицом в грязь. А когда он стоял на церковной горке, он тоже не держал себя таким глупцом, который не желает больше узнавать простой люд, но уж если он стоял и мерз до синевы, то, верно, не ради какого-нибудь пустякового разговорчика. Мак да я, да мы с Маком, хочешь веришь, хочешь нет, но мы с ним получили вчера депешу, что сельдь идет из моря в бухту. Когда подручный ленсмана дочитал свои документы и объявления, он подошел к Бенони и задал такой вопрос:

— Про сельдь — это откуда известно?

Бенони отвечал:

— Мы оба поднялись вчера на борт и обо всем спросили.

Очередной вопрос и ответ Бенони:

— С завтрашнего дня я начну помаленьку заниматься делом.

Люди стояли кругом и кивали. Ох уж этот чертов Бенони: он получает депешки от самого Господа Бога, даже если речь идет просто о сельди. А Бенони, запустив руку в свою густую гриву и обнажив в улыбке зубы, крепкие и желтые, как у моржа, сказал, что, конечно, нет, так высоко он не залетает, это, конечно, преувеличение, но, хотя он человек маленький, кой-какой опыт у него, конечно, есть.

Когда Бенони пошел домой, подручный ленсмана навязался ему в попутчики. Они могли считать себя равней. У Бенони было большое богатство, зато другой выжился изысканнее и манеры у него были изысканнее, что правда, то правда. Кстати, как раз после того, как Бенони перестал быть судебным приставом и правой рукой у ленсмана, старику пришлось искать себе в городе другого подручного, этого самого.

Они потолковали про дом Бенони и отдельно про его веранду, какая она роскошная, про голубятню и про свадьбу. Бенони снисходительно посмеивался над женским сословием: ох, уж эти дамочки, поди догадайся, что

у них на уме? Ну зачем ей понадобился он, бедный, незаметный шкипер галеаса! И он назвал Розу своей невестой.

— И как же,—спросил подручный ленсмана,—вы, верно, не согласитесь расстаться с ней ни за что на свете?

— Нет и нет! Даже за все, что вы здесь видите! Расстаться с ней! Да ни боже мой! Раз уж я покорил ее сердце!

— Но когда вы с ней идете рядом, вот как мы сейчас, вы тоже говорите про всякие простые дела?

— Я говорю с ней так же по-простому и неученому, как вот сейчас говорю с вами.

— Бесподобно!—воскликнул подручный ленсмана.

Тем временем они достигли дома Бенони и вошли. За несколькими рюмками последовала закуска и кофе, и опять выпивка. Бенони хотел убажить гостя, своего коллегу, которого ему, наконец-то, удалось залучить к себе, и звуки шумной беседы заполнили комнату. Помощник ленсмана был молодой человек, хорошо одетый, в накрахмаленном воротничке; о нем рассказывали, будто он часто сидит у ленсмана и штудировать законы, так что обмануть его очень трудно.

— Я неплохо обучен в разных предметах,—сказал он,—а что до конторы, так у меня сидит в голове любой протокол. Но если взять Розу Барфуд или, правильнее, фрекен Барфуд—уж и не знаю, о чем бы я посмел с ней заговорить.

— Ну и зря, она бы тебя не укусила,—отвечал Бенони.—«Посмел заговорить»? Дружище, да я просто беру ее на руки и поднимаю в воздух. Просто надо быть порешительней. Ну, само собой, я веду себя как и положено с такой благородной дамой, потом аккуратненько опускаю ее на пол. Ну и, конечно, я не должен говорить при ней грубые слова или вести себя по-свински. Вон у меня тут кisetик висит, так это она мне подарила.

Они осмотрели кiset, расшитый шелком и жемчугом. Но Бенони просто хвастал сверх всякой меры, когда говорил, будто этот кiset ему подарен в знак любви и внимания; на самом деле он купил его в Бергене, когда ходил туда на своем галеасе.

Когда кiset произвел надлежащее впечатление, Бенони совсем расхвастался, желая доказать, какая удачная ему досталась невеста.

— А надумай я показать вам все, что получил от нее в подарок...—сказал он,—тут и воротнички, и всякая

одежонка, и носовые платки, и все сплошь расшиты жемчугом и шелком. У меня просто сундуки ломаются от этого добра.

— Бесподобно! — вскрикнул помощник ленсмана.

Бенони не унимался.

— Вот вы говорите про ученость и всякое такое, а что вы тогда скажете про человека, который знает куда больше, чем мы с вами? Один раз она меня просто напугала.

— Как же это?

Бенони припомнил случай, который произвел на него сильнейшее впечатление, но поведать о нем не спешил. Он снова разлил вино по рюмкам, они выпили, потом он напустил на себя вид торжественный и загадочный. Речь у них пошла о бутылочной почте. Из моря выудили бутылку с запиской, трое рыболовов на восьмивесельной лодке приплыли из дальней деревни и привезли эту бутылку. Пошли к учителю — тот ничего не понял. Пошли к пастору — тот ничего не понял. Тогда они решили отнести бутылку Маку... Не мне вам говорить, что на свете сыщется немного такого, в чем бы Мак не был сведущ. Но тут и он спасовал. Я сам сидел у него в гостиной, на софе, когда принесли бутылку, и Мак начал читать. Ума не приложу, что это значит, сказал он. Обратился ко мне, я тоже не мог ничего ответить. Мак подумал, дочитал и устался на свои руки. Тут я начал смекать, что уж, верно, там такое написано, о чем ему рассказывать неохота. Небось про сельдь, подумал я, про большие промыслы в море. Вы, верно, и сами знаете, Мак силен думать. Но тут я не угадал: Мак вдруг поднял голову и закричал: «Роза! Роза!» И Роза спустилась сверху.

Пауза. Мужчины сидели тихо, увлеченные ходом событий. Помощник ленсмана спросил:

— И она поняла? Могу себе представить, как дальше события развивались. Я ведь тоже не очень глуп. Она прочла записку?

Бенони задумался и ответил не сразу.

— Она прочла! — многозначительно ответил он.

— Да что вы говорите!

— Для нее это было — все равно как одна из заповедей или другой пустяк.

— Бесподобно! — воззвал помощник ленсмана.

— Для нее это было все равно как родной язык. Я даже испугался! Еще немного, и я поверил бы, что она пришла к нам из другого мира, из-под земли, можно сказать.

— А в записке что было?

— Что люди терпят бедствие в море.

После этого потрясающего рассказа они несколько раз выпили, а за питьем позабыли про бутылочную почту и принялись толковать про сети, про галеас «Фунтус» и про поездку в Берген.

— А что до сельди, так мне нужен новый улов, и ничего больше. Когда есть улов, к полным сетям съезжается, можно сказать, целый город, тут и евреи с часами, и золотых дел мастера,— прямо как на ярмарке. Вот я торчу здесь, даже кольца не могу купить, пока сельдь не войдет в сети. У меня пустые руки, и я ну как есть ничего не могу поделывать.

Но главный свой козырь Бенони приберег до конца разговора. Это была долговая расписка Мака на пять тысяч талеров. Он был бы не прочь, чтобы новость разошлась по людям. Под предлогом, что ему надо посоветоваться со знающим человеком, он извлек бумагу на свет и выложил ее перед помощником ленсмана.

Длительное молчание и пристальное разглядывание.

— Ну, что вы на это скажете? — спросил Бенони.

И помощник ленсмана отвечал:

— Надежней золота.

— Вот и я так считаю. А не думаете ли вы, кстати, что Сирилунн со всем добром и всеми чудесами уж как-нибудь потянет и на пять тысяч?

Бенони говорил об этих чудесах таким тоном, будто и впрямь уже стал совладельцем Сирилунна. Его распирало от гордости.

Но помощник ленсмана по-прежнему разглядывал бумагу и под конец произнес:

— Для надежности ее надо засвидетельствовать в суде. Так положено по закону.

VI

А сельдь, которую предсказывал Бенони, так и не пришла, и потому он не сумел купить золотые кольца. Словом, что-то не заладилось.

И тогда Бенони отправился в Сирилунн и сказал Розе такие слова:

— А может, не будем ждать?

Но Роза не воскликнула, как он надеялся, «Да, да, конечно!», напротив, ее замкнутое лицо ясно ответило «нет», и тогда он продолжал:

— Может, нам хоть оглашение заказать?

— А куда спешить? — ответила Роза. — Ты вроде собирался идти зимой к Лофотенским островам?

— Никуда я не собирался.

Он был до глубины души уязвлен этим предположением. Человек с его состоянием не выходит рыбачить на баркасе. Впрочем, Роза тоже смекнула, что спросила невпопад, и начала отступление:

— Понимаешь, я думала, ты поведешь галеас для Мака.

— Нет, Мак со мной об этом даже речи не заводил.

— Не заводил? А сам ты, конечно, тоже не пожелаешь заводить с ним?

Вконец обескураженный Бенони отвечал:

— Меня, слава богу, не приперло.

Она накрыла своей рукой руку Бенони, чтобы его умаслить. Ну и женщина, сидит рядом, но из ее красивых пухлых губ никак не прозвучат слова: «Плевать на все, и давай поженимся».

Поди их разбери, этих женщин.

Бенони обнял ее за шею и поцеловал. А она не стала противиться. За все время это у них был второй поцелуй.

— Я хочу купить тебе золотое кольцо и золотой крестик, — сказал он.

— Конечно, конечно. Но это ведь не к спеху.

— Да что с тобой творится? — спросил Бенони и поглядел на нее. — То не к спеху, и это не к спеху!

Ее серые глаза подернулись дымкой, словно закатное солнце. Она встала и отступила от него на несколько шагов.

— Ничего со мной не творится. Так, значит, ты думаешь, в этом году сельдь не придет?

— Сказать трудно. Но если придет, я, конечно, выйду в море. По-моему, тебе только этого и надо.

Опять все снова-здорово. И она опять села, чтобы успокоить его. Заметив, что эта тактика приносит плоды, он время от времени начал изображать обиду, чтобы она смогла его умаслить ласковыми словами и похлопываньем по плечу. Вообще она была куда как скупа на ласку и ни разу не приласкала его, если ее к тому не принудить.

— Назови по крайней мере срок. Надо же назначить срок нашей свадьбы, — сказал Бенони.

И поскольку уклониться от прямого ответа на сей раз не представлялось возможным, она сколько могла

оттянула срок и завела речь о том, чтобы через год или около того, как ему покажется, чтобы через год, считая от ближайшего Рождества.

Опять обида.

— Упрашивать не стану,— сказал Бенони.

Под конец они пошли на уступки с обеих сторон. Роза наметила дату на следующий год когда-нибудь в середине лета. Оставалось ждать полгода с гаком, почти семь месяцев...

По дороге домой Бенони заглянул в лавку к Маку. Мак и два его приказчика выписывали цены на товарах, поступивших к Рождеству. Повсюду стояли большие открытые ящики, они вынимали их оттуда и раскладывали по полкам. Холод был такой, что чернила в чернильнице превратились в ледяную кашу, и Мак отогревал их своим дыханием, прежде чем написать новую цифру. На руках у него были перчатки, а оба приказчика работали голыми руками.

Время от времени в лавку заходил какой-нибудь покупатель. Бенони пожелал иметь новый календарь, заглянул, отметил все затмения и ярмарочные дни и провел черту где-то в середине листа. Среда будет, подумал он, день святого Сильвестрия, перед новолунием.

— А селедки для добрых людей в этом году не предвидится? — спросил Мак, чтобы потрафить Бенони.

И хотя Мак ему немало был должен, Бенони всякий раз чувствовал себя польщенным, когда тот запросто к нему обращался, такое великое уважение испытывал он к старому магнату. Уж этот Мак из Сирилунна, он до сих пор носил бриллиантовую булавку на груди своей тонкой ненакрахмаленной рубашки, а на ногах — дорогие городские ботинки с острыми носами и уже много лет, как начал подкрашивать голову и усы.

— Нет селедки,— отвечал Бенони,— а еще я хотел бы перемолвиться с вами словом у вас в кабинете.

— Подожди минуточку.

Хотел ли Мак выиграть время, несколько минут на размышление? Он и всегда так отвечал... Короче, Мак продолжал выписывать цены и делать пометки в длинном счете от оптовика. Начал новый столбец и вдруг прервал работу, стало быть, додумал до конца.

— Я к твоим услугам,— сказал он и первым пошел в свой кабинет.

— Прошу не посетовать на меня,— начал Бенони,— только они говорят, что расписку надо засвидетельствовать в суде.

— В суде? С какой статьи?

— По закону положено.

— А кто это сказал?

— Да так, кто-то, я уж и не вспомню, но сказать сказали.

У Мака изменилось лицо, но ответил он холодно и кратко:

— Раз надо, можешь засвидетельствовать. Я-то при чем?

— Вы уж не посетуйте, только это стоит денег.

— Пустяки. Пошлину я заплачу.

— Спасибо большое, я, собственно, ради этого к вам и пришел. И еще — что на то была ваша воля.

Мак ответил с необычной для него поспешностью:

— Вовсе нет, не моя. Но возражать тут не приходится. Гм-гм... Не отправь я все деньги на юг, я бы тебе их сразу же вернул.

У Бенони кошки заскребли на душе, и он смиренно пролепетал:

— Но, дорогой господин Мак... Люди говорят...

— Да пусть говорят сколько вздумают. Разве на бумаге не стоит моя подпись: Сирилунн, такого-то и такого-то, Фердинанд Мак? Видишь ли, Хартвигсен, я терпеть не могу, когда все кому не лень суют нос в мои дела. И всегда терпеть не мог.

— А они все равно говорят, что документ надо засвидетельствовать,— гнул свое Бенони. От него не укрылось, что Мак стал говорить совсем по-другому, и он решил держать ухо востро.

Мак отошел к окну и задумался. Потом, наконец, произнес:

— Ну, ладно, дай мне бумажку, а я уж сам побеспокоюсь, чтоб ее засвидетельствовали.

— А у меня ее при себе нет.

— Так принеси на днях.

И Мак кивнул. Это всегда означало у него конец переговоров.

По дороге домой Бенони с присущей ему смекалкой силился понять, почему это Маку так не хочется заверить в суде расписку? Люди и без того знают, что он берет деньги отовсюду, они сами их приносят, чтоб Мак их вложил в дело и чтоб получить несколько шиллингов доходу.

Он и полчаса не пробыл дома, как к нему появился один из Маковых приказчиков. Это был приказчик по имени Мартин. Мартин сказал:

— Хозяин просит, чтобы вы к нему вернулись в контору.

— Это еще почему? Чего он от меня хочет?

— Вот уж не могу вам сказать. Он как раз стоял и разговаривал с Розой, с пасторской дочкой.

— С Розой? Мартин! Так ведь она ж моя невеста. Почему ты мне говоришь: Роза, пасторская дочка?

Приказчик малость смутился.

— А о чем они разговаривали?

— Вот уж не могу вам сказать. Они поминали галеас. Что вы пойдете на нем к Лофотенам скупать рыбу.

Молчание.

— Хорошо, я сейчас приду,— сказал Бенони.

— А еще мне велено просить вас, чтоб вы прихватили документ.

Когда приказчик ушел и Бенони остался один, он сел, чтобы прикинуть что к чему. Почему это Розе так неймется спровадить его куда подальше? Бенони не мог понять причину. И стоит ли ему снова вести галеас? Правда, человеку одинокому не так-то уж и весело сидеть дома в долгие зимние недели, а вдобавок можно будет показаться на люди и купить золотые украшения, кольца, которые занимают все его мысли.

Начало смеркаться, Бенони зажег свечу, достал из укладки долговую расписку и сунул ее в карман. Но перед тем как снова задуть свечу, он вынул бумагу из кармана и перечитал ее. Все честь по чести, не подкопаешься, ни одного упущения во всей бумаге. Только кто же это по доброй воле выпускает из рук доказательство? Нет, доказательства надо хранить.

Он снова упрятал бумагу в надежное место, задул свечу и пошел в Сирилунн.

В полутемных сенцах перед лавкой он наткнулся на Мака, тот стоял и калякал с одной из своих служанок. Старый барин не изменился, он и в темноте был такой же глазастый и пряткий.

— Прошу, Хартвигсен,— сказал он и первым проследовал в контору.— Я совсем позабыл, когда ты днем был у меня... Чувствую, что-то позабыл, а что— никак не вспомню... Так вот: можешь ты в этом году повести галеас?

Они и еще немного потолковали о том же, про сельдь, мол, до сих пор ни слуху ни духу, а значит, Бенони и не упустит ничего, если сходит к Лофотенским островам на старом «Фунтусе».

— А сами-то вы разве на нем не пойдете?

— По мне так лучше, чтоб его повел ты. Заодно ты закупишь груз для обеих шхун. Уж тебе-то я могу доверить любые тысячи.

Бенони был и горд и растроган, снова он будет стоять адмиралом на мостике «Фунтуса». Ему уже доводилось ходить через бурное море, через Вестфьорд, Фоллу и залив Хустанд, отчего ж теперь и не сходить на Лофотены? А что до закупок рыбы, то хоть у него и нет Маковой сноровки, но покупает он куда дешевле, чем другие, потому как считает каждый грош и умеет торговаться.

Отчего ж и не попробовать, коль скоро Мак того хочет. И они заговорили о том, кого нанять на этот рейс.

Лишь когда Бенони уже собрался уходить, Мак его спросил:

— Ну как, принес расписку?

— Нет, забыл. И с чего бы это? Ведь как раз перед самым уходом думал.

— Ладно, принесешь другим разом.

С этого дня у Бенони появилось множество хлопот, он готовился к походу к Лофотенским островам, все равно как в кругосветное путешествие. Всякий раз, когда отпускала холодная погода, он навевывался на «Фунтус», а тот дремал себе на волнах, черный и на редкость некрасивый, но размерами с небольшой корабль из тех, что ходят в открытое море. Чего стоят две шхуны по сравнению с «Фунтусом»? Они возле него все равно как две скорлупки, до самой ватерлинии груженные сельдью. А сельдь пусть, между прочим, тоже идет к Лофотенам, когда приманка станет слишком дорога для рыбаков. Две шхуны — это такая безделица, что одну из них поведет Вилладе-Грузчик, а другую Уле-Мужик.

Бенони спустился на палубу «Фунтуса», оглядел снасти, посмотрел на небо, словно уже шел под парусами, проверил компас и карты, смазал ворванью штаги, как следует прибрался в каюте.

Интересно, а почему он только в хорошую погоду навевывался на галеас? Да потому, что наш удалец Бенони делал это не без задней мысли, была у него на то очень хитрая причина, потому как его новая желтая клеенчатая роба в мороз никуда не годилась, она твердела и шла

трещинами, но та же самая роба шикарно выглядела на палубе в оттепель, сверкала золотом и богатством, отражаясь в окнах Сирилунна.

— Чего тебе так не терпится меня спровадить? — спросил Бенони у Розы.

— Разве я хочу тебя спровадить? — отвечала она. — Откуда ты это взял?

— На мои глаза так оно и есть.

Она снова сумела его задобрить и восстановить мир. Рассказала, что собиралась уезжать домой, к родителям, но Мак попросил ее остаться, подсобить в лавке, когда начнется большая рождественская торговля. Рассказала она также, что посоветовала Маку обратиться и к Бенони, чтоб тоже помогал.

— Ничего он меня не просил...

— Еще попросит, сегодня... Теперь ты сам видишь, что я никуда не собиралась тебя спроваживать.

Бенони затрепетал словно мальчишка от таких ласковых слов, обхватил Розу руками и поцеловал в третий раз — не сказать, чтобы много.

— Тебя потрогать — все равно как цветок, — сказал он.

Мак и впрямь попросил его о помощи перед Рождеством. Пусть делает, сколько найдет нужным, а главное, пусть приглядывает за всем и будет ему, Маку, правой рукой. В конце разговора Мак опять спросил насчет расписки.

— Я ее целый день проискал, но так и не нашел, — отвечал Бенони.

— Так и не нашел?

— Я еще пошарю. Куда-то она задевалась, не иначе...

И Бенони запер свой дом и от великой тоски и одиночества пошел работать в лавку. Вообще-то было даже забавно хозяйничать за этим прилавком, в этих шкафах, которые он хоть и знал сызмальства, но только снаружи. Дело шло к Рождеству, и в лавку с каждым днем заявлялось все больше народу; а уж перед нижним прилавком, где торговали вином, грязница была страшная с утра до вечера. Бенони подсоблял всюду, где была в том нужда, а сам косил одним глазом на опытных приказчиков, как они все делают, и перенимал у них то одно, то другое. Даже в языке у него появились всякие торговые словечки, целый день только слышалось: «сорт прима», да «сорт секунда», да «нетто», да «брутто».

Но оба приказчика, прошедших настоящую выучку, с досадой поглядывали на этого чудака, на Бенони-Потчаря, который часто путался у них под ногами, а пользу приносил редко. У них тоже была своя хитрость и свои соображения, покупателей они определяли прямо с порога, сразу угадывая, кто за чем пришел в лавку, поэтому они старались, чтобы Бенони спускался в подвал с теми, кто пришел за сиропом, либо ворванью, либо листовым табаком, а сами оставались наверху и продавали игрушки, крупу и всякие благородные товары. Поэтому Бенони то и дело надолго оставлял лавку: из-за холода этот благословенный сироп капал в час по чайной ложке.

Роза покамест им не помогала, но однажды в рабочую субботу она все-таки наведальась в лавку, прошла за прилавок и осталась там. На ней была песцовая шубка, а маленькие ручки были упрятаны в перчатки. И все женщины, какие ни приходили за покупками, ее узнавали, и благодарили, и почитали за великую честь, что она их спрашивает, как у них дела. Она тоже не сильна была в торговле и в счете, а потому и не брала лишних денег за четырнадцать пуговиц в дюжине или за вес с большим походцем.

— Славно-то как, что ты к нам пришла,— сказал Бенони.

Оба приказчика прямо вскипели. Хорошенькая им будет помощь от этой парочки! Лучше бы эти двое и вовсе сюда носа не казали! А теперь вот стоят и разговаривают в аккурат перед ящиком с кофе, который то и дело приходится закрывать и открывать.

— И еще очень хорошо, что ты надела шубу,— продолжал Бенони, обращаясь к Розе,— и что руки у тебя не голые.

Словом, все, что ни делала Роза, было очень хорошо.

Но тут появился покупатель за ворванью. А ворвань у них была в подвале, это все равно как масло для сальных светильников. Приказчики переглянулись, и один из них, по имени Стен, насмелился и сказал Бенони:

— Может, вы будете так любезны и обслужите этого покупателя?

— Ах, нет, не надо! — застыдился покупатель. — Чтоб сам господин Хартвигсен спускался ради меня в подвал! Уж лучше я вообще обойдусь без ворвани! — И он совсем застыдился.

Но после таких знаков уважения Бенони был вовсе не прочь отпустить человеку ворвань.

— Забавы ради спущусь-ка я в подвал. Давайте сюда вашу посуду.

Покупатель не переставал стыдиться, что позволяет себя обслужить.

— Совести у меня нет,— твердил он,— вы, господин Хартвигсен, не спускайтесь в подвал, уж лучше я с семьей просижу Рождество в темноте...

На сей раз Бенони долго не выходил из подвала, потому что чертовы приказчики громко скликали вошедших в лавку:

— А ну, кому чего нужно в подвале? Бенони все равно там!

И посылали вниз одного за другим. Бенони начал угадывать их хитрый замысел и подумал про себя: пусть Стен больше не пробует гонять меня с поручениями.

Когда, наконец, он выбрался из подвала, благоухая ворванью и табаком, его на какое-то время оставили в покое, он снова подошел поближе к Розе, чтобы поболтать с ней.

А тут как раз еще одному покупателю понадобился товар из подвала.

— У меня как на грех времени нет,— отвечал Стен-Приказчик. Но тут он здорово просчитался, он-то думал про почтаря и судебного пристава, а не про богатеяшкипера и владельца сети. Поэтому он и сказал:— Может, Бенони возьмет это на себя?

— А чтоб высморкаться, тебе, случайно, подмога не нужна?

Стен даже побагровел от стыда и не ответил ни слова, Бенони же, переводя взгляд с одного на другого, победительно захохотал. С тем же победительным хохотом он поглядел и на Розу, но у той на переносице легла морщинка, и Бенони раскаялся в своей грубости и был рад-радехонек, когда Роза после всего случившегося не отказывалась слушать слова, которые он ей говорил.

Мак ненадолго вышел из своей конторы, и все, кто ни был в лавке, почтительно приветствовали великого человека.

Бенони решил выставиться перед Розой и перед остальными, а потому отвел Мака в сторонку и сам заговорил про расписку.

— Не могу я ее найти. Не иначе потерял.

Мак недоверчиво ответил:

— Быть того не может.

— А я часом не положил ее обратно на вашу конторку?

Мак как-то неуверенно задумался.

— Нет, ты спрятал ее в карман.

— Но если она потерялась, мне ведь нужен тогда другой документ.

Что-то сверкнуло у Мака в глазах, и он ответил:

— Ну, об этом мы всегда успеем поговорить.

Когда Мак повернулся и ушел, Бенони довольно громко пустил ему вслед:

— Как-никак, пять моих кровных тыuchoнок!

Пусть и другие послушают, что Бенони говорил с Маком не о каких-нибудь там пустяках.

Хитрец он был, наш Бенони! Покуда он тут стоял и напускал на себя печальный вид из-за утери закладной, ему отчетливо припомнилось, что он передал ее помощнику ленсмана, чтобы тот сам заверил ее на первом же заседании суда, коль скоро самого Бенони на месте не окажется.

— Ну каков этот Бенони,— зашептались люди перед прилавком.— Это ж надо, целых пять тысяч!

А Бенони похаживал, да расправлял плечи, да пыжился от богатства. Ну почему Роза ни о чем его не попросит? Да он, ежели понадобится, может скупить всю эту лавку. И он снова предложил ей, как уже не раз делал раньше, выбрать себе что-нибудь, что ей приглянулось. Но Роза этим его предложением не соблазнилась. Тогда он по своему вкусу отобрал штуку тонкого льняного полотна, точно такого же, как тот, что пошел на его выходные рубашки.

— Что ты об этом скажешь?— спросил он.

Она взглянула на полотно, потом на него, потом опять на полотно.

— Что я об этом скажу?

— Если хочешь всю штуку, вели записать на меня. Ручаться не могу, но думаю, что уж такой-то кредит у меня здесь есть.

— Да нет, спасибо. К чему он мне?

— Может, сгодится на мануфактуру?— Под мануфактурой Бенони подразумевал нижнее белье.

Оба приказчика переглянулись и невольно склонились над своими ящиками. А Роза промолчала, она лишь едва заметно улыбнулась от смущения, но все с той же складкой на переносице.

Бенони положил ткань на место. Должно быть, он нарушил какие-то приличия, уж слишком глубока была на сей раз складка на переносице, впрочем, он употребил

такое изысканное выражение «мануфактура», ведь это не называется говорить неприлично...

А Мак стоял в своей конторе у окна и продолжал размышлять о долговой расписке. Он чуть насвистывал, один глаз у него был открыт, другой прищурен, словно он прицеливался. Добряк Бенони желает заверить расписку в суде, но найти ее не может, потерял, говорит. Ох, Бенони, Бенони, пусть он на всякий случай пошарит хорошенько в своей укладке, наверняка найдет. И документ прямиком отправится в суд.

Внезапно Мак распахнул дверь и кликнул Стена, своего приказчика:

— Доставь полкадки морошки на первый же почтовый пароход, что пойдет к югу. Я получил заказ. И пусть бочар хорошенько проверит клепки. А адрес прежний, как и три года назад: Буде, помощнику судьи.

VIII

Настал сочельник, и Бенони справлял его у Мака, а вот Роза, та уехала домой к родителям. Уехала, даже не сказав Бенони «до свидания», зато домоправительнице Мака было поручено передать на словах множество приветов.

Короче, в белой гостиной у Мака настроение царило далеко не праздничное. Бенони привык здесь к другому. Когда он справлял Рождество один, он между рюмочками пел какие-нибудь псалмы и читал молитву. А сегодня в этой гостиной была какая-то недобрая пустота, даже стульев не осталось, одни кушетки, а стулья все перекочевали в столовую, где накрывали стол к ужину.

По стародавнему обычаю Мак велел зажечь люстру с сотней хрустальных подвесок, сам он расхаживал по гостиной в нарядной одежде, в шитых жемчугом туфлях и неторопливо покуривал длинную трубку. Сегодня он не вел разговоры о ценах на рыбу, о торговле и о наживе, как вчера и позавчера, а, сообразуясь с праздником, говорил о всяких пустяках, рассказывал либо истории, которые вычитал из газет, либо про своего дедушку, который одно время жил в Голландии. Вдобавок он время от времени подносил Бенони рюмочку вина и сам выпивал с ним за компанию.

Тут экономка распахнула двери и сказала, что, мол, пожалуйста к столу. Мак пошел первым, а за ним Бенони.

В столовой тоже было очень светло, мало того, что люстра под потолком, так еще и четыре пары светильников на длинном столе.

Тем временем экономка распахнула двери в кухню и сказала:

— Милости просим, заходите.

И в столовую размеренно и чинно вошли слуги и жители поселка — огородники, оба кузнеца, портовые рабочие, пекарь, бочар, приказчики из лавки, два мельника, почти все с женами, еще кухарка, скотница и горничная Эллен, а совсем под конец два седоволосых бедняка, живущие на хлебах у общины, — Менза и Монс. Из обоих этих стариков первым явился в Сирилунн Монс, чтобы прокормиться положенные три недели. Тому уже минуло много лет, Фердинанд Мак был тогда еще женат, и дочь его Эдварда была еще маленькой девочкой. Но когда истекли три недели, Монс отказался переходить к другому кормильцу. С обнаженной головой предстал он перед Маком и госпожой Мак и попросил разрешения остаться здесь. «Оставайся!» — повелел Мак. О, Мак, этот важный господин, был не из тех, кто гонит от себя людей. И Монс остался в усадьбе, заготавливал дрова, говорил с самим собой и был вполне доволен жизнью, а еду и одежду он имел в полном достатке. Монс был высокий сутулый старик, эдакий длиннородый Моисей с кривым носом, добрый и незлобивый как дитя. Так миновало двенадцать лет, госпожа Мак умерла, дочь Эдварда выросла, а спина и руки у Монса до того обессилели, что он уже не мог больше обеспечить дровами все печи Сирилунна. И тогда он по собственному почину свел дружбу с Фредриком Мензой, который был одних с ним лет и такой же немощный, свел, чтобы кто-нибудь подсоблял ему заготавливать дрова и чтоб было с кем перемолвиться словом, когда рубишь. И Фредрик Менза точно так же заявился к Маку и дочери его Эдварде и, сдернув шапку с головы, попросил разрешения остаться. А Мак был все такой же, что и двенадцать лет назад, и он сказал: «Оставайся». С того дня оба нахлебника зажили в Сирилунне, держались вместе, заготавливали дрова и мало-помалу впадали в детство. Но если Монс был крупный и при богатых плечах, то Фредрик Менза был высокий и тощий на особицу, и, может, именно поэтому у него уродилась такая миленькая и ладненькая дочь, что, выросши, стала горничной в Сирилунне, а потом вышла замуж за младшего мельника...

Словом, за праздничным столом пустых мест не осталось. И для всех были серебряные ложки и серебряные вилки, что для богатых, что для бедных.

— А почему это с маяка не пришли? — спросил Мак.

— Мы их просили.

— Ну так попросите еще раз.

Эллен, горничная, смазливая и расторопная, мгновенно выскочила за дверь, чтобы привести смотрителя маяка с женой. В ожидании никто не ел, только пропустили по рюмочке, которыми обносил Стен-Приказчик.

Смотритель и его жена были скромная, ничего не значащая чета, одетая по своему скудному достатку в ветхое, старомодное платье, а на их лицах долгая безрадостная жизнь и губительная праздность при маяке наложили вечную печаль слабоумия. Они настолько устали друг от друга, что начисто утратили способность держать себя вежливо или даже просто передать один другому тарелку.

У дальнего конца стола сидела жена младшего мельника, ей полагалось опекать обоих нахлебников, потому что сами они уже мало что понимали. Хо-хо, вот двадцать лет назад и она блистала красотой в покоях Сирилунна, но за эти годы заметно растолстела и у нее вырос второй подбородок. Впрочем, и сейчас она неплохо выглядела, и кожа у нее была нежная, словом, никаких примет старости. Дальше сидела Якобина, что была замужем за Уле-Мужиком. Родом Якобина была с юга, из Хельгеланна, смуглая, узкоглазая, еще у нее были самые кудрявые волосы среди всех здешних, почему и прозвали ее Брамапутрой. И кто бы мог подумать, что именно дряхлый смотритель маяка в веселый час придумал для нее это прозвище.

Мак сидел, окидывал взглядом стол, он хорошо знал всех сидящих за этим столом, особенно — девушек и женщин, и каждое Рождество он сидел во главе стола, глядел на знакомые лица и предавался воспоминаниям.

Хотите верьте, хотите нет, но даже у жены младшего мельника ходуном ходила пышная грудь, и она была полна воспоминаний. Хотите верьте, хотите нет, но даже Брамапутра засверкала глазами и покачала кудрявой головой, и голова у ней тоже была полна воспоминаний. Еще раз налили вина, и она выпила свою рюмку, и совсем разгорячилась, и выставила ногу далеко под столом. А что до Мака, то по его неподвижному лицу никто бы не догадался, что и он может быть ласковым в чьих-то

объятиях, что и у него бывает нежный взгляд. Через равные промежутки времени он поднимал свою рюмку, переводил глаза на Стена, приказчика, и спрашивал: «А ты не забыл подлить всем?» Заметив, однако, что бедный виночерпий сам не успевает проглотить ни кусочка, распорядился по-новому и посадил с другой стороны стола Мартина, второго приказчика. Мак все умел уладить, и разговор он вел о разных мелочах, которые могли заинтересовать всех его гостей.

И только два старика, Фредрик Менза и Монс, ничего не слушали, а просто ели, тупо и натужно, как животные. Монс все глубже уходил головой в свой шерстяной шарф, и тем шире казались его плечи, а голова Фредрика Мензы, напротив, торчала кверху на худой шее, словно у грифа, но разум в ней так же умер, как и у Монса. Похоже было, будто два покойника восстали из гроба и пальцы их успели перенять осторожные движения червей. Если Фредрик Менза обнаруживал на столе нечто удаленное, до чего он не мог дотянуться, он привставал с места, чтобы достать и взять желаемое. «Тебе чего? Чего ты хочешь?» — тихо спрашивала дочь и, толкнув его, совала ему в руку кусок какой-нибудь снеди, что вполне устраивало старика. Монс любовно оглядел блюдо со свиной и начал в нем ковыряться, ему тут же сунули кусок, и Монс увидел, что кусок, который почему-то не давался в руки, теперь у него. Он щедро обмазал свинину маслом и принялся уплетать. Ему сунули еще ломоть хлеба, могильные черви цепко обхватили хлеб и удержали его. Кусок свинины исчез в два счета, Монс искал его взглядом на своей тарелке, но не нашел. «У тебя ж хлеб есть», — сказала жена мельника, и Монс с полным удовольствием начал поедать хлеб. «Лучше обмакни его в чай», — сказал кто-то, потому что все присутствующие наперебой желали помочь старичкам и позаботиться о них. Тут кто-то обнаружил, что бедняга держит в руке сухой хлеб, и поспешил на выручку с маслом и другими вкусными вещами. Словно выживший из ума великан, словно гора высился Монс и поглощал свою еду, а прикончив кусок хлеба, продолжал отыскивать этот кусок глазами у себя в руке и даже спросил вполне осмысленно: «Его больше нет?» А Фредрик Менза словно попугай повторил: «Его больше нет?» — оставаясь таким же тупым и беспонятливым.

Два старика, с нечистыми лицами, с жиром и грязью на руках, с неистребимым запахом старости, распространяли

на нижнем конце стола какое-то гадостное чувство, какой-то звериный дух, который растекался по обе стороны стола. Не сиди гости у самого Мака, трудно сказать, каким непотребством все это могло завершиться. Ни одного разумного слова не раздавалось на дальнем конце стола, все направили мысли единственно на то, чтобы прислуживать старческой немощи. И вот Монс, утомленный обилием пищи, уставился на свечи вдоль стола и захохотал. «Ха-ха-ха! — хохотал он, и глаза у него были будто гнойные нарывы. — Тысяча чертей, я доволен!» — восклицал Монс. «Ха-ха-ха!» — закатился и Фредрик Менза с нелепой серьезностью, не переставая, впрочем, есть.

— Бедняжки, у них тоже есть свои радости, — твердили собравшиеся. Только у жены мельника хватало ума, чтобы испытывать стыд.

И во всем доме не сыскать ни одного ребенка...

Тут подали сласти и шерри. Ни в чем не было недостатка за этим столом.

— У всех рюмки полные? — справился Мак. — Тогда по обычаю выпьем за здоровье моей дочери баронессы Эдварды.

Ах, до чего это было разумно, и благородно, и потцовски! Ну, как не уважать такого человека?!

Бенони не сводил глаз со своего господина, как тот кашляет в салфетку, а не на весь стол и как управляется с вилкой. Бенони со своей стороны тоже был парень не промах, в любой ситуации он находил пример для подражания, и где бы он ни побывал, он всегда уносил с собой какое-нибудь новое знание. И когда теперь Мак чокнулся с ним, Бенони успел уже пройти хорошую выучку и ответил вполне по-благородному, как настоящий важный господин. Поистине все шло к тому, чтобы из Бенони получился второй Мак.

Потом хозяин протянул свою рюмку к смотрителю маяка и его жене — то были единственные соседи Сирилунна со стороны моря. Ваше здоровье! Старая дама смутилась и покраснела, хотя ей уже стукнуло пятьдесят лет и у нее были две взрослые замужние дочери и внуки. Смотритель с идиотским видом обратил к Маку увядшее лицо — вот так, мол. Затем он взял свою рюмку и не спеша выпил. Только руки у него как-то странно дрожали. Не потому ли, что Мак счел его человеком, с которым можно чокнуться? После чего он снова погрузился в привычное слабоумие.

А Мак обратился к своей челяди: он не хочет никого конкретно назвать и никого — забыть, все служат ему

верно и преданно, и он благодарен им за это и желает счастливого Рождества.

Каков говорун! Откуда, скажите на милость, брал он такие слова? Гости были заметно растроганы, Брамапутра полезла за носовым платком. Кузнец сколько-то лет назад и не подумал бы выпить с Маком, потому как в нем жила неумная вечная ненависть. Старая такая история, в которой был замешан не один человек: и его молодая жена, которой уже нет в живых, и сам Мак, да вдобавок еще охотник, чужой, со стороны, по имени лейтенант Глан. Все это было много лет назад, молодая жена без памяти влюбилась в того Глана, но Мак сумел ее улестить и призывал к себе во всякое время. Кузнец хорошо помнил свою жену, её звали Ева, она была маленького росточка, а больше он, по правде, мало что помнил, обычная жизнь текла как всегда, дошла до этого дня, и вот теперь он сидит у Мака, пьет с ним за счастливое Рождество, а вечная ненависть куда-то делась.

— Ну, все довольны? — спросил Мак.

Все встали. Эллен, горничная, тотчас начала перетаскивать белые, вызолоченные стулья обратно в гостиную, туда же проследовал Мак и позвал за собой зрителя с женой и Бенони. Остальных же гостей попросили остаться в столовой и выпить стаканчик пунша, а то и два. Разговор после стаканчиков пошел еще оживленней.

— Вы не могли бы нам сыграть, госпожа Шёнинг? — спросил Мак, указывая на маленькое фортепьяно.

Нет, нет, она не умеет играть. Тому уже столько лет... Сыграть? Господин Мак, верно, изволит шутить?

— Но ведь вы же играли нам много лет назад?

Нет, нет! Когда она играла? Давным-давно. Вот ее дочери, те немножко играют, они сами немножко выучились, когда вышли замуж. Они очень музыкальные.

— Но ведь вы из хорошей семьи, вы урожденная Бродкорб, и хотите уверить меня, что вас не учили играть?! Да я и сам слышал.

— Нет, нет, я вовсе не из хорошей семьи. Нет, нет, вы, верно, шутите.

— Вашим родителям принадлежал целый пасторат! Думаете, мне это не известно?

— Моим родителям? Несколько дворов у них, может, и было. И еще кой-какие участки... Но с пасторатом, господин Мак, это чья-то выдумка. Родители у меня были простые крестьяне, у нас был двор, несколько лошадей, несколько коров, но ничего такого, о чем стоит поминать.

Смотритель Шёнинг между тем ходил с очками на носу и разглядывал картины, развешанные по стенам. Ему было совершенно безразлично, о чем это его жена разговаривает с Маком, уж слишком хорошо он знал ее голос, хорошо до отвращения. Они женаты уже тридцать лет, они прожили под одной крышей одиннадцать тысяч дней.

Мак снял с инструмента чехол.

— Нет, нет,— твердила мадам Шёнинг,— я этим не занималась с молодых лет. Ну, пусть будет псалом.

Она садится с пылающими щеками и глупым видом. Мак распахивает двери в столовую и чуть-чуть приподнимает руку. Этого достаточно, чтобы там воцарилась тишина.

При первых же звуках в лице у смотрителя что-то дрогнуло, он, правда, еще некоторое время с идиотским видом продолжал разглядывать картины — из чистого упрямства,— чтобы не позволить смутить себя, но потом опустился на стул, стараясь, однако, сидеть спиной к жене. А мадам Шёнинг по памяти сыграла псалом.

Когда псалом был завершен, после чего исполнен вторично, мадам Шёнинг сникла и больше ничего играть не стала.

— Большое спасибо! — поблагодарил ее Мак и снова затворил дверь в столовую, чтобы люди там могли теперь заняться чем хотят.

На огромном серебряном подносе подали коньяк, воду и сахар, и Мак предложил господам, пожалуйста, угощаться. А сам намешал два бокала, один — для себя, второй — для мадам Шёнинг. Затем он подошел к смотрителю и немножко поговорил также и с ним.

— Да, да, вот эту картину мой дед привез из Голландии.

— А вот там — жанровая сценка с Мальты,— и смотритель указал на другую картину.

— Верно,— с готовностью поддержал его Мак.— Вы сами это увидели?

— Да.

— И что же вы увидели?

— Подпись под картиной.

— Вот как,— откликнулся Мак, заметив про себя, что недооценил умственные способности идиота.— Я думал, вы сами бывали на Мальте и теперь узнали.

А тем временем мадам Шёнинг в свою очередь столь же демонстративно пропускала мимо ушей речи своего мужа. Господи, до чего ей знакома его худая спина с тор-

чащами, костлявыми плечами. Она снова начинает тихо наигрывать, лишь бы не слышать его голос.

— Вы ведь раньше водили корабли,— гнул свое Мак,— вот я и подумал, что вы, может быть, побывали и на Мальте.

Слабая улыбка скользнула по лицу зрителя.

— Вообще-то я бывал на Мальте.

— Вы только подумайте!

— Но когда я вижу хельгеланнский пейзаж, я не могу его узнать только по той причине, что бывал в Норвегии.

— Нет, конечно; да-да, конечно,— отвечал Мак, а про себя подумал, что перед ним стоит идиот, с которым надо держать ухо востро, и не имеет смысла развлекать его светской беседой.

Потом Мак выпил на пару с Бенони и сказал такие слова:

— Видишь ли, дорогой мой Хартвигсен, все это я получил по наследству, мебель, и вот эту сахарницу, и картины на стенах, и серебро, и все, что ни есть в доме. Это та доля наследства, которая попала в Сирилунн, а вторая доля отошла моему брату Маку в Розенгоре. После меня все это, верно, перейдет к тому, кто даст на торгах самую высокую цену. Смотри тогда, не упусти случая, Хартвигсен.

— Ну, еще не известно, кто из нас умрет первым.

На это Мак лишь покачал головой. Затем он подошел к мадам Шёнинг, он никак не мог допустить, чтобы она сидела вот так одна.

А Бенони стоял и думал: «Мак все это говорит просто так, для разговора, у него ведь есть родная дочь, ей все и достанется, чего ж он меня зря распаляет?»

— Видите ли, мадам Шёнинг, с тех пор, как скончалась моя жена, инструмент так и стоит без дела. Играть на нем некому. Но не могу же я его просто выбросить, это дорогой инструмент.

Мадам Шёнинг задала вполне разумный вопрос:

— Но ведь ваша дочь, она, наверно, играла, когда жила дома?

— Нет, она не умела. У баронессы Эдварды нет интереса к музыке. Представьте себе! И это у меня, который готов идти за тридевять земель, лишь бы послушать музыку. Вот Роза Барфуд играет, когда заходит ко мне, она очень музыкальная.

Тут у Бенони возникла любопытная и довольно безумная мысль: а что если потягаться с баронессой и выманить этот рояль у Мака? И водрузить у себя в комнате,

потому как ближайшим же летом рояль может ему очень даже пригодиться. А что если и Мак завел этот разговор не без умысла?

Гости в столовой тем временем расшумелись, они явно затеяли там игру, мужчины и женщины, они громко хохочут, пренебрегая святостью вечера, слышно, как падает на пол рюмка.

— Вы, я вижу, интересуетесь картинами,— возобновляет Мак свой разговор со зрителем.— А вот здесь, глядите, побережье Шотландии. Такое пустынное и унылое место!

— И очень своеобразное,— говорит зритель.

— Вы так думаете? Но ведь здесь ничего не растет, здесь только камни да песок.

— Ну да.

— Так что же?

— Песок очень красиво окрашен. А это базальтовые столбы. Но вообще-то на камне и песке много чего растет.

— Да, кое-что растет.

— На горе стоит сосна, с каждым днем она наливаясь соком от руды и смолы, она не клонится в бурю, а знай себе стоит и звенит под ветром.

— Конечно, с этой точки зрения...— соглашается Мак, дивясь на многословие зрителя.

— Есть такое растение по имени асфодель,— продолжает зритель, еще больше усугубляя своими речами удивление Мака.— Стебель у него высотой с человека, а на стебле сидят редкие фиолетовые цветы. И там, где оно растет, там не растет больше ничего, это примета мертвой земли, песка, пустыни.

— Удивительно, удивительно! И вы своими глазами видели этот цветок?

— Ну да! Я его даже сорвал.

— Где же?

— В Греции.

— Удивительно! — повторил Мак, все больше досадуя на этого идиота.— Ваше здоровье, мадам Шёнинг,— воскликнул он и тем спасся от продолжения разговора.

И в ту же минуту ожили длинные часы у стены и пробили одиннадцать резких ударов.

— Разрешите подлить вам капельку, мадам Шёнинг,— говорит Мак.

— Нет-нет, спасибо вам большое, но нам пора домой,— отвечает мадам Шёнинг,— за лампой приглядывает один только Эйнар, больше никого.

Еще несколько слов о маяке, мадам Шёнинг уже встала и готова к прощальному рукопожатию, но поскольку Мак начинает ее расспрашивать об их глухонемом сыне Эйнаре, она забывает свое намерение и опять садится.

Вдруг, глянув на часы, смотритель говорит:

— Да, уже одиннадцать, как я вижу. Пора домой, к маяку.

Он сказал это с таким видом, словно его жена еще ни звука не проронила, он как бы начал возводить свои словесные построения на голом месте, до такой степени слова жены ничего для него не значили. Допив свою чашку, он попрощался за руку с Маком, пожелал ему спокойной ночи и пошел к дверям, но у дверей снова загляделся на какую-то картину. Мадам Шёнинг тоже не проявила ни малейшей поспешности и, прежде чем уйти, довела до конца свой разговор с Маком. А муж, один и сам по себе, вышел следом, потому что именно в этот миг завершил разглядывание картины.

Бенони и Мак остались вдвоем.

Шум в соседней комнате становится все громче, взвизгивает одна из женщин, слышен глухой звук падения.

— Ишь, как они там развлекаются,— улыбается Бенони. Таким тоном, будто сам он никогда не принимал участия в подобных развлечениях.

Но Мак ничего не отвечает и не поддается на доверительный тон. Он закрывает рояль, дует на крышку и протирает ее батистовым носовым платком. Правда, он скорей всего просто хочет показать Бенони, какой это дорогой и редкий инструмент.

— Не хочешь еще стаканчик?— спрашивает он у Бенони.

— Нет, большое спасибо,— отвечает Бенони.

В соседней комнате громко запеваает пекарь. Товарищи шикают на него и говорят, что он пьян. Пекарь громко протестует. Лишь изредка можно различить в общем шуме отдельные голоса.

— Извини, я на минутку,— говорит Мак,— намешай себе еще стаканчик, я только...

И с этими словами он выходит на кухню. Наверно, чтобы отдать какие-нибудь распоряжения. Он встречает там свою экономку, и Бенони слышит, как он ей говорит:

— Если пекарь устал, бочар и Уле-Мужик могли бы отвести его домой.

Ни одного сердитого слова, ни одного упрека по адресу злополучного пекаря. Но Бенони, он же парень не

промах, он только покачал головой и подумал про себя: Мак разом спроваживает трех мужиков, а их жены, между прочим, остаются.

Далее Мак продолжает свой разговор с экономкой:

— Надеюсь, вы будете так любезны и не забудете про воду для моей ванны.

— Да.

Тут только Бенони смекает, что на дворе поздний вечер и что Мак вот-вот уйдет к себе. Маковы ванны славятся во всей округе, он так часто их принимает, что все о том знают. У него есть пуховая перина и подушка, на них он и лежит преудобно в своей ванне. Вообще, про его ванну рассказывали прелюбопытные вещи, про ванну и про тех, кто помогал ему купаться, и про четырех серебряных ангелочков на столбиках его постели.

Но когда Бенони собирается попрощаться, Мак снова предстает перед ним радушным хозяином и силой заставляет его намешать еще стаканчик пунша. Они неспешно болтают о всяких пустяках, и Бенони, собравшись с духом, спрашивает, сколько, к примеру, может стоить такой рояль. Но Мак лишь покачал головой и ответил, что в такой вечер он знать не знает никаких цен.

— Но думаю, что немало,— завершает он.— Мои предки никогда не спрашивали про цену, если хотели что-то купить. Например, в маленькой комнате стоит столик розового дерева для рукоделия, он инкрустирован серебром и эбеновым деревом. Ты бы поглядел на него при случае.

Снова появляется экономка и в ужасе докладывает:

— Серебро... нынче не хватает трех вилок...

— Вот как?— только и отвечает Мак.— Это старая шутка, они любят пугать нас каждое Рождество. В прошлом году нашлись все вилки?

— Да.

— Они привыкли, что я сам нахожу у них вилки. Их это забавляет. Я обыскиваю их у себя в комнате и вершу суд. Такой у нас здесь старинный обычай.

Экономка не успокаивается.

— Якобина и жена мельника помогли мне мыть посуду. А я начала считать серебро, и тут Якобина заплакала и сказала, что это не она. А за ней заплакала жена мельника и тоже сказала, что это не она.

— Так положено,— с улыбкой говорит Мак,— они прямо как дети. А жена пекаря, она случайно не плакала?

- Нет. То есть не знаю.
- У меня наверху все в порядке?
- Да.

— Тогда пусть ко мне сперва придет жена пекаря.

Экономка уходит. Мак с улыбкой поворачивается к Бенони и говорит, что теперь у него есть другие заботы кроме того, чтобы сидеть здесь за стаканчиком пунша, что ему теперь надлежит вершить суд и расправу. Ничего не поделаешь, старые обычаи надо уважать.

Бенони прощается, и Мак провожает его до дверей. В коридоре они натываются на жену пекаря, та уже спешит к лестнице.

IX

На другой день, когда Бенони еще лежал в постели, раздался стук в дверь. Он думал, что это его старая служанка, которая по собственному почину начала от большого уважения стучать, прежде чем войти, а потому и ответил не задумываясь:

— Да, да, входи!

Но вошел совершенно незнакомый человек.

— Доброго утра. Вернее, я должен сказать: с праздником вас.

Пробормотав какие-то извинения, мужчина стянул с головы кожаную шапку. Он был не из здешних, с небольшой светлой окладистой бородкой, худой, длинноволосый, молодой, одним словом.

Бенони полежал, поглядел на него и сказал:

— Пожалуйста, садитесь.

— Спасибо. На дворе до того холодно,— сказал пришелец,— я замерз. Вот я и подумал, что, может, стоит рискнуть и пойти к Хартвигсену.

Он говорил ясно и четко, без лишнего подобострастия.

Бенони спросил:

— Ты меня разве знаешь?

— Нет, я просто слышал про вас. Люди мне посоветовали идти к вам.

— А звать тебя как?

— Свен Юхан Чельсен. Я пришел из города, я там одно время был сторожем, поэтому люди кличут меня просто Свен-Сторож. А так-то я родом с юга.

— А ко мне вы зачем пожаловали?

Бенони не очень твердо себе представлял, что такое «сторож», и на всякий случай начал говорить пришельцу «вы».

— А затем, что все как один говорили мне, чтоб я шел к Хартвигсену. Мне нужна работа и нужны деньги. Не ходи сразу к Маку, говорили люди, иди лучше к Хартвигсену, а уж он похлопочет за тебя перед Маком.

— Выходит, у Мака ты еще не был?

— Нет.

Бенони возгордился и почувствовал себя польщенным. Вот, значит, как говорят люди: «Ступай к Хартвигсену, тогда получишь работу у Мака».

— Я не тот человек, который может замолвить хоть маленькое словечко перед Маком, но что-нибудь мы все-таки придумаем. Ты как сюда попал?

— Пешком. Пришел своим ходом. У меня есть алмаз, видите? Я режу стекла. Я прихватил с собой из города целый ящик стекла, ходил по людям, резал стекла для окон. Но потом стекло кончилось.

Человек улыбнулся, и Бенони тоже улыбнулся.

— Это ведь не настоящая работа,— сказал Бенони.

— Но у меня был мой алмаз, я нашел его на улице как-то ночью, когда был сторожем. А потом решил использовать.

— И стекло, говоришь, кончилось?

— Я последний кусочек ночью израсходовал. Маленький домик недалеко от вашего поселка, там еще в дверях вырезано сердечко. Вот туда я и вставил стекло.

Бенони засмеялся.

— Ты, значит, вставил стекло в это самое?..

— Ну, для времяпрепровождения. Луна стояла полная. Хотелось что-нибудь придумать. Я, значит, вырезал стекло и хорошенько закрепил его замазкой. Сдается мне, что это было у школьного учителя.

— Ха-ха-ха!— во все горло загоготал Бенони.— Теперь он, поди, думает, что это была нечистая сила.

Незнакомец смеялся вместе с ним, потом зябко пожегил и сказал:

— А уж дальше стало так холодно, что я пошел и постучал к вам. Я всю ночь провел на дворе. Когда я вчера вечером пришел сюда, уже все было заперто.

— Я был в гостях у Мака,— просветил его Бенони.— Тебе бы к полночи быть здесь, я как раз тогда вернулся из гостей.

— Вот я и пошел к маленькому домику. Можно, я затоплю печь?

— Не стоит тебе возиться, я сам затоплю...

— Лежите! Лежите! — И начал растапливать.

Эдакий сумасброд! Бенони рассказал ему, что обычно такую работу делает его служанка, но она еще до сих пор не пришла.

— Котел поставить на огонь? — спросил Свен.

— А сможешь? Она вообще-то должна прийти с минуты на минуту.

И Свен поставил на огонь котелок, а когда вода закипела, засыпал в нее две порции намолотого кофе из мельницы.

— Не экономь на зернах, — сказал Бенони.

Когда в комнате стало тепло, он поднялся с постели и принес кой-какую еду. Потом он надумал доказать незнакомцу, что тот попал к образованному человеку, и потому начал усиленно намываться. А завершив омовение, поставил на стол водочку. Они вместе поели и выпили, и Бенони было очень даже занятно слушать рассказы этого чертяки Свена. Веселый получился завтрак.

А тем временем пришла служанка. Бенони и ей поднес рюмочку в честь Рождества и сказал, чтобы она поблагодарила незнакомца за помощь.

— Разогрей-ка воды для умывания.

— Для меня? Так я уже умылся, — сказал Свен-Сторож. — Я умылся в лесу и только после этого пришел к вам. Я умылся снегом.

— А чем же господин утирался? — спросила служанка.

— А рукавом от куртки.

— Здорово!

— А волосы я расчесал сухой сосновой шишкой.

— Вы когда-нибудь слышали что-нибудь подобное? — вскричала служанка, обращаясь к Бенони.

Пришелец развеселил Бенони с первой же минуты, а то, что он без стеснения рассказал о своих тяжелых обстоятельствах, тоже говорило в его пользу. Значит, он не из надутых толстосумов, которые позвякивают серебром в кармане и способны выставить на посмешище самого Бенони. К тому же этот Свен, простая душа, так признателен за все и так рассыпается в благодарностях. Бенони велел ему не экономить на кофейных зернах, Свен ответил: «Да, да, я уж вижу, что попал к человеку с достатком».

А когда Бенони пообещал отвести его к Маку и там замолвить за него словечко, Свен, выразив сперва вели-

кую благодарность, ответил, что именно это и предсказывали ему все, с кем он ни разговаривал.

— А уж коли Мак не захочет тебя взять, я и сам тебя возьму.

Дело было ранним утром, вдобавок Бенони пропустил две рюмочки, так что доброты была из него ключом. Поэтому он продолжал:

— Уж коль на то пошло, мне, может, надо не меньше людей, чем Маку.

Тут Бенони и сам понял, что его занесло, и поспешил исправиться:

— Вон висит мой невод. Если придет сельдь, мне понадобится по меньшей мере еще тридцать рук.

— А на Лофотены вы не собираетесь?—спросил Свен.

Бенони вздрогнул. Пришелец, оказывается, знает даже и о том, что он должен вести галеас и загрузить товаром три судна. Поэтому ответил он коротко:

— Если я надумаю сходить на Лофотены, я возьму тебя с собой.

Х

Бенони ушел к Лофотенам, все рыбаки ушли к Лофотенам, в поселке совсем не осталось мужчин. Бенони повел галеас и, как и обещался, взял Свена в свою команду. И обе шхуны Мака тоже вышли в путь, одну повел Вилладс-Грузчик, другую Уле-Мужик. Возле Сирилунна теперь покачиваются на волнах несколько четырехвесельных шлюпок, да один катерок лежит на внешнем рейде— для связи с почтовым пароходом.

Бенони наскоро попрощался с Розой—надо было уладить так много дел и за всем приглядеть накануне отплытия, что он только и успел сказать ей «счастливо оставаться» и пообещал хранить верность до самой смерти. А еще он успел обернуться и крикнуть, что непременно купит ей золотое колечко и золотой крестик. И галеас двинулся по волнам, а Роза стояла у одного из окошек Сирилунна и глядела ему вслед. Но спустя полчаса вполне можно было предположить, что это не человек стоит у окна, а вывешено чье-то платье.

На суше у Мака в Сирилунне все оставалось по-старому, зато в доме у пономаря Арентсена февральским днем случилось кое-что новое, а именно, вернулся домой

сын, знаток законов. Наконец он завершил ученье. Руки у него при этом были до того белые, а на голове осталось так мало волос, что люди сразу поняли, как глубоко он проник в науку, и воспылали к нему великим уважением. Ему выделили в доме жилую комнату и контору, и он приготовился вести дела на новый, открытый лад, чтобы никто впредь не страдал годами от несправедливости и чтобы всякий мог сразу осуществить свое законное право. Словом, в этом приходе его ждал непочатый край работы, уж больно крут был старый ленсман.

И обедневшим старикам родителям теперь тоже будет хорошо: всю свою долгую жизнь они выбивались из сил, не зная роздыху. Шестеро первых детей, вместе взятые, не стоили им столько, сколько стоил седьмой, младший, надежда всей семьи, юрист. Как же они надрывались ради него, экономили на еде и на одежде, расходовали последние гроши, брали займы — под залог; и вот мальчик вернулся домой, чтобы воздать им за все лишения. На дверях конторы красовалось теперь его имя, а под именем были указаны часы, когда его можно застать.

А пока суд да дело, молодой Николай Арендсен слонялся по дорогам, навещал соседей и со всеми приветливо раскланивался, чтоб не сочли его высокомерным. Вообще-то он был забавник, казался добродушным и легкомысленным, говорил веселые речи. Наведывался он и в церковь, где свел много знакомств, но поскольку из всего взрослого населения об эту пору оставались дома только женщины, никто так и не пришел к нему в приемные часы. Надо было дожидаться весны, когда вернутся рыбаки. А до того времени в городке, кстати сказать, и денег-то не было.

Однажды молодой Арендсен забрел в Сирилунн. Он надолго задержался во дворе, стоял, разглядывая голубей и насвистывая им всякие мелодии. И раз все это происходило прямо перед окнами жилого дома, его могли видеть и Мак, и Роза Барфуд. Затем он вошел, но шапку из-за своей лысины снимать не стал, пока не оказался в комнате.

— Добро пожаловать в родные края после учения! — любезно приветствовал его Мак. Он и дальше называл его Николаем, как родной отец.

Потолковали о том о сем. И хотя здесь же была Роза, его прежняя возлюбленная, как говорили люди, он держался не более торжественно, чем обычно, и болтал

весело и непринужденно, как всегда. Когда Мак спросил его о планах на будущее, он ответил, что никаких планов у него, собственно, нет, вернее, есть только один план: сидеть в родительском доме и ждать, когда к нему пожалуют перессорившиеся люди. «Люди должны по своему почину приходить ко мне и заводить тяжбы друг против друга»,—сказал он. Роза, хорошо его знавшая, чуть улыбнулась, хотя в глубине души ей было обидно, что даже ее помолвка не сделала его хоть немного серьезнее.

— Скверно, что ты остался совсем без волос,—сказал Мак.

— Совсем?—невозмутимо переспросил Арендсен.— Да ничего подобного.

Но Розе уже доводилось видеть его изрядно облысевшим, так что для нее в этом не было ничего нового. Все эти годы, с каждой новой поездкой на юг она находила его все более и более изменившимся внешне. И с каждым разом он все больше опускался внутренне, был полон злобы и беспорядочности, ерничанья и лени. Городская жизнь вконец погубила деревенского паренька.

— Хоть и немного у меня волос,—промолвил молодой Арендсен, оглаживая рукой свой блестящий череп,—однако же, и они недавно встали у меня дыбом. Все до единого. Когда я вернулся домой.

Мак улыбнулся, и Роза тоже улыбнулась.

— Первым, кого я встретил, был лопарь Гилберт. Я его сразу узнал и спросил, как он поживает и как у него дела со здоровьем. А Гилберт ответил, что, мол, да, но вот Роза — она помолвлена с почтарем Бенони. С почтарем?—спрашиваю его.—С ним самым.—А я как же?—спрашиваю. Но Гилберт только головой покачал и не стал меня разубеждать. Представьте себе мой ужас, когда он не стал меня разубеждать.

Долгая, тягостная пауза.

— И тут,—снова заговорил Арендсен,—и тут волосы у меня встали дыбом.

Роза медленно подошла к окну и поглядела во двор.

У Мака, собственно, были все основания одернуть развязного гостя, но Мак умел рассуждать, как всякий большой господин, и он сразу смекнул, что ему не след ссориться с Николаем Арендсеном, знатоком законов. Скорее, напротив. Однако и продолжать беседу в том же доверительном тоне он не желал, а потому сказал:

— Вам, верно, надо поговорить друг с другом.

И с этими словами Мак вышел.

— Нет, нет, вовсе не надо,— крикнула Роза ему вслед.

— Послушай, Роза,— попросил Арендсен,— повернись ко мне.— Он не встал с места, он даже на нее не посмотрел. Напротив, он внимательно оглядел комнату, где оказался впервые.— Неплохие гравюры,— сказал он с видом знатока.

Молчание.

— Ну, иди сюда, давай поболтаем немножко, если ты захочешь,— сказал молодой Арендсен и встал. Подойдя к одной из картин на стене, он начал с преувеличенным вниманием ее рассматривать. Двое в комнате стояли спиной друг к другу.

— А ведь и впрямь недурно,— сказал Арендсен и кивнул в подтверждение своих мыслей. Потом вдруг подошел к окну и глянул прямо в лицо Розе.

— Ты плачешь, что ли? Так я и знал.

Роза отпрянула от окна и опустила на стул.

Он медленно пошел следом и сел на соседний стул.

— Не грусти, моя большая малютка!— сказал он.— Не стоит это твоих слез.

Его тактика не увенчалась успехом, и он зашел с другой стороны:

— Я вот сижу и болтаю языком, а ты даже слушать меня не желаешь. Боюсь, я для тебя не много значу. Поддай хоть какой-нибудь знак, что ты замечаешь мое присутствие.

Молчание.

— Послушай,— и он поднялся с места,— я возвращаюсь домой, на родину, так сказать, и первое, что я делаю,— я со всех ног бегу к тебе.

Роза взглянула на него, приоткрыв рот.

Арендсен воскликнул:

— Вот я и высек из тебя искорку. Вот ты и улыбнулась. О боже, эта сверкающая медь улыбки, эти живые губы!

— Да ты с ума сошел!— в свою очередь воскликнула Роза.

— Сошел,— согласился он без промедления и кивнул.— Сошел, как только вернулся домой. Ты знаешь, что мне сказали про тебя? Что ты помолвлена с почтарем Бенони. Ты когда-нибудь слышала что-нибудь подобное? Сошел с ума, говоришь ты. Нет, не сошел, а просто разбит параличом, просто умер на месте и тому подобное. По целым дням я ломаю голову, как бы подсобить делу, но ничего не могу придумать. Сегодня, когда я шел

сюда, я взмолился к Господу Богу. Не такая уж и особенная мольба, и ничего такого я не просил, я просил только, чтобы Бог сохранил мне рассудок. Бенони-Потчарь! А я как же? Сошел с ума, говоришь ты. Да, я безумен и болен. Я до того напичкан всякими болезнями, что это могло бы свести в гроб и точильный камень.

— Но боже мой! — в отчаянии воскликнула Роза. — Что за околесицу ты несешь?!

Этот искренний порыв несколько образумил Арентсена, судорога пробежала по его лицу, и он заговорил уже более спокойным тоном:

— Ну что ж, скажи тогда свое слово, и я напялю шляпу на остатки волос и уйду прочь.

Посидев какое-то время молча, Роза подняла голову и сказала:

— Теперь уже все равно. Но вот этот тон, как мне кажется... Ты мог бы вести себя посерьезней. Я написала бы тебе о том, что произошло, но... Да, мы помолвлены. Когда-то надо же было положить конец... И вообще теперь все равно...

— Не надо так печально. Давай немножко потолкуем об этом. Ты ведь знаешь, что мы с тобой самые закадычные враги в мире...

— О чем еще толковать? Мы, по-моему, начали четырнадцать лет назад.

— Да, поистине сказочная верность. Если ты предпримешь небольшую вылазку в гущу человечества и захочешь отыскать там подобную верность, тебе это не удастся. Итак, возвращаюсь это я к себе на родину...

— Да, теперь уже слишком поздно. Так оно, пожалуй, и лучше.

Он сразу посерьезнел и сказал:

— Не иначе, это голубятня и большой сарай поразили твое воображение.

— Верно, — отвечала она, — и одно, и другое, не смею спорить. Мне хотелось положить конец. А он так меня добивался...

Молчание. Каждый сидел, погрузясь в свои мысли. Вдруг Роза повернулась, глянула на стенные часы и сказала:

— Не знаю...

— Зато я знаю. — И он взялся за свою шляпу.

— Иначе Мак может подумать, что мы сидим здесь как жених и невеста, — очень четко проговорила она, но тут ее словно что-то кольнуло, и с видимой досадой она

спросила: — А скажи-ка мне, бедный студизус, ты ведь вполне мог закончить обучение еще три-четыре года назад, как говорят люди.

— Разумеется,— ответил он с присущим ему равнодушием,— но ведь тогда твоя верность дождала бы только до одиннадцати лет.

Она устало отмахнулась и встала. Он попрощался, не протягивая руки, и сказал без всякого перехода:

— Теперь это, конечно, не имеет значения, но что будет, если и я начну обзаводиться имуществом?

— В самом деле начнешь?

— Нет, нет, не сочти это за манифест. Я просто хочу сказать, что отныне мое тщеславие поставит себе высшей целью голубятню и лодочный сарай.

XI

Под Пасху многие рыбаки вернулись домой на недельную побывку. Они привезли крупную лофотенскую треску для своих семейств, одна лодка вмещала столько рыбы, что ее хватило бы на два десятка домов. Кроме того, они привезли самые горячие приветы от тех, кто остался в море. Поскольку Бенони не мог вернуться — ему надо было следить за закупкой рыбы на три шхуны,— он послал домой Свена-Сторожа с целой командой, а попутно Свену было доверено передать Розе Барфуд золотое кольцо и золотой крестик. А Роза была дома, у родителей, и посланцу пришлось пройти долгий путь из поселка в пасторат, чтобы доставить подарки.

К подаркам было приложено письмо.

Свен-Сторож остался в пасторате и на Пасху. С собой он привез доброе настроение и всякий раз, когда его о том просили, охотно пел. Он был светлородый, светловолосый и крепкого сложения. Он носил воду для скотины и для кухни.

Роза как-то зашла в людскую, когда он стоял там и пел.

— Продолжай, пожалуйста,— сказала она.

И Свен не заставил себя долго упрашивать. Он пел дальше.

Из наших братьев много
Кочует по волнам,
Ужасна их дорога
По штормовым ночам.

Господь, им путь освети
На рассвете, часам к пяти,
И дай им домой дойти.

— А вообще я хочу сказать,— заговорил он вдруг,— что здешние люди не поют. Они все равно как звери на каждый день. Когда я встречаю человека и спрашиваю, умеет ли он петь, всегда оказывается, что он не умеет. Я порой даже начинаю злиться.

— А ты что, так все время и поешь без умолку?— спросила одна из служанок.

— Да, вот так все время и пою, я никогда не горюю, я смеюсь и радуюсь. И впрямь, много есть таких, кому живется хуже, чем мне, вот пусть они и горюют, но скажу вам к слову: Хартвигсен умеет петь.

— Да ну?— вдруг спросила Роза.

— Ей-богу. Когда он молится и поет псалмы, никто не поет громче, чем он.

— А на Лофотенах он часто поет?

— Да, Хартвигсен поет. Поет он.

— Передай ему привет и спасибо за подарок,— сказала Роза.

Сторож Свен кланяется. Он ведь пришел из города и знает толк в вежливом обхождении. Вот почему он кланяется, и еще он спрашивает:

— Спасибо передам. А вы, наверно, передадите со мной и письмецо?

— Нет, не передам,— говорит Роза.— Письмо? Отсюда и писать вроде не о чем.

— Да, да,— говорит Свен, но вид у него удивленный.

Роза и впрямь не знала, о чем писать жениху. Кольцо она примерила — Бенони точно угадал размер, но до чего ж у нее отяжелела рука от этого массивного кольца. И казалась какой-то чужой. Потом она разглядела крест. Это был большой золотой крест, чтоб носить его на черной бархотке, как сейчас модно. Но у нее уже был другой крест, маленький крестик, который она получила на конфирмацию. Она проходила первый день Пасхи с обновками, а потом сняла и кольцо, и крест. Письмо она тоже перечитала один раз и, по правде говоря, не ждала ничего иного, чем то, что в нем было написано, но впоследствии она ни разу его не перечитывала.

Может, ей все-таки следовало черкнуть несколько слов и поблагодарить Бенони за подарки? Видит Бог, это было не такой уж непосильной задачей. Итак, она села вечером и написала вполне добросовестно и сердечно,

что, мол, дорогой Бенони, хотя на дворе уже ночь, ну и так далее. И кольцо подошло, и бархотка черная у меня для крестика есть, и так далее. Мы все здоровы, а теперь мне пора в постель, доброй ночи, твоя Роза.

Передать эти строчки она собиралась поутру, но пока собралась, Свен уже ушел. У Свена было еще письмо от шкипера Хартвигсена, адресованное Маку, а завтра был уже третий день Пасхи, так что приходилось спешить.

И вот Свен-Сторож возвращался в поселок, и шел по дороге, и вел разговоры с самим собой, и думал всякую всячину, и молодецки поводил плечами. Словом, как мог сокращал себе дорогу и пришел еще засветло, хотя дни были очень короткие. Он вручил Маку письмо, но тот наказал ему не выходить до завтра в море и ждать ответа.

В письме Маку Бенони писал про цены на рыбу, печень, икру и соль. И сколько он уже чего закупил, и каковы дальнейшие прогнозы. Кроме того, он продал за хорошую цену много сельди на наживку. А в конце письма Бенони, без пяти минут женатый человек, справлялся насчет пианино в большой гостиной и столика для шитья в малой, и согласен ли Мак уступить ему эти предметы, и если да, то по какой цене. Поскольку на Лофотенах не купить ни пианино, ни столик для шитья розового дерева, разве что простой сосновый стол, за которым шить невозможно, Мак тем самым оказал бы ему большую услугу. С почтением. Б.Хартвигсен. На борту галеаса.

Мак сел писать ответ, что, конечно, ему будет очень грустно оставить свой дом без пианино и столика, но из доброго отношения к Бенони да вдобавок из-за того, что его дорогая крестница тайно вздыхает по этим предметам, даже можно сказать, не может без них жить, он готов, так и быть, расстаться с ними, когда они более детально обсудят цену.

Свен-Сторож провел вечер в людской, пел песни, шутил шутки. Едва придя, разбитной парень отыскал себе как раз над людской местечко для сна под тем предлогом, что смертельно устал от всей ходьбы. А кругом стемнело, а на чердаке было тепло и хорошо, и он чуть не уснул. Но терпения у него не хватало, чтобы больше часу пролежать в постели, и он снова спустился вниз.

Тем временем внизу зажгли свет, и у подножия лестницы его встретил какой-то обозленный тип. А был это старший батрак, и между ними завязалась перепалка.

— У меня прямо руки чешутся вышвырнуть тебя прочь.

Свен-Сторож рассмеялся и сказал:

— Так прямо и чешутся?

— Мое дело следить за всем в людской. Так наказал сам Мак.

— А что я сделал?

— Ты был на чердаке, ты в аккурат оттуда спускаешься... Эй, Якобина!— крикнул старший батрак в пролет лестницы.

— Да-а!— откликнулась Брамапутра сверху.

— Ну вот, сам слышал: она там.

— А мне-то какое до нее дело?— отвечал Свен.— Я спал там наверху после перехода.

— Какое у тебя право там спать? Якобина замужем за Уле-Мужиком.

— Мне-то откуда знать? Я здесь чужой человек, я из города.

— Так вот что я тебе скажу: ты жулик, который шатается по чужим дворам.

— Отхлестать бы тебя за твой длинный язык,— ответил Свен.

— А тебя вообще избить как следует,— рассвирепел старший батрак.— Ты понял, что я тебе говорю? Избить!

— Если кого обзывают жуликом, тот терпеть не станет. В любом порядочном городе ты схлопотал бы намордник за свой длинный язык,— отвечал Свен.

Брамапутра просунула голову в пролет лестницы и спросила, о чем это они спорят. Едва у Свена появился слушатель, чье мнение для него что-то значило, он стал крепкий и внутренне неуязвимый. Он вплотную подступил к батраку и тихонько сказал:

— Если ты сейчас же не уймешься, как бы я тебе уши не оборвал вместе с головой.

Брамапутра сошла вниз, встрепанная, мелкокучерявая и полная любопытства.

— Вы, никак, спятили?!— воскликнула она.

— А ты уж больно добрая,— сказал батрак.— Твой Уле всего-навсего ушел на Лофотены, он еще вернется домой.

Тут Свен напустил на себя такой вид, будто надумал совершить некий поступок. Он переспросил:

— Ты что-то сказал?

— Нет,— отвечал батрак.— Не мое это дело— много разговаривать. Я просто возьму тебя за шкуру и вышвырну вон.

Брамапутра сочла за благо вмешаться, она продела свою руку под руку батрака и отвела его в сторону.

— Да перестань ты,— сказала она,— на дворе святая Пасха и все такое прочее. Пойдем лучше со мной.

И батрак вместе с ней прошел в людскую.

А Свен остался стоять в коридоре, свистел и раздумывал. Вообще-то его мысли занимала вовсе не Брамапутра, а Эллен-горничная; он уже несколько раз ее видел, шутил с ней и оказывал ей всякие мелкие знаки внимания. Небось и она придет следом, подумал он и тоже вошел в людскую. А там он начал петь и балагурить, а спустя какое-то время Эллен и впрямь пришла и просидела в людской весь вечер, и не будь на дворе Пасха, они бы еще и потанцевали.

В самый разгар веселья в дверях возник Мак. Он держал письмо. Воцарилась мертвая тишина, и каждый мечтал про себя очутиться где-нибудь далеко отсюда, такое почтение внушал всем этот старый господин. Но Мак просто обвел глазами комнату; не пристало ему изображать по отношению к прислуге мелочного и придирчивого хозяина.

— Ты доставь это письмо Хартвигсену,— только и сказал он, обращаясь к Свену.

А Свен взял письмо, поклонился по-ученому и сказал, что, конечно же, письмо будет доставлено.

Затем Мак повернулся и ушел.

После его ухода некоторое время царила тишина, а потом возобновилось веселье, еще более шумное, чем раньше, потому что все чувствовали себя так, словно избежали большой опасности. Вот здесь стоял Мак, вот такие слова он говорил, прямо как мы с вами, ох, какой человек!

Свен-Сторож воскликнул:

— А теперь давайте споем про девушек из Сороси. Вы только подтягивайте как следует. После каждого куплета, который пропою я, вы должны хором подхватывать «О, девушки из Сороси!». Меня так выучили. Ну, давайте начнем!

— А может, немного потанцуем? — дерзко спросила Брамапутра. Прямо дьявол какой-то сидел внутри у этой бабы.

Старший батрак ответил зловещим голосом:

— Да-да, Уле, конечно, сейчас на Лофотенах, зато потом...

— Вот и можешь поцеловать меня завтра вместе с Уле,— ответила Брамапутра и приблизилась к нему, подпрыгивая от желания танцевать.

И батрак снизошел до того, что поглядел на нее и сказал:

— Вот если бы не Пасха...

— Можешь поцеловать меня завтра вместе с Пасхой,— отвечала Брамапутра.

И батрак вступил в круг и начал кружить свою даму. А силушки у него для танцев хватало с избытком. За ними вышел в круг Свен с горничной Эллен, за ними еще две пары. Сбегали за парнем, который умел играть на аккордеоне, получились настоящие танцы к великой радости для всех. Но два седых нахлебника, Фредрик Менза и Монс, сидели в уголку, смотрели на все и выглядели словно лишенные души пришельцы из другого мира. Порой они заговаривали друг с другом, спрашивали, отвечали, как будто их слова были кому-нибудь нужны. А они все сидели со своей веселой тупостью, как два придурка, и уж, верно, им чудилось, что это комната хватает людей и заставляет их плясать. Порой они даже протягивали в воздух свои руки, похожие на сухие ветки, чтобы унять расходившуюся комнату.

А Свен-Сторож, куда бы это он подевался вместе с горничной Эллен? Да они шмыгнули прочь и всласть наворковались в сторонке, и Свен два раза обнимал ее и крепко целовал. Она была такая тоненькая, и Эллен было такое чудесное имя, и вообще она всем взяла. Когда он говорил ей что-нибудь ласковое, у нее в каждом глазу вспыхивали колючие огоньки, и она тоже казалась влюбленной. Ему все в ней нравилось. «У тебя такие маленькие и холодные ручки, их приятно взять в руки и отгреть,— сказал Свен.— Вдобавок имя Эллен очень легко выговаривать. Эллен — это датское имя».

Как молоды они были и как влюблены, оба — он и она.

А на другой день Свен-Сторож отбыл на Лофотены.

ХП

Молодой Арендсен отправился в долгий путь. Он вышел с утра пораньше и теперь, к полудню, миновал середину леса по дороге в соседний приход. Идет он пешком, на дворе суббота, погода мягкая, зимняя.

А куда же направляется наш законник, какие у него планы? Этот ленивый молодой Арентсен, этот праздный гуляка, чего ради он так себя утруждает? Бог весть. Впрочем, сам Арентсен говорит себе, что вышел исключительно для пользы дела. Не посетил ли он церковь в родном приходе, чтобы люди его заметили и признали, и не с той ли самой целью идет он теперь в соседнюю церковь?

Молодой Арентсен вынашивает замыслы приобщить народ во множестве приходов к закону и к праву. Так-то оно так, но до весны его замыслам все равно не суждено осуществиться, ибо все мужчины ушли к Лофотенам, поселок сидит без гроша, так зачем же хлопотать сегодня?

Молодой Арентсен сбивает снег с пня и устраивает для себя сиденье. Он съедает прихваченную из дома провизию и изрядно отпивает из бутылки, а потом делает еще два особенно глубоких глотка и швыряет пустую бутылку в снег. Легче будет идти без тяжелой бутылки, думает молодой Арентсен. Он нимало не огорчен тем, что допил бутылку, благо у него есть при себе другая.

Мирными и красивыми кажутся поле и лес в зимний день. Не унылыми, как ни странно, а даже интересными — в порядке исключения. Арентсен вскидывает голову и вглядывается: ему послышался какой-то звук. Кто-то идет лесом. Надо же, какая встреча! Это Роза!

Они здороваются, они удивлены — оба.

— Ты к нам? — спрашивает он.

— Да. А ты к нам?

— Да, я иду ради деловых интересов. Мне надо посетить столько церквей, сколько удастся. Чтоб меня узнали.

Роза тоже считает своим долгом объясниться:

— А мне надо в Сирилунн. Я еще не бывала там с начала года.

Но едва улеглось первое изумление по поводу неожиданной встречи, оба начинают испытывать досаду, что именно сегодня, как на грех, пустились странствовать. Что не могли хоть немного задержаться дома. Для Розы это еще полбеды, она со времен Эдварды, с тех дней, когда сама она носила короткую юбочку, привыкла через небольшие промежутки времени навещать в Сирилунн. Но вот Арентсен злится на самого себя и думает: что бы мне погодить еще день... Впрочем, он не из тех, кто не сумеет найти выход.

— Я так и знал, что ты сегодня не будешь дома,— говорит он.

— Правда?

— Да, вот почему я и пошел. Я хотел подгадать так, чтобы побывать в вашей церкви, когда тебя там нет.

Раскусила ли она эту выдумку? Она засмеялась и сказала: спасибо, большое, большое спасибо.

— Я думал, тебе это безразлично... Я хотел хоть раз угодить тебе...

— До чего ж ты стал серьезный,— задумчиво говорит она.— По-твоему, это красиво приходиться к нам, когда меня нет?

Но старый холостяк не вынес такого обилия серьезности.

— Если ты так это воспринимаешь, тогда уж лучше я поверну и пойду с тобой,— заявил он.

Они прошли рядом несколько шагов.

— Нет,— вдруг сказала Роза,— тогда уж лучше я поверну. Я ведь не по делам иду.

И они снова повернули и пошли к дому, где жила Роза.

Шли они и шли, болтали о всякой всячине и неизменно сходились во мнениях. Арендсен малость притомился после того доброго глотка из бутылки.

— Иди-ка вперед, у меня в сапог что-то попало,— сказал он и пропустил ее вперед.

Роза шла-шла, потом оглянулась и подождала его. Он приближался словно молодой парнишка, словно танцор, он даже отпустил какую-то шутку по поводу своих стертых ног. А потом вдруг без всякого перехода спросил, по-прежнему ли она помолвлена с Бенони-Почтарем.

— Да, по-прежнему. И довольно. Не будем об этом говорить.

— Ты ведь прекрасно понимаешь, что это нелепо,— сказал он.

Поначалу она хотела огрызнуться, но тотчас спохватилась и благовоспитанно промолчала. А может, она просто была с ним согласна в глубине души.

И они бодро зашагали дальше. Стало два часа, потом три, с гор потянуло ветром, а на небе там и сям высыпали первые звезды. Молодой Арендсен снова завел приятные речи, сказать по правде, он приустал, недаром он с утра пораньше начал прикладываться к бутылочке и теперь ничего не хотел, кроме как продолжить в том же духе. Он не был заправским пьяницей, он был просто испытанный

собутыльник и потому считал, что в таком дальнем пути бутылочка очень даже кстати... А тут уже стало четыре, после перевала дорога пошла под гору, в лесу было теплей, но вокруг быстро темнело.

— Может, это и в самом деле нелепо,— неожиданно говорит Роза.

Ему пришлось напрячься, чтобы вспомнить, с чем она согласна, потому что времени прошло много.

— Да, да, нелепо,— отвечал он.— Какой он тебе муж? Только нелепый.

— Но ты не смеешь так говорить,— пылко возразила она.— Как гадко, что именно ты это говоришь.

— Ну, не буду, не буду. Черт знает что, тащиться в такую даль, если человек к этому не привык. Вот и опять что-то не в порядке с подтяжками. Пройди вперед и подожди меня.

Она продолжала шагать. Когда он догнал ее, на небо уже выплыл месяц и встал как раз у них над головой. Очень был красивый вечер.

— А вот и месяц,— сказал он в новом приступе оживления, после чего побрел дальше, простер руку вперед, остановился и сказал:

— Вслушайся в бурю тишины!

Еще немного спустя он с необычайной легкостью в мыслях двинулся дальше, не переставая болтать:

— Ты только подумай: полный месяц! Как пристально он глядит на все! Тебе, наверно, стыдно, когда этот тип заглядывает прямо в лицо?

— Стыдно? Это почему же?

— Тебе, которая была помолвлена с Бенони-Потарем.

Она промолчала. Непонятно почему ее хорошее воспитание простиралось столь далеко, что она даже не могла сказать в ответ какую-нибудь колкость. Вот молодой Арентсен произнес: «была помолвлена», и значит, все это уже позади.

— *Vorге ækked!* — доносится с дороги.

— *Jbmel adde!* — откликается Роза с отсутствующим видом.

То был лопарь Гилберт, и шел он в Сирилунн.

— Передай там привет от нас,— попросил молодой Арентсен.

И лопарь Гилберт уж такой от них передал привет, он зашел в первый дом, а из первого во второй, а из второго в третий и всюду говорил одно и то же:

— Ничего у Бенони не выйдет с пасторской дочкой!
Да, Гилберт мастерски разнес новости об этом лунном вечере.

— Удивительно, что именно в этот вечер я встретила Гилберта,— задумчиво сказала Роза.

И вот, наконец, они вошли в пасторский дом. Молодого Арентсена встретили там как важного гостя, подали хорошее угощение, сварили крепкий грог, и пастор Барфуд весь вечер просидел за столом. А когда грог возымел свое действие, мать Розы не раз и не два улыбнулась забавным речам Арентсена.

— Ваша матушка, наверно, не помнит себя от радости?— спросила пасторша.

— Смею вас заверить, госпожа пасторша, что от ее забот мне прямо покою нет.

И пасторша улыбнулась и, желая найти оправдание для матери Арентсена, сказала:

— Бедняжка, я ее понимаю, она мать.

— Она заставляет меня напяливать по две пары рукавиц зараз.

— Бедняжка!

— Бедняжка? Но только моя выносливость помогает мне это стерпеть.

И тут пасторша улыбнулась во весь рот: ну до чего же он забавный, этот правовед!

После того как пасторская чета отошла ко сну, молодой Арентсен и Роза еще долго сидели вдвоем. За разговором они хорошо поладили, молодой Арентсен теперь держал себя куда более разумно, Роза еще никогда не слышала, чтобы он рассуждал так связно и толково. Оба они пришли к выводу, что именно им следует быть вместе и что помолвка с Бенони была нелепостью. Старая, четырнадцатилетней давности привычка опять свела их вместе, что, в общем-то, было вполне логично. Молодой Арентсен четко рассказал о том, какие у них виды на будущее: виды, надо полагать, отменные, с голубятней и с большим сараем, хе-хе-хе! Команда со шхуны, та, что приезжала на пасхальную побывку, рассказала на Лофотенах о его возвращении, он уже получил несколько писем от кой-кого из местных жителей, которые нуждаются в его помощи. Подумать только, они даже не стали дожидаться, когда вернутся домой, опасаясь, что его перехватит противная сторона, хе-хе.

Роза сказала:

— А как мне быть с Бенони?

— Как тебе с ним быть? — вскричал молодой Арентсен, вкладывая в свои слова другое значение. — Ты же его бросаешь!

Роза покачала головой.

— Так не годится. Разумеется, через все это надо пройти, так ли, иначе ли, но... Я ему напишу.

— Вовсе нет. Это ни к чему.

— Не далее как несколько дней назад я снова получила от него письмо, — сказала Роза. — Подожди минутку, я его принесу. Я на него не ответила, мне трудно было.

Роза ушла за письмом. И все время она думала про кольцо и про крестик, и про то, что спальня и большая комната, которую Бенони пристроил к своему дому, — это все ради нее. Еще она вспомнила про некую дату в середине лета.

— Оно, конечно, не очень складно написано, — сказала Роза извиняющимся тоном молодому Арентсену и развернула письмо. Она держалась очень серьезно, и на душе у нее было грустно. — Но в конце концов, главное — это ведь не слова и не буквы, — добавила она.

— А что ж тогда главное?

— Смысл, — коротко отвечала она, чтобы исключить всякую возможность насмешки.

Но письмо Бенони было написано с такими выкрутасами, что при всем желании трудно было удержаться от улыбки, читая эти забавные строки. Он писал, что лишь с большим трудом принуждает свою руку взяться за перо и что прежде всего желает успокоить ее насчет своего здоровья. Со здоровьем все обстоит отлично. Далее, что он был очень даже огорчен из-за ее молчания с okazji, со Свенном. Для него бы даже две строчки были великой радостью до конца жизни, но она, верно, почему-нибудь да не смогла. Что до товара, так он все делает наилучшим образом и Маку на пользу, но только покупателей очень много и цены от этого ползут вверх... Еще сообщаю тебе, что купил у хозяина промыслов две пары голубей, чтоб весной их поселить в нашей голубятне. Два белых и два сизаря. Так что, видишь, ты в моих мыслях всегда и во всякую пору, и я тебе верен до самой смерти. Дорогая Роза, если надумаешь черкнуть мне хоть две строчки, не забудь надписать на конверте название галеаса «Фунтус», здесь галеасов очень много и других судов полное море. Да как же я буду благодарить и благословлять тебя за твои строчки, а письмо спрячу на груди как цветочек. Еще из

новостей скажу, что у нас очень хороший пастор, он нас посещает и другие суда и даже рыбаков на самых дрянных лодчонках. А мы, кто выходит в море, у нас с утра до вечера опасная жизнь, и в любой час нас может призвать Господь. Так, например, в среду опрокинулся один парусник из Ранена на Хельгеланне и один человек по имени Андреас Хельгесен остался. Других удалось снять с кия, но только они потеряли все, что у них было, и всю свою рыболовную снасть. Хочу на сей раз закончить немудрящую писанину и попросить от тебя доброго ответа, потому как люблю тебя изо всех сил. Но раз уж ты избрала меня спутником жизни, то не за мое высокое звание или великую ученость, а за мое бедное сердце. И еще одно — я долго собирался скрыть это от тебя и не рассказывать, пока не вернусь домой, но прикинул и решил, что лучше рассказать тебе, что я послал Маку два письма и получил от него два ответа, и мы с ним поладили на том, что я покупаю пианино, на котором ты играла, и столик розового дерева, который стоит у него в малой гостиной. И я велел перевезти эти предметы в наш дом, чтоб они были как маленькое напоминание обо мне, когда я вернусь. Будь здорова и напиши поскорей. Твой Б. Хартви́гсен — это мое имя. А имя галеаса «Фунтус».

— Господи, это же письмо какого-то пещерного жителя, — вскричал Арендсен, вытаращив глаза от изумления.

— Нет, я бы так не сказала, — ответила Роза. Но она явно была смущена и торопливо сунула письмо в карман.

— «Из новостей скажу, что у нас очень хороший пастор», — пробормотал он и поглядел искоса на Розу.

— Боже мой! И зачем я только его тебе показала! — не вытерпела она и решительно встала с места.

Покуда она досадливо и сердито прибирала со стола, Арендсен продолжал ее поддразнивать:

— Как его звали, того человека с Хельгеланна, который остался? Андреас Хельгесен? Ты случайно не помнишь?

Роза отвечала из дальнего конца комнаты:

— Ты даже и не думаешь обо всем, что он для меня сделал. Вот и сейчас он купил пианино и столик мадам Мак.

— Да, и всего этого ты лишишься.

— Не в том дело, что лишусь. А в том, что он это купил и пошел на большие расходы. Ах, это так гадко с моей стороны, просто плакать хочется.

— Подумаешь! — с досадой воскликнул он и встал.

Но Розу он не смягчил.

— Как ты сказал? У тебя что, совсем сердца нет? Вот теперь я ему напишу, сяду и напишу все сразу. Пусть по крайней мере получит коротенькое письмецо за добро, которого он мне желал.

— А утречком я прихвачу это письмецо, — отвечал Арентсен.

ХIII

Наутро Арентсен снова предложил Розе взять у нее письмо для Бенони, но Роза отказалась:

— Оно тогда так и пролежит у тебя.

— Само собой, — отвечал он, — а ты что, и в самом деле написала?

— Написала ли я? Разумеется.

— Но посылать его не стоит. Не надо выпускать из рук подобные вещи!

— Перестань утруждать свой глубокий ум! Письмо должно уйти.

Пока богослужение кончилось, а молодой Арентсен вдоволь намелькался на церковной горке, стало уже слишком поздно, чтобы в тот же день попасть домой, и он принял приглашение пасторской четы заночевать у них. А вечером Роза обещала проводить его до Сирилунна.

В понедельник утром они тронулись в путь, получив от пасторши провизию на дорогу, а вдобавок полную бутылку. Роза сама несла свое письмо Бенони и была исполнена решимости доставить его на почту.

Они вошли в поселок, и Роза свернула к Сирилунну, а молодой Арентсен продолжал путь к дому пономаря. По дороге они успели прийти к полному согласию. Прежде чем расстаться, Роза потребовала, чтобы он точно назвал дату свадьбы. И когда он сказал, что пусть, мол, Роза сама решает, она предложила двенадцатое июня, когда рыбу распялят для просушки. Они и в этом вопросе также достигли полного согласия...

И вот вернулись с Лофотенов рыбаки, а немного погодя Бенони и другие шкиперы на своих груженных судах. Всю рыбу тотчас перевезли на сушильные площадки, вымыли и начали сушить.

С последнего почтового парохода на берег сошел престранный господин, никому здесь не знакомый,

в клетчатых брюках и с удочкой, которую можно было разбирать на части и снова складывать. Это был англичанин, лет примерно от сорока до пятидесяти, и звали его Хью Тревилльян. Он напрямик отправился на скальные площадки и два дня подряд, с раннего утра до позднего вечера наблюдал, как моют рыбу. При этом он не произносил ни слова и ни у кого не стоял на дороге. Сушильщик Арн, который следил за работами, подошел к нему, поздоровался и спросил, кто он такой есть, но англичанин сделал вид, будто не видит и не слышит. При нем был мальчик, который таскал за ним ручной чемоданчик, за свои услуги мальчик получал талер, но сейчас он прямо умирал от голода, потому что целый день ничего не ел. И Арн-Сушильщик дал ему кое-что из своих припасов. «Что это за господин такой?» — спросил Арн. «Не знаю, — отвечал мальчик. — Когда он мне чего приказывает, он говорит будто мой младший братишка, а когда я спросил, не иностранец ли он, ничего не ответил». Верно, какой-нибудь скоморох с ярмарки, решил Арн... Англичанин стоял, опершись на свои удочки, курил трубку и наблюдал за ходом работ, через небольшие промежутки времени он открывал свой чемоданчик и отхлебывал из бутылки. Он пил и пил, и глаза у него стекленели. За день он выпил две бутылки и время от времени садился на камень, потому что ноги плохо его держали. Когда миновало два дня и мытье рыбы подошло к концу, странный господин по имени Хью Тревилльян взял мальчика и ушел. По дороге он время от времени останавливался, глядя на горы, поднимал с земли камни, взвешивал их на руке и выбрасывал. Ближе к дому Бенони он с особым вниманием разглядывал горные склоны и даже заставлял мальчика отламывать небольшие камешки, которые затем складывал в свой чемодан. Потом он сказал, что хочет побывать в соседнем приходе, и мальчик повел его через общинный лес и через горы. Получил он за эту услугу два талера. В соседнем приходе англичанин начал собирать свою удочку, чтобы ловить в большом ручье лосося. На удочке было закреплено колесо, которое сразу распяливало пойманную рыбу. Порыбалив до вечера, он зашел в ближайший дом и попросил ссудить его котлом. В этом котле он сварил лосося, съел, после чего зашел в тот же дом и несколькими серебряными монетами уплатил за прокат. А дом этот и двор в Торпельвикене принадлежал Марелиусу, и Марелиус заключил с незнакомцем договор, согласно которому незнакомец получал

право ловить рыбу у него в бухте целое лето. За свое право англичанин заплатил Марелиусу немало талеров, точно он их не подсчитывал. К тому же, раз на письмах, которые в течение лета поступали на имя англичанина, стояло Его чести, а также сэръ, то, уж верно, он был не простой человек. Он поселился в избушке издольщиков, стоявшей на том же подворье, а жильцам он щедро заплатил за выезд. Два месяца он воздерживался, но потом все-таки послал за выпивкой в Сирилунн и пьянствовал две недели подряд, после чего завязал до осени. Разговаривал он мало.

Вот, собственно, единственное не совсем обычное, что произошло в приходе. А Макова рыба мало-помалу сохла, и благословенная плата, деньги для женщин и детей потекли ручейком в рыбацкие хижины, оборачиваясь большим подспорьем. И это было вполне обычно из года в год...

А Роза часть времени проводила дома, часть — в Сирилунне и нередко ходила погулять со своим женихом, молодым Арендсеном. Письмо Бенони так и не было отправлено. Нет, нет, в свое время она твердо решила вести себя достойно и сдать письмо на почту, но внутреннее тепло оставило ее, письмо так и лежало на одном месте, а потом она его просто спрятала с глаз подальше. Николай скорей всего был прав, когда говорил, что такие письма нельзя выпускать из рук. Сознание вины в ней постепенно ослабело: пусть Бенони несет свой крест, как она четырнадцать лет подряд несла свой; вот Маку она несколько раз хотела выложить всю правду, но он не желал ее слушать. «Нет, нет, я в этом не разбираюсь», — говорил он и отмахивался. Но ведь он отлично во всем разбирался, когда содействовал ее помолвке с Бенони! Хо-хо, видно, Мак понял, в чем тут дело, вся округа это знала, маленький осторожный намек в устах лопаря Гилберта разлился широкой рекой сплетен. Впрочем, Розу отнюдь не смущало, что люди все знают, это могло избавить ее от объяснений, облегчало положение, помогало выпутаться.

Но все-таки Роза не могла себя чувствовать спокойно во время своих визитов в Сирилунн. Рано или поздно придется давать отчет.

Сразу же после возвращения Бенони развил бурную деятельность, распорядился доставить к нему столик для рукоделия и пианино. Мак выговорил только одно условие: чтоб это произошло поздно вечером. В остальном же

Мак вел себя достойно и не подорожился, три сотни талеров за все про все, за фамильные драгоценности, за сокровища, поистине не имевшие цены.

Когда Бенони смутила даже эта, вполне сходная цена и он сказал, что такой наличности на руках не имеет, Мак покачал головой и ответил:

— Но, дорогой мой Хартвигсен, у нас ведь есть общие счета... Я другое тебя хотел спросить: ты серебро-то купил? С этим у тебя все в порядке?

— Я купил ей кольцо и крестик,— отвечал Бенони и начал крутить собственное новое кольцо на правой руке.

— А серебро как же? Чем она у тебя, по-твоему, будет обедать?— спросил Мак.

Бенони запустил пальцы в свою шевелюру, не зная как ответить.

Мак гнул свое:

— Я понимаю, можно обойтись и тем, что у тебя есть, и Роза, конечно, не откажется обедать роговой ложкой, но ведь не настолько же ты обнищал, чтобы заставить ее пользоваться роговой ложкой и железной вилкой.

— Об этом я, по правде сказать, и не думал,— пробормотал удрученный Бенони.

Мак сказал решительным голосом:

— Я уступлю тебе немного серебра.

После чего он взял перо и принялся подсчитывать.

Бенони поблагодарил за помощь, за то, что его спасли от неловкости. И вообще, куда как приятно владеть серебром, которым он будет пользоваться на свадьбе.

— Но не слишком много,— сказал он Маку,— не больше, чем я могу осилить, если вы заняты именно этим подсчетом.

— Я насчитаю не больше, чем по карману такому бедняку,— с улыбкой отвечал Мак.— И вообще тебе, моему, должно быть стыдно. Ну так вот, за сотню талеров ты получишь самое необходимое.

— Всего, значит, выйдет четыре?— спросил Бенони.— Столько у меня нет.

Мак начал что-то писать.

— Только не вычитайте эти четыре сотни из моих пяти тысяч,— вскричал Бенони.— Пожалуйста, запишите это особо. Я расплачусь как только смогу.

— Ладно.

Итак, Бенони стал владельцем множества сокровищ, и не было для него больше радости, чем ходить по своей

комнате и любоваться на них. Одну из ложек и одну из вилок, которые показались ему особенно красивыми, он предназначал для Розы, на каждый день, и чтоб они не смешивались с остальными. Он представлял себе, как она будет подносить их к своим губам, и снова бережно заворачивал. Ну и удивится же Роза. Но дни шли за днями, а Роза не появлялась, он написал ей, а она все равно не пришла. Он начал размышлять о причине и, уж конечно, при всем желании не мог пропустить мимо ушей слухи, которые ходили в поселке про Розу и про молодого Арентсена. Он вел себя так, будто этого не может быть, пустой слух, гнусная ложь, но в сердце у него жило великое беспокойство. Разве он не приготовил для нее решительно все — дом, пианино, серебро, словом, все? Даже голубей, и тех раздобыл, голуби гуляли по двору, а потом взлетали и, тяжело взмахивая крыльями, летели к себе на голубятню. Забавные они твари, эти породистые голуби. Самцы описывали круги, словно вправдашние танцоры, а когда они садились на крышу сарая, им ничего не стоило в голубиной невинности загадить всю стену.

Но дни-то проходили...

Как-то под вечер Бенони ходил взад и вперед по дорожке, ведущей к дому пономаря. И на этой дорожке ему повстречалась Роза.

Да, Бенони вышел погулять. Дело шло к весне, лед стаял, фьорд сверкал синевой, вернулись перелетные птицы, а сороки вышагивали по полю словно трясогузки и шумели и хохотали дни напролет. Значит, весна уже здесь. А Бенони много чего наслушался про Розу, свою невесту, и целую неделю крепился, а сегодня вот взял и вышел погулять.

При встрече оба побледнели. Она сразу же увидела толстое кольцо на правой руке у Бенони.

— Вот и ты гуляешь,— сказал Бенони, поздоровавшись с ней за руку.

— Да... До чего у тебя свежий и хороший вид после рейса к Лофотенам,— сказала и она, чтобы как-то умаслить его. Голос у нее дрожал.

— Тебе так кажется?

И тут Бенони решил вести себя как ни в чем не бывало и выкинуть из головы все сплетни, которых он наслушался; ведь перед ним стоит Роза, его невеста, не так ли? И он обнял ее и хотел поцеловать.

— Не надо! — крикнула она и отвернулась.

Он не стал упрасивать, он разжал руки и спросил:

— Почему не надо?

— Не надо,— снова крикнула она.

Тут его взяла досада, и он сказал:

— Я не стану выпрашивать у тебя знаки внимания.

Молчание.

Она стояла опустив голову, а он неотступно глядел на нее и собирался с духом.

— Я надеялся получить от тебя хоть несколько слов еще на Лофотенах.

— Да,— безропотно согласилась она.

— А с тех пор как я вернулся, тебя нигде не было видно.

— Я знаю,— только и ответила она.

— Что же мне теперь думать? Неужели между нами все кончено?

— Боюсь, что так.

— Я кое-что об этом слышал,— сказал он и кивнул, но продолжал все так же сдержанно.— Ты, верно, не помнишь, в чем мне поклялась?

— Почему же, я помню, но...

— А ты не помнишь, что я подчеркнул один день в календаре?

— Подчеркнул? Какой день?— ответила она, смутно догадываясь, о чем идет речь.

— Я подчеркнул тот день, который ты сама назначила.

Она медленно кивнула в знак того, что это ужасно.

— Тот день, в который нас должны были обвенчать,— продолжал он, чем терзал ее еще больше.

И тут, отступив на несколько шагов назад, она заговорила:

— Ну что я могу тебе ответить? Наверно, мы просто не подходим друг другу. Конечно, хорошего в моем поступке нет, но тут уж ничего не поделаешь. Подумай, к чему бы это все привело. Ради бога, Бенони, забудь все, ради бога, забудь.

— Да, да, говорить ты мастерица,— сказал он,— где мне с тобой тягаться. Люди толкуют, будто Николай Арентсен желает тебя получить.

На это она ничего не ответила.

— И с тобой он не первый день знаком, толкуют люди.

— Да, мы давно знакомы. С детских лет еще,— сказала она.

Бенони взглянул на ее лицо красивой овальной формы, на ее большой, яркий рот, на грудь, которая взволнованно колыхалась, а глаза она так опустила, что ресницы слились в одну поперечную черту. Уж, верно, в ней гнездилась какая-нибудь дьявольщина, иначе откуда бы у нее взялся такой рот.

От волнения губы у него так задрожали, что между них сверкнули желтые, моржовые зубы.

— Да, да. Николай первым тебя взял, пусть и напоследок тобой владеет,— сказал он, пытаясь сохранить равнодушный вид.

— Да,— тихо сказала она и почувствовала глубокое облегчение. Дело было сделано, и все, что надо, сказано.

— И еще этому Николаю ни о чем не пришлось тебя просить понапрасну,— с жаром продолжал Бенони.

Она подняла на него недоуменный взгляд.

— Люди так говорят. И твое хваленое благородство для меня все равно как голубиный помет. Можешь идти и лечь с ним опять.

Она пристально глядела на него, у нее сделалось большое, невинное лицо, но потом черты его исказились и глаза вспыхнули гневом.

Бенони увидел, что он натворил, и немного смутился.

— Так люди говорят. А я не знаю. Это не мое дело.

— Ты с ума сошел! — вырвалось у нее.

Он тотчас пожалел о сказанном, заговорил снова, понес какую-то околесицу, он был смешон в своем великом смятении.

— Ты зря так огорчаешься,— сказал он.— Думаешь, я совсем свинья?! Просто мне не под силу стоять и беседовать с тобой ангельским голосом, вот и весь сказ. Тебе дела нет до моего жалкого сердца, ты только слышишь глупости, которые я произношу вслух. Впрочем, об этом не стоит беспокоиться,— утешил он ее.

Она понемногу справилась с собой. Но покуда она стояла вот так, склонив голову, по ее носу пробежало несколько слезинок и упало ей на грудь. Внезапно она протянула руку и, не поднимая глаз, сказала: «Прощай!»

Потом она торопливо отошла.

— Пожалуйста, не верь,— сказала она, повернувшись к нему.

— Чему не верить? Да я и не верю, и никогда не верил. Но ты думаешь только о том, что касается тебя, и ни капли не думаешь о том, что мне придется пережить за мою длинную жизнь. Обо мне вспоминать нечего, я того не стою.

— Я очень виновата перед тобой и знаю это.

— Да, ты знаешь, ты вообще все знаешь, но помалкиваешь. Ты слишком знатная барыня, если сравнить с таким бедолагой, как я. Вот ты уйдешь, а я останусь. По-моему, ты чересчур поторопилась, но ты, верно, так не думаешь.

Поскольку он и на эти слова не получил никакого ответа, в нем вспыхнул гнев и ожила крестьянская гордость. Он сказал:

— Да, уж мы с Бенони как-нибудь переживем эту беду.

Она отошла еще на несколько шагов, снова повернулась и сказала:

— А это все я тебе отошлю назад.

— Чего отошлешь?

— Ну, кольцо и крестик.

— Да не надо. Уж раз ты их получила, значит, они твои. А что до меня, я, с Божьей помощью, обойдусь и без этого.

Она лишь покачала головой и ушла.

XIV

В полной нерешительности Бенони остался посреди дороги. Сперва он думал пойти следом за ней, но нет, пусть черти за ней ходят, а он не желает. Потом он решил сходить к пономарю, хотя ходить было вроде и незачем. Теперь Бенони не казался стройным как памятник, теперь он не мог шутливо утверждать, будто покори́л сердце пасторской дочки и не знает теперь, как от нее отделаться.

Завидев дом пономаря, он остановился и долго разглядывал его, бессмысленно вытянув шею, потом собрался с мыслями, повернул и пошел в Сирилунн, чтобы повидаться там с Маком.

— У меня дела, вот я и вышел,— сказал Бенони.

Мак на мгновение задумался и все понял. Но не зря он был Маком, потому как, положив перо на конторку, спросил:

— Ты, верно, пришел за расчетом? Мы еще не подсчитали толком. Ты хочешь взять наличными?

— Да уж и не знаю. Тут всякое есть, я и пришел из-за разных дел, потому как скоро вообще не буду знать, на каком я свете.

— За чем же дело стало? Можешь получить все, что тебе причитается.— И Мак, ухватив перо, принялся подсчитывать.

Бенони был слишком погружен в свои мысли, он сказал:

— На Лофотенах, говорят люди, есть банк, или как он там называется.

— Есть банк?

— И что банк — куда надежнее. Так люди говорят.

Тут Мак внезапно встал, губы его скривила усмешка, и он спросил:

— Надежнее, говоришь?

— Ну да, банк кладет деньги в железный шкаф, а такой шкаф никогда не сгорит,— ответил Бенони и тем здорово выкрутился.

Мак отпер дверцу своей конторки и достал оттуда маленький железный ларец.

— А вот и мой железный шкаф,— сказал он.— Раньше им владели мои предки,— добавил он. Потом взял ларец и довольно громко опустил его на конторку со словами: — И он, между прочим, тоже никогда не горел.

— Да, да,— сказал Бенони,— а если случится несчастье?

— Так у тебя же есть моя расписка! — воскликнул Мак и тут вдруг вспомнил, что расписка куда-то исчезла. Чтобы не спрашивать, нашлась она или нет и как обстоит дело с засвидетельствованием, он поторопился проскочить опасное место: — А уж коль на то пошло, я никогда не держу свое богатство в ларце. Я рассылаю деньги, я использую их.

Но Бенони был сегодня слишком рассеян, чтобы ввязываться в дискуссию, он вдруг завел речь о пианино, о серебре и о столике розового дерева, что все эти вещи вряд ли ему понадобятся и будут стоять без всякого применения. Потому как Роза и молодой Арентсен...

— Что Роза?

— Да люди разное говорят. Вот Николай, сын пономаря, вернулся, ему она и достанется, говорят люди.

— Ничего не слышал,— ответил Мак.— А с ней ты разговаривал?

— Да. Она была очень неприветливая.

— Уж эти женщины! — задумчиво промолвил Мак.

Бенони подсчитывал про себя все, что он уже сделал и еще собирался сделать для Розы, он подсчитывал предубежденно, с обидой, от волнения он обрел свою естественную манеру и сказал то, что надлежало сказать.

— Разве законно обращаться так с простым человеком? Пожелай я настоять на своем праве, я бы взвалил на спину Николаю все его знания.

— А Роза сказала что-нибудь определенное?

— Нет, определенного ничего. Она просто заговорила меня. Нет, напрямую она не сказала, что между нами все кончено, но она к тому клонила.

Мак отошел к окну и погрузился в размышление.

— Есть такая старая поговорка, что женская хитрость не знает конца. Но я со своей стороны думаю, что у женской хитрости есть свои извивы и есть свой конец.

Маку не пристало непринужденно болтать и слушать доверительные жалобы какого-то там Бенони. Поэтому он повернулся к нему и сказал коротко:

— Я поговорю с Розой.

Слабая надежда трепыхнулась в сердце у Бенони.

— Да, да, большое вам спасибо.

Мак кивнул, давая понять, что разговор окончен, и взялся за перо.

— Но если говорить про пианино и прочее, мне ведь все это теперь без надобности...

— Дай мне сперва переговорить с Розой,— сказал Мак.

— Да, да... А насчет банка...

— Потом, потом.

Бенони пошел к дверям, нерешительно повертел шапку в руках и сказал:

— Да, но... Мир вам!

Бенони идет домой, не много в нем осталось присутствия духа, и на сердце у него никогда еще не было так тоскливо. Через день он еще раз наведается к Маку, чтобы узнать, как обстоят дела, но Мак так и не переговорил со своей крестницей. Странно, странно, думает про себя Бенони, но, может, Мак желает воздействовать на нее целый день с утра до вечера. Бенони ждет день и ждет другой и отправляется к Маку в величайшем возбуждении. Он знает, что Розы там сейчас нет, он видел своими глазами, как она идет к общинному лесу.

Мак встречает его, покачивая головой.

— Не понимаю я эту девушку.

— Вы с ней говорили?

— И не раз. Могу тебя заверить, что неплохо представлял твои интересы. Но тем не менее...

— Да,— говорит Бенони, окончательно упав духом.— Значит, и толковать больше не о чем.

Мак размышляет, лицом к окну. А в Бенони разгорается пламя, он вновь гордый и неукротимый.

— Она хочет отослать мне золотые кольцо и крестик, так она сказала. А я ответил, что не стоит ей беспокоиться, что раз она получила эти вещи, пусть и владеет ими. Мне и без них хватит на еду и на одежду, сказал я, ха-ха-ха. Думаю, уж на жидкую-то кашу у меня еще осталось.

Бенони снова коротко и нервно хохотнул, а под жидкой кашей он подразумевал кашу, сбрызнутую молоком.

— Впрочем, свою лучшую карту я еще не выложил,— говорит Мак, поворачиваясь к нему лицом.— Она у нас еще смягчится,— продолжает он и тем подает Бенони надежду.

— Вы это серьезно?

Мак кивает, не разжимая губ.

— Не погневайтесь, но только что это у вас за карта?

Но Мак только отмахнулся. Болтать пока незачем. Он лишь говорит:

— Предоставь это мне... Кстати, о банке, про который ты говорил. Я так понял, что ты хочешь забрать у меня свои деньги?

— Не знаю, не знаю. У меня голова сейчас не работает.

— Но мне-то надо знать точно. Я тут хожу и стараюсь для тебя, отказываю себе в отдыхе, чтобы хорошенько все обдумать, поэтому я желаю с тобой разобраться.

— Не погневайтесь на меня, но я решил оставить деньги у вас, покамест меня еще не так приперло.

Бенони понимал, что дальше заходить нельзя, что надо подождать, пока Мак доведет до конца переговоры с Розой.

Ведь еще оставалась надежда. И Мак обладал нечеловеческим могуществом.

Когда Бенони выходил из конторы, он заметил, что Стен, один из приказчиков Мака, приколачивает какое-то объявление к стене лавки.

— Какие такие новости? — спросил Бенони.

Но Стен только пробормотал что-то невнятное, а отвечать не стал.

Бенони увидел, что это объявление о предстоящем заседании суда, и остановился, чтобы прочесть дату. Он понимал, что бедный Стен затаил против него злобу еще с тех самых пор, когда они вместе работали в лавке, потому он и не стал его больше ни о чем спрашивать.

А Стен не спешил, он прижимал объявление растопыренной синей пятерней и не спеша заколачивал каждый гвоздик через кожаный лоскуток, и этой работе не было видно конца-краю.

Будь это в былые времена, в дни его величия, Бенони без всяких разговоров взял бы тощего Стена за шиворот, но сейчас он был уязвлен и унижен в сердце своем, а потому не позволял себе новых раздоров. Пришлось ему уйти, так и не прочитав дату. Да, поистине Господь низверг его в глубокую пучину. Вот он остался при своих больших деньгах и при своих сокровищах, но не было на свете человека, чтоб разделить эти сокровища с ним. Уже нет сомнений, что Роза его покинет. Ах, не заноситься бы ему в мыслях, не думать, что Роза может стать его женой. Добром это и не могло кончиться. Он ведь с самого начала, еще когда разносил королевскую почту, после того общинного леса, после пещеры, наврал людям про нее. Далекое, блаженные времена с почтой, с почтовой сумкой, на которой был изображен лев, времена, когда он разносил письма и был в дружбе со всеми людьми. Зимой лес лежал белый и тихий, весь в снегу под всполохами полярного сияния, а летом он благоухал черемухой и хвоей, на радость людям. Все равно как лакомиться кушаньем из свежих птичьих яиц.

XV

Горькие дни настали для Бенони, он исхудал и побледнел, и даже его медвежье здоровье пошатнулось. Он выдвигал один за другим ящички столика для рукоделия и говорил: «Что я с ним теперь буду делать?» Он протирал столовое серебро и крышку пианино и говорил с такой же тоской: «Зачем мне все это?» Он и сам пробовал играть или зазывал в комнату свою кухарку и разрешал ей осторожно трогать клавиши, но никакой музыки при этом не возникало, и он говорил: «Довольно, а то как бы нас кто не услышал!»

А ночью в его голове роилась тысяча соображений: ну и что, к примеру, думал он, я мог бы жениться и на другой девушке. После чего он в мыслях перебирал весь девичий молодняк поселка, полагая себя достойной парой для любой из них. Навряд ли кто-нибудь скажет «нет» Бенони Хартвигсену, ха-ха, им небезызвестно, что у него хватит денег и на кашу для них, и на красивую

мануфактуру, ха-ха-ха! Никто не отвергал его ухаживаний, ни когда он выходил на любовный промысел, ни на рождественских танцульках, ни в церкви. Но тут у него есть большие комнаты, и пианино, и столик для рукоделия, и футляр с серебром. А главное, главное: с каким злорадством воспримут люди его падение, если он уронит себя до связи с девушкой низкого сословия. Небось и Роза тогда скажет: вот эта для него самая подходящая! Нет, такого удовольствия он ей не доставит...

С горя Бенони вполне мог удариться в религию или запить. Был такой выбор — не на жизнь, а на смерть. Но особых задатков для греха у него не было, человек он был средних достоинств, но зато добрая душа. Для нее это будет как раз кстати, для Розы, для этой бесстыдной и бессердечной особы. И он с мрачным видом сказал своей кухарке:

— Ты сегодня не готовь ужин.

— Вы, стало быть, пойдете в гости в Сирилунн?

— Нет, кхм-кхм. Просто я не голодный.

— Быть того не может! — воскликнула удивленная кухарка.

— Не могу же я быть голодный весь день, — в сердцах ответил Бенони. — Это невозможно.

— Да, да.

— Все мы когда-нибудь умрем, — сказал он потом.

— Умрем?

— Ты тоже умрешь. Только ты об этом не думаешь.

Кухарка честно призналась, что и впрямь не думает пока о смерти, но полагает рано или поздно стать белой словно снег, окропленный розовой кровью агнца.

— Ну да, в общем, так оно и есть, — отвечал Бенони. — Но я-то думаю о кораблекрушениях и о смерти в волнах.

Тут она его тоже вполне поняла, у нее был когда-то зять...

— Короче, ужина ты сегодня не готовь, — оборвал ее Бенони.

И он побрел в Сирилунн. Зачем его туда понесло? Если ему понадобилось море, оно лежит как раз у его дверей. Он обвел взглядом причальные мостки, сирилуннскую усадьбу, сушильный причал, где кверху дном лежали лодки, подумал, что часть этого добра принадлежит ему, что он Маков совладелец. Тогда он пошел на усадьбу и спросил Свена-Сторожа.

А Свен так и засиделся в Сирилунне. Вернувшись с Лофотенов на «Фунтусе» и получив свое жалованье, он

все-таки не уехал: уж больно он прикипел сердцем к горничной Эллен.

Он мог уехать на юг с почтовым пароходом, уплыть от нее раз и навсегда, но вместо того он снова пошел в Макову контору и обратился к Маку и попросил разрешения остаться. «А к чему мне тебя приставить?» — спросил Мак и задумался. «К любой работе, какая ни понадобится», — отвечал Свен, поклонившись на городской манер. — В большом имении много всякой работы, — продолжал он, — сад надо содержать в порядке, иногда — что-нибудь подкрасить, а иногда и заменить оконное стекло». Маку парень сразу понравился, вежливый и открытый, вот почему он и задумался. «А вдобавок еще два нахлебника, — продолжал Свен, — они, можно сказать, почти мертвые, они не могут больше заготавливать дрова. Монс слег, он лежит уже три недели и только ест, как мне говорили, ему уже не встать. А Фредрик Менза все время сидит возле его постели и ругается, что он не встает. Но и он тоже дровами не занимается. Несколько дней назад горничной Эллен самой пришлось идти в сарай, но господи ты боже мой, сколько поленьев могут прихватить эти невинные ручки?» Мак спросил: «А другие батраки что делают?» — «Они возят на поле навоз, и вообще мало ли всякой работы в такой большой усадьбе, как ваша?» И тут Мак сказал: «Можешь остаться».

И Свен перебрался в усадьбу и выполнял всякую работу. Девушкам часто требовалась помощь в амбаре или в хлеву, вдобавок очень даже часто случалось, что, когда Эллен прибиралась в комнатах, надо было перевесить какую-нибудь гардину либо смазать дверные петли. Выходило, что она и на самом деле влюблена в этого веселого парня.

Следовало ожидать, что Уле-Мужик и Мартин-Приказчик будут рады-радехоньки, заполучив в усадьбу такого безотказного помощника. Вместо того они изводили его своей ревностью и устраивали ему все пакости, какие только могли. Когда, к примеру, Брамапутра стирала белье в прачечной и просила Свена помочь ей отнести на чердак лохань с бельем, Уле следовал за ними по пятам и кричал: «Чтоб тебя черт побрал! Ты что это мою жену лапаешь?!» И так же бдительно следил старший батрак за горничной Эллен, что, мол, никогда еще у нее так часто не обрывались гардины, с тех пор как этот Свен по первому зову готов привести все в порядок. Дайте срок, Маку все будет доложено...

Чувствуя себя одиноким и покинутым, Бенони разыскал Свена, чтобы услышать от него слово утешения. Он сказал:

— Не обращай на меня внимания, я просто слоняюсь без дела все эти дни. А так-то мне ничего от тебя не надо.

— Немножко походить без дела — это как раз то, что может себе позволить человек вроде вас, — отвечал Свен. — И еще большое спасибо за «Фунтус».

— Да, «Фунтус», «Фунтус»... Видишь мое кольцо? Я вовсе и не собираюсь его снимать.

Свен поднял глаза от работы и сразу все понял. И приложил все усилия, чтобы наилучшим образом утешить своего шкипера.

— И не снимайте, — отвечал он, — очень многие, бывает, раскаиваются, что действовали чересчур поспешно и не пожелали хоть немного подождать.

— Ты думаешь? Может, ты и прав. Я даже и не собираюсь зачеркивать отметку, которую я сделал в календаре. А об этом ты что думаешь?

— Нельзя делать ничего подобного, — однозначно отвечал Свен. — Где вы сделали отметку, там она пусть и остается.

— Ты думаешь? Но женщины и всякое такое, они ведь переменчивые...

— Ваша правда. Уж и не знаю почему, но они очень непостоянные. Все равно как захочешь ухватить ветер и стоишь потом с пустыми руками.

— Нет, вот здесь ты не прав, все не так, — отвечал Бенони. — Вот Роза, например, она очень даже постоянная, иначе не скажешь...

Свен-Сторож начал догадываться, как тяжело на душе у его шкипера.

Конечно, Роза его отвергла, и все-таки она без греха, она верная и преданная.

— Потерпите, может, еще все и уладится. А вообще-то у меня у самого нынче мутно на сердце. Будь дело в городе, тогда и говорить бы не о чем, там девушек полно, три, а то и четыре сразу. А вот здесь есть только одна.

— Это горничная Эллен?

Свен утвердительно кивает: да, это она. И сразу же признается, что у него просто нет сил сесть на почтовый пароход и уехать подальше от нее.

— Ну так и не уезжай, — утешает Бенони в свою очередь, — уж, верно, ты ее тогда получишь.

На это Свен говорит, что тут есть и свое да, и свое нет. Если она не будет принадлежать ему одному, зачем она тогда нужна. А у него подозрение, что и Мак на нее поглядывает.

Бенони качает головой и говорит, что в Сирилунне это самое обычное дело. Даже и толковать не о чем.

Весь бледный и с дрожащими губами, Свен рассказывает о своих подозрениях: как-то утром он работал на дворе, а Эллен чем-то занималась наверху, в коридоре, и тихонечко напевала. И Мак позвонил из своих покоев.

— ...Я ходил по двору, работал, а сам думал: с какой стати она распелась? Ведь это все равно что сказать: вот она я. Потом я еще слышал, как Эллен прошла к Маку и оставалась там несколько часов.

— Несколько часов? Навряд ли.

Свен запинается. Он и сам подумал, что навряд ли, и постарался выразить свою мысль более правдоподобно.

— Ну, уж никак не меньше, чем полчаса. Или чем четверть,— согласился он.— Это уж все равно. Но когда она вышла от него, у нее были такие усталые, погасшие глаза. Я окликнул ее и спросил: «Ты чего там делала?» — «Я растирала ему спину мокрым полотенцем»,— ответила она, тяжело дыша. «Для этого не нужно столько часов,— сказал я.— Или полчаса, но это не имеет значения». Но на это она вообще ничего не ответила, она стояла молча и была совершенно без сил.

Бенони ненадолго задумался, потом промолвил.

— Вот что я тебе скажу, Свен-Сторож: ты даже глупей, чем я думал. Она так намаялась, растиравши ему спину, вот потому она и стояла такая усталая. Бедняжка Эллен!

Бенони говорил суровым тоном, уж очень ему хотелось утешить Свена.

— Вы так думаете? Я, признаться, и сам так думал, но... Вы, верно, не видели, как выглядит кровать, в которой Мак их принимает?! Я как-то был у него в спальне, смазывал там дверные петли. И вот стоит эта кровать, накрыта красным шелковым одеялом, и на каждом столбике сидит серебряный ангел.

Бенони уже доводилось слышать про этих четырех ангелов, они были старинные и куплены много лет назад, в чужой стране. Ранее, при жизни мадам Мак, ангелы эти обитали в большой гостиной, каждый на своем цоколе, и каждый держал в руке светильник, а теперь Мак с его

барскими замашками велел переместить их на свою кровать.

Потрясающе! — сказал Бенони, имея в виду ангелов.

— А шнур от звонка висит как раз над кроватью, — продолжал Свен, — он сплетен из шелка и серебряных нитей, а кисть подбита красным бархатом.

— Потрясающе!

Бенони вдруг призадумался: недурно бы занять такой же звонок с кисточкой, если бы Роза... Но Роза, она...

— А я-то все болтаю, все болтаю! — вскричал Свен, заметив, как помрачнел его собеседник. У него самого заметно отлегло от сердца, ведь сам шкипер, его шкипер, признал Эллен невиновной. — А между прочим, я до сих пор не рассказал вам историю про школьного учителя. Вы ведь помните, я еще вставил ему окошко под Рождество, ха-ха.

— Он здесь был?

— Да еще как был. Прямо весь кипел. Я предложил ему спеть для него. Нет, не надо. Предложил вынуть стекло обратно. Нет, не надо.

— А чего ж ему было надо?

— Он хотел подать на меня жалобу. Хартви́гсен, у вас такая власть, Хартви́гсен, скажите, как мне быть?

От этих слов Бенони взбодрился и отвечал вполне отеческим тоном:

— Перекинусь-ка я парой словечек с этим учителем.

— Он сказал, что прямо пойдет к новому адвокату, к Арентсену, чтоб дело передали в суд.

— К Арентсену? Это пономарев Николай, что ли? А когда суд?

...Бенони малость призадумался, потом изрек с величественным видом:

— Пусть лучше и не пробует.

Он вошел в лавку и прочел объявление, что заседание суда состоится в Сирилу́нне семнадцатого числа. Осталось всего каких-то два дня. Покуда он стоял и читал объявление, рядом с ним примостился лопарь Гилберт. Он явно побывал у того прилавка, где продавали спиртное, а потому улыбался и вообще был вполне доволен жизнью.

— *Boris, boris*, — поздоровался он. — И еще вам привет от Розы, пасторской дочки.

Бенони воззрился на него.

— И еще у меня свежие новости, я с ней вчера вечером разговаривал, — ехидно продолжал Гилберт. — Я ее встретил на дороге. Хо-хо! Вы об этом слышали?

Бенони только и ответил невнятным «нет».

— Она выходит за адвоката,— разулыбался Гилберт.

— Я знаю.

— «Когда рыба высохнет, мы сыграем свадьбу»,— сказала она.

— Это она так сказала?

— Да, я стоял к ней так близко, как теперь стою к вам. «Как это тебе покажется, Гилберт?— сказала она мне.— Двенадцатого июня я сыграю свадьбу». И она улыбалась и была очень довольная, так что у нее все в порядке.

Бенони оставил лопаря и ушел домой. В его смятенной голове крутилась такая мысль: до суда осталось два дня, на суде зачитают его закладную, интересно, что на это скажет Мак? Уж, верно, не станет тогда уговаривать Розу. Как же быть? А никак, счастливого ей пути. Роза для него потеряна, 12-го июня, когда соберут сухую рыбу, она сыграет свадьбу. Придется ему привыкнуть к этой мысли, и еще раз счастливого ей пути. Что ж, прикажете ему быть все равно как ослу в Библии, на котором ездят все кому не лень?

Домой он вернулся в еще большем смятении и досаде. Кухарка уже ушла, не приготовив ужина. Он сам взял себе кой-какую еду, потом лег.

На другое утро Бенони вышел из дому пораньше, как бы то ни было, он решил повидаться с помощником ленсмана и вызволить у него свою закладную. Сегодня он уже не повторил бы про Розу свое вчерашнее «счастливого ей пути»; и стало быть, лучше ему не гневить Мака.

Но помощник, оказывается, еще зимой переслал закладную по назначению, она уже давно была в папке у помощника судьи. Бенони сник.

— Это ведь как рука судьбы,— вдруг заговорил помощник,— что вам приходится нести напрасные хлопоты. Но поймите и меня, я не мог надолго оставить у себя такой ценный документ. А вдруг, скажем, пожар?

Бенони попытался отговорить его оглашать документ на заседании суда.

— Мне бы не хотелось, чтоб его оглашали,— сказал Бенони,— вы попробуйте вызволить его обратно, а уж я в долгу не останусь.

После разговора с помощником ленсмана Бенони отправился к учителю. Уж этого-то добряка он надеялся живо урезонить. Свену он, правда, ничего не сказал, но

про себя, разумеется, помнил, что учитель прошлой весной занимал у него деньги, несколько талеров, а потому и предполагал, что это обстоятельство облегчит его задачу. А вот Свену он не проговорился, он просто с важным видом обещал поспособствовать. Ведь и Мак из Сирилунна вел себя точно таким же манером, изображая свою власть таинственной и безграничной.

Конечно, после первых же слов учитель пообещал взять обратно от Арентсена свое заявление. Но ведь нельзя же сказать, что он действовал сгоряча, он тогда очень рассердился на этого бродягу, из-за которого жена и дети, а отчасти и он сам вообразили, будто имеют дело с рождественским привидением.

После всех разговоров Бенони выехал на лодке в дальние деревни, чтобы узнать, как там дела насчет сельди.

XVI

Не один только учитель и Арон из Хопана прибегли к помощи Арентсена со всякими мелкими тяжбами, так делал весь поселок. Стало даже своего рода модой спешить в дом пономаря со всеми обидами на односельчан, и Николай для них записывал, и подсчитывал, и составлял документы и обеими руками загребал вознаграждение. Никогда еще взаимные тяжбы и кляузы не расцветали таким пышным цветом. Без спросу взятая лодка — как в деле Арона, едва нарушенная граница между участками, ошибка в счете — все тотчас становилось добычей адвоката. Уж больно был случай подходящий: Николай, сын пономаря, завершил долгое учение и вернулся домой, чтобы помочь людям обрести свое право, так неужто ж им было и теперь мириться со всякой несправедливостью, как в прежние времена?

За путину возле Лофотенов, за сушку на скалах Маковой рыбы деньги ручейками растекались по домам, большие и малые суммы, давая возможность даже самому бедному немножко посудиться и возбудить «дело» хоть против кого-нибудь, даже Уле-Мужик, у которого карманы отвисали от лофотенских заработков, обратился к адвокату Арентсену, чтобы тот вчинил иск его жене и Свену-Сторожу.

А сам господин адвокат отсиживал определенные часы у себя в конторе и принимал людей, будто какой

начальник. Он уже не выглядел добродушным шутником, а, напротив, держал себя решительно и холодно. Я, Николай Арентсен, и есть закон, мог он сказать, и кто не пожелает ладить со мной, тот может считать себя в большой опасности. Язык у него был словно бритва, он мог изничтожить любого, кто посмел бы с ним тягаться, и, преисполненный строгости, он даже начал проставлять за своим именем знак железа ♂. Да, этот чертов Николай, сын пономаря, сразу получил такую обширную практику. За вопрос о каком-нибудь пустяке он брал полталера, за совет — один талер, а за составление бумаги — целых два. Но в остальном он был человек обходительный, людям, которые к нему приходили, сразу предлагал стул, не требовал, чтоб ему непременно платили серебром, а довольствовался бумажками. Если во время своих прогулок после дневных трудов он встречал кого-нибудь из знакомых, то не чинясь говорил ему: «А ну, пойдем в Сирилунн, пропустим по рюмочке за хороший исход твоего дела!»

Адвокат Арентсен пожинал также зримые плоды своей прогулки в церковь соседнего прихода. В Торпельвикене проживал некий Левион, сосед того самого Марелиуса, что запродавал англичанину право на рыбную ловлю в его ручье. Но разве Левиону не принадлежал другой берег того же самого ручья? И разве сэр Хью не должен заплатить и ему тем же манером? Уж не думает ли чертов англичанин, что и впредь будет осыпать деньгами одного только Марелиуса? Правда, у Марелиуса есть вполне взрослая дочь, вот в чем секрет... Марелиус же со своей стороны и не думал скрывать, что они с сэром Хью друзья-приятели, и даже делал вид, будто спикает с ним по-ихнему, по-английскому. А его дочь, эта самая взрослая Эдварда, названная так в честь Эдварды Мак, она живо освоила чужой язык, когда они разговаривали с глазу на глаз, и все понимала, даже если сэр переходил на шепот.

А Левион, тот пошел к адвокату Арентсену и объяснил все как есть. Арентсен кивнул, давая понять, что Левион совершенно прав. Он спросил:

— Какой ширины этот ручей?

— Двенадцать раз по шесть футов у водопада. Там он всего уже.

— А какой длины удилице, которым пользуется англичанин?

Левион не понял вопроса, но ему растолковали: если англичанин забрасывает удочку дальше, чем до середины

ручья, ему просто не отвертеться. И тут Левион совсем разошелся, начал, что называется, торговаться с самим собой, и под конец вообще заявил, что ручей отродясь не был в самом своем узком месте шире, чем восемь по шесть.

— И что, сэр Хью не желает платить?

— Не знаю,— ответил Левион,— я его пока не спрашивал.

— Гм-гм. Тогда мы пригласим его на арбитражную комиссию.

Арендсен оформил вызов. Сэр Хью явился и был готов покончить дело миром. Он предложил уплатить Левиону ровно столько, сколько он платит Марелиусу. И назвал сумму.

Но Левион лишь упрямо покачал головой и сказал:

— Маловато, ему вы платили куда больше. Вот, между прочим, у Эдварды новые платья, все новое, хоть изнутри, хоть снаружи, это она откуда взяла?

На такие слова сэр Хью встал и покинул заседание комиссии.

— Ну что ж, передадим дело в суд,— подытожил Арендсен.

— Я день и ночь думаю про то, какую великую несправедливость причинил мне этот Марелиус. Он запродавал всего лосося из ручья и запродавал всего лосося из моря. В последнее время англичанин выезжал на лодке рыбачить в аккурат перед моим причалом.

Адвокат Арендсен сказал:

— Подадим и на Марелиуса.

Коротко и четко, с уверенным видом изрекал великий законник Арендсен свои решения. Он был необычайный человек. И когда Левион хотел заплатить, а других денег, кроме жалких бумажек, у него не было, Арендсен без колебаний принял и бумажки.

В Сирилунне происходит выездное заседание суда.

Макова экономка отрядила Свена за птицей и прочей снедью по окрестным поселкам, она кликнула на подмогу жену младшего мельника. Приготовлениям для приема высоких гостей не было конца. Добилась она также, чтобы и Роза Барфуд пришла для содействия и для приятности. Людскую переоборудовали в зал суда, с большим, покрытым скатертью столом для членов суда и маленьким столиком для одного либо двух адвокатов. Каждый стол огородили перилами, а для фогта соорудили конторку на другом конце людской.

Но из самого суда ничего путного не вышло.

Амтман не приехал, как сулился и писал, и добрая экономка ужасно горевала, что самого главного начальства так и не будет. Но — и это было еще хуже — помощник судьи тоже не прибыл. Стареющий помощник совсем расклеился и послал вместо себя своего уполномоченного. Тут уж и Мак призадумался и начал расспрашивать о здоровье помощника.

— Что-то он сдал, он хоть и не лежит в постели, но заметно худеет, плохо спит, и вообще его мучат сомнения.

— Какие еще сомнения?

Уполномоченный привел несколько примеров. Раньше у них в суде было так и так, а теперь так и так, короче, сомнения религиозного характера.

— У него?

Уполномоченный с достоинством отвечает:

— Он просил меня передать вам большое спасибо за полбочки морошки, которую вы послали ему зимой...

— Ах, какие пустяки...

— ...и выразить сожаление, что не сможет поблагодарить вас лично.

Тут Мак направился к окну и, глядя во двор, погрузился в размышления.

Заседание суда открыто.

За столом, покрытым скатертью, сидит судья — молодой уполномоченный, два письмоводителя, а по обеим сторонам сидят еще четверо заседателей, избранных среди лучших людей прихода. Каждый за своим столиком сидят два адвоката — городской и Н. Арентсен ♂, оба разложили перед собой протоколы и прочие бумаги. Если внимательно приглядеться, на столе у старого адвоката из города лежит меньше бумаг, чем было в прошлом году, и меньше, чем у Арентсена. Время от времени появляется какой-нибудь человек и испрашивает разрешения переговорить с одним из адвокатов, и чаще всего эти люди приходят к Арентсену.

Потом началось рассмотрение дел одного за другим по очереди: штрафы, межевые споры, судебные засвидетельствования, правовые конфликты. Арентсен не знал ни минуты покоя, говорил, записывал, требовал внести в протокол. Конечно, он мог бы в большей степени проникнуться торжественностью момента, но молодой судья не внушал ему должного почтения, он даже не обращался к нему со словами «господин судья», как это

делали все остальные, а просто называл «господин уполномоченный». Арентсен выложил на судейский стол доказательство и сказал: «Прошу вас, этот документ вполне заслуживает того, чтобы его поместить в рамку и под стекло». По делу Арона из Хопана, у которого без спроса взяли лодку, Арентсен сказал: «Таков закон». На что судья не без изумления возразил: «Вообще-то да, но нельзя упускать из виду некоторые обстоятельства». — «Таков закон», — повторил Арентсен. И слушатели, размещенные по ту сторону барьера, одобрительно закивали и подумали: «Ну и дока наш законник, даже слушать приятно».

Из-за множества новеньких, с иголки дел адвоката Арентсена судья даже и представить себе не мог, когда сегодня закончится заседание. Однако он добросовестно трудился, заслушивал свидетелей, рылся в протоколах, читал, писал, говорил, но лишь на третий, последний день он добрался до иска Левиона из Торпельвикена к господину Хью Тревильяну.

Однако сэр Хью присутствовал с первого дня, бродил по усадьбе, наведывался в зал заседаний, никого при этом не видя и не слыша, с типично британской невежливостью, он не размыкал уст, даже когда с ним здоровались и говорили «Мир вам!». Явился он в суд трезвый как стеклышко, обедал за столом у Мака, в главном доме ему отвели комнату, но, даже имея за каждой трапезой соседом по столу уполномоченного, он ни разу не заговорил о своем деле. Он и вообще почти не разговаривал.

— А сейчас будет ваше дело, — сказал ему судья после обеда.

— Хорошо! — равнодушно отвечал англичанин.

В зал заседаний он заявился при удочке, но без поверенного, снял шапку с мухой-наживкой, сообщил свое имя, звание и место жительства в Англии. По поводу выступления Арентсена он дал несколько кратких пояснений, каковые были занесены в протокол: что он уже на примирительной комиссии был готов выплатить Левиону такую же сумму, как и Марелиусу, но что предложенная им сумма была отвергнута как недостаточная.

— А Марелиус сколько получил?

Сэр Хью назвал сумму и добавил, что Марелиус присутствует в зале суда и может сам дать свидетельские показания.

Марелиус, приведенный к присяге, дал показания.

Судья невольно воскликнул:

— Разве этого не достаточно, господин поверенный Арентсен?

— Да, но он не сказал, сколько Эдварда получила особо! — неожиданно вмешивается Левион из-за барьера.

— Тихо! — приказал судья.

Тут от имени своего клиента заговорил Арентсен:

— А если эта информация имеет значение для дела?

Судья задает несколько вопросов, получает несколько ответов и, немного поразмыслив, говорит:

— Для какого именно дела она имеет значение? Для платы за рыбную ловлю она значения не имеет.

Сэр Хью продолжает давать объяснения: истец утверждает, что ручей имеет восемь раз по шесть футов в ширину в наиболее узкой своей части и что, забрасывая удочки, он, сэр Хью, тем самым в не меньшей степени рыбачит на чужой стороне. Но ручей всего уже у водопада, а между тем он и там насчитывает не меньше семидесяти двух футов.

— А вы разве мерили? — спрашивает Арентсен.

— Да.

— А какой длины ваше удилище?

— Два раза по шесть. Вот оно, при мне.

Левион снова не утерпел.

— Я мерил! Там восемь по шесть!

— Тихо!

Арентсен изображает крайнее удивление и снова вставляет реплику:

— Но уровень воды в жару падает, вот ручей и сузился.

Судья разрешает сэру Хью задать вопрос адвокату противной стороны.

— У вас есть свидетели того, что ручей у водопада имеет сорок восемь футов в ширину?

— Никаких, кроме самого владельца.

— А то я свой водопад не знаю! — громко выкрикнул Левион.

Человек из сидящих по ту сторону барьера просит привести его к присяге, чтобы он мог свидетельствовать о ширине ручья.

— Когда весной началось дело о ручье, я по просьбе Марелиуса вымерил ручей. В нем было у водопада не меньше семидесяти восьми футов.

Приводят к присяге еще двух жителей поселка, они показывают то же самое. Причем все трое пользуются в приходе большим уважением. Два дня назад они в от-

вет на просьбу еще раз перемерили ручей, он если и стал уже, то меньше чем на шесть футов, так что своих двенадцать по шесть он имеет всегда.

Правда, специалистов среди них не было. Они замерили ручей и замерили удилище, но никто не заговорил о том, как далеко можно забросить удочку длиной в двенадцать футов. Молодой судья подумал: «Сэр Хью не обязан платить даже столько, сколько он предложил». Он приказал принести из Маковой лавки складной метр, единственно с целью помочь этому иностранцу — перемерили его удочку, в ней было двенадцать футов.

Судья спросил:

— Так у вас вообще нет свидетелей, господин поверенный Арентсен?

— Для этого нет.

— Вы сами там были?

— Я всецело полагаюсь на показания истца.

— Вы сами там были?

— Нет.

Все было внесено в протокол, через небольшие промежутки времени записанное читали и утверждали. Дело принимало плохой оборот для Арентсена и его подопечного, они начали шептаться и что-то обсуждать. После чего адвокат спросил у сэра Хью, готов ли тот выплатить сумму, которую уже однажды предлагал на примирительной комиссии. В этом случае истец будет удовлетворен.

Сэр Хью ответил отказом. Теперь он желал услышать приговор.

Тут Арентсен выбросил последнюю карту: в последнее время сэр Хью неоднократно удил рыбу возле самого устья, а уж там-то Левион единственный владелец.

Снова вызвали сэра Хью, но он не совсем понял, о чем идет речь. Выходит, он рыбачил у самого берега? Лицо его даже исказилось от презрения к такому виду рыбной ловли.

— Так вы не рыбачили в устье?

— Нет. И незачем. Там пока нет рыбы. Лосось пока стоит в ручьях и не спустится в устье до осени, когда пойдет на нерест.

— Скажите на милость, какие глубокие познания,— презрительно обронил Арентсен.— Можно подумать, лосось не водится в море постоянно.

— Но морской лосось не идет на муху.

— На что же вы ловили его восточнее устья?

Сэр Хью согласился объяснить: в море он ловил донной удочкой. Пикшу и мелкую треску. И вовсе не перед устьем ручья, а за несколько сот саженой от берега, в открытом море. Человек, который вывозил его туда на своей лодке, тоже присутствует, это тот самый издольщик, у которого он снимает комнату. И он может дать показания.

Издольщика привели к присяге, и он все подтвердил.

Тогда Арентсен попросил отложить слушание...

И все-таки это не было привычное для всех заседание суда, ничего подобного. Когда старый судья вел заседание и вершил суд, люди, даже сидящие за барьером, могли спросить его о том либо ином положении закона, получить ответ или совет, а молодой уполномоченный, тот боялся ответить на какой-нибудь вопрос, чтобы не вызвать осложнений. Судья не адвокат, говорил он, судья должен судить, обращайтесь к вашему адвокату, он вам ответит на все вопросы.

Словом, народу этот новый судья не пришелся по вкусу. Все вышли из зала и столпились перед винным прилавком у Мака, а зал не покинули лишь те, чье присутствие было необходимо. И поскольку закладные к тому же зачитывал один из писарей, в зале вообще осталось лишь несколько человек. А то, что они услышали, ни для кого не было новостью: что Бенони Хартвигсен поместил у Фердинанда Мака пять тысяч под закладную, он и сам не скрывал, это уже давно все знали. Другие точно так же помещали у Мака несколько талеров, вот только Бенони вложил такую прорву денег. Это ж надо, какое богатство!

Пока заседание, наконец, кончилось, молодой судья успел проголодаться и очень устал, но адвокат Арентсен настолько его раздражал своим непочтительным городским говорком, а иск к сэру Хью представлялся ему настолько легкомысленным и нелепым, что он с превеликим удовольствием вынес бы приговор прямо сейчас: просто отказал бы Арентсену, и тогда жалоба на Марелиуса, что тот якобы продал права на рыбную ловлю в не принадлежащей ему части ручья, вообще отпала бы.

Николай Арентсен сказал своему клиенту:

— Я думаю сам туда съездить и прихватить свидетелей, вообще же в Норвегии есть только один-единственный суд, чьи решения не подлежат обжалованию, и он находится не здесь.

Потом он пошел к Маку, чтобы повидать Розу. Он не проиграл на этом суде, а значит, и горевать незачем. Он

шел все той же твердой, решительной походкой, которую усвоил, когда получил большую практику и начал зарабатывать бешеные деньги.

Роза была в фартучке и очень смутилась по этому поводу.

— Ступай пока в малую гостиную, а через минуту я тоже туда приду.

И действительно, она вошла почти вслед за ним и начала расспрашивать:

— Мне очень некогда. Ну, как дела? Кончилось заседание? У тебя все в порядке?

— Дела, само собой, прекрасные. Недаром же я олицетворяю закон.

— Какая жалость, что у меня не было времени тебя послушать.

Ах, до чего ж искусно Роза умела лгать из любви к этому человеку. Она следила за ходом заседания, она видела и слышала Николая, когда рассматривалось его большое дело против сэра Хью. И у нее сердце обливалось кровью, когда молодой судья два раза подряд нагло спросил его: «Вы сами там были? Вы сами там были?» Тут ею овладели дурные предчувствия, и она потихоньку выбралась из зала. Слава богу, это ничего не значит. Николай выиграет все свои дела, все, сколько их есть.

— Ты не забыл дату? — спросила она.

— Дату?

— День нашей свадьбы. Да, что я еще хотела сказать...

— Что же?

— Поедем в церковь верхами.

— Ах, так.

— Да, мы поедем в церковь верхами. А когда, ты не забыл? Двенадцатого июня. Осталось совсем недолго ждать.

— Двенадцатого июня, — протянул он. — Я приму все меры, чтобы меня вовремя разбудили.

— Какие глупости ты несешь, — сказала она и весело расхохоталась.

Тогда он переспросил:

— Двенадцатого июня? Так ведь нужно оглашение.

— Все уже сделано. Папа оглашал нас в нашем приходе, а капеллан здесь. Три раза.

— Как славно, что ты обо всем позаботилась. У меня столько дел!

— Бедняжка! Но зато ты заработаешь много-много денег.

— Как песку морского,— отвечал он.

На другой день сэръ Хью вернулся в свое жилище и к своей рыбной ловле. Он выбрал путь мимо дома Бенони и поднялся в горы до самой границы общинного леса. По дороге он то и дело наклонялся, откалывал небольшой камешек и прятал его в карман.

XVII

Бенони объездил рыбацкий поселок в шхерах, вернулся домой и тотчас начал приводить в порядок свой невод. Он не получил сколько-нибудь надежных известий про сельдь, но тем не менее делал вид, будто знает больше, чем другие; и впрямь не стоило ему отсиживаться дома, когда весь поселок знал о его унижении. А прежняя мысль снова надолго уйти в море в нем угасла.

Помощник ленсмана пришел к нему, сообщил о заседании суда и о том, что закладная была публично зачитана. Уж так сложилась судьба, что он не сумел уважить Бенони и вызволить закладную до официального зачтения, поскольку ее внесли в закладной регистр до того, как суд прибыл в Сирилунн. Так все и пошло своим чередом.

Бенони слушал с убитым видом: может, он своими руками помешал Маку похлопотать за него перед Розой. Вдобавок его огорчило, что при зачтении в зале было очень мало народу, сами судейские да еще несколько человек. Все прошло очень тихо.

— Кстати, она сейчас при мне,— сказал помощник ленсмана.

— При вас, говорите,— ответил Бенони, дожидаясь, когда помощник вынет документ из кармана.

Но тот почему-то не спешил и как-то странно поджигал губы.

— Обошлось дороже, чем мы предполагали?— спросил наконец Бенони, готовый, если надо, доплатить.

— Нет, нет, обычная пошлина.

Бенони погодил немного и опять сказал:

— Дайте мне хоть взглянуть на нее.

И вот помощник ленсмана начал:

— Я могу хоть сейчас предъявить ее, но большого проку в том не будет. Я хочу поступить с вами как человек.

Бенони воззрился на него и спросил:

— О чем вы толкуете? Что с моей закладной?

И тут только помощник ленсмана сказал:

— С вашей закладной то, что она ничего не стоит. Другими словами, плакали ваши денежки.

— Дайте взглянуть на минутку.

— Если бы я хотел вести себя по-свински, я бы выложил бумагу, и дело с концом. Но я хочу вас подготовить к тому, что Мак из Розенгора *еще до вас* оформил полную закладную на весь Сирилунн.

— Вы шутите! — в ужасе воскликнул Бенони.

Наконец, помощник ленсмана выложил закладную на стол. На ней стояла пометка, что закладная законным образом засвидетельствована в суде таким-то и такого-то числа. Далее были перечислены предыдущие закладные на Сирилунн со всем добром, включая три экипажа; короче, Сирилунн принадлежал Маку из Розенгора, и принадлежал уже много лет, а общая сумма составляла восемнадцать тысяч талеров. Под выкладками стояла подпись: Стен Тоде.

Бенони словно громом ударило. Он поглядел на написанные слова, и в голову ему полезли всякие пустяки: Стен Тоде — это ведь не судья, кто же он тогда такой? Восемнадцать тысяч, да, да, но значит, Мак из Сирилунна вовсе не такой могущественный человек, это его брату, Маку из Розенгора, принадлежит все.

— И вопрос такой: а тянет ли имущество, под которое вы давали деньги, на двадцать три тысячи? — сказал помощник ленсмана.

Бенони задумался.

— Нет, — ответил он, подумав, — не тянет.

— Кстати, так же думаем и мы оба, ленсман и я. Мы об этом потихоньку переговорили. Двадцать три тысячи — это немислимо.

— А законно ли поступил Мак?

— Это как посмотреть. В бумаге сказано: Мак получил пять тысяч под залог того-то и того-то. Вы ведь признали данный залог?

Но Бенони уже не слушал, что говорит помощник ленсмана, он перебил вопросом:

— А кто же все-таки Свен Тоде? Это законное имя?

После подробного объяснения помощник ленсмана приходит к выводу, что подпись уполномоченного вполне законна, хоть он и не судья, чего нет, того нет.

— Двадцать три тысячи! — промолвил Бенони. — Уж лучше иметь меньше, но чтоб оно было твое... — Тут он вдруг вспомнил про собственные пять тысяч, которые

теперь можно считать утерянными, поднялся, постоял минутку с бледным и растерянным лицом, глядя на ничемную бумагу посреди стола, а затем снова сел.

— Может, он немного позже и заплатит вам,— сказал помощник ленсмана, чтобы как-то утешить Бенони.

— Где он возьмет деньги? Да ему даже одежда не принадлежит, которую он носит. Уж лучше иметь меньше, но чтоб... Подлец этот Мак, скажу я вам.

— Но так говорить не полагается. И потом он, может быть, все-таки заплатит...

— Подлец и подлец!

Обозначение было крепкое и вполне подходящее. Вдобавок оно как-то принижало надменного Мака, вот почему Бенони произносил его от всей души.

— Но, может быть, он заплатит,— пытался успокоить его помощник ленсмана и встал: он хотел уйти.

Но Бенони не помнил себя от возбуждения.

— Да с ним просто связываться нельзя. Такого человека надо просто выплюнуть, словно какую гадость изо рта, и сказать: тьфу на тебя!

Оставшись один, Бенони задумался, как ему теперь быть. Он решил напрямик отправиться к Маку и разобраться с ним. Бенони сунул закладную в карман и пошел в Сирилунн. По дороге он решил для начала повидать Свена-Сторожа.

Но бедному Свену и самому приходилось несладко, поэтому он навряд ли мог сегодня кого-нибудь утешить. И виновата во всем опять была горничная Эллен.

Вчера вечером Свен стоял и разговаривал со своей подружкой, но тут ее вызвали к Маку, тот собирался принять ванну. Свен хотел удержать ее и сказал: «Да пусть раз в жизни сам искупается, ты-то тут при чем?» Но Эллен лучше знала, при чем, и вырвалась от него. Свен тихо пошел следом, задержав дыхание, стоял перед покоями Мака и слушал в оба уха.

А утром он перехватил Эллен и спросил:

— Мак уже встал?

— Нет.

— Ты его вчера мыла?

— Да, я растирала ему спину полотенцем.

— Ты лжешь! Я стоял в коридоре и все слышал.

Молчание.

— Всем я понадобилась,— сказала Эллен тихим голосом.— Прямо с ума посходили.

— А сбежать от него ты не можешь?

— Как же я сбегу? Я же должна тереть ему спину.

Ярость охватила Свена, он фыркнул и закричал:

— Свинья ты, больше никто.

Она слушала его слова, широко распахнув глаза и подняв брови, казалось, будто брань Свена кажется ей невероятной.

— Дождешься, я еще всажу в тебя нож.

— Да не будь же ты такой сердитый,— сказала она умиротворяющим тоном,— дай срок, он еще оставит меня в покое.

— Не оставит.

— А сам ты с Брамапутрой?— спросила она.— Уж эта мне кучерявая Брамапутра,— презрительным тоном добавила она.

Свен-Сторож повторил свой вопрос:

— Мак встал?

— Нет!

— Я с ним поговорю в конторе.

— Не смей,— сказала Эллен и начала его отговаривать.— Ты принесешь несчастье нам обоим.

Свен бы и промолчал, но как на грех ему поручили сушить купальную перину Мака, и за этим занятием он крайне разгорячился. Свен упустил из виду, что принят сюда работником на подхвате и, следовательно, его могут приставлять к любой работе.

Когда Мак пошел к себе в контору, Свен последовал за ним, разгоряченный, не владея собой. И сразу перешел к делу: его звать Свен Юхан Чельсен, по прозвищу Свен-Сторож, он хочет жениться на горничной Эллен, поэтому он не желает, чтобы Эллен терла Маку спину, а сам он не желает сушить его перину после купания...

— Понимаете, я не желаю, чтобы она была вашей свиньей, не будь я Свен Юхан Чельсен. А так меня зовут. А ежели вам угодно знать, откуда я родом, так я из города. Да. Из города, если вам интересно знать.

Мак неторопливо поднял стальные глаза от своих бумаг и спросил:

— Как тебя звать, ты говоришь?

Свен растерялся, повторил вопрос, а потом ответил:

— Как меня звать? Свен Юхан Чельсен. Или по-другому Свен-Сторож.

— Ладно, можешь идти работать.

Свен успел уже взяться за дверную ручку.

— Нет,— сказал он,— работать я не пойду.

— Ладно, тогда можешь получить расчет.

Мак взял перо, подсчитал, достал деньги и заплатил, после чего распахнул дверь.

Свен-Сторож заворчал, но ушел.

Однако постояв малость с шиллингами в кармане и с отчаянием в душе, он наведаясь к водочной стойке и опрокинул несколько хороших рюмашек. Отчего снова почувствовал себя храбрым и сильным, поднялся в людскую, начал шуметь и задираться с другими батраками, пробился к двум старикам, Фредрику Мензе и Монсу, которые теперь оба не вставали с постели, ели, что им дадут, и болтали, будто настоящие люди.

— А ну, вставайте да нарубите дров,— сказал им Свен.— А я отсюда уйду.

— Уйду,— сказал вслед за ним Фредрик Менза.

— Заткнись!— крикнул Свен.— Ты встанешь, наконец, или нет? Может, бедняжке Эллен вместо тебя идти в сарай?

Фредрик Менза все лежит, в бороде у него крошки, и он с серьезным видом о чем-то думает, а потом говорит:

— Три мили до «Фунтуса».

— Ха-ха-ха,— откликается Монс со своей постели.

Бедняжка, у него тоже, верно, были свои радости.

Вот сейчас ему, например, показалось, что стена такая длинная-длинная и доходит до самого потолка...

Свен вернулся в людскую, распевая и произнося громкие слова о том, чем он намерен теперь заняться:

— Не стану я сушить его перину, ни в жисть не стану. А знаете, что я вместо этого сделаю? Ничего-то вы не знаете, вы ведь все равно как звери. А я буду петь. Подойдите-ка поближе, и споем вместе.

В людскую набилось много народу. Свен позволил себе оторвать их всех от работы, хотя день был будний. Была здесь Брамапутра, и была Эллен, и даже жена младшего мельника, которая покупала провизию в лавке, не могла удержаться и заглянула туда же. При ней был сын, мальчик шести лет с тонким детским вырезом губ. Свен щедрой рукой отвалил ему монету и погладил его по головке.

— Тебе здесь весело?— спросила мать.

Сын ответил, что ему здесь весело. Поскольку все пустились в пляс, он тоже выбрал местечко и начал танцевать, считая себя вполне взрослым.

Свен запел. Он пел про девушек из Сороси, но не иначе сошел с ума, потому что песня его звучала от-

кровенной угрозой, он указал точный адрес, а вдобавок поднимал порой кулак и грозил в сторону главного дома.

Свен пел:

В Сороси леса, в Сороси поля,
Не видать им конца и края.
Там падают звери от стрел короля
И топор медведя сражает.
А две девушки стелют постель, шалья,
Королю отдохнуть предлагают.
О вы, девушки из Сороси...

Одну из них обнимает король,
Другую прочь отсылает.
У девушки губы сомкнула боль,
И страха она не скрывает.
Пусть охотится Густ в королевском лесу,
А король пусть ее ласкает.
О вы, девушки из Сороси...

Но охотник Густ крадется тайком,
Топор прихватив с собою,
А те двое тоже идут тишком
И от нежности тают душою.
И когда король запыхал огнем,
Густ ударил в грудь его топором.
О вы, девушки из Сороси!

И глядели девушки из дверей,
Как Густ убежал подале.
В королевской войне был он всех храбрей,
И равных ему не знали.
Воротясь домой на закате дней,
Начал ваших он целовать дочерей
и всех девушек из Сороси!

Королевский воин, отважный Густ,
Он пред замком стоит, вздыхает.
Облака вылетают из храбрых уст,
И молнией меч сверкает...

Тут он вдруг заметил, что никто не подтягивает, и оборвал свою песню.

— Стоп! Вы здесь должны подхватить и пропеть хором: «О вы, девушки из Сороси!», а вы знай себе отплясываете все равно как звери.

Прибежал гонец от Мака и потребовал наверх старшего батрака. Словно тяжкий груз опустился на людскую, один за другим слушатели выскальзывали за дверь, и Свен уже при всем желании не мог восстановить прежнее веселье. Жена мельника послала к нему своего сынишку, чтобы тот вежливо попрощался и еще раз поблагодарил за монетку. Свен надолго задержал в своей руке его маленькую ручку:

— У тебя ручка все равно как у Эллен, подумать только.

Потом гонец вызвал и самого Свена, тот ушел с дурными предчувствиями, но это был всего лишь Бенони, который стоял во дворе и хотел его видеть.

— У меня к тебе дело,— говорит Бенони, чтобы было с чего начать.— Ты часом не хотел бы выйти с неводом?

— Уж и не знаю. Хотя нет, знаю. С неводом, значит?

Но очень скоро они начинают говорить о том, что лежит у них на сердце, и Бенони с угрожающим видом заявляет, что намерен сходить к Маку в контору.

— Я уже сегодня там был и все ему выложил.

— Он меня так подло обманул!

— А меня?! Эллен больше никому не достанется.

— Почему так?

— Он опять вызвал ее вчера к себе, когда принимал ванну.

— И опять ее взял?— Бенони качает головой в знак того, что тут уж ничего не поделаешь.

— Но ведь мы с Эллен хотели пожениться,— говорит Свен.

Бенони отвечает:

— Ты ее получишь только после всего, понимаешь?

Свен с грозным видом глядит по сторонам.

— Такая здесь такса,— говорит Бенони.— И так было с каждой из них. Брамапутра, пожалуй, единственная, которая из-за этого горевала.

Приходит старший батрак с приказом Свену-Сторожу немедленно убираться со двора.

— Убираться? Как же так?

— Такой приказ. Мое дело следить за всем и все выполнять. А помочь ничем не могу.

Свен-Сторож уже начал прикидывать, как бы ради Эллен поправить дело, а ему вдруг говорят, чтобы он убирался. Он совсем падает духом.

Тут вмешивается Бенони:

— Можешь сходить к хозяину и сказать, что Свен остается у меня.

— Ладно,— говорит батрак.

— Можешь передать это Маку из Сирилунна от Бенони Хартвигсена.

Батрак уходит. А эти двое остаются и чувствуют себя гордыми и независимыми.

Но за разговором Свен снова падает духом, потому что ему надо уйти из Сирилунна.

— У меня ничего нет, кроме моего алмаза,— говорит он,— да и тем нечего резать, потому что стекла у меня тоже нет.

Покуда они так стоят, по лестнице собственной персональной спускается Мак и направляется к ним. Он шагает своей обычной походкой. Когда он подходит совсем близко, оба срывают с головы шапку и здороваются.

— Что это за странное сообщение передал мой батрак?

— Сообщение?— растерянно переспрашивает Бенони.— Ах, это то, что я ему сказал.

— А ты до сих пор здесь?— спрашивает Мак другого. Свен-Сторож молчит.

Но тем самым Бенони выиграл время, минуту или две, и успел собраться с духом. В конце концов, разве он не совладелец Сирилунна? И не разорившийся ли негодяй стоит перед ним?

— По какому это праву вы приходите сюда и командуете?— спрашивает он, уставившись Маку прямо в лицо.

И оба поглядели друг на друга с величайшей неприязнью, разве что Бенони был еще неопытный, как ученик, Мак достал батистовый носовой платок, слегка высморкался, потом, обратясь к Свену, спросил:

— Тебе что, не передали, чтоб ты убирался?

И Свен попятился.

— Иди ко мне,— сказал ему Бенони,— а мне надо кое о чем переговорить с этим человеком.

Сказать про Мака из Сирилунна «этот человек»!

Оба идут в контору. Мак вторично прибегает к помощи носового платка, затем говорит:

— Ну?

— У меня небольшое дельце,— говорит Бенони,— насчет денег.

— Какое такое дельце насчет денег?

— Вы меня обманули.

Мак молчит и смотрит на него с видом превосходства.

— Я отдал засвидетельствовать в суде закладную. Вы небось такого от меня не ждали?

Мак криво улыбается.

— Почему же? Мне все известно.

— Это вашему брату из Розенгора принадлежите вы сами со всем вашим добром. Вот, гляньте-ка.

Бенони выкладывает на стол закладную и тычет в нее пальцем.

— Ну, а дальше что? — спрашивает Мак. — Ты желаешь забрать из дела свои деньги?

— Забрать из дела? А откуда вы их, спрашивается, возьмете? Да вам даже штаны не принадлежат, в которых вы ходите. Двадцать три тысячи! Восемнадцать у вашего брата, пять у меня, чистых двадцать три. Вы меня разорили! Я теперь почти такой же нищий, как вы сами!

Мак отвечает:

— Во-первых, все это написал на твоей закладной молодой и неопытный уполномоченный.

— Да, но он имел на то законное право.

— Ну, конечно же, имел, но помощник судьи никогда бы не стал выписывать все эти глупости про моего брата. Это ведь пишется просто так, для формы, ты ведь знаешь, как оно бывает между братьями. А на деле я чаще помогал своему брату, чем он мне, например, когда он расширял свою фабрику рыбьего клея.

— Да, да, вы оба одинаково разорились, только мне от этого не легче.

— Во-вторых, — продолжает Мак с несокрушимым достоинством, — я тебе должен не пять тысяч. Между нами есть и другие счета.

— Вы, верно, про те четыре сотни за фамильные ценности? Но на кой они мне теперь нужны, эти ценности? Розу и адвоката уже оглашали в церкви, двенадцатого они женятся.

— Уж и не знаю, мне не удалось переубедить Розу, впрочем, вполне возможно, что ты и сам в этом виноват. Передача бумаги в суд, да еще у меня за спиной, не прибавила мне охоты хлопотать за тебя.

— Не прибавила? — с досадой говорит Бенони. — Розе я желаю счастливого пути и упрашивать ее не стану. А вот насчет ваших жульнических проделок, так Роза слишком хороша, чтобы быть вашей крестницей. Вот так. Я напишу ей подробное письмо про все, тогда она больше не переступит вашего порога. Другие счета! Я постараюсь при первой же возможности уплатить за все наличными. А вы подайте мне мои пять тысяч.

— Ты желаешь забрать свои деньги через шесть месяцев, считая с этого дня?

— Забрать! — насмехается Бенони. — Нет, я поступлю по-другому, совсем по-другому. Я вас не пощажу во всей вашей славе!

Мак сразу понял, что сила теперь на стороне Бенони и что Бенони может поставить его на колени, может

объявить его несостоятельным должником, может подать на него в суд, устроить ему серьезные неприятности с закладной и тем повредить его репутации, сделать его затруднения достоянием гласности.

— Действуй, как сочтешь нужным,— холодно говорит он.

Но Бенони не удержался и выложил под конец свою козырную карту:

— Придется мне наложить арест на вашу рыбу, что сохнет на скалах.

Вот это уже грозило настоящим скандалом, грозило судебным рассмотрением с допросом свидетелей. Мак ответил:

— А рыба-то не моя. Она принадлежит кущу.

Тут Бенони запустил пальцы в свою густую шевелюру и вскричал с великим удивлением:

— Вам что, вообще ничего не принадлежит на этом свете?

— Я не обязан тебе давать отчет,— уклончиво ответил Мак.— Ты можешь от меня потребовать только свои деньги. Их ты и получишь. Итак, ты желаешь забрать свои деньги в шестимесячный срок?

Чтобы положить конец разговору, Бенони ответил:

— Да.

Мак взял свое перо, пометил дату, после чего отложил перо, поглядел на Бенони и сказал:

— Не думал я, Хартвигсен, что между нами все так кончится.

Признаться, и Бенони тоже не испытывал удовлетворения.

— А что ж мне оставалось делать? Когда-то я был в скверном положении и сам не мог себя вызволить, это я хорошо помню, и тогда вы подняли меня из грязи.

— Ну, об этом мы лучше вспоминать не будем,— перебил его Мак.— Не я завел этот разговор.— И Мак подошел к окну, чтобы подумать.

А тут перед глазами Бенони действительно с великой отчетливостью всплыло его жалкое прошлое, он вспомнил те дни, когда не было у него ни большого дома, ни сарая, ни невода, дни, когда его ославили на всю округу с церковной горки и Мак из Сирилунна принял в нем участие и снова сделал его человеком.

— Да, значит, я получу свои деньги. Я не хочу быть против вас каким-то злыднем. У меня и причин для того никаких нет, видит бог, никаких.

Пауза. Мак отвернулся от окна и подошел к своей конторке:

— Ты когда объезжал шхеры, сельди не заметил?

Бенони отвечал:

— Нет, то есть заметить-то я заметил, но немного. Я решил снова выйти с неводом.

— Желаю удачи!

— И вам всего хорошего! — сказал Бенони и ушел.

XVIII

Настало двенадцатое июня, сегодня Роза выходит замуж. Вот так-то.

Бенони с утра пораньше пребывал в торжественном настроении, держал себя учтиво и кротко и был неразговорчив. Свену-Сторожу, который теперь жил у него, поручили дело, с которым он мог справиться один, без помощи.

Бенони протер пианино и начистил серебро. Может, отправить все ценности Розе? Ему они все равно уже не понадобятся. Это будет похоже на множество дорогих даров от короля королеве, а вдобавок это заткнет рот тем, кто теперь трезвонит, что Бенони Хартви́гсен разорился. Поначалу ни сам Бенони, ни помощник ленсмана не делали тайны из того, что заклад в пять тысяч талеров пошел прахом, а слухи перекинулись на самого Бенони, увеличили размеры несчастья и если верить им, то сарай и невод уже пошли с молотка. У Бенони разгорелась подозрительность, ему казалось, что старые дружки начали относиться к нему без прежнего почтения и уже не называли его Хартви́гсеном. Как бы то ни было, ему покамест вполне по карману сделать Розе такие подарки.

А вот примет ли их она?

Серебро, во всяком случае, он может ей послать. С нежной сентиментальностью Бенони представлял, как увлажнятся Розины глаза, когда она увидит эти щедрые дары. О Бенони, как я жалею, что не вышла за тебя! Вот она не отослала ему ни крестик, ни кольцо, как обещала, возможно, она решила их сохранить из любви к нему. Так не отправить ли ей в особой бумаге хотя бы ту ложечку и вилку, которые он для нее подобрал?

Нет, их она, пожалуй, не примет.

Бенони отправился в Сирилунн, мрачный и возбужденный, хорошенько выпил в лавке у стойки под тем

предлогом, что подцепил какую-то болезнь, затем ушел домой. Уже во хмелю он достал псалтырь для божественных упражнений, но, опасаясь, что Свен-Сторож услышит его громкое пение, начал просто читать псалмы, а читать ему было очень скучно. Потом он постоял какое-то время на закрытой веранде, глядя прямо перед собой, но через какое бы стекло он ни глядел, желтое, синее либо красное, он всякий раз видел голубей, и они всякий раз проделывали один из самых ничтожных своих фокусов — вниз по стене сарая. Ах, не то он имел в виду, когда заводил эти цветные стекла и голубей для Розы...

И Бенони ушел в горы. Впереди, недалеко от него, шел смотритель маяка Шёнинг, сгорбленный, в заплатах, словно обглоданный своей вопиющей бедностью. Он бродил по тропинкам среди гор, слушал крик морских птиц, разглядывал травы и цветы. Против всякого обыкновения Шёнинг поздоровался с Бенони и завел с ним разговор.

— Послушайте, Хартвигсен, у вас есть для этого все возможности, купите эту гору.

— Купить гору? У меня и без того хватает гор,— отвечал Бенони.

— Нет, все-таки не хватает. Вам надо бы купить всю четверть мили до общинного леса.

— А потом мне что с ней делать?

— Эта гора имеет большую ценность.

— Правда, имеет?

— В ней полно свинцовой руды.

— Ну и что? Подумаешь, руда,— пренебрежительно сказал Бенони.

— Да, руда. Руды на миллион. К тому же она вся перемешана с серебром.

Бенони поглядел на смотрителя, но не ответил.

— А сами вы ее почему не купите?

Смотритель тускло улыбнулся, глядя прямо перед собой.

— Ну, во-первых, у меня для этого нет возможностей, а во-вторых, мне она ни к чему. Но перед вами вся жизнь, вы должны ее купить.

— Вы ведь тоже не старик.

— Нет-нет. Зачем мне иметь больше, чем у меня есть?

Я стал смотрителем при маяке четвертого разряда, хватает только для поддержания жизни, на большее мы не годимся.

Вдруг Бенони спрашивает:

— А с Маком вы об этом не говорили?

И смотритель произносит лишь два слова, вкладывая в них всю глубину своего презрения:

— С Маком?

После чего он поворачивается и уходит обратно по горной тропе.

Бенони продолжает свой путь в другую сторону и рассуждает про себя: хорошо, что горы внутри наполнены серебром, они принадлежат Арону из Хопана, Арон ведет процесс против одного рыбака из шхер из-за без спросу взятой лодки, а вести процесс — это стоит денег; совсем недавно он отвел одну из своих коров адвокату. Да, да, Николай как раз сегодня женится, стало быть, корова ему пригодится, ему и Розе.

Воспоминания о Розе захватили Бенони.

Он свернул на лесную дорогу, глаза у него увлажнились, и он рухнул ничком прямо на краю дороги. «Разве я был не таким, как надо, скажи-ка, Роза, разве я не прикасался к тебе так бережно и почтительно, чтобы не причинить тебе боли?! Господи, помоги мне!»

Vore ækked!

А вот и он снова, лопарь Гилберт. Он снует по лесу то в одну, то в другую сторону, будто ткацкий челнок, оставляя за собой узлы и нити в разных поселках по обе стороны горы.

— Я тут присел отдохнуть, — говорит Бенони, а сам в смущении. — Приятно послушать, как шелестят листья осины.

— А я со свадьбы, — говорит Гилберт. — Я там встретил кой-кого из знакомых.

— Ты, может, и в церкви был? — спрашивает Бенони.

— Был и в церкви. Очень знатная свадьба. Даже Мак там был.

— Да уж наверняка.

— Сперва, конечно, появился жених. Верхом.

— Верхом?

— А потом появилась невеста. Верхом.

Бенони только головой помотал, в знак того, что это очень здорово.

— На ней была длинная белая фата, она доставала почти до земли.

Бенони погрузился в раздумья. Итак, свершилось. Белая фата, так-так... Он встает с земли и идет домой вслед за лопарем.

— Ладно, мы оба, Бенони и я, уж как-нибудь одолеем это дело. Зайди ко мне.

— Да нет, спасибо, не с чего мне заходить и отнимать у вас время.

Но когда Бенони достал бутылку и предложил лопатку рюмочку, Гилберт сказал:

— Зря вы на меня тратитесь.

— Это я плачу тебе за твою великую новость,— говорит Бенони, и губы у него дрожат.— А ей я желаю счастливого пути.

Гилберт пьет, а сам обводит глазами комнату и вслух выражает свое удивление по поводу того, что ведь есть на свете люди, которые не пожелали жить в такой роскоши. На это Бенони говорит, что ничего, мол, особенного, ничуть не лучше, чем у любого бедняка. После чего он демонстрирует Гилберту пианино и объясняет, что это такое, он показывает столик для рукоделия, выложенный эбеновым деревом и серебром, затем на свет божий извлекается столовое серебро. «За него я выложил сотню талеров»,— поясняет он.

Гилберт долго качает головой и по-прежнему не может уразуметь, как это некоторые люди способны отказать от подобной роскоши. Завершает он словами:

— Вообще-то вид у нее был не очень счастливый.

— У Розы? Не очень?

— Нет. У нее был такой вид, будто она раскаивается.

Бенони встал, подошел к Гилберту и сказал:

— Вот видишь кольцо? Нечего ему больше сидеть на этом пальце и всю жизнь огорчать меня.

...Он снимает кольцо со своей правой руки, пересаживает на левую и при этом спрашивает:

— Ты видел, что я сделал?

Гилберт с торжественным видом подтвердил.

Тогда Бенони достал календарь и сказал:

— А эту черту ты видишь? Сейчас я ее вычеркну. Я вычеркну день святого Сильвестрия.

— Святого Сильвестрия,— повторил Гилберт.

— А ты был моим свидетелем,— сказал Бенони.

После того как это сделано, у Бенони больше нет оснований напускать на себя торжественный вид, и он погружается в молчание...

Гилберт же от него напрямик топает в Сирилунн, в лавку, и там рассказывает о бракосочетании, о том, что отродясь не видано было такой благородной свадьбы, что белая фата даже волочилась по земле, что невеста получила того, кого хотела, и у нее был очень даже счастливый вид. А в церкви был сам Мак.

Едва завершив повествование в Сирилунне, лонарь Гилберт направил свои стопы к дому пономаря. Молодые подъехали туда, когда день уже клонился к вечеру. Роза — по-прежнему верхом, но у Арентсена от долгого сидения в седле все заболело, и потому он уныло трюхал на своих двоих, ведя лошадь под уздцы. Вечер был светлый, и погода теплая. Солнце еще стояло высоко на небе, но морские птицы уже отошли ко сну.

При виде молодых Гилберт сорвал с головы шапку. Роза продолжала свой путь верхом, но молодой Арентсен остановился и передал поводья Гилберту. Он устал и был зол как черт.

— Возьми-ка этого одра и отведи его куда-нибудь. Довольно я его волок.

— А я был в церкви и там вас видел.

Молодой Арентсен учтиво отвечает:

— Я тоже был в церкви, стоял и смотрел на венчание. И никак не мог уехать прочь.

Так Роза и молодой Арентсен въехали в домик пономаря, где им предстояло жить...

А несколько дней спустя Бенони вышел в море с большим неводом и со всей своей командой. Вера в его рыбацкую удачу была так велика, что пойти с ним вызвалось куда больше народу, чем ему требовалось. Был среди них и Свен-Сторож, которого он нанял артельщиком.

XIX

Солнце вставало и светило, снова и снова, час за часом, ночью и днем. Молодой Арентсен успел отвыкнуть от солнца по ночам, он потерял сон и никак не мог достаточно затемнить комнату. Вдобавок его больной отец, старый пономарь, лежал в комнате по другую сторону коридора, и хотя их разделял коридор, сын отлично мог слышать его стоны. Он вставал, одевался и выходил из дому, а Роза продолжала спать здоровым, невозмутимым сном, укрывшись одной лишь простыней, — ночь была очень теплая.

Теперь, в пору косовицы, у адвоката было не так много дел в конторе, как раньше. Поначалу ему приходилось даже обращаться к помощи Розы, чтобы справиться со всей этой нескончаемой и унылой писаниной, теперь он вполне справлялся сам; после того заседания суда ему

только и пришлось составить несколько жалоб в арбитражную комиссию. Но множество больших дел, не решенных во время заседания, теперь бродили от одного судьи к другому и самостоятельно работали за адвоката Арентсена, а он жил тем временем в свое удовольствие и время от времени наведывался в винный отдел Маковой лавки.

По делу Левиона и сэра Хью Тревиляна было вынесено судебное решение, что потребовало от Арентсена больших усилий. Когда он через гору направлялся на собственную свадьбу, ему пришлось сделать большой крюк, чтобы своими глазами увидеть пресловутое место в ручье и измерить его ширину у водопада. При нем было два человека. Завидев сэра Хью, который удил рыбу на том берегу, молодой Арентсен поклонился ему, как старому знакомому, и снял шляпу. Но добрый англичанин продолжал стоять с истинно британской невозмутимостью и на приветствие не ответил. Будь рядом Роза, она бы крайне огорчилась. Пылая гневом, Арентсен приказал своим людям мерить как можно точнее. Но все равно в ручье было семьдесят два фута.

— Что-то не нравится мне эта ширина,— сказал Арентсен.

Он долго глядел на сэра Хью в бинокль, а потом невооруженным глазом убедился, что муха-наживка находится куда ближе к берегу Левиона, чем к берегу Марелиуса. Он привлек к делу своих спутников и велел им письменно засвидетельствовать это обстоятельство. После чего он составил дополнительное объяснение и отнес его на почту.

И теперь приговор был вынесен, его личный выезд на место не возымел никакого действия: сэру Хью надлежало выплатить ту сумму, которую он предлагал с самого начала еще на согласительной комиссии, и ни гроша сверх того.

Получив приговор на руки, сэр Хью явился со свидетелями и желал уплатить: пожалуйста, вот деньги. Но и на сей раз его намерения разбились о жадность Левиона: «Вам слишком дешево достались права на ловлю, потому как Эдварде вы заплатили особо, вон она целых двадцать пять талеров отдала Маку на хранение». Сэр Хью еще раз предложил деньги, еще раз получил отказ и ушел.

Но из того, что в первой инстанции суд вынес свое решение, отнюдь не следовало, что дело проиграно.

Уженье рыбы, которому предавался сэръ Хью, продолжало оставаться выгодным предметом раздора. Дело кончилось тем, что теперь свой приговор предстояло вынести верховному суду в Тронхейме; адвокат Арендсен решил накатать грозное послание и в нем наиподробнее образом осветить отношения сэра Хью и дочери ответчика.

— Но это потребует дополнительных расходов,— сказал Арендсен.

— Очень жаль. А сколько же надо выложить на этот раз?

— На сей раз четыре талера.

— Дороговато стоит добиться своего права против этих негодяев.

— Право никогда не бывает слишком дорогим.

Левион заплатил и ушел.

— Попрошу следующего!

Дело Арона из Хопана возникло из-за глупой выходки: молодой рыбак из поселка в шхерах однажды ночью взял лодку Арона и пропал двое суток. А где же он был это время? У своей девушки. Но когда молодой рыбак воротился на лодке, Арон встретил его угрозами и припугнул новым адвокатом. Парень очень удивился. Взять лодку без спросу было настолько обычным делом, что поначалу он счел угрозу Арона просто шуткой. Кончилось тем, что он сказал: «Плевать я хотел на тебя и на твоего адвоката!» После чего дело было передано адвокату. И тут Арону из Хопана пришлось выкладывать денежки! Одну корову он уже отвел на двор пономаря, и отвел среди лета, когда она особенно хорошо доилась, а к осени ему, того и гляди, придется отвести к мяснику и вторую.

«Теперь мы не можем отступить,— сказал Арендсен, когда дело было проиграно в первой инстанции,— я сейчас составлю убийственную апелляцию и пошлю ее в верховный суд. Но это, конечно, потребует дополнительных ассигнований».

«Ассигнований, ассигнований,— проворчал Арон.— А мне скоро есть будет нечего».

«Ну уж до такой-то крайности пока не дошло».

«А вы не могли бы подсобить мне продать мои горы?»

«Горы?»

«Они говорят, что когда-нибудь эти горы будут дорого стоить. Профессор из Христиании их обследовал

и написал, что в них есть свинцовая руда с примесью серебра».

Молодой Арентсен ответил:

«Руда мне без надобности, Арон, но вот против серебра я ничего не имею».

Арон понял, что не миновать ему лишиться второй коровы, и, прежде чем уйти, подписал бумагу.

Но ближе к концу лета молодой Арентсен совсем заскучал и начал даже поговаривать о том, что, пожалуй, устроится рыбным судьей на всю Лофотенскую путину. Ну что ему прикажете здесь делать зимой? Сплошь женщины и дети во всех поселках, и нигде, нигде не заработаешь ни единой серебряной монетки. Роза не возражала, хотя про себя, может, думала, что молодой муж смог бы найти и более подходящее занятие, чем при первой же возможности бежать из дому. Роза ходила помогать там, подсоблять здесь и приглядывала за больным пономарем. Старик все больше худел, терял силы и только ждал конца, а его обязанности взял на себя школьный учитель.

В Сирилунне тем временем произошла одна перемена, и состояла она в том, что старина Монс перекочевал из своей каморки на кладбище. Как-то люди обратили внимание, что он лежит с отрешенным выражением, зажав в руке кусок хлеба. Монс уже несколько лет почти не вставал с постели, поэтому было трудно выяснить, окончательно он испустил дух или не окончательно, а когда спросили Фредрика Мензу, лежащего на соседней постели: «Как думаешь, может, он просто спит?» - Менза по своему обыкновению повторил «спит». После чего Монса оставили лежать до следующего утра. Но когда и наутро его застали все с тем же несъеденным куском, можно было сделать вывод, что он все-таки умер. Со своего места Фредрик Менза наблюдал, как выносят старого товарища, но особого интереса это у него не вызвало, хотя время от времени он сопровождал процедуру каким-нибудь вполне человеческим словом, которое окружающие могли понять: «Кар-кар, говорит ворона. Обед? Ха-ха-ха».

Год клонился к осени, в лесу желтели осины; рыба Мака окончательно высохла, и Арн-Сушильщик уже отвез ее в Берген на галеасе. Лосось после нереста отошал донельзя, летним забавам подошел конец, и сэр Хью Тревильян сложил свою удочку и отбыл домой в Англию, посулив людям из бухты, а особенно Эдварде, что к весне вернется снова... А тем временем начали жать рожь,

копать картофель в тех дворах, где летом вдосталь было солнца. Короче, все шло своим чередом!

Вот и Бенони вернулся домой со своим неводом и своей командой. Но без большого улова. Поскольку стояли они на рыбном месте, Бенони предпочел бы простоять там еще несколько недель, чтобы не прозевать, когда пойдет зимняя сельдь, но владельцу невода это дорого бы обошлось, тем более при наличии артельщика, вдобавок и у всей артели больше не было средств, чтобы ждать у моря погоды. Вот и вышел Бенони в обратный путь, терзаемый мрачными мыслями.

Единственным человеком, который сохранил отменное расположение духа, был Свен-Сторож. К тому же и причин для огорчений у него не было, жалованье свое он приберег, тогда как другие промотали его почем зря; еще он радовался возвращению в милые сердцу места. В первый же вечер он побежал в Сирилунн, подкараулил горничную Эллен, перехватил и начал от всей души с ней болтать. Ради Эллен он готов был снова явиться к Маку и попросить у него разрешения остаться. Интересно, что ответит Мак?

— Раз Монс помер, а Фредрик Менза не встает с постели, значит, ты сама теперь рубишь дрова? — спросил Свен у своей девушки.

— Да, приходится.

— Гм-гм. А ванны он небось до сих пор принимает? Эллен слегка замялась.

— Ванны? Да.

— И скоро опять будет принимать?

— Не знаю. Да нынче вечером.

— Я не могу дольше оставаться у Хартвигсена, — продолжал Свен. — Я ведь все лето получал жалованье, а он очень горюет, что мы вернулись без улова.

— Говорят, он стал совсем бедный, — заметила Эллен.

На что Свен поспешно и с досадой возразил:

— Кто так говорит, тот нагло лжет. Это жуткая и подлая ложь. Как только Хартвигсен через несколько месяцев получит назад свои деньги, он опять станет богатым человеком.

— Да, да, — только и ответила Эллен на такую горячность.

Но и у Свена голова была не тем занята.

— Все дело в том, могу я здесь остаться или нет. Ты не могла бы попросить Мака?

— Уж и не знаю. Думаешь, выйдет?

— А почему ж и не выйти? Когда ты нынче вечером будешь его мыть... Понимаешь, я... как-то я очень здесь прижился. И даже если б я уехал с почтовым пароходом, мне б все равно не миновать вернуться. Видишь ли... я и сам не пойму, в чем тут дело... Дай мне подержать твои руки...

Хрупкие ручки Эллен были как у ребенка, пальчики словно голодные и незащитные... Самые подходящие ручки, чтобы запрятать их в больших и добрых ручищах Свена. Он прижал Эллен к себе, приподнял ее, снова поставил на пол и поцеловал долгим поцелуем. А потом еще раз.

— Сколько раз за лето я твердил: «Эллен! Эллен!» Поговори с ним сегодня вечером, когда будешь его купать,— продолжал Свен,— когда будешь растирать ему спину. Скажи, что я вернулся, что я опять здесь и что кто же тогда будет колоть дрова? Ты достаточно его знаешь, ты можешь это сказать, смотри только, дождись удобного случая, чтобы он не рассердился. Эллен, мне очень жалко, что тебе придется его просить, но как же нам быть?

— Попробую вечером поговорить с ним,— отвечала Эллен.

Несколько дней спустя Бенони направился в Сирилунн и повстречал там Свена-Сторожа.

Бенони сказал:

— Зря ты от меня уехал. У меня всегда есть какая-нибудь работа, и ты мне нужен,— сказал он с важным видом.— Ты случайно не мог бы зайти ко мне и прочистить трубу?

— Да, когда пожелаете.

— А то моя экономка жарит и парит, так что труба очень скоро забивается. Ты останешься здесь?

Свен-Сторож утвердительно кивнул, что, мол, похоже на то, Мак выслушал его просьбу, подумал-подумал, а затем сказал:

«Можешь остаться».

— Прямо колдовство какое-то,— сказал Бенони.— Разве ты не был мне нужен каждый день и каждый час? Разве у меня не надо каждую минуту что-нибудь подкрашивать и подмазывать? — воскликнул он и отвернулся.— Прикажешь мне самому белить свои стены?

У Бенони были серьезные причины для досады. Едва вернувшись домой, этот честолюбивый человек заметил, что все подряд считают его окончательно разорившимся.

Люди жалели об этом. Бенони никогда не был злым соседом и никому не отказывал в помощи, если к нему обратиться. Но теперь он потерял все свои средства, ходили даже слухи, что ему пришлось заложить все свои постройки. А теперь, вдобавок, и рыбацкое счастье от него отвернулось: за все лето ни одного улова. Великая досада охватывала Бенони, когда люди по старой привычке называли его без обиняков Бенони. А Стен, приказчик, который с прошлого Рождества имел на Бенони зуб, тот и вообще начал без зазрения совести говорить ему «ты».

— Ты кому это тычешь?— взорвался Бенони.— Не советую тебе поступать так впредь.

— А тебе я не советую изображать из себя корову, когда сам ты телок.

Да, этот Стен не лез за словом в карман, и языком его Бог не обидел.

— Как бы Мак не сказал тебе пару ласковых,— угрожающе сказал Бенони.

И он прошел к Маку.

А перед ним стоял Мак, точно такой как прежде, с бриллиантовой булавкой в галстук, с крашеными волосами и бородой, словом, на его внешности неудача никак не отразилась. В то время как молва безжалостно разделялась с Бенони, этому гордому барину, Маку из Сирилунна, она не нанесла ни малейшего ущерба. Он прикарманил денежки Бенони—эка невидаль, в делах он верткий, как угорь, станет он по доброй воле отказываться от пяти тысяч. Но с другой стороны, разве кто-нибудь слышал, чтобы Мак надул какую-нибудь рыбацкую семью хоть на несколько шиллингов? Нет, Мак не из таких.

— Ну, сказал Мак Бенони,— не везло тебе в этом году?

— Не везло.

— Каждый раз и не может везти.

— Эх, будь у меня та сельдь, которую я видел в море. Но мне было не суждено ее выловить.

— Другой раз, может, тебе повезет больше.

— А я-то надеялся, что вы дождетесь, пока я вернусь домой, и не станете до того продавать сухую рыбу в Берген,— сказал Бенони.

На это Мак:

— Так я ведь не знал, когда ты вернешься. Мог бы прислать письмо.

— Нет, нет, оно, пожалуй, и лучше, что Арн-Сушильщик повел галеас, он это сделает лучше, чем я. Просто, по моему скромному мнению...

— Эх, знать бы мне, когда ты вернешься... Хотя, с другой стороны, я вовсе не обязан тебя дожидаться...— вдруг отрезал Мак.

Бенони сразу присмирел и начал толковать о промежуточных расчетах. Он, конечно, не бедняк, но за лето у него не было никаких доходов, и потому он не может заплатить за фамильные ценности. С видом непривычно кротким он попросил об отсрочке.

— Пусть будет за мной, покуда вы не вернете мои пять тысяч,— промолвил Бенони в последнем усилии казаться человеком состоятельным.

— Как пожелаешь. А вообще-то я охотно возьму фамильные ценности обратно,— предложил Мак.

— Обратно?

— Да, за ту же цену. Мне их недостает.

Бенони на минуту задумался. Интересно, как это обанкротившийся человек может предлагать ему такую сделку? И что скажут люди, если Бенони повезет вещи из своего дома? Значит, приперло — скажут люди.

— Во всяком случае, пианино и немного больше серебра мне определенно понадобятся,— сказал Мак.

— Не знаю, не знаю, у меня пока нет нужды продавать эти вещи.

— Ну, как хочешь.

Мак кивнул и взялся за перо.

А Бенони побрел домой. Слава богу, его еще не так прижало, чтобы просить Мака открыть ему кредит в лавке, у него еще оставался пакет с кой-какой наличностью на дне укладки, может, и не меньше, чем есть в сундуке у Мака. Какого дьявола люди возводят на него всякие небылицы? По счастью, раз у него есть крыша над головой и еды хватает, разве это нужда? Величие Мака тоже не такое уж великое, хотя он намерен обзавестись новым пианино и новым серебром. А деньги он, спрашивается, откуда возьмет?

А дальше Бенони подумал о том, что Мак большой негодяй, с которым лучше не иметь дел. Вот теперь он не поручил Бенони вести галеас на Лофотен и загрузить там три судна. Арн-Сушильщик сделает и это.

Прошло несколько недель. И снова Бенони нечем было заняться, кроме как ходить в церковь по воскресеньям.

В Сирилунне день большого забоя свиней. Полугодовалого боровка уже лишили жизни, теперь он мертвое тело и брошен в кипяток. Настала очередь годовалого жирного чудища с белыми и черными пятнами и железными кольцами в пяточке. Много батраков и девушек занято этой работой, а само убийство совершает старший батрак; Свен-Сторож и Уле-Мужик у него на подхвате, а кухарка и Брамапутра бегают взад и вперед за кипятком, чтобы ошпаривать свиней. Скотница им совершенно не помогает, она ходит и проливает слезы над бедной скотиной, как проливала каждый год.

Старший батрак малость побаивается иметь дело с большим хряком. Свен-Сторож говорит, что лучше бы всего его пристрелить, как заведено у всех порядочных людей, но экономка раз и навсегда запретила стрелять, чтобы кровь не пропала даром.

— Ну, пошли, выведем его,—говорит батрак и напускает на себя бесстрашный вид.

— Да-да,—в один голос отвечают Свен-Сторож и Уле-Мужик.

Они покидают женщин, которые продолжают ошпаривать полугодовалого и дергать из него щетину. Стая ворон и сорок с громким граем кружится над ними.

Трое мужчин шествуют к свинарнику, хряк задирает пяточок к небу, хрюкает и глядит на них. У них уже приготовлена петля, чтобы стреножить его сзади; скотница выманивает хряка во двор корытом, в которое положен корм, хряк охотно идет на ее зов, но время от времени хрюкает, словно задает небольшие вопросы. Батрак кличет Брамапутру, чтоб она приготовила лохань для крови. Неспешно, мелкими шажками процессия пятится к саням, которые нарочно приготовлены для забоя, и вот она уже уперлась в сани. Кухарка бросает свою работу с полугодовалым подсвинком и спешно юркает в кухню; она не переносит вида крови. Немало язвительных слов несет ей вслед. Брамапутра стоит позади со своей лоханью; на дно лохани высыпана пригоршня соли, короче, все готово.

Хряк то хрюкнет, то остановится и прислушается. Он моргает глазами и силится понять, чего хотят от него эти люди. Скотнице велено держаться поближе, чтобы успокоить его, но слезы застилают ей глаза, и вдруг она стремглав бросается прочь, скрючившись, плача на-

взрыд, изнемогая от скорби. Тут хряк перестает слушаться и хочет бежать за ней.

— Хоть бы ты корыто оставила, чертова дура! — громыкает старшой, он и без того пылает от злости. Но скотница уже ничего не слышит.

Тут хряк начинает визжать: веревочная петля захлестнула его ноги и не дает побежать за скотницей и за корытом. Зачем людям понадобилась эта петля? Он визжит изо всех сил, и старшому приходится орать что есть мочи, чтобы перекричать его.

— Не дайте петле съехать, черт подери! Ну, так я и знал! Идиот проклятый! — рывкает он на Уле-Мужика, который уронил петлю. Хряк совершает несколько отчаянных прыжков через двор. Свен-Сторож исхитряется его нагнать, перехватывает петлю и затягивает, огромная гора мяса валится наземь. В падении он чуть не увлекает за собой Свена, но тому удается устоять на ногах.

Со зловецим и сумрачным видом старший батрак откладывает длинный нож и приближается к Уле-Мужику

— Ты, никак, на ворон загляделся и потому выпустил канат?

— А тебе какое дело, твои вороны, что ли?

— Ах, так!

Батрак кипит от ярости. Не он ли сам набирал свою команду для этой поганой работы?! Он подошел к Свену и сказал:

«Ты должен сегодня мне помочь, надо зарезать одну или двух свиней!»

А Уле-Мужику он сказал: «И ты тоже помогай».

Теперь он трижды пронзает кулаком воздух, после чего спрашивает как грозный и свирепый мужчина:

— Ты вот это видишь?

Но в ответ Уле-Мужик лишь смеется и продолжает:

— Сороки — и те не твои.

— Вот это ты видишь? — спрашивает старшой, настойчиво демонстрируя свой кулак. — Вот этим я тебе заеду в рожу, если ты еще раз отпустишь канат.

— Да пошел ты отсюда! Лучше дай мне нож, так я сам его прирежу.

— Ты-то?

Подходит Свен, таща за собой борова, тот страшно кричит и сопротивляется изо всех сил. Уле плюет на одну руку и плюет на другую и перехватывает канат. А у Свена в руках петля поменьше, чтоб связать морду борова, он стоит и дожидается удобного случая.

— Берегись! — кричит Брамапутра. Она знает, что он взялся за опасное дело, боров может дернуться и оторвать кисть руки вместе с петлей.

— Ну, только скажи Свену еще слово! — предостерегает старшой. Он стоит и переминается с ноги на ногу.

Брамапутра глядит на него.

— А я знаю, почему ты злишься! Это потому, что я не желаю тебя поцеловать.

Когда Уле-Мужик слышит эти слова, глаза у него делаются как два буравчика.

— Вот уж заткну я тебе глотку... — говорит он.

Свен-Сторж по первому разу охватывает петлей свиное рыло, а за первой с молниеносной скоростью следуют другие петли. Теперь боров безопасен и к нему можно подступиться. Петля сдавливает его крик, он способен лишь тяжело дышать сквозь веревки. Потом его хватают за все четыре ноги и заваливают на сани. Движения этих людей отличает ненужная резкость и жестокость, потому что все они нервничают и возбуждены. Победенный боров лежит на санях, а батрак достает нож и примеривается, куда лучше ударить.

— Не слишком высоко! — советует Уле-Мужик.

— Не говори под руку, — предостерегает Брамапутра и уже начинает размешивать соль. Соль шумно скребет о дно лохани.

Нож входит в горло. Батрак вонзает его дважды, чтобы пройти слой сала. Со стороны кажется, будто нож через жирное горло скользит по салу внутрь до самой рукоятки.

Сперва боров ничего не почувствовал, он просто полегал несколько секунд, задумавшись. Но потом он понял, что его убили, и издал задушенный визг, и визжал до тех пор, пока силы не оставили его. Кровь непрерывной струей бежала из разреза, и Брамапутра без усталости работала шумовкой.

— Вот легкая смерть, когда тебя убивают, — задумчиво сказал Свен-Сторж.

— А ты пробовал?

— Всего одна минута и для того, кто убивает, и для того, кто умрет...

А на вторую половину дня Свен отпросился, чтобы сходить к Бенони и прочистить трубу. Он прихватил длинные березовые метлы и можжевельный ершик на длинной стальной проволоке.

Бенони сидит дома. Насчет прочистки трубы — это у него очередная дурацкая выдумка, чтобы показать лю-

дям, что печная труба в его доме работает без устали и огонь в очаге почти никогда не гаснет.

— Большое тебе спасибо, что ты готов оказать мне эту услугу,— говорит Бенони и подносит Свену рюмочку. Между этими двумя неизменно сохранялись дружеские отношения, потому что Свен всегда держался очень вежливо.

— Просто стыдно мне было бы не оказать Хартвигсену такую ерундовую услугу,— отвечал он.

Он вышел на кухню, убрал с плиты сковороды и кастрюли, а уж после того полез на крышу. Бенони пошел за ним следом, стоял и разговаривал.

— Ну, какова сажа? Жирная?

— Да еще как! Жирная и блестящая!

— А все от жаркого,— сказал Бенони.— Я сколько раз говорил кухарке, что мы и без этого обойдемся, но ей никак не втолкуешь.

— Да уж женщины — они...— улыбнулся Свен.

— Бедняжка, в моем доме она привыкла к роскоши,— оправдывает Бенони кухарку.— Значит, сажа, говоришь, жирная и черная?

— Я прямо такой жирной и не видел.

Бенони доволен сверх всякой меры, вдобавок его радует возможность снова покалякать со старым дружкой по «Фунтусу» и по неводу. Его бы власть, он бы как можно дольше продержал Свена на крыше, чтобы народ, идущий в лавку и обратно, мог его увидеть.

— А если мне откупить твой алмаз?

— Ну это уж слишком. Да и на что он вам?

— Пусть лежит. Мало, что ли, у меня всяких ценностей! И все больше становится. Скоро они будут лежать от пола до потолка.

Свен-Сторож говорит, что вот если бы Хартвигсен подкинул ему для-ради того несколько талеров под залог этого алмаза, было бы очень здорово.

— Для-ради чего?

— Ну, чтоб нам с Эллен пожениться.

— Значит, вот как? А жить вы где будете?

— Фредрик Менза помрет, могли бы в его комнатенке.

— А с Маком ты говорил?

— Да, Эллен с ним говорила. Он сказал, что подумает об этом.

Бенони тоже подумал об этом.

— Я куплю твой алмаз и заплачу тебе наличными. Чтоб ты не был связан по рукам и ногам из-за каких-то нескольких талеров.

Прежде чем слезть с крыши, Свен бросает взгляд окрест и говорит:

— А вот и адвокат снова идет в лавку.

— Да ну?!

— Он частенько туда заглядывает. Не к добру это.

Бенони вспоминает Розу и те времена, когда он считался ее женихом, и, покачав головой, говорит:

— Да, да, верно, Розин муж заколачивает большие деньги.

Но Свен меньше всего желает адвокату Арентсену добра. Вот и насчет больших денег он не согласен.

— Давайте прикинем, Хартвигсен, сколько он там на самом деле зарабатывает. Ну, ведет он несколько дел и получает за них несколько талеров. А талеры ему, между прочим, ой как нужны. Когда его отец умрет, он уже не сможет даром жить в пономаревом доме, придется строить новый. Или снимать. И мать у него, к слову сказать, тоже есть.

Под всевозможными предложениями Бенони задерживает Свена на крыше, пока на горизонте снова не появляется адвокат, уже по дороге из лавки.

— Он, как, твердо на ногах держится?

— Очень даже твердо, дело-то для него привычное,— отвечает Свен-Сторож.

Затем он спускается с крыши, проходит на кухню и начинает заметать сажу. Бенони все время ходит за ним по пятам.

— Я, знаешь, вспомнил шнурок от звонка, у Мака который. Так, говоришь, он из серебряной нити и бархата?

— Из серебряной и шелковой. Это кисточка была из красного бархата.

— Интересно, Мак его не согласится продать?

— Может, и согласится. А вы бы купили?

— Я бы не прочь завести такой звонок,— говорит Бенони.— И не гонюсь за дешевизной. Можно позвонить, прямо лежа в постели?

— Вот так, прямо лежишь и дергаешь за кисточку, раз дернешь или два, как пожелаешь. Но, конечно, не обязательно ложиться в постель, когда захочешь позвонить,— улыбаясь говорит веселый Свен-Сторож, этот жизнерадостный парень, для пущей забавы.

— Лучше я привезу себе такой звонок из Бергена,— серьезно говорит Бенони.— За ценой я не постою. Я хочу, чтобы в моем доме висело и лежало много всяких штук...

Но не каждый час своей жизни Бенони был так уверен в своем достатке; когда ночь выдавалась тихая и долгая, он нередко лежал без сна, и мучительные сомнения насчет собственного богатства донимали его. Ведь что у него есть на самом деле? Если отвлечься от тех пяти тысяч, которые выманил у него этот негодяй Мак, ему принадлежит только дом и сарай для лодок, а невод скоро вообще ничего не будет стоить. Невесело было засыпать под такие мысли...

По воскресеньям Бенони одевается понарядней и идет в церковь. У него теплится надежда увидеть в церкви одного человека, вот почему он одевается с особым тщанием в две куртки и сапоги с высокими лаковыми голенищами, каких здесь ни у кого нет. Как-то после одного из воскресных богослужений Бенони возвращается домой в особенно сумрачном расположении духа.

Арт-Сушильщик вернулся на «Фунтусе» из Бергена и сделал рейс вместо Бенони, да вдобавок так успешно, словно заставил работать на себя удачу Бенони. Вот и получалось, что не сегодня завтра сходить до Бергена сможет любой дурак. И «Фунтус» был, как и обычно, загружен всяким товаром, но вдобавок среди товара оказался один наособицу тяжелый ящик, с которым еле-еле справлялись восемь работников, это было новое пианино, которое купил себе Мак. Бенони выпучил глаза и разинул рот, когда услышал про пианино и про блестящее столовое серебро, которое тоже купил Мак. Откуда только этот негодяй взял деньги? Пианино было водружено в большой гостиной у Мака, и Роза его опробовала, несколько легких прикосновений кончиками пальцев, после чего молодая женщина вся в слезах выбежала из гостиной — такой дивный звук оказался у новой покупки.

Но у Бенони была еще одна ужасная причина прийти в отчаяние: сегодня выложили для всеобщего ознакомления ежегодный налоговый реестр, и с Бенони обошлись в нем без всякого почтения: его не причисляли более к состоятельным налогоплательщикам.

Прочитав это, Бенони побледнел как полотно, и ему показалось, будто люди меряют его сочувственными взглядами. Тогда он засмеялся и сказал: «Вот и слава Богу, что мне больше не надо платить налоги», — но огорчился до того, что даже губы у него задрожали. Возвращаясь из церкви домой, он решил отыскать налогового инспектора и выразить ему свою благодарность, он даже засмеется,

пожмет руку инспектору за то, что его, Бенони, освободили от налога на состояние, ха-ха.

Его нагнал Арон из Хопана. Бенони нахмурил брови; всего лишь несколько месяцев назад только наиболее состоятельные люди позволяли себе перехватывать Бенони Хартвигсена посреди дороги и навязываться ему в провожатые. Когда Арон сказал «Мир вам!», Бенони сухо ответил: «Добрый день!», чтобы хоть так показать, что Арон ему не ровня.

Арон заводит разговор про ветер и про погоду, как здесь принято, и только после этого переходит к делу: не может ли Хартвигсен подсобить его горю.

Какое горе-то?

Да вот этот процесс. Адвокат Арентсен заполучил его первую корову, а теперь, считай, и вторая на него описана. Но насчет второй коровы жена сказала «Хватит!». Она ее живьем со двора не выпустит.

— Уж и не знаю, как тебе помочь,— сказал Бенони, хоть и с трудом, но принижая самого себя.— Ты ведь и сам нынче видел в налоговом реестре. Я считаюсь человеком без состояния, хе-хе.

— В жизни такой чепухи не слышал. У кого ж тогда и есть состояние?..— И тут Арон заговорил о своих горах: не пожелает ли Хартвигсен откупить у него горы.

— Почему ты их мне предлагаешь, твои горы?

— А кому ж еще, как не вам? Я пришел к тому, кто наделен властью. Я уже и с адвокатом про эти благодатные горы говорил, но у него власти нет, я говорил про них с Маком, но и у него тоже нет.

Заслышав это, Бенони сказал:

— Ладно, я подумаю. А со смотрителем ты разговаривал?

Со смотрителем?! Он переслал камни одному профессору в Христианию, по моей просьбе, и получил ответ, что в них есть свинцовая руда и серебро. Больше смотритель ничего для меня сделать не может. Вы—единственный человек, у кого есть власть.

Да, да,— говорит Бенони, перебрав в голове несколько торопливых мыслей,— для меня несколько грошей погоды не делают, за этим дело не станет. Я куплю горы.

— Буду по гроб жизни вам обязан.

— Приходи ко мне завтра с утречка,— отрывисто, в подражание Маку, говорит Бенони и кивает точно так же, как это делает Мак.

На том и порешили.

День спустя Бенони еще раз переговорил со зрителем Шёнинггом.

Дряхлый старик был горд и доволен, что его мнение сыграло хоть какую-то роль; так ли, иначе ли, но эти горы, которые он исходил за много лет вдоль и поперек, перейдут в другие руки, произойдет какая-то перемена, его идея впредь не будет лежать мертвым грузом. Зритель велел хорошенько заплатить за эту четверть мили, выложить не меньше десяти тысяч.

Но оба они, и Арон из Хопана, и Бенони, были люди благоразумные и понимали, что зрителя занесло. Бенони оставался самим собой и покупал горы не просто так, правда, в рудах и серебре он мало что смыслил, но, если приложить руки и немного денег в придачу, на участке вдоль моря и общинного леса можно будет сделать отличную сушильню для рыбы. Может, когда-нибудь ему доведется закупить на собственные средства груз рыбы у Лофотенов, тут-то ему и понадобится своя сушильня.

С Аронем они сошлись на ста талерах за горы и за лесок, росший на них. Помощник ленсмана составил купчую.

Но когда пришел срок выкладывать деньги, Бенони вдруг ощутил себя вроде как благодетелем и опекуном Арона и поэтому сказал:

— Только чтоб эти деньги не уплыли во двор пономаря, к адвокату, понимаешь? Это тебе не по карману.

— Гм-гм... Что касается... Отдать все деньги? Боже меня сохрани!

— А под какой заклад ты отдал корову?

— Двенадцать талеров.

Бенони отсчитывает двенадцать талеров и передает Арону:

— Вот это пусть будет Николаю, и на этом твой процесс окончен.

После чего Бенони отсчитывает восемьдесят восемь талеров и заворачивает их в бумажку со словами:

— А вот это не для Николая.

Арон из Хопана знал, какая связь существует между Бенони и Розой, женой адвоката, поэтому, принимая деньги, он сказал:

— Не для Николая, нет и нет.

— Посмотрим, как ты сдержишь слово.

До чего ж было приятно давать советы, и быть Маком, и пользоваться уважением людей! И пусть Арон

рассказывает дальше, что сказал и что сделал Бенони Хартвигсен...

А помощник ленсмана прихватил купчую, чтобы засвидетельствовать ее в суде.

XXI

Бенони никак не мог справиться с тем, что называл «мрак в голове». Со времени их последнего прощания весной, на дороге, он ни разу не видел Розы. Где она только пропадала? Конечно, он желает ей счастливого пути, но то, что она глаз не кажет в церковь, не встречается ему на дороге, не бывает в Сирилунне, как в былые дни... А ведь старый пономарь умер, так что и за больным ходить ей теперь не надо. А впрочем, какое ему дело до Розы.

И хотя Бенони побывал у сборщика налогов и чего-то перед ним изображал, налоговое управление не удостоило Бенони чести стоять в списке налогоплательщиков. Просто заговор какой-то, они хотят придавить его к земле, отбросить к тем, кто прежде был ему ровня.

Недобрые дни и ночи переживал Бенони. Бог весть, может, люди и правы, когда говорят, что дела его идут под гору. Уж чего он только не выдумывал, чтобы доказать людям свою зажиточность,— и все без толку: он просил очистить свою трубу от жирной жарочной сажи, всадил уйму денег из своей жалкой наличности в гору, которая ему навряд ли когда понадобится, мало того — из чистого бахвальства купил алмаз для резки стекла. Люди все равно думают, что Бенони долго не продержится и что в один прекрасный день Мак из Сирилунна купит его за долги. Я влачусь, как вол под ярмом, подумал Бенони на библейский лад, а если на мирской, то он думал примерно так: меня относит в сторону.

Настал сочельник. Бенони сидел дома. Не как в прошлом году, когда его звали Хартвигсеном и приглашали к Маку. Но пусть великий Мак из Сирилунна поопасется! Срок деньгам, этим самым пяти тысячам талеров, уже истек тому несколько недель, но Бенони умышленно не пошел требовать их, чтобы сперва поглядеть, пригласят ли его на сочельник в Сирилунн. Бенони больше не думал о том, чтобы шадить Мака, и вовсе не ради Мака он терпел, а вот Роза почти наверняка будет там в сочельник... Хотя, с другой стороны, какое ему дело до Розы?!

Бенони начинает разводить экономию по отношению к самому себе. Он ухлопал столько наличности, что не сегодня завтра ему придется просить Мака, чтобы тот открыл ему кредит в лавке. Но он стремится по возможности отодвинуть этот день как можно дальше. Сперва он наливает в чашку сливки и только потом льет сверху кофе, чтобы зря не размешивать серебряной ложкой. Потом он посыпает свечу солью вокруг фитиля и произносит: «Ну, пусть горит во имя Христова!» Но соль-то он сыплет затем, чтобы свеча горела как можно дольше. Потом одиноко садится за стол, ест приготовленную еду и выпивает пару рюмочек. Покончив с трапезой, он читает молитву и опять выпивает рюмочку-другую, затем он поет псалом. А больше, собственно, и делать нечего.

А Роза-то небось сидит в Сирилунне и играет на новом пианино. У нее такие мягкие ручки, у Розы...

Бенони роняет голову на стол и задремывает. Но присоленная свеча трещит и плочется и время от времени стреляет, что снова его будит. Тогда он в тысячный раз начинает размышлять о своей жизни, и о Розе, и о своей наличности, и о богатом убранстве дома, и о неводе. Да, да, ему явно грозит разорение. Попутно вспомнив про горы, недавно откупленные у Арона, он решает, что горы эти увеличат его достояние, его имущество, а больше от них ждать нечего. Ладно, раз он разорен, быть посему, а Розе он все равно отправит вилку и ложечку, которые когда-то отложил для нее.

Стучат, и в комнату входит Свен-Сторож.

— Надеюсь,— тотчас же восклицает Бенони,— что ты не ел и не пил до того, как прийти ко мне? Здесь ты получишь все, чего твоей душеньке угодно,— продолжает он возбужденно. Он не вглядывается в лицо Свена, он говорит без умолку:— Не пойму, чего не хватает моей свече, и уж поганые свечи делают нынче, ну совсем не светят.

— Да и так светло,— с отсутствующим видом говорит Свен. Судя по всему, у него мрачное и подавленное настроение.

Бенони наполняет рюмки, заставляет Свена выпить и раз, и другой, и третий. Потом он прибирает на столе, снова накрывает и болтает без умолку:

— Да, конечно, ты сидел за столом побогаче моего, но, может, ты все-таки не побрезгуешь и моим угощением...

— Нет, нет, я ничем не побрезгую,— отвечал Свен, и прикоснулся к еде, и даже что-то съел.

— Что ж ты всухомятку-то,— сказал Бенони и подлил еще.— В Сирилунне-то небось народу собралось нынче вечером?..

— Да, собралось.

— А чужие кто были?

— Не могу тебе сказать, я там не сидел.

— Не сидел за столом?

— Нет. Да и на кой мне это?

Бенони удивленно воззрился на него.

— Я побродил малость по двору, а потом надумал сходить к вам.

— Что-то ты сегодня на себя не похож. И если ты бродил по двору, верно, у тебя было какое-нибудь дело,— сказал Бенони.

Сколько Свен ни пил, никакого действия вино на него не оказывало, он сидел все такой же бледный и все с таким же отсутствующим видом. Может, он хотел на здоровый лад, по-народному, упиться до самозабвения.

— Нет,— вдруг заговорил он,— я просто ходил, а Эллен, она тоже ходила. А потом ей надо было вернуться в дом, уж и не знаю зачем.

— Верно, за делом. А Роза там была?

— Да.

Бенони кивнул утвердительно.

— Я собираюсь переговорить с Маком после праздников.

— Вы тоже собираетесь переговорить с Маком?

— Должен же я получить свои деньги.

— Вот и я собираюсь переговорить с Маком. Дальше так нельзя,— сказал Свен-Сторож.— Фредрик Менза никак не умрет; но я-то хочу жениться и переехать в его комнату.

— Если только ты получишь ее добром.

— Мне все равно, добром или злом.

Бенони больше доверял словам простым, нежели словам возвышенным, и решил переменить тему:

— Значит, и адвокат там был?

— Был, это он меня спугнул.

— Спугнул?

— Ну да, я чуть ее не зарезал...— Свен достает из внутреннего кармана длинный нож старшего батрака и вдруг становится убийственно серьезным, сидит, разглядывает нож и проводит пальцами по лезвию.

— Ты совсем спятил!— восклицает Бенони.— Подай сюда нож!

Но Свен снова прячет нож в карман и начинает рассказывать, начинает изливать душу.

Мак попросил экономку приготовить ему воду для купанья. Экономка сказала: слушаюсь. А потом он попросил Эллен прийти к нему на обыск, а Эллен не захотела. Только попробуй, говорю я ей. Это было сегодня утром. А вечером Мак ее снова перехватил и попросил спрятать за ужином вилку и прийти к нему, и он ее обыщет, и она пообещалась. Заслышав это, я пошел к батраку и сказал ему: «Дай-ка мне твой пятидюймовый нож!» — «Зачем он тебе понадобился? Он слишком хорош для твоих дел», — «Бороду хочу обрить», — сказал я. Нож я получил, но бриться не стал, а сунул его в карман и пошел к Эллен. Я просил Эллен выйти со мной, но она побоялась и не захотела идти. Сказала, что ей некогда. Я еще раз ее попросил, и тогда она ответила: «Ладно, ладно, ради бога», — и вышла за мной. «Ты пообещала прийти, чтоб тебя обыскивали?» — спросил я. «Нет!» — ответила она. «Только попробуй!» — сказал я, — ты у нас слишком добрая, и этому не бывать!» — «Не возьму в толк, что это с вами творится, прямо всем я нужная, ни минуты покоя, даже сшить я себе ничего не могу», — сказала она. А я ей ответил: «Учти, что мне ты тоже нужна, но я от тебя ни разу не слышал ничего, кроме «нет», значит, остается одно: взять и уехать». — «Да, да», — говорит она. «Значит, «да, да», говоришь? — спрашиваю я, а сам перехожу на крик: — А ты знаешь, что я тогда сделаю?» Эллен глянула на меня и шмыгнула в дом через кухню. А я ходил-ходил по двору, становилось все темней, я обошел дом и подошел к главному входу, там не было ни живой души, только свеча стояла и горела, одна свеча, и все. Когда я вошел в людскую, всех как раз пригласили к ужину, значит, все должны были собраться и сесть за стол. Я вернулся к главному ходу и ждал перед ним. Потом пришла Эллен. «Я прямо обыскалась тебя», — сказала она, — прошу тебя, иди к столу». Тут я никак не мог ее схватить, уж больно ласково она это сказала: «Прошу, мол, тебя». — «А ты пойдешь к нему вечером?» — спросил я. «Уж, верно, пойду», — ответила она. «А может, плюнешь?» — «Нет, никак нельзя!» И подошла ко мне, и обняла меня, и поцеловала. Я сразу унюхал, что она вышила чего-то крепкого. «Ты, верно, потому и не боишься моего ножа, что вышила?» — спрашиваю. «Не боюсь я твоего ножа, если что, я закричу, и выйдет Мак», — «Ну так я и его убью». И тут она мне и ответила: «Сперва надо нас обоих спросить!»

Свен умолк, задумался, выпил одну за другой две рюмки, поднял глаза на Бенони и повторил:

— Она мне и отвечает: «Сперва надо нас обоих спросить».

— Интересно, что она имела в виду?

— Вот уж не скажу.

— А ты ее бил?

— Я ее схватил за волосы, но она так крепко меня обнимала, что я не мог достать нож из кармана. Я несколько раз ударил ее, она упала на колени, и сказал: «Давай зови его!» — «Нет, — ответила она. — Не стану я его звать. И еще могу тебе сказать, что сегодня днем я уже была у него, и пойду опять, и чтоб больше к нему никто не ходил». Я стоял и слушал, и что-то странное со мной творилось. Когда я хотел выхватить нож, нож оказался у нее в руке, я заломил ей руку и отобрал у нее нож, а она вдруг все равно как червяк уползла от меня по земле, я уже больше не держал ее, а потом она шмыгнула в сени. Я рванулся за ней и тут увидел, что в дверях гостиной стоит адвокат и выглядывает в сени. Я с разбегу остановился. «Это что за шум?» — спросил адвокат и снова прикрыл дверь. Эллен прихватила волосы рукой и взбежала по лестнице. Я все равно хотел бежать за ней, но адвокат еще раз выставил голову из дверей и посмотрел.

У Бенони не укладывалась в голове такая жестокость, и рассказ Свена он воспринимал, как историю из газет. Свен механически осушил еще одну рюмку и начал раскисать.

— Так я и не убил ее, — завершил он свое повествование.

— Если все было так, как ты рассказываешь, и ты держал себя с ней будто дикий зверь, тогда мне ничего не остается, кроме как связать тебя веревкой.

— Да, все так и было.

— Сегодня вечером?

— Говорю же: все так и было. Совсем недавно.

Бенони говорит:

— Уж и не знаю, следует ли тебе сидеть у меня в доме. Убирайся куда глаза глядят. Знаешь, как ты себя вел? Как дикий зверь.

Свен сидит, молчит и думает про себя. Потом он спрашивает:

— Интересно, что же она все-таки имела в виду, когда сказала: сперва надо нас обоих спросить. Она влюблена в него, вот что.

— В Мака? — Бенони словно упал с неба на землю.

— Да, в него.

Свен сидит, наклонясь вперед, думает и моргает глазами. Его все больше развозит. Мало-помалу Бенони начинает догадываться, что этот иступленный человек очень страдает и доведен до крайности. Но чтобы подумать, что горничная Эллен влюблена в Мака, — для этого надо и вовсе рехнуться.

— Слушай, посиди часок тихонько, образумься, а потом мы с тобой вместе пойдем в Сирилунн. Можешь идти туда вполне спокойно, раз я иду рядом.

Но после пережитого волнения Свен окончательно сник и глаза у него начали слипаться. Усилием воли он распахнул их и сказал:

— Хоть бы она не обрзалась этим ножом, пошли в Сирилунн.

Он пытался встать с места, рухнул обратно и идти не смог. Бенони вынул нож у него из кармана.

XXVII

Через несколько дней после Рождества Бенони пошел к Маку. Мак, верно, сразу смекнул, зачем пожаловал гость, а потому сказал:

— Добрый день, Хартвигсен, а я уже хотел посылать за тобой, у нас с тобой есть неоконченные дела, вот я и хотел бы их окончить.

Бенони наострил уши. Быть того не может, чтобы Мак вернул ему деньги.

— Ну, во-первых, я очень сожалею, что не пригласил тебя на праздник. На сей раз это было просто невозможно, — сказал Мак.

— Не о чем говорить, — ответил Бенони не без горечи. — Не такой на мне чин или звание.

— Нет! Совсем не то! Хочу тебе сказать, дорогой мой Хартвигсен, что нет человека, которого мне приятней видеть, чем тебя. Но щадя тебя же и других людей, я не смог тебя пригласить.

— Не укусил бы я ее, — сказал Бенони.

— Гм-гм! Думаю, ты представляешь себе, как неловко было бы... было бы всем нам. Ее муж тоже присутствовал.

Бенони начал догадываться, что Мак не так уж и неправ, а потому сказал с оттенком признательности:

— Да, да, об этом я даже и не подумал.

Мак открыл конторку и достал связку ключей и ларец с деньгами. Ларец казался благодатно тяжелым в его тонкой руке. Потом Мак неожиданно спросил:

— Да, ты не мог бы в этом году сходить на «Фунтусе» к Лофотенам?

— Не мог бы я... На «Фунтусе»?

— В этом году, как и в прошлом?

— А разве не Арн-Сушильщик пойдет нынче на «Фунтусе»?

— Нет,— отрывисто сказал Мак.

Молчание.

— Ты ведь понимаешь, что Арна-Сушильщика я могу послать в Берген,— сказал Мак.— Невелик труд доставить груз. Но я не могу поручить ему *закупить* товар на три шхуны. Для этого нужно иметь голову на плечах.

— Ну, если он годился для Бергена...— начал было Бенони.

— Но прежде всего,— невозмутимо продолжал Мак,— тут еще нужно чувство ответственности. У Арна-Сушильщика ничего нет за душой, а тебе я могу доверить любые тысячи. Ты вполне подходишь.

Для Бенони было как маслом по сердцу слушать из уст Мака эти слова, после всех сплетен о банкротстве, которые ему пришлось вытерпеть. Он ответил:

— Не все так думают, как вы. Для налогового инспектора я человек без состояния.

— Ну до чего ж счастливый человек! Нет состояния, нет доходов, нет и налогов! Вилладс-Грузчик и Уле-Мужик поведут каждый свою шхуну, как и в прошлом году. А на «Фунтус» ты, верно, возьмешь Свена?

Из врожденного уважения к Маку из Сирилунна, из усвоенной с детства привычки повиноваться этому владыке надо всем сущим на много миль окрест Бенони не отклонил с места в карьер предложение Мака. Он знал к тому же, что если и есть на свете человек, который одним махом способен восстановить людскую веру в его состояние, то этот человек опять-таки Мак.

Он сказал:

— Если б я считал, что достаточно хорош для этого дела...

— В прошлом году был достаточно.

И тогда Бенони промолвил:

— Беда в том, что денег-то нет...

— Как нет? — удивился Мак. — Вот они, деньги, — пояснил он и положил ладонь на ларчик.

— Разве что так.

— Но дело в том, что деньги мне пока и самому нужны, — сказал Мак, после чего сразу перешел к делу. — Я бы хотел получить отсрочку, чтобы на эти деньги купить рыбу. У меня такое предложение: ты сам идешь к Лофотенам, закупаешь груз на все три судна, закупаешь рыбу сколько пожелаешь. А осенью, когда я продам рыбу, ты получаешь свои деньги, и с процентами.

— Нет, — ответил Бенони, — я решил... Нет, все равно нет... Кто мне поручится, что я получу свои деньги осенью?

— А рыба чем тебе не залог?

— Разве рыба — залог?

— Само собой. Рыба твоя, пока я не продам ее. А когда продам, деньги твои.

Бенони связал этот новый проект с сушильными площадками, которые он приобрел, теперь ему понадобится его гора, потому что теперь у него будет рыба. В рассуждениях Мака ему почудилась какая-то неувязка:

— Но если я буду покупать рыбу за свои собственные деньги, значит, я по сути куплю ее не для вас.

— Дорогой Хартвигсен! Чтобы купить рыбу, нужны корабли, у меня их три, у тебя ни одного. Вдобавок я сегодня хочу помочь тебе, как помогал раньше; начинай помаленьку приучаться к делу. Ты, верно, собираешься рано или поздно покупать рыбу для себя, не то чего ради ты стал бы обзаводиться сушильными площадками? И вот, веря в твою хорошую голову и твою легкую руку, я тебе в этом году разрешаю приучаться к делу за мой счет; если я вдобавок буду с барышом, то и слава богу, если понесу убытки, так это я их понесу, а не ты. А ты получишь за свои деньги процент повыше, и это не считая платы за кредит.

Бенони долго стоял и думал, а потом, наконец, сказал:

— Мне бы хотелось сперва взглянуть на эти деньги.

Мак открыл шкатулку и начал вынимать оттуда пачку за пачкой. Бенони так высоко поднял брови, что складки на его низком лбу убежали под самую шевелюру.

— Пересчитать хочешь? — спросил Мак.

— Да нет, я просто хотел... Оставьте как есть...

И Бенони вышел из конторы Мака с такими же пустыми карманами, с какими пришел. Только перед самым

уходом он спохватился и выговорил себе кредит в лавке до осени, когда будет продана сушеная рыба. Мак не сказал нет, отнюдь не сказал нет, и открыл ему кредит в своей лавке.

— Как-нибудь хватит и на это,— сказал Мак.

И хотя Бенони не без содрогания думал про малопривычного Стена-Приказчика, пришлось ему идти в лавку.

— Если я пришлю свою кухарку за каким-нибудь товаром в лавку, запиши это на мой счет.

— Тебе Мак открыл кредит?— спросил Стен-Приказчик.

Бенони проглотил его наглость и ответил с улыбкой:

— Да. Он считает, что я для этого достаточно хорош.

А ты так считаешь?

— Я-то? А мне не все равно, на кого записывать? В наших книгах все записаны.

— Ха-ха! Сказал бы уж лучше: в *моих* книгах!

Бенони хотел осадить этого лавочного зазнайку, который за последнее время слишком обнаглел и заважничал. А тут еще Роза и адвокат взяли одного из детей Стена, девочку шести лет, чтобы было кого посылать с разными поручениями и с кем поболтать, но с этих пор Стен-Приказчик еще пуще задрал нос, потому что его дочери справили новое платье.

— Вот это люди,— сказал он Бенони.— Наряжают мою девочку что твою принцессу, а есть ей дают больше, чем в нее влезает.

— Все потому, что адвокат сам не может стать отцом,— сказал Свен, который стоял тут же и все слушал.

Они еще немного поспорили на эту тему, Свен утверждал, что адвокату недолго осталось важничать, вот ему пришлось освободить дом пономаря и перебраться к кузнецу; разве это подходящее жилье для благородной дамы? А какой муж достался Розе—пасторской дочке? торчит здесь у стойки и пьет. Тьфу!

— Будь я здесь сторожем,— продолжал Свен,— я бы подошел к нему, положил руку на плечо и сказал бы: «А ну, пошли!»

Бенони увел за собой Свена и на улице сказал ему:

— Надо снова сходить на «Фунтусе» к Лофотенам. Как ты насчет этого?

Как Свен насчет этого? Особого желания он явно не испытывал. С Эллен после того рождественского безумства он снова более или менее привел все в порядок, у них вроде все наладилось, от ножа и побоев маленькая Эллен стала заметно лучше. Она прижалась к нему и с укором

сказала: «Ты больше так никогда не будешь, верно?» — «Не буду,— грустно отвечал он с покаянным видом,— я просто очень рассвирепел!» А Мак, тот и вовсе прямо сказал: «Свен может весной на тебе жениться. Только мне убийств в Сирилунне не хватало!»

И вот Свен стоял перед своим прежним шкипером, и не очень-то ему хотелось идти к Лофотенам.

И тут Бенони объяснил, что в этом году будет покупать рыбу для себя.

Для себя? Это совсем другое дело. Собственная рыба? Тут уж Свен не откажется. Стыдно будет, если что...

Бенони на своем галеасе вышел к Лофотенам, две шхуны шли следом. И залив опустел. А зима окутала землю снегом и тишиной...

Между тем адвокат с женой перебрались к кузнецу.

— Это временно,— говорил Арентсен,— потом мы и сами отстроимся.

С ними была старая вдова пономаря и приемыш — дочь Стена-Приказчика.

Они начали устраиваться по собственному разумению, кузнец оставил себе одну-единственную клетушку, кругом натирали, намывали и под конец все блестело чистотой, что сверху, что снизу, а на некоторых окнах появились гардины. Еще никогда комнаты в доме кузнеца не выглядели так нарядно, но и то сказать, они никогда не предназначались для проживания благородных людей. Перед переездом Роза завела грандиозную уборку на несколько дней и немало потрудилась. Мягкий диван и два самых красивых стула были переставлены в кабинет Николая для-ради посторонних людей, которые, возможно, сюда придут, так что гостиная выглядела уныло и пусто, но там это и не имело такого значения. Через несколько лет, может быть, удастся поднакопить денег на пианино, чтобы заполнить зияющую пустоту в углу у той стены, что к морю.

Адвокат прикрепил дощечку на первую же дверь в коридоре, и через эту дверь он неоднократно проходил по своим адвокатским делам, или, на худой конец, для того, чтобы этой дверью пользовались каждый день. Но к нему так никто и не пришел. Стояла зима, все устали, и раздоры стихли. Зря он не похлопотал в свое время о месте рыбацкого судьи, как собирался. А теперь он слонялся без дела, с каждым днем становился все более неинтересным и пустым и не находил иного развлечения, кроме как невинно перекинуться с кузнецом в картишки.

И на душе у адвоката не становилось веселей оттого, что суды обошлись с ним так немилосердно. Вот, например, на днях верховный суд вынес окончательный приговор по иску Левиона из Торпельвикена к сэру Хью Тревилльяну. Дело снова было проиграно, то есть приговор первой инстанции был оставлен в силе. Тоже мне судьи называется! Мало того: верховный суд вынес адвокату Арендсену довольно резкое порицание и наложил на него денежный штраф за содержащиеся в его кассации недостойные намеки по адресу девицы Эдварды. Теперь он не без трепета ожидал окончательных приговоров по ряду других дел такого же рода. Так чем же ему прикажете еще заниматься, кроме как невинно играть в картишки да все чаще наведываться к стойке в Сирилунне?

Не то чтобы Николай Арендсен был совсем уж запойный пьяница, но пил он не без охоты, после чего сразу раскисал от скуки и безделья. Поначалу, подходя к стойке, он делал вид, будто у него простуда с температурой, и, одолев свою осьмушку, уходил восвояси. Но простуда не могла же тянуться вечно, и тогда он начал прибегать к своей осьмушке якобы потому, что наелся соленого за обедом, либо потому, что проделал сегодня долгий путь. «Иди-ка сюда, Стен, налей мне рюмашечку»,—громко кричал он, чтобы показать, что ни капельки не стесняется. Иногда он играл в карты на восьмушку, а потом шел с кузнецом, чтобы распить выигрыш. Когда Роза укоряла его за неподходящую компанию, Арендсен отвечал, что поступает так с умыслом, дабы показать народу, который должен его кормить, что ничуть перед ним не заносится.

Да и между Розой и Арендсеном тоже не все было гладко. Размолвки начались с тех пор, как в день похорон старого пономаря Арендсен снял у него золотое кольцо. Мой дорогой отец вполне мог снять кольцо с пальца еще при жизни, какой ему смысл брать с собой золото на тот свет? Но кольцо молодому Арендсену досталось стертое, узкое, такое не грех бы и оставить на месте, тем не менее Арендсен до тех пор изгибал и выкручивал застывшие пальцы, пока не снял кольцо. Роза услышала об этом не без содрогания и, чтобы утешить старую пономарицу, сказала: «Ничего, он получит от меня кольцо куда красивее прежнего»,—после чего украсила мертвый палец золотым кольцом, которое сама она получила в подарок от Бенони. Это кольцо так никогда и не было отправлено по обратному адресу, оно лежало в ящике комода рядом

с небезызвестным золотым крестиком, и Николай без устали повторял: «Зачем ты хочешь обидеть Бенони-Почтаря и отослать ему кольцо обратно?» И вот теперь кольцо могло украсить руку достойного человека, лежащего в гробу. Оно так легко наделось на костлявый, высохший палец. Но молодой Арентсен, этот чертов Арентсен, он таки исхитрился перед тем, как гроб заколотили, снять и второе кольцо и припрятать его.

Еще какое-то время тон между обоими супругами был легкий и дружелюбный, шуточки и прибауточки мужа были отнюдь не неприятны для молодой жены. Само по себе старание Николая сохранять тот же веселый и болтливый тон свидетельствовало о наличии доброй воли. Но по мере того, как зима заходила все дальше, Николай преисполнялся внутренней горечью и слова его звучали порой надрывно. Увидев первый раз, как Роза несет воду с колодца, он испытал легкие угрызения совести. Он сидел в своем кабинете и увидел ее через окно, а увидев, невольно приподнялся со стула, чтобы перехватить у нее ведро. Но это движение навряд ли было разумным, да и не так уж в конце концов страшно, если Роза принесет ведро воды. Впоследствии он наблюдал, как Роза, надев фартук, носит дрова, и это нимало его не трогало. Может, прикажете нанимать служанку для этой особы, которая так и не может обзавестись ребенком? Разве в доме не болтаются три бабы? Чем без толку изнашивать фартук, могла бы носить дрова в мешке.

Ну и при этих обстоятельствах с Розой происходили неизбежные перемены. Широкая медно-красная улыбка начала выцветать, но ведь никакая улыбка не может держаться вечно.

— Что это за еда для взрослого мужчины? — ворчал Николай. — Он такой тощенький, тут, кроме пуха и перьев, и нет ничего. Я ведь зачем говорю? Затем, что это не еда для человека, который должен работать.

Должен работать! Да он за весь божий день не держал в руках никакой работы!

— До чего ж у нас холодно, и ни одного полешка в доме нет, — говорил он вечером.

— Ну так сходи и принеси немножечко дров. Ты ж у меня такой большой! И толщиной тебя Бог не обидел! — смеялась Роза.

Роза глядела на мужа с настоящей неприязнью, потому что он с каждым днем все больше раздавался в ширину и делался все толще, у него даже щеки обвисли.

Он же реагировал на ее слова в обычном своем духе, небрежно и легкомысленно.

— Вот если бы ты сказала, что я — сама худоба, это была бы стопроцентная ложь в твоих устах. Худоба есть недостаток, которого мне недостает, стало быть, жир есть достоинство, которое...

— Давай, мели! Тогда по крайней мере у тебя щеки чуть задвигаются.

— Щеки, между прочим, и не должны торчать, как острые углы.

— Ну, у тебя, положим, и животик заметно округлился.

— Гм-гм, чего не скажешь о тебе.

Роза вышла принести дров и затопила печь. Не ее вина, что талия у нее остается такой же тонкой, видит Бог, не ее, думала Роза.

— Какой именно стройности ты от меня требуешь? — спросил он с досадой. — Не пристало адвокату Арентсену выглядеть ходячей тенью. Так меня и люди уважать не станут.

Но уже не имело никакого смысла развлекать Розу подобными речениями, слишком много раз она все это слышала, и ее это больше не трогало, серьезность Розы росла день ото дня, теперь она все чаще ходила, плотно сжав губы. Порой его куда больше увлекала возможность поболтать с маленькой Мартой, он учил ее говорить «страшный кальсон» вместо «страшный сон»; Роза, которой всякая фривольность была чужда, как никому другому, жалела из-за этого девочку и пыталась ее наставить на путь истины: «Не слушай, Марта, он просто так с тобой шутит, понимаешь?» А Николай кричал в ответ из своего кабинета: «Ну, Роза, не думал я, что ты такая зануда!»

Но хуже всего было то, что маленький капиталец, который с трудом накопил Арентсен, таял не по дням, а по часам. Нельзя сказать, чтобы он накопил такое уж великое богатство, просто он хорошо начал в прошлом году и неплохо заработал, но после весенней сессии суда никто не затевал сколько-нибудь серьезной тяжбы, и доходы сошли на нет. Конечно, деньги снова потекут к нему, когда рыбаки вернутся с Лофотенской путины, но до той поры было очень грустно расходовать шиллинги из старых запасов. Некоторая толика уходила на картишки с кузнецом, некоторая толика на осьмушки за стойкой в Сирилунне, ну и что? Прикажете ему помирать от скуки, человеку, который должен содержать всю семью? Велика ли радость, женившись каких-нибудь восемь-де-

вять месяцев назад, заполучить на шею семью в четыре человека?

В конце марта верховный суд вынес окончательное решение по делу Арона из Хопана: и это дело тоже проиграно, верховный суд утвердил приговор первой инстанции. Адвокату же Арентсену опять строго указано, на сей раз за поддержку бессмысленного иска. Как же это прикажете понимать, черт подери? Все суды стакнулись, чтобы нанести окончательный удар по деятельности молодого, ревностного адвоката.

Он послал маленькую Марту в Сирилунн теперь уже за целой бутылкой и на пару с кузнецом, не мешкая, осушил ее. Когда бутылка была пуста, оба шатаясь побрели в Сирилунн и продолжили в том же духе. Молодой Арентсен вернулся домой поздним вечером и был недоволен решительно всем: еда холодная, старушка-мать, вдова пономаря, худая и напуганная, спряталась от него в уголок, а Роза сперва рассмеялась над его пьяным и всклокоченным видом, но потом оскорбилась, замолчала и не произнесла больше ни слова.

— Знаешь, Роза, когда я прихожу в отчаяние, ты для меня великое утешение.

Молчание.

— Проигранный сегодня процесс,— продолжал он,— вероятно, означает, что суды сговорились погубить мою практику. Что ты на это скажешь?

Наконец она ему ответила:

— Я думаю, тебе не следует посылать девочку в Сирилунн за бутылками.

— Н-да, такова, стало быть, первая мысль, которая приходит тебе в голову, когда ты слышишь, что твой муж проиграл процесс.

Молчание.

— За бутылками? Ты что этим хочешь сказать? Да я мог бы выпить две бутылки и быть ни в одном глазу: между тем я пью по осьмушке. Может, ты считаешь меня пьяницей?

— Нет,— отвечала она.— Но ты часто ходишь в Сирилунн.

— Ну и что? Прикажешь мне подыхать с тоски? Уж молчала бы лучше, матушка. Просто когда я в отчаянии, я ухожу из дому, только и всего.

— Значит, каждый день все восемь месяцев ты непрерывно был в отчаянии, иногда больше, иногда меньше?

— Да,— ответил он и дважды кивнул в подтверждение собственных слов,— это не лишено справедливости.

Чтобы избежать дальнейших колкостей, она спросила:

— Ты не находишь, что Марте лучше бы вернуться домой к матери?

— Это почему ж? Впрочем, возможно. Нет, все-таки нет. Когда она бегаёт в лавку с моими поручениями, она заодно видит там своего отца. И получается очень складно.

Пауза.

— Может, тебе и в самом деле следовало выйти за Бенони-Почтаря,— сказал он раздумчиво.

— Следовало, говоришь?

— А ты сама как думаешь? Я для тебя неподходящий муж.

Она взглянула на него. Поскольку макушка у него давно уже блестела лысиной, а сзади, напротив, росли густые, короткие волосы, затылок казался бесформенно большим. При такой уродливой голове он смахивал на карлика, особенно сейчас, когда сидел поникнув и словно бы без шеи.

Не дождавшись ответа, он продолжал:

— В жизни не думал, что ты такая занудная особа.

— Скажи уж лучше, что я для тебя неподходящая жена.

Молодой Арентсен сидел, разглядывая свои руки, потом поднял глаза, упер их в стену и промолвил:

— Можешь говорить что хочешь, но на свете нет другой любви, кроме ворованной.

Лицо у Розы исказилось, и тень заволокла ее глаза, словно зашло солнце.

— В тот самый миг, когда любовь бывает узаконена, она делается свинской,— завершил свою мысль молодой Арентсен.— И в тот же самый миг она становится привычной. Но и в тот же миг *любовь* исчезает.

XXIII

Описав дугу, галеас вошел в бухту, немного погодя туда же вошли обе шхуны, и все три корабля бросили якорь перед сушильной площадкой Мака и перекинули швартовы на берег. За работой Свен-Сторож высоким голосом распевал морские песни, да так, что было слышно аж до самого Сирилунна.

— У меня и собственная гора есть,— сказал Бенони,— но пока суд да дело, я могу сушить свою рыбу и на Маковых площадках.

Он хорошо сейчас выглядел, рослый, в высоких сапогах и двух куртках, но его густая шевелюра уже начала немного сесть возле ушей.

Немного погодя он на веслах подошел к причалу вместе со Свенем и еще одним человеком — Бенони с первой минуты вел себя как хозяин рыбы.

— Завтра начну промыв,— говорил он людям, которых встречал по дороге.

Среди людей, столпившихся на пристани, один человек пришел не ради Бенони, а ради Свена, была это женщина, покрытая шалью, и звали ее горничная Эллен. Судя по всему, она начисто выкинула из головы пятидюймовый нож, и схватку в сочельник, и даже самого Мака, она была такая ласковая со своим парнем, как никогда прежде, при всем честном народе она взяла его за руку.

— Добро пожаловать домой! — сказала она. А шаль она накинула не без причины, большую шаль, концы которой свисали до колен, скрывая известные обстоятельства.

Бенони пошел к Маку в контору.

А Мак как раз беседовал с Розой. Была при ней и маленькая Марта. Марта держала в руке жестяное ведерко и очень гордилась, что ей доверили нести его. Роза пришла куда более тихая и понурая, чем обычно, и как бы шутливым тоном заговорила:

— Мы не могли бы и дальше получить кредит в лавке?

— Да? — вопросительным тоном отозвался Мак. — Ну, конечно. А разве вам это нужно?

— Нет, нет,— отвечала она,— но Николай куда-то ушел, вот я и подумала, что он здесь.

— Нет, он у нас не часто бывает.

Роза между тем отправила маленькую Марту в лавку к отцу. И сказала:

— Напротив, он у вас часто бывает.

Мак решил отмахнуться от ее вопросов:

— Сильно преувеличено! Ох, уж эти женщины.

Ах! Старая пономарица собралась от них съезжать, и это был такой стыд, такой позор, просто слов нет, до чего стыдно. И все из-за какой-то толики еды, из-за того, что Николай за всю зиму ничего не заработал. Не может

ли Мак сказать ему несколько слов, что-нибудь для них сделать? Если Мак приветливо с ним поговорит, на Николая это должно подействовать. Это общение с кузнецом... эти вечные походы в Сирилунн...

— Опять ты преувеличиваешь!

Роза безнадежно помотала головой:

— Ходит, ходит, каждый день, иногда два раза на дню... Все так ужасно, эта жизнь, этот тон... А девочка все слышит! Нет, ей надо во имя Божье возвращаться назад к матери... Может, Мак все-таки поговорит с ним, по-доброму, осторожно? Вечное торчание у стойки... это все так неприлично...

Мак был бы рад утешить свою крестницу, а потому и пообещал ей заняться этим делом.

— Скажи ему, что ни один порядочный человек... Вот теперь рыбаки пришли с Лофотенов, тут бы Николаю как раз и сидеть дома, чтобы люди могли его застать! Не то чем это все кончится... Подумать только, торчать здесь, перед стойкой — и это адвокат?

— Преувеличение. Другое хуже: он проигрывает свои дела.

— Да, и дела он тоже проигрывает.

— Тебе бы надо выйти за Бенони,— сказал Мак.

— За Бенони? Совсем не надо! — с горячностью возразила она и залилась краской. — Ты это и сам прекрасно знаешь. Мне надо было выйти за того, за кого я вышла.

— И сделала большую глупость. Ты не послушала моего совета...

Роза перебила:

— Значит, я могу просить у Стена кой-какую мелочь в лавке...

Бенони идет к Сирилунну и встречает по дороге Розу с маленькой Мартой, которые возвращаются из лавки. Увидев, кто идет ему навстречу, он замедляет шаги, и его словно ударяет в сердце. Бояться Розы ему нечего, да и то сказать, на этой ровной дороге нет возможности разойтись. С другой стороны, попробуйте через столько времени, после стольких событий идти нормальными шагами. Но и она тоже заметила, кто идет ей навстречу, и в ее походке тоже появилась какая-то неуверенность. Казалось, она готова провалиться сквозь землю.

— Добрый день,— сказал он.

Он с первого взгляда увидел, как изменили ее прошедшие месяцы. Маленькая Марта сделала книксен, очень мило, но Бенони это показалось каким-то чуждым, толь-

ко у благородных людей дети делают книксены. Приседающая в книксене девочка вдруг напомнила ему всем своим видом, что это благородные люди и что Роза с тех пор, как он видел ее в последний раз, стала замужней женщиной.

— Добрый день! С благополучным возвращением с Лофотенов,— сказала Роза, как и полагается в таких случаях.

— А ведро для тебя не тяжело?— спросил Бенони у девочки.

Господи, да что он несет! Хорошо еще, что можно спрятаться за ребенка. Впрочем, и Роза тоже в полном смятении наклонилась к девочке и спросила у нее:

— А в самом деле, тебе не тяжело? Может, я его понесу?

— Не надо.

— А ты можешь понести пакет.

— Нет, пакет не такой тяжелый,— с неудовольствием сказала Марта.

— Уж, конечно, он не такой тяжелый, как ведро,— засмеялся Бенони.— Вот ведро, оно уж точно тяжелое... Это дочка Стена?..

— Да.

После этого вступления Бенони преодолел первое смущение и сказал:

— Прошло много времени с тех пор, как я вас видел последний раз.

— Да, время идет...

— А вы почти не изменились,— сказал он по доброте душевной.

— Так ведь и времени прошло не слишком много.

— Скоро год. Через неделю будет ровно год. У вас все хорошо?

— Да, спасибо.

— Конечно, конечно. А перемена большая. Замужем и вообще. Вы теперь знатная дама.

— Полное ведро сиропа,— сказала Марта.

Бенони только взглянул на девочку, но не услышал ее слов. Но Роза смутилась из-за того, что покупает в лавке такие дешевые вещи, и сказала:

— Все для тебя. Ты ведь любишь сироп... Дети и сироп...— Она взглянула на Бенони.

— Дети и сироп,— повторил также и он. Бенони и сам мазал сиропом свои бутерброды и считал это вполне вкусным, но по тону Розы слышно, что она сиропа не ест, стало быть, ведет свой дом по-благородному...

— Вам, верно, пора домой,— сказал он,— так я не буду вас задерживать.

— Вы меня совсем не задерживаете,— ответила она,— да, да, Марта, сейчас мы пойдем... Я только хотела бы сказать тебе... сказать вам... я хотела бы попросить у вас прощения, так как не отослала вам... ну вы сами знаете что. Это было нехорошо с моей стороны.

Снова его кольцо и крестик.

— Не стоит разговора,— сказал он.

— Я много раз об этом думала, но...

— Если вас это так беспокоит, можете выбросить их в море. Вот и будет с глаз долой, раз уж вон из сердца. Как говорит наша пословица.

Тут Роза вспомнила, что уже распорядилась кольцом, надев его на палец покойнику, но не могла же она заводить об этом разговор посреди дороги.

— Как вы могли подумать, что я способна выбросить их в море!— воскликнула она.

— Значит, не хотите выбрасывать?

— Нет.

Легкая волна теплой радости захлестнула его, и в порыве благодарности он промолвил:

— У меня есть и другие вещички, которые предназначены для вас, но ведь нельзя же мне переслать их вам.

— Нельзя,— ответила она, покачав головой.

— Нет, это просто маленькая ложечка и к ней вилочка, само собой, они из серебра, вот. Это же просто жалкое серебро, вы могли бы, если пожелаете, иметь его дюжинами.

— Спасибо большое, но нет.

— Да я не про то, я не хотел навязываться, я просто подумал... И я вас задерживаю,— вдруг сказал он, собираясь идти дальше... Он испугался как мальчишка, что был слишком груб и неделикатен, заведя разговор об этих несчастных ложечках-вилочках.

Она же воспользовалась возможностью, кивнула и сказала:

— Да, да, всего вам доброго.

— И вам того же,— ответил он.

Странно взволновавшись, он уже начал протягивать ей руку, но, не заметив с ее стороны встречной попытки, в полном смятении чувств выхватил у Марты жестяное ведро.

— Ну до чего тяжелое! За свою работу ты заслужила шиллинг.— И он дал ей монетку. Мысль была не такая

уж нелепая, он и сам понял, что спасся из трудного положения. Вообще же он сейчас мало что соображал.

А Марта забыла сделать книксен и поблагодарить. Пока ей об этом напомнили, большой, незнакомый дяденька ушел своей дорогой. «Беги за ним!» — сказала Роза, и Марта, поставив ведро на дорогу, побежала, поблагодарила, сделала книксен и убежала обратно. Бенони стоял и с улыбкой глядел ей вслед.

Потом он медленно побрел дальше. Вот уже год он не знал такого волнения. Глядя прямо перед собой, он погрузился в свои мысли, порой даже забывая переставлять ноги и ненадолго останавливаясь посреди дороги. «Вот ее я когда-то обнимал, ту, которая сейчас ушла в другую сторону. Ах, Роза, Роза, значит, так было суждено... Какое на ней было платье? Или пальто? Да, пальто, кажется, было». Ничего он не заметил.

Он вошел к Маку, доложил о своем возвращении с Лофотенов и предъявил все расчеты. Он по-прежнему пребывал в нежном и размягченном настроении и потому, очутившись лицом к лицу с Маком, не стал говорить: «моя рыба» и «мой товар» — как собирался раньше, — а скромно спросил, доволен ли Мак его поездкой, и намерен ли с завтрашнего дня приступить к мытью рыбы, и наверно Арн-Сушильщик будет потом наблюдать за сушкой, как и в прошлом году.

— Конечно, — отвечал Мак, — ему и карты в руки.

Про себя Бенони думал, или, скажем, подумывал сам приглядывать за сушкой собственной рыбы. Чем ему еще заниматься все лето? Но Мак положил ему бревно поперек дороги, а Бенони был не в том расположении, чтобы после всего недавно пережитого затевать новую перебранку с Маком.

Мак же явно хотел подчеркнуть разницу между ними. Он ни словом не обмолвился о том, что рыба-то по совести принадлежит Бенони, мало того, он начал задавать вопросы по некоторым пунктам счета.

— Ты зачем покупал рыбу в понедельник, тринадцатого, по такой высокой цене? Она стоила тогда на десять шиллингов за сотню больше... — И Мак выложил депешу, которая это подтверждала. О, этот важный барин Мак, он внимательно следил за всем!

И Бенони ответил:

— А затем, что спустя две недели я купил рыбу на целых двенадцать шиллингов дешевле, чем любой другой

покупщик. Думаю, у вас и про это есть депеша? По договоренности.

— С кем?

— Кой с кем из городских, которые хотели отваливать домой. Они были рады привезти домой на несколько шиллингов больше. Но после Пасхи я все с процентами получил обратно.

— А если бы эти лодки потерпели крушение на пути домой?

— Надо было рисковать,— отвечал Бенони.— Вы на моем месте, верно, тоже пошли бы людям навстречу.

— Ну это уж не *твое* дело.

На что Бенони раздраженно ответил:

— Не меньше, чем ваше, думается мне.

Мак пожал плечами. Вдобавок он не стал приглашать Бенони к себе в кабинет, чтобы предложить ему там рюмочку, а вместо того уже под конец сказал:

— Прощу!—и с этими словами распахнул дверь в лавку. Когда они подошли к стойке, Мак собственноручно налил большую рюмку коньяка и предложил ее Бенони.

Пить здесь? У стойки? Не иначе, Мак из Сирилунна забыл, кто перед ним стоит. Уж здесь-то Бенони и сам мог заплатить за свою рюмку. Он с обидой отказался:

— Нет, спасибо.

Мак удивленно засмеялся:

— Я стою и подношу тебе рюмку, а ты не хочешь ее выпить.

— Нет, спасибо,— повторил Бенони.

Мак смекнул в чем дело и продолжал с той же невозмутимой уверенностью:

— Ах, будь все такие же трезвенники, как ты, Хартвигсен! Кстати, а Свена-Сторожа ты привез домой? Небось опять примется за свои пьяные выходки!

— Все зависит от того, как с ним обращаются. А вообще-то он не пьяница.

— Только не хватало, чтобы Эллен плохо с ним обращалась. Они ведь собираются пожениться,— сказал Мак.

Дни помаленьку уходили, а Свен и Эллен все никак не женились. Уже настала весна, у Мака снова начали блеснуть глаза, стали огнестрельные, и он заставлял Эллен без конца откладывать свадьбу. «Я не могу без тебя обойтись до заседания суда,— говорил Мак,— и должна приехать новая служанка,— говорил Мак,— должен же

кто-то помогать по хозяйству». Новая служанка, которую взяли на место Эллен, была для своего возраста рослая и неплохая, но лет ей исполнилось всего шестнадцать. Она была вторая дочь Марелиуса из Торпельвикена и приходилась сестрой той самой Эдварде, что, как известно, занималась изучением английского языка. Новые платья, которые могла теперь справлять себе Эдварда, не давали покоя ее сестре, вот почему она и решила пойти в услужение...

Судебное заседание прошло в этом году много раньше обычного, господа прибыли из города в высоких теплых сапогах и меховых шубах. Заседание протекало на добрый старый лад, председательствовал на нем сам помощник судьи, а в качестве главного наблюдателя был сам амтман. Народ снова мог обращаться к председательствующему со своими вопросами о всяких сложностях закона и обходиться без помощи адвоката; вдобавок, бумаг и дел на столе у адвоката Арендсена лежало нынче куда меньше, чем в прошлом году. Ну что тут скажешь, люди нашли, что заводить процесс — слишком дорогое удовольствие. Никто ничего на этом не выиграл, у всех были одни только неприятности да потери. Про себя люди думали, что Арендсен и вообще принес им больше вреда, чем пользы.

Да, Николай Арендсен не был более ни олицетворением закона, ни знаком железа. В недели, последовавшие после возвращения рыбаков с Лофотенов, он на собственной шкуре испытал, каково это — потерять расположение людей. В прошлом году он начал с того, что брал за каждый маленький совет талер, в этом он делал то же самое за полталера, а когда люди начинали с ним пререкаться даже из-за такой цены, он говорил: «Я не могу брать меньше, должен же я на что-то жить!» Но адвокату Арендсену суждено было спуститься и еще ниже: он справлялся по своду законов касательно важных вопросов и брал за это две монеты по восемнадцать эре, а потом не без труда записывал ответ на бумагу еще за двенадцать шиллингов. И тем не менее клиентура его не росла, наоборот даже.

А истина заключалась в том, что народ утратил доверие к адвокату Арендсену, представителю закона. Даже если человек приходил к нему со своим делом и получал ответ, он после этого нередко заглядывал к ленсману, чтобы убедиться, что ответ получен правильный. Ни для кого не оставалось тайной, что Арендсен раз за разом

проигрывал все свои дела, более того — что верховный суд в Тронхейме выносил ему признание.

И какой теперь имело смысл для Николая сохранять свою практику и отсиживать определенные часы у себя в кабинете? Люди его покинули. А жене, начав прогуливать свои же приемные часы, он объяснял: «Я целую неделю просидел на стуле, дожидаясь, и никто не пришел. Я восседал как писаная красавица и чуть не свихнулся от собственной привлекательности — но никто не пришел».

Люди забрасывали свои тяжбы. Встречаясь в Сирилунне за стойкой у Мака, враги старались сами уладить дело. «Вот что я скажу, — начинал один, — мы с тобой прожили рядом сорок лет». — «Да, — отвечал другой, — а до нас наши родители, да будет им земля пухом!» А сделав такой почин, они испытывали умиление, и глаза у них начинали блестеть, и они подносили друг другу и старались превзойти один другого в добрососедстве. Между тем адвокат Николай Арентсен мог находиться у той же стойки, заказывал одну за другой несколько вполне невинных осьмушек и невольно выслушивал эти идиотские примирения, которые лишали его хлеба насущного.

Теперь адвокат Арентсен вальяжно и независимо восседал в зале за своим столом и делает вид, будто страх как занят. Если он позволяет себе небольшой отдых и отрывает глаза от бумаг и протоколов, его неизбежно встречает недоверчивый взгляд Левиона из-за барьера. Когда окружной суд вынес окончательное решение по его делу, Арентсен сказал: «Остается еще верховный суд, но потребуются расходы на адвокатуру».

Тут Левион ушел восвояси и принялся размышлять. Начались судебные заседания, а он с первого дня заседания стоял в зале и все думал, думал, так что для адвоката Арентсена это была мука мученическая — встречать взгляд его безумных глаз. Арентсен даже сделал вид, будто вдруг что-то вспомнил, достал из кармана записную книжку и начал поспешно листать. Когда судья объявил перерыв, Левион сразу направился к нему с приговором второй инстанции в руках и спросил, стоит ли ему судиться дальше.

Судья же, судя по всему, не страдал более ни бессонницей, ни сомнениями религиозного характера, страдал он, оказывается, только в прошлом году, когда подлежало зачтению небезызвестное долговое обязательство, а ему с почтовым пароходом прислали полкадушечки

морошки. Теперь судья раздобыл, наслаждался отменным здоровьем и, по своему обыкновению, охотно калякал с народом.

Нимало не смущаясь присутствием адвоката Арентсена и большого количества слушателей, судья громко ответил:

— Надо ли тебе судиться дальше? Нет, Левион, не надо. Напротив, тебе надо рука об руку с твоим адвокатом утопить твое судебное дело в твоем же собственном ручье. Таково мнение второй инстанции, таково и мое мнение...

В последний день заседания была зачитана и засвидетельствована купчая Бенони на горы. Мало кто слушал, как ее зачитывают, но губы тех, кто слушал, тронула невольная усмешка, когда они узнали об очередном документе Бенони. В прошлом году он купил гранитную гору, а теперь выкинул деньги на очередное засвидетельствование. Бедняга, не миновать ему вконец разориться...

Но ни для кого, решительно ни для кого дело не обстояло так скверно, как для адвоката Арентсена. Выполняя свое обещание, Мак поговорил с ним с глазу на глаз, но разговор этот не возымел никакого действия. Тогда Мак запретил своим приказчикам отпускать Арентсену распивочно крепкие напитки. Это тоже не помогло. Молодой Арентсен тотчас нашел посредников. В день последнего заседания он слонялся среди людей, приехавших из шхер, с намерением продать новое золотое кольцо, в чем и преуспел. А было это то самое кольцо, которое Бенони подарил Розе.

XXIV

Наконец-то Свен-Сторож и горничная Эллен поженились и въехали в ту самую каморку, где лежал и не собирался умирать Фредрик Менза. А Эллен и впрямь ото всей души любила своего парня, она при каждом удобном случае громко выражала пожелание, чтобы как можно скорей подошла к концу ее работа в Сирилунне. Но сперва следовало обучить новую служанку. Всякий раз, когда Эллен надо было по делу сходить в господский дом, она перед тем с великой нежностью прижималась к своему мужу.

Подошла летняя пора, когда люди по заведенному обычаю начали валить деревья и хозяйничать в общинном

лесу. Тут Бенони покинул свой дом и пошел туда, где располагались лесорубы, он хотел приглядеть, чтоб те не переступали границы его новых владений и не вырубали подлесок на склонах его гор. Ему было очень даже по сердцу показать себя законным владельцем этих просторов.

Но люди беспечно валили большие деревья и отлично знали, что не станут тратить время на принадлежащие Бенони кустики. И тем самым они не дали ему случая встать перед ними в позе владельца и сказать: здесь проходит граница, лес по эту сторону весь мой. Люди поднимали глаза, видели, что это всего-навсего Бенони, и снова возвращались к своей работе. Ах, как он чувствовал, что они презирают его за покупку гор.

И тогда он притих, молча бродил от одной группки лесорубов к другой и только говорил: «Бог благослови ваши труды!» — «Спасибо на добром слове. Только благословлять тут нечего, на общинных угодьях скоро совсем леса не останется!»

Поговорив малость о том о сем, Бенони заявил, что ему нужны рабочие руки, чтобы привести в божеский вид его сушильные площадки. Время как раз подошло.

Но на его призыв никто не откликнулся. Боялись, верно, что разорившийся человек не сможет им заплатить за работу.

«На кой тебе сушильная площадка?» — спрашивали они.

«Да вот хочу прикупить рыбы ближе к зиме», — отвечал он.

Но никто этим словам не верил. Потому что у Бенони ведь не было судов.

«А я куплю небольшую шхуну», — отвечал он.

Люди пересмеивались между собой, что вот, мол, Бенони надумал купить шхуну.

И Хартвигсеном его уже больше никто не называл.

Покуда они разговаривали, общественным лесом прошли два человека в клетчатой одежде, один из них был снова сэр Хью Тревилян, а с ним незнакомый господин и еще кто-то из местных — чтоб нести багаж.

Бенони поздоровался, и все, кто ни был вокруг, поздоровались тоже, но два британца не ответили. Они шли дальше, время от времени перебрасываясь словом-другим и отбивая от скал осколки камня; глаза у сэра Хью совсем остекленели с перепоею. Вскоре группа скрылась из глаз.

«Ну, теперь Марелиус из Торпельвикена снова получит деньги за своего лосося»,— говорили люди.

«А дочь Эдварда — отца для ребенка».

«И уж верно немалые деньги. Повезло Марелиусу, что у него дочь, а не сын».

Когда Бенони собрался домой, кто-то крикнул ему вслед, что, мол, да-да, что если Мак повысит им поденную плату, они ему приготовят сушильную площадку.

— Мак повысит?— переспросил Бенони, уязвленный в самое сердце.— По-вашему, Мак из Сирилунна лучше, чем я? А между прочим, у того же самого Мака пять тысяч моих.

— Дак ты их никогда не получишь,— гласил ответ.

При всем при том Мак пользовался у людей полным доверием, а Бенони совсем никаким...

Как-то Бенони получил известие, что сэр Хью Тревилян намерен с ним поговорить. Доставил это известие все тот же Марелиус из Торпельвикена.

— А чего ему от меня надо?— спросил Бенони.

— Не знаю.

— Скажи ему, что Бенони Хартвигсена всегда можно застать в собственном доме.

Марелиус пытался как-то возразить, но Бенони отвечал:

— Тогда спроси у него, стал бы он на такой манер вызывать к себе Мака из Сирилунна или нет. И чтоб он знал, что я себя ценю не дешево.

Как на грех в этот же день Бенони был донельзя раздосадован после стычки с приказчиком Стеном, который напомнил ему про задолженность.

— Ну и что?— отвечал ему Бенони.— Разве твой Мак не должен мне пять тысяч?

— Тут мне ничего не известно,— сказал Стен.— А хоть бы и так — это разные счета. Твоя кухарка всю зиму приходила сюда за разным товаром, ну, оно и набежало.

— Ты что это себе позволяешь?— расвирипел Бенони.— Наглый щенок! Фальшфейер вонючий! Ты заслужил, чтоб я спустил с тебя штаны и огрел хворостиной по одному месту.

Стен-Приказчик не посмел обострять конфликт и лишь пробормотал:

— Да я просто так сказал, для порядка, когда берут в долг, я должен все записывать, мне все равно, на кого записывать. Хозяин-то Мак.

— Так это Мак тебе приказал напомнить про мой долг в лавке? Уж чья бы корова мычала... Рыба-то,

которая сейчас сушится на площадках, это, между прочим, не Макова рыба, а моя.

— Лучше бы тебе переговорить с Маком,— сказал Стен и привел из конторы Мака.

Бенони тотчас поутих и не заводил больше речи о рыбе.

— Ты хотел поговорить со мной?— спросил Мак.

— Нет, это все Стен, вот я и... Ну, в общем, насчет моего долга в лавке, он не может подождать до осени?

— Конечно, может, я с тебя ничего не требую,— ответил Мак.

Бенони обернулся к Стену.

— Ну, слышал?

— Я просто напомнил. И нечего было так сердиться.

— Еще что-нибудь?

— Нет. Гм-гм. Да вроде ничего.

Гордый господин Мак не желал вмешиваться в перебранку своих приказчиков с покупателями, он повернулся и ушел к себе...

Спустя неделю Бенони один спустился в свой сарай, проверил невод и лодки. Уж раз он был обречен на бездеятельность. И вот он целую неделю прохлопотал, набирая команду для выхода в море, но добрые обитатели поселка не верили больше в его удачу и не желали выходить с ним. Только Свен-Сторож ни с того ни с сего выпросил у Мака позволения выйти вместе с Бенони. На дворе стояло лето, стало быть, дрова в Сирилунне не требовались ни для одной печи, кроме как для кухонной плиты, вот Свен и запросился в море, хотя недавно женился, а может, именно потому, что недавно женился.

Бенони остановился в дверях своего сарая, глядя на сушильные площадки, где кишели сушильщики под началом Арна. Неужели среди шести десятков, хлопотавших на сушке, нельзя набрать команду для одного-то невода? На неделе стояли теплые дни, стало быть, рыба скоро будет готова к отгрузке. Бенони закрыл дверь сарая и пошел в горы, почему бы в конце концов и не поглядеть на собственную рыбу?

Погода теплая и мягкая, чайки сверкают на солнце, когда они летят, и взмах их крыльев похож на медленное щелканье серебряных ножниц.

Опасаясь обидеть Арна-Сушильщика своим приходом, Бенони робко говорит:

— Благослови Бог, хорошо сушится, верно?

— Грех пожаловаться,— отвечает Арн-Сушильщик и начинает чем-то заниматься.

Бенони берет в руки одну рыбину, кладет обратно, берет другую, берет рыбку за рыбку, видит Бог, ничего оскорбительного в этом нет. И он говорит:

— Скоро вроде досохнет? Как по-твоему?

— Как по-моему? Ну, ты в этом лучше разбираешься,— бормочет Арн-Сушильщик и отходит в сторону.

Теперь Бенони свободно ходит по сушильной площадке и проверяет собственную рыбу. Он выпрямляет подогнутые спинные плавники, чтобы посмотреть, высохла ли складка; ту же операцию проделывает он и с грудными плавниками, хотя здесь это не так уж и важно, под конец он сгибает в дугу самую рыбу и отпускает, чтобы поглядеть, хорошо ли она пружинит.

— Еще бы несколько теплых деньков,— говорит он,— и получится очень неплохая партия.

Ответом ему молчание. И тут Бенони приступает к истинной цели своего визита и заводит речь о выходе с неводом. Кто согласен? Никто не дает согласия. И Бенони Хартвигсен стоит как жалкий проситель среди людей и ничего, кроме отказов, не слышит:

— Лучше верный заработок, хоть и маленький, здесь, на сушке, чем выходить с неводом,— отвечают они.

— Ну, что до сушки, так рыба скоро высохнет, и заработка больше не будет,— говорит Бенони.

— Тебе, конечно, видней, чем Арну-Сушильщику,— звучит в ответ.

Когда Бенони возвращается домой, его там ждут важные гости; оба клетчатых англичанина, при них еще два человека стоят и дожидаются. Разговор начинает Марелиус из Торпельвикена и сообщает, что сэр Хью Тревильян и другой англичанин пришли к нему по делу.

— А чего им от меня надо?

На сей раз Марелиус знал чуть побольше: сэр Хью Тревильян привез в этом году еще одного господина из Англии, господин этот разбирается в горном деле; несколько дней подряд они ходили по горам Бенони, брали пробы горной породы и составили их подробную карту. Вполне возможно, они собираются откупить у него кой-какие горы.

Бенони решил, что речь идет о пустяке, праве на кусок берега, нескольких талерах. Он сказал:

— Еще спрашивается, захотим ли мы оба, Бенони и я, их продать.

— Так вы не хотите их продавать?

— Нет. Пока еще меня не приперло.

Вместо того чтобы умолкнуть и сдаться после такой отповеди, Марелиус подыскал себе камень побольше и сел на него.

— Может, сэр Хью отвалит за твои горы кучу денег,— сказал он.

— Ну и что?

На разговоры ушло много времени, Бенони все время бдил, чтобы, упаси Бог, никто не подумал, будто крайняя нужда заставляет его продавать участки берега. Между тем оба англичанина, предоставленные самим себе, стояли и делали вид, будто никакого Бенони здесь нет, они потихоньку переговаривались и заглядывали в свои карты. И хотя у сэра Хью был совершенно остекленелый и пьяный взгляд, второй англичанин, специалист по горам, обращался к нему с великой почтительностью. Видно, этот сэр Хью и впрямь был очень важный человек. Он притворялся, что не понимает ничего норвежского, кроме как из уст Марелиуса, поэтому все переговоры неизбежно шли через него. Подобострастно, словно раб, Марелиус подошел к англичанам и сказал, что Бенони не желает продавать.

Не иначе, один наособицу расторопный ангел стоял нынче за спиной у Бенони и влагал ему в рот нужные слова. Его упорный раз за разом отказ явно произвел впечатление на англичан. Сэр Хью крепко, до непреодолимости вбил себе в голову идею, что эти богатые горы во время поездки на рыбалку в Нурлани обнаружил именно он, и никто другой, а раз так — он и пожелал их купить. Вот почему он нарочно привез с собой человека, сведущего в горном деле, чтобы тот как следует разобрался. Горы с прошлого года сменили владельца, поскольку Арон из Хопана продал их, должно быть, за какую-нибудь безделицу; впрочем, большой роли это не играло, Бенони тоже продаст — никуда не денется. А горы эти сэр Хью мечтал купить для того маленького мальчишка, которого родила ему девушка Эдварда, покуда он был в отъезде. Ох, такой маленький мальчик, прямо чудо какое-то, прямо сказка, да и только. Сэр Хью то его взвешивал, то его мерил, в истерическом чаду счастливый отец доказывал всем, какой у него красавчик-сын. На письмах, адресованных сэру Хью, стояло *Сэру* и стояло *Достопочтенному*, но все это не шло ни в какое сравнение с чувствами отца, у которого родилось такое чудо!

«Ты вечно держишь его на руках,— говорил он матери,— дай и мне поддержать». По эксцентричности своей

натуры сэра Хью находил прямую связь между рождением сына и залежами руд, которые удалось найти ему, и никому другому, вот он и затеял передать эти богатства своему сыну. Он доверился специалисту. «До чего ж мой сын станет богат в свое время,— сказал он ему,— а я буду наезжать сюда каждый год и глядеть, как он все богатеет и богатеет, горы-то никуда не денутся, их ценность будет только возрастать». Специалист говорил обо всем гораздо разумнее: пробы, которые он брал, дали хорошие результаты, но ему нужно было сперва по-настоящему обследовать весь участок.

Теперь обход был завершен, и специалист не сомневался более, что горы хранят в себе огромные богатства...

Наконец Марелиус от имени сэра Хью спросил Бенони, сколько тот желает получить за свои горы.

— Я к зиме куплю груз рыбы, так что мои горы мне и самому понадобятся. Но если ему только и нужно что кусок берега, я могу этот кусок просто подарить. Не такой уж я несговорчивый.

— Но сэр Хью желает купить все горы, весь участок.

— И сколько же он намерен за них дать?

— Пять тысяч талеров,— сказал Марелиус.

Бенони почувствовал, как от удивления мурашки забегали у него по спине, он несколько раз переводил взгляд с одного на другого и под конец спросил самого сэра Хью, его ли это предложение.

Сэр Хью кивнул, вообще же он явно не хотел иметь дело с таким несговорчивым типом, как этот Бенони, а потому, едва кивнув, отвернулся.

Бенони, некогда лихач и сорвиголова, не тотчас смекнул, что дело пошло на серьез. Видно, профессор из Христиании не ошибся, когда говорил, что в этой горе полно свинцового блеска и серебра. Пять тысяч талеров!

— Ладно, я подумаю,— сказал Бенони.

— О чем тут думать?!— уже от своего имени спросил Марелиус, напуская на себя важный вид.

Бенони ответил с прежней бесшабашностью:

— А вот это уж не твоя печаль. У меня есть письмо от профессора из Христиании насчет того, что есть в моих горах.

— Какого такого профессора?— возопил внезапно сэр Хью, весь побледнев от негодования.— It is лично я нашел эти горы...— И он смерил Бенони косым взглядом с головы до ног.

— Ну да, ну да,— пошел на попятный Бенони.— Но горы-то, они ведь все равно мои.

Бенони получил время для раздумий до ближайшего почтового парохода. На нем должен был приехать городской адвокат.

XXV

Дни, следовавшие за этими разговорами, Бенони провел в горячем возбуждении. Довериться кому-нибудь он не желал. Если англичанин проспит, он, может, вообще не придет по второму разу, и тогда Бенони станет всеобщей мишенью для насмешек. Но поскольку с каждым днем приближался тот срок, когда войдет в гавань почтовый пароход, Бенони не вытерпел и поспешил в Сирилунн, чтобы разыскать там Свена-Сторожа. Оба приятеля отошли в сторонку, и Бенони, взяв со Свена страшную клятву никому ни о чем не рассказывать, открыл ему свою тайну.

Свен задумался надолго.

— Очень здорово получается! — сказал он, наконец, в сильном волнении. — Очень даже здорово! Пять тысяч!

— Но ты-то сам что об этом думаешь?

— Я-то что думаю? Гм-гм. Я как раз стою и думаю об этом.

— Как по-твоему, англичанин еще придет?

— Не раньше, чем придет почтовый пароход, — решительно ответил Свен. — Вы думаете, такой человек, можно сказать, принц... Да они слеплены из денег, эти англичане. Когда я, помнится, задержал в городе одного английского матроса, он заплатил сколько полагается штрафу и даже глазом не моргнул.

— А сколько мне запросить за мои горы, как ты думаешь?

Свен-Сторож и это обмозговал:

— Чтоб дело имело хоть какой-то смысл, я б на вашем месте запросил десять тысяч.

— Ты так думаешь?

— Я просто уверен. Разве в горах нет серебра?.. Стоп! — вдруг прервал он самого себя. — Спросите-ка вы лучше у смотрителя.

Бенони покачал головой.

— Нет, я никому, кроме тебя, не хочу рассказывать.

— А знаете что, Хартвигсен, если одна сторона приведет адвоката, значит, и с другой должен кто-то быть. Вы должны пригласить Арентсена.

Бенони снова решительно отказался.

Прибыл почтовый пароход, прибыл и адвокат из города. Он пошел в Сирилунн и там поселился, как уже привык, бывая на выездных сессиях. День спустя он заявился к Бенони, чтобы отвести того через горы к сэру Хью. Бенони отказался. Истинная причина отказа была в том, что именно сегодня Бенони наконец решился переговорить со смотрителем маяка, но перед адвокатом он сделал вид, будто не так уж и заинтересован в сделке. И когда адвокат один направился через общинный лес, Бенони тотчас поспешил к смотрителю Шёнингу.

— Вот эти самые горы,— с порога начал он,— как вы думаете, продавать мне их?

— Нет,— ответил смотритель,— для этого они слишком хороши.

— Мне предложили за них пять тысяч.

— Да?

— Один богатый англичанин.

Ох, уж этот Пауль Шёнинг, смотритель маяка четвертой категории, увядший до самых корней, закаменевший в цинизме и презрении к самому себе, что происходило в нем сейчас? Приставленный командиром и распорядителем к дурацкому огню, он зажигал его и тем заставлял эту железную голову разбрасывать световую тупость на две мили окрест, он гасил его и тем творил иную бессмысленность внутри и снаружи: маяк был полон дерзким вызовом, но ничего не имел под рукой и просто стоял словно в матерчатом башмаке на фоне моря.

Смотрителю Шёнингу почудилось, будто после слов Бенони в нем произошла какая-то перемена, что-то с чем-то поменялось местами. Горы, его идея, его старая идея многих-многих лет, эти горы пришли в движение и обретают нового владельца, англичанина, принца. Вот и получается, что у Пауля Шёнинга не самая никудышная голова на этом свете.

— Н-да,— сказал он, низко наклоняясь, чтобы скрыть свое беспокойство.— Гм-гм... Пять тысяч. Но я надеюсь, что вы с Божьей помощью отвергли это предложение?

Непривычная торжественность тона заставила Бенони наострить уши.

— Значит,— так начал он,— значит, я могу и больше запросить?

— Прoshлый раз я говорил: десять тысяч,— продолжал смотритель,— сегодня же я скажу — миллион.

— А если серьезно?

Смотритель надолго задумался, потом взял карандаш, как бы желая произвести необходимые расчеты, и ответил:

— Миллион. По самым точным подсчетам.

Бенони был слишком возбужден, чтобы усидеть на месте, ведя заурядный, полубезумный разговор со смотрителем, он вскочил и снова задал свой вопрос:

— Значит, вы думаете, я могу запросить десять тысяч?

Смотритель тоже встал с места и воздвигся перед Бенони, в этот миг он сумел заразить Бенони своей фанатичной верой в неисчерпаемые богатства гор.

— Даже если этим словам суждено стать последними в моей жизни, все равно, дешевле чем за миллион не уступайте.

Визит к смотрителю окончательно сбил Бенони с толку, он поспешил вернуться домой, приготовил себе что-то поесть, после чего отправился к ленсману. Вторично он вернулся домой уже поздним вечером, успев заручиться поддержкой ленсманова помощника на завтра.

Утром он оделся тщательнее обычного, и от вящего беспокойства несколько раз выскакивал из дому и возвращался снова. Сбегал к лодочному сараю, постоял на земляном полу, огляделся по сторонам, вышел снова. Потом вдруг решил осуществить мысль, которая вызрела у него этой ночью: он все-таки побывает у Николая Арентсена. Времени было одиннадцать утра.

Бенони вошел в дом кузнеца, прочел имя Арентсена на двери и постучал. Никакого ответа. Он заглянул внутрь: никого. Потом он услышал, как в глубине дома кто-то моет пол песком. Он пошел на звук и снова постучал. Никакого ответа. Он открыл дверь и вошел в комнату.

Пол надраивала Роза. Она стояла, подоткнув юбку, с голыми руками, коротенькая нижняя юбка красного цвета закрывала ее ноги до колен. Она поспешно опустила подол рабочего халатика и была очень смущена, а вдобавок запыхалась от работы.

— Мир вам,— сказал Бенони,— не погневайтесь, что я вваливаюсь к вам просто так, без зова.

Она подталкивает в сторону Бенони деревянный стул, не отрывая его ножек от пола; затем, подражая манере Бенони и вообще поселковой, отвечает:

— Милости просим, садитесь. Вы попали в благородный дом, видите, вас встречают в рабочем халате,— она

старается раскатать засученные рукава и натянуть их на мокрые локти, а тем временем снует по комнате.

— Не надо так говорить, не беспокойтесь,— возражает Бенони, не садясь.— Я к адвокату. А его нет на месте.

— Да, его там нет... Между прочим, непонятно, у него сейчас приемные часы. Значит, вышел.

— Конечно, конечно, может, он пошел в Сирилунн?..

— Разумеется. Поговорить с Маком по делу.

Тем временем Роза, несмотря на беспокойство, успела кое-что прибрать в комнате, выложила на стол театральный бинокль и, как бы по рассеянности, положила туда же зонтик от солнца. Это был тот самый зонтик, который она носила в девичестве. А теперь вот зонтик и бинокль лежали рядом, чтобы комната не выглядела такой уж пустой, чтобы она походила на обычный дом, где есть много всевозможных вещей.

— А я осталась одна,— пояснила Роза,— и решила заняться чем-нибудь полезным, например, помыть полы. Мать Николая уехала в гости к дочери.

Бенони знал, что старая пономарица вообще перебралась жить к своей дочери.

— А маленькая Марта соскучилась по дому... Но, может, вы все-таки присядете?

— Нет, спасибо, у меня нет времени, я жду, ко мне тут должны прийти люди. Нет, нет, я вообще-то пришел к адвокату.

— Может, он вам встретится по дороге,— сказала она.

— Да, да, оставайтесь с миром,— попрощался Бенони и ушел.

Никакого Арентсена он по дороге не встретил и решил не искать его и в Сирилунне. «Нет, нет и нет,— сказал Бенони самому себе и покачал головой,— но до чего же она изменилась, прямо совсем другой человек!» Он запомнил Розу такой, какой увидел ее сегодня, когда она стояла в красной нижней юбке, которая едва доставала до колен.

Когда Бенони пришел домой, помощник ленсмана уже дожидался его там, часом позже пришел городской адвокат и оба англичанина со свитой. Бенони пригласил их всех пройти в комнату. Сэр Хью был нынче, судя по всему, трезв как стеклышко. Когда Бенони предложил всем по рюмочке, сэр Хью наотрез отказался, чем и обидел хозяина, который обронил:

— Ну да, мой дом, видно, слишком прост для вас.

Начались переговоры. Адвокат сидел и все время, пока говорил, разглаживал ладонью какие-то бумаги.

Речь шла о горах. Сэр Хью Тревилльян желал их купить и сделал владельцу соответственное предложение.

Но Бенони уже был обижен и потому вдруг сказал:

— А мне никакого предложения не нужно. Вообще-то я и не собирался продавать эти горы.

— Как так? — удивился адвокат.

— Если господин зайдет к Маку и сделает предложение насчет Сирилунна, Мак ему ответит: «А я не торгую Сирилунном, с чего это мне вдруг делают такое предложение?»

Адвокат сказал:

— Может, Мак и продаст, если ему предложат хорошую цену. А вам, Хартвигсен, предложили очень хорошую цену за горы.

— Нет, — перебил Бенони вопреки первоначальному своему намерению, — нет, это не называется хорошая.

— Пять тысяч талеров!

— Да, но горы могут стоять где стояли. И у меня нет нужды продавать их, не думайте, что есть.

Марелиус заметил таким тоном, словно имел прямое касательство к торгу:

— Сами-то вы их купили за сто талеров.

— Верно, — сказал Бенони, — но почему тогда ты сам их не купил и давал только пятьдесят? Мог бы купить. А я дал больше, чем запрашивали.

Сэр Хью начал терять терпение и велел адвокату напрямую спросить у Бенони, сколько тот желает за свои горы. Может, десять тысяч?

Бенони воспринял это как насмешку и сказал только:

— Уж и не знаю. Горы могут пока так и остаться, они не убегут от меня. А в них еще и серебро есть.

Побледнев от злости на все эти никчемные разговоры, сэр Хью выдохнул:

— Тьфу!

Это восклицание уж никак не могло смягчить Бенони.

— Так вы считаете, Хартвигсен, что цену надо набавлять и набавлять до бесконечности?

— Я никакой надбавки у вас не просил, — вот как ответил Бенони, раздосадованный высокомерием англичанина. — Нечего этому господину и дальше сидеть у меня и надуваться от спеси. А то приходит к человеку в дом и ведет себя так, будто ему принадлежит и дом, и сам человек.

Адвокат заметил вполголоса:

— Должны же вы понимать, что это иностранец и знатный господин.

— Пусть так! — громко ответил Бенони. — Но он должен приноравливаться к нашим обычаям. Когда я пришел в горы и говорил там людям: «Мир вам!» — а они меня не понимали, пришлось и мне говорить вместо того: «День добрый!»

Сэр Хью сидел с таким видом, будто этот разъяренный человек бесконечно ему наскучил. Он понимал, что всему виной рюмка коньяка, от которой он отказался, но ему и в голову не придет выпить эту рюмку, пусть даже такое упрямство обойдется ему в несколько тысяч лишних. Он встает, застегивает свою клетчатую куртку и берется за шапку, к которой приколоты муха-наживка. Уже направляясь к двери, он велит посреднику спросить у Бенони, готов ли тот продать свои горы за двадцать тысяч.

Всех присутствующих словно что-то толкнуло, и только два англичанина выглядели как ни в чем не бывало.

Одновременно раздается стук в дверь и входит смотритель маяка Шёнинг. Ни с кем не поздоровавшись, он подходит к Бенони и говорит:

— Если не верите, можете взглянуть.

И с этими словами он протягивает Бенони бумагу. Это анализ содержимого гор.

Уж верно смотрителю Шёнингу стоило немало труда разыскать эту старую бумагу и представить ее на всеобщее обозрение. Насколько он должен был умалить свой собственный авторитет, чтобы искать ему опору в авторитете другого! И почему он сам не купил эти горы, когда их можно было получить задаром, практически задаром? А теперь выяснилось, что они и впрямь имеют великую ценность, вот за них уже предлагают тысячи. Раскаивался ли он теперь и потому старался скрыть личный недостаток предприимчивости, изображая мудреца и выставляя напоказ свое презрение к деньгам?

Специалист по горному делу схватил анализ и начал торопливо его изучать, тыча пальцем в отдельные цифры, он показал сэру Хью, что содержание серебра значительно превосходит то, которое он сам обнаружил с помощью своей пробирки. Но, возможно, на анализ посылали отборные пробы, сказать трудно.

Смотритель вмешался в этот английский диалог и без обиняков заявил, что пробы посылал он лично и что он всячески старался выбирать самые обычные куски породы.

Британцы сделали вид, будто не видят и не слышат его. Но их высокомерие разбилось о смотрителя: уж в холодном и откровенном презрении с ним никто бы не мог потягаться.

— Мы не просили этого человека вмешиваться,— велел сообщить сэр Хью.

— И следовательно,— продолжал смотритель, обращаясь к Бенони,— следовательно, вы не должны продавать эти горы меньше чем за миллион.

Эта фантастическая сумма изгнала серьезность из зала переговоров, даже британцы и те презрительно улыбнулись. Они по-прежнему делали вид, будто этого нелепого смотрителя здесь нет, но поскольку он продолжал мешать, сэр Хью через посредство адвоката потребовал, чтобы непрошеного гостя удалили.

Натурально, смотритель тут же взял себе стул и уселся поудобнее.

— Много-много лет назад я начал ходить в эти горы и рассматривать их. Но мне они были ни к чему.

Сэр Хью, который уже натягивал перчатки, вдруг не вытерпел и завопил:

— It is я нашел эти горы!

После чего обвел всех яростным взглядом.

— Ну, конечно, конечно,— подтвердил адвокат.

Решительно не расслышав этого выкрика, смотритель невозмутимо продолжал:

— Арон из Хопана в этом ничего не смыслил. Я говорил ему уже полпоколения назад: в твоих владениях есть целые поля серебра. А когда мы получили анализ, не осталось никаких сомнений. «Вы не могли бы купить эти горы?»—спросил Арон. «У меня для этого денег нет, да такое богатство мне и ни к чему, ну что мне с ним делать?»—«У вас есть дети»,—сказал он. «Есть-то есть,—ответил я,—но обе дочери очень удачно и богато вышли замуж, и одна и другая!»—«Ну так сын!»—сказал он. «Сын скоро умрет,—ответил я,—он проживет несколько лет, не больше». Вот так и лежали эти горы до сего дня.

Ах, до чего важно казалось этому жалкому смотрителю именно сейчас проявить свое глубочайшее презрение к богатству, именно сейчас, вот почему он, должно

быть, и говорил таким циничным тоном. Хотя, возможно, никто в эту минуту не носил в своей душе такую страшную муку, как он.

Адвокат заговорил профессиональным языком:

— Говоря напрямик, Хартвигсен, вам надлежит ответить на вопрос, готовы ли вы уступить четверть мили каменной породы за двадцать тысяч талеров. Не знаю, сделано ли было такое предложение официально, может, и не было. Я себе представляю это следующим образом: цифра была названа, чтобы услышать, наконец, четкое требование.

— Двадцать тысяч?—переспросил зритель.— Сразу видно, как мало сведущи эти господа. Смешно слышать! А главное: четверть мили каменной породы, как вы изволили выразиться. Уж конечно, ни четверти мили со свинцовым блеском и серебром, даже ни полчетверти! Господа не соображают, что говорят. Про залежи серебра на многие сотни миллионов они даже и не поминают! Между тем мы имеем дело с обширными, более двух процентов, залежами серебра, которые нельзя уступить меньше чем за миллион.

— Может быть,—медленно заговорил Бенони, обращаясь к адвокату,—может быть, я и продал бы, если, конечно... если мы сойдемся.

Как здорово умел Бенони помалкивать, сидя на своем стуле, и одновременно унимать холодок озноба, пробегающий у него по спине. Он не слушал разглагольствования зрителя о миллионе, но другие круглые суммы—в пять тысяч, десять, двадцать—сместили все представления о деньгах в его голове. Он поднялся еще на одну ступеньку этой прогрессии и застыл возле сорока тысяч. Сорок тысяч—это уже было чистое безумие, но когда стряпчий спросил его, на какой сумме они могли бы сойтись, Бенони и назвал сорок тысяч, просто потому, что такая сумма застряла у него на губах.

— Вот за сорок тысяч талеров мы, может, и сговорились бы.

И снова разом вздрогнули все, кто ни был в комнате, лишь оба англичанина обменялись несколькими торопливыми вопросами и ответами. Сколько?—восемь, почти девять тысяч фунтов.

Зритель встал со стула.

— Вы с ума сошли!—пронзительно выкрикнул он.

— Тише! — прозвучало вокруг. Сказки кончились, и дело пошло на серьез.— Помолчите, сядьте, пожалуйте.

Целую минуту зритель молча глядел на Бенони вытаращенными глазами и несколько раз сглотнул комок.

— Сорок тысяч! Да вам любой человек столько заплатит, хоть бы и ваш купец в Бергене! Господь меня упаси от вас!

— Пишите! — прозвучал на всю комнату голос сэра Хью. Его вконец вымотали эти бесконечные разговоры, и он чуть не лопался от негодования.

Когда стряпчий сел, чтобы писать, помощник ленсманна, полный законов и параграфов, переместился поближе к нему и начал читать слово за словом, верный своему призванию.

— Какой бред! — вскрикнул зритель Шёнинг, когда все было потеряно.— Какое скотство! — Он нахлобучил свою шапку и метнулся к дверям, не сказав «до свидания».

Лишь изредка звучал какой-нибудь вопрос и вслед за ним — ответ. Купчую составляли на имя сына Хью Тревиляна, проживающего в Торпельвикене; деньги подлежали выплате за один раз. «Где?» — спросил Бенони. Здесь. В течение пяти недель с момента подписания; деньги уже находились в стране, специалист по горному делу должен был доставить их из Христиании.

Итак, купчая была написана и подписана.

XXVI

Бенони Хартвигсен стал хозяином самого Сирилунна и компаньоном Мака. Так уж вышло, что Бенони очень разбогател, и с какой же стати он стал бы перебираться в другие края, заводить там свою торговлю и рыболовство, чтобы быть Маком среди чужих людей? Здесь был его дом, и здесь было в охотку слыть большим человеком. А тут, уж одно к одному, сложилось так, что и Маку внезапно понадобился именно такой человек, как Бенони. У Мака из Сирилунна, как и у его брата из Розенгора, завелась болезнь желудка, которая заставляла его зимой не снимая носить красный шерстяной шарф вокруг живота. Вот к чему приводит чрезмерно княжеский образ жизни.

И представьте себе, Бенони так же не мог обойтись без Мака, как и Мак без него. Взять, к примеру, подсчет огромных денег за серебряные залежи. Когда истекли сроки и сэр Хью явился с уговоренной суммой и с целой командой свидетелей, Бенони в отчаянии обратился к Маку и попросил его присутствовать в решающий момент. Какие это бумажки, настоящие или фальшивые. «Да,— отвечал Мак, ныряя как рыба в необъятное море денег,— это правильные бумажки». Мак тут же предложил для надежности взять все сорок тысяч в Сирилунн и хранить их до поры до времени в своем сейфе, но Бенони отказался. «Я тебе, само собой, выдам квитанцию»,— сказал Мак. «Это ни к чему,— отвечал Бенони,— потому как и у меня есть для них свой дом и крыша». И тогда Мак завершил таким манером: «Дорогой Хартвигсен, я просто хотел тебе помочь».

И началась рабская жизнь — ходить и караулить такие богатства от огненной напасти и лихих людей. А поскольку Арн-Сушильщик собирался вести галеас «Фунтус» с сушеной рыбой в Берген, Бенони тоже надумал туда съездить. Окончательно вопрос о его поездке был решен в конторе Мака. Именно у самого Мака снова возник хороший план:

— Ты должен сходить в Берген,— сказал Мак.— У тебя там целых два дела.

— Что за дела такие?

— Во-первых, отвезти туда твои деньги. Глупо и убыточно хранить такое богатство на дне сундука. Конечно, ты мог бы переслать деньги по почте, но можешь и сам съездить. А если съездишь, выполнишь заодно и второе дело, когда туда придет «Фунтус» с рыбой, ты лично его встретишь и получишь у моего покупателя пять тысяч талеров.

Что это с Маком? В глубине души Бенони подозревал, что его и на сей раз попотчуют пустыми отговорками.

— Там ведь меньше пяти тысяч,— начал Бенони, желая как-то смягчить всю эту историю.

Но Мак не согласился.

— Разумеется, пять. А мелкие взаимные счета записаны у нас особо. Ты ведь, помнится, этого хотел.

О, этот Мак, этот важный господин, который никогда, ни единой секунды не был подвержен слабости. У Бенони мелькнула тень подозрения: уж, верно, за поведением Мака что-то кроется, но от всей этой дружеской заботы

и благосклонности, которую так явно ему выказывали, расхрабрился и заговорил еще об одном занимавшем его деле:

— Может, у меня в Бергене будет и третье дело,— сказал он.

— Да?

— Мне бы надо подыскать экономку или что-то эдакое.

— Только не нанимай с бухты-барухты какую-нибудь особу из Бергена,— тотчас ответил Мак. Одному Богу известно, как это он так быстро нашел ответ.

Бенони объяснил подробнее, что уже и сейчас нехорошо, как оно все идет, а со временем будет и вовсе невыносимо.

Мак подошел к окну, постоял, подумал, повернулся и сказал:

— Вот что я тебе скажу, дорогой мой Хартвигсен, поговорил бы ты лучше с Розой.

Когда Бенони был в Бергене, Мак как-то завел речь с Розой.

— Ты никого не знаешь, чтоб вести хозяйство у Бенони?

— Нет,— отвечала она.

— Подумай хорошенько. Не может ведь он и дальше так жить.

— Зато он может найти себе столько помощниц, сколько захочет.

Оба помолчали и подумали.

— Ты и сама могла бы,— сказал Мак.

— Я? Да ты с ума сошел!

— Ладно,— сказал он.— И не будем больше об этом...

Бенони вернулся из Бергена. Он сделал все свои дела и положил деньги в банк. А в банке было много всего, решетки и железные двери, а в подвалах банка — вделанные в стену шкафы для денег. Бенони успел также оглядеться малость в поисках такой дамы, которая согласилась бы поехать с ним на север, чтобы вести его дом как положено, но ничего подходящего он не нашел.

Кроме как уличных, он и не встречал других женщин, и еще тех, что по вечерам слоняются в гавани, но из таких трудно было бы выбрать что-нибудь подходящее. Кстати же и Мак перед отъездом велел ему остерегаться. Сказал:

посоветуйся лучше с Розой. Может, когда Мак давал этот совет, у него была какая-нибудь мысль.

Бенони сразу пошел к Маку и спросил, не может ли Роза подсобрать в этом деле.

— Все еще как-нибудь уладится,— сказал Мак. После чего вдруг начал жаловаться на боли в желудке, которые впервые у него появились. Одновременно он предложил Бенони вступить во владение половиной Сирилунна. Бенони не поверил своим ушам, он переспросил: «Что? Вы, может, смеетесь надо мной?» Но Мак развернул перед ним уже продуманный план компаньонства и завершил словами:

— Подумай об этом хорошенько. Может, недалек тот день, когда ты станешь единственным владельцем Сирилунна.

Когда Бенони выслушал это предложение, его пронзила радостная дрожь. Он пошел домой и долго размышлял о нем. Да, теперь речь шла не о пустяках, теперь речь шла о самом для него великом: он мог стать хозяином Сирилунна. Эка невидаль — стоять адмиралом на «Фунтусе», по осени перегораживать сеть сельдь в фьорде, ходить на Лофотены, закупать груз рыбы зимой,— чего все это стоит? А тут он сможет направлять на подобные работы своих людей, ему же достаточно будет только сказать слово, только шевельнуть пальцем.

И Бенони ответил согласием.

Прежде чем Бенони вошел в дело, братья Мак упрядочили все расчеты между собой. И во время этих расчетов выяснилось, что Фердинанд Мак из Сирилунна никоим образом не разорен. Совсем наоборот. А захоти он удержать у себя пять тысяч Бенони, он был бы еще богаче. Но теперь эти пять тысяч надлежало выплатить непременно, иначе что подумал бы о нем Бенони, когда Мак сделал ему великое предложение. Чтобы воздать Маку должное за такую точность в делах, Бенони немедленно оплатил наличными и купленные вещички, и свой счет в лавке, так что Мак снова мог положить много денег в свою шкатулку.

Бенони продолжал жить у себя, в собственном доме. После напряжения, в котором он провел два последних месяца, на него снизошел покой, он начал осваиваться с новым положением. Вот будь у него экономка!.. На что это похоже — и впредь держать старую приходящую служанку, такая служанка хороша для бедняцкого заведения.

Да, так какой же совет дала ему Роза? Все еще как-нибудь уладится—что уладится? У самого Бенони так и не выдалось случая поговорить с ней: она снова исчезла из глаз. С того дня, когда он стоял у нее в горнице и еще не был тем большим человеком, каким стал теперь, им ни разу не довелось встретиться. Раз так, он поговорит с ней в церкви. Дело-то у него важное.

И вот Бенони Хартвигсен приходит в церковь. После своей поездки в Берген он и одеваться начал иначе и вообще стал другим человеком. Еще задолго до того, как разбогатеть, Бенони дал себе полную волю в том, что касается нарядной и пышной одежды, так что дальше некуда. Таких сапог с высокими голенищами все равно ни у кого в поселке не было, а больше чем две куртки зараз все равно не наденешь.

В Бергене он обратил внимание, что ботинки, которые там носят, скорее напоминают те, что у Мака, а сколько надевать курток, одну или две, зависит прежде всего от погоды. И поразмыслив об этом некоторое время, он прихватил домой из Бергена соответственную экипировку для лета и для зимы.

— Вот так ходят все важные господа!—перешептывались между собой жители поселка, когда Бенони пришел в церковь.— А то по нему и не скажешь, что он стал тем, кем стал. Денег у него хватит и на две куртки, только зачем ему две?

Однако когда Бенони подошел поближе, они здоровались и старались пожать ему руку и благодарили. А если Бенони на минуту останавливался, то и стоял он с полным правом, как обелиск, выпятив грудь, чтобы она выглядела как грудь повелителя.

— Если я к вам приду на днях и попрошу мешок муки...—начинал один, умолкая от подобострастия и не смея договорить до конца свою постыдную просьбу...

— Мешок муки?—отвечал Бенони.— Думаю, невозможного тут нет.

Женщина, которая знала его с детских лет, стояла и глядела на него будто на солнце. И когда он прямо подошел к ней и кивнул, и спросил, как дома, все ли живы-здоровы, она от волнения не сразу могла ответить. «Спасибо за заботу! Спасибо за заботу!»—только и твердила она, вместо того чтобы рассказать о своих домашних делах, как ее и спрашивали.

Бенони переходил от одной группы к другой, не испытывая больше надобности напускать на себя какой-то

вид: каждый и без того знал, что это важный господин и что он только по доброте душевной останавливается рядом. Почитаемый и надменный, готовый помочь всякому и счастливый изъяснениями благодарности, шествовал Бенони на церковную горку. Он нимало не стеснялся говорить про горы, которые сделали его богачом, он говорил:

— Купить большие горные участки, в которых есть и свинцовый блеск, и серебро,— это не всякому дано. Тут нужна голова на плечах, тут соображать надо. А уж чтобы по-умному продать их, все это нужно еще больше,— завершал он, благожелательно обнажая в улыбке свои моржовые зубы.

Но та единственная, о легком кивке которой он мечтал все эти счастливые дни, так и не показывалась.

Того пуще бросалось в глаза, что она даже не посещала лавку. Бенони стал тоже хозяином Сирилунна и, видит бог, не нанес уцербта этому месту, отписав на себя его половину.

Сравнить, сколько товару было в лавке раньше и сколько прибывало теперь с каждым почтовым парходом. Вдобавок все полки с мануфактурой получили стеклянные дверцы — для защиты от пыли, а на прилавках там и сям стояли стеклянные ящики для всякого мелкого товара. Все как бы сделалось лучше, богаче. И уж раз торговля имела теперь двух хозяев, ее и расширить следовало по меньшей мере вдвое: для рыбной торговли понадобились большие новые суда, а зерно для мельницы должен был доставлять большой корабль из самого Архангельска. На будущее предполагалось, что многие приходы будут закупать муку прямо в Сирилунне.

Покуда сам Мак вел дела по конторе и вынашивал разные планы, Бенони надсматривал за причалами, бочарней, судами и мельницей. Но и лавку он не окончательно лишил своего присутствия. Он любил заглянуть туда, чтобы покупатели с ним поздоровались. Его душу радовало, когда люди, стоявшие у стойки, при его появлении от одной почтительности понижали голос и дальнейший разговор продолжали шепотом: «Смотри, вот он, Хартвигсен!» И тут он становился приветлив, и преисполнялся благосклонности ко всем присутствующим, и даже шутил: «У тебя вот целая осьмушка, не поднесешь ли и мне рюмочку?» Го-го-го, здоров этот

Хартвигсен шутить! Если Стен-Приказчик отказывал какому-нибудь бедолаге в дальнейшем кредите, Бенони чуть-чуть встревал со всем своим всемогуществом и говорил Стену: «Людям нелегко приходится, может, сумеем найти какой-нибудь выход?» А Стен-Приказчик уже не был таким высокомерным по отношению к Бенони, он почтительно отвечал: «Да-да, как прикажете, да-да!»

И люди, находившиеся в лавке, кивали друг другу, что, мол, это воистину Бог послал им Хартвигсена.

Но та, чей кивок имел бы для Бенони величайшее значение, та все не появлялась.

Он даже иногда спрашивал кузнеца:

— Ты для себя нынче делаешь покупки или для кого другого?

А когда жена Вилладса-Грузчика покупала именно для Розы, Бенони самолично становился за прилавок, и сам отпускал ей товар, и старался не скупиться ни на меру, ни на вес.

XXVII

Близилось Рождество.

У адвоката Арентсена больше не было никаких дел, и он никаких больше не ожидал. Он собирался даже снять табличку с двери и уехать почтовым пароходом, но Роза ему не разрешила, она сказала:

— А дело Арона ты довел до конца?

— Да.

— А если придет Левион, захочет посоветоваться, а тебя нет на месте?

— Не придет.

Нет, Левион из Торпельвикена больше приходит не собирался, а он был последний клиент. Когда к нему пришел сэр Хью с намерением заплатить ему за рыбалку этого года, как и за прошлогодною, Левион наконец взял деньги и тем вроде бы положил конец затянувшемуся процессу. Впрочем, день спустя он последний раз навещил адвоката Арентсена и спросил у него: «Нас что, будут теперь рассматривать в верховном суде?» Но Арентсен не желал больше ничего писать по этому поводу и тратить силы, а потому и ответил: «Что можно было сделать, уже сделано».

Жалкий Николай Арентсен, он все больше и больше обращался в ничто. Покуда погода была достаточно теплая, он не делал большой разницы между днем и ночью, вернувшись домой с улицы, он ложился в постель, независимо от времени суток. Его бездеятельность становилась ужасающей, переходила в привычку, в своего рода энергию; одну неделю он ни разу не разделся и не разулся, а спал как есть и где придется. Жены он не стеснялся, да и чего ради стал бы он перед ней притворяться? Они уже были женаты полтора года, более пяти-сот дней они неизбежно изо дня в день видели лицо и руки друг друга, слушали привычные слова. Это знание было настолько основательным, что отпадала даже маленькая надежда однажды удивить друг друга, чем-то нарушив течение буден.

— Я, может, мог бы получить место в лавке у Бенони,—сказал как-то Арентсен от полной безнадежности.—Для рождественской торговли нужно много услуг.

Но Роза и против этого восстала. У нее были все основания бояться последствий, если ее муж окажется с той стороны прилавка в Сирилунне.

— Я думаю, ты шутишь,—сказала она,—адвокату не пристало быть приказчиком в лавке.

— А чем я, черт подери, должен, по-твоему, заниматься? Вот в прошлом году ты не дала мне похлопотать о месте судьи на Лофотенской путине.

Но в прошлом году все было по-другому, и они только что поженились, и Николай начал свою адвокатуру с большим успехом. Словом, земля и небо. Поэтому Роза ответила:

— А теперь ты не мог бы взять это место?

— Ха-ха! Ты думаешь, такое место можно просто взять безо всякого?

— Ну, значит, похлопочи.

— Уже хлопотал. Мне его не предоставили. Мое ходатайство было отклонено. Я не так зарекомендовал себя в качестве адвоката, чтобы стать еще и судьей. Теперь ты все знаешь.

Пауза.

Молодой Арентсен продолжал:

— К одним жизнь приходит... впрочем, не стоит труда говорить об этом. Она приходит к ним в образе нежного белого ангела. Ко мне ангел тоже пришел. Но, придя, тотчас начал охаживать меня кнутом.

Пауза.

— Я никогда не отрицал,— повел он свою речь дальше,— что Бенони-Почтарь может выстроить одну, а то и две голубятни. У него и раньше хватало на это средств, а теперь и подавно хватает. Но я отрицал, что Бенони может быть для тебя достойным мужем. Подозреваю, что здесь я ошибся.

— Не понимаю, почему за все должна расплачиваться я? — печально спросила Роза.

— Нет,— отвечал он,— да и как тебе понять? И к чему заводить разговор, когда вовсе не ты должна расплачиваться. Но ведь я, пожалуй, тоже не должен? И к чему вообще все это?

Они уже много раз возвращались к этой теме, так что в ней не было ничего нового, и все было давно известно, и лишь возбуждало нетерпимость с обеих сторон.

Под конец он заговорил несколько отчетливее, постарался найти слова другого сорта.

— Эх, Роза, Роза, загубил я твою жизнь, так-то оно. Всю твою жизнь.

На это она не отвечала, а ушла к окну, села и стала глядеть на море.

Конечно, она могла бы и ответить, ведь не думала же она так и в самом деле. И с тем же правом, с каким он сказал, что загубил ее жизнь, она могла бы сказать, что загубила его жизнь. Почему она ушла и села у окна? Может быть, надеялась услышать еще больше слов того же сорта? Он встал и застегнул куртку.

— Ты уходишь?

— Да. Что мне здесь делать?

Пауза.

— То-то и оно,— сказала она тут,— что тебе бы надо иметь побольше дел дома и поменьше уходить.

В этих словах как раз ничего нового не было, он уже слышал их раньше, сотни раз слышал. И всякий раз отвечал на них, но она не унималась и повторяла их снова и снова. Впору с ума сойти.

— Ты знаешь,— начал он,— что я об этом думаю. У тебя нейдут из головы мои рюмки и осьмушки. А я, между прочим, могу опорожнить две целых бутылки, и по мне ничего не будет заметно. Я как-то влил в себя две бутылки водки и несколько стаканов грога. Вот. Надеюсь, тебе понятно, что, будь у меня работа, я выпол-

нял бы ее после этих четвертинок ничуть не хуже. Но речь не о том. Причина лежит гораздо глубже. Впрочем, мне не жалко, я могу и сказать, где лежит эта причина: причина в том, что нам следовало оставаться помолвленными на всю жизнь. Вот где причина. Нам не следовало жениться.

— Может, ты и прав,— ответила она.

Такое согласие с ее стороны было для него внове, еще ни разу прежде она не поддерживала подобные его рассуждения. И перед ним словно открылся выход. Во имя неба — тут потянуло свежим воздухом. Оживленно, почти радостно он сказал:

— Может, я и не прав. Ты не хочешь сесть за пианино и поиграть немного для собственного удовольствия? Не хочешь, у нас нет пианино. У нас вообще ничего нет. Мы живем в кредит. И уж, верно, ты понимаешь, что не мои жалкие осьмушки тому виной. Тут другое: мы оба парализованы. Паралич охватил нас. Сперва он ударил по моим ногам — и я не мог больше ходить, по моим рукам и, наконец, завладел моим мозгом. Когда я оглядываюсь назад, мне кажется, что паралич разбивал меня в обратном порядке, впрочем, это не играет роли. Вот тут сидишь ты, и ты пришла к тем же выводам. Ты понимаешь, о чем я говорю, ты можешь теперь проникнуть в ход моих рассуждений, для тебя это больше не китайская грамота — два года назад ты не поняла бы ни единого слова. А может, я бы и сам не понял.

— Нет, я не понимаю,— запротестовала Роза, мотая головой.— Совсем не понимаю, ничуть. Разве мы разбиты параличом? По-моему, уж скорее ты таким родился на свет. Нет, не родился таким, а таким стал. И тогда, может, тебе следовало оставить меня в покое, когда ты вернулся домой.

Ага, с проникновением в его мысли было кончено.

— На это я мог бы ответить колкостью — если бы хотел. Я мог бы сказать: «Увы, где мне было оставить тебя в покое, когда я имел честь снова в тебя влюбиться?»

— Ничего ты не имел. Ничего подобного. Ты уже тогда был разбит параличом.

— Вот почему я этого и не сказал, а скажу коротко и ясно: я тоже хотел получить тебя. Но нет сомнений в том, что всему виной Бенони-Почтарь.

Она не подняла глаз. И эти слишком откровенные речи она уже слышала не раз. А кончил он своей обычной фразой:

— Когда Бенони-Почтарь предъявил свои права, их предъявил также и я. Понимаешь, это имело значение, имело колоссальное значение, что есть еще один претендент. Когда вещь валяется на земле, она не имеет для тебя никакого значения. Лишь когда появляется кто-то другой и хочет поднять ее, она приобретает ценность и в твоих глазах, и ты бросаешься наперехват.

Пауза. Ни на одного из них уже ничто не действовало. Роза думала, что скоро двенадцать и, значит, пора ставить картошку на огонь.

— Эх, будь дело в одних только четвертинках, я бы давно перестал.

— Нет, у тебя и на это не хватит сил.

А почему у него, собственно, должно хватать на это сил? Ведь если четвертинки ни в чем не виноваты, зачем тут силы? Умереть можно от такой логики! Он постарался взять себя в руки и сказал, устав от перебранки:

— Нет, у меня не хватит сил даже на это, у меня ни на что больше не хватит сил. Сначала у меня кое на что хватало сил, но это быстро кончилось. Кончилось, когда мы с тобой поженились. Нам не следовало жениться. А мне надо было сразу уехать с почтовым пароходом на юг...

Итак, они завершили свою очередную перебранку, после чего молодой Арентсен ушел из дому.

Погода была хорошая, вдаль виднелся почтовый пароход, входящий в гавань. А может, и в самом деле... может, ему сразу надо было уехать с почтовым пароходом, а не оседать здесь; вообще-то говоря, ему вовсе и не следовало приезжать сюда, а следовало оставаться там, где он был. Уж прожил бы худо-бедно, как жил до тех пор, в большом городе, где он знал все ходы и выходы.

Он оставил Сирилунн в стороне и подошел к кузнице. Кузнец и адвокат обменялись несколькими словами и, вывернув карманы, показали друг другу, что у них нет ни гроша. И тогда молодой Арентсен двинулся в Сирилунн. Если постоять у стойки, может, что-нибудь и отколетса. Не ради выпивки, без нее он вполне мог бы обойтись, но ведь уже доказано, что его четвертинки ни в чем не виноваты. Так чего ради возвращаться домой, садиться

в кабинет и тупо глядеть на какую-нибудь никчемную бумажку?

Мак махнул ему из окна. Арентсен сделал вид, будто не видит Мака, и поспешил пройти мимо. Тут Мак внезапно появился в сенях перед своей конторой.

— Прощу,—сказал Мак и распахнул дверь. В его движениях чувствовалась какая-то торопливость.

— Нет, спасибо!—сказал Арентсен и хотел идти дальше.

— Прощу!—повторил Мак.

Больше он не произнес ни слова, но Арентсен последовал за ним. Они вошли в контору. И тут Мак вдруг сказал:

— Дорогой Николай! Так дальше продолжаться не может. Вы пропадете оба, ты и Роза. Хочешь получить деньги на дорогу и снова уехать на юг?

Молодой Арентсен пролепетал, что да, что, может быть... На юг?.. Я не понимаю...

Мак поглядел на него своими холодными глазами и добавил несколько слов насчет того, что на вечный кредит в лавке рассчитывать нельзя. И как раз сегодня в гавань вошел почтовый пароход. А деньги— вот они...

День спустя Роза пришла к Маку и спросила, осторожно, издали приближаясь к своей цели:

— Николай сегодня так рано ушел... он говорил... он предполагал...

— Николай? Он вчера уехал почтовым пароходом. У него были на юге какие-то дела, какой-то процесс...— Разве Роза об этом не знала?

— Нет. То есть это значит... Почтовым пароходом? А он ничего не сказал?

— Сказал, что большой процесс.

Минута молчания. Роза с отчаянным видом стояла посреди комнаты.

— Да, вообще-то он давно собирался уехать на юг,—наконец промолвила она,—пришлось уезжать срочно.

— По-моему, тебе не надо теперь возвращаться в дом кузнеца,—сказал Мак.

И Роза осталась. На один день, на несколько дней. Прошла неделя, а она оставалась. В Сирилунне стало много светлей, чем прежде, больше людей, движение, жизнь. Вилладс-Грузчик пришел за каким-то делом и, увидев Розу в окне, поздоровался. Роза пом-

нила его еще с детских лет, она вышла к нему и спросила:

— У вас для меня нет никакой весточки?

— Да нет. Разве одно: адвокат просил меня передать вам, что благополучно сел на пароход.

— И больше ничего?

— Больше ничего.

— Да, он давно собирался на юг, у него там большой процесс. Значит, говорите, благополучно?

— Очень даже благополучно. Я сам был в лодке и все видел.

Короче, Роза перебралась в Сирилунн и снова почувствовала себя как молоденькая девушка и всех знала в лицо. Вот, например, Свен-Сторож. Он больше не пел, не развлекал народ своей веселой болтовней, как в те времена, когда был бобылем, теперь это ему больше не подобало. Но у него были такие городские манеры, он так вежливо кланялся и говорил; едва встретив его, Роза заводила с ним веселый разговор. Побывала она и у него в комнатухе, поглядела на Эллен и на ребенка. Представьте себе, горничная Эллен родила ребенка, мальшца с карими глазами, и никто не мог понять, почему они карие. А все потому, объясняла Эллен, что лежала я на той постели, где лежал Фредрик Менза. А он такой странный. И глаза у него карие.

Фредрик Менза и впрямь был странный. Он все не умирал и, наоборот, был активен в любое время дня, и вид у него был такой, будто он твердо решил с завтрашнего дня начать другую, новую жизнь. Детский крик повергал его в великое изумление. Ему каждый раз чудилось, будто крик исходит от чего-то, что можно увидеть и нащупать; он шарил руками вокруг себя, а раз нащупать не удавалось, значит, крик шел из порта. Он пытался заглушить крикуна, сам начинал кричать, ребенок вторил ему, и старик отвечал ему снова и снова. От возбуждения он продолжал размахивать руками в воздухе, он уже не мог управлять своими движениями, руки натыкались одна на другую, запутывались пальцами, потом разъединялись, одна рука ощупывала другую, словно добычу, и цепко охватывала ее. Ногти у него были отвратительные, желтые, похожие на роговые ложечки, когда он случайно впивался этими ногтями в мякоть ладони, ему становилось больно, он говорил: «Уф»,— и начинал сыпать проклятиями. В результате одна рука одолевала другую и отбрасывала ее прочь, а Фредрик Менза смеялся от радо-

сти. Причем в ходе войны рук он находил немало весьма подходящих слов для своего настроения: «Дым на крыше? Ха-ха! Суши весла, Монс! Ну да, ну да, ну да!»

Так он и лежит здесь, бесчувственный Фредрик Менза, и с первого дня своей жизни новорожденный внимает его жалкому слабоумию. А служанки, которые без устали таскают ему пищу, не забывают при этом высказать свое почтение и обращаются к нему только на «вы».

— Откушайте, пожалуйста,— говорят они.

На миг лицо его принимает чрезвычайно глубокомысленное выражение, словно речь идет о его взглядах на жизнь.

— Дя-дя-дя,— отвечает девушкам Фредрик Менза.

XXVIII

Хотя на дворе стояла зима, и довольно холодная притом, Мак из Сирилунна так и не начал обматывать живот широким красным шарфом. Отнюдь. Словно чудо свершилось: коварная болезнь желудка, не дойдя до него, остановилась на полпути и повернула вспять. И никогда еще Мак не жил с такой удалью, и никогда не красил волосы и бороду с таким тщанием. Он успевал подумать решительно обо всем. Когда были куплены новые суда, на всех на них расширили кормовые рубки и выкрасили в светлые тона. «Это хорошо действует не только на самого шкипера,— говаривал Мак,— это действует и на других, повышает престиж судовладельца». Кроме того, Мак вынашивал планы покупки небольшого парохода, объявление о котором он прочел в газете; при первом же расширении рыбных закупок на Лофотенах он собирался приобрести такой пароход.

Причем он никоим образом не отложил свое попечение о домашних делах, напротив, он более чем когда-либо направлял их отеческой рукой. Когда Бенони предложил своего старого дружка Свена-Сторожа шкипером на один из новых пароходов, Мак тотчас подумал, что негоже тогда Эллен и Свену и впредь мыкаться в каморке. Для них устроили большую новую квартиру на другом конце жилого барака, там, где у фогта была контора на время заседания суда.

В этом году Мак решил не продавать подчистую весь пух и перо с птичьих базаров. Он приказал отобрать самый нежный пух и набить прекрасную перину для него

самого, предполагалось, что это будет новая купальная перина. Ведь не могла же юная Петрина из Торпельвикена, новая служанка, которой едва минуло шестнадцать лет, возиться с тяжелой, старой периной, к тому же Маку было лестно, что для каждой очередной служанки заводили новую перину, тогда перина вполне могла стать зеленой, после того как была красной, либо синей, либо желтой. Но тут вдруг все пошло наперекосяк, и совсем не так, как надо. Пух летал и сушился и красиво закручивался на чердаке над кухней. Но однажды утром весь сторел. Никто его не поджигал, никто не мог понять, как это случилось. А Эллен, та, что сама когда-то ходила в горничных, громче всех причитала и при этом божилась, что это не она. «Хотя, вообще-то говоря,— сказала та же Эллен,— непонятно, зачем ему новая перина. Потому как новая перина ему вовсе ни к чему»,— продолжала она, обращаясь к Брамапутре. Впрочем, сам Мак придерживался на этот счет другого мнения. Приближалось Рождество, с ним приближался Сочельник, и Мак отлично знал, чего ему надо. Он приказал вывесить в лавке объявление, что покупает тонкое перо и пух за хорошие деньги наличными. А разве такое объявление не было все равно как приказ нести пух и перо?

Народ не оплошал и в ближайшие дни завалил Сирилунн пухом и пером, пока сам Мак не сказал: «Ну, хватит!»

А Роза осталась. И Мак не был бы отцом-благодетелем для всех людей, не заботясь он также и о Розином благе. Почему бы ей и не взяться за дело и не повести дом и хозяйство у Бенони? Ведь теперь она свободна. Он хотел облегчить ей этот шаг, дать ей возможность красивой выглядеть в собственных глазах, он сказал:

— Тебе еще и по другой причине надо бы вести дом у моего компаньона...

Он нарочно сказал «компаньона», чтобы наилучшим образом отрекомендовать Бенони.

— По какой же это причине?

— Причине настолько важной, что ее одной с лихвой хватило бы: ты ведь так радовалась на эту девочку, на Марту. А мой компаньон взял бы ее к себе, если бы нанял кого-нибудь, чтоб вести хозяйство.

— Он сам так сказал?

— Да.

— Все равно не могу,— повторила Роза и покачала головой.— Это невозможно.

— Но если ты все-таки захочешь немного помочь нам в лавке на Рождество, он, вероятно, и сам с тобой поговорит.

— Нет, я нынче и в лавке помочь не смогу,— стояла на своем Роза.— Мне нужно домой.

Итак, Роза уехала в пасторат.

И настало Рождество.

Но когда Мак возжелал, чтобы ему приготовили обычную рождественскую ванну, выяснилось, что хотя новая, роскошная перина уже готова, но в огромной цинковой ванне зияет большущая дыра. А кузнец напился и поэтому не мог ее запаять, и все оказалось без толку, традиция была нарушена. Но спрашивается, почему это кузнец так страшно напился, именно когда он был нужен самому Маку? Кузнец ходил и прикладывался прямо с утречка, а потом его пригласила Эллен, ну та, что раньше была горничной у Мака, а Свена на ту пору дома не случилось, а Эллен так старательно подливала гостю, что старик прямо свалился с ног. И тогда Эллен-горничная пришла в ужас от того, что натворила, и спросила, вне себя от горя, нельзя ли хоть залепить дыру крутой кашей. Нельзя, отвечала Брамапутра. Тогда Эллен спросила, нельзя ли взять иголки и нитки и залатать дыру, после чего разразилась истерическим смехом, в совершенном отчаянии от того, что так некстати напоила кузнеца. Но у Мака немедля созрел другой план: он надумал взять с «Фунтуса» одну из кормовых шлюпок, и пусть ее перенесут к нему в спальню, нальют водой для купания и постелят туда новую перину, чтобы получилось удобное ложе. Послали за Свеном-Сторожем, однако когда тот предстал перед экономкой и узнал, какое ему дают поручение, у него невольно вырвалось: «Помилуйте! — тут Свен содрал с головы шапку и опустил ее чуть не до колена,— помилуйте, шлюпки с осени не были на воде, они рассохлись и текут как последние свиньи!»

Все это Свен сказал очень вежливо и вдобавок учтиво поклонившись.

Словом, выхода не оставалось.

Не значило ли это, что в новом году все вообще пойдет наперекосяк? Вскрыв письмо от своей дочери Эдварды, обычное письмо к Рождеству, Мак вздрогнул всем телом, подошел к окну и погрузился в раздумья. Письмо было очень короткое: Эдварда овдовела и собиралась по весне вернуться домой.

Мак овладел собой и начал встречать гостей, как обычно, встретил и Шёнинга, смотрителя маяка, встретил Бенони, который нынче был его компаньоном, сам такой же хозяин и вдобавок умопомрачительно богат. Мак подвел Бенони к софе и многократно поблагодарил за то, что тот пришел.

Он повернулся к смотрителю и спросил:

— А мадам Шёнинг?

— Понятия не имею,— отвечал Шёнинг, даже не повернув головы.

— Она придет, я надеюсь?

— Кто?— спросил смотритель.

Ему уже все было безразлично, он презирал и эти вопросы, и этого Фердинанда Мака, и весь его дом. Сидел тут на софе бывший владелец серебряных копей Бенони Хартвигсен и хлопал голубыми глазами, выставляя напоказ примитивное нутро богатея. В столовой хлопотали служанки, накрывая стол, и всем сердцем радовались, что настал он, единственный вечер в году! Право же, не виси по стенам несколько картин, этот дом стал бы вконец невыносим.

А тут заявила мадам Шёнинг и попросила извинения, что пришла до срока.

— Ничуть не до срока, ничуть не до срока, любезнейшая мадам Шёнинг!— вскричал Мак.— Ваш муж здесь уже четверть часа.

— Ах, да,— отвечала мадам, не замечая своего мужа, не замечая даже его тени.

За столом Мак повел торжественные речи, помянул свою дочь Эдварду, выразил надежду, что, соскучившись по родному дому, баронесса Эдварда наведается сюда весной... А о горе ни слова: ведь был Сочельник!

Потом Мак завел речь о Бенони и провозгласил здравицу в честь своего компаньона, который оказал ему любезность и заглянул нынче на огонек. Потом — в честь смотрителя. Потом выпил за всю свою челядь. И вся эта толпа, все люди, что кормились в Сирилунне, сидели словно малые дети, внимая трогательным речам Мака, а Брамапутра так и вовсе полезла за носовым платком. Вот только Фредрика Мензу нельзя было доставить к столу вместе с постелью, но и его он не бросил в святой вечер на произвол судьбы, возле него сидела женщина, кормила его, читала для него молитву и вообще всячески о нем пеклась. А у другой стены лежал ребенок Эллен, и вот ему-то приходилось справляться своими силами. Он пла-

кал и умолкал, сучил ногами, улыбался и снова плакал. При этом он крайне мешал тем двоим читать молитву, и Фредрик Менза несколько раз в ярости воскликнул: «Царь Давид! Царь Давид! Дьявол! Хо!» — на что женщина отвечала: «Вы совершенно правы, поистине вспомнешь царя Давида!..» Устыдясь, Эллен вылезла из-за праздничного стола, заглянула в каморку, перевернула ребенка и вышла. Голова у нее была занята совершенно другим, тем, что еще предстояло: после того как разойдутся гости, всегда начинался обыск. Но ни за что на свете нельзя допустить, чтобы эта пигалица, эта Петрина из Торпельвикена, запрятала под корсаж серебряную вилку...

Бенони спросил у Мака:

— Так, значит, Роза не смогла мне присоветовать подходящую экономку?

Как мучителен был для него этот вопрос, каким он себя чувствовал робким, этот всемогущий человек! Ему позарез была нужна особа женского пола, чтобы вести его дом, а найти такую он не мог за все свои деньги.

Мак посоветовал ему подождать до весны.

— Дорогой друг, прошу вас, подождите до весны. Весной вернется домой моя дочь, а обе эти дамы хорошо знакомы между собой.

В самый праздник Бенони решил прогуляться через общинный лес до церкви соседнего прихода. Он сделал это, чтобы как-то развлечься: почему бы ему и не послушать проповедь великого пастора Барфуда в один из праздничных дней? Поскольку ему давно уже не подобало ходить пешком, он взял у Мака санки и лошадь, а вдобавок получил от Мака на подержание длинную доху из морского котика.

— Я до сих пор не обзавелся собственной шубой,— сказал Бенони Свену-Сторожу, который сидел в санях на заднем сиденье. Бенони не рискнул взять Свена кучером, потому что Свен был уже человек женатый, а вдобавок повышен в звании и стал шкипером на большом судне.— Тебе, верно, не к лицу возить меня? — спросил Бенони.

— Стыд на мою голову, ежели я не соглашусь отвезти Хартвигсена,— ответил Свен в свою очередь.

Разговор этот состоялся в Сирилунне.

По дороге они наведались в дом Бенони, взяли там корзину с бутылками и провизию. Бенони вынес из дома свои ботфорты и попросил Свена надеть их. А были это его знаменитые ботфорты с лакированными отворотами, которыми и сам Бенони немало гордился.

— Надень их,— сказал Бенони.

Он усвоил манеру говорить приветливо, но твердо, богатство распрямило его, расправило его плечи, сделало более изысканной его одежду и даже изменило отчасти его речь. Как здорово сумели деньги сделать из Бенони человека! Но когда Бенони попросил Свена надеть эти ботфорты, Свен ответил совершенно на старый лад:

— А сами-то вы в чем поедете?

Тут Бенони засунул ноги в привезенные из Бергена сапоги на собачьем меху. Тогда и Свен надел ботфорты, и они засверкали как драгоценность у него на ногах.

— Если подходят, можешь взять их себе,— сказал Бенони.

И Свен-Сторож ответил:

— Для меня вроде жирно будет. Это же воскресная обувь до конца моих дней.

Они выпили еще по несколько рюмочек да и поехали.

В пути разговаривали о всякой всячине, благо ехали по той дороге, где Бенони знал каждый можжевеловый куст, каждую сосенку и каждую гору. Здесь он ходил в солнце и в дождь, разнося королевскую почту в сумке со львом, но здесь же, к сожалению, была и та пещера, где они с Розой, пасторской дочкой, пережидали дождь. Ох, эта пещера!

— Ты не мог бы спеть чего ни-то? — спросил он через плечо.

— Спеть? Гм-гм. У меня словно бы и голоса не осталось,— отвечал Свен,— больно много всякого.

А когда в лесу они открыли поставец с бутылками и выпили еще немного, у Свена совсем душа размякла и речь стала сбивчивая, будто он выпил на голодный желудок и захмелел от водки.

— Вообще-то говоря, я сегодня и не ел ничего. Прямо стыдно признаваться.

На свет явился коробок с провизией, праздничное угощение, лепешки.

— А почему ж ты не ел?

— Сам виноват. Больно много всякого,— отвечал Свен. Он дал понять, что утром они с Эллен малость повздорили, а уж после этого ему кусок не лез в горло.

Поехали дальше, ехали-ехали, и тут Свен сказал:

— С тех пор как ко мне вернулся мой алмаз, а ящик стекла можно купить в долг у вас в лавке, я бы не прочь снова начать бродячую жизнь.

Бенони поворачивается к нему всем телом:

— Теперь, когда ты стал шкипером?

Свен качает головой.

— Обзавелся женой и ребенком и тому подобное.

— Да,— отвечает Свен,— и все же.

Добрряк Свен прожил с женой уже с полгода, он не пел больше про девушек из Сороси, не бродил по дорогам, приплясывая, словно в танце. Ему это и в голову теперь не приходило. Полгода—это такой бесконечно долгий срок... Он получил ту, которой добивался, но теперь в нем не было ни веселого нетерпения, ни радости, теперь было по-другому: день прожит, и слава богу. И каждый день он просыпался с одной и той же мыслью, что ждать ему от жизни больше нечего, все повторялось уже две сотни раз: он вставал, и Эллен вставала, их ждала та же самая одежда, и они надевали ее сегодня, как вчера. Эллен высовывалась из своего окошка и бросала взгляд на окна Мака, спущены ли там обе гардины, все ли в порядке. Потом до одури знакомыми словами она говорила ему, какая на дворе погода, да и то затем лишь, чтобы скрыть направление своего взгляда. Они неохотно уступали друг другу место на крохотном пятачке пола, каждый только и ждал, чтобы другой первым вышел из дому, и расставались, не проронив ни слова, целых двести раз. А впереди было еще несколько тысяч.

— Что-то ты сам на себя не похож,— сказал Бенони,— вот уж весной, когда ты вернешься с Лофотенов, ты сможешь перейти в новый большой дом.

— Много для меня, слишком много.

— А малыш как, здоров?— спросил Бенони.

— Да, здоров. Глаза у него, правда, карие, но так-то мальчишка красивый, мне нравится.

— Ты на руках его хоть раз держал?

— Нет.

— Ни разу?

— Да вот как-то все собирался, собирался...

— Ты бы хоть немножко его подержал,— советует Бенони.

— Вы так думаете?

— Думаю. Ну насчет карих глаз—иначе и быть не могло, но все равно...

За разговором они добрались до места и въехали на церковный двор, так что снег взвился.

Господин в мехах, сам Хартвигсен собственной персоной. Не то один, не то два работника выбегают из пасторского дома, чтобы принять коня.

«Милости просим, милости просим, заходите, заходите!» — «Нет, спасибо!»

Бенони страдает в сердце своем, ибо ожило старое, немеркнувшее воспоминание: некогда в этом доме ему пришлось подписать весьма суровое объяснение, потом это объяснение было зачитано ленсманом у них на церковной горке. Позднее Роза стала его невестой, а затем между ними все кончилось, она вышла за другого, за Николая, сына пономаря. Н-да...

Во всем своем великолепии Бенони поднимается на горку, спокойно рассекая группы людей, которые раздаются в стороны и здороваются: его здесь все знают. Посыльный спрашивает, не будет ли Хартвигсен так любезен навеститься к пастору и выпить чего-нибудь тепленького? Нет, спасибо, у него дела. Возможно, после богослужения он зайдет поблагодарить за приглашение. По правде говоря, никаких таких дел у Бенони нет, но у большого человека всегда может найтись дело к любому из этих людей, его деятельность очень многообразна, так, например, ему нужна команда для рейса к Лофотенам на всех новых судах. Ему даже и не нужно делать первый шаг и опрашивать желающих, если его до сих пор не обступили плотным кольцом, так из одного лишь почтения. Один за другим подходят к нему, стаскивают шапку с головы, потом нерешительно напяливают снова, хотя на дворе студено. Не будет ли его милости, чтобы предоставить просителю место на одном из его судов? А Бенони высится, будто памятник, в дохе, в подбитых мехом сапогах, предстая добрым и милостивым господином перед всяким, кто к нему ни подойдет. «Я подумаю,— отвечает он и записывает имя,— загляни ко мне на днях. Правда, я не должен забывать и про своих земляков, но все-таки...»

А тут пастор Барфуд спешит вверх по холму, останавливается перед Бенони в полном облачении и просит того не проходить мимо пасторских дверей. Бенони, поблагодарив, отвечает, что постарается выбрать время после богослужения, и справляется, хорошо ли пастор себя чувствует.

Вот видите, подобный вопрос Бенони Хартвигсен и не посмел бы задать пастору в былые дни.

А вот Роза не поднимается вслед за отцом. Может, она вообще не намерена быть сегодня в церкви? Ладно.

И все же она приходит. Бенони снимает с головы меховую шапку, здоровается, а Роза, побагровев от сму-

щения, спешит мимо. Бедная Роза, верно, никак не могла совладать со своим любопытством, ей захотелось поглядеть на Бенони в мехах. Роза прошла к ризнице.

Бенони стоит какое-то время и соображает, потом говорит последнему из просителей:

— Тебе, верно, несладко приходится, загляни ко мне через денек-другой, я тебе помогу.

— Бог вас благослови! — отвечает тот. А Бенони заходит в церковь.

Он с умыслом садится у самых дверей. Люди таращат глаза от удивления: он мог бы сесть хоть у дверей на хоры, а вот, поди ж ты, не сел! Роза сидит на скамье для пасторской семьи и глядит на него. Она снова заливается краской, потом потихоньку бледнеет. На ней песцовая шубка.

Бенони расстегивает свою доху. Он прекрасно сознает, что место, на которое он сел, не подобает важному господину; и ленсман, и несколько мелких торговцев из дальних шхер сидят впереди.

Но Бенони чувствовал себя удобно на своем сиденье и своей персоной возвышал его из ничтожества. Уж, верно, многие устыдились и были бы куда как рады сидеть гораздо ниже, под Хартвигсеном, всемогущим Хартвигсеном, ах, не ходить бы им сегодня в церковь.

Сразу после проповеди многие вышли. Бенони застегнул доху и последовал за ними. Он не хотел больше смущать Розу своим присутствием; люди и так переводили взгляд с него на Розу и снова с нее на него, вспоминая при этом о былой помолвке. «Это ж надо, отказаться от такого человека!» — верно, думали про себя люди. Бенони направился к саням, а Свен-Сторож тотчас присоединился к хозяину и спросил, не пора ли запрягать. Да, и поскорей. Но до пастората доходит весть, что Хартвигсен собрался уезжать.

Боже правый, того гляди, он возьмет и уедет. Пасторша сбегает по лестнице, бежит по холоду, через свежее выпавший снег прямо к Хартвигсену, простодушно и приветливо протягивает ему руку и просит его не пренебречь ее домом, не пройти мимо ее дверей. Когда-то им еще выпадет радость повидать его!

Покуда они так стоят, из церкви возвращается Роза. Бедная Роза, ее, верно, снова одолело любопытство, и ей захотелось посмотреть, уедет Хартвигсен домой или нет. Вот она и пришла, а мать ей сразу крикнула:

— Ты подумай, Хартвигсен ни за что не хочет к нам зайти. Попроси его вместе со мной.

Роза ужасно смущена, она чувствует себя такой ничтожной. Она только и способна вымолвить:

— Может, вы будете так любезны и зайдете к нам?

Бенони не изображает из себя более важную персону, чем он есть на самом деле, он ссылается лишь на то, что день короткий, а дорога длинная, так пора бы и ехать.

— Сейчас полнолуние,— говорит в ответ Роза.

— Да, сейчас полнолуние,— повторяет ее мать.

— Ну, как мы поступим? — обращается Бенони к Свену-Сторожу и вопросительно глядит на него.— Думаешь, можно ненадолго задержаться?

Свен-Сторож отлично умеет себя вести в подобном обществе, он сдергивает шапку с головы, кланяется и говорит:

— Раз такое дело, думаю, у нас будет и небо ясное, и дорога хорошая.

— Я, понимаете, по сегодняшним временам сам себе не хозяин,— говорит Бенони, следуя за обеими дамами.— У меня теперь очень много хлопот, ведь надо оснастить новые корабли.

Как удивительно все складывается. Вот здесь, рядом идет Роза, а немного спустя она садится в той же комнате, где сидит он, и слушает его слова, и время от времени бросает на него взгляд, и даже отвечает коротко. Когда пастор вернулся из церкви и все сели за стол, Роза подавала ему то одно, то другое, чего, как она видела, ему не хватает. Все было так странно, все было словно во сне. Он пытался преодолеть тягостную неуверенность. Каким тоном ему надо говорить, как часто можно взгладывать на Розу? Ведь был же он когда-то помолвлен с этой женщиной, целовал ее, отстраивал для нее дом, еще немного — и сыграли бы свадьбу.

Встав из-за стола, пастор и пасторша отправились в соседнюю комнату вздремнуть после обеда. Так у них было заведено. Но Бенони-то, Бенони-то остался один на один со своей бывшей невестой.

— Не будете ли вы так любезны что-нибудь сыграть? — спросил он, хотя, может, это могло нарушить покой стариков.

И нарушит, без сомнения, вероятно, подумала она, очень может быть, что нарушит. И однако же, она села за фортепьяно. Ему это показалось восхитительным, он

никогда не слышал ничего подобного, он воспринял как проявление нежности с ее стороны, что вот она села и заиграла. Она поводила плечами то вправо, то влево, на затылке тяжелым узлом лежали волосы, а под ними виднелась шея, ее белая шея.

Он учтиво поблагодарил ее:

— Ничего прекраснее я в жизни не слышал,— сказал он.

Когда она кончила, оба сидели какое-то время и молчали от смущения.

— Вы, верно, не раз играли это, пока не выучили,— сказал он наконец.

— Да,— улыбнулась она,— но я не так уж много и умею.

Они еще малость поговорили о том о сем, богатство развязало ему язык, он стал тем, кем стал, он умеет находчиво отвечать на разные вопросы касательно его новых судов. Время бежит, бежит быстро, Бенони понимает, что с минуты на минуту вернутся старики. Ну, у него есть к ней дело, он в своем праве и потому спрашивает:

— Не знаю, говорил ли с вами Мак насчет меня?

Он поднял глаза и увидел, что на переносице у нее тотчас проступила знакомая тонкая складка.

— Мак думал, что вы могли бы помочь мне найти домоправительницу.

— Нет,— ответила она.

— Нет, нет, я просто надеялся, что вы знаете какую-нибудь на юге. Ничего другого я не имел в виду.

Она покачала головой.

— Нет, я никого не знаю.

Пауза. Бенони бросил взгляд на свои часы. Почему ж это старики не возвращаются? Он не решался объяснить ей свою неудачу, сказать, что идея целиком и полностью принадлежит Маку. А впрочем, не так уж все и плохо.

Он встал с места, подошел к одной из картин на стене и начал ее разглядывать. Затем перешел к другой. Роза одиноко сидела на своем стуле. Он вежливо спросил:

— Передать от вас привет в Сирилунне?

— Да, спасибо.

К тому времени, когда вернулись старики, они только и успели обменяться этими словами. Словами, которым суждено остаться последними на долгое время. После кофе Бенони попрощался и уехал домой. Теперь уже не

имело смысла ждать, когда по весне вернется домой Эдварда, на этом деле можно было поставить крест.

Стояла полная луна, да вдобавок светило полярное сияние. Бенони снова очутился в знакомых местах. На вершине горы можно было увидеть, как поднявшийся ветер закручивает винтом свежий снег.

— *Vogge ækked*,— прозвучало с дороги.

Бенони ответил и проехал мимо...

Пришла весна, и Эдварда, дочь Мака, сошла с почтового парохода на берег. Но тут уже начинается другая история и другая небольшая повесть под названием «Роза».

Роза



РОМАН

Перевод
Е. Суриц

ROSA

1908



I

Зимой 18** года я пустился на Лофотены с одной рыбацкой шхуной из Олезунда. Мы шли почти четыре недели, я высадился в Скровене и стал ждать попутного судна, чтоб двинуться дальше. Одна шхуна отправлялась на Пасху домой в Сальтенланн, и хоть я не попадал точно на место назначения, я поехал с этими рыбаками. Дело в том, что у меня был друг-приятель в тех краях, и звали его Мункен Вендт; мы с ним уговорились странствовать вместе. С тех пор прошло пятнадцать лет — целая вечность.

В среду на Святой шестнадцатого апреля прибыл я в торговый городок Сирилунн. Здесь жил купец Мак, важный господин. Жил тут с ним рядом и добрый человек Бенони Хартвигсен, он был богатый и всем помогал. Эти двое, можно сказать, были хозяева Сирилунна, всех здешних судов и промыслов. «Идите к Маку, идите к Хартвигсену, к кому ваша милость изволит», — сказали мне мои рыбаки.

Я подошел к господской усадьбе, огляделся и решил пройти мимо — уж слишком богато и пышно жил старый Мак. Зато в полдень я явился к Бенони Хартвигсену и представился. Я был не очень важная птица, всего имущества со мною было мое ружье да кой-какая одежда в заплечном мешке, а потому я попросил, чтобы меня до поры приютили в людской.

— Это можно, — сказал Хартвигсен. — Вы откуда будете?

— С юга. Отправляюсь в Утвер и Ос. Имя мое Парелиус, я студент. Вдобавок я умею рисовать и писать красками, может, вам это пригодится.

— Вы, стало быть, человек ученый, как я погляжу.

— Да. И я не какой-нибудь бродяга. Я условился встретиться с другом в этих краях. Он тоже ученый, и мы с ним охотники оба. Хотим вместе постранствовать.

— Присаживайтесь,— сказал тут Хартвигсен и придвинул мне стул.

Среди прочей мебели в комнате было фортепьяно, но я удержался, я не стал к нему подходить. Я, наоборот, объяснил Хартвигсену все, о чем он меня спрашивал, и он накормил меня и напоил. Он был очень со мною любезен и решил поместить меня в доме, а не отправлять в людскую.

— Оставайтесь-ка у меня, вы мне пригодитесь,— сказал он.— Вы супругу имеете?— спросил он и улыбнулся.

— Нет. Мне всего-то двадцать два года. Я еще расту.

— И вы даже ни в кого не влюбленный?

— Нет.

Потом Хартвигсен сказал:

— Раз вы такой ученый, вы, верно, можете нарисовать мой дом и сарай, иначе сказать — все мои постройки, написать с них картины?

Я улыбнулся и подивился его странным словам: я же только что ему объяснил, что умею рисовать и писать красками.

— У меня в доме столько всякой всячины,— сказал он,— а вокруг дома летают мои голуби, и всему, что вы видите тут, я хозяин. А вот картин у меня нету,— сказал он,— чего нету, того нету.

На это я ему отвечал, что не пожалею трудов и изображу все, что он пожелает.

Хартвигсен пошел на пристань, предоставив меня самому себе, а мне и хотелось побыть одному. Двери все были открыты, я ходил куда вздумается, и я долго сидел в лодочном сарае, вознося хвалу Господу за то, что сподобил меня добраться до таких дальних краев и встречать до сих пор только добрых людей.

Праздники прошли, и я принялся рисовать и писать красками дом и сарай Хартвигсена. Мне кое-что понадобилось для моей работы, я пошел в лавку и там впервые увидел купца Мака, важного господина. Был он уже в годах, но крепкий, бодрый и держался надменно и важно. На рубашке — дорогая бриллиантовая булавка, часовая цепочка вся увешана золотыми брелоками. Услыхав, что я не какой-то бродяга, а совершенно напротив — решивший постранствовать студент, он сменил свой спесивый тон на отменную учтивость.

Я рисовал, а Хартвигсен не мог нарадоваться на мою работу, все восхищался, что дома у меня выходят похожие. Я послал моему другу Мункену Вендту письмо, извещающая его, что к нему направляюсь, но задержусь у добрых людей.

— Напишите, что раньше как осенью до него не доберетесь,— сказал мне Хартвигсен.— Летом мне постоянно в вас будет нужда. Вот вернутся суда с Лофотенов, и надо их тоже нарисовать, а уж «Фунтус» особенно — я на нем ходил в Берген.

И ничего тут нет удивительного, что я задержался в Сирилунне. Сюда то и дело заглядывал кто-то, и редко кто сразу двигался дальше. Недели через две после меня явился Крючочник. Этот всем и каждому понаделал крюков, но не уехал, а тоже остался. Он решительно ни на какое дело не был годен, кроме как гнуть крюки. Но вдобавок он очень ловко подражал голосам зверей и птиц. Будто какую-то машинку он прятал во рту и мог заливаться, как целый лесной птичий хор, а вы и понятия не имели, откуда идут эти звуки. Просто непостижимо. Даже сам господин Мак останавливался у себя во дворе послушать Крючочника, когда тот шел мимо. В конце концов Мак пристроил его к работе на мельнице, чтобы всегда иметь под рукой, и Крючочник стал местной достопримечательностью.

II

Я уже довольно долго жил у Хартвигсена, и вот как-то на пути в лавку я встретил Мака в обществе незнакомой дамы. На ней был песцовый жакет, но нараспашку, потому что дело шло уже к маю. Я отвык от общества молодых дам, и, кланяясь, глядя в ее милое лицо, я думал: «Храни ее Господь». Она, верно, была несколькими годами меня старше, высокая, русоволосая, с темно-пунцовым ртом. Она глянула на меня совершенно как сестра — ясным, невинным взглядом.

Я все думал о ней по дороге домой и рассказал о своей встрече Хартвигсену. Он сказал:

— Это Роза была. Красивая?

— Да.

— Это Роза. Опять, значит, пожаловала.

Я не хотел выказывать любопытство, я только сказал:

— Да, она красивая. И непохожа на здешнюю.

Хартвигсен ответил:

— Она и не здешняя. Она из соседнего прихода. Гостит у Мака.

Старуха служанка Хартвигсена мне потом еще кое-что поведала насчет Розы: она дочка пастора из соседнего прихода, вышла было замуж, да вот опять одна, муж на юг уехал. Роза одно время и с Хартвигсеном, можно сказать, обручилась, уж все готово было к свадьбе, а она возьми и выйди за другого. Все диву давались.

Я заметил, что Хартвигсен в последние дни стал одеваться тщательнее и держал себя тонким господином.

— Роза, я слышал, приехала? — мимоходом спросил он у служанки.

Мы вместе отправились в Сирилунн. Дел у нас никаких на сей раз у обоих там не было. Хартвигсен сказал:

— Не надо ль вам чего в лавке?

— Нет. Или разве гвоздей, шурупов...

Той, ради кого мы пришли, в лавке не оказалось. Мне дали гвоздей, и Хартвигсен спросил:

— Вам гвозди нужны для картин?

— Да, для подрамников.

— Для подрамников, может, еще чего нужно? Вы не спешите, подумайте.

И я понял, что он это сказал потому, что хотел протянуть время.

Я спросил еще каких-то мелочей, а Хартвигсен стоял и ждал и все поглядывал на дверь. В конце концов он меня оставил и вошел в контору. Он был компаньоном господина Мака, вдобавок богач, вот он и открыл дверь конторы не постучавшись, о чем, конечно, никто кроме него и помыслить не мог.

Я стоял и ждал у прилавка, и тут вошла та, ради кого мы явились. Верно, она видела, как Хартвигсен входил в лавку, и хотела встретиться с ним. Она с порога глянула мне прямо в лицо, и меня кинуло в жар, а она сразу зашла за прилавок и принялась что-то искать на полках. Она была высокая, статная, руки ее так нежно перебирали товар. Я не мог отвести взгляд. Она была как молодая мать.

Поскорей бы этот Хартвигсен вышел из конторы, подумал я. И он как раз вышел. Он поздоровался с Розой, и она ответила. Никакой неловкости я в них не замечал, хоть они и были когда-то помолвлены, ах, как спокойно протянул он ей руку, и она не зарделась, она не выказала никакого смущения при виде него.

— Снова в наши края? — спросил он.

— Да, — сказала она.

Отвернувшись к полкам и продолжала что-то искать. Наступила пауза. Потом она сказала, не глядя на него:

— Я не для себя роюсь в вашем товаре, это я для дома.

— Чего это вы, право!

— Да-да, я стою тут за прилавком, как в былые времена. Но не бойтесь, я ничего не украду.

— И не совестно? — сказал он, разобидясь.

Я подумал: на месте Хартвигсена я бы не стоял тут ни минуты. А он все стоял. Значит, что-то теплилось у него в душе, раз он сразу не бросился вон. И почему бы ему самому не зайти за прилавок, не предложить ей найти, что ей нужно? Ведь он тут хозяин? А он стоит вместе со мной у прилавка, как покупатель. А ведь Стен и Мартин, приказчики, рта при нем не смеют открыть, так несметно он богат, и он же хозяин!

— Это со мной заезжий студент, — сказал Хартвигсен Розе. — Вот спрашивает все, не придете ли вы как-нибудь поиграть на нашей музыке. Она ведь так у меня и стоит, музыка эта.

— Я стесняюсь играть при посторонних, — сказала она и покачала головой.

Хартвигсен помолчал, потом сказал:

— Что ж, это я только так спросил. Ну как вы? — он повернулся ко мне. — Готовы?

— Да, я готов.

— Я, по правде, на таких не умею играть, — вдруг сказала Роза. — Но если вы... Не зайти ли нам в комнаты?..

Мы все трое вошли в комнаты Мака. Тут стояло новое дорогое фортепьяно, и Роза на нем сыграла. Она очень старалась, верно, хотела загладить свою резкость. Кончила играть и сказала:

— Вот и все, больше я ничего не умею.

Хартвигсен сидел и сидел, он и не собирался уходить. Вошел Мак, он был удивлен неожиданностью и принимал нас с отменной учтивостью. Нам поднесли выпивку и печенья. Он водил меня по гостиной и показывал мне картины и прелестные гравюры. Хартвигсен с Розой меж тем беседовали вдвоем. Они говорили о чем-то, о чем я не знал прежде, о ребенке, девочке по имени Марта, о дочке Стена-Приказчика. Хартвигсен хотел бы взять ее к себе, если Розе эта мысль придется по нраву.

— Нет, мне эта мысль не по нраву,— ответила Роза.
— Ты бы подумала хорошенько,— вдруг сказал Мак.
Тут Роза заплакала и сказала:
— И что я вам сделала?

Хартвигсен огорчился, он стал ее утешать:

— Вы научили ребенка книксен делать. У меня и в мыслях ничего иного не было. Думаю, дай возьму ее к себе, раз уж вы ее обучили тонким манерам. И зачем плакать?

— Ну, Господь с вами, берите ее. Только я переехать к вам не могу,— выпалила Роза.

Хартвигсен долго думал, потом сказал:

— Я не могу взять ребенка без вас.

— Уж разумеется,— сказал Мак.

И Роза махнула рукой и вышла из комнаты.

III

Рыбаки возвращались уже с Лофотенов, на больших судах и на шхунах, над бухтой гудели песни, крики, сверкало солнце — пришла весна. Несколько дней Хартвигсен ходил угрюмый, сам не свой, но возвращались суда с рыбой, кипела работа, и он повеселел. Розы я не видел.

Я свел знакомство с удивительным человеком — смотрителем маяка. Звали его Шёнинг, прежде он был капитаном. Я наткнулся на него как-то вечером, когда бродил среди скал, глядя на морских птиц, он сидел на камне без всякого дела. Я шел в его сторону, и он неотрывно смотрел на меня, ведь я был чужой, и я тоже смотрел на него.

— Вы что тут делаете? — спросил он.

— Хожу и гляжу на птиц,— ответил я.— Это разве запрещено?

Он не ответил, и я прошел мимо.

Я нагулялся и шел обратно, а он все сидел на том же камне.

— Когда птицы сидят на яйцах, их не следует тревожить,— сказал он.— И чего вы тут ходите?

Я спросил в ответ:

— А чего вы тут сидите?

— Ах, милый юноша! — отвечал он и поднял ладонь лопаткой.— Чего я тут сижу? Я тут сижу, чтобы не отстать от своей судьбы. Вот так-то.

Верно, я улыбнулся, потому что он улыбнулся в ответ бледной, жалостной улыбкой и продолжал:

— Я сегодня сказал сам себе: дай-ка я погляжу, как ты играешь роль в комедии собственной жизни. Ладно, отвечал я сам себе. И вот я тут сижу.

Все это было до того странно, а ведь я еще не знал смотрителя маяка, и я решил, что он шутит.

— Вы, что ли, живете у Бенони Хартвигсена? — спросил он.

— Да.

— Только не кланяйтесь ему от меня.

— Вы на него сердитесь?

— Да. Вот эти несметные богатства у нас с вами под ногами принадлежали когда-то ему. Вы топчете сейчас серебро ценой в миллион, и оно принадлежало ему. А он все продал и остался ничтожеством.

— Разве Хартвигсен не богат?

— Нет. Приоденься он поприличней, и денег у него останется разве на кашу.

— Уж не вы ли обнаружили этот клад и отказались его купить за бесценок? — спросил я.

— На что мне клад? — ответил смотритель. — Две мои дочки благополучно пристроены замуж, сын мой Эйнар скоро умрет. А нам со старухой в день по два обеда не съесть. Вы меня небось за дурака считаете?

— Нет, вы, кажется, такой умный, что мне и не понять.

— Совершенно справедливо! — сказал смотритель. — И вдобавок: с жизнью надобно обращаться как с женщиной. Разве не следует перед ней преклоняться, разве не следует ей потакать? Уступай жизни, уступай, дай ей тебя одолеть, а клад — пусть его в земле лежит.

В бухту вошел почтовый пароход, я видел, что на пристани толпится народ, и над Сирилунном и над пристанью подняли флаги. Немецкий оркестр играл на борту, горели на солнце медные трубы. Я видел в толпе Мака и его экономку, Хартвигсена и Розу, но они никому не махали, и никто им не махал с парохода.

— Ради кого это подняли флаги? — спросил я у смотрителя маяка.

— Ради вас, ради меня, почему я знаю? — ответил он скучным голосом. Но я-то видел, как глаза у него расширились, как у него раздувались ноздри от музыки, от сверкания труб.

Я ушел, а он все сидел на месте со своими мыслями. Ему, конечно, надоели мои вопросы и я сам надоел, но Боже ты мой, как же он позволил жизни себя одолеть,

думал я. Я несколько раз оглянулся, он сидел без движения, сутулый, в серой куртке, в мятой, обвислой шляпе.

Я спустился к пристани и там узнал, что встречаются дочь Мака Эдварду. Она была замужем за финским бароном, зимой овдовела, у нее двое детей.

Вот Роза принялась махать платочком, и ей с парохода ответила дама. Мак махать не стал. Зато он крикнул лодочникам: «Смотрите у меня, чтоб доставить баронессу с детьми в целости и сохранности!»

Я стоял и думал, как это странно, что Роза была помолвлена с Хартвигсеном, а взяла и вышла за другого. Хартвигсен крепкий, крупный, лицо у него приятное, умное, к тому же он богач и готов помочь всякому, стало быть, у него доброе сердце,— так чем же он ей не угодил? Правда, виски у него седые, но волосы лежат густой шапкой, и в улыбке он обнажает крупные желтые зубы — сплошные, без изъяна. Значит, Розе не понравилось что-то еще, о чем не догадаться со стороны?

Баронесса сошла на берег со своими двумя девочками. Высокая, тонкая, под густым вуалем. Здороваясь с отцом, она не открыла лица, так они и целовались через вуаль, и оба не выказывали ни малейших признаков радости, но когда баронесса заговорила с Розой, она повеселела, и голос у нее был бархатный и нежный.

Вот еще одного незнакомого господина доставили в лодке с парохода. Когда он ступил на берег, ясно стало, что он пьян мертвецки и ничего не различает перед собой. И Мак и Хартвигсен ему поклонились, а он едва кивнул в ответ, даже не прикоснувшись к шляпе. Мне объяснили, что он англичанин, сэр Хью Тревилян, он каждый год приезжает ловить лосося в соседнем приходе. Это тот самый господин, который за большие деньги купил у Хартвигсена серебряные горы. Он нанял носильщика и ушел с пристани.

Я стоял в сторонке — я был здесь чужой и никому не желал навязываться. Но вот Мак со своими присными двинулся к усадьбе, и я тоже поплелся следом. Когда Хартвигсен собрался свернуть к себе, баронесса на несколько секунд его задержала. Тут наконец-то она сняла перчатку и мне тоже протянула руку — длинную, тонкую руку, — и как же нежно было пожатье этой руки.

Потом, уже поздно вечером, две баронессины дочки стояли на отмели. Стояли, согнувшись, обняв колени, и что-то внимательно разглядывали на песке. Смышленные, здоровые девочки, они были до того близоруки, что,

не согнувшись в три погибели, ничего не видели у себя под ногами. Разглядывали они мертвую морскую звезду, и я им кое-что рассказал об этих редких созданиях, которых они прежде не видывали. Я отправился с ними вдоль скал, объяснял, как называются разные птицы, и показывал им взморник и ламинарии. Все это для них было внове.

IV

Я, собственно, уже разделался со своей работой, но Хартвигсен не желает меня отпускать. Ему веселей, когда я под боком, — так он говорит. Картина моя совершенно ему по вкусу — дом, сарай, голубятня, все на месте, — но когда настанет лето, Хартвигсен хочет, чтобы я изобразил зеленый фон — тот общинный лес, что далеко, у самых гор, тает в лиловой дымке. А соответственно мне придется менять прохладный тон воздуха, да и самый цвет дома придется менять. «А покамест вы шхуной займитесь», — сказал мне Хартвигсен.

Я плыву к «Фунтусу». Яркий день, все суда стоят на якорях; промывают треску, и вот она постепенно заполняет сушильни. Приезжий англичанин сэр Хью Тревилльян стоит на берегу, опираясь на удилице, и следит за промывкой. Мне рассказали, что в точности так же простоял он прошлой весной два дня напролет. Он и взгляда не кинет ни на кого в людской толчее, он только смотрит, как промывают рыбу. То и дело он у всех на глазах вытаскивает из сумки флягу и от души к ней прикладывается. И снова неотрывно глядит на промывку.

Я сижу в своей лодке и карандашом набрасываю «Фунтус» и большие под разгрузкой баркасы. Я люблю эту работу, рисунки мне удаются, и я счастлив. Утром я заходил в лавку и вынес оттуда одно редкостное, тайное впечатление, которое долго потом согревало меня. Роза, конечно, все сразу забыла, а я вот помню: я отворил и придержал для нее дверь, она оглянулась и поблагодарила меня, вот и все.

Вот и все. И с тех пор прошла целая вечность.

Глубокая, синяя лежит бухта, она совершенно недвижна, но всякий раз, как со шхуны сбрасывают отяжелевшие соленые тушки, баркасы чуть-чуть оседают в воде, посылая вокруг тонкую рябь. Нарисовать бы эту рябь и летучие тени, которые бросают на воду птицы. Они — как

ть вздоха, как след дуновенья на бархате. Вот в глубине бухты взлетает гагара и, чуть не касаясь крылом воды, мимо всех островов несется в открытое море. И прошивает синеву дрожащей строкой — ч-ч-ч, — и эта длинная напряженная ее шея наводит на мысль о железе, о броневой снаряде. Улетает гагара, и из той же самой точки, где исчезла она, выныривает дельфин и будто делает сальто на бархате. До чего хорошо!

Баронессины дочери стоят на отмели и зовут меня, я гребу к берегу и сажаю их в лодку. Они меня не могли разглядеть, но от кого-то слышали, что я в бухте, и стали выкликать мое имя, ведь я им представился. Они близоруко разглядывают мой рисунок, и старшая сообщает, что умеет хорошо рисовать города. Младшую, пятилетнюю, клонит в сон от качания лодки, я расстилаю свою куртку на корме и тихонько напеваю, пока она засыпает. У меня у самого была когда-то сестренка.

И мы болтаем со старшей, она то и дело вставляет шведские слова, она прекрасно говорит по-шведски, когда захочет, но чаще пользуется языком своей матери. Она рассказывает, что всякий раз утром на Пасху мама ей дает поглядеть через шелковый желтый платок на солнце — как оно пляшет от радости, что Христос воскрес. «А тут у вас солнце тоже пляшет?»

Младшая спит.

Проходит немало времени, и вот я гребу к берегу. Старшая будит сестренку: «Проснись же, Тонна!» Тонна наконец просыпается и долго лежит, не в силахобразить, где она. Потом начинает капризничать и дуться на сестру за то, что та подняла ее на смех, потом вдруг вскакивает в лодке, и я с трудом усаживаю ее. Наконец-то я могу завладеть своей курткой. На отмели стоит баронесса и нам кричит. Тонна и Алина наперебой ей рассказывают о своих впечатлениях. Но Тонна и слушать не хочет про то, как она спала в лодке.

Роза тоже стоит на отмели. Немного погода приходит Хартвигсен, он направляется к сушильням. Много нас собралось на крошечном пятачке. Баронесса меня благодарит за то, что я рассказал детям о морской звезде и птицах, потом сразу поворачивается к Хартвигсену и все время разговаривает с ним. Роза молча стоит и слушает. Потом, из вежливости, она высказывает желание поглядеть на мой рисунок. Она разглядывает его, а я замечаю, что она все прислушивается к тому, что говорят Хартвигсен и баронесса.

— Здесь столько перемен,—говорит баронесса.— А ведь я когда-то была в вас влюблена, Хартвигсен,—говорит она.— Это я-то, в моем более чем зрелом возрасте, с моими многочисленными дочерьми,—говорит она.

На ней белое платье, она в нем кажется еще выше и тоньше, и она выгибает стан, поворачиваясь вправо и влево, не меняя положения ног. Лицо ее нельзя назвать красивым, оно маленькое, смуглое, и над верхней губой пробивается тень. Но у нее изящная форма головы. Она сняла шляпу.

— С вашими многочисленными дочерьми! — смеется Хартвигсен.— Да их у вас и всех-то две.

— И то много,—говорит она.

Хартвигсен добродушен и не отличается сообразительностью, он повторяет:

— Их у вас и всех-то две. Покамест. Ха-ха-ха. А уж там как Бог пошлет.

Баронесса смеется:

— У вас на мой счет самые радужные упования, как я погляжу.

Роза морщит лоб, и, чтобы что-то сказать, я ее спрашиваю:

— Мне не хочется раскрашивать рисунок, я не силен в живописи. Не лучше ли оставить его как есть?

— И мне, вообразите, тоже так кажется,—отвечает она рассеянно и снова слушает баронессу.

А я уже рассказал, что говорила баронесса. Ах, но она же говорила и много всякой милой всячины, я, верно, клеветчу на нее, я вырываю отдельные слова из ее речи. И она выглядела такой жалкой, так сконфуженно улыбалась, если сгоряча, не подумавши, ей случалось сморозить глупость. Ей было нехорошо, да и сама она, верно, не была хорошей, но она была несчастна. Такая гибкая, и так она смыкала ладони и выгибала руки над головой, и стояла, и болтала, и глядела на человека из-под свода этих своих сомкнутых рук. Очень красиво.

V

Хартвигсена пригласили в Сирилуни на прием в честь баронессы и просили в записке, чтобы он захватил и меня. Я прекрасно отдавал себе отчет в том, что у меня нет подобающей для приема одежды, и предпочел отказаться, правда, Хартвигсен считал, что в моей одежде вполне

можно идти, но уж в этом-то я разбирался лучше него, кой-чему меня дома как-никак научили.

Сам Хартвигсен в честь баронессы решил одеться сверхизысканно. Когда-то, себе на свадьбу, он купил в Бергене фрак, и теперь он его обновил, но фрак ему был не к лицу. И ему вообще бы не следовало сейчас надевать этот фрак, возможно, памятный Розе. Но он, по-видимому, об этом решительно не задумывался.

Он и мне предлагал разные свои наряды, но все они были мне велики, он был плотнее меня и выше. Тогда Хартвигсен посоветовал мне надеть его куртку поверх моей собственной: «Так небось корпулентней будете»,— сказал он. Потом уж узнал я, что в здешних краях принято в знак парада надевать по две куртки и даже в летнюю пору красоваться в таком виде.

Хартвигсен ушел, а я побродил по отмели и вернулся домой, мне хотелось побыть одному. Время шло, я почистил немного, почистил ружье, и вдруг в дверь стучат и входит Роза.

За все время моего пребывания здесь она ни разу не приходила, и я встал ей навстречу в некотором недоумении. Ей поручили доставить меня в Сирилунн. Раз уж она взяла на себя такой труд, мне неловко было отказываться. Я извинился за свой костюм, а сам вышел, чтобы хоть немного привести себя в порядок. Роза прямо с порога стала озиаться, смотреть, как что стоит у Хартвигсена, как он устроился,—я сразу заметил. Когда я вернулся, я застал ее за тем, что она что-то перебирала в буфете.

— Ах, прошу прощения,— сказала она, ужасно смутившись.— Я только хотела... Это я так...

И мы отправились в Сирилунн.

Запомнились мне на этом обеде несколько купцов из соседнего прихода, на каждом было по две куртки. На дамах тоже было много чего надето. Сидели тут и смотритель маяка с женой, и родители Розы, пастор и пасторша из соседнего прихода, тоже присутствовали на обеде, их фамилия была Барфуд. Пастор был крепкий, красивый человек, птицелов и охотник. Мы с ним поговорили о скалах, о лесе. Он пригласил меня к себе в усадьбу— почему бы мне как-нибудь не проводить Розу, когда она пойдет домой через общинный лес,—сказал он.

Мак держал краткую речь в честь возвращения дочери под отчий кров. Иные говорят много красивых слов, и все без толку, а речь Мака была скупая и сжатая, но весьма впечатляла. Он был человек воспитанный, говорил и де-

лал то, что следует, ничего лишнего. Дочь сидела и смотрела напряженным, слепым взглядом, никого не видя,— да, так смотрит на вас с земли лесное озерцо. Ей было, кажется, не по себе. И манеры у нее были самые немислимые, будто она все детство ела на кухне и уже не в силах избавиться от приобретенных там скверных привычек. Уж не нарочно ли она так себя вела, чтобы выказать нам пренебрежение? Мы были ей до того безразличны все. Сейчас я перечислю кой-какие ее провинности— удивительные вещи, особенная, редкая невоспитанность,— и это в баронессе! Она что-то такое взяла в руку и давай полировать ногти, ее сосед, пастор Барфуд, поскорей отвернулся. Она ставила локти на стол, отправляя еду в рот. Когда она пила, даже я, через весь стол, слышал, как вино у ней булькает в горле. Она нарезала все мясо на тарелке перед тем как его есть, когда подали сыр, я заметил, что она мажет масло на хлеб всякий раз, как его откусит— откусит, и сразу намажет, где откусила,— нет, ничего подобного я у нас дома не видывал. А наевшись, она сидела, рыгала и отдувалась, будто вот-вот ее вырвет.

После обеда она беседовала с Хартвигсеном, и я своими ушами слышал, как она сообщила, что вспотела за едой. И даже не покраснела! Сперва я подумал: отсутствие культурного круга привело к этой преувеличенной непринужденности. Простодушный Хартвигсен мог бог знает чем ее потчевать, ничуть не смущая ее. Четыре серебряных амура стояли у колонн по четырем углам столовой. Они держали канделябры. Хартвигсен сказал со значением:

— Ангелки опять сошли на землю, как я погляжу!

— Да,— засмеялась в ответ баронесса,— мой старый папочка украсил было ими свою кровать, но светлые ангелы там оказались не к месту!

Как умела она при случае выразиться чересчур откровенно! И неужто из презрения к нам ей необходимо было прикидываться настолько уж грубой!

Я беседовал с детьми, они мое прибежище и отрада, они показывали мне рисунки и книжки, мы играли в триктрак. Время от времени я вслушивался в речи купцов из рыбацких селений, они беседовали с Маком и старались к нему подольститься. Кофе сервировали на большой веранде, к нему подали ликер, да, ничего не пожалели. Мак со всеми был чрезвычайно любезен. Мужчин обнесли длинными трубками, жены сидели тихо и слушали, что говорили мужья; иногда они перешептывались.

Хартвигсен тоже взял трубку и стакан. От вина за обедом он сделался непринужденней, ликер и вовсе развязал ему язык. Кажется, он взялся показать этим жителям рыбацких селений, что он чувствует себя у Мака как дома, он сам выбрал себе трубку и расхаживал по веранде, будто с детства привык к подобной обстановке. Сущий ребенок. Он единственный явился во фраке, но ничуть этим не смущался и то и дело одергивал фалды. Хоть он и был компаньон Мака и так несметно богат, отчего-то не ему, а Маку выказывали мелкие купцы свое почтение.

— Касаемо цен на муку и зерно,—говорил Хартвигсен,—мы же эти товары франко берем. Русскому—ему бы только сразу сбыть, чтоб поскорее деньги, а мы в любое время, круглый год товар возим.

Купец смотрит на Мака, смотрит на Хартвигсена и учтиво осведомляется:

— Но цена-то не всё круглый год одна, так в какую же пору ваша милость скорее купит товар?

Тут Мак замечает, что смотритель маяка остался в столовой, он тотчас идет за ним, чтобы пригласить его на веранду пить кофе.

Оставшись один, Хартвигсен все по-своему объясняет купцу:

— В такой огромной стране, как Россия, мало ли отчего меняются цены на хлеб. Припустят, к примеру, дожди. Дороги и развезет. Крестьянину с урожаем не добраться до города. Ну, цены в Архангельске и подскочат.

— Вона как! — дивится купец.

— Так обстоит дело насчет ячменя,—говорит Хартвигсен, еще больше увлекаясь,—однако вышеозначенные причины так же само влияют и на рожь.

Но он уж и вовсе оживился, когда к столу подошла баронесса.

— Нам и депеши шлют. Как цена на пшеницу, зерно и все такое прочее—вверх полезла—значит, должен не теряться и делать закупки.

Знаний у Хартвигсена не хватало, но благодушие и простота выручали его. Если рядом не было никого, кого бы он стеснялся, он все больше и больше смелел, уже не следил за своей речью и тогда говорил, как его земляки-поморы. Главный его собеседник, столь учтиво его расспрашивавший, сказал:

— Как же, ваша милость—и всем-то нам звезда путеводная.

Но рядом теперь была баронесса, и взгляд Хартвигсена на вещи тотчас сделался шире.

— Ну, мы небось по свету поездили, поглядели, видели Берген и прочее, так что знаем свой шесток.

— Эко-ся! — говорит купец и качает головой, оценивая шутку Хартвигсена.

Баронесса тоже качает головой и говорит, глядя ему прямо в глаза:

— Нет уж, Хартвигсен, никто не сомневается в том, что вы звезда путеводная.

— Ну, если вы так считаете... — отвечает он скромно. Но чтобы не ударить перед ней лицом в грязь, он прибавляет: — Однако должен сказать, что примерно несколько тыщ таких молодцов, как я, в Бергене найдется.

— Эко-ся! — опять восклицает купец, совершенно потрясенный остроумием Хартвигсена.

Роза стоит в гостиной. Я подхожу к ней и обращаю ее внимание на стакан красного вина, который она оставила на столе. Гостиная такая большая, и так далеко стоит этот стакан, он такой рдяный и одинокий, он будто горит на солнце.

— Да-да, — отвечает мне Роза, но мысли ее далеко. Верно, она приревновала Хартвигсена к своей подруге баронессе и не в шутку задумалась о том, не переселиться ли ей в дом Хартвигсена, чтобы там управлять хозяйством. Она покружила вокруг кофейного стола на веранде и снова хотела уйти в гостиную, не находя себя покоя.

Тут Хартвигсен ей сказал со всем своим благодушием:

— Вы бы присели к нам, Роза. Вместе скоротали бы времечко за стаканчиком.

Она улыбнулась, и мне показалось, что случилось чудо, что она влюбилась в Хартвигсена. Она села за стол.

А я прошел по веранде и вышел с веранды во двор. Во дворе тоже было на что поглядеть. Я погулял и вернулся, на столе уже стоял тодди. Мак почти не пил, Хартвигсен, кажется, пил не больше него, но оба то и дело потчевали гостей. Настроение переменилось. Один купец спросил у другого, сколько времени на его часах. Тот уклонился от ответа, и Мак сказал деликатно: «Сейчас всего три часа пополудни». Немного погодя купец снова спрашивает у приятеля: «Сколько у тебя на часах?» Тот сидит, как на горящих угольях, уже пожилой человек, он краснеет, как девица. Ну что за дети — эти северяне! Этот купец щеголял роскошной волосяной цепочкой с золотым запором, но часов в кармане у него не было. И приятель потешался над ним.

Мимо веранды проходил Крючочник, и мы услышали птичий гомон. Мак подозвал Крючочника и пригласил к столу. И вот на веранде был лес, полный пения птиц; но Крючочник и вида не подавал, что причастен к этому пению, он сидел и с самой невинной миной разглядывал разноцветные стекла.

Потом Роза играла на фортепьяно. Она по-прежнему не находила себе покоя, то и дело озиралась на сидевшее на веранде общество.

— Ну, если вам не угодно слушать, я не буду играть! — сказала она и поднялась.

А все оттого, что баронесса и Хартвигсен сидели рядышком и, кажется, перешептывались.

И я опять вышел во двор. Я захватил с собой подзорную трубу и стал развлекаться тем, что разглядывал людей на сушильнях.

VI

Через несколько дней я видел Розу, она шла в сторону пристани. Едва ли она туда направлялась по делу, она шла медленной гуляющей походкой. «Это она надеется встретить Хартвигсена», — думаю я.

Зная, что никто сейчас не потревожит меня в доме, я принялся за одно занятие, которого из самолюбия не хотел открывать никому, о, только до поры до времени, покуда не пробил мой час. Я потом еще расскажу, что это было такое.

Но я не мог собраться с мыслями, я разволновался из-за этой прогулки Розы к пристани и решил прокатиться к сушильням, чтобы успокоиться; но моя лодка стояла у пристани. Ах, верно, оттого, что лодка стояла у пристани, и решил я прокатиться к сушильням.

— А, да вот и он! — сказал Хартвигсен, когда я подошел к пристани. — Давайте его и спросим.

— Нет! — с мольбою крикнула Роза и отчего-то смутилась.

Минутку я постоял, подождал, но больше мне ничего не сказали, оставаться на пристани было неловко, и я отвязал лодку и взялся за весла.

Под вечер Хартвигсен настоятельно просил меня пожить у него до осени. У него для меня много работы, он хотел бы меня попросить кой-чему научить его, быть кой в чем его учителем. К тому же Роза, кажется, готова



Э. Мунк. Усадьба Эврефос. 1880 г.



Э. Мунк. Домик доктора в Гардермоен. 1877 г.



Э. Мунк. Весенний день на улице Карла Юхана. 1891 г.



Т. Киттельсен. Рафтсунд. 1888 г.



Э. Мунк. Весна. 1889 г.



Э. Мунк. Отчаяние. 1892 г.



Э. Мунк. Улица Карла Юхана под дождем. 1891 г.



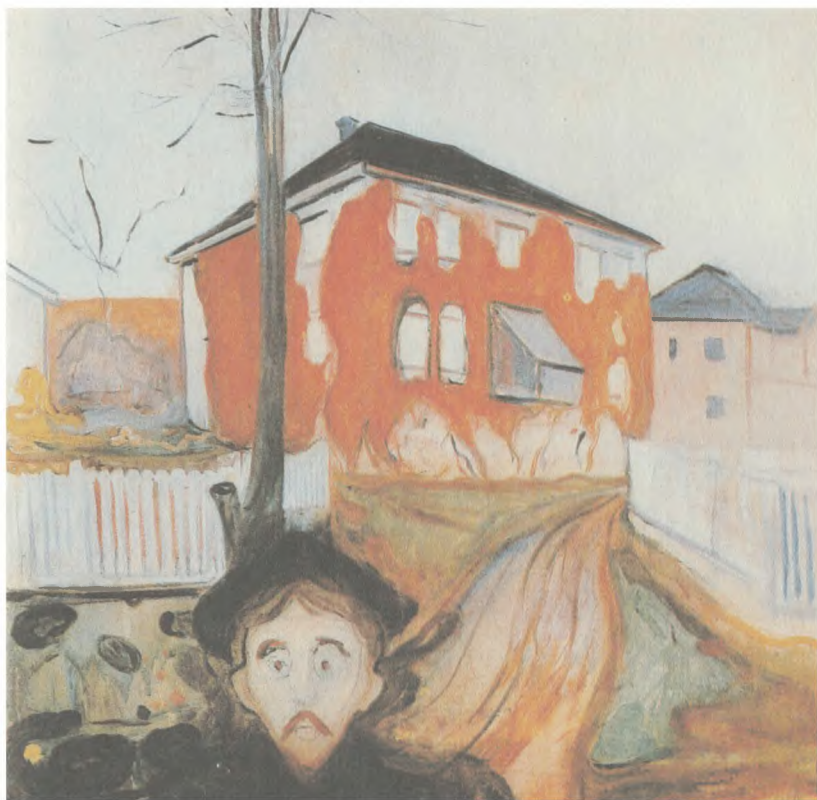
Э. Мунк. Вязальщик сетей. 1888 г.



Э. Мунк. Смерть и девушка. 1893 г.



Э. Мунк. Смятение. 1894 г.



Э. Мунк. Красный дикий виноград. 1898—1900 гг.



Э. Мунк. Одинокие. 1899 г.



Э. Мунк. Прибытие почтового парохода. 1890 г.



Э. Мунк. Дожливый день. 1902 г.



Э. Мунк. Смерть в доме больного. 1893—1894 гг.



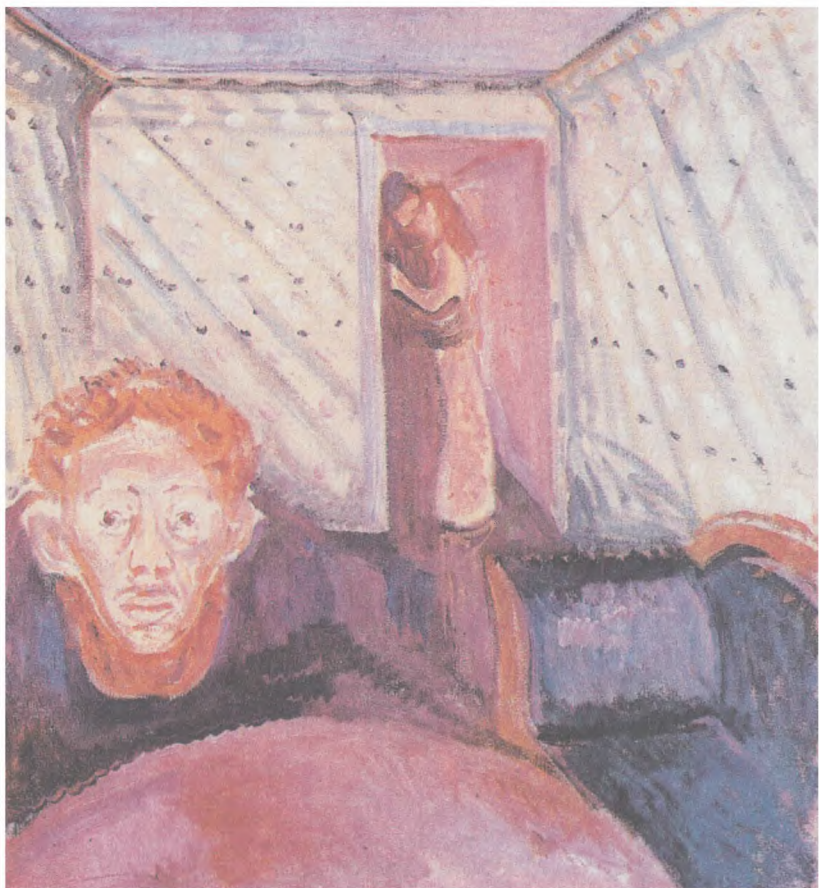
Э. Мунк. Дамы на мосту. 1903 г.



Э. Мунк. Идущий мужчина. 1890 г.



Э. Мунк. Лунный свет на берегу. 1904—1905 гг.



Э. Мунк. Ревность. 1907 г.



Э. Мунк. Утонувший мальчик. 1908 г.



Э. Мунк. Смерть сгребает листья. 1890—1892 гг.



Э. Мунк. Весенние работы. 1910 г.



Э. Мунк. У смертного одра. 1893 г.



Э. Мунк. Лего. 1904 г.



Э. Мунк. Буря. 1893 г.



Э. Мунк. Ингер на берегу. 1886 г.



Э. Мунк. Пепел. 1896 г.

поселиться у него и управлять хозяйством, если нас будет двое и он не будет единственным мужчиной в доме. Я согласился на все его просьбы и был очень рад.

Вечером Хартвигсен отправился в Сирилунн и, воротясь, долго сидел в задумчивости. Потом он надел шляпу и снова отправился в Сирилунн.

Он был такой странный, верно, он встречал во время этих прогулок своих баронессу и какие-то ее слова задели его. Я их видел на отмели в половине второго ночи, потом они пошли дальше вдоль берега, к общинному лесу. «Что-то скажет на это Роза?» — думал я.

Но что думала сама дочка Мака? Она так среди всех выделялась — баронесса в этом глухом краю, и у нее была прелестная маленькая головка, гибкий стан и, быть может, какие-то необычайные внутренние качества.

День шел за днем, а Роза не являлась. Хартвигсена, по-видимому, это мало печалило. «Когда же придет Роза?» — спросил я, и сердце мое стукнуло и покатилося. «Не знаю», — ответил рассеянно Хартвигсен.

Я начал обучать его правописанию. В счете он и без меня был силен и умел производить все нужные ему действия. Он был вдумчив и понятлив. Книг у нас не было, и мне пришлось по памяти ему рассказывать жизнеописание Наполеона и историю войны за освобождение Греции. Более всего впечатляло его во мне то, что я знал разные языки и мог прочесть надписи на иноземных товарах у него в лавке, например, на бобинах и тканях из Англии. Он и сам очень скоро этому выучился, что немудрено: в голове его содержалось так мало знаний, она была почти девственной почвой.

— А вот была бы у меня, к примеру, Библия на еврейском языке, могли бы вы ее читать? — спросил он. И он решил купить в Бергене Библию.

На дороге я встретил Розу. Она, всегда такая замкнутая, вдруг сама остановила меня и спросила с вымученной улыбкой:

— И как вам живется вдвоем?

Я до того удивился, я ответил:

— О, благодарю вас. Но мы вас ожидаем.

— Меня! Нет-нет, я на этих днях, верно, уеду к отцу в усадьбу.

— Значит, вы не переедете к нам? — спросил я растерянно.

— Нет, едва ли, — ответила она.

Рот у нее был большой, темно-красный, он чуть дрогнул, когда она улыбнулась мне на прощанье. Я хотел ей

напомнить о том, что отец ее меня приглашал в усадьбу, но, слава богу, удержался.

Скоро выяснилось, как хорошо я сделал, что промолчал: вечером Роза пришла в дом к Хартвигсену, и я видел, как она страдает оттого, что у нее не достало гордости. Впрочем, пришла она по делу, просто по делу: она должна была вернуть золотой крестик, который Хартвигсен ей подарил во время помолвки. Кольцо, тоже его подарок, она, к сожалению, потеряла, пусть уж он не взыщет!

— Это ничего, ничего,— отвечал Хартвигсен, удивленно и снисходительно.

— Ах нет, мне так жаль,— сказала Роза.— И еще я нашла письмо. Ваше старое письмо. Письмо с Лофотенов.

Все это было сказано прежде, чем я успел уйти. Роза была сама не своя, она задыхалась. На Хартвигсена вся эта сцена не произвела, кажется, никакого впечатления, перед тем как за мной затворилась дверь, я услышал:

— А-а, старое письмо. Воображаю, какие там ужаси — и касаясь правописания, да и...

Роза оставалась в доме недолго. Я видел, как она вышла, она ссутулилась и ничего не видела, ничего не слышала. Я думал о том, чего ей, верно, стоило это унижение.

На другой день она снова пришла. Как я жалел ее, как же грустно мне было видеть ее потерянное лицо. Под глазами залегли синяки, верно, после бессонной ночи, губы побледнели.

— Нет-нет, что вы это, зачем уходить? — сказала она мне. Потом повернулась к Хартвигсену и спросила: — Подыскали вы кого-нибудь вести хозяйство?

— Нет,— ответил он, не сразу и равнодушно.

— Я, пожалуй, могла бы его вести,— заговорила она снова.

И опять он ответил не сразу и равнодушно:

— Да-да. Но я, право, сам не знаю...

— Так вы, стало быть, передумали?

И тут он, верно, понял, что победил, он вдруг сказал — безжалостно, грубо:

— Нет, это ты когда-то передумала. Если ты помнишь, конечно.

Она еще постояла немного, все больше и больше ссутулясь, сказала тихо: «Да-да», — и ушла.

Даже не присела на стул, даже руки от дверной ручки не отняла.

Я вышел за нею следом, забился в глубь сарая и там на коленях молился за несчастную. Потом тоска меня погнала в Сирилунн, в лавку, на мельницу, опять в лавку Хартвигсен объявил, когда я вечером воротился:

— Я нынче ночью на часок отправлюсь за пикшей. Так что дом остается на вас.

Он шутил и как будто все ждал чего-то, он то и дело поглядывал на дорогу.

И снова я пошел в Сирилунн, чтобы не видеть, как Хартвигсен отправится за своей пикшей,—едва ли он будет один. Я бродил как во сне.

Так прошла ночь.

На другой день сидим мы с Хартвигсеном перед домом и болтаем. Был полдень, стало, помнится, накрапывать — и вдруг, в третий раз, заявляется Роза. А ведь Хартвигсен всю прошедшую долгую ночь напролет провел с баронессой. Мне-то он сказал, что собрался за пикшей, а сам гулял по лесу в ту теплую ночь.

Роза подошла неверным шагом, завидя ее, я даже сперва испугался, не хлебнула ли она чего-нибудь крепкого. Мне сразу захотелось очутиться как можно дальше от них, и при первых же ее словах я вскочил.

— Вот, зачастила я к вам. Что-то я хотела сказать.. Ах да, там в лесу... На косогоре, в осинової роще...

— Ну и что?—вдруг перебивает Хартвигсен.—Ну, сидели мы там, время провождали.

У Розы прыгают губы, она смеется:

— Она говорит, что ей за тридцать. Да, ей за тридцать.

— Ну и что?—спрашивает Хартвигсен.—Тебе-то какая печаль?

Роза смотрит на него и раздумывает. Я оборачиваюсь, я вижу, как она раздумывает, и слышу, как она говорит:

— Она куда старше меня.

И вдруг она бросается на землю и плачет.

VII

Дождь лил два дня и две ночи, и треска штабелями лежала под берестой. Никто не работал на сушильнях, темно и мрачно было вокруг. Но поля и луга зарастали, пушились, волнились.

Мак предложил включить имя Хартвигсена в название фирмы; правда, это обойдется ему в известную

сумму. Хартвигсен спросил у меня совета, хотя, разумеется, он сам уже все решил. Крупные торговые обороты вовсе не по моей части, тут я ему был не советчик. У Мака проверенное, известное имя, в этом свои преимущества; с другой стороны, Хартвигсен внес в предприятие свой капитал и надежность. Впрочем, они и без того уже компаньоны.

Он что-то написал на бумажке, протянул ее мне и сказал:

— Вот эдаким манером. Чтобы по-иностранному выходило.

На бумажке значилось:

«Мак и Хартвич».

Тотчас я заподозрил, что в этом переименовании замешана баронесса. Хартвигсен неотрывно смотрел на меня, пока я читал бумажку и над нею раздумывал. Я обучил этого человека грамоте, но недостаточно, ах, совершенно недостаточно, это только так, одна видимость, как та волосяная цепочка для часов. Хартвич? А ведь Роза любила его, раз она приходила к нему, и унижалась, и плакала.

Три раза она приходила. Когда она пришла в третий раз и бросилась оземь, Хартвигсен, конечно, растрогался, он вспомнил былое, к тому же ему, разумеется, льстило, что его считают чуть ли не Богом, на него молятся, и он смилостивился над нею, он просил ее встать и войти с ним в комнаты. И там они совершенно, да, совершенно поладили, я вошел в дом добрый час спустя и застал их в полном согласии. С величайшим изумлением смотрел я на Розу, в лице ее уже не было и тени страдания, только мир и покой.

— Стало быть, ты на этих днях переедешь,— сказал ей Хартвигсен на прощанье.

А мне он ничего не сказал.

Роза пришла. Она вела за руку Марту, дочку Стена-Приказчика.

— А вот и мы!— улыбаясь сказала Роза. Марта сделала книксен, как ее учили, подошла к нам, пожала нам руки и снова сделала книксен. Хартвигсен каждой сказал:

— Милости просим!

И вдруг кто-то подходит со двора к окну и на нас глядит. Это лопарь. Завидя его, Роза закрыла лицо руками и вскрикнула:

— Ой!

— Да это ж Гилберт,— успокоил ее Хартвигсен и усмехнулся.— Он и всегда-то тут шляется.

Роза ответила:

— Всякий раз он мне приносит несчастье.

Хартвигсен вышел. Я сел и немного поболтал с Мартой, несколькими словами я обменялся и с Розой. Я не задавал ей никаких вопросов, это она сама заговорила про лопаря Гилберта:

— До чего же странно. Стобит мне переехать, он тут как тут. Стобит в моей жизни произойти перемене — и он тут как тут.

Но она сама уже сказала, что все эти ее переезды и перемены для нее оборачиваются несчастьем, вот я и не стал ее расспрашивать. Я попросил ее поиграть немного на фортепьяно. Марта, прежде не слыхавшая такой музыки, подошла к Розе, стояла и смотрела на нее во все глаза. Время от времени она поглядывала на меня, словно хотела спросить, доводилось ли мне слышать подобное.

Хартвигсен воротился. Он тихонько сел и стал слушать. Верно, ему казалось, что в доме у него поселился добрый дух, ибо против своего обыкновения он снял шляпу и держал ее на коленях. Он тоже время от времени поглядывал на меня и зачарованно качал головой, высоко вздергивая брови в знак изумления и гордости. Очевидно, музыка, исполняемая на собственном его инструменте, больше его впечатляла, чем в доме у Мака.

Так мы и зажили целой семьей — нас было четверо, не считая прислуги, которая продолжала приходить для черной работы. Розе прислали из дому платья и прочие пожитки, и она у нас окончательно обосновалась. Марта спала вместе с нею в ее спальне. И шел день за днем.

В первое время ничего такого не было, о чем стоило бы писать. Ну, разве что обо мне самом, о моих мелких радостях и печалях и о том, что радостей у меня стало больше. Когда Роза несла поднос, я отворял перед нею дверь, когда она сходила вниз по утрам, я снимал картуз и кланялся — большего счастья мне не надо было, я его не заслужил, я был здесь чужой.

Но часто мы сидели и беседовали по вечерам, и если Хартвигсен умолкал, слово вставлял я или Роза. Ах, но, бывало, Хартвигсен целый вечер не умолкал, лишь бы не дать мне или Розе вставить слово. Суший ребенок. И Розе ничего не оставалось, как сыграть что-нибудь на фортепьяно. Сколько дивных вещей переиграла она!

Ежедневное общество Розы так повлияло на этого человека, что он меньше следил за собой и все больше забывался. Весьма неприятно.

— Что скажешь, если я снова надену мое кольцо на правую руку, а? смеясь, спросил он ее как-то в моем присутствии.

Он носил на безымянном пальце левой руки простое золотое кольцо, прежнее его обручальное кольцо, и теперь, ничтоже сумняшеся, не дожидаясь ответа, он его переместил на правую руку. Будто Роза должна непременно обрадоваться

Потом он сказал:

— А для тебя, само собой, я приобрету новое кольцо взамен утерянного.

Едва слышно она ответила:

— Но я ведь не могу принять никакого кольца.

Тут Хартвигсен сообщил, что король расторг ее брак с неким Николаем, сыном пономаря.

— Мы с Маком, сказал он,—уж мы обтяпали это дельце. Ну и, само собой, мы с Бенони хорошенько ему заплатили!

Я видел: Розу как ударили, она опустилась на стул. Я вышел за дверь.

Потом Хартвигсен мне объяснил, что заплатил ее мужу за то, чтобы тот от нее отступился. Это обошлось Хартвигсену не в одну тысячу талеров. Но не успел этот Николай получить свои денежки, как окончательно спился! Так что сейчас он уже умер! «Да только вот умер ли он?» — подумал я.

Подобные происшествия доставляли мне очень мало удовольствия, и часто я думал про себя, что Розе не следовало переезжать к Хартвигсену. Ведь она из-за ревности переехала, ревность к баронессе одолела ее. Да, но отчего это баронесса так легко отпустила Хартвигсена? Почему она от него отступилась? Уж она-то, кажется, себя в обиду не даст. Верно, тут скрывалось кое-что, непроницаемое для моего взгляда. Возможно, старый Мак все понимал — умнейший человек, ему бы императором быть. И отчего Хартвигсену обошлось в кругленькую сумму включение его имени в название фирмы? О, Мак — он умел все хорошенько обдумать — император душой!

Но вот Роза прожила у нас несколько недель, и Хартвигсен к ней привык и уже совсем с нею не церемонился. Я думал: едва ли он был такой в прошлый раз, когда они

обручились. Но с тех пор он безмерно разбогател. Выходит, этому человеку богатство не к лицу, только и всего.

— Что ты скажешь на то-то и то-то, а, Роза? — бывало, спросит он у нее и огреет ладонью по спине. И он позволял себе делать намеки на баронессу, что она-де была с ним в осиновой роще, что-де она признавалась, как в юности была в него влюблена. Когда Марте понадобилось новое платье, Хартвигсен тотчас ответил: «Да-да», — он сказал Розе:

— Пойди в лавку и все запиши на мой счет, там меня знают. Запиши просто — Бенони Хартвич. Мануфактуры на столько-то талеров.

И при этих словах он повернулся ко мне с самодовольной ухмылкой. Сущий ребенок.

И еще: он завидовал Маку из-за Крючочника, из-за того, что этот певчий бедолага подался к Маку, а не пришел к нему, Хартвигсену, просить пристанища. Крючочник был в глазах Хартвигсена малый что надо, например, его застукали на гумне с Якобиной по прозвищу Брамапутра. Муж Брамапутры — Уле-Мужик — сам их накрыл. О, тут уж дело было яснее ясного! И что же Крючочник? Взял и открестился. Вот рискованная голова! Закрыв глаз правым указательным пальцем и говорит: «Разрази меня дьявол!»

Все это Хартвигсен рассказывал, не утаивая никаких подробностей насчет Брамапутры и ничуть не стесняясь присутствием Розы. А про Крючочника он сказал:

— Хорошо бы он ко мне пришел. Уж у меня для него всегда бы работа сыскалась.

VIII

Я спускаюсь к мельнице, возвращаюсь, и тут меня догоняет баронесса, она перепачкана мукой, должно быть, навещала мельника. Я кланяюсь, она на ходу бросает мне несколько слов; вот она уже обгоняет меня, но вдруг она замедляет шаг и идет со мною рядом. Я прошу позволения отряхнуть муку с ее платья, она останавливается и благодарит. И дальше мы идем вместе, хоть не так уж мне этого хочется. Она предается воспоминаниям детства, вот здесь бродила она — маленькая Эдварда, — стоя ездила на телеге с мешками, одна убегала в осиную рощу и сживала там.

Она загрустила голос у нее сделался бархатный, она сказала:

— Вот так переиграешь во все игры, и что остается?

Я вдруг к ней расположился, даже ее длинные тонкие руки показались мне удивительно милыми, а ведь прежде я находил нецеломудренным их выражение. Я вспомнил, что мне про нее рассказывали на этих днях. Был один человек, по имени Йенс-Детород. Когда Эдварда была маленькая, он работал у Мака за харчи, потом он переселился в рыбачий поселок, женился, запил и впал в нищету. Жена от него уехала на Лофотены, да там и осталась, детей у него не было — у Йенса-Деторода. Несколько дней тому назад он пришел к Эдварде и стал перед нею — стоит и молчит, как большой пес. И Эдварда пристроила его к одному делу в Сирилунне и окрестностях — он должен был продавать кости. Он обходил те немногие дома, где ели мясо, забирал кости, приносил их в лавку и задорого продавал; а потом их отправляли на юг и перемалывали в муку. Так что все кости в Сирилунне проходили через его руки. Мак посмеивался, что он должен платить бешеные деньги за кости от собственных туш, но он не спорил, не такой человек был Мак, чтобы шум поднимать. Так же точно поступали к Йенсу-Детороду и кости с кухни Хартвигсена. Чудеса, да и только! Но Йенс-Детород все принимал как должное, он и слушать не хотел об отказе. Он огребал немалые денежки, в первый же раз, как продал кости, смог купить себе одежду, и Эдварда сама ему отпускала товар в лавке и сама производила расчеты. А потом она нашла этому Йенсу-Детороду крышу над головой, сперва в каморке при людской вместе со старым Фредриком Мензой, который лежал прикованный к постели, а потом еще удобней, отдельно его поместила на чердаке.

И я вспомнил про этот случай и подумал, что баронесса умеет быть дельной и сообразительной. А сейчас она загрустила. Я стал говорить, что есть счастье в том, чтобы радовать других, радовать детей, близких.

Она остановилась.

— Счастье? Вот уж нет! — сказала она с вызовом.

И она наморщила брови, еще немного подумала и пошла дальше. Немного погодя она вдруг ускоряет шаг, сходит с дороги и бросается на траву. Я иду за нею следом и останавливаюсь рядом.

Снова она сказала:

— Счастлива? Вот уж нет. Если бы вдруг привалило мне счастье, я бы смотрела и смотрела на него во все глаза — до того бы оно показалось мне незнакомо. Нет-нет. Бывает, конечно, выпадет иная минутка лучше других. Кто спорит.

— То-то и оно,— сказал я. И вдруг я увидел, что на лбу у нее пролегли морщины горя и возраста, сейчас она не рисовалась, она совсем забыла о своем лице, и у нее отвисла нижняя губа. Юность ее давно миновала.

— Там в лесу жил когда-то один охотник,— снова заговорила она и ткнула куда-то вдаль пальцем.— Его звали Глан. Вы слышали?

— Да.

— Да. Был такой. Совсем молодой человек, Томас Глан его звали. Бывало, я слышу выстрел и думаю — не выстрелить ли в ответ, и я выходила к нему навстречу. Да, о чем это я? О Глане? В иные минутки мне с ним было до того хорошо, в жизни больше так никогда не бывало. Вот поди ж ты. И как я была в него влюблена, о, весь мир исчезал, когда он приходил. Я помню одного человека,— как он ходил! У него была густая борода, он был как зверь, и вот, бывало, он остановится на ходу, среди шага, и вслушивается, а потом идет дальше. И он носил одежду из кожи.

— Это он и был?

— Да.

— Как хотел бы я, чтобы вы мне все рассказали.

— Столько лет уж прошло, неужто люди еще не забыли? Я и сама-то почти забыла, так только вдруг вспомню, с тех пор как вернулась домой и брожу по знакомым местам. Вот и сегодня нашло. Но он был как зверь, и я без памяти была в него влюблена, он был такой ласковый и большой. Он, верно, питался оленьим мхом. Дыханье его иной раз пахло, как у оленя. И ведь он в меня был тоже влюблен, я теперь вспоминаю. Однажды он пришел ко мне в распахнутой рубашке, и у него была такая заросшая грудь. «Как луг, на который тянет прилечь!» — подумала я, ведь я совсем была молодая. Несколько раз я целовала его, и тут уж я знаю, что в жизни своей никогда ничего такого я не испытывала. А однажды он шел по дороге, и я смотрела на него, и как тихо он шел, и он тоже неотрывно смотрел на меня, и глаза его проникали в меня, и что-то сладкое переливалось во мне, и он подошел, и, сама не знаю как, я очутилась в его объятьях. Ах, я ведь и замужем была, и всякое такое, но

ничего подобного я не помню. Он был прекрасен. Иной раз он принаряжался, завязывал галстук, сущий ребенок, но чаще он забывал про галстук и оставлял его в своей сторожке. Но все равно он был прекрасен, и он ни в чем не знал удержу. Тут жил один доктор, и этот доктор был хромой, так вот Глан прострелил себе ногу, чтобы не быть лучше доктора. У него был пес, его звали Эзоп, и Глан его застрелил и труп Эзоба послал той... ну, кого он любил. Ни в чем, ни в чем он не знал удержу. Да, но он не был Богом, нет — зверь, вот кто он был. Глан? Вот именно — восхитительный зверь.

— Но вы и сейчас еще его любите. Так мне кажется.

— Нет. Люблю? Не знаю, что вам и сказать. Я не часто его вспоминаю, не то чтобы все время я о нем думала. К тому же он умер, говорят, так что уж хотя бы поэтому... Нет. Но теперь мне кажется, что тогда было так хорошо. Иной раз я будто не шла, я будто летела над землей, и никогда больше меня так не бросало в дрожь. Мы под конец будто с ума сошли оба, так он был прекрасен. Как-то раз я пекла печенье, а он подошел снаружи к окну и на меня смотрел. Я уже смесила тесто, раскатала его и нарежала ножом на кусочки, и я показала ему нож и сказала: «Не лучше ли обоим нам умереть?» — «Да, — сказал он, — пойдем со мною вместе в мою сторожку, и там мы умрем!» Я помыла руки и пошла с ним в его сторожку. Тотчас он принялся наводить порядок, и умываться, и чиститься. Ах, но я уже передумала, и я все так и сказала ему, нет, я не могла умереть. И сразу он согласился, что нам и без того хорошо, но я-то видела, как он огорчился, ведь он мне поверил. Потом уж он винился, что по простоте своей не понял шутки. Часто было в нем что-то прямо-таки идиотское, и это так меня трогало. Я думала про себя: его же во что угодно можно вовлечь, и он смолчит, его можно сделать великим грешником, и он смолчит, а то он вдруг делался зорким, ясновидящим, он все видел насквозь. О, тут уж ничего не оставалось от его простоты, он делался прозорливым и острым. Вот, кстати, я вспомнила. В лесу росла одна рябина, необыкновенно высокая и стройная. Глан часто заглядывался на эту рябину и обращал мое внимание на то, какая она высокая и прямая, он был в нее прямо-таки влюблен. И как-то я решила его помучить, сделать ему больно, и подговорила одного человека подпилить рябину под корень со всех сторон, она едва держалась. На другой день приходит Глан и говорит: «Пойдем со мною

в лес!» И я пошла. Он показывает мне рябину и говорит: «Это низость!» — «Раз это низость, не иначе как сделала ее женщина», — сказала я. Я вовсе не старалась отвести от себя подозрение, о, я даже нарочно его навлекала! «Нет, это сделано очень сильной и глупой *левой* рукой», — ответил он. Он все по зазубринам понял. Тут я испугалась, ведь он говорил правду. «Ну, значит, это сделал левша», — говорю я. А Глан отвечает: «Нет, слишком уж грубая работа. Это сделал кто-то, кто хотел выдать себя за левшу, или кто-то, у кого сейчас повреждена правая рука!» И тут я поняла, что тому, кого я подбила на это дело, несдобровать, у него и впрямь правая рука была подвязана, потому-то я и выбрала его себе в пособники, чтобы сбить с толку Глана. О, но Глан не дал сбить себя с толку, он нашел того человека и его проучил. Ух! И ведь Глан действовал тоже одной рукой, он не мог пустить в ход две здоровые руки против того, у кого была только одна. Через несколько дней я об этом узнала, я пришла к Глану, и, чтобы его еще больше задеть, я сказала: «А ведь это я сгубила вашу рябину!» Сказала так и ушла... Подумать только, как хорошо я все это помню, вот ведь, вертится и вертится в голове, с ним шутки были плохи, он вдруг делался до того проникателен. А тот человек, мой пособник, он еще жив, недавно он пришел ко мне, его зовут Йенс-Детород.

— Вот как?

Баронесса вскинула на меня взгляд при этом моем коротеньком вопросе.

Я стоял и думал: да, она помогла Йенсу-Детороду пристроиться к месту, а он когда-то ей помог мучить Глана. Неужто она любит покойника — до ненависти, до жестокости и сейчас еще пытается сделать ему больно? Или Глан жив и она не хочет расстаться со своей пыткой?

Я спросил:

— Так, может быть, Глан не умер?

— Не знаю, — ответила она. — Да нет, конечно, он умер. Он был такой переменчивый, на него влияла погода, и солнце, трава и месяц управляли его душой, с ним разговаривал ветер. Нет, он умер, он умер, и так это все давно было, тому уже тысяча лет.

Баронесса поднялась и пошла обратно к мельнице. На нее было жалко смотреть. Она говорила сейчас совсем по-другому, она не усмехалась, не рисовалась, она грустно рассказывала. Я был рад, что так и не осмелился сесть рядом с ней на траву и все время ее слушал стоя.

Нет, Хартвигсену не пошло на пользу его возвышение в последние годы, он неведь что о себе вообразил. Будто только он и существует во всей округе, будто он здесь царь и Бог.

Он был жалок в своей этой глупости. Но прирожденная доброта не вовсе покинула его. Он отдал такое распоряжение Стену-Приказчику: «Если смотрителю маяка Шёнингу что понадобится в лавке, пиши, будто ошибкой, все на мой счет — Бенони Хартвича». Мне он объяснил напрямик, что без посредства смотрителя он не разбогател бы на серебряных копах и теперь хочет ему выказать свою признательность. Так же точно отпускал он все товары в кредит Арону из Хопана, человеку, который отдал ему эти горы за бесценок.

Все так, да ведь смотритель Шёнинг ничего не желал брать в кредит. Приходя в лавку, он всегда держал наготове наличные.

Однажды Хартвигсен ему говорит:

— Если вам наш товар нужен, платить не надо!

Смотритель стоит, униженный, и смотрит по очереди на нас на всех.

Хартвигсен говорит:

— Скажите только, чтобы на меня записали!

Смотритель наконец отвечает:

— Ну, какой же это расчет? И неужто я сам не могу расчесться за свою покупку?

Хартвигсену бы образумиться после такого ответа, но нет, он делается еще глупей и наглей, он говорит:

— Да-да, но я просто хотел сделать доброе дело!

И тут уж смотритель стал смеяться над ним, он тряс седой головой и в конце концов даже сплюнул в сердцах, и Хартвигсен в ярости обозвал его идиотом и, хлопнув дверью, вышел из лавки.

И он не забыл смотрителю этого своего стыда, нет, он ходил и злился, хоть и говорил, что ему все равно. «Вот и ты когда-нибудь загордишься и от меня откажешься», — говорил он Розе. И когда она качала головой и не желала вдаваться в этот предмет, он говорил оскорбленно: «Ну-ну, поступай как знаешь».

Вечером он любил порассказать нам о том, что совершил он за день, хоть, ей-богу, не о чем было и рассказывать. Он ходил туда-сюда, во все вмешивался, отвлекал людей от дела, только чтобы напомнить им, кто их

хозяин. Он сказал старшему мельнику, когда повстречал его на дороге:

— А я как раз к тебе собрался. Сегодня ты уж доставь нам столько муки, сколько сможешь!

Но ведь именно этим старший мельник ежедневно и занимался — перемалывал столько зерна, сколько мог.

— Будет сделано! — отвечал он, однако, со всею почитительностью.

— А то я с пристани иду, а там на нашем складе всего двадцать кулей, не больше! — говорит Хартвигсен.

Он сказал мне:

— Сейчас я — к сушильням, не хотите ли со мною?

Мы отправились туда, и Хартвигсен — знаток рыбы, хозяин! — задавал вопросы Арну-Сушильщику: «А ты соображаешь, что завтра вдруг дождь польет и снова всю рыбу намочит! Если у тебя людей маловато, ты только слово скажи!» Арн на это ему ответил, что людей у него хватает, да вот солнца пока маловато, сушке завсегда свое время. И тут Хартвигсен говорит: «Да-да, я вот назначил рыбу сложить до жары». И хоть Арну-Сушильщику это известно не хуже него, он всплескивает руками, делает изумленное лицо. И Хартвигсен ему толкует, что из года в год повелось рыбу укладывать и отправлять на юг до жары, так было прошлый год и все года. Да-да, и Арну-Сушильщику приходится все это выслушивать, куда денешься? А Хартвигсен идет дальше со мною в горы и ворчит: «Хорошо этому Маку — стой себе за конторкой да циферки строчи, а кто за всем приглядит, всех проверит? Все на мне. Даже жениться некогда».

Роза затихла и похорошела от спокойной жизни, часто она брала за руку Марту, вела ее к детям баронессы и подолгу гуляла с ними в горах. В эти часы я оставался во всем доме один и мог предаться тому тайному занятию, о котором уже упоминал. Я закрывал двери и окна, чтобы заглушить все звуки. Каждые четверть часа я выбегал проверить, не идет ли кто, а потом возвращался и углублялся в свое. О, Роза непременно должна первая все узнать, я покуда даже писать ничего про это не буду.

Как она была искренна, как мила! Заметив, что Хартвигсен хочет держать в тайне наши уроки, она стала уходить из дому за покупками в лавку. Так же точно вела она себя по вечерам, когда мы болтали всякую всячину, она была дама воспитанная и снисходительно относилась к нашему вздору, она с тайной снисходительностью относилась к Хартвигсену, когда он был

невозможен. А Хартвигсен такое молот! Раз он стал человеком влиятельным, он вовсе не трудился держать язык за зубами, если чего-то не понимал, но, напротив, пускался в такие разглагольствования, каких я в жизни не слыхивал. О, что за каша была у него в голове! Он рассуждал, например, о море житейском и самым неожиданным образом ввернул: «Лютер — да, уж это был великий корабль на море житейском. Я, конечно, не разбираюсь в подобных материях, но так я думаю в простоте души. А значит, и вера его была самая что ни на есть истинная вера!»

И что же могла на это ответить Роза? Что да, Лютер, мол, это такой человек! И даже бровью не повела.

И вот Хартвигсен вдруг объявил, что мне, верно, скоро придется уехать.

Случилось это на другой день после того, как я вечером сидел на крыльце и разговаривал с Розой и Мартой, я даже больше разговаривал с Мартой. И тут домой возвращается Хартвигсен.

— Присаживайся к нам! — шутя говорит ему Роза.

Но Хартвигсен проголодался, и он пошел в комнаты. Мы все трое последовали за ним. Кажется, Хартвигсен был в Сирилунне, и кто-то там, верно, его огорчил. После ужина он вдруг спрашивает у Розы:

— Ну, ты подумала про то, что лето почти истекло? И нам пора жениться, или как?

Роза бросила на меня отчаянный взгляд.

— А до студента это вовсе не касается, — сказал Хартвигсен.

Я улыбнулся, покачал головой, сказал: «Да-да», — и вышел. И оставался на крыльце, пока Хартвигсен сам не вышел, чтобы меня пригласить в дом. Роза сидела в столовой. Верно, она пыталась как-то загладить то обстоятельство, что меня выгнали за дверь, и обратила ко мне несколько слов:

— Мой отец ведь хотел, чтобы вы его навестили. Не забывайте об этом. Правда, сперва речь шла о том, чтобы вы меня проводили общинным лесом. Но все же.

— Ага, — тут же сказал Хартвигсен, — ты, видно, собралась идти общинным лесом?

— Нет, — ответила она. — Я же осталась тут.

— А то ведь мне знать не мешает, — продолжал Хартвигсен в раздражении. — Но если что, ялик к вашим услугам. — И он глянул на меня великодушно.

— Нет, я предпочитаю ходить пешком, — ответил я.

Мы все говорили теперь спокойнее, но я-то прекрасно видел, что Хартвигсен так и следит, не скажу ли я чего лишнего. И я умолк. Кто-то, верно, наговорил ему на меня, почем знать!

Марта подошла ко мне с игрушкой, сунула ее мне и сказала:

— Мой братец ее всю разломал!

Я сложил игрушку и обещал завтра склеить, Роза подошла, наклонилась и тоже посмотрела, все вместе длилось не более минуты, ну, может быть, Роза про игрушку сказала несколько слов. Но Хартвигсен вдруг вскочил и вышел за дверь.

Это было вечером. А наутро Хартвигсен явился и предложил мне уехать. «Да-да»,— сказал я.

Но я же как раз начал новую картину, его постройки на фоне общинного леса, неужели он про это забыл?

— Тут дело такое, прислуга теперь будет у нас жить, и ей место нужно,— сказал Хартвигсен себе в оправдание.

Я принял это известие с легкостью, чтобы не возбудить в нем подозрений, но я очень огорчился.

— А картина?— спросил я.

— Вы ее кончите,— отвечал Хартвигсен, утешенный тем, что у меня нет иной печали.— Само собой, вы должны ее нарисовать.

Было это утром, а мне для моей картины требовалось предвечернее освещение, так что у меня оставалось несколько часов свободных. Я отправился в Сирилунн.

Х

Баронесса мне говорит:

— Я так рада, что вы разговариваете с девочками и учите их уму-разуму.

— Скоро это кончится,— отвечаю я.— Я должен уехать.

Баронесса слегка вытягивает шею:

— Уехать? Вот как?

— Мне осталось только кончить картину, я кое-что пишу. А там я уеду.

— И куда же?

— У меня друг в Утвере, в округе Ос, к нему я и уеду.

— Друг? И он старше вас?

— Да, он на два года меня старше.

— Художник?

— Нет, он охотник. Он тоже студент. Мы будем странствовать вместе.

Баронесса ушла в глубокой задумчивости.

Вечером, когда я стоял и писал свою картину, баронесса пришла ко мне, и она со мной говорила и крепко ухватила мою судьбу своею рукой: она просила меня ни больше ни меньше, как переселиться к ней в Сирилунн и впредь быть ее девочкам учителем и наставником.

Я не мог рисовать, кисть дрожала в моей руке, ведь по некоторым причинам я был рад остаться в здешних местах подольше, я даже тайком молился об этом Господу. Я попросил у баронессы позволения подумать, и она согласилась. Она сказала:

— А девочек покамест и учить ничему не надо, они еще маленькие, вы только болтайте с ними да водите гулять. Ах, я об одном вас прошу — сделайте их лучше, чем я сама, они ведь такие еще маленькие и милые! И вам, разумеется, будет положено хорошее жалованье.

Я мог бы тотчас ответить согласием, все во мне пело от радости. Но вместо этого я сказал:

— Все зависит от того, что скажет мой друг. Потому что тогда ведь наши планы не состоятся.

Баронесса оглядывается и говорит на прощание:

— Девочки только о вас и толкуют, они молятся за вас каждый вечер. Это они сами придумали за вас молиться. Да, сказала я, вы уж молитесь за него.

Баронесса пришла ко мне на другой день, и я решил. Неловко было важничать и набивать себе цену, и я почтительно заговорил первый и сразу сказал — да, я обдумал ее лестное предложение и с благодарностью его принимаю.

Она протянула мне руку, и дело было слажено.

Отложив кисть в тот день, я пошел в сарай Хартвигсена и там, в излюбленном своем уголке, я благодарил Бога за его милость. И весь вечер я молчал и думал свои думы. Я не хотел хвастаться и рассказывать Хартвигсену о моем переселении в Сирилунн, зато Мункену Вендту я написал, что судьбе было угодно привязать меня еще на некоторое время к здешним местам.

Лишь несколько дней спустя, когда картина моя была уже готова, новость стала известна Хартвигсену от самого Мака. Хартвигсен вернулся из Сирилунна и сказал:

— Мак говорит, вы переселяетесь в Сирилунн?

Роза слушала, Марта слушала.

— Да, это правда, — ответил я.

— Ну-ну. Так-так.

Хартвигсен принялся за еду, и мы заговорили о всякой всячине, но я-то видел, что он только и думает о моем переселении. Роза молчала.

— А ведь она это ловко придумала,— вдруг говорит Хартвигсен про себя.

— О ком ты?— спрашивает Роза.

— О нашей прекрасной Эдварде. Э, да ладно, теперь уж все одно.

Я думал: а ведь это баронесса настраивала Хартвигсена против меня; но если она старалась ради того, чтобы я сделался учителем и наставником девочек, так, быть может, это не столь уж и дурно с ее стороны, право, не знаю. Но Хартвигсен выглядел одураченным. Он, верно, досадовал, что вот я переезжаю в дом Мака, вместо того чтоб оставаться у него, а может быть, его злило, что я буду жить у него под боком. Ведь все равно я остаюсь рядом с Розой.

Я положил переехать на другое утро. Но мне еще предстояло открыть Розе, чем я занимался в такой глубокой тайне. Она куда-то ушла с Мартой, возможно, даже нарочно, чтобы не быть дома, когда я уйду.

Я жду, и вот я вижу издали, как она идет с девочкой, а мне уже нечего скрывать, нет, и я отворяю дверь, сажусь и, не оборачиваясь, делаю свою дело.

Роза и Марта входят, они замирают на пороге.

Я сижу и играю на фортепьяно. Играю я самое дивное из всего, что я знаю на свете,— Моцарта, сонату A-dur. И получается прекрасно, в меня будто вселилось то великое, благородное сердце, чтобы поддержать в трудную минуту. О, я так долго упражнялся, мне уже не стыдно, что меня слушает Роза, я ведь все ждал, когда снова смогу хорошо играть. И утром я благодарил Бога за то, что играю теперь совсем неплохо. Меня научили игре на фортепьяно в моем милом доме, чему только там не научили меня, пока наш дом не распался и кров наш уже не мог меня укрывать! *Deo gloria* ¹.

Я оборачиваюсь. Роза смотрит на меня во все глаза, она говорит:

— Так вы?.. Вы еще и играете?

Я встал и признался ей, что тайком упражнялся в фортепианной игре. Если ей кажется, что игру мою можно слушать, я премного ей благодарен. Больше я ничего не

¹ Слава Богу (*лат.*).

сказал, я бы и не мог ничего толком выговорить от волнения. Но потом-то я сам был доволен, что не расщеплялся и не стал сообщать, что это, мол, мой прощальный привет. Я прошел к себе и уложил вещи.

Я дождался возвращения Хартвигсена.

— Да-да, я вовсе не собирался с вами расставаться,— сказал он.— У меня для вас еще полно работы. Ну, да чего уж там.

Марта отвлекает его внимание, она говорит, что я играл на фортепьяно:

— Студент играл на фортепьяно.

— Как? Вы тоже играете?

И Роза отвечает:

— Уж он-то — он играет!

От этих ее слов я испытал такую гордость, какой никогда еще не испытывал ни от каких похвал, и я покинул дом Хартвигсена с преисполненным благодарностью сердцем. Ах, меня даже пошатывало от волнения, и я шел, не разбирая дороги, хоть внимательно на нее смотрел.

И вот я пришел в Сирилунн и там остался. Переселение мало что изменило в моей жизни, я гулял с девочками, рисовал для них, кое-что писал красками. А хозяйка моя, баронесса, уже не делала и не говорила ничего такого, что не пристало благовоспитанной даме, нет, ей-богу, ничего некрасивого или дурного она не делала. Правда, она сохранила привычку вдруг выгибать руки над головой и выглядывать из-под свода своих сомкнутых рук, и это удивительно красиво у нее получалось. А за столом она держалась прилично, разве что иногда поставит оба локтя на стол, когда отправляет кусок в рот или пьет из чашки.

Я хотел написать интерьер гостиной в доме у Мака, вышла бы недурная вещица — один из серебряных амуров в углу, две гравюры над фортепиано. Но все, что тут было, мало вдохновляло меня — только стакан с вином, который Роза забыла тогда на столе. Он снова стоял бы на солнце, рдяный и одинокий, стоял бы и медленно угасал.

Здесь, на ходком месте, было больше движения и жизни, чем в доме у Хартвигсена, объявлялись капитаны из чужих стран, когда буря загоняла их в гавань, среди них оказался однажды и русский капитан, и я кое-как по-французски с ним объяснялся. Непогода несколько дней держала его большой корабль у нашего берега, мы с ба-

ронессой побывали на борту, и капитан купил медвежьих и песцовых шкур у отца Розы.

В Сирилунне я обзавелся приличным платьем и мог не стесняясь ходить, куда хотел. Иной раз я забредал и в лавку, смотрел на входящих и выходящих, заезжих и здешних, на странников, покупавших хлеба в пекарне и тотчас спешивших дальше, на рыбаков с юга, целыми днями простаивавших у стойки, чтобы с пьяным гоготом потом разбрестись по дорогам.

Жители собственно Сирилунна почти все имели прозвища. Были тут Свен-Сторож, Уле-Мужик, но теперь они шкипера на судах и прозвища устарели. А была тут еще Брамапутра, жена Уле-Мужика, она так нежно привечала чужих, что мужу приходилось следить за нею во все глаза. В общем, из такого же теста была и Эллен, она прежде служила здесь горничной, а в прошлом году вышла за Свена-Сторожа, но эта любила одного в целом свете — самого Мака, и стоило поглядеть на ее потерянное лицо, когда она смотрела на Мака или когда он встречал ее во дворе и бросал ей походя несколько слов. О, тут полным-полно было людей с прозвищами: Йенс-Детород, Крючочник, и еще, например, один бродяга, который здесь объявился минувшей зимой и переколол все дрова в округе, у этого были до того короткие ноги, что его звали просто — Колода.

Очень интересно было мне наблюдать смотрителя маяка Шёнинга, когда он, шаркая, приходил в лавку за разным мелким товаром. Он был человек весьма свое-нравный, зато с огромным жизненным опытом. Он много думал и путешествовал на своем веку, и как необычны были его рассказы! Правда, он был не большой охотник распространяться. Больше молчал надменно. Раз как-то подъехал к лавке крестьянин с лошадей и тележкой. У лошади по самые глаза морда была скрыта торбой, жевать она не жевала, торба была уже пуста, и лошадь просто стояла, подняв голову, стояла и смотрела. И вот тут смотритель сказал: «Она упрятана, как мусульманка!» Мне тогда удалось его разговорить, и он мне кое-что рассказал о дальних странах.

Наконец, на самом исходе лета явился в Сирилунн сэр Хью Тревильян, явился он по делу, и дело его заключалось в том, чтобы выбрать лучший коньяк в погребах у Мака и закупить себе партию. Он уложил несколько бутылок в мешок, взял носильщика и удалился. Они ушли далеко, за горы, к бесконечным морошковым

болотам, и там сэр Хью залег на несколько дней и пил не переставая, пока глаза не остекленели и в голове совсем не помутилось. Носильщик два раза ходил в Сирилунн за подспорьем, а когда Мак увидел его в третий раз, он покачал головой и сказал — «нет». Как ни просил его носильщик, как ни молил, Мак повторял свое «нет» и больше ни слова не прибавил. Сэру Хью несладко пришлось в болотах, он спал под открытым небом и не ел ничего, кроме морошки, которую носильщик собирал в свою шапку. И на четвертый день Мак отрядил в те болота Свена-Сторожа и еще кого-то с большим запасом доброй еды для оголодавшего англичанина.

И так же точно, как с сэром Хью, обращался Мак со своею челядью — истинный барин. Хотя в обороте крупной торговли больше денег было Хартвигсена, чем Мака, Мак пользовался бóльшим почетом и уважением. Мне рассказывали, что кое в чем у Мака была дурная слава, но, истинный барин, он никому не позволял совать нос куда не следует. Все знали, что для девушек он гроза, просто бич, такая уж у него натура. Ходили слухи насчет его теплых ванн, будто бы он лежит в воде на перине, и принимает он эти свои ванны даже и по несколько раз на неделе, когда на него найдет стих, и прислуживает ему одна, а то и две девушки. Выходит, этот Мак — ужасный распутник. А как-то Брамапутра проболталась, что Мак вовсе и не всегда принимает такую ванну сам, а велит купаться девушкам и глаз с них не сводит. Теперь Мак взял себе в горничные маленькую Петрину, и он ждет, пока она подрастет до законного возраста, да, он вроде как посадил ее в своем саду, чтобы она росла и наливалась. Но она, пожалуй, давно уже созрела, какой у нее бесподобный стан, какой переливчатый смех! А носик вздернутый, смотритель маяка сказал как-то, что носик ее стоит на цыпочках.

XI

Вечер, девочки легли спать, я прогуливаюсь и думаю о том о сем. Тепло, светит солнце. На зеленом выгоне стоят и жуют все коровы Сирилунна, время от времени я слышу звяканье колокольчика, когда они дергают головой, отгоняя комаров, а то все тихо. Вот я подхожу к одной корове и с нею беседую, и корове, разумеется, это лестно, хоть она на меня и глазом не ведет, только тихо

вздыхает, мерно жует и смотрит прямо перед собою. Ах, как она смотрит! Только один-единственный раз она смигнула и снова смотрит в пространство.

Я спускаюсь к пристани. Дивный вечер, и тут продолжается работа. Бондарь, Вилладс-Грузчик, кое-кто еще тянут тали, поднимают новую вывеску. На вывеске значится: Мак и Хартвич. Я спускаюсь в лодку и гребу от берега, чтобы посмотреть, как все это выглядит со стороны воды. Под новой вывеской подновленные буквы старой — «Продажа соли и бочонков». И уж совсем отдельно, сама по себе, на белой стене большая рука указывает вниз пальцем. Ужасная безвкусица — эта отрубленная рука, и до чего же скверно она намалевана, и как тут не к месту.

Я снова гребу к берегу и на пристани вижу Хартвигсена.

— Ну, что я вам говорил? За всем глаз да глаз, все проверь,— говорит он.— Вот, вывеску вешают, а не косо ли, а видать ли ее с почтового парохода?

— Эту руку на стене лучше бы убрать,— говорю я.

— Да? Вы считаете? Все это Крючочника работа, он придумал эту руку, так, говорит, в городе заведено. А как вам буквы покажутся?

— Очень хорошие буквы.

— Вот-вот, а вы говорите. Имя-то я сам себе поменял, а все чудно, как прочтешь. Это не полное мое имя, меня в святой купели окрестили Бенони, так что если «Б» спереди приставить — оно будет в самый раз. Мне обошлось в кругленькую сумму поставить свое имя рядом с Маком. Э, да ладно, мне плевать.

Хартвигсен садится в мою лодку, и мы отплываем от берега, чтобы ему полюбоваться на вывеску. Пока лодка стоит на воде, я думаю про то, что Маку, пожалуй, не следовало бы взимать в этом случае с компаньона плату. За что тут платить? Но Хартвигсену плевать. Выходит, он так безмерно богат, что кругленькая сумма для него ничего не значит? И ведь совсем недавно ему пришлось еще раскошелиться, может быть, на тысячи, чтоб откупиться от мужа Розы. А, да мне-то какое до всего этого дело?

Хартвигсен кричит Бондарю и Вилладсу-Грузчику:

— Завтра чтоб эту руку стереть!

— Стереть?

— Ну да, лишняя тут она.

Мы снова гребем к берегу, и Хартвигсен мне говорит :

— Сами видите: не подоспей я, не уладь дела, и рука эта так бы и красовалась на стене. Да, так что я хотел спросить? Как вам живется в Сирилунне?

— Спасибо, не жалуясь.

— Зря вы от меня съехали. Марта вот подросла, ей домашнего учителя надо.

Я возразил, что Марта может ведь пойти в приходскую школу, когда наступит срок. Но Хартвигсен на это покачал головой.

— Так уж выходит,— ответил он.— Дите у нас обучилось кникс делать, да и еще много кой-чему обучилось. Вот я и хочу учителя, значит, нанять.

Я заметил, что Марта еще успеет пойти в городскую школу вместе с дочками баронессы, но и это предположение оказалось Хартвигсену не по душе.

— Больно надо дите к чужим людям отсылать,— сказал он.

Мы ушли с пристани вместе, подошли к дому Хартвигсена, и он пригласил меня войти. Роза сидела на крыльце, мы сели рядом, завязался разговор, и как же мило и тихо отвечала она на мои вопросы о ее здоровье. Хартвигсен напрямик предложил мне снова переехать к ним и стать учителем Марты, я отказался, и он обиделся. Весною небось я к нему к первому препожаловал, сказал он. Роза молчала.

— Ну-ну, зря вы уж так-то верите нашей прекрасной Эдварде,— сказал Хартвигсен и со значением покачал головой.— Она штучка непростая. Ладно, больше я ничего не скажу.

Но я ничего на это не отвечаю, и Хартвигсен уже не в силах сдерживаться, он говорит:

— Ее муж зимой застрелился!

Роза заливается краской и опускает взгляд.

— Ну, зачем ты, Бенони!— говорит она.

— Да вот, могу вам сообщить!— продолжает Хартвигсен и лопается от гордости, что осведомлен лучше других.

Но Роза, сдается мне, уже раньше слышала эту новость, во всяком случае, она говорит:

— И откуда ты знаешь? Может быть, это просто сплетни. Лучше их не повторять.

Хартвигсен сказал, что знает все от одного малого, а тот сам все прочел зимою в газетах, и он служит в конторе у ленсмана. Так что сомневаться не приходится. Эдварду даже таскали в участок и допрашивали по поводу происшествия.

Как же мила, как чиста была Роза в эту минуту! О, я ведь заметил — опасная новость давным-давно уже ей известна. И даже в пору самых жестоких терзаний ревности она ею не воспользовалась. Мне хотелось пасть к ее ногам, там было мое место, там было место и Хартвигсену.

До сих пор я не произносил ни слова, но когда Роза заметила, что муж Эдварды мог застрелиться в припадке безумия, я кивнул и высказался в том же духе. И тогда Хартвигсен вышел из себя и на меня обрушился:

— Ну-ну, что же, счастливый путь. Только она мне сказала, что вы — ничтожество. Имейте в виду!

И тут уж Роза не посмела его урезонить, она встала и ушла в комнаты.

Мне было так обидно, я не мог удержаться и спросил:

— Она это сама вам сказала?

— Ничтожество, получившее хорошее воспитание, — слово в слово были ее слова.

Хартвигсену хотелось побольней меня уязвить, он тоже встал и принялся кормить голубей, хоть час был уже совсем поздний.

И я побрел прочь, я прошел мимо зеленого луга с коровами, далеко за мельницу, к лесу, к далеким вершинам. Гордость моя страдала, все мое воспитание, оказывается, ровным счетом ничего не значило в глазах моей хозяйки. Я пытался себя утешить — положим, баронесса так сказала, ну и что с того, разве небо упало на землю? Ах, но как же я был несчастлив! Кроме этого моего хорошего воспитания у меня ведь ничего не было, решительно ничего. Никто не назвал бы меня привлекательным юношей при моей щуплости, и лицом я не вышел, даже напротив, все лицо у меня было в прыщах. Оттого-то я всегда и слушался родителей, и многому научился, и порядочно преуспел в рисовании и живописи. И должен признаться, когда я выдал себя за гордого охотника, я, пожалуй, прихвастнул, я, можно сказать, приврал, ну, какой из меня охотник и странник, нет, я не Мункен Вендт, я только мечтал постранствовать с ним вместе и поучиться его великому безразличию к собственной особе.

Так я думал и шел и шел, пока совсем не выбился из сил. Я невольно забирался в самую гущу леса, будто спрятаться хотел, я уперся, наконец, в заросли ивняка и решил непременно продраться сквозь них на четвереньках и потом уж спокойно перевести дух. Меня словно что

тянуло туда, да, словно сам Господь меня подталкивал, будто помощи ждал от меня, недостойного.

Я ползу как бы по узенькой тропке, протоптанной зверьем, и когда тропка кончается, маленькая круглая полянка с крохотным прудком открывается моему взгляду. В изумлении я встаю и смотрю на эту полянку, и она смотрит на меня. Никогда еще не стаивал я на такой круглой маленькой полянке. Будто дух какой-то поселился в этой воде, а сейчас вот взлетел и унес с собой крышу.

Оторопь моя проходит, и я уже нахожу приятность в мертвой тишине этого места, свет цедится сверху, как сквозь горло кувшина, и никто-то меня здесь не увидит, разве что с неба. Как тут хорошо!— думаю я. Прудок такой крохотный, и я присаживаюсь с ним рядом на корточки, чтобы быть тоже поменьше и его не обидеть. Тут комары, я замечаю, что каждый комарик затевает свою пляску где-то поодаль, и уж потом так подстраивает, чтобы плясать вместе со всеми. А на поверхности прудка будто лежит пенка, комарики ее задевают и не мокнут, бабочки и другие летуны бегают по ней, не оставляя следов. Прилежный паучок расположился отдохнуть в своей паутине на ветке.

Я совсем забываю, что меня унизили, что задето мое самолюбие,—здесь так хорошо. Ни левой стороны, ни правой—одна окружность, и стоят ветлы, стоит трава, и все старое, густое, и все из века в век, давным-давно так стояло, И что за важность, если я тут сижу и зря теряю время, никакого времени—нет, и мерой всему только круглый прудок в густых зарослях ивняка.

Мне хочется растянуться и поспать, но я сдерживаюсь и отказываюсь от своего намерения: паук зашевелился, ага, он, верно, ждет дождя. Тут я замечаю, что комаров как метлой смело с прудка и он пошел муаром. Я озираюсь, и вдруг меня осеняет странная, неприятная догадка: кто-то побывал недавно по ту сторону прудка, несколько ветел срубили, как бы расчищая берег, пеньки совсем свежие—это было сегодня. Я перепрыгиваю прудок, и берег чуть дрожит, хоть тут твердая почва, я разглядываю пеньки, и странное волнение меня мучит, я вижу, что ветлы срубила непривычная левая рука. Не иначе, как тот рассказ, что я слышал недавно, обострил мою наблюдательность. Я пощупал зарубки, подобрал щепу, повертел так и сяк и убедился, что я не ошибся. Но зачем—зачем понадобилось валить ивняк? И почему эти таинственные зарубки? Я стою и смотрю на заросли ивняка и вдруг

холодею: прямо передо мной стоит каменный идол, древний бог.

Ах, какой же он маленький, гадкий, руки обрублены по самые плечи, и на лице только сирые черточки вместо рта, носа и глаз. Начало ног тоже означено насечкой, а ног самих нет, и божка подперли камешками, чтобы не рухнул.

Уж не для того ли меня привел сюда нынче Господь, чтобы я свалил этого истукана и утопил — думаю я и протягиваю к нему руку. Но в руке моей никакой силы, нет, напротив, она опадает как плеть. Я гляжу на свою руку — что за притча? Кожа на ней вся будто одрябла. В ужасе я перевожу взгляд со своей руки на идола — ох, стыд-то какой перед Богом — испугаться эдакого произведения! Идол будто был больше когда-то, давно, но впал в детство, в убожество, до того он весь осел на своих подпорках. Я тяну к нему другую руку, но — опять она опускается, повторяется та же история, кожа сереет и дрябнет на левой моей руке.

Я снова перепрыгиваю через прудок и снова пробираюсь сквозь заросли.

С неба падают первые крупные капли.

ХП

В Сирилунн пришло письмо от родителей Розы из соседнего прихода — приглашение на свадьбу. Во второй раз собирался пастор Барфуд венчать свою дочь. Да, все ждало этого торжества, до меня дошли слухи, что в двух соседних церквах было оглашение. Но Хартвигсен по своей крестьянской привычке таился до последнего. Ни слова не проронил о венчании. Ну, да Господь с ним.

Зарядил дождь, и путешествие решили проделать в белой лодке Мака; но маленькой Тонне, баронессиной дочке, нездоровилось, и обе девочки оставались дома. А стало быть, и я не мог принять приглашение. Баронесса очень мило предлагала отпустить меня и сама была готова посидеть дома, но это было до того ни с чем не сообразно, что и обсуждать не стоило. Марту тоже оставили с нами.

Свадьба была тихая по той причине, что невеста уже недавно венчалась, да, очень тихая была свадьба, совсем не во вкусе жениха, уж он бы задал пир на весь мир, будь его воля.

Хартвигсен мне сказал, воротясь:

— Жаль, вы не погуляли на моей свадьбе.

Я поблагодарил и ответил, что это было для меня невозможно по ряду причин. Во-первых, я лицо подчиненное, а моя хозяйка тоже получила приглашение. Во-вторых, у меня нет фрака, а мое, пусть и жалкое, воспитание мне подсказывает, что никакая другая одежда не приличествует подобному случаю.

Так я ему и ответил. Я не исключал, что Хартвигсен не станет делать секрета из моего последнего резона,— что ж, я ничего не имел против. Кстати, потом уж я узнал, что сам Хартвигсен щеголял на своей свадьбе в ботфортах с меховой опушкой, чтоб поразить купцов из рыбацких поселков. Когда кто-то ему указал на то, что в летний день это, пожалуй, нелепо, Хартвигсен отвечал:

— А мне плевать на то, как и в чем ходит Мак. Когда у меня ноги зябнут, я теплые сапоги обуваю. Небось их у меня всяких-разных хватает.

Вот и стала Роза второй раз замужней дамой. Ровно в полдень я отправляюсь к ней и приношу свои поздравления; она пожимает мне руку и, улыбаясь, благодарит. Она наливает вина нам в стаканы, и я присаживаюсь к столу. Роза рассказывает, что лопарь Гилберт встретился ей у самой паперти и ей стало не по себе. Так мы сидим, толкуем, и тут возвращается Хартвигсен. Держится он очень таинственно, он улыбается, пьет вместе с нами вино.

Потом Хартвигсен вынимает из кармана сверток за множеством печатей, он лопається от гордости и посмеивается.

— Вот, кой-чего пришло по почте,— говорит он.— С опозданием на день, ну дак...

И он вскрывает сверток, вынимает кольцо и надевает на палец Розе.

— Это тебе кольцо,— говорит он.— Смотри снова не выбрось.

Роза даже меняется в лице.

— Нет уж!— говорит она тихо.

И она берет его за руку и благодарит.

Кольцо чуть великовато. Она его сняла, поглядела на имя с внутренней стороны — Бенони — и снова надела.

Но Хартвигсену все нейдет — ведь в свертке еще кое-что осталось.

— А тут еще чего-то есть!— говорит он.

— Господи Боже! Да что же там могло бы быть? — дивится Роза.

И тут Хартвигсен нам обоим демонстрирует сверток и озирает нас с торжественным видом.

— Вот, можете удостовериться. Кольцо — оно небось четыре талера тянет, и имя, и все. А тут цена обозначается сто десять талеров!

Хартвигсен раззадоривает до последнего наше любопытство. Я порываюсь удалиться, чтобы не присутствовать при этом долее, но он удерживает меня.

— Вы только отвернитесь! — говорит он.

Я слышу звяканье, он подходит к Розе и произносит торжественно:

— Дорогая Роза! Позволь тебе вручить данные золотые часы и золотую цепь.

Глаза у Розы расширяются от изумления, она не может ни слова выговорить, она садится. Ах, как же мила была она в своем смущении, как все это было искренне, шло от сердца, она даже бледнела и краснела. Когда она поднялась и его поблагодарила за все, он, сам растроганный, отвечал:

— Носи на здоровье, без сносу.

Потом взял у нее часы, завел, поставил — ну, совершенный ребенок, и глаза у него при этом были совсем детские. Я шел от новобрачных и говорил себе, что вот — все началось так сердечно, и значит, пожалуй, хорошо, что Роза поселилась в этом доме. Да о чем тут еще толковать, Роза нашла свое счастье.

Дни идут, снова светит солнце, теплынь, розовеют ночи, морские птицы прогуливаются по отмели со своими выводками. А я тосковал — не мог же я, в самом деле, всякий день ходить к Хартвигсену и Розе, да и велика ль там теперь для меня была радость. Баронессе было не до меня, не до моей музыки, так что играл я только урывками, днем, когда Мак отлучался в контору, а баронесса уходила куда-то. Впрочем, я тоже прогуливался с девочками, как морские птицы со своими выводками.

И порой мне выпадали удивительно счастливые часы: я лежу, бывало, на мураве, а девочки усядутся на меня и сидят, не давая мне подняться, я повертываюсь тихонько, стряхиваю их, а они — за свое со свежими силами, и Тонна даже краснеет вся от натуги. Они считали, что главное — половчей ухватить меня за нос. За волосы никогда меня не таскали. А то, бывало, гладили меня по лицу, чтоб свести прыщи, и вдобавок меня натирали

слюной и морской водою, так что кожа моя горела еще пуще прежнего. Удивительно милые, добрые дети. Но потом, как это водится у детей, они изменили нашей дружбе и стали ходить за Йенсом-Детородом, когда тот собирал по домам кости. И всегда испрашивали в таких случаях дозволения баронессы. «Да-да, пусть их идут,— говорила она.— Зимой придется небось корпеть над учебниками». Она была к ним неизменно добра, и дети ей платили нежной любовью. Говорили такие милые вещи: «Погоди-ка, мамаша, вот я приду, и ты будешь моя любимица!» И тонкая, сильная баронесса их подхватит, бывало, и подкинет высоко вверх.

Ах, баронесса — сумасбродная, шалая баронесса! И возможно, она была самая потерянная и несчастная из всех женщин, каких я только знал, но с определенностью я этого сказать не могу, я знал ведь не многих.

Вечер, поздно уже. На душе у меня тоска, я ненадолго навязался к Розе и уловил скрытый, почти немой разлад между нею и мужем. Это было так тяжело, Хартви́гсен почти ничего не говорил, Роза молчала в ответ. Я поспешил за дверь, и меня проводил горький, отчаянный взгляд.

Снова я иду в лес и думаю свои думы, я поднимаюсь в гору, к моему заветному месту с прудком и каменным идолом. Снова я пробираюсь на четвереньках по узенькой тропке сквозь заросли ивняка и вдруг застываю: меня опередили, тут люди.

Они не разговаривают, они, совершенно голые, вдвоем купаются в прудке. В женщине я тотчас узнаю баронессу Эдварду. Мужчину я узнаю не сразу, мокрые волосы, разделенные посередине, закрывают лицо. Потом, по одежде на берегу, я вижу, что это лопарь Гилберт.

Они купаются, они вместе ныряют, он обнимает ее. Я лежу помертвев и неотрывно на них смотрю, время от времени они вдруг выпрямляются и глядят друг на друга, но выражения нет в их глазах, оба они задыхаются от восторга, наконец, они будто выносят друг друга из прудка на расчищенное место. Лопарь стоит, он старается отдышаться, вода стекает с его волос. Баронесса садится, поджимает под себя ноги, утыкается подбородком в колено и так сидит с бездонным, пустым взором. Она ждет, что-то будет с нею делать лопарь. И он садится рядом, он урчит, и вдруг он хватает ее за горло и валит. Ах, они совсем обезумели оба, они сжимают друг друга, они сплетаются, сливаются, о, что они делают — этому

имени нет. Из груди моей просится крик, но я сдерживаюсь, маленький идол и я — свидетели этой сцены, но я так же нем, как и он.

Я прихожу в себя, уже пятясь на четвереньках сквозь заросли, но, верно, я бессознательно соблюдал осторожность, с прудка не доносится ни звука, только тоненькое, жалостное пение, такое жиденькое и больное, будто исходит оно из уст самого божка. Значит, те двое распростерлись теперь перед идолом и ничего не придумали лучше этого воя.

На возвратном пути меня трясет как в лихорадке, хоть светит солнце и совсем тепло. Уж верно, лесные ветки хлестали меня, не знаю, я ничего не замечал; я решительно ничего не помню. Зато, выйдя из лесу возле мельницы, я замечаю Крючочника, он, со своей этой музыкой во рту, щебечет, свищет и морочит бедных птах, будит их, и они ему отвечают. Это ведь из-за меня Хартвигсен велел стереть руку со стены на пристани, и Крючочник, верно, затаил на меня обиду, он наяривает себе, не обращая на меня никакого внимания. Я решил подойти прямо к нему и спросить: «Ты что это полуночицаешь?» Но когда я приблизился, он уже не свистал, он снял шапку и поклонился. И я несколько меняю свой вопрос и спрашиваю:

— Так и щебечешь всю ночь напролет?

— Ага,— отвечает он.

— Не спится?

— Не-а. Это я на карауле стою. Мельница ведь запущена.

— Да ведь там мельников двое.

— Ну дак...

Мысли мои все еще заняты тем, что я видел в лесу, я думаю: «Уж не баронесса ли его тут поставила на карауле»,— но потом я думаю: «Да мало ли кого тут приходится караулить». Крючочник вглядывается в мое задумчивое лицо и соображает, что свои вопросы я задаю неспроста. Вдруг он говорит, озираясь во все стороны:

— Вы, видать, чего-то прослышали?

Я вовсе не желал быть доверенным лицом этого человека, но что было пользы отнекиваться? Он ткнул пальцем куда-то назад и сказал:

— Там и лежит.

— Что такое лежит? Перина! Не понимаю!

Я подошел поближе, Крючочник — за мною, и он мне объяснил: он стоит тут на карауле по три, а то по четыре раза в неделю и сушит на брезенте перину, да, стесняться

тут нечего, Свен-Сторож, он теперь в шкиперах, а тоже раньше справлял эту должность, кому-то ведь надо. А Мак, он прямо-таки чумной — по четыре раза в неделю мыться, а? Весной-то он еще пуще ярился, бывало, ни дня не пропустит, совсем ошалел! Да, он еще в самой поре, и Господь его знает, когда он уймется, может, и никогда.

Я выслушиваю эти объяснения, собираюсь с мыслями и спрашиваю:

— Но как же ты сушишь перину, если вдруг дождь?

— А пивоварня ночью на что? Ну, в прежние-то времена, я слышал, все в открытую делалось: Свен-Сторож стоит, бывало, посреди двора да и сушит перину на солнышке, а в дождь ему пивоварня день и ночь служила. А уж как приехала баронесса — попржиала старика.

Добрый Крючочник, видно, хочет напоследок несколько оправдать в моих глазах свою деятельность, он пытается шутить, он говорит:

— Вот так-то. Дело наше сурьезное. А Мак, он лично меня отметил, призвал в контору и предложил эту должность. У него, мол, боли в желудке, и доктор прописал ванны и растирания. Ну, а коли у меня такой талант — щебетать, мне и сам Бог велел по ночам с птичками беседовать, а если кто на меня набредет, пусть дивуется. Ха-ха, какую же голову надо иметь, чтоб такое измыслить! А ванны эти! Теперь вот Эллен, жена Свена-Сторожа, и девчонка Петрина его растирают.

Когда я пришел в Сирилунн, Уле-Мужик имел там стычку с Колодой из-за собственной жены — Брамапутры. Брамапутра, Брамапутра — опять она за свое, вот безумная! И все-то ей нипочем, и вечно она выходит сухая из воды, с самым невинным видом, даже если ее накроют на месте. «Постыдились бы!» — вот что сказала она двоим соперникам при моем появлении. Уле-Мужик ничего не видел, не слышал, он задыхался и метался по кухне. Колода же, напротив, стоял неподвижно, прислонясь к кухонной стене и защитив себя с тылу. Стоял, как на обрубках, на своих коротеньких ножках, а торс его был огромный, могучий — ну, совершенное чудовище.

Безумная, безумная ночь.

Утром баронесса была нежна, предупредительна, истомно бледна. Она будто все боялась кого-нибудь задеть ненароком. И на лице ее было то беспомощное, виноватое выражение, как тогда, когда ей случалось что-то бухнуть не подумавши и выходила неловкость.

И баронесса и Мак вспомнили про день моего рождения и надарили мне разных милых вещей; верно, они узнали дату от девочек, те как-то спросили меня, а мне не хотелось им лгать. Собственно, мне было не очень приятно, что день моего рождения обставляется с такой помпой. К обеду даже подали вино, и Мак произнес несколько отеческих слов в мою честь и о моем пребывании на чужбине. Девочки задарили меня раковинами и камешками, которые они собрали на берегу, а Алина вдобавок нарисовала дивный город на крышке от шкатулки. Я повесил ее произведение у себя на стене, чем ей очень польстил. Тонна называла меня на бумаге своим старшим братом, и это ее мама записала текст послания под ее диктовку.

Кончается лето, лес пошел желтыми и красными пятнами, небо высокое, бледное. Рыбу провялили, суда стоят и ждут ветра.

— Знай я про ваш день рождения, уж вы бы не остались в обиде,— говорит мне Хартвигсен во всегдашней своей добродушной, комической манере.— Пойдемте к нам, скоротаем часок.

Я соглашаюсь с превеликой охотой, я радуюсь, мне приятно вдобавок, что Хартвигсен больше не сердится на меня. Роза дома, и Хартвигсен велит, чтоб она подала нам вина с печеньем.

— Я знаю, уж ты расстараяешься,— говорит он шутливо.— Студент небось человек ученый, не то что я.

На это Роза ничего не ответила, но во взгляде ее была тоска.

Мы сидим, пьем вино с печеньем, Хартвигсен весело болтает, то и дело он спрашивает: «Ну, что ты скажешь на это, а, Роза? Как ты думаешь, а, Роза?» — «Да-да»,— отвечала Роза устало, или: «Да что уж мне думать»,— отвечала она приниженно, словно мнение ее заведомо не имело никакого веса. Вдруг Хартвигсен говорит уже без всякой шутливости:

— Ну-ну, знаю я, чего ты такая надутая. Однако зря ты это.

Роза ни слова не проронила, она только потупилась.

— Я видел в Сирилунне Марту,— замечаю я.

Никакого ответа.

— До чего же много голубей развелось за лето,— замечаю я снова и гляжу в окно.

— Зря ты это, я тебе говорю! — гремит Хартвигсен и, насупясь, смотрит на Розу.

Она поднялась со стула и отошла к печи, там посто-
яла немного, потом присела и принялась изучать печную
дверцу, разглядывать на ней фигурки.

В дверь стучат, Хартвигсен встает и выходит. За
дверью голос баронессы: «Добрый день!»

— Может быть, я поиграю немного? — спрашиваю я,
и мне очень не по себе.

— Да, пожалуй.

Я иду к фортепьяно и в другое окно вижу, как Харт-
вигсен удаляется с баронессой.

Я играю наобум, что попало, у меня так скверно на
душе, я то и дело сбиваюсь. Я кончил играть, и Роза
говорит:

— Мы могли бы поудить рыбу, если хотите.

Я смотрю на нее. Она собралась удить со мною рыбу,
прежде бы она не решилась, что-то с нею случилось
такое, или она стала смелей?

Роза снаряжается, мы заходим в сарай, берем удочки
и блесны и отправляемся удить. Я все думаю: что же это
делается? Неужто меня зазвали в дом только затем,
чтобы я побыл с Розой, пока Хартвигсен где-то ходит
с баронессой?

Тихая вода, бухта как зеркало. Я решаюсь рассказать
про одного веселого враля: он был моряк и потерпел
крушение в бурю, но он не утонул, нет, подле него горой
лежали утонувшие морские птицы, а сам он не утонул.

«Ну, посмейся же хоть чуть-чуть!» — думал я. Но Роза
была вовсе не в смешливом расположении духа. И я сам
посмеялся над тем моряком, чтоб немного ее заразить
своею веселостью.

Я обращаю внимание Розы на то, как блестящая
оловянная блесна горит на солнце, а когда я ее опускаю,
она гаснет в воде, совершенно как свечка.

— Да, — вот вам и весь ее ответ.

В каком же она глубоком унынии! Я сижу и разглядываю
ее платье, на ней очень милое платье из крепкой, простой
материи, она и зимой в нем ходила, до свадьбы. На корме
лежит ее кофта, далеко не новая, но опрятная, пугови-
ки с правой стороны, петли с левой, значит, кофта перелицова-
на, думаю я, но с какою это сделано тщательностью, это
ведь она сама сидела и старательно водила иглой. Она
поднимает глаза и смотрит на меня, и такой глубокий,
такой тяжелый у нее взгляд, он меня затягивает, как волна.

— Живы ваши родители? — спрашивает она.

— Да.

— Есть у вас сестры?

— Да.

— А у меня нет брата.

Помолчав, она прибавляет с улыбкой:

— Зато у меня есть отец.

— Ваш отец на редкость хорош собою.

— Да, хорош собою и счастлив.

И снова она улыбается через силу и говорит:

— Только вот я всю жизнь приношу ему одни огорчения.

По воде идет рябь, солнце уже не греет, Роза надевает кофту, и мы снова усаживаемся с удочками и молчим. Мы наудили немного рыбы, но на уху не хватит, очень уж она мелкая, надо посидеть еще, и Роза терпеливо сидит. Мне нужно проверить, не тянет ли она время просто так, чтобы подольше не возвращаться домой, я говорю:

— Кольцо вам ведь велико, смотрите, как бы оно у вас не соскользнуло с пальца.

Ах, тут бы ей и сказать с равнодушием: «Пусть его соскальзывает!» Но нет, напротив, она вздрагивает, она меняется в лице и перекладывает удочку из правой в левую руку.

Через час мы наловили достаточно рыбы, и мы гребем к берегу.

Хартвигсен уже дома, он говорит Розе добродушно, но не без насмешки:

— Ну что? Добытчицей стала? То-то, как я погляжу, мы совсем оголодали.

— Разве мы не молодцы? — говорю я.

— Про то и толк. Вот я вам подмогну разделать рыбу, а уж вы оставайтесь с нами откусать.

Я остался. Ничего, казалось бы, не происходило, но разговор как-то не клеился, и весь вечер у меня щемило сердце. Хартвигсен то и дело выходил за чем-нибудь и оставлял нас наедине, он долго стоял на дороге и разговаривал с кем-то, потом долго разбрасывал по двору корм голубям, хоть они уже отправились спать. По всему этому я заключал, что он забыл о своей ревности, и я ничего не имел против, но Розе, кажется, это было решительно все равно. Она бродила по комнате, что-то переставляла и как бы невзначай опустила крышку фортепьяно. Верно, для того чтобы у меня не было искушения ее просить поиграть, подумал я. Да, для чего же еще?

Я, однако, отважно продолжал беспечный разговор, хоть сердце у меня ныло. Пришел Хартвигсен, и я откланялся.

По дороге домой я решил поскорее кончить свою картину. Вот отделаю стаканчик Розы по всем статьям и принесу ей мою «Гостиную Мака». Хартвигсен недавно обмолвился, что намерен привезти из Бергена большую партию рамок.

Как-то под вечер я сижу и пишу свою картину, и тут входит баронесса и, к удивлению моему, заводит речь на религиозные темы. Как она была взбудоражена и несчастна, она все хваталась рукою за грудь, так что даже расстегнулось несколько крючков, она будто сердце из груди хотела вырвать. Она сказала:

— Нет, здесь не найти покоя! Но, может быть, вы его нашли?

— Я? О нет.

— Нет? Тогда вам нужно поохотиться. Скоро разрешат охоту. Вам непременно нужно пострелять в лесу. Это вас ободрит.

Я думал: нет, не обо мне она печется и не о моем покое. Не хочется ли ей, слушая мои выстрелы в лесу, вспомнить давние выстрелы Глана?

— Я и сам думал поохотиться, когда подморозит,— сказал я.

Она встает, бродит по гостиной, смотрит в окно, снова бросается на стул и говорит несколько добрых слов о моей картине. Но мысли ее далеко. Я смотрю на нее с жалостью, ей нет места в моем сердце, но мне от души ее жаль. Бог знает куда завело ее, бедную.

— Я не буду рассуждать о высоких материях,— сказала она.— Но, Господи Боже, хоть бы что-то понять! Ну отчего я должна с каждым шагом все больше запутываться! Я бродила тут девочкой, я ластилась щекою к былинкам, чтобы им было весело. И не так уж давно это было, как подумаешь, ведь не в какой-нибудь древности. Но что случилось с былинками, с тропками, что со всем, со всем случилось? Я хожу и гляжу на все другими глазами. И что случилось со мною? Той девочки нет уже. А ведь кое-кто остался прежним, Йенс-Детород — он все тот же, и лопарь Гилберт. А я выросла, я теперь другая. Я теперь такая гадкая, я бы хохотать стала над собой, вздумай я вдруг ластиться щекою к былинке. А Йенс-Детород и лопарь Гилберт — они не переменялись, все так же ребячатся, все то же у них на уме. Если бы мне

достался тот, кого я любила, если бы я так и жила здесь, бродила бы по лесам и тропкам, верно, я бы и не потеряла покоя, как вы думаете? Сама жизнь, кажется, вытолкала меня вон, туда, где мне несладко пришлось, но зачем, зачем понадобилось это жизни? То, прежде, из чего я выросла, было лучше того, что я получила взамен, я вошла в богатую, образованную семью, там не было былинки и тропки, я кой-чему выучилась, стала лучше изъясняться — ах, хромым доктор, который жил тут у нас когда-то, он бы меня теперь не узнал! Но что с того? Был же кто-то, кто изъяснялся не лучше моего, да, но я при нем вся горела от радости. Если он делал какой-нибудь промах или вдруг завязал в разговоре, запинаясь, сбиваясь, не мог выразить мысль, я чувствовала, как это хорошо, как хорошо, и не надо, не надо ничего выражать, ты только запинаясь, сбиваясь, о! Нет, он не был тоньше меня, какой-то другой породы, вот былинки — мы знали их оба, и мы знали с десятков людей, и они узнавали нас, и я видела его следы на траве, на дороге, и я бросалась на землю и целовала его следы, а он целовал мои. Выстрел в горах, дымок над деревьями, Эзоп радуется вдалеке, я слышу, как он повизгивает, — и что же я делаю? Я глажу листья, я ласкаю можжевельниковый куст, и потом я целую за это свою руку. «Любимый!» — шепчу я, и словно тысячей скрипок отдается в моей душе это слово. Я выпрастываю из платья свои груди, это для него, это ему за его выстрел. Я жизнь ему готова отдать, в глазах у меня темно, ноги подкашиваются, я падаю. Только когда он подходит, когда я чувствую на себе его ток, я поднимаюсь, я стою и его жду. Он ни слова не может выговорить, и что уж тут скажешь? Но я знаю — вот грудь, к которой можно прильнуть, грудь, в которой вмещается вся доброта мира, я чувствую на себе его лесное дыхание, о, это смерть моя, я проваливаюсь куда-то.

Вдруг баронесса прерывает свою лихорадочную речь. Я перестал рисовать, солнечный луч соскользнул со стакана Розы.

— Будет вам, на сегодня довольно, пойдете-ка лучше со мной, — говорит баронесса.

Я складываю кисти и подчиняюсь. Мне так жаль баронессу, она так несчастна, я стараюсь утешить ее мелкими знаками внимания. Помнится, во время той нашей прогулки баронесса сразу успокоилась, после того как сказала:

— О Господи, до чего жизнь жестока, один съедает другого. Мы сворачиваем голову цыпленку и съедаем его, мы мучаем, убиваем поросенка и его съедаем. Мы топчем и губим цветы на лугах. Мы заставляем плакать детей, они на нас смотрят и плачут. Ах, вся душа превращается во мне от отвращения к жизни!

— А все лучше, пожалуй, чем умереть.

— Да, все лучше, пожалуй, чем умереть. Как верно вы это сказали — все лучше, пожалуй, чем умереть.

XIV

Пока еще не ушли суда, я однажды вечером разговаривал со Свен-Сторожем, мужем горничной Эллен. Коллега его и сотоварищ Уле берет с собою жену в должности кока на «Фунтусе», это он хорошо придумал, так ему сподручней будет присматривать за милой Брамапутрой! А жена Свена-Сторожа в море с мужем не хочет, она ссылается на ребенка, которого по малости лет нельзя взять с собой.

Свен-Сторож когда-то, кажется, относился к своей жене менее доверчиво. Рассказывали, что как-то раз в Сочельник он даже кинулся на нее с ножом. А теперь он спокойно оставлял ее в Сирилунне и сам на много месяцев уходил в плавание. Хартвигсен сказал о нем, что он стал заскорузлый, без сомнения разумея, что он притерпелся к своей ревности. Я часто видел, как Эллен ластилась к мужу с вероломной нежностью, но это было одно кривлянье, и Свен оставался решительно к нему равнодушен. После ванн Мака Эллен возвращалась далеко за полночь, смотрела на тех, кто ей попадался навстречу, томным, невидящим взглядом и шла мимо. Она потеряла всякий стыд, ее проделки были у всех на виду, и сам Свен-Сторож только безразлично поднимал на нее глаза и продолжал насасывать свою носогреюку. Нынешнее спокойствие стоило ему долгих мучений, когда-то он хотел всадить в нее нож, но это когда еще было, в самом начале. Но не теперь! Зачем ему в каторгу идти? Бывает, конечно, человек совершит преступление из-за любви. А можно ведь и иначе — окоротить себя и жить в законе и согласии. Тоже неплохо.

Пока я стою и беседую со Свен-Сторожем о предстоящем плавании и разном прочем, из конторы выходит Хартвигсен. Он говорит еще издали, тыча пальцем назад, через плечо:

— Вот, дело обтяпал, заработал денежки.

— Ну что же, на доброе здоровье! — говорит Свен-Сторож. Эти двое — старые приятели.

Хартвигсен продолжает:

— Оно, правда, со своего же компаньона, а все приятно. И бумагу составили.

Выясняется, что Хартвигсен лично взял на себя страхование судов и грузов, отправляющихся в Берген. Мак, рачительный и умный хозяин, все эти годы исправно все страховал, но крушений никогда не случилось. И вот в нынешнем году Хартвигсен вмешивается в это дело и восстает против зрящего крупного расхода. Как осмотрительный купец, Мак не видит выхода из создавшегося положения.

— Ничего не могу тебе предложить, разве что ты возьмешь страхование на себя, Хартвич, — говорит он.

Хартвигсен в совершенном восторге, он оказался таким докой, и ему хорошо и компаньону. Все в его власти, только слово скажи. И он сказал это слово.

Было это еще летом. Уговор оставался в силе до нынешнего дня, а нынче составили бумагу. Ее заверят на осеннем тинге.

— Так что уж я на тебя рассчитываю, Свен-Сторож, что ты отведешь свое новое судно в Берген и доставишь обратно в целости и сохранности! — произносит торжественно Хартвигсен.

Свен-Сторож отвечает:

— Уж мы постараемся. За нами дело не станет.

Хартвигсен продолжает:

— Так же я и на Уле-Мужика рассчитываю, насчет «Фунтуса». Правда, у него будет дамский пол на борту. Ну, да не такой я ретроград, чтоб ему это ставить в строку.

Тут из конторы выходит Мак. Он кивает нам, и мы со Свеном-Сторожем снимаем шапки и кланяемся.

— Счастливо вам, — бросает Хартвигсен с выделанной небрежностью, чтобы нам показать, что у него с Макком не те отношения, что у нас.

Скоро во дворе появляется Эллен. Она, разумеется, видела, как Мак вышел из конторы, она дожидалась условного часа.

Хартвигсен и Свен-Сторож переглядываются. Но Хартвигсен человек влиятельный, он сам у себя застраховал суда, ему во все надо вникнуть, всюду вставить свое слово.

— Небось опять в теплую ванну полезет, — говорит он. — Словом, сладу с ним нет, с моим компаньоном.

Угу! — отвечает Свен-Сторож, не вынимая изо рта трубки.

— А знаешь, что я тебе скажу, Свен-Сторож, ты бы приглядел за женой-то, чтоб пореже его растирала.

— Чего? А-а, ну это уж как ее воля, — говорит Свен-Сторож и выбивает трубку.

— Ну-ну, так-так, — говорит Хартвигсен, и ему, кажется, жаль своего шкипера. — Она ведь за ребенком не смотрит Ну-ну, а может, это у ней такая любовь к близнему, мало ли.

Но мне Хартвигсен сказал, когда мы шли уже вдвоем к его дому:

— Надо мне прижучить моего компаньона. Если не я, так кто? Тащит их к себе в ванну, двух сразу, и зря это вы думаете, что они очень-то стараются, его растирают Нет, он прямо ошалел, просто-таки кидается на них. Нет, чтоб я про это больше не слышал!

Давно не видал я Розы, и я обрадовался, найдя ее свежей и бодрой. Как уже повелось, Хартвигсен и на сей раз то и дело оставлял нас наедине, все отлучался куда-то, но Роза разговаривала веселей и спокойней.

— Да, благодарю вас, грех жаловаться, — сказала она. — А как вам живется в Сирилунне? Давно я там не была Как поживает Эдварда?

— Лучшей хозяйки и пожелать нельзя. И такие милые детки.

— Удивительно, как выросли вы за лето, — сказала она.

И мне так весело от этих ее слов, я так горд, я чувствую, что краснею, и я смотрю в окно.

— А ведь эти два самца глаз не спускают друг с друга, — говорю я, чтобы что-то сказать.

— Голуби? Так они еще не на голубятне?

— Хартвигсен их кормит Эти забияки ненавидят друг друга, волчками вертятся.

Роза подошла к окну и тоже выглянула, она подошла к самому окну и стояла совсем рядом со мною. От нее веяло милой женственностью, она приподнялась на цыпочках и выглянула, чтобы разглядеть тот угол двора, она оперлась о подоконник, и рука у нее была большая, красивая рука Мне показалось, что она не все время смотрела в окно, взгляд ее скользнул по моему затылку и шее, я чувствовал на себе ее дыхание Ах, мне, верно,

следовало бы отодвинуться, уступить ей место, но мне так не хотелось отодвигаться!

— Это они от ревности,— сказал я про голубей. Что же я еще говорил? Возможно, я больше ничего и не сказал, но потом в висках у меня стучало, будто я говорил долго-долго.

Роза распрямилась, оттолкнулась от подоконника, словно лодку оттолкнула от берега, она посмотрела мне в лицо таким долгим, таким удивительным взглядом, верно, голос у меня дрожал и я себя выдал.

— Да, ревность — хорошая вещь,— проговорила она едва слышно,— она, верно, неразлучна с любовью, кто знает?

— Да, пожалуй.

— Но любовь не может питаться ревностью, то есть долго не может питаться.

При этих ее словах сердце у меня заходится от восторга: ревность свела ее с мужем под этой кровлей, но теперь уж она не любит его. Она увидела меня сегодня в новом свете, я вырос и возмужал, ей не было неприятно смотреть на мой затылок и шею, онадохнула на мои волосы.

И я бормочу:

— Я хочу просто... Вы сегодня такая необыкновенная. Господи, я таких никогда не видел, вы единственная, кто... нет, я считаю, что вы самая красивая женщина в мире. Да. Я просто хочу вас поблагодарить...

— Да что это с вами?— говорит она и терпеливо улыбается. Но лицо ее заливается краской.— Не влюбились же вы в меня? Нет, какое! Вы ведь так еще молоды. Но чего вы хотите?

Я вскочил и далеко вперед выбросил руку, я не смел сдвинуться с места. Но вот я расслышал ее последний вопрос, короткий и резкий, и снова упал на стул.

— Да сидите же, сидите!— слышу я ее голос.

Она все поглядывает на меня и думает, кажется, о том, как бы меня успокоить. Она испугалась, я тоже хочу ее успокоить, я сворачиваю разговор на свою сестру, Роза сегодня мне как сестра, так приятно быть рядом с сестрою. Тут я несколько присочинил, у меня не было взрослой сестры, только маленькая. Да Роза мне, верно, и не поверила, она была старше меня и видела меня насквозь.

— Я хочу поблагодарить вас за то, что вы мне позволили у вас бывать,— говорю я.

Она уже успокоилась, снова улыбается и отвечает:

— Вы так далеко от своих!

Она подходит ко мне, разглядывает меня, склонив голову набок, и говорит:

— Да что это вы? Приходите к нам, милый, ну, конечно, хоть каждый день приходите. Не хотите ли поиграть? Нет? Но тогда вам, может быть, лучше уйти.

— Уйти?

— Ну да, ступайте домой, ложитесь в постель и успокойтесь. Так будет лучше. Не правда ли?

Я хватаю ее руку и крепко, горячо целую.

— Не делайте же нас несчастными! — слышу я ее голос.

Я снова на стуле, у двери шаги, это возвращается Хартвигсен.

— Не хотите ли поиграть? — спрашивает он.

— Нет, поздно уже. Нет, благодарю вас, уже ночь на дворе.

— Но завтра снова будет день! — говорит Роза.

Она была такая милая, чуждая, они вместе с Хартвигсеном проводили меня и пожали мне руку.

Хартвигсен против обыкновения выказал себя заботливым мужем, он сказал:

— Это тебе не лето, Роза, накинь-ка ты шаль.

— Мне не холодно, — отвечает Роза.

— У тебя, может, и нет шали? — продолжает Хартвигсен. — Так взяла бы в лавке, на счет Хартвича, а? — И при этом он смотрит на меня и хохочет.

По дороге домой я все останавливался и оглядывался. Я находил некоторое утешение в том, что Розе, быть может, взгрустнулось, когда я ушел.

Я пришел в Сирилунн. Мак, в ночной рубашке, высунувшись из окна второго этажа, разговаривает со стоящим во дворе Уле-Мужиком. Мак, значит, вовсе не отправился спать, он свеж и бодр после ванны, и голова его занята делом.

— Ты, стало быть, нынче в ночь и отправишься, — говорит он Уле-Мужику. — Да, и знаешь ли что? Как вернешься из плавания, отведи «Фунтус» на ту сторону, за маяк. Зимой он не пойдет на Лофотены, пусть там на приколе и стоит до весны.

XV

Вот и Успенье прошло. Суда с треской уплыли на юг, опустели сушильни. В лесу уже опадает листва.

Как-то тише стало в Сирилунне. Свен-Сторож и Уле-Мужик часть людей увезли с собой, удалилась и Брама-

путра, причина шумных и опасных волнений среди мужчин. Ну, кое-кто и остался, все рабочие на пристани, приказчики, кузнец, пекарь, бондарь, шорник, оба мельника, все женщины, Крючочник, Колода, Йенс-Детород да расслабленный Фредрик Менза, который лежал, прикованный к постели, только ел, и смерть, кажется, забыла к нему дорогу.

Да, смерть все никак не приходила за Фредриком Мензой. Целый год пролежал он так, все больше впадая в детство. Ел он много и не слабел, но совсем отупел от старости. О чем бы ни спросили его, он отвечал: бо-бо, а то долгими часами лежал, глядя в потолок, и никак не мог сладить со своими руками и урезонивал их с помощью нечленораздельных звуков. Он старел с каждым днем, но каждое утро просыпался все в том же добром здравии, и смерть его не брала. Это был тяжкий крест для Крючочника, спавшего с ним в одной каморке.

У Крючочника с Колодой завязалась забавная дружба, они оба тосковали по Брамапутре и непременно бы ей послали весточку в Берген, если б не боялись Уле. Тяжко, неуклюже бродит по двору Колода. Он носит дрова ко всем печам в доме и таскает огромные тяжести. Поступь его медленна, топот слышен повсюду. Он взваливает себе на плечи высокие, как возы, вязанки, но такому силачу все нипочем, он может остановиться и, навьюченный, часами разговаривать с встречным. Зато по дому он продвигается осторожно, как ребенок. У кухонной двери он бросает вязанку на пол и разносит по дому в несколько приемов. Верно, он боится, что иначе под ним подломится лестница.

Дружба Крючочника с Колодой тем забавна, что Крючочник вечно поддразнивает приятеля. Хитрый Крючочник, норовя держаться на безопасном расстоянии от Циклопа, затевает коварнейшую игру, громко выкликая разные шутки и веселые прозвища. Он даже выдумал аккомпанировать шагам Колоды каким-то особенным щебетом. Подстережет, когда силач двинется из дровяного сарая, и щебечет ему в такт. Колода сперва идет себе кротко, потом нарочно спотыкается, переступает, путает, сбивает Крючочника, но неотвязный щебет тотчас опять настигает его. Лишь возле кухонной двери наступает спасение. Тут Колода озирается, и глаза его наливаются кровью. Ну, а вечером он кроток и добродушен по-прежнему.

На Хартвигсена иногда находит, у него бывают такие странные идеи, как-то раз, в лавке, он спрашивает у меня,

не объясню ли я ему, как лучше добраться до Иерусалима.

В лавке несколько покупателей, лопарь Гилберт стоит у стойки и пропускает рюмочку-другую. Я подумал, что Хартвигсен задал свой вопрос, чтобы показать покупателям и приказчикам, что для него теперь нет ничего невозможного, вот мол, пожалуйста, он собрался в Иерусалим. Поэтому я и не стал отвечать серьезно, сказал только — о! до самого Иерусалима? Путь неблизкий!

— Да. Однако же туда можно добраться?

— Разумеется.

— А какой дорогой, вы не знаете?

— Нет.

— Не расспросите ли ради меня смотрителя? А то мы с ним на ножах.

— Если вы в самом деле желаете это узнать, я его расспрошу.

— Да, желаю узнать.

Приказчики, лопарь Гилберт и покупатели развесили уши. Хартвигсен это, конечно, заметил, он сказал с важностью:

— Мне с детства запало в душу, что надо когда-нибудь посетить знаменитую Иудею.

И лопарь Гилберт трясет головой — да, какой могущественный человек этот Хартвигсен, все ему нипочем.

— Это же сколько стран проехать надо,— говорит он.— И там что, тоже море есть, как у нас, и люди, и солнце светит? Ух ты, Господи!

И лопарь Гилберт, у которого была слава разносчика новостей, поскорее допил свою рюмку и собрался идти.

И тут входит баронесса.

Я во все глаза смотрел на нее и на лопаря. Ни один мускул в лице ее не дрогнул, она глянула на него пустым, незнающим взглядом, он для нее не существовал. О, у нее была та же удивительная сила, что у отца, она любого могла поставить на место. Как царица, прошла она мимо, зашла за прилавок и скрылась в конторе.

Лопарь Гилберт кланяется: «Счастливо вам!» — и выходит за дверь.

Я сообщаю Хартвигсену то, что успел обдумать тем временем: он может через Европу добраться до Константинополя и потом, на пароходе, куда-нибудь в Малую Азию. Но там уж ему не обойтись без знания языков, а на это уйдет уйма времени.

Я сам хорошенько не знал — отчего, но я был совсем не против того, чтобы Хартвигсен уехал надолго. Я уже радуюсь, я говорю:

— Но я поподробнее расспрошу зрителя.

— Да, и спросите еще, какой путь удобнее, — говорит Хартвигсен. — Мы вдвоем отправляемся, мужчина и дама.

У меня перехватило дух, тотчас я понял, отчего меня так радовала мысль об его отъезде. Теперь все менялось, если Роза тоже едет, какая мне радость.

— Дорога опасная, — говорю я. — Я вот не подумал. Мне что-то расхотелось расспрашивать зрителя. Нет, я не буду его расспрашивать.

Хартвигсен смотрит на меня с удивлением. Из конторы выходит баронесса, Хартвигсен ее останавливает и сообщает, что я отказываюсь расспросить зрителя о дороге в Иерусалим. Ее, кажется, несколько смущает откровенность Хартвигсена, но она улыбается и говорит:

— Вот как? Но отчего же? Странно. Или вы опасаетесь, что мы с господином Хартвичем погибнем дорогой?

И снова у меня перехватывает дух, и сердце мое так и подпрыгивает от радости. О, я совсем потерял стыд, меня увлекла любовь, а любовь так жестока.

— Да, — запинаясь я, — дорога опасная. Но ничего в ней нет невозможного, совершенно даже напротив. И раз обоим вам хочется, я переговорю со зрителем. Я сегодня же с ним повидаюсь. Непременно, сегодня же.

Баронесса не хочет, чтобы все это выглядело так серьезно, она говорит с усмешкой:

— К чему уж так-то усердствовать.

Но я усердствовал, я совсем потерял стыд, я отправился на маяк, я по мере сил старался удалить от нас мужа Розы. Низкий человек! Я и не думал о том, как грустно будет Розе, когда Хартвигсен от нее уедет с другой женщиной, ни о чем таком я не думал.

Подниматься в башню мне не пришлось. Едва я ступил на нижнюю ступеньку ведущей в комнату лестницы, зритель окликнул меня. Он стоял у себя в сараюшке и возился с дровами.

Покончив с околичностями, я приступил к делу. Зритель выслушал меня, невесело хмыкнул и покачал головой.

— В Иерусалим! Хартвигсен! Уж не первое ли нынче апреля, молодой человек? Да это же просто... вы понимаете по-французски?

— Немножко.

— Это просто *blague*¹. Но какова Эдварда!

— Они всерьез туда собираются,— говорю я.

— Ну-ну. Этот выскочка не успокоится, куда не профинтит все свои денежки. А на хлеб что останется? Дорога на Иерусалим? Да их тысяча, этих дорог. Шваль такая — и туда же, в пилигримы? В религию они, что ли, ударились?

И вдруг смотритель кричит:

— Но Роза-то, Роза! О Боже ты мой, она-то что же?

Я впервые об этом подумал и не мог ничего ответить.

Смотритель продолжает говорить, остановится, подумает и говорит снова. В конце концов эта затея уже не представляется ему нелепой.

— А что, глядишь, и отправятся, у нашей Эдварды губа не дура! И отчего бы им не проделать это несчастное путешествие, хоть одним глазком глянуть на мир, увидеть что-то еще, кроме своего прекрасного Сирилунна! Увидят иные берега, там и солнце светит ярче, там в море летучая рыба. Все расхаживают в шелках, мужчины в красных шапочках, курят сигары. Чем больше я об этом думаю, тем больше прихожу к заключению, что им непременно надо ехать, ехать, освежиться, проветриться, так им и передайте. Ах, вы и представить себе не можете, что такое Греция, молодой человек!

Смотритель Шёнинг совсем забывается и выдает свои истинные чувства, а ведь он этого не любит. При воспоминании о дальних странах, в которых он побывал, он загорается, глаза у него сверкают.

— Подумать только! Они туда едут! — говорит он. — И очень умно делают, очень умно! Они увидят Грецию! Путь в Иерусалим, говорите вы? Путь один. На рыбацкой шхуне от Бергена они попадают на Средиземное море, в Грецию. Оттуда уж рукой подать до Яффы. А там — на арабских конях — в Иерусалим. Так им и передайте. Если угодно, я могу все это вычертить на бумаге. Ну и Эдварда, ай да Эдварда!

На другой день смотритель Шёнинг является ко мне с маршрутом, да, с подробным планом всего путешествия. Он до того увлекся, он весь горел.

— Пусть они, не теряя времени, едут на почтовом пароходе в Берген,— сказал он,— там как раз отправляют треску в Средиземное море, пусть уедут на зиму из

¹ Бахвальство (*фр.*).

этой дыры, там их ожидают пальмы, там люди разгуливают в шелках. А вы, кстати, не могли бы их сопроводить в качестве переводчика? Вы английский знаете?

— Нет.

— Ну, да и французский сойдет.

Я передаю Хартвигсену план зрителя, даже не заикнувшись о том, что в пути ему понадобится переводчик. С несколькими фразами, в каких у них будет нужда, бесспорно, справится баронесса, говорю я, напротив, да и сам Хартвигсен, с его-то способностями, скоро выучится английскому, нужно только обзавестись в Бергене самоучителем.

Хартвигсен совершенно со мною согласен.

Ночью я иду к дому Розы, я глажу дверную ручку, я присаживаюсь на крыльцо там, где она сидела. Мечты и образы теснятся в моей голове, я сам не свой, я совсем лишился покоя. Я брожу как помешанный день и ночь. Погладив дверную ручку, посидев на крыльце, я тихонько ухожу и даю большого крюку по дороге домой, к моей комнате, где меня стережет моя бессонница.

Баронесса спрашивает, что со мною, у меня темные круги под глазами. Я отвечаю, что это так, ничего, и тру глаза, чтобы стереть эти круги. Тогда она спрашивает, что думаю я о поездке в Иерусалим.

— Но отчего непременно в Иерусалим? — спрашиваю я.

Она объясняет мне, отчего, и она так несчастна, взгляд у нее угасший, как сумерки.

— Да вот, Хартвич придумал ехать в Иерусалим, он о нем начитался в Библии. Я тоже хочу в Иерусалим. Здесь мне никак не найти покоя, а вдруг мне полегчает, когда я вернусь? Святая земля, говорят, да, может быть, и святая, и кто знает, какое влияние она оказывает на человека? Ведь я чего только не испытала, молилась даже чужим богам. Так же точно я и в Финляндии мучилась. Никто не мог меня понять, когда я, хозяйка дома, вдруг бросала гостей. Я возвращалась, и меня спрашивали, не было ли мне дурно, они ведь люди воспитанные. Воспитанные — ну и что, это же свойство целого класса, а мне нужен был кто-нибудь, ни на кого не похожий. Я подошла к одному человеку и спросила: «Вы охотник?» Он не понял меня. «Охотник? О нет». Но у него есть брат, вот он охотник. «Так давайте его сюда!» Но что это был за охотник! Человек, который убивал зайцев и птиц, которого Господь обделил разумом, только и всего. Нет,

вы дайте мне кузнеца, бродягу, но чтобы у него жизнь сияла в глазах, вот это охотник!

Я так много записываю из того, что говорит баронесса, потому что ведь я изо дня в день с нею рядом и так много от нее всякого слышу. Но о той, что непрестанно в моих мыслях, я не слышу, я не знаю ничего. В том-то и дело. Да мне и легче, когда я слушаю баронессины речи, я принимаю участие в ее горестях, это меня отвлекает от моих собственных, и это хорошо. Баронесса часто спрашивает меня о путешествии и не скрывает, что видит в нем паломничество.

— Мне нужно столько грехов замолить,—говорит она.— Мне очень нужно в Иерусалим. Мне это поможет, как вы думаете?

— Очень возможно. Разумеется, поможет. У вас столько будет новых впечатлений, вы развлечетесь. А за девочками мы тут все приглядим.

— Да, уж вы приглядите за девочками!

Глаза у нее делались больше, туманились, она уже не могла успокоиться, пока не найдет своих девочек, не подбросит их по очереди на руках. Но когда она призналась, что ей нужно замолить много грехов, я подумал про ее мужа, который, верно, все же из-за нее покончил с собой.

XVI

Я иду к Розе и говорю:

— Тут в Иерусалим собираются, путешествие, кажется, состоится, о нем столько говорят.

— Да, я все это знаю,—отвечает Роза.

Я в удивлении молчу и смотрю на нее, она так спокойно мне ответила, что все это знает.

— Да, но путешествие, кажется, в самом деле состоится,—говорю я снова.—Смотритель маяка составил план, скоро поздно будет этому воспрепятствовать.

Ах, вчера меня одолела совесть, она и сегодня меня донимает, я уже не радуюсь, что отделаюсь от мужа Розы, нет, меня мучит тоска.

— Зачем же препятствовать?—отвечает Роза.— Во все незачем препятствовать.

— Незачем, вот как?—только и могу я выговорить и умолкаю.

— Бенони так хочется ехать, да и я не прочь. Мы так много увидим нового.

— Да-да,— отвечаю я, словно в каком-то тумане. Значит, Роза тоже едет! Чтобы хоть как-то искупить собственную вину, я прибавляю: — Да-да, вы, значит, будете переводчицей...

— Нет, какая из меня переводчица,— отвечает Роза.— Я читаю немного по-французски и по-немецки, но ведь... Эдварда тоже читает, но ведь... Ну, да мы еще не уехали! — прибавляет она.

Нет, они еще не уехали.

Я встречаю Хартвигсена и заговариваю о путешествии. Он сразу мне отвечает так, что едут они втроем, будто и речи никогда ни о чем другом не было.

— Значит, Роза будет переводчицей,— говорю я.

— Да,— отвечает он,— вот уж кто по этой части мастак. Послушали б вы ее, когда разные записки в бутылках приплывают не по-нашему написанные — она их шпарит, прямо как десять заповедей.

— И Роза, верно, радуется путешествию?

— А почему я знаю? Я ей взял и сказал: ты, ясное дело, тоже поедешь, говорю. Не могу же я ехать в чужие края с другой дамой без тебя, говорю. И Мак того же мнения.

— Разумеется.

— Э, да мы ведь еще не уехали,— говорит Хартвигсен.— Тут еще столько делов. То да се приобрести на зиму для наших судов, и в лавке перед Рождеством такая торговля! За всем глаз да глаз, и не могу же я все бросить на компаньона.

Я так и не понял, что причиною перемены. Но про себя я подумал, что Роза, верно, прибегла к помощи Мака, всегда дарившего ее отеческим расположением.

Баронесса тоже была уж не так богобоязненна и печальна, она смеялась больше прежнего и шутя говорила о путешествии.

— И чего Бенони не видел в Иерусалиме? — говорила она, называя Хартвигсена Бенони.— Оставался бы уж тут, первым парнем на деревне, ха-ха-ха!

Но вот смотритель Шёнинг — тот все больше и больше кипел.

— Поторопите же вы их,— сказал он мне,— они еще успеют отправиться из Бергена в Средиземное море!

Но один почтовый пароход за другим отправляется в Берген, а Хартвигсен с компанией и не думают ехать. Значит, из всей затеи ничего не получится. Сам-то я считаю, что не иначе как рука Божия помешала мне вытолкать путешественников и взять на душу тяжкий грех.

Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Ну, а Роза — она, верно, с самого начала чувствовала, что из путешествия ничего не получится, и только ради простого приличия себя зачисляла в участники.

Наконец и до зрителя доходит, что план составлять было решительно незачем. Он встречает Хартвигсена в лавке и от досады меняется в лице и белеет как мел.

— А-а, вы еще не уехали в Иерусалим! — говорит он. — Да и я-то хорош, в плане напутал, вам следует направляться вовсе в Балтийское море, а там на Гебриды. Как окажетесь в Довре, спросите, где город Пекин. Туда вам и надо.

Но Хартвигсена, однако, на мякине не проведешь. Кое-какие начатки географии я преподавал ему во время наших весенних уроков, и они засели в нем крепко.

— Пекин же в Китае, — говорит он, — при чем тут Китай? Да и Довре нам не по пути, Довре в Норвегии.

— Вы ослышались. Я сказал, — в Дувре, — отвечает зритель и весь трясется. — В Дувре такая бездна курочек, вот где вам хвост распускать! Хи-хи! Фанфарон! Пустоболт несчастный.

Зритель, сам не свой от ярости, выбегает из лавки. Значит, этот человек радовался и мечтал за других, мечтал, чтоб хоть кто-то увидел мир во всей его славе. Но и тут его провели! Я заставляю себя несколько успокоиться и засесть за картину, чтобы у меня был предлог пойти к Розе. Едва картина кое-как обсохла, я однажды выжидаю, когда Хартвигсен пройдет мимо Сирилунна на мельницу, и пускаюсь в путь. И Мак и баронесса знали, кому предназначена картина, так что я мог ее нести не таясь. А вот то, что я выбрал момент, когда Хартвигсен отсутствовал, была низость, низость, и я готов был потом за нее расплатиться. Да и сам визит не принес мне особенной радости.

Роза против обыкновения заперлась изнутри. Я стучу, но дверь мне не открывают. Никого нет дома, думаю я, Марту я видел с девочками баронессы. Я уже собираюсь уйти, но тут Роза стучит в окно и открывает дверь.

— Лопарь Гилберт ходит тут и что-то вынюхивает, — сказала она. — Видели вы его?

— Нет.

— Заходите же, заходите. Ах, какая прелестная картина! Жаль вот, Бенони ушел и ее не видит.

— Это вам, — сказал я. — Будьте великодушны, примите ее в подарок! Она вам хоть чуточку нравится, да?

Ну как, право, я себя вел, я робел и совершенно ступался. Будто я не дар приносил, а принимал подаяние.

— Мне? Нет, что это вы, зачем,— ответила Роза медленно и покачала головой.— Досадно вот, что Бенони нет дома, он бы, разумеется, заплатил за картину.

— Она не продается.

Роза из любезности берет картину и разглядывает, и ее руки, которыми я всегда любовался, сейчас такие осторожные, ласковые руки. Она говорит тихонько, что узнает гостиную Мака, вот он—серебряный ангелок, и она так бы и глотнула из этого стаканчика, это вино так и хочется пригубить.

— Это ваш стакан. Вы тогда оставили его на столе.

Тут она забывается, она, кажется, выдает мне себя и отвечает:

— Да, я помню.

Но уже через мгновение она снова другая, она отодвигает картину и говорит:

— Бенони сейчас придет. Он пошел на мельницу. Вы его не видели?

Пауза.

— Да, я его видел,— говорю я.

Куда уж ясней, я совершенно себя выдал. И Роза все поняла, она смотрит на меня добрым взглядом, но потом снова она качает головой.

— Это так скверно?— спрашиваю я.

— Да, вам не следовало в меня влюбляться, знаете ли,— говорит она.

— Да, не следовало,— отвечаю я, и сердце у меня щемит,— мне и самому раньше лучше было.

Роза была так естественна и проста, она тотчас перешла к делу. Нет, разумеется, мне не следовало в нее влюбляться. Однако же я влюбился. Да, но как она это приняла? Я не замечал в ней особенного недовольства, напротив—явственную благосклонность. Эта-то благосклонность больше всего и угнетала меня, я оказывался как бы ребенком перед Розой. Но, к радости моей, она выказывала и признаки волнения. «Значит, я для нее не только ребенок»,— думал я.

— Я даже не предлагаю вам сесть. Лучше, пожалуй, если мы постоим,— сказала она и—села. Тотчас она понимает свою оплошность, встает, улыбается и говорит:— Ну, видали вы подобное?

Совладав с собой, она указывает мне на стул и предлагает сесть:

— Почему бы нам и не присесть? Прошу вас! Я вам кое-что расскажу!

И мы сели оба.

Заговорила она с глубокой серьезностью. Не то чтобы торопливо, сбивчиво,—нет, благоразумно и мягко. И я видел совсем рядом этот ее большой красный рот, и тяжелые веки, и длинные взгляды.

— Вы ведь слышали, что я уже прежде была замужем?

— Да.

— Да. И вот теперь я снова вышла замуж. Мой первый муж умер. Я старше вас, но будь я и ваша ровесница, все равно я замужем. Разве я вам кажусь легкомысленной?

— Нет, нет.

— Я до такой степени не легкомысленна, что как бы до сих пор еще чувствую себя женой Николая, а ведь он умер. Мы, разведенки, и всегда-то так чувствуем, мы не можем совсем отрешиться от прежних наших мужей, не думайте, будто тут все так просто. Дня не пройдет, чтобы нам не вспомнить о них, одним все это легче дается, другим тяжелей, но никто не освобождается совершенно. Должно быть, и нельзя разводиться! Что же до вас—это такая нелепость, такая нелепость, о, это, может быть, и прекрасно, но с вашей стороны это ужасная ошибка. Чего вы хотите? Я на семь лет вас старше, и я замужем. Я не из влюбчивых, но если бы и случилось мне влюбиться, я скорей на костер бы пошла, чем себя выдать. Вы, может быть, скажете, что сами видели, как я совсем потеряла себя от любви? Ах, в той любви дело шло не о сердце, но о месте экономки. Я была бедна, как церковная крыса, будь у меня хоть какой-никакой достаток—вы бы не увидели моего унижения. Вот, и знайте про этот цинизм, вам не вредно.

— Ах, какая разница.

— Очень, очень большая разница, вы сейчас убедитесь. Будь я даже не замужем и ваша ровесница, я бы все равно даже не взглянула на вас.

— Оттого, что я тоже беден, как церковная крыса? Но ведь первый-то муж ваш точно так же был беден, однако вы столько лет его ждали? Нет, это вы нарочно на себя наговариваете, чтобы облегчить мою участь!

— Вы полагаете?—ответила она и усмехнулась.

А ведь тут она обнаружила свою истинную женскую сущность, нет, ей вовсе, кажется, не было неприятно, что

я именно так ее понял, что я ее считал самоотверженной в любви! Все это я уже после сообразил, а пока продолжал свое:

— Ну, а то унижение перед Хартви́гсеном более чем понятно, обыкновенная ревность к сопернице.

Роза бледно улыбается.

— Ну, может быть,— говорит она. Но тотчас она начинает сердиться на мое это предположение и снова принимается мне перечить:— И вовсе нет. Ах, да не все ли равно. И почему это я должна тут сидеть и перед вами отчитываться?

— Нет-нет,— отвечал я покорно, но, конечно, я угадал, вовсе она не была так неспособна влюбиться, как она утверждала.

— Так вы думаете, это я ревновала?— сказала она.— Но я не романтическая особа, слышите вы, я совершенно проста и буднична, вот, я вся перед вами. Мой муж, то есть я хочу сказать— мой первый муж, он говорил, бывало, что я ужасно скучная. И я думаю, он был прав. Да, но что это, в самом деле, за разговор!— вдруг оборвала она себя.— Ваши чувства бог знает куда могут вас завести, мне только и остается, что их пресечь.

— Вы не можете их пресечь,— сказал я.

— Как же! Вы и сами знаете, что будь тут другие, вы бы не думали обо мне. Но тут почти нет никого, а вы нигде не бываете, никого не видите. Да, но случай, должна признаться, для меня новый. Те, кто влюблялись в меня прежде, не слишком этим тревожились, не лишались сна и аппетита, Николай был спокоен, Бенони— и того спокойней. Так что я уж и не знаю даже, как мне с вами обращаться.

— Можно, я скажу— как?

— Да.

— Не нужно со мною обращаться так по-матерински. Не нужно вести себя со мною так снисходительно.

Тут она засмеялась и ответила:

— Вот как? Не нужно? Но другого выхода нет. Иначе вам нельзя сюда приходить.

— И прекрасно!— объявил я со своей молодой горячностью.

— Ну зачем вы так, право? Вы сами понимаете, что это ребячество.

— А вы понимаете, что вовсе я не ребенок,— выпалил я с обидой.

Роза вся подается вперед, смотрит на меня и отвечает:

— Нет, какой же вы еще ребенок!

Я сидел и смотрел на нее. Я-то считал ее таким тонким человеком, и что же я слышу? Все вздор, глупости, женская болтовня, мне уже двадцать два года исполнилось.

— Возможно, вы не во всем ошибаетесь,— говорю я тогда.— Да, я думаю, если бы тут были другие...

— Вот именно,— перебивает она.

— Я попытаюсь себя переломить. Скоро подморозит, начнется охота, я буду больше ходить, обойду всю округу...

— Да, да. Непременно!— сказала Роза, она встала и положила свою ладонь на мою руку, постояла так мгновение и села опять.— Да, видите ли, другого нет выхода. Я ведь вам как старшая кузина, взрослая, большая, огромная кузина.

Новое оскорбление. Не такой уж я был крошка, чтобы ей быть огромной. Я еще продолжал расти, это правда, но этот проклятый мой поздний рост должен был вот-вот прекратиться. Я нарочно меняю тон, я спрашиваю:

— Что, путешествие в Иерусалим как будто не состоится?

Пауза.

— Да.

— Раздоры в свите?

Пауза.

— И это вы, такой робкий... бывало, никогда ни о чем и не спросите... Ну, хорошо же, я вам еще кое-что расскажу, хотите? Вы, кажется, заметили, что сегодня я сама не своя, и это истолковали по-своему. А дело вот в чем: лопарь был тут сейчас, Гилберт, он всегда на меня нагоняет страх, он так много знает.

Она говорила теперь с тоской, уже не старалась казаться спокойной, она была ужасно расстроена. Обида моя вмиг улетучилась.

— Он выскочил из-за угла, едва ушел Бенони, поздоровался и говорит: «Старуха-то Малене, а?» Старуха Малене—это мать моего мужа, то есть мать моего первого мужа. «Что с нею?»— спрашиваю я, хотя Бенони с ней—как сын родной, чего только ей не посылает. «А то,— отвечает Гилберт,— что она разбогатела, она получила сто талеров!»—«От кого же она их получила?»— спрашиваю я. «Ни от кого,— отвечает Гилберт,— она сама не знает, они пришли по почте». Тут сердце у меня чуть не выпрыгнуло из груди, и, уж сама не знаю как,

я все-таки выговорила: «А письмо?» — «Письма не было», — ответил Гилберт.

Пауза.

— Но ведь это хорошо, что у бедной женщины есть теперь средства, — говорю я, чтобы что-то сказать.

— Да, конечно. Но их могла послать только одна рука.

— Ну, — отвечаю я, стараясь ее ободрить. — Может быть, это наследство. Может быть, его сейчас только распределили.

— Вы думаете? — с надеждой спрашивает Роза. — Да, но так бы и было указано, тогда бы было письмо.

— Впрочем, я, признаться, мало смыслю в этих материях. Так или иначе, вы разведены со своим первым мужем.

Роза качает головой и, словно сама с собой, говорит:

— Ах, но что значит — разведена...

— И жив ли он или умер, у вас с ним нет уже ничего общего.

— Неправда. И вдобавок: мне сказали, что он умер. Что он... что он погиб... Иначе я никогда бы не могла снова выйти замуж.

— Хартвигсен и Мак выговорили же для вас разрешение, была, кажется, получена государственная бумага?

— Да, но мне-то мало было этого. Вот они и сказали мне, что он умер.

— Но он ведь и в самом деле умер, — говорю я.

Вдруг на меня накатывает жгучая неприязнь к этому мертвецу, о котором так беспокоится Роза. Да если даже он жив, неужто ей не пора, наконец, его выбросить из головы? Я уже ревную ее не к Хартвигсену, а к покойнику, я желаю моему другу Хартвигсену всяческих благ! Да и кто он такой, этот господин? Продал жену за известную сумму, сумму пропил и умер!

— Вот вы меня называете ребенком, — сказал я с укором, — а сами вы кто, по-вашему? По мне, носиться с тем, кто... с памятью о том, кто...

Я перевел дух, она подняла на меня глаза и ждала. Хотела, верно, чтобы я все ей выложил, и насчет суммы, и насчет внезапной смерти. Но раз ей угодно несмотря ни на что хранить верность своему Николаю, я не отвожу глаз и не оканчиваю фразы.

— Ну? — сказала она. — Носиться с памятью о том, кто... Что же вы?

— Тоже отнюдь не означает быть взрослой.

Пауза. Она на меня посмотрела беспомощно.

— Простите меня,—сказал я.

Ее словно кто толкнул, она встала вдруг и всю свою нежную, бархатную ладонь прижала к моей щеке.

— Храни вас Господь!—сказала она.— Вы и сами понимаете, верно, что это не то, что влюбленность. Вот, сейчас вы увидите, я буду совершенно спокойна,—сказала она и снова села,—просто я так испугалась, он ужасный, этот Гилберт.

— Я найду управу на этого Гилберта,—крикнул я.— Я кое-что про него знаю. Одно мое слово Маку, и уж тот его урезонит.

— Вот как?—спрашивает Роза.— Но это ничего не изменит. Гилберт всякий раз верно предсказывает.

— Но это—простите!—это ребячество—верить в такое!

— Нет, он верно предсказывает. И сегодня, может статься, он верно предсказал. Бог его знает. Боже ты мой, что же будет с нами со всеми! А я еще и...

Она снова встала, подняла, заломила руки. Я видел ее смятение, и при последних ее словах я подумал: она уже два месяца замужем, ей, может быть, вредно так волноваться.

— Успокойтесь же!—сказал я.— Вы ничего дурного не сделали.

Я увидел на дороге Хартвигсена и сделал знак Розе. Роза остановилась передо мною.

— Вы можете меня не просить о соблюдении тайны,—сказал я.

— О,—сказала она.— Не все ли равно. Я сама ему скажу. Но вас я должна поблагодарить за то, что вы поняли, отчего я ношусь с моими воспоминаниями.

Ничего я такого не понял, опять пошла женская болтовня. Напротив, первый муж должен был умереть для Розы, даже если он жив, вот мое мнение.

— Ну, а сами вы будете умницей, будете охотиться, обойдете всю округу,—сказала она.

— Да,—только и сказал я.

Вошел Хартвигсен.

— Добрые вести!—сказал он.— Суда уже в Бергене. Вот придут они сюда, в целости и сохранности, груженные нашим товаром, и страховые-то—мои.

— От всей души поздравляю!—сказал я, желая Хартвигсену всяческих благ.

Ободренный моими словами, Хартви́гсен прибавляет:
— Выходит, не только мой компаньон Мак соображает, как делать деньги.

XVII

Ну вот, и теперь я, в сущности, не знаю, что мне и думать. Роза выставила себя в новом свете после этих ее сантиментов по поводу покойного мужа, который ничего иного не стоит, кроме презрения. Я считал ее совершенно другим человеком. К тому же она так разоткровенничалась, столько наговорила лишнего, это она-то, всегда такая тонкая, сдержанная. Ведь я ей совсем чужой! Или она преувеличила мои чувства, сочла, что я просто гибну от любви? И она сказала, что я ребенок. Ребенок!

Проходит неделя-другая, я жду осени. Как-то баронесса мне говорит:

— Семь лет уже я не замечаю собственного сердца. Уж и не знаю даже, есть ли у меня оно!

И далее она распространяется о том, что сердце ее умерло, что в воскресенье она была в церкви и намерена постоянно туда ходить и водить с собой девочек. Опять, значит, в религию ударилась, подумал я.

Я написал Розе несколько слов и сунул письмо в карман. Настал вечер, стемнело, и я отправился к ней с этим письмом.

Но я совсем не подумал, что главное — передать письмо. Стоя перед дверью Розы, я вообразил было, что ничто не мешает мне сунуть его в щель. И даже уж чуть не сунул, но тотчас опомнился и снова спрятал письмо в карман.

Так же глупо вел я себя и на другой вечер. Я написал новое письмо, а старое сжег. Что я писал? Глупости, глупости, скоро я начну охотиться, я люблю вас! Ах, я был ребенок. Я все сокращал, сокращал, сокращал. На третий вечер я написал просто — Роза! И этого мне показалось совершенно достаточно. Я запечатал письмо, спрятал у себя на груди и лег спать.

Утром, когда я еще лежу в постели, в дверь стучат. Баронесса. Она ничего не видит, не слышит, она стоит на пороге, в мантильке и шляпе. Значит, она уже совершила утреннюю прогулку.

— Вы говорили ведь, у вас есть друг? — спрашивает она.

- О... Прошу прощения, я еще не... сейчас я встану.
- Не беспокойтесь! Сколько ему лет?
- Моему другу? Он на три года старше меня.
- Напишите, чтоб он приехал. Как его имя?
- Мункен Вендт.
- Напишите ему.

Я с ужасом обнаруживаю, что письмо мое к Розе лежит на полу, я стараюсь поскорей выпроводить баронессу и обещаю написать Мункену Вендту.

— Сию же минуту,— сказал я,— вот только встану.

— А не могли бы вы вскинуть ружье и выйти ему навстречу?— спросила она.

— Да! Это будет великолепно.

О, ничего, ничего тут не было великолепного, именно сейчас я ни за что не хотел удалиться от этого места, я к нему был как гвоздями прибит. Всего месяц какой-нибудь, и мне было бы легче, кто знает.

Баронесса спрашивает:

— Он студент?

— Да, Мункен Вендт студент.

— Так он может быть учителем Марты. Бенони тоже хочет нанять учителя,— говорит она и слегка кривит рот.

У меня обрывается сердце— Мункен Вендт в доме у Розы! Да он же... он же способен... он шальной, неумный, он просто черт!

Но разве мог я спорить с баронессой? Письмо мое лежало на полу, и было видно, кому оно адресовано. Но она, кажется, ничего не видела, не слышала, и я расхрабрился.

— Едва ли из Мункена Вендта выйдет учитель. Разрешите, вот я сейчас встану и...

— Я ухожу-ухожу, я сейчас уйду. Вы напишите письмо, Йенс-Детород отнесет его, он ждет внизу, он будет идти день и ночь. А потом вы сами отправитесь следом.

— Да,— сказал я.

— Встретите своего друга, приведете сюда. А там видно будет. Он может у вас погостить.

— Да, спасибо,— сказал я.

Глаза у нее стали осмысленные, словно вдруг воротились издалека, она оглядела комнату.

— А, рисунок Алины!— сказала она, с улыбкой глядя на стену. Меня она по-прежнему не замечала. Наконец она спросила:

— Так вы сегодня и отправитесь?

— Да, тотчас же!— ответил я.

— Тогда до свиданья. Простите!

Она ушла.

Я вскочил и сжег письмо, оделся и вышел. Было восемь часов. Баронесса ушла со двора. Мне нужно кое-куда зайти, известить, что я ухожу далеко, в леса, на север, но меня останавливает Йенс-Детород и спрашивает про письмо, которое ему велено отнести. О, от этого сутулого длинноногого существа невозможно отделаться, он исполняет веление своей госпожи. Я вернулся с ним к себе в комнату и написал письмо. Хотел было написать покороче и похолоднее, но — к чему строить кислую мину? От судьбы никуда не денешься, Йенс-Детород, этот раб баронессы, все равно приведет сюда Мункена Вендта живым или мертвым. Он не потерпит отказа точно так же, как не терпит он отказа, выпрашивая кости по чужим дворам.

Я пошел к Розе и сказал:

— Ну вот, просто я ухожу. Я пришел, чтобы вам это сказать.

— Когда? — спрашивает она. — Вы идете на охоту?

— Да. Я иду за учителем для Марты. Он будет жить здесь у вас, с вами под одной крышей.

— Не пойму... Он сюда придет?

— Я иду его встречать, чтобы он уж непременно пришел. Ну, что же вы? Рады?

Роза улыбается, слушая мои загадочные речи. Я чувствую, что лицо у меня искажается, у меня делается ужасное лицо.

— Не пойму, — говорит она снова. — Это Бенони сказал?

— Это сказала баронесса. Для Марты. Домашний учитель. Здесь у вас. Изо дня в день у вас.

— Да, я теперь припоминаю, Бенони говорил насчет учителя, — говорит Роза, чтобы показать свою осведомленность. — Но вам-то зачем беспокоиться — и что это с вами?

— О, вы сами увидите, вы влюбитесь в этого учителя. Он старше меня, он совсем не то, что я. Вы в него влюбитесь.

Тут Роза громко смеется, и мне обидно, что она так легкомысленна.

— Что тут смешного? — спрашиваю я.

Она отвечает серьезно:

— Никогда! Никогда — ни в него, ни в кого другого!

Я уже открыл дверь, но тут я вернулся и крепко, горячо пожал ей руку.

— Ну, прощайте, прощайте. Счастливой вам охоты! — сказала она.

— Нет, просто я хотел вас поблагодарить, — сказал я. И я ушел.

Роза пошла за мною, она испугалась, конечно, что подала мне надежду, ввела меня в заблуждение.

— За что вам меня благодарить? — спросила она.

— За то, что вы не спрашиваете, сколько ему лет, как его имя и каков он из себя.

Она покачала головой:

— Мне это знать не нужно. Мне никто не нужен.

Одного раза ей показалось недостаточно, нет, ей снова понадобилось это мне сообщить!

И вот я иду лесом на север, я иду, снаряженный так же, как весной, когда явился в Сирилунн, я будто снова прежний, и за плечом у меня мое ружье.

Осины роняют подпаленные осенью листья, шелест ссыпается со стволов, шелест, шелест по всему лесу. И ни единой птицы. С холма на холм перебегает тропа, гул впереди меня, справа гул — это море. Ни единой живой души, никого, ничего, только это протяженное кипение воздуха. Лес, по которому я иду, — девственный лес, он сам себя возрождает, поживет свое и умрет, и рождается вновь, тут и хвойный лес, и осина, рябина, и кругом можжевельник. Стоят огромные косматые ели, лежат огромные замшелые камни в неподступном покое. Пройдя так несколько часов, не встретив ничего живого, я принимаюсь ворочать камни, смотреть, не окажется ли там хоть червей. Я все больше успокаиваюсь, успокаиваюсь, и вот я уже думаю о том о сем.

«И зачем я, собственно, иду?» — думаю я. Баронессе, моей хозяйке, не терпится поглядеть на моего друга, проверить, похож он на Глана или нет, она даже вошла в сговор с Хартвигсеном, все премило обстрипано. До чего же эта баронесса вечно сама запутывает и портит свою жизнь! Никогда не увидишь ее за беседой с другою женщиной, и с отцом-то она обменивается только необходимыми фразами. За столом Мак благодарит ее, если она вдруг выкажет любезность и передаст ему хлеб, например, или он ее может спросить о девочках, а то все больше воспитанно молчит. Никогда не привлечет к себе дочь, не спросит: что с тобою, дитя мое, отчего ты так печальна? Нет, над этим домом в Сирилунне нависла какая-то тайна. И почему, например, две подруги, Роза и баронесса, совсем разошлись? Они больше не разгова-

ривают друг с дружкой, а ведь они не враги, просто их больше друг к дружке не тянет, что ли? Очень может быть.

Я иду, иду, под вечер я прихожу к землянке, где Йенс-Детород мне оставил еду, как было условлено. Я развожу огонь в очаге, поджариваю вареное мясо и напиваюсь воды из ручья. Потом я подбрасываю в огонь побольше хворосту, наламываю веток и устраиваюсь на недолгий ночлег.

Я просыпаюсь в темноте, мне холодно, я подбрасываю в огонь еще хворосту и опять засыпаю. И опять я просыпаюсь в темноте, но уже я чувствую себя свежим, выспавшимся, я поджариваю себе мяса, выхожу из землянки и жду. И вот позади, на востоке, занимается день, тьма редет, я снова начинаю мой путь на север.

Я иду уже два дня, а Мункена Вендта все нет, и снова я ночую в брошенной землянке. И еще день я иду, сколько уж пройдено миль, иногда с гор мне мелькает море, и то и дело я теперь вспугиваю птиц. Я приближаюсь к чужим волостям. И вот на тропе появляется Мункен Вендт. С ним Йенс-Детород.

И все забыто, мы, два друга, радуемся встрече. Мы отдыхаем немного, и о чем только мы не говорим, время летит, мы снова пускаемся в путь и все говорим, говорим. Мункен Вендт — совершенно тот же, он по-прежнему ходит в перчатках, хоть и не боится их снять, чтобы что-то сделать своими руками. У него окладистая борода, большие зрачки. Шаг его легок, упруг, то и дело он обгоняет нас, и при каждом шаге на штанах у него сияет прореха, он так обтрепался, бедняга. Жилета на нем просто нет. У Мункена Вендта ничего решительно нет на этом свете, в точности как у меня.

Но руки у него редкой красоты, и они встретятся с руками Розы!

Мы все меньше говорим, ведь мы идем гуськом по тропе, и переднему всякий раз приходится оборачиваться, чтобы сказать слово. И вот тут в Мункене Вендте просыпается охотник, и какой же острый у него глаз, какое чутье, в этом лесу, где я не встречал никакой живности, он за полчаса настрелял нам на обед куропадок. Потом уж, попозже, он рассказал мне о девушке, которая осталась у него дома, ее зовут Блосс, она не идет у него из головы. Я спросил его, хочет ли он быть учителем в одном доме, вот как я, и он ответил: «Нет». Он расхохотался звонким, заливистым смехом и сказал:

«Ты спятил! Мы оба отправимся странствовать!» Да я и сам увидел его нежность ко всему, что есть в лесу, увидел, что эти деревья, каждый можжевельниковый куст, скалы, камни — не просто скалы для него и деревья, и убедился, что затворническая жизнь в четырех стенах — вовсе не для него. То один, то другой камень вдруг особенно ему полюбиться, и не то чтобы на нем удобно было сидеть, нет, ему приятно было, что камень этот рядом, под боком, и он все смотрел на него ласково. А я не умею так смотреть на камни, видно, я им чужой, я человек комнатный, да, какой из меня охотник.

«Вот покажу я ему один камень, интересно, что он на это скажет», — думал я.

Так мы шли два дня и наконец поздно ночью подошли к Сирилунну. Тут я поблагодарил Йенса-Деторода за компанию и послал его вперед. Мункен Вендт пошел со мною к жене младшего мельника, она привела в божеский вид его платье. И тотчас я повел его в гору, к тому каменному идолу среди ивняка.

Мы на четвереньках пробрались к прудку, там царил тот же мир и покой, Мункен Вендт улегся. Ноздри его трепещут, он будто чувствует тут кого-то, кроме нас двоих.

— Мы тут одни? — спрашивает он.

Разумеется. Кому же тут еще быть. Я озираюсь в поисках того паучка, который плел тогда свою паутину, но и его нет.

— Как тут тихо! — говорит Мункен Вендт. — Знаешь, даже лучше, что нет паучка, он бы шумел.

Я смотрю на его белые, благородные запястья и прошу:

— Сними перчатки!

Он стягивает обе перчатки и хохочет.

И я перевожу его через прудок, показываю на идола и говорю:

— Вот камень, что ты о нем скажешь?

И Мункен Вендт преспокойно, голыми руками поднял идола с подпорок и принялся внимательно осматривать. А я отвернулся.

— Божок, — сказал он. — Я и прежде таких видел, маленький лопарский божок. Возьмем его с собой?

— Нет, — сказал я.

Он поставил божка на место, усмехнулся его неуклюжести, покачал головой.

— Каков он на ощупь? — спросил я. — Не было тебе противно?

— Нет. Отчего же противно?—спросил он и снова надел перчатки.— Впрочем, он сальный какой-то.

Мы снова отправились в путь. Йенс-Детород опередил нас уже на два часа, верно, он давно добрался до места. Сирилунн раскинулся перед нами со всеми своими строениями, а дальше виднелся дом Хартвигсена, пристань.

— Ох, какая тут красота!—говорит Мункен Вендт.

Он идет вольным, веселым шагом, точно на нем великолепный наряд, а не эти лохмотья, он в самом лучшем расположении духа, потому что дважды сегодня поел. «Это не часто мне удастся»,—говорит он с усмешкой. Впереди показывается женская фигура, она медленно подвигается к нам навстречу, она высокая, стройная, и Мункен Вендт два раза подряд кричит «Эй!», и уж потом только он узнает, что это баронесса.

— Это баронесса,—говорю я.—Она вышла нас встречать!

При окрике Мункена Вендта она останавливается, она смотрит на нас и ждет.

— А, это вы,—говорит она, когда мы уже стоим перед нею. Но она, разумеется, сказала это, только чтобы скрыть смущение, и улыбка у нее вышла какая-то кривая и деланная.

Мункен Вендт следом за мною сдернул с головы картуз.

— А я-то кричу «Эй, эй!»,—сказал он просто и улыбнулся.— Я же не знал, кто идет, вижу—идет такая высокая... такая стройная...

Ах, до чего же восхитительно сказал это Мункен Вендт, и он снова надел картуз. А баронесса съежилась, она вобрала голову в плечи под его взглядом.

— Я, собственно, иду дальше,—сказала она и кивнула.

Но она, разумеется, это сказала просто так, ей стыдно было признаться, что она вышла нас встречать.

И мы пошли в разные стороны. И Мункену Вендту это было решительно все равно. Впрочем, баронесса ему показалась старой и странной какой-то.

XVIII

Прошло несколько дней. Мункен Вендт весел, доволен, с ним носятся, баронесса в его присутствии расцветает, да, она даже помолодела и опять говорит бархатным голосом.

За столом эти двое ведут себя одинаково невозможно, как люди самого низкого общества, они кладут локти на стол. Едят они так, что жутко смотреть, откусят и снова мажут кусок маслом, а потом кладут масляный нож прямо на скатерть, а не к себе на тарелку. Баронесса, конечно, ведет себя так исключительно по своей неряшливости, а вовсе не для того, чтобы оскорбить наши представления о приличии. Мак учтив, снисходителен и делает вид, будто ничего не замечает.

Сегодня Мункен Вендт один отправился к пристани, меня с ним не было, и там ему встретилась баронесса и долго гуляла с ним вместе. А я гулял с девочками. У Мункена Вендта выступила на руках красная сыпь, в остальном же все у него хорошо, он ходит, высоко задрав голову, вечерами он поет у меня в комнате — видимо, от избытка чувств.

Я нарочно ухожу с девочками далеко, надо уйти далеко-далеко, думаю я. Мы возвращаемся через два часа, и баронессы с Мункеном Вендтом нигде не видно. Мы с девочками идем в комнаты. Я заглядываю в гостиную, там — никого, и я поднимаюсь к себе.

И тут я вижу в окно, как баронесса и Мункен Вендт выходят из дома Хартвигсена и Роза стоит на пороге. На Мункене Вендте шаль баронессы. Ах, ведь похолодало, я вижу, как она сама расправляет эту шаль у него на плечах, чтобы одинаково свисала спереди и сзади. Но уж, разумеется, она это делает под тем предлогом, что иначе бы шаль измялась.

Они расстанутся у нас во дворе, баронесса поднимается по лестнице, а Мункен Вендт, с шалью на плечах, напрямик отправляется в лавку.

Проходит час, я тоже иду в лавку и нахожу Мункена Вендта у винной стойки. Он нализался, пожалуй, сверх меры, но держится по-прежнему прямо, как башня. Я пытаюсь спасти баронессину шаль, которую он может испачкать, но он не отдает ее, он говорит:

— Оставь, от нее же тепло!

Ах, шалопай, он до упаду смешит обоих приказчиков, он не останавливается и перед богохульством. Вот человек! Он и прежде не щадил самого Господа Бога.

Наконец-то мне удастся увести его в мою комнату, там он засыпает и спит целый час мертвым сном. Проснувшись, он выпивает всю воду, что была у меня в кувшине, и снова на целый час засыпает. И вот он снова тот же, так же бодр и телом и душою, так же весел и мил. Ах,

что за немислимый человек мой добрый приятель Мункен Вендт!

Сыпь на руках у него стала хуже, пальцы распухли, тут и там взбухают волдыри. Он только смеется:

— Фу ты, черт!

А то сидит и недоуменно разглядывает свои руки.

И вот мы расположились с ним поболтать. Но все время я был рассеян, я отвечал только тогда, когда уж вовсе нельзя было не ответить. Вдруг я отдаю Мункену Вендту мою куртку, она ему маловата, но все лучше, чем ничего. И мы продолжаем болтать, и время идет.

— Что такое эта Роза? — спрашивает он.

— Не знаю, — отвечаю я. — Роза? Разумеется, она прекраснейший человек. И отчего ты спрашиваешь?

— А баронесса? Что такое баронесса? — спрашивает он вместо ответа. — Удивительная дама.

— Баронесса тоже, разумеется, чудесный человек, — отвечаю я. — Вдова, двое милых деток. Удивительная дама? О, я не знаю. Она такая неумная, она будоражит всех, она вмешивается во все, и здесь, у Хартвигсенов, вот и я, например, стал теперь как-то лихорадочно болтать, а ведь до ее приезда со мной такого не случалось. Она все горюет о лейтенанте, которого знала в юности.

— Она всех вас водит за нос, — сказал Мункен Вендт. — Как! Чтобы старая карга вами всеми помыкала! Я ей все прямо и высказал.

— Ей!

— Ну да. И что же она ответила? «Точно так же говорил доктор, который жил здесь когда-то». Вот что она ответила. «А он тоже был умный человек».

— И она не обиделась, не вспыхнула?

— Не знаю, — ответил Мункен Вендт. — Она меня до смерти заговорила. Я чуть с ума не сошел. «Я верю в безумство, в его необходимость, в его собственную уравновешивающую разумность», — это ее слова. «Хорошо, в таком случае надо пойти выпить», — ответил я и пошел в лавку.

И Мункен Вендт расхохотался, довольный своим остроумием.

Я спросил:

— А что Марта? Будешь ты ее учителем?

— Ну, чему бы я стал ее учить? — сказал он. — Ты сам знаешь, в чем я силен. Нет, никаким я не буду учителем. Я уйду туда, откуда пришел. Нет, долго я здесь не останусь.

— Нет-нет,— сказал я.

Я смотрел на его руки, они выглядели ужасно, пальцы стали совсем как сосиски. Он уже не мог надеть перчатки. И я подарил Мункену Вендту несколько своих рубашек. Он меня благодарит, я ударяюсь в слезы и за что-то прошу у него прощения.

Мункен Вендт удивленно смеется и спрашивает:

— За что ты у меня просишь прощения?

Но я ему не ответил, нет, я только сказал:

— Любовь так жестока...

Он смотрит на меня во все глаза:

— Уж не влюблен ли ты в эту... в эту старую... ну, не знаю, как назвать?

— Нет, в Розу,— ответил я.

Проходят дни, ночи, Мункен Вендт томится взаперти, ему бы пострелять на воле, но он не может из-за своих больных рук. У них с баронессой вышла ссора, они никак не могли прийти к согласию. Мункен Вендт даже срезал хороший хлыст и показал ей, как он вздует лопаря Гилберта. Это было в лесу, у мельницы. Я, затаив дыхание, слушаю его рассказ.

— Эта сумасшедшая, эта невозможная баба приходит и...! Наконец-то она разглядела мою сыпь, наконец-то до нее дошло, ее осенило, она спрашивает: «Но вы не были ведь у... вы не были у бога?»—«Бог?»—говорю я. «Ну да, у каменного бога?»—говорит она. «Как же,— отвечаю я.—Я там был».—«Несчастный!»—кричит она, и мы битый час толкуем на эту тему: я коснулся бога, бога лопаря Гилберта, а он священ, вот он за себя и отомстил. Я смеюсь, я ее и слушать не хочу, я довожу ее до белого каления, потом я срезаю ивовый прут поудобней, стою и помахиваю этим прутом. Я требую к себе лопаря, его зовут Гилберт, редкий негодяй, надо думать. «Подать мне его сюда!» Но она меня не слушает, она называет меня несчастным, она квохчет и причитает надо мной. «Каменный бог!—говорит она.—Значит, и вправду он может за себя отомстить! Нет, это не камень, ну какой это камень? Он же весь напитан святостью от молитв лопарей, которые поколение за поколением на него молились!»—говорит она. Но теперь моя очередь, я пробую свой хлыст, и он поет так чудесно! Пальцам моим, правда, мучительно больно, но я до того зол, что забываю про боль. «Лопаря мне сюда!»—говорю я. «Лопаря? она спрашивает.—Но он вам не поможет!»—«Ну хорошо же, я сам его найду!»—говорю я. Она отвечает: «Да

вы с ума сошли! Что вы такое задумали?» И она бежит за мною, цепляется за меня, хочет меня удержать. Сильная она женщина, ох какая сильная, ну, а я из-за этих моих рук совершеннейший инвалид. «Лопаря мне сюда, не то я сам его отыщу и хлыстом пригоню на ваш двор!» — говорю я. «Лопаря? Но на что вам лопарь?» — спрашивает она и дышит на меня как зверь. Я взмахиваю хлыстом, она так и взвизгивает, я говорю только: «Господь мне свидетель». — «Да на что вам этот лопарь, объяснитесь же наконец!» — кричит она. И я объясняю ей, что хочу вздуть лопаря Гилберта, о, я, разумеется, подстелю ему мягкого мха, когда его отделаю! Подлец обмазал своего идола ядом, чтобы наказать всякого, кто посмеет к нему прикоснуться! О, я себя знаю, я даже курткой своей накрою этого Гилберта, когда его отделаю, ведь ему долгонько придется отлеживаться! При этих моих словах баронесса меняется в лице, она задыхается, и такие глупые делаются у нее глаза. «Яд? — говорит она. — Он обмазал его ядом?» — «Да, ядом, ядом, — отвечаю я. — Он его обмазал смолой, а в смолу добавил бородавочника и ртути». — «Я пошлю за ним», — говорит она. И мы вместе выходим из лесу и направляемся к дому. Мне даже жаль, признаться, бедную дуру, она ведь верила всему, что плел ей этот лопарь. Она велела Йенс-Детороду день и ночь искать Гилберта, пока не найдет, и привести к ней. «Простите мне мою горячность!» — сказал я баронессе. «Да, вы ужасный человек», — сказала она. И мы помолчали оба. «Вы и в самом деле намерены отстегать лопаря?» — спросила она. «А как же!» — ответил я.

Я снова посмотрел на руки Мункена Вендта, волдыри кое-где полопались и кровоточили. Я знал, что у него ни шиллинга за душой, и потому отдал ему те два талера, что взял утром у Мака в счет жалованья, и опять я заплакал от тоски и печали. Я все думал и думал: да, как жестока любовь! Я опускаюсь, я делаюсь хуже и хуже, где моя прежняя гордость, где моя честь? Если я перед кем виноват, я не спешу ведь покаяться, и так проходит день за днем! Помилуй меня, Господи!

Но все же я решил воспользоваться случаем и подробнее переговорить с Мункеном Вендтом, но он так был занят своими отношениями с баронессой, что, кажется, вообразил, будто плачу я из-за нее.

— Ах, да полно тебе, ее и самое не мешало бы высечь, — сказал он.

За обедом баронесса впервые за долгое время сидела пристойно и вела себя как положено. Я думал: она хочет поставить на место Мункена Вендта, да только напрасно она старается, он ничего не заметит, не поймет, он верен себе! Но при нем оставалась его беззаботность и юный смех, сам Мак слушал его с удовольствием и улыбался его жизнерадостности. Мак тоже кое-что подарил ему из своего гардероба, и Мункен Вендт сердечно благодарил и остался совершенно доволен.

Потом баронесса принесла ему свинцовой воды для примочек на ночь.

Тотчас он встрепенулся.

— А где лопарь? — спросил он и вскочил.

— Лопарь? — спросила баронесса. — Его не нашли.

Она, верно, боялась, что он станет расспрашивать про лопаря, и я сказал несколько слов, чтобы уговорить Мункена Вендта.

— Он невозможен, ваш друг, — сказала мне баронесса и улыбнулась.

— Чем же я не хорош? — с усмешкой спросил Мункен Вендт. — Глядите, как дивно я выгляжу в одежде вашего родителя! Чем не хорош!

Он встал и направился к двери. Чужое платье, в самом деле, преобразило его, но, решительно лишенный тщеславия, он чувствовал себя в нем в точности так же, как в своих старых лохмотьях. — Позвольте мне потом перевязать вам руки на ночь, — сказала ему вслед баронесса. Сама доброта!

А вечером между ними опять разыгралась битва.

Мункен Вендт пришел ко мне в одиннадцать часов, когда все успокоилось в доме, и стал рассказывать. Руки у него были перевязаны, но бинты сбились, и он просил меня их поправить.

— Что же баронесса? Не могла тебя как следует перевязать? — спросил я.

Мункен Вендт напевает, будто он рад и доволен, но я-то вижу, что мысли его далеко.

— Ах, эти тонкие дамочки! Одно кривлянье и фокусы! Вхожу я к этой старой... к этой...

— К баронессе? — спрашиваю я. — В комнату?

— А что мне оставалось? Больше я нигде не мог ее отыскать, — ответил он. — Да и что такого? «Спуститесь в гостиную», — говорит она. «А чего я там не видел?» — я говорю. Ах, этим бы дамочкам только кривляться!

Пауза. Я смачиваю бинты свинцовой водой и перевязываю руки Мункену Вендту. А он стоит и болтает, болтает, он поносит баронессу. Верно, он решил попытаться с нею счастья, а ничего у него не вышло, и я так рад за баронессу, о, я же знаю, что вовсе она не такая, как изображает Мункен Вендт.

Он все болтает, болтает, и я хочу его выпроводить, но сна у него ни в одном глазу, он и не думает ложиться спать.

— Я завтра ее еще позлую, косо застегну жилет,— сказал он.— Одну петлю лишнюю сверху оставлю, одну пуговицу снизу. Вот так. И пусть обзывает меня невозможным! Ты, кажется, не веришь, что я могу с нею сделать все, что захочу? О, еще как!

— Ничего подобного! — сказал я.

— Еще как, еще как. Надо только, чтобы она перестала ломаться. Я долго у нее сидел. «Нет, не садись»,— сказала она. Тут я устроился поудобней. «Разве что на минутку»,— сказала она. А я ей в ответ: «Почему же?» Тут она взялась за колокольчик, но позвонить не позвонила. Потом надулась и пошла к двери, но открыть ее не открыла. И так все время—одна комедия.

— Ну, а потом? — спросил я.

— Потом! — передразнил он.— Да что я мог в этих своих бинтах? А все ее упрямство!

— А тебе не кажется, что завтра ты должен бы у нее попросить прощения? — выпалил я с жаром.— То ты хлыстом перед нею машешь, то и вовсе... а? Да что ты себе позволяешь, кто ты такой, ты что думаешь — она поломойка?

— Нет-нет,— ответил Мункен Вендт, присмирив.— Прощения попросить, говоришь? Может быть.

— И смотри же, утром, не откладывая.

— Нет, сегодня. Сейчас! — вдруг говорит Мункен Вендт.— Нет, знаешь, я должен это сделать сегодня. Да, конечно, сегодня. Ты прав, я ужасно себя вел, я не знаю обхождения с такими людьми, да и где бы я ему научился? Когда я ее поцеловал, она в кровь закусил губы, я даже испугался, она стоит, а кровь так и брызжет на меня, и рот у ней будто расцвел. И сейчас я пойду и попрошу у нее прощения. Разве тебе самому не кажется, что сделать это надо сейчас же?

— Нет,— сказал я.

Я нарочно держусь подальше от дома Розы, да, я сам себя обрек на тяжкое наказание. О, я его заслужил! Я поклялся сам себе, что вернусь к порядку и долгу и впредь уж не переступлю порога Розы с постыдными задними мыслями.

Я встретил Хартвигсена, он шел домой и пригласил меня с собой — я поблагодарил и отказался.

— Как насчет вашего друга, будет он учителем у меня в доме? — спросил он.

— А сами вы его спрашивали?

— Спрашивал. Нет, он не пожелал.

— Ну, а что говорит по этому поводу ваша супруга? — спрашиваю я.

— Моя супруга? — повторяет Хартвигсен, как будто хочет усвоить этот оборот. И в самом деле, впредь он говорит только «моя супруга, моя супруга», он больше не говорит «Роза». — Моя супруга ни о чем таком не помышляет. У ней теперь разные страхи, заботы на уме, — говорит Хартвигсен. — Все-все надо решать самому. Нет, моей супруге не до того.

— Я переговорю с Мункеном Вендтом, — сказал я.

Но Мункена Вендта не переубедить. Он не в шутку здесь истомился, его тянет домой. Я и радуюсь его решению, но мне и невыносимо грустно. Он все настаивает, чтобы и я ушел вместе с ним, я мучаюсь дни и ночи. Я только благодарю Бога, что язвы у него на руках почти совсем зажили.

Да, Мункен Вендт попросил прощения у баронессы, но после этого он еще больше затосковал, он ведь так постыдно ошибся, ему очень не по себе. Правда, он радуется, что руки у него теперь зажили и не подведут, когда он встретит лопаря Гилберта. Но лопаря Гилберта нет как нет, Йенс-Детород давным-давно вернулся ни с чем. О, тут, разумеется, не обошлось без баронессы, уж конечно, она посылала Йенса-Деторода вовсе не искать лопаря, а его остеречь. Она боится, что, если лопаря найдут и прижмут, он откроет все и выдаст ее самое! Несчастливая, потерянная баронесса Эдварда!

Однажды она вдруг меня спрашивает, скоро ли уедет Мункен Вендт. «Не знаю, — отвечаю я. — Он не хочет ехать без меня». На другой день она выказывает еще больше беспокойства, ей не терпится, чтобы Мункен Вендт уехал. «С ним просто сладу нет», — говорит она,

и хотя его поведение вполне дает ей повод его выгнать, об этом нет и помину. Воспитанная дама. А ведь она ходит в вечном страхе, что вот-вот объявится лопарь Гилберт и Мункен Вендт разделается с ним. «Ваш друг ни в чем удержу не знает,— сказала она.— Вечно от него ждешь беды!»— «Я поговорю с Мункеном Вендтом»,— сказал я.

И я поговорил с Мункеном Вендтом. Он выслушал меня с большой досадой и огорчился, что ему не придется наказать лопаря. Он объяснил, как намеревался он с ним разделаться. Я бы держал точило, а Мункен Вендт уж обточил бы до крови руки лопаря, а потом бы его заставил этими самыми руками полчаса целых шупать каменного бога, чтобы каменный бог всласть натешился его лаской. Я потом свободен, я могу идти на все четыре стороны. Но Мункен Вендт клятвенно обещал укрыть лопаря своей курткой, когда оставит его в ивняке.

— Баронесса не хочет, чтобы ты трогал лопаря,— только и отвечал я на все эти речи.

И вот однажды Мункен Вендт идет в лес и берет с собою топор. Я иду за ним следом, и скоро я слышу, как он рубит ивовые заросли. Он разбил бедного каменного бога, осколки побросал в прудок, теперь он валит ивняк и расчищает путь к священной роще. Вот так-то!

— Если и ты со мной, мы идем завтра утром!— сказал на возвратном пути Мункен Вендт.

— Я не могу,— сказал я.

— Ну, так я один уйду!

Мункен Вендт не скрывал, что наутро он собрался уйти, баронесса, кажется, радовалась, она провела вечер с нами и была сама любезность. И— о, загадочная женская душа! Теперь, когда Мункен Вендт нас покидал, ей ни в коем случае не хотелось, чтобы он унес впечатление о ней как о даме холодной и скучной, нет-нет, ни за что! Я думал: кажется, сейчас ее вовсе не тяготит странный, горящий взгляд Мункена Вендта.

Она выгибала руки над головой и выглядывала, как из-под арки. Юбка на ней уж до того была узкая, что словно приклеилась к бедрам. «Ай-ай!»— сказал Мункен Вендт. Баронесса назвала Финляндию местом своего рождения: там она занималась рождением своих многочисленных дочек и потому называет ее местом своего рождения! «Человека, которого я люблю, я бы до смерти измучила лаской»,— сказала она. «Ай-ай!»— сказал Мункен Вендт.

О, но я-то уверен, что все это она плела просто на радостях, что она спасена: Мункен Вендт разбил каменного бога, осколки побросал в прудок, он даже ивняк повалил. И вот теперь он уходит, уходит, она в жизни своей больше его не увидит. С ним столько хлопот, слава богу, что он наконец-то уходит!

Она потчует нас вином, приносит извинения за отца который, по занятости, не может провести с нами вечер. Мункену Вендту она набивает длинную трубку, а меня угощает печеньем, ведь я не курю.

— А теперь послушайте! — сказала баронесса и вынула из кармана листок бумаги. — Это финские стихи, я их перевела как умела. Они такие странные.

Да, странные это были стихи! И баронесса читала бархатным своим голосом, выделяя каждое слово, порой она почти пела:

«Все-все, что на свете, все-все...

Помоги, подними меня, помоги!

Весна так тиха, так тихо она затаилась в ночи, и ничего не готовит, не замышляет, только мне расставляет силки. Ах, она не крадется, нет, и не обрушивается весна, просто — вот ее не было, и вот уже здесь, и я во власти весны.

Вот что такое весна.

Все-все на свете, все-все!

Если б слезы мои могли веселить твое сердце, мой милый, далекий! Ведь ты подарил мне два мгновения счастья, когда я была молода! Все богатство ты расточил за три драгоценные слова! Но слез у меня уже нет. Помнишь, я тогда пришла к тебе, и поцеловала тебя, и хотела уйти? А ты оглянулся, ты долго-долго смотрел на меня, я ведь так любила тебя.

Вот что такое — я.

Топор — он нежен и добр, в нем нет яда. Топор не оружие для самоубийц, он не губит, он только целует. И топором поцелованный рот краснеет, и губы раскрываются от его поцелуя.

Вот что такое топор.

И сердце мое я отдаю топору.

Ах, но жизнь — вот она что такое:

Это вечное расставанье с тобой. Вот что такое жизнь. И ее не прожить никому, никому, разве найдется такой, кто зажжет в голове у себя свечечку глупости, чтобы ничего уже не понимать, кроме загадок. О, приди по

весне, великий возлюбленный мой, и возьми с собою топор! А я буду стоять под звездами, и я исцелю топор. Вот что такое жизнь».

Пока баронесса читала, она все больше краснела и сбивалась на пение. Она протянула листок Мункену Вендту. Он сказал:

— Фокусы и вздор один!

И листок переключал ко мне.

Баронесса совсем смешалась и потерялась от слов Мункена Вендта, словно чтение ее было каким-то ужасным промахом, а может быть, ей стыдно стало, что она так выпевала иные слова?

— Поблагодарите же меня за декламацию! — сказала она, чтобы как-то спасти положение. И оба мы ее поблагодарили.

— Может быть, его лучше исполнять под музыку? — сказал я.

— Вот-вот! — тотчас подхватил Мункен Вендт. — Ведь эдак еще хуже будет. Эдак и моя Блисс вам его пропоет, ха-ха-ха!

Но раз уж Мункен Вендт собирался в путь, баронесса первейшим своим долгом считала его ублажать, и она подлила ему вина.

— Смотритель маяка как-то рассказывал мне о странах, где производят вино. Только вот из паломничества нашего ничего не вышло, а то бы мы сами там побывали.

Мункен Вендт ответил:

— Но и здесь неплохо, сосны, скалы, северное сияние. Есть у меня дома одна нора — вот где хорошо!

Видно, Мункена Вендта уже разобрало вино, он одушевился, расчувствовался, и лицо у него было такое доброе, прекрасное, и он даже несколько задышался.

— Да, но зимой у нас снег, вот что плохо. И воды все замерзают, у-у! А в других странах солнце и дождь, дождь и солнце, так говорит смотритель. И люди все в шелках, девушки в юбках и блузах.

— Ай-ай, — сказал Мункен Вендт.

Скоро он осушает свой стакан, благодарит и выходит из комнаты. Вечер, в лавке уже тушат свет, окошко внизу, где винная стойка, еще тускло светится, но вот и оно гаснет.

Мункен Вендт приходит ко мне в комнату, он заходил в лавку и еще подкрепился, он в страшном возбуждении.

— Ну, зачем ты это? — говорю я ему.

— Помалкивай, — отвечает он. — Ты, как красная девица, себя блюдешь, а в результате у тебя прыщи по физиономии. Ты их смажешь, тебе полегчает, а рядом другие прыщи выскакивают, и снова тебе их смазывать. Смиренник.

— Иди, ложись спать, завтра тебе отправляться, — сказал я на это.

Мункен Вендт ответил:

— Никуда я не отправляюсь. А права, видно, баронесса. Ты и не мужчина вовсе. На фортепиано играет, ну, совершенная барышня, так она говорит.

Слова его больно задели меня. Я столько сил положил на то, чтобы научиться фортепианной игре, а теперь выходило, что и это не к чести моей, а, наоборот, к посрамлению даже. Да, да, я способненький, тихий, благовоспитанный мальчик, таким меня создало Провидение, а Мункен Вендт — он мужчина.

— Значит, ты не уходишь завтра? — спросил я.

— Нет. И послезавтра не уйду. Нет, видишь ли, уж я подожду лопаря. Вдобавок она сейчас, на лестнице, мне сказала, что я сегодня был такой красивый, у меня так горели глаза, ха-ха-ха!

— Кто это сказал?

— Кто? Баронесса!

— Ну, а ты? Что ты сказал?

— Я-то? Я сказал: «Ай-ай». Ты лучше спроси, что я сделал! Постой, сколько я тут у тебя пробыл, а?

— С четверть часа, — сказал я. — Даже меньше.

— Ну, я пошел, — сказал он.

О, верно, это неспроста он спросил у меня о времени. Я слышал, как он тихонько спускался по лестнице. Я не лег спать, нет, я даже, напротив, потеплее оделся и хотел уже выйти, но тут возвращается Мункен Вендт.

— Ну, что я говорил про этих благородных дамочек? Одна комедия! — выпалил он в раздражении. — Молчи, тебе говорят. Я имел право поступить так, как поступил. Но ведь все комедия, одна комедия! Тьфу ты, черт! Тыходишь?

— Да.

— Да! Он думает, ему прогулки помогут! Мажь свои прыщики, мажь. А когда выскочат новые...

Я рывком открываю дверь, распахиваю настежь. Мункен Вендт смотрит на меня, и хоть он готов был расхохотаться мне в лицо и уже уселся на стул, он вдруг делается серьезен и говорит:

— Да, правда твоя. Пойду-ка я лягу. Но вообрази — дверь была заперта.

— Если она и пообещала тебе оставить ее открытой, так только чтоб от тебя отделаться, — сказал я. — Ты просто зверь!

Мункен Вендт раздумывает над моими словами.

— Ты полагаешь? Но она разрешила мне ее поцеловать! Ну, все равно что разрешила. Тоже, по-твоему, чтоб от меня отделаться?

— Да..

— Что ж. Очень может быть. Я в таких людях не разбираюсь. Пойду-ка я лягу.

Я спустился к пристани. Я поглядел на светящиеся окна у Хартвигсена, но прошел мимо. На возвратном пути я ненадолго остановился, я стоял и смотрел на звезды, как раз у поворота к Хартвигсену. Но я и шагу в ту сторону не ступил, нет, просто я стоял и смотрел на звезды.

XX

Мункен Вендт отбыл.

Я уж начинал было думать, что он согласится стать учителем Марты. Но проходил день за днем, а он отказывался стать учителем. Он и над моей-то должностью все подтрунивал и спрашивал, зачем я пожаловал в эти края. «Чтобы встретить свою судьбу», — отвечал я. Баронесса только головой качала на то, что друг мой так у нас засиделся, о, впрочем, она даже мне за него выговаривала.

— Но у него есть прекрасные качества, — сказал я.

— Нет. Ах, возможно, они и есть у него, — ответила она. — Но он такой безбожник. Если бы только я могла понять! Ходить по лесам и полям — и не веровать в Бога!

— Да, он не верует в Бога.

— Да. И я при нем становлюсь до того легкомысленной! Я жалею потом обо всем, что скажу или сделаю. Нет, ему надо уйти. И это вечное его «ай-ай»! Ну зачем он так? Напрасно он это. О Господи, я не скрываю, что я... что он... я ничего не скрываю, его внешность, эта окладистая борода... Но ведь небо и земля — такая разница! Ходить по лесам и полям с эдакими понятиями!

Потом я узнал, что баронесса переговорила с отцом. И все решилось. Мак тихо и спокойно сказал свое слово и поклонился Мункену Вендту.

И Мункен Вендт пришел ко мне, снова дивился правам тонких господ и объявил, что отбывает. Лопаря до времени придется оставить.

— Ну, а ты когда же? — спросил он.

— Потом, — сказал я. — Скоро. Я пока не совсем готов. Ты меня жди.

И Мункен Вендт ушел.

Наступила уж совсем поздняя осень, сэр Хью Тревилян покончил с рыбной ловлей в соседнем приходе и явился в Сирилунн ожидать почтового парохода. Несколько дней провел он в доме у Мака и не разговаривал, а все лежал в своей комнате и безбожно пил. После прошлого визита в Сирилунн он продержался два месяца почти в полной трезвости, а теперь вот опять доставлял себе удовольствие, одну за другой осушая бутылки коньяка. Баронесса весьма ему сочувствовала, ежедневно о нем спрашивалась, а потом стала собственноручно носить подносы с едою и кофе в комнату к сэру Хью. Эти новые заботы очень ее отвлекали, всегдашняя грусть и беспокойство покинули ее. Долгими часами беседовала она с сэром Хью, покоившимся в постели, и под конец добилась того даже, что он начал ей отвечать, да, он стал поддерживать беседу, как порядочный человек. Он рассказал ей о серебряных копиях, которые он откупил у Хартвигсена, конечно, он заплатил ему кучу денег, но это пустяки, там упрятаны баснословные богатства. А тут на севере у него сын, тоже Хью, и он-то и есть подлинный владелец копий, они записаны на его имя. Горы пусть себе стоят, они только растут и растут в цене, и все достанется мальчику! Сэр Хью не угаил, что ребенок живет со своей матерью Эдвардой в Торпельвикене. Сейчас он решил построить для них на горе дом. Недурно? Дом на серебре! Сэр Хью нашел эти богатства, это единственная в его жизни гениальная коммерция, — найти такие богатства здесь, на севере Норвегии! Пусть-ка прочие иные попробуют! — сказал он. Баронесса не уставала его слушать и исцелила-таки больного, он даже поднялся с постели и оделся.

На другой день пришел почтовый пароход и сэр Хью отбыл.

Кажется, баронессе крепко запал в душу высокородный англичанин. Он, правда, не был охотник, но зато он был рыболов и странная одинокая душа, как и План. Она уверяла, что сэр Хью и не пьяница вовсе, а пьет он так оттого, что скучает и хочет переменить свою жизнь. На родине, в Англии, у него множество замков.

Уже повеяло зимою, вот-вот из Бергена воротятся суда. Хартвигсен не нарадуется на тихую погоду, все идет хорошо, страховые—у него в кармане. Ах, да разве о деньгах об этих он думает, нет, но ему лестно на глазах у Мака обделать выгодное дельце. Впрочем, это и не дельце даже, а игра фортуны, лотерея.

И вот большое новое судно Свена-Сторожа, рассекая волны, вошло в бухту на всех парусах. Мы все стояли у сарая Хартвигсена и смотрели. И Свен-Сторож, не приспуская парусов, повернулся по ветру и бросил якорь. И команда бросилась по вантам и реям убирать снасти. Спокойно, грузно, под тяжестью товаров, оседало судно в воде.

— Я бы и сам не мог лучше пристать,— сказал Хартвигсен.

Роза тоже была с нами. Она была такая же, как всегда, только куталась в большую шаль по причине своего положения. Она была тихая, светлая, в ней предчувствовалась уже будущая мать. Она протянула мне руку и не просто пожала, нет, она надолго задержала свою руку в моей руке. О Господи, во всем-то, во всем она была глубже и тоньше других. А я? Чем мог я ее отблагодарить? Я только встал таким образом, чтобы ее защитить от ветра.

— Давно мы вас не видели, не зайдете ли как-нибудь поиграть?— сказала она.

— Я теперь не играю больше,— ответил я.

Она, я думаю, поняла, что у меня были свои причины так ответить, и не стала спрашивать. Зато я заметил, что она понемножку обходит меня, защищая меня от ветра, так как я был совсем легко одет, но этого я не мог допустить. Вот уже полжизни почти прошло, а мне все никак не забыть: она передвинется, я ее обойду, и снова, и снова, и нам приходилось все выше взбираться в гору, и мы отделились несколько от других.

— Как поживаете?— спросила она.

— Хорошо, благодарю вас. А вы?

— О, благодарю вас, грех жаловаться. Скучно, правда, немного. Бенони вечно дома нет.

Я подумал: раньше она, кажется, мало печалилась, если ее мужа не было дома. Не то теперь. И я порадовался за них обоих, что жизнь у них, верно, наладилась. Стало быть, грех жаловаться.

— Бенони с утра до вечера нет,— продолжала она.— Он удивительный человек. Я прежде не понимала, а теперь вижу. Всем-то он нужен, всем помогает.

— Да, это правда, он всем помогает.

— Только бы оставили нас в покое! Я иной раз так боюсь, дня не проходит, чтобы я не боялась.

— Малене получила новое письмо?

— Нет. Но что толку? Откуда-то ведь получила же она первое? Я теперь все рассказала Бенони, и он со мной обошелся как родной отец. Мне так хорошо, что лучше и пожелать нельзя.

Хартвигсен кричит судам:

— Приветствую вас в родной гавани! А где остальные?

Мы с Розой стоим высоко на горе, мы слышим ответ Свена-Сторожа:

— Шхуна от нас всего на несколько миль отстает. А вот «Фунтус» был еще не готов, когда мы отправлялись.

— Ничего, никуда не денутся!—говорит Хартвигсен и кивает нам.— Дамский пол на борту! Всего-то делов! Ничего! Уж поверьте моему убеждению. Эй, чего вы там дрогнете?—кричит он нам с Розой.

— Сам чего дрогнешь?—отвечает Роза.— Я в пальто и в шали, а ты в одной куртке!

Хартвигсен расцветает от этой заботливости, он даже расстегивает свою куртку и кричит:

— Это я-то дрогну!

Он поднялся к нам и сказал:

— Шли бы вы лучше домой, а? Моей супруге вредно стоять на холоду.

— Прощу тебя, застегни куртку!—говорит Роза, и она застегивает ему куртку своими руками.

Меня как ужалила тоска при виде этих нежностей, милые руки проворно справлялись с пуговицами, Хартвигсен стоял довольный и важный.

— Вот, никогда не женитесь!—сказал он шутливо.— Покоя не будете знать. Она думает— я дрогну. Шли бы вы домой оба-два, я уже приду.

Я извинился и отказался, я сам почувствовал, что изменился в лице.

— Ему нужно домой,—сказала Роза. Верно, она это сказала, чтобы меня выручить.

— Да,—ответил я и откланялся.

На прощанье Роза спросила:

— Что Эдварда? Кланяйтесь ей от меня!

Три дня спустя шхуна вошла в залив. А галеаса все не было видно. Хартвигсен меж тем безмятежно поговари-

вал, что все идет как по маслу. В бухте кипела жизнь, лодки шныряли от берега и обратно, разгружали суда, а на суше обе сирилуннские лошади развозили товар по сараям и складам.

Так шел день за днем.

У нас с девочками начались занятия. Старшую я засадил за чтение букв, а младшая должна была вытвердить алфавит. Но маленькая Тонна успела его уже выучить под руководством старшей сестрицы, и я не знал, что еще для нее придумать. Если бы не игры с детьми и не моя живопись, уж и не знаю, что бы я делал. Разумеется, я рассказывал девочкам сказки про птиц, про кукол, про деревья в лесу. Кое-какие сказки я сам сочинял. И когда меня просили что-нибудь повторить, я вечно сбивался, к вящему восторгу маленьких слушательниц, тотчас исправлявших мои промахи. Так и нейдут у меня из памяти те милые, благословенные дни. Бывало, рассказываю я им эти сказки, а обе слушают, сидя у меня на коленях.

Дни уже стоят сплошь ненастные, и черные ночи, сигналы почтового парохода отдаются в Сирилунне как волчий вой. От всего этого как-то тяжело и жутко на душе. «В море теперь — страсть!» — говорят в народе. Но Хартвигсен покуда не тревожится о своем галеасе. «Это ничего, ничего, что там Брамапутра на борту. Может, ветра им нет попутного». Однажды вечером хоть и хлещет злой ветер, но ясное небо сияет всеми звездами, и я снова спускаюсь к пристани: там, с поворота к Хартвигсену хорошо глядеть на звезды. Молоденький месяц почти не дает света, а Млечный Путь зато раскинул по небу блистающий шлейф.

Я стою на повороте, Хартвигсен меня замечает с крыльца, он кричит, чтобы я зашел. Мне неловко, что меня застукали так близко от дома, но я сразу к нему иду. Хартвигсен весел и доволен. «Уж нынче-то ночью «Фунтус» так и погонит к северу, — говорит он. — Экая ясная ночь — и ветер-то, а?»

Идя по коридору, я услышал, как шуршит платье: верно, Роза укладывается спать, подумал я.

Хартвигсен показывает мне диковины, какие купил ему в Бергене Свен-Сторож: водолазный костюм и еврейскую библию. Ах, он сущий ребенок, и какая редкая смесь крестьянской сметки и простодушия! Он демонстрирует мне свою обнову словно драгоценность и редкость и проверяет, достаточно ли я преклоняюсь перед ним.

— Не у каждого в доме такая одежка сыщется! — говорит он. — Пляньте только на голову на эту! Прямо оторопь берет! Вы думаете небось, мне от страха в него и не влезть? А? Да я его в первый же день надевал, а Свен-Сторож воздух накачивал.

— В нем, верно, не очень удобно ходить? — спрашиваю я.

— Не попляшешь, это нет. Ха-ха-ха, да и кабы я в эдаком наряде на танцы явился, все бы небось разбежались от Хартвича.

Но его внимание уже переключилось на еврейскую библию.

— Ну-ну, водолазный костюм со всеми причиндалами пусть себе тут повисит. Скоро тут от пола до потолка будет разного добра понавалено. А вот что вы скажете по поводу этой штуковины?

Библия была подержанная. Хартвигсен объяснил, что новой не достали.

— Их, говорят, уж и не печатают, вот как Лютер тогда отпечатал в Виттенберге, — сказал он. — Жалко, моя супруга уже легла, а то бы вы, может, нам почитали?

Я почитал немного, что сумел разобрать, и Хартвигсен шумно восторгался моей премудростью. Он достал из буфета вино и снова выразил сожаление, что его супруга ушла спать. Я сидел с ним долго, время текло, и я не жалел, что с нами нет Розы, я мог не бояться за себя, и все-таки я сидел у нее в доме.

Когда я вышел от Хартвигсена, все затянуло тучами, ни одной звезды не было в небе. С моря неся тяжкий гул. Мне в лицо ударили снежные хлопья.

XXI

Ночью галеас «Фунтус» погиб во фьорде. Это было так странно, да, словно злая ворожба. Дело шло уже к утру, и тут начался снегопад, ненадолго, потом сразу опять прояснело. Но шквал был ужасный. Смотритель видел с башни конец катастрофы, все почти спаслись на двух шлюпках, но и шкипер Уле-Мужик, и жена его — оба погибли. И смотритель цинически заключал свой рассказ:

— Да-да, Брамапутра всегда была весела и общительна, вот и погибла среди разной морской живности.

Все это просто не укладывалось в голове. Уму непостижимо. Подводный риф? Да, в самом деле, длинная

банка, гребень. Но зачем понадобилось галеасу так далеко забирать на север? Все всегда идут к востоку от маяка. И «Фунтус», морской великан «Фунтус» несколько минут трепетал на рифе, потом скользнул назад, наполнился водой и канул в пучину.

Когда он был у самой цели, да, почти уже дома!

Хартвигсен сперва был сам не свой: как же, погибли двое служивших ему людей, он потерял судно и груз! Нет, это какие-то злые силы ему строили ковы, мстили ему нарочно за его деловитость и предприимчивость! Тьфу ты, черт! И что понесло галеас туда, к западу от маяка? Густой снег? Но нет, он валил же с просветами, маяк был виден час целый до самого крушения, то и дело совсем прояснялось!

Хартвигсен ломает себе голову над этой загадкой, приступается с нею ко мне, он ругается на чем свет стоит. «Нет, видно, Уле-Мужик тут чего-то не сообразил,— говорит он.— И на кой черт ему понадобился дамский пол на борту!» Хартвигсен винит во всем то шкипера, то Брамапутру.

Пока мы так стоим на дороге, подходит Свен-Сторож и рассказывает, как Уле-Мужик сам говорил ему в Бергене, что «Фунтус» по дороге домой должен пройти к западу от маяка, потому что потом он станет в дальней бухте на дрейфе.

— Кто приказал?

— Сам Мак.

Снова Хартвигсен ломает себе голову, он смотрит на дорогу, на нас, он мучительно думает. Он не очень-то доволен тем, что Мак отдал такое распоряжение за его спиной.

— Идемте все к моему компаньону!— говорит он нам.

Мы застаем Мака в лавке. Хартвигсен выпячивает грудь и гордо, торжественно начинает:

— Слышу я, вы приказали вести «Фунтус» на запад от маяка и там стать на стоянку?

— Да, в дальней бухте, на дрейф.

— А я-то думал, все эти дела теперь моя забота!

Мак вытащил свой батистовый носовой платок и сказал:

— Я хотел как лучше, милый Хартвич.

— А, да черта ль мне в том, что вы хотели.

Мак смотрит на него добрым, сочувственным взглядом.

— Во-первых, вы держите галеас в Бергене до самой до зимы,— продолжает Хартвигсен,— зачем это, а? А потом, уж грузонный, он невесть куда должен идти в бурю и темь! А если Уле-Мужик даже не знал про риф?

— Про него каждый ребенок знает. Но случаю было угодно, чтобы начался снегопад.

— Да-да, у вас на все скорый ответ. А я вот потерял груз и судно! Это не шутка.

— Кто спорит. И я искренне о том сожалею,— отвечает Мак.— Тебе не повезло с твоей операцией. Я вот тоже все эти годы мог бы страховаться сам у себя. Однако я ни разу не пошел на такой риск.

Хартвигсен не сдается:

— Все бы шло своим чередом, если б не это ваше распоряжение. Вот я вас, к примеру, спрошу. Касаемо груза на моем галеасе. Ну, приди он в целости и сохранности и стань в эдакой дали, да это же нашим лошадам за всю зиму не справиться. Аж подумать страшно. А тут мы бы вмиг его разгрузили, как прочие все суда.

Но Мак с величайшим расположением и сочувствием смотрел на своего обиженного компаньона. Да, у него на все был скорый ответ, даже слишком скорый ответ, и, кажется, он вовсе не хотел оскорбить Хартвигсена своей улыбкой:

— Кое в чем ты прав, Хартвич. Но ты решительно сбрасываешь со счетов интересы наших друзей, купцов в отдаленных краях. Все товары на «Фунтусе» назначались им. Став в дальней бухте, «Фунтус» избавил бы наших клиентов от трудного обходного пути до нашей пристани. Я им это обещал, и они наши добрые клиенты круглый год, Хартвич. «Фунтус» вез соль и муку, щепильный и бакалейный товар на всю округу.

Пауза.

— Полагаю, не будь всех этих обстоятельств,— продолжал Мак,— у тебя были бы все основания для неудовольствия. А так я не вижу за собой никакой вины.

— Ни-ни!— сказал Хартвигсен и закусил губу.— Ну, а насчет того, чтоб «Фунтус» торчал в Бергене аж после равноденствия— это и не ваш был вовсе приказ, а?

— Мой. Но я сам ждал заказов с дальних бухт. Сам посуди, как я мог выслать список, не дождавшись заказов?

— Шхуна небось не торчала в Бергене.

— Будто и с нею не могло приключиться беды!— ответил Мак.— Я, собственно, хочу только сказать, что никакой вины я за собою не чувствую.

Мак оправил на себе сюртук и застегнулся. И с видом непонятого и оскорбленного достоинства он двинулся к двери конторы, оставя своего компаньона.

Через несколько дней непогода улеглась, и Хартвигсен, взяв себе подмогу, отправился к рифу посмотреть, не всплыло ли что из груза. Но нет, ничего не всплыло. Не всплыли и трупы. Но на этот счет один человек, спасшийся с «Фунтуса», рассказывал темную историю: будто бы Брамапутру и можно было спасти, но муж ее, Уле-Мужик, притянул ее к себе и увлек за собой в пучину. Все это тому человеку удалось разглядеть среди смятения и ада. И Брамапутра выла, и глаза у нее выскочили из орбит. Я спросил: «Что, шкипер с женой на борту не ладили?» — «Еще как, — отвечал он. — Брамапутра ведь была безотказная душа, и шкипер день и ночь должен был за нею приглядывать. Совсем не высыпался. Уж мы ему и кричим про риф, а он одно на него ломит. Глаза ему заволокло, что ли».

«Так, может быть, Уле-Мужик нарочно повел «Фунтус» прямо на риф», — подумал я. Как жестока любовь.

Дни шли, и Хартвигсен постепенно успокоился и оправился после своей потери. О, это уж третий его значительный убыток только за то время, что я в Сирилунне, Бог его знает, много ли подобных ударов может вынести человек! Но, верно, Хартвигсен сказочно богат, денег у него, верно, куры не клюют. Он уже говорит о страховке и о крушении с совершенным спокойствием. Хорошо еще, что потеря выпала тому, кому она по плечу, — так он выразился. Он даже еще больше теперь хорохорится и поговаривает о том, не купить ли ему вместо «Фунтуса» пароход. Но к Маку он, кажется, несколько утратил доверие. Тогда, в лавке, он, конечно, скрепился, не вышел из рамок благоприличия. Но компаньона своего он теперь, кажется, раскусил. Это почему же именно нынче понадобилось гнать «Фунтус» со всем грузом в дальнюю бухту? А как же прошлые-то годы? О, тут непременно крылось что-то.

Багеты доставлены.

— Не подсобите ли вы мне со всеми моими картинами? — спрашивает меня Хартвигсен.

Тут же он вспоминает про картину, которую я преподнес Розе, и желает мне за нее заплатить, да, он желает по-царски со мной расплатиться. Когда я отклоняю его предложение, он одобрительно смотрит на меня и обещает, что где я ее повешу, там и будет она висеть во веки веков. Его супруге очень нравится эта картина.

В те дни, когда я прилаживаю рамы к картинам Хартвигсена, я то и дело застаю Розу одну или с Мартой. Роза теперь сама обучает девочку, и у нее к этому оказались удивительные способности. Старая Малене опять получила сто талеров и опять без всякого письма. Все это так таинственно, рассказать — не поверят, но лопарь Гилберт побывал у Розы и ее оповестил. Роза сама пошла к старой Малене и своими глазами видела деньги и конверт.

Роза говорит:

— Почерк не Николая. Но деньги от него.

— Да-да,— говорю я.

— Да, но Бенони говорит, он умер! — кричит она. — И я у Мака была, и Мак говорит, он умер.

— Зачем принимать это так близко к сердцу, — пытаюсь я сгладить противоречие. — Все равно он сюда не явится.

— Ах, это так ужасно, — отвечает она. — Не надо было разводиться, никогда не надо разводиться. И он, может быть, жив.

Мне стало невольно от ее тоскливых воспоминаний, к тому же я ревновал ее к этому вечному Николаю, и я сказал:

— Да, и он, конечно, вернется, ждите!

Роза бросила на меня быстрый взгляд.

— Бог вас простит, — сказала она.

Я не собирался брать свои слова обратно, нет, я и замазывать-то их не хотел, ничего я ей не сказал такого страшного, и у меня была своя боль, своя мука, а она — хоть когда-нибудь она об этом подумала? Нет, никогда.

— Вы, может быть, не поняли, — сказала она. — Это так странно все. Поверьте, не так уж приятно — приноравливаться ко всем, и раз у меня уже был муж... Я не то что хочу, чтобы он вернулся... И как мне теперь быть с Бенони! Николая я помню с юности. Он был такой смешливый, веселый, я многое помню из того времени, когда он был в меня влюблен. А теперь — что мне вспомнить? Нечего. Разве что больше стало еды каждый день, но на что мне еда? Решительно нечего вспомнить. А про Николая я многое помню. Вот вы его не видели, а какой у него был красивый рот. А когда он стал лысеть, уж чего я не перепробовала, и, представьте, волос у него прибавилось, но это ему как-то не шло, я и перестала. Но и без волос он был хорош, у него был такой чистый, такой прекрасный лоб. Ах, и зачем я сижу и все это вам

рассказываю, сама не знаю, нет, это ни к чему. А про Бенони мне нечего рассказать.

— Мне казалось, у вас с мужем все теперь хорошо,— сказал я.

— Вы хотите сказать — с Бенони? Да. Но не так уж мне и хорошо, когда я ему подаю еду, а сама думаю, что тому, другому есть нечего. Стыдно такое говорить, но нет, никогда, никогда нельзя разводиться и нельзя снова замуж идти, ничего из этого не может выйти хорошего.

— Ах! — вздохнул я и поморщился.

— И это вы, вы... вы же всегда так страдаете, когда видите, что я мучаюсь,— это ведь ваши слова, это сами вы мне говорили! — произнесла она в крайнем изумлении.

— Ну да. Говорил и скажу. Но зачем носиться с воспоминаниями и растравлять свои раны.

— Но меня обманули, мне сказали, что он умер! — кричит она. — И я снова вышла замуж.

Опять я вздыхаю, еще больше морщусь и наконец говорю, чтобы ей отплатить:

— И это вы, вы, всегда такая сдержанная! Никогда не пускались вы в подобные излияния!

Я попал в точку, я видел, как ей больно.

— Да, я сама не знаю, что со мною делается,— сказала она, — верно, эти будни, они...

— И что же такое эти будни? Извинение всегда сыщется. У меня, к примеру, то извинение, что я в свое время оказался ребенком.

И опять я попал в точку.

Но довольно, я не желал более быть ее доверенным лицом, ее наперсником, и я взял и ушел. И что все они вообразили? То баронесса заявляется ко мне в комнату, когда я еще не вставал с постели, и разглядывает мои стены, а меня самого не видит. О, я не забыл. То Роза меня называет ребенком. Мне ставят в вину, что я был прилежен в школьные годы и многому научился. Я рисую лучше многих живописцев, а пишу я лучше всех рисовальщиков, сам Тидеман — Тидеман был у нас дома, разглядывал мои рисунки и кивал головой. Мне тогда было девятнадцать лет. Ну да, я выучился игре на фортепиано, что твоя барышня. Но все ли и барышни выучились, баронесса вот не выучилась, а я выучился. Да что, в самом деле, за варварство!

Я чувствовал себя до того оскорбленным, непризнанным, ах, я тогда еще не научился смирению. Теперь-то

я вижу, что был всего лишь старательным, безвредным юнцом с умственным багажом конторщика, теперь-то я вижу. Но тогда я никак не желал признать свое поражение, нет, просто надо было, верно, иначе себя вести. Долго ходил я и все себя спрашивал: а что сделал бы на моем месте Мункен Вендт? О, Мункен Вендт — молодец, он беспечная душа, он сказал бы: все комедия, одни фокусы, нет, мне подайте любовь! Уж он бы нашел ночью другое занятие, чем стоять и любоваться на звезды.

Да и сам я, признаться, сыт этим по горло.

XXII

Морозов все нет, снег выпадает и ложится на мягкую землю. Но снегу навалило — тьма. Работники с ног сбились, прокладывая санный путь к лесу и к мельнице, по ночам уже подмораживает, завтра можно будет этот путь обновить.

Я встречаю Крючочника, ему-то снег ни к чему, теперь придется сушить перину Мака тайком в пивоварне. Кончились его вольные деньки. Да и сожитель ему надоел, старый Фредрик Менза, — все лежит, не встает, а помереть — не помирает, ну что тут будешь делать, уж Крючочник и так и сяк, даже шерсти ему как-то на ночь напихал в ноздри, а утром глядь — тот лежит себе с открытым ртом, а из носу шерсть торчит, смотреть жалко, ну, и пришлось Крючочнику обратно ее вытаскивать. И Фредрик Менза, как стал носом дышать, сразу снова завел свое: «бу-бу-бу».

— Ведь и не выговоришь, чем таким он комнату провонял, — говорит Крючочник о своем товарище. — Я иной раз аж задыхаюсь, у меня аж в глазах темно — эдакая дрянь. А отвори я ночью окно, ведь увидят, услышат, Бог весть откуда набегут: «Закрой, Фредрик Менза простынет!» А пусть бы его простыл, туда и дорога! Так я им напрямик и выкладываю. Да ему лет ведь уж сто десять не то сто двадцать будет, мне аж тошно, как подумаю про эдакие года, Господи, прости ты меня, грешного! Это ж не по-людски, прямо скотство какое-то. Он жрет день и ночь, доктор говорит, все потому, желудок у него исправный. Эх, заболел бы он желудком, а мне бы, к примеру, компресс ему ставить, уж я бы такой ему закатил компресс! Ну, зачем ему жить? Прибрал бы его Господь, Христа ради, и моя бы была вся комната. Нет

больше моей мочи, мне дышать нужно, окно отворять, а пока тут этот мертвяк — да, а кто? — тут лежит, я и окна не отвори! И вечно он свое «бу-бу-бу», как проснется, так и заводит. А смыслу-то и нет никакого, так, звук один. Я раз щебетать ему в ухо было попробовал, чтоб его поразвлечь, время, значит, ему скоротать, так ведь он — как оскалится, да такую рожу скроил, словно шило в него всадили. Вот и рубашку на нем хоть меняй, хоть не меняй, все одно сразу как есть изгваздается, лежит-то прямо на обедках, на крошках, и стены и потолок все кругом загадил.

Меня просто оторопь брала, когда я слушал Крючочника, да, верно, он дурной человек, совершенно забывший, что старость нужно уважать, что молодому лучше пострадать, чем обидеть старика. Я отвечал ему, что он сделал бы доброе дело перед Богом и людьми, если бы окружил немощного калеку теплом и заботой и не считал бы за труд напоить его и укутать одеялом.

— Да я по ночам задыхаюсь от вони! — крикнул Крючочник.

Ах, как он ожесточился!

Он часами просиживал с Колодой и вспоминал Брамапутру, вот, мол, она умерла, а как ее все любили. И Уле-Мужик, он тоже хороший был человек, всегда выручит, да только сладу с ним не было никакого, уж больно горячий. А Брамапутра — та никогда не вспылит, все лаской, все лаской, эх, никогда-то, бывало, она не пройдет мимо настоящей любви.

— Ни-ни! Не пройдет! — соглашается Колода и трясет своей огромной башкой.

— А стало быть, и пусть ей вода будет пухом, — говорит Крючочник.

От дружбы этих двоих выигрывал больше Крючочник. Колода стоял на страже, когда тот производил свои таинственные операции в пивоварне, и служил ему вдобавок мишенью для вечных насмешек и шуточек. Но такой страшный и могучий был Колода, что когда как-то раз он схватил своего мучителя за горло и стал душиить, у Крючочника даже язык высунулся изо рта, и долго потом он не мог ничего проглотить, так болело у него горло.

Вообще среди населения Сирилунна нередко вспыхивали баталии. Сирилунн был, собственно, как целый маленький городок, со своими широко разбросанными домами и лабазами, и очень следовало остерегаться, заворачивая, например, за угол дома, как бы ненароком не

угодить в заваруху. Скажем, Свен-Сторож — уж какой мирный, сговорчивый человек, но и он был не слепой, не глухой, и не всегда он соглашался смотреть на все сквозь пальцы. Время от времени он напивался в стельку, и тогда, начав с буйной веселости, он всегда кончал тем, что переходил на зловещие угрозы. Эллен, жена его, прежняя горничная Эллен, в таких случаях должна была целиком посвящать себя ему и объяснять, что она любит его больше всех на свете. Но вот незадолго до Рождества Свен-Сторож не удовлетворился заверениями Эллен и угомонился лишь после того, как пришел Хартвигсен и долго его уговаривал.

Свен-Сторож, когда-то чудесный певец и танцор, теперь утратил свою удаль и все больше стоял в сторонке, глядя на танцующих. У них с Эллен был ребенок, темноглазый мальчик, и при голубых глазах матери и отца ни для кого не было тайной, что отец ребенка — сам Мак. О, у Мака много было детей в семьях, работавших на него, и он всегда вовремя выдавал матерей замуж, да и потом не оставлял их своею заботой, как и положено барину. Подсчитали, что сейчас у Мака девять возлюбленных только в Сирилунне, да еще в разных других местах, да в собственном доме. Теперь приспела пора идти замуж юной Петрине. И для нее не нашлось лучшего мужа, чем Крючочник.

Ох этот Крючочник! Жалкий комедиант. Да, он умел щебетать по-птичьи, но был неспособен ни к какой настоящей работе, зато готов был всегда угождать Маку и все исполнять, что ни прикажет хозяин. Петрина была восемнадцатилетняя, но крупная, спелая для своего возраста, просто нельзя было на нее не залюбоваться, когда она проходила по двору. И раз Крючочнику выпало обзавестись семьей, тем более необходимо, чтоб калека поскорее умер и очистил место, другого выхода нет. Хоть бы Господь Бог поскорее прибрал Фредрика Мензу!

Все это обсуждают Хартвигсен и Свен-Сторож, а я, приглашенный Хартвигсеном, сижу тут же и слушаю. Свен-Сторож оправился после запоя, он только нет-нет да пустит крепкое, злое словцо. Хартвигсен не ругается вовсе, зато он клянется, что Маку скоро придется переменить свою безобразную жизнь.

— Не желаю я больше про это слышать,— говорит он.— Только я ведь один и могу на него повлиять. Со дня на день к нему нагряну!

— И доброе дело сделаете,— отвечает Свен-Сторож.— Покоя нашим бабам от него нет. Скоро вот Рож-

дество, и опять он, поди, их будет обыскивать, уж это как раз.

Хартвигсен отвечает:

— Ну, еще не известно, что мы с Бенони Хартвичем порешим! Будет он их обыскивать или же нет.

Хартвигсена не подкосило крушение, не обескуражили большие убытки, нет, он даже еще больше теперь заносится и хвастается своим могуществом. Он почти уже решил вести собственное дело помимо Мака, купить к весне пароход и отправлять треску уже не в Берген, а прямо в Испанию, и заделаться в Бергене знатным купцом! Но Маку он не забыл крушения и выжидал только случая, чтобы с ним поквитаться. Так мне представлялось. «Ужо мы его отблагодарим!» — говорит он, задумчиво покачивая головой. Когда мы распростились со Свенем-Сторожем, он снова ко мне приступился, зазывая в учителя. Для него прямо-таки унижение, что в Сирилунне есть домашний учитель, а у него вот нет.

— Будто у меня средств не хватит учителя нанять, — сказал он. — Ну, а касаясь жалованья, так эта моя рука вдвое вам заплатит! — сказал он. — Идемте со мною, может, моя супруга вас уговорит.

Мы прошли немного, и тут Хартвигсен вспомнил про какое-то дело в Сирилунне и отпустил меня одного. Да, у Хартвигсена опять завелись дела в Сирилунне, дела с баронессой Эдвардой, она томится смертной скукой, ей нужен кто-то, чтсб отвести душу. Она уже посвятила Хартвигсена в перипетии своих отношений с лейтенантом Планом и теперь всю старается смутить его самого. Роза это принимает спокойно, она излечилась от своей ревности, да и не до того ей теперь.

В гостиной я ее не застал. Значит, она гуляет с Мартой, подумал я. Но чтобы не получилось так, будто снова я к ней втираюсь в отсутствие мужа, я написал записку, что де сам Хартвигсен меня пригласил. Но вот я слышу на лестнице голоса и шаги, появляются Роза с Мартой, и Роза в удивлении застывает на пороге. Она говорит смущенно:

— Мы были наверху, занимались. Ну, да какие это занятия, так.

И отчего ей было смущаться? Роза получила прекрасное воспитание, она много знала, почему бы ей не учить грамоте Марту?

Но возможно, это смущение происходило от ее положения и в ней — как было прелестно! Никогда еще не была она так хороша.

— Ты бы пошла в Сирилунн,— сказала она Марте.— Бенони у Свена-Сторожа. Вы его не видали?

Я ответил:

— О, как же! Я ведь нарочно пробрался к вам в дом, рассчитывая застать вас одну.

Она покачала головой, но мне показалось, что не так уж я ей неприятен, как прежде, она даже улыбалась. Я продолжал в том же тоне, я думал: вот как вел бы себя Мункен Вендт!

— Я без конца сюда прихожу, меня сюда тянет и тянет,— сказал я.— Я совсем измучился.

— Но я замужем,— сказала она.

— Я увидел вас задолго до того, как вы вышли замуж, и с самого первого взгляда — я ваш!

О, я помню, я все помню: тут она посмотрела на меня с любопытством и, кажется, даже с радостью. Нет, не знаю, может быть, тут было одно любопытство.

— Но Господи Боже, да что же это такое? — вскрикнула она.— Чего вы хотите, не понимаю.

— Чего я хочу! Да чего обычно хотят! Каменная вы, что ли? Я весь истерзался от фокусов и комедий, я пришел положить этому конец. И делайте со мной что хотите!

О, глупец, глупец, снова мне показалось, что ей по душе мой напор, моя пылкость, губы у нее задрожали, будто она растрогалась. Тут она замечает на столе записку, читает мои извинения в том, что я явился, и до нее доходит, что вовсе я не так безогляден и смел, каким представлялся.

— А-а, значит, вас Бенони пригласил! — сказала она.— Так я и думала.

Я ничего не ответил, нет, но я не желал больше сдерживаться. Все шло ведь так хорошо. Я встал перед нею, посмотрел на нее, и вдруг я сказал:

— Ай-ай!

И она тоже на меня посмотрела, расхохоталась и сказала, смеясь:

— Да что это с вами? Полноте, успокойтесь!

Грудь у меня ходуном ходила, я помертвел от страха, и вдруг я шагнул к ней и обнял ее. Я дрожал как в лихорадке и молчал, я только пытался прижаться лицом к ее лицу, к плечу, к шее. Все это продолжается не больше мгновенья, она легко высвобождается из моих объятий и наотмашь бьет меня по щеке. Будто колесо завертелось у меня в голове, и я рухнул на стул.

Пощечина!

Бедная Роза, ей пришлось немало со мной повозиться, утешать меня, заглаживать свою вину. Наконец, кое-как я прихожу в себя. Она говорит, смеется, сыплет вопросами: «Что вы это? Зачем? Ну где, ну где вы набрались такого? В жизни подобного не видывала! Ну, теперь-то вы, надеюсь, не будете ничего такого предпринимать?»

Когда в голове у меня окончательно прояснилось, я снова впал во всегдашнюю мою приниженность, я уж радовался, что Роза мне не указала на дверь. Нет, ухватки Мункена Вендта не про меня, у меня совершенно иная натура, он-то кого угодно может обворожить. О, ему сходят самые дикие выходки, и тотчас ему их прощают.

Все у нас с Розой понемногу возвратилось в обычную колею. Она сидела уже совершенно спокойно, она спросила:

— Вы и в прошлый раз были какой-то странный, будто сам не свой. Помните?

— Так, случайность,— уклончиво ответил я.

— И отчего вы так редко теперь бываете?— сказала она.— Мы даже уж говорили с Бенони.

Я снова смиренный, как ягненок, все тошнее, тоскливее делается у меня на душе, и я говорю:

— Не бываю? Но я бываю у вас, я бываю, спасибо. Но вам, кажется, лучше, когда меня нет, такое у меня впечатление. Вы живете себе, не тужите, а стоит мне прийти, вы вспоминаете про старое и грустите. Лучше уж мне держаться от вас подальше и знать, что вам весело.

Но потом-то я все же решил еще один-единственный раз попытать приемы Мункена Вендта, прежде чем окончательно от них откажусь. Ведь сначала все шло хорошо!

XXIII

Снова баронессе ничего другого не оставалось, как удариться в набожность. До чего же она была взбалмошная и несчастная! Игры с Хартвигсеном хватило лишь недели на две, да и что это была за игра — так, бесплодная возня какая-то, ведь Хартвигсен ни слова не понимал из того, что она говорила.

И вот она распорядилась сжечь знаменитую перину своего отца, да, баронесса решилась, и Йенс-Детород, ее верный раб, приложил руку к этой затее. Йенс-Детород свое дело знал, он выбрал лунную ночь, когда перина

сушилась в пивоварне, и бросил в дымоход подожженную просмоленную паклю. Миг — и перина занялась и погигла. А длинноногий Йенс-Детород в несколько ловких прыжков соскочил с крыши и спрятался за соседним домом. Я все это видел из моего окна.

Да, я был всему этому свидетель, потому что я стоял и смотрел. Баронесса от меня не скрыла свои замыслы, нет, она честно и открыто восстала против отца, который позволял себе столь недостойную комедию с ванной в собственном доме. И она меня посвятила в свой план, вовсе от меня не требуя соблюдения тайны. И надо признаться, я оценил оказанное мне доверие и остался нем как могила. Баронесса подкупила меня этой тонкостью, да, она вела себя как особа воспитанная и благородная.

Но Мак, этот владетельный князь, — о, он не был бы отцом Эдварды и не был бы Маком, если бы он тут растерялся. Не успел Крючочник доложить ему о случившемся, как он тотчас же оповестил, что скупает пух и перо по высокой цене. Рассказывали, что однажды ему уже приходилось прибегать к такой мере, чтобы сделать к Рождеству новую перину. И вот ведь — и нескольких дней не прошло, а в Сирилунн потекло многое множество пуха с тех дворов, где собирали перо и яйца по фьордам.

И зачем было, спрашивается, сжигать перину Мака?

Но баронесса была неукротима, да, и она была набожна, она взялась во что бы то ни стало положить конец отцовым рождественским забавам. Упомянув об обыске, она неизменно поджимала губы и качала головой. Обычай этот состоял в том, что женщинам Сирилунна в Сочельник полагалось похитить серебряную вилку или ложку с праздничного стола и далее отправиться к Маку в спальню для обыска. О, Мак умел искать свои вилки и ложки, упорство его в этом деле было беспримерно, у него могли перебивать даже и до шести женщин за один вечер. Да, неумный распутник был Мак. Но более всего поражало меня, до чего же он умел держать этих женщин, знавших о его повадках, в повиновении. За целый год — ни единой жалобы, нет, какое! Самая глубокая почтительность. Верно, он имел дар особый повелевать и умел разумно пользоваться своим даром. Для меня это была совершеннейшая загадка.

Меж тем неотступно близилось Рождество, в Сирилунне покоя не стало от прохожих и проезжих, с утра до вечера в лавке, на пристани, всюду толокся народ. А я получил приглашение от родителей Розы в пасторскую

усадыбу, им так одиноко, я весьма их разодолжу и скрашу их участь, если проведу с ними Сочельник. Я переговорил с Маком и с баронессой, и оба мне отвечали, что им, разумеется, будет меня не хватать, но я должен доставить удовольствие пастору Барфуду с супругой. Переговорил я и с Розой, и Роза меня просила не обидеть ее родителей. Я положил отправиться в путь с утра накануне Сочельника и пойти общинным лесом.

А тут еще Господь, кажется, вспомнил, что пора прибрать Фредрика Мензу. Желудок, до той поры чего только не претерпевавший, вдруг отказал, и старик опасно занемог. Дочь его, жена младшего мельника, расторопная и миловидная особа, явилась к отцовскому одру и бодрствовала подле него всю ночь. Но у нее у самой были дети, и долго она не могла за ним ходить. Она отправилась домой, поручив Крючочнику пользоваться больного теплыми припарками, и — Боже! — что он наделал! Через двое суток обнаружилось, что вместо припарок Крючочник обкладывал больного колотым льдом, и, мало того! — он этим льдом растирал ему живот. Старик у час от часу становилось хуже, его бил озноб, рот ему свернуло на сторону до самого уха. Никогда еще, верно, не было крепкому старцу так худо, и ведь он ничего не мог понять, кричал благим матом, и вдобавок, к сожалению, он, кажется, вспомнил, что предпринимал он во время своей сознательной жизни при подобных передрягах, — он ругался на чем свет и плевался вовсю. Жутко было на все это смотреть и все это слушать, и только когда боль отпускала, старик снова впадал в беспамятство и заводил свое бу-бу-бу. И тут-то Крючочник вне себя от омерзения выскакивал за дверь. Нет, этот человек положительно забыл, что старость нужно уважать и стариков надо слушаться!

Но добрый Фредрик Менза и на сей раз не отдал Богу душу. Крючочник был схвачен с поличным и от своих обязанностей отстранен. Его спрашивали, хотел ли он доконать старика. «Ничуть не бывало, — отвечал он. — В наших краях, откуда я родом, мы и всегда-то льдом растираемся, если живот прихватит». Когда о происшествии доложили баронессе, она еще пуще ударилась в набожность и посадила к одру больного Йенса-Деторода. Эта баронесса была, в сущности, добрая душа.

И Фредрик Менза оправился, уж очень он был выносливый старик. Под благодетельной заботой Йенса-Деторода он снова расцвел, он, слава Богу, стал самим собою,

лежал, спал и ел. И уж как мы все радовались, что он выздоровел, что на Рождестве не будет в усадьбе болезни и смерти, да, как приятно и весело было сознавать, что Фредрик Менза лежит себе где-то рядом и дышит. И если его о чем-то спросить, он ясно и бодро ответит: бу-бу-бу! И весь сказ.

Ну вот, завтра мне в дорогу. С вечера мне надавали подарков, множество премилых вещиц от всех, от девочек, от баронессы, от самого Мака. А сейчас, перед сном пойду-ка я, прогуляюсь немного, спущусь к пристани, и никакого не будет греха, если я кивну, проходя, дому Розы. Правда, завтра я пройду той же дорогой, но прощусь-ка я с нею сегодня, так-то я крепче буду спать. Покойной ночи, покойной ночи, и храни тебя Господь!

Я просыпаюсь в темноте, зажигаю свечу, одеваюсь. Путь неблизкий, надо загодя выйти. Я завтракаю, предаюсь на волю Божью и ухожу со двора. Возле дома Розы я снова кланяюсь и всех-всех там я поздравляю с наступающим праздником.

Утро туманное, пасмурное, сыплет снежок. Но идти мне легко, хоть я иду по нетронутой свежей пороше. Я хорошенько расспросил о дороге, так что заблудиться я не заблужусь, да и тропка сама меня выведет, она идет через кряж. Я прохожу немного по общинному лесу, и вдруг я слышу голоса, я вижу несколько человек: тут Хартвигсен, Свен-Сторож, с ними еще двое, в руках у них кирки и лопаты, они роют большую яму.

Хартвигсен едва кивнул мне и тотчас скомандовал:

— Ройте, ребята, ройте. Четыре аршина в длину, три в ширину. А я немного пройду с студентом.

— Для кого бы это такая могила? — спрашиваю я не без иривости. — Кажется, она на двоих?

Но Хартвигсен сохранял торжественность, он даже не улыбнулся.

— Да, скажу я вам, капитальная будет могила, — отвечал он. — Тут мы ванну Мака вместе с периной хороним.

— Да что вы говорите!

Хартвигсен кивнул:

— Никто ведь не может с ним совладать, окромя меня.

«Это Хартвигсен решил отомстить своему компаньону за крушение, — подумал я. — Что ж, неплохо придумано!» О, Хартвигсен все не мог выбросить из головы, как

он попал впросак с этим страхованием судна у себя самого. И вот он взял с собою в лес троих мужчин, заинтересованных в том, чтобы закопать ванну Мака в сырую землю. И Свен-Сторож, кузнец и бондарь, да что! — еще бы добрая дюжина мужей готовы были рыть эту могилу.

— И к каким же это может привести последствиям? — спросил я и подумал, что Мак из тех, кого не поставишь в тупик.

Да и сам-то Хартвигсен был, верно, того же мнения, он не стал особенно хорохориться, он не сказал: «Последствия я беру на себя!» Нет, напротив, он начал оправдываться, он спрашивал, как вот я посмотрю на такое: Мак объявил, что скупает пух и перо, цены подскочили, людям выгоднее не работать, а рыскать по берегам за птицей. Разве же это дело? А Рождество на носу, и опять мужики перепьются, а бабы будут ходить по очереди в комнату Мака.

— Ну, а когда Мак хватится перины? — спросил я.

Тут Хартвигсен и вовсе приуныл и призадумался, ведь Мак был господин уважаемый, кто спорит.

— Собственно говоря, — наконец сказал он, — я не сам по себе этим погребением ведаю, можно сказать. Эдварда со мною в согласии, даже, я должен признаться, это, в общем, ее идея.

И сразу все предприятие стало в моих глазах менее рискованным. У баронессы рука твердая, она и прежде, бывало, окорачивала отца.

— В таком случае я спокоен, — сказал я.

— Сами понимаете, — сказал Хартвигсен с облегчением, — нам бы и не вытащить ванну из дому без ведома Эдварды. Это она отослала всех слуг. А я вам скажу — на нее просто глядеть жалко, до того она стала набожная, и все-то она печалится. Ну как не пособить человеку в таком деле, это ж каменным надо быть?

Подошел бондарь и торжественно возвестил:

— Все готово!

Мужчины принесли ванну, спрятанную в кустах, и осторожно опустили у края ямы вместе с периной. Сверху все это прикрыли мешками, словно испачкать боялись.

И вот цинковое трехспальное чудище стояло у края могилы, чтобы вот-вот в ней исчезнуть. Кузнец сам пазил и паял эту ванну из тяжелых пластин. И перина крыта была алым шелком.

— Через краткий миг ванны не будет больше! — сказал Хартвигсен, и он вовсе не намеревался шутить над отверстой могилой. — Люди, исполняйте свой долг!

И кузнец с бондарем принялись засыпать ванну Мака землею.

Я с ними простился, я продолжал свой путь. Снег валил теперь гуще, было скользко идти, но с Божьей помощью я очутился в далекой пасторской усадьбе за-долго до сумерек. И меня приняли с распростертыми объятьями.

Там провел я все Святки, но не знаю, право, что и стоило бы описывать, разве собственные мои чувства и мысли, нахлынувшие на меня в этом милом доме. Взгляд мой падал то на вышиванье, то на вязанье Розы, духом ее веяло в комнатах, где так долго она жила. Ах, как же переполнялась моя душа в эти дни, как часто я плакал. Бывало, нападуд вдруг на книгу, на ноты, надписанные рукою Розы, и креплюсь изо всех сил, чтобы совсем не расчувствоваться, и на каждой-то лесенке, на каждой дорожке я думал — тут Роза ходила! Они меня все спрашивали о дочке, здорова ли, весела ли, хорошо ль ей живется? «Да-да, все хорошо», — отвечал я. Стыдно признаться, а ведь я, верно, врал этим добрым людям, у Розы столько было, кажется, печалей на сердце!

Пастор Барфуд был прекрасный оратор, и по праздникам в церковь набивался народ. Но любимейшее занятие пастора было бродить по лугам и лесам, смотреть вокруг и думать о том о сем. Он мне сам говорил, что нигде он так не чувствует близость к Богу, как в лесу. Может быть, не такой уж он был и набожный человек, зато добрый и опытный. Он читал по-французски и по-немецки и очень много знал.

До Нового года и думать нечего было охотиться, и долгими, долгими часами мы сидели втроем, и о чем мы только не толковали. Пасторша за ломберным столиком раскладывала пасьянс. Она была добрая, ласковая, и в блондовом чепчике, как моя мама. В сумерках, которые среди зимы тянутся так долго, я играл на фортепьяно все, что помнил наизусть. А потом, когда уж засветят свечи, еще часок я играл по нотам, оставленным Розой. Мирные, тихие вечера. А утром как-то я отправился в долгую прогулку к крестьянским дворам по соседству.

Из охоты нашей, собственно, так ничего и не вышло; но пастор, бывало, давал мне ружье и брал меня с собою. Он, разумеется, скоро сообразил, что охотник из меня

никакой, но у меня есть рвение и способности, недостает только опыта. Пастор Барфуд был человек мыслящий и проникательный, и чего только он не знал про зверей и птиц, про скалы и лес, у него были интереснейшие личные наблюдения, а я-то ведь пробавлялся лишь кое-какими сведениями из естественной истории, почерпнутыми из книг, а книги, бывает, и врут. Например, пастор утверждал, что все эти книжные теории о полезных и вредных животных куда как поверхностны. Вредных животных не существует, животные сообща служат целям природы. Изведешь слишком много ворон, глядь — разведутся мыши, изведешь лисиц — разведешь слишком много белок. Белка очищает лес от яиц мелкой птицы, но вовсе не станет мелкой птицы — и спасу не будет от насекомых. Ни-ни! Природа — она свое дело знает!

Все это для меня было внове. Зато после этой нашей охоты я уже не лопухим невеждой мог странствовать по лесам с Мункеном Вендтом.

На Крещение я простился с пасторской четой и отправился в Сирилунн. Дойдя до места погребения ванны, я увидел ровное, гладкое место, занесенное свежим снегом.

XXIV

Вот и Рождество позади, правда, в Сирилунне оно не обошлось без кое-каких происшествий.

Сочельник сошел, пожалуй, гладко, баронессе удалось провести отца, обыск не состоялся, баронесса сама явилась на кухню и требовала с женщин все исчезнувшие вилки и ложки. Жены бондаря и младшего мельника было взбунтовались, но баронесса поручила Йенсу-Детороду щипать их до синяков, так что все серебро ей выложили в целости и сохранности.

За поправление старинного обычая Мак отомстил тем, что ночью и вовсе не лег в постель, но ушел из собственного дома и только к утру воротился. Никто не знал, где он пропадал, сам он об этом помалкивал, но, кажется, остался совершенно доволен проведенной ночью. Он побеседовал с внуками и был вальяжен и обходителен как всегда.

Но вот что получалось — ванну-то похоронили, но и Крючочника, стало быть, лишили куска хлеба. Чем теперь мог заняться этот человек? А Петрине, невесте его,

небось приспела пора идти замуж, ведь правда? Все это выходило ужасно как сложно, и баронесса с Хартвигсеном без конца совещались.

А хуже всего было то, что, кажется, пошатнулось здоровье Мака. Он места себе не находил без милых своих ванн, они были для него насущной потребностью, незаменимым благом. Но и надеяться не приходилось, что Хартвигсен, вовсе не принимавший ванн, поймет в этом пункте своего компаньона, и где уж было ему догадаться, что без помощи двух женщин как следует ванну не примешь. Компаньоны никак не могли прийти к соглашению, да они попросту не разговаривали. А ведь пора было отправлять суда на Лофотены, за всем требовалось приглядеть.

— Он у меня совсем из уважения выходит,— говорил про своего компаньона Хартвигсен.— Э, да пусть его носится с пустяками, все одно дела — они вечно на мне.

Поскольку ванна исчезла, а Мак смолчал, Хартвигсен еще больше стал заноситься, удаление с лица земли цинкового чудища он всецело ставил только себе в заслугу, он невесть чего вообразил о своем влиянии и могуществе. Не будь у него нужды отправлять Свена-Сторожа на Лофотены, уж он бы прямехонько его снарядил за парходом и отправил бы треску аж в Испанию! Да что! Он и не до такого доходил в своем самомнении, и как же он мог быть смешон. Решил, например, отправиться в церковь в водолазном костюме.

— Как вы на это смотрите? — спрашивает он меня. А так как я онемел и ничего не могу ответить, он продолжает: — Небось никто еще в церковь в эдаком наряде не хаживал, а? Как вы думаете, а ведь на меня больше будут смотреть, чем на пастора? Само собой, я и Свена-Сторожа прихвачу, воздух чтобы накачивал.

И тут я подумал, что тот, кто явился на собственную свадьбу в ботфортах, чтобы продемонстрировать жителям дальних шхер обувь на меху, очень может явиться в церковь в водолазном костюме, да, с него, пожалуй, и станется. Но коль скоро он требует моего совета, я качаю головой и отговариваю его от рискованной затеи.

— Да-да, сами-то вы человек смирный, думаете чересчур много,— говорит он.— А ведь неплохой для церкви наряд, это как раз. И на что он мне? Только зря лежит. Вот и Эдварда говорит — почему не надеть.

До каких же выходов могла додуматься добрая баронесса Эдварда, вечно ее будто донимало, будто подмы-

вало что-то, ее кидало от отчаяния к набожности, но и для непреклонной злобы она умела найти место в своем сердце. О, переменчивая, переменчивая баронесса!

Но скоро Хартвигсена одолели иные заботы, кроме рассуждений о том, стоит ли являться в церковь в водолазном костюме. Как-то утром Мак спустился из своей спальни в контору, обвязанный по поясу большим красным шарфом. Многие его видели, весть разнеслась по всей усадьбе. У Мака, значит, разыгрались боли в желудке.

Все огорчались — и стар и млад, но сам-то Мак держался мужественно, он не делал из своих мучений истории, он только почти ничего не ел, и когда баронесса спросила, что с ним, он отвечал небрежно: «Так, ничего, разыгрались мои старые боли!»

Прошло несколько дней, Сирилунн как-то притих. Правда, Мак хоть и ходил в своей красной повязке, но по-прежнему стоял у конторки, никакой опасности не было. Всем нам, однако, было не по себе, и Хартвигсен думать забыл о посещении церкви.

И вот рыбаки собрались уже на Лофотены, суда были готовы к отплытию. Дым стоял коромыслом, надо было выдать людям снасти и провиант, шкиперы Свен-Сторож и Вилладс совсем с ног сбились. И вдруг в один прекрасный день контора осталась пустой, Мак туда не спустился, он остался в постели.

Что тут поднялось в усадьбе и во всем околотке! Оставался, разумеется, Хартвигсен, да, конечно, Хартвигсен был вездесущ, но контора-то стояла пустая. Приходно-расходные книги, счета, письма, депеши, заказы, курсы на наживку и соль — со всем этим Хартвигсен не привык разбираться и не мог теперь понять ни бельмеса. Где на Лофотенах ожидается рыба? В какую бухту направить суда? В конторе у Мака кипой лежали депеши, и Мак ежегодно направлял свои шхуны в соответствии с ними, нынче же не было Мака. Хартвигсен уж и ко мне приступался, просил разобрать заказ на наживку, там какие-то цены и цифры — китайская грамота.

Тут-то к Хартвигсену и явился посланный от Мака, его приглашали к одру больного. Нет, не такой человек Мак, чтобы, отлеживаясь в постели, забыть о великих делах, ничуть не бывало: пусть придет ко мне мой компаньон, так он наказал, да пусть прихватит все письма-депеша, что лежат у меня на столе, так он наказал. Важный барин — он и всегда важный барин.

Хартвигсен отправился к Маку, тот ему объяснил, как действовать там-то и там-то для получения барыша, Хартвигсен вернулся в контору, и снова он хорохорился и рассуждал о том, сколько навалилось на него разных дел. Но многое приходилось ему делать наугад, Хартвигсен так мало знал, он был просто богат — и только. Например, про пустые мешки записано «тара», а на каком же таком языке? Мешковина — она ведь и всегда мешковина? И по правде сказать, несподручно ему было каждую минуту бегать вверх-вниз по лестнице и обо всем расспрашивать Мака. «Скорей бы уж мой компаньон встал на ноги!» — говорил Хартвигсен.

Да, ему, можно сказать, доставалось. Двое приказчиков были, конечно, люди опытные, они знали наизусть все, что надо знать, стоя за прилавком, а больше ни в чем не разбирались. А тут еще Хартвигсену пришлось самому вникать в торговлю. Народ все больше норовил иметь дело с Хартвигсеном, и ни с кем другим, покупатели поняли свою выгоду и стали обращаться к нему после того, как встретят отказ у приказчиков, а не такой человек был Хартвигсен, чтобы кому-то отказывать. Да, любо-дорого было послушать, как он решает затруднения единым словом. Придет к нему со своею жалкою нуждою рыбак, а Хартвигсен только кивнет Стену-Приказчику: «Да-да, на нем семейство висит, все напиши на Б. Хартвича!» И баста. Когда явился к нему Арон из Хопана, первоначальный владелец серебряных гор, Хартвигсен собственноручно перечеркнул его старый долг и велел задаром ему выдать снаряжение для Лофотенов. И Арон прослыл среди ближних человеком зажиточным.

Мак все не поднимался с постели, он тощал, хирел и бледнел. Послали за доктором. Доктор прописал новейшие средства, и каких только Маку не давали теперь лекарств по утрам и вечером. А Мак все не выздоравливал. В конце концов в конторе, да и повсюду жизнь чуть совсем не застопорилась. Все пошло кувырком в Сирилунне, ни ладу ни складу ни в чем.

Я иду к Розе, я передаю ей поклон от родителей. Хартвигсен дома. Разговор у нас как-то не клеится, я не знаю что говорить, я передаю ей поклоны вдобавок от ее комнаты, от заскучавших нот, ну, еще от девушек в пасторской усадьбе. Она внимательно слушает, она расстрогана, возможно, это из-за ее положения.

— Моя супруга все боится чего-то, — сказал Хартвигсен. — Буду рад, если вы немного с ней побеседуете.

— Что Эдварда? Здорова? — спросила тут Роза, чтобы свернуть разговор на другое.

Хартвигсен немного обиделся, он поднялся и произнес:

— Ну, это я ведь так сказал, не со зла.

Он взялся за шляпу и вышел.

Роза пошла за ним, у них был разговор в сенях, когда она вернулась, глаза у нее были красные. Она сказала:

— Это мы так... я хотела... никак не добьюсь, чтобы он одевался потеплее, когда выходит на холод.

Пауза.

— Ну вот, значит, могу передать вам поклон от вашей комнаты, — говорю я.

— А-а... да-да, благодарю, вы уж говорили.

— Я всякий день там бывал, по много раз на дню, я всю усадьбу видел из вашего окошка. Как-то раз я ночью встал и пошел туда.

Она бросает на меня быстрый взгляд и говорит:

— Ох, не надо все начинать сначала, прошу вас.

— Нет, я не буду все начинать сначала. Я хотел только посмотреть, на что падает ваш взгляд, когда вы просыпаетесь среди ночи и глядите в окно: звезды, северное сияние, двор по соседству.

— Там Муа живет.

— Да, Муа. Как-то я к ней зашел.

— И правильно сделали. Что ее дочка? Ее зовут Антора, она такая красивая.

— Да, она красивая. У ней совершенно ваши глаза. Я нарисовал ее и сказал, что беру поцелуй за работу. И она согласилась. А еще я ходил в Торпельвикен.

— Так как же? — говорит Роза. — Поцеловали вы Антору?

— Да. В глаза.

Губы у Розы дрожат, вдруг она говорит:

— В глаза? Нет, я просто не знаю, что мне с вами делать! Неужто вы все еще меня любите?

— Да, — сказал я.

— И вы, значит, в Торпельвикен ходили? Но там нет никого. Одна Эдварда, у которой...

— Да, у которой ребенок от англичанина, от сэра Хью Тревиляна. Тихая, милая мать, она накормила меня, напоила, она такая доверчивая, она мне дала подержать мальчика, пока готовила ужин. Говорила, что ей стыдно меня утруждать, но это она совершенно напрасно, мальчик у нее такой крупный, такой чудесный мальчик.

— И куда же вы еще пошли?

— А когда я стал уходить, Эдварда и говорит: спасибо, что меня проведали!

— Вот как? Чрезвычайно странно!

— Да, не правда ли? Сама же накормила, напоила меня! И ребенка дала поддержать!

— Ну, а потом вы пошли, верно, к ленсману? Но там нет никого.

— Да,—говорю я.— Там никого не было, нигде никого не было. Я ходил, ходил, и нигде не было никого. И я вернулся в пасторскую усадьбу. И на другой день я стоял в вашей комнате у окна и смотрел на те места, которые исходил накануне, и никого, никого-то я не нашел.

— Ну, не повсюду же вы побывали,—говорит Роза и улыбается.

— Я и еще кое-где побывал.

— И так-таки никого не нашли?

— Ну, собственно, как сказать? Я же не свататься собирался, я просто бродил по округе и приглядывал, кем бы можно увлечься. И в одном месте я пробыл долго-долго, и мне было там так уютно. У Эдварды в Торпельвикене.

Роза вспыхивает, она вся заливается краской и говорит:

— Вы что? Совсем рехнулись?

— Она-то не каменная,—говорю я.

— А-а, ну разумеется. Не каменная? О, впрочем, кому что нравится.

О, правильно мне говорил Мункен Вендт, золотые его слова. В первый же день, как мы встретились тогда в лесу, он сказал: «Безответная любовь? Вот мой тебе совет—приударь-ка ты за «пропащей». Сам увидишь! Тут же та, первая твоя, обратит на тебя свои взоры, она за тебя возьмется, о, она тебе не даст погибнуть, она тебя удержит у края пропасти». Порядочная женщина всегда ненавидит пропащую, так говорил Мункен Вендт, она до того даже может дойти, что себя предложит взамен, лишь бы тебя уберечь от той, от пропащей. Мункен Вендт это сам на себе испытал, и благородная фру Изелина из Оса тому порукой. О, Мункен Вендт редкостный в этих делах мастак.

И что же? Я-то уж никак не Мункен Вендт, и опять я сам все испортил. Роза искала, чем бы ей заняться, но я видел, что она сердится и делает вовсе ненужное: она

все стирала, стирала пыль с фортепьяно. «Все идет хорошо!» — подумал я.

И я решил подлить масла в огонь, я принялся расписывать Эдварду с Торпельвикена, она и вправду не каменная, она благодарила меня за то, что я проведаль ее. Но Роза слушала уже равнодушно, она перестала стирать пыль с фортепьяно и уселась на место.

— Да, подумать только, мне было так уютно у Эдварды с Торпельвикена!

— Ну-ну, и слава Богу, слава Богу! — сказала Роза. — Вот видите, стоило вам походить немного, и... стоило вам посмотреть на других...

— Вы были правы. И я потом всякий день ходил в вашу комнату, чтоб посмотреть из окна в ее сторону. Да, вспомнил: когда я уходил, она мне сказала: приходите еще!

Ах, теперь я следил за Розой, как нищий попрошайка, как приговоренный к смерти. Она вся просияла, она, верно, обрадовалась, что наконец-то избавится от моей ненужной любви, она сказала:

— Вот видите! И немудрено, что вы увлеклись. Она добрая, милая. И мой отец говорил, она прекрасно училась. Значит, у нее есть способности.

— Да, — только и сказал я.

— И вам теперь надо почаще ее навещать, да, непременно, слышите? И ведь останавливаться вы сможете у моих, они будут рады.

Я еще кое-как пытался спасти положение, я сказал:

— Да-да, ну вот, кажется, мне удалось своей болтовней хоть ненадолго развеять собственные ваши печали.

По дороге домой я встретил Хартвигсена, он шел от Мака. У него был озабоченный вид.

— Моему компаньону не лучше, ему обратно хуже, — сказал он. — Завтра отплывают наши суда. Я не могу быть сразу везде, я не могу разорваться! И главное, они покоя ему не дают в собственном доме, опять новую горничную взяли.

Про новую горничную я знал, ее взяли вместо Петрины, которой пришла пора идти замуж. Это баронесса велела Йенсу-Детороду привезти ее с дальних шхер, звали ее Маргрета, хорошенькая, молодая, она была безупречного поведения и набожная к тому же.

И вот теперь эта Маргрета сидит по ночам у постели Мака и дает ему капли, рассказывал Хартвигсен. Они с Маком разговорились, и Маргрета сказала, что зря он на мягком лежит, ему надо лежать на вениках.

— На вениках? — спрашиваю я.

— Да! Слыхали вы подобную ахиною? — говорит Хартвигсен. — И вот мне в лавке записка, поднимайся, мол, к Маку, потому — последнее слово за мною, куда ему без меня? Поднялся я к нему, а вид у него прямо жуткий, истаял весь, я, говорит, Хартвич, в твоём добром совете нуждаюсь. А можете мне поверить, не каждому Мак из Сирилунна скажет такое, да, он теперь без меня никуда. Ну, и я ему на это, конечно, всю правду: как он, мол, меня в своё время из грязи вытащил, так и я ему не могу отказать, когда ему пришла нужда в моём добром слове. И тут он мне про эти веники! «Не бывать этому, — я ему говорю, — бабы, верно, с ума походили!» — «Спасибо! — Мак говорит, — мне и надо было услышать разумное слово. Но как-то надо же выздороветь, — он говорит, — как-то надо же на ноги встать! Ведь вот я лежу, — говорит, — делать ничего не могу, все только думаю-думаю, день и ночь думаю, так недолго и в религию вдариться».

Тут Хартвигсен помолчал. Мысль о перевоплощении Мака до того поразила его, что глаза у него сделались совсем круглые.

— Удивительно! — сказал я.

Хартвигсен долго размышляет и наконец говорит:

— Что же? Никакого нету средства против желудка? На кой черт тогда было за лекарем посылать? — И тут он становится сообразительным, в нём просыпается его крестьянская сметка, вдруг его осеняет, он говорит: — Любому понятно! Если такой человек не встает с постели, это ему погибель. Надо его поднять.

— В том-то и весь вопрос — как его поднимешь?

— Да-да, — ответил Хартвигсен, он зашагал дальше и уже на ходу сказал: — А если уж он собрался в религию вдариться да на вениках спать — откопаю-ка я ему поскорей эту его ванну!

XXV

И вот поздно вечером ванна вновь явилась на свет Божий. Непостижимо. Баронесса знать ничего не знала, Роза ничего не знала, мы пошли в лес под ясной луной, в свете северного сияния и поскорее покончили с этим делом. Команда была та же, что и при погребении, Свен-Сторож, бондарь, кузнец, и земля была рыхлая, так что даже не пришлось работать киркою.

— Нет, не бывать бы этой ванне в земле, кабы не Эдварда,— сказал Хартвигсен.— Никогда не надо бабья слушаться!

И трое мужчин с лопатами совершенно с ним соглашались — не надо, не надо бабья слушаться, бабье — оно бабье и есть! Все трое и сейчас работали с тем же рвением, они прекрасно знали, что они делают, знали, что выкапывают проклятую эту махину себе на беду, многим еще на беду — да ведь куда денешься? Недуг Мака — такая напасть, что ни с какой другой не сравнится. Свен-Сторож, кажется, по части супружеских радостей не очень-то и выиграл от погребения ванны, во всяком случае, пот с него градом лил, так он сейчас старался. А кузнец сказал:

— Как я вас понимаю, Хартвич, с вас причитается за работенку, а?

— За мной не пропадет! — ответил Хартвигсен.— Вы только перину мне не повредите. Я сперва проверю. Она небось красная, шелковая!

— Это бондарь как ни попадя роет,— сказал кузнец.

— Я? Как ни попадя? — крикнул негодующий бондарь.— Да я хоть голыми руками рыть буду, лишь бы перину не попортить.

Сущие дети. Они работали ради похвалы и награды.

Наконец ванну высвободили из земли и на веревках подняли из ямы. Ее отряхивали, ощупывали, нет ли где вмятин, царапин. Хартвигсен собственноручно снял мешки, встряхнул перину, подушки, потом еще носовым платком отер приставшую к шелку землю.

— Как говорится, не придерешься! — заключил он, довольный.

И яму опять закопали.

Была уже совсем ночь, мы все вместе понесли ванну к дому. Хартвигсен не на шутку побаивался баронессы и вслух мечтал, чтобы эта ванна поскорей оказалась дома! Меня отрядили вперед, на разведку, если я сразу не вернусь, они это поймут как сигнал, что им можно идти. Так у нас было договорено.

В гостиной не было света, во всем большом доме окна светились только у Мака и у баронессы. Я обошел дом вокруг — да, и у экономки, и в людской — везде темно. И я вошел и поднялся к себе. Я, как обычно, несколько трусил, но я же все проверил, и совесть моя была чиста.

Несколько минут спустя я слышу глухой стук в дальнем конце дома, это они идут с ванной, думаю я.

Немного погодя открывается еще какая-то дверь. Я выхожу в коридор и прислушиваюсь, я слышу, что баронесса вышла из своей комнаты, она говорит: «Это что еще такое?» — «Чего?» — отвечает ей снизу Хартвигсен, и в голосе у него не так уж много отваги. «Это что еще такое, я спрашиваю?» — повторяет баронесса отнюдь не бархатным голосом. И тут Хартвигсен сказал: «Живее, ребята! Что это такое, да? А вы не видите разве, как он лежит и доходит? Так ведь ему и помереть недолго!» И баронесса была слишком горда, чтобы с кем-то препираться на лестнице, она их оставила и ушла к себе в комнату.

И все обошлось благополучно.

Утром в бухте уже не было судов, они отплыли ночью. Добрый Свен-Сторож покончил с делами на суше, теперь он снова шкипер на своей большой шхуне, он расстался с Сирилунном, расстался с женой. Опять все идет своим чередом.

И — подумать только! — удивительные странности произошли в самые ближайшие дни: душа округи Фердинанд Мак медленно, но верно стал выздоравливать. На наших глазах как бы совершалось чудо, баронесса сама не могла этого не признать. Но она крепко держала бразды правления своей тонкой, сильной рукой, о, в жизни я не видывал такой упорной особы: когда отец ее принимал свою первую ванну, баронесса ни за что никого не хотела к нему допускать, она доверила растирание только богобоязненной горничной Маргрете, да, именно та исполняла эту работу. И Мак в ванне был сама обходительность, он благодарил за каждый пустяк, Маргрета в тот вечер вышла от него довольная и такая же тихая и спокойная, как и прежде.

Но вот настала пора и Хартвигсену торжествовать. Когда Мак начал лучше есть и вставать с постели, Хартвигсен приписал всю заслугу себе. Любо-дорого было послушать его добродушное пустозвонство. Красный шарф не помог, говорил он, лекарь не помог со своими пилюлями. А я вот сразу раскусил что к чему. Главное — голову на плечах надо иметь!

Три недели спустя Мак уже сошел в контору. В тот день к обеду подали особенное кушанье и вино, так распорядилась баронесса. Я сидел в столовой, когда туда вошел Мак и увидел праздничный стол.

— Где моя дочь баронесса? — спросил он у экономки.

— Наверх пошли-с, приодеться, — был ответ.

Мак прошелся по комнате и перекинулся со мной несколькими фразами, он все поглядывал на часы. Со мной он был милостив, он выражал надежду, что мне неплохо жилось все то время, что мы не видались.

Тут вошла баронесса, она была в красном бархатном платье, она привела и девочек, тоже разодетых.

— Здравствуй, дедушка,— залепетали, подбегая к нему, детки.

И Мак обратился к девочкам несколько добрых слов. Потом он повернулся к дочери и сказал:

— Я хотел тебя видеть, Эдварда, чтобы поблагодарить тебя за внимание.

И более ни слова, но я-то заметил, как дочери дорога его благодарность.

— Но как ты теперь себя чувствуешь?—спросила она.

— Спасибо, спасибо. Здоров.

— Верно, слабость?

— Нет-нет, никакой слабости,— сказал Мак и покачал головой.

И мы уселись за стол. Во время обеда я думал: никогда не доводилось мне видеть более учтивого и более странного обхождения отца с дочерью, нет, положительно, над домом в Сирилунне висит какая-то тайна! Мак нашел повод поблагодарить дочь и за новую горничную—она такая тихая, такая проворная! И это говорилось с совершенно невозмутимым лицом, будто никто не знал, отчего Петрине пришлось оставить место и уступить его Маргрете!

И Крючочник не остался без работы и без куска хлеба, да, несколько недель спустя у него были и жена и ребенок. Крючочнику просто повезло, Петрина была здоровая, работающая и вдобавок веселая, все считали, что жалкий комедиант ее не стоит. Он ведь ничего не умел, ни до чего-то не доходили руки, а какие стоптанные были у него сапоги, он даже не удосуживался их подбить. А вот Колода,— о, какая разница между приятелями!— Колода каждый вечер, как стянет сапоги, осмотрит их, бывало, и погуще смажет теплым дегтем, и если только местечко выберет на подошве, тотчас всадит туда последний и распоследний гвоздь. Зато и сапоги же у него были! Тяжелые, как гири, и носились лет по пять. И на обувку Крючочника он смотрел с возмущеньем.

Эти двое теперь не болтали часами, как бывало, Колода все больше и больше сучал. Что ж, у Крючочника

появились новые интересы, жена и сынишка, он стал отцом семейства, а Колода остался один-одинешенек со своими воспоминаниями о Брамапутре. О чем им было теперь толковать? Да и что возьмешь с комедианта — он без конца хвастал, что Мак дал ему лошадей и сани на свадьбу, ну чем, скажите, тут хвастать взрослому-то человеку? Что́ ему Мак — жалованья прибавил? Или позаботился о крыше над головой?

Ох, насчет этого последнего пункта Крючочник просто себе покоя не находил. Он не был хозяином в собственной комнате, Фредрик Менза никак не умирал. Крючочник говорил Колоде: «Будь у меня твоя силища, уж я бы пришиб этого мертвяка», — вот что говорила Колоде эта личность с хилыми руками-ногами! Все бы, мол, ничего ему, видите ли, только силы не хватает! Колода отвечал: «Срам-то какой тебя слушать». — «У нас не продохнешь, мы погибаем!» — кричал тогда Крючочник. «Да уж, — отвечал раздумчиво Колода. — Дите, главное, жалко». Тут Крючочник еще пуще ярился: «Чего вот Йенс-Детород не вернется к этому трупу? А? Жил с ним небось до меня. Какое! Теперь он сам по себе!»

Колода был прав, главное — было жалко младенчика. Это был крепенький, темноглазый мальчик, и чистого воздуха мог он вдохнуть только тогда, когда его оденут и вынесут погулять, всю ночь он дышал воздухом, отравленным Фредриком Мензой, но на то и разумность природы: младенец не так восприимчив, он может многое вытерпеть. А Фредрик Менза лежал и твердил бу-бу-бу, или бо-бо так, будто взялся развлекать крошку, милый старичок никогда не жаловался, что к нему в комнату вселили маленького крикуна, и ведь на такого милого старичка тоже грех было жаловаться.

Проходят недели, мы замечаем, что длиннее становится день, благословенный свет постепенно возвращается к нам. Признаться честно, мне нелегко дались все эти темные зимние дни, сам не знаю, как бы я их и вынес, если б не помощь Божья. Хвала Ему! И ведь я сам, я сам во всем виноват, и больше винить мне некого.

Роза по-прежнему захаживала иногда в лавку, она брала с собой Марту, чтобы не скучно идти, да и чтобы помогла нести покупки, сама Роза уже заметно раздалась.

Как-то она мне сказала:

— Что же вы к нам никогда не зайдете?

— Да-да, спасибо, — только и ответил я.

— Вам, верно, некогда. Вы все ходите в Торпельвикен?

— Нет,— сказал я.

— А ведь следовало бы!

Это был последний мой с ней разговор перед одним важным событием. Мы оба стояли у прилавка, она протянула мне свою милую, свою теплую руку и вышла.

Она была в песцовом жакете. Странно теперь, как вспомнишь: такую власть имела надо мной эта женщина, что когда она вышла из лавки, я встал точно на то самое место, где стояла она. Там, мне казалось, осталось ее тепло, ее сладость, и мне так там хорошо было стоять. Я никогда не вдыхал ее дыхания, но я думал о том, как должно оно кружить голову, я заключал это по ее рукам, по ее светлому лицу, по всему, по всему. А может быть, просто обожание мое уже выходило из всяких рамок. Сколько раз я думал тогда: «Господи, дал бы ты мне Розу, и я был бы, верно, совсем другим человеком, глядишь, и вышло бы из меня что-нибудь в этой жизни!» Потом-то я научился ко всему относиться спокойнее, о, теперь я принимаю мой жребий. *Fiat voluntas Dei*¹.

Все идет своим чередом в Сирилунне, Мак заседает в конторе, Хартвигсен присматривает за прочим, только вот баронесса снова томится и не находит уже успокоения в религии. «Я не пойду больше в церковь, ну что он стоит и, как дитя, толкует о взрослых материях!» — сказала она о пасторе в нашем приходе. Потом-то она еще определеннее высказалась — это когда разгулялась на масленице и с девочками явилась пороть нас розгами — тут уж она сказала: «Надоели мне эти посты, покаянья, распятия хуже горькой редьки. А ну, хлестаните, девочки!»

Да, баронессе Эдварде рано или поздно все приедалось, вдруг опять на несколько дней она стала веселая, пела, хохотала, шутила! «Ну, чего тебе не хватает? — спрашивала она у степенной, богобоязненной Маргреты. — Ты вздыхаешь, кажется? О, с чего бы?» И ведь она расшевелила-таки тихую Маргрету, да, баронесса ее сбила с толку, слишком она ее донимала своими вопросами. Да и не могла, верно, Маргрета долго оставаться глухой к лукавым речам Мака, когда тот сидел в своей ванне, может, Маргрете и не всегда удавалось себя соблюсти. Когда Мак однажды велел ей пригласить к купанью еще и Эллен, жену Свена-Сторожа, Маргрета исполнила его

¹ Да будет воля Божья (лат.).

повеление со всегдашним своим ясным лицом. Ах, едва ли все это было на пользу юной Маргрете! А баронесса уже не вмешивалась в дикие выходки отца. Все вернулось на круги своя, будто и не бывало никогда периода набожности!

А у Эллен один был возлюбленный в целом свете — сам Мак. Удивительно! И она не терпела соперниц, вот теперь эта Маргрета — ну что ей нужно от Мака? Как-то вечером я слышу у себя под окном перебранку — они рассорились после ванны Мака. Обе совсем зашлись, они потеряли всякий стыд, ругаются на чем свет, они несколько не стесняются в выражениях. Я стучу им в окошко, но что им какой-то студент?

Эллен говорит своим хрипловатым, страстным голосом:

— Хороша, нечего сказать!

— А ты бы лучше помалкивала! — отвечает Маргрета. — Кто бы говорил!

— Ах, ты вот как! Да он небось сам тебя за мною послал?

— Ну и послал! Нельзя, что ль, себя по-людски вести?

— Скажи-ите! Какая примерная!

— Вот и примерная! А ты-то, ты-то? По-людски вести себя не умеешь!

— Ишь ты, — говорит Эллен. — Да тебя сразу по глазам твоим бесстыжим видать, кто ты есть! Тьфу!

— Ах, ты плевать? Плевать? Ну, я ему расскажу!

— Да на доброе здоровьице. Напугала! Ты б лучше мне рассказала, мне! Хорошо это по-твоему, что ты его во всех местах — во все-ех местах растираешь? А? Сама, сама видела!

— Что мне приказано, то и делаю!

Эллен передразнивает:

— Прика-а-зано! Ишь, святая! Небось уж он тебя как только ни шупал! Уж я-то знаю!

— Он — что? Доложился тебе!

— Небось и доложился.

— А вот я у него спрошу!

XXVI

Как-то утром Хартвигсен стремительно входит в лавку, заходит за прилавок, идет в контору. Он остается там всего несколько минут. В лавке его, как всегда, кто-то

ждет, желая о чем-то спросить, но Хартвигсен только рукой машет и говорит:

— Мне сегодня некогда, у меня дома супруга больная лежит!

Сердце у меня так и покатилося, у меня вырвалось:

— Уф!

— Да-да,— сказал Хартвигсен и расплылся в улыбке,— ей уж лучше, ну дак...

— Так это случилось ночью?

И Хартвигсен ответил:

— Что уж тут греха таить. Мальчик.

У Хартвигсена после бессонной ночи был гордый, счастливый вид. Он велел Стену-Приказчику отпустить двум нуждающимся женщинам товару, сколько попросят, и выскочил так же стремительно, как и явился. Он приходил, значит, только затем, чтобы оповестить Мака. Можно было не доверять Маку, можно на него злиться, но он настоящий барин!

Весть быстро облетела Сирилунн. Девочки просились к Розе, поглядеть на чудо, Мак распорядился поднять флаги и в усадьбе и на пристани. В Сирилунне, разумеется, частенько рождались дети, но ведь странно было бы, если бы Мак всякий раз поднимал по такому случаю флаг. Теперь-то дело особое! И этот знак внимания растрогал Хартвигсена. «Пусть что хотят толкуют про моего компаньона,— говорил он,— но насчет обхождения он человек обстоятельный!»

И баронесса, оказывается, не об одной себе могла думать. Она всякий день ходила проведать старую подругу и окружила ее нежной заботой. Она даже как-то и девочек с собой привела.

Роза уже вставала с постели, она выходила, я слышал, что молодая мать оправилась, повеселела, да, она не нарадуется на ребеночка. Я не хотел ей навязываться с моими поздравлениями и положил дожидаться случайной встречи.

И случилось так, что встреча наша произошла при обстоятельствах чрезвычайных.

Настало весеннее равноденствие, время бурь, море лежало черное, и темные были ночи. Как-то ночью я слышу, как свистит у нашего берега почтовый пароход, и думаю: «Сохрани, Господи, всех, кто путешествует по водам, выведи их невредимо на сушу!»

Утром прояснело, я оделся потеплей и отправился к пристани. И тут я нагнал Розу, я издали ее узнал по песцовому жакету.

Я не успеваю еще подойти, поздороваться, как она кричит:

— Видели вы Бенони?

— Нет.

Она чем-то ужасно встревожена, у нее дрожат губы. Она говорит:

— Опять он ко мне приходил... лопарь Гилберт. Он сказал... и я боюсь теперь дома быть, я оставила ребенка на няню. И вот — хожу, ищу Бенони.

— Полноте, успокойтесь. Что такое вам сказал этот Гилберт?

— Сказал, что тот вернулся. Да, нынче ночью. На почтовом пароходе. Николай вернулся. Не умер. Он у кузнеца. Не пойти ли вам вперед, посмотреть Бенони на пристани?

Я бегом бросился на пристань. Хартвигсена там не было. Некто вызвался мне помочь в моих поисках, я его не знал, но он разговаривал с бондарем, как со знакомым, меня же он только спросил, кого я ищу. Одет он был очень прилично, он поклонился мне, как человек хорошего общества, и я ответил, что ищу я Хартвигсена, жена его ищет, она там, на дороге стоит. И тотчас он рьяно взялся мне помочь в моих поисках.

— Я вам помогу его разыскать, я его знаю.

И мы побежали взапуски к Розе.

Едва она нас завидела, еще издали, она будто задрожала вся и всплеснула руками. А я-то, я ничего не понимал, я ничего не соображал, я ни о чем не догадывался. Она повернулась, чтобы уйти, а я подумал: она увидела, что я не нашел Хартвигсена, и снова перепугалась! Но к чему так отчаиваться, Хартвигсен ведь, верно, на мельнице, его можно найти за какие-нибудь четверть часа. Роза шла от нас прочь, в расстоянии нескольких шагов, и на нее было жалко смотреть, словно зверек какой, в этом песцовом меху, убегала она от нас не оглядываясь. Скоро мы услышали сдавленный стон — тоже как будто выл зверек. И вот вдруг она метнулась с дороги в сторону, прямо в глубокий снег, и потом к догола обметенному ветром камню.

Когда мы к ней подбежали, я увидел, как изменилась она в лице, она стала серая вся. Она дрожала и задыхалась.

— Не бойся, Роза, — вдруг сказал ей этот человек. — Мы ищем Бенони. Разумеется, он на мельнице.

И вот тут до меня доходит, что этот человек — сам Николай Арентсен, несчастный, которого Господь нынче

ночью невинно вывел на сушу. А я-то, глупец, привел его прямо к Розе!

Я стоял как громом пораженный, я не знал, что мне делать. Он тоже ничего не предпринимал, он только снял меховую шляпу и сказал при этом несколько слов. Он был совершенно лыс.

— Уверяю тебя, Бенони на мельнице,— сказал он.— Поверь, он тут, совсем рядышком.

Роза вглядывается в него и неверным голосом спрашивает:

— Что тебе нужно?

— Уф, и жарко же было бежать, однако!— отвечает он и снова надевает шляпу.— Чего мне нужно? Так, кой-какие дела. Да и здесь у меня мать-старуха к тому же.

Я подхожу к Розе, беру ее под руку и хочу увести.

— Нельзя вам сидеть на мерзлом камне,— говорю я.

Она не встает, она отвечает как в забытьи:

— А-а, не все ли равно...

— Да-с, я прибыл ночью, почтовым пароходом,— продолжает он.— Погодка гнусная, богомерзкая погода. Я нашел приют у кузнеца. Мы до утра дулись с ним в дурачки — невиннейшее времяпрепровождение.

С меня было довольно, и раз она не желала уйти со мной, я решил оставить ее и дальше искать Хартвигсена.

— Не уходите!— сказала она.

Тот тоже на меня посмотрел и сказал, как бы стараясь ей услужить:

— Да-да, не уходите. Все в наших руках, мы непременно разыщем Хартвигсена!

В ту минуту у меня разом мелькнули две мысли: Роза называла меня ребенком, и почему бы ребенку не присутствовать при разговоре двух взрослых? Неужто опять она с этим своим презрением?

— Нет, я пойду, зачем же...— сказал я.

— А затем, затем... Оставайтесь!— сказала она.

Вторая же моя мысль была: ей спокойней, когда я под боком. Она не могла избежать этой встречи, а теперь она хочет с ним поскорее разделаться. И я остался.

— Это Николай,— говорит она мне.

— Николай Арентсен,— говорит он.— Бывший адвокат. В свое время я тут был, можно сказать, царь и бог Николай Арентсен—закон. Ну, а теперь я—евангелие.

Поскольку вся эта тирада обращена ко мне, я считаю нужным справиться:

— И какое же евангелие вы нам пришли провозвестить?

— А знаешь ли, что я должен сказать тебе, Роза,— говорит он, вдруг совершенно забыв обо мне,— мне кажется, нам с тобой лучше обоим разом, да в воду.

— Да, оно, верно, и лучше! — говорит она.

Пауза.

Я посмотрел на него: за тридцать, довольно заурядная внешность, с брюшком, короткая шея, красивый рот.

— Нет, отчего же лучше? — вдруг говорит он. — У тебя муж, ребенок, долгая жизнь впереди. Нет уж, Роза.

На это она ответила:

— Ты, я вижу, все тот же.

Я подумал: «Господи, и зачем она тут сидит и поддерживает эту беседу? Неужто нельзя встать и уйти?»

И тут он ей выкладывает:

— Вот-вот, Роза, а я что говорил? Ведь говорил же я, что тебе следует выйти за почтаря Бенони, а вовсе не за меня? Это младенцу понятно.

— Но я снова вышла замуж, что же ты про это молчишь?

— Нет. Тут все в порядке.

— В порядке? — переспрашивает она, впервые, кажется, с живым интересом. — Мне сказали, ты умер, вот я и вышла.

— Нет-нет, тут все в порядке, то есть какое, к черту, в порядке, но я и приехал навести порядок. Умер? Разумеется, я умер. За то мне и вознаграждение было обещано. Но я его не получил сполна, добрые господа меня надули. Вот я и выплыл, и ожил.

Она, конечно, привыкла к его безудержному цинизму, но все же ее передернуло, и он это заметил.

— Ну как же! Как же! — запричитал он. — Ты в совершеннейшем ужасе, и прочая, и прочая! Но я отнюдь не собираюсь жить по получении вознаграждения, я тотчас снова умру! Благодарю своих жуликов за то, что я здесь, пред тобой. Я их дважды остерегал, неужто они не могли тебя от этого уберечь? Я дважды оповещал мою мать о том, что я жив, но жулики меня не добились.

Роза вдруг успокоилась, она сложила руки и сказала:

— О, как это все мерзко!

— Да, я мерзок, мерзок, я все тот же. Но господа-то, господа, а? Впрочем, пойми меня правильно: я не столько твоего мужа подозреваю, сколько его поверенного.

— Да кто это? Ничего не пойму...

— Это Мак.

Что-то мелькнуло в нем даже привлекательное, однако грубая откровенность его была достойна лучшего применения. Мне хотелось выручить Розу, и я сказал:

— Простите, но отчего вы его не спросите, зачем он вас посвящает во все подробности своей сделки?

— А это я тебе сейчас объясню,— отвечал он, обращаясь к Розе.— Твой брак с Бенони—законнейший брак, и тут я ни на что решительно не посягаю. Заслуженнейшее презрение твое я испытывал долгие годы, и чтобы вынести память обо мне, тебе пришлось бы воротиться к временам нашей юности, ко мне прежнему, давнему. И довольно. Но дело-то в том, что я хочу получить обещанное вознаграждение, у меня на него кой-какие виды. Вот я и подумал: а вдруг мне Роза поможет?

— О временах нашей юности— это ты верно сказал,— проговорила Роза, отвечая каким-то собственным мыслям. Она, кажется, еще что-то хотела сказать, но он перебил:

— О, как же. Ты сама это мне говорила, я знаю, все знаю. И если тебе угодно носиться с этими воспоминаниями— так и на доброе здоровье! Но ведь ты бы хотела, чтобы я и сейчас тебя растрогал и чтобы можно было меня пожалеть. И я бы пролил слезу о том, что в тебе потерял, и разве ты бы не наслаждалась, если бы, идя навстречу тонким твоим сантиментам, я на коленках бы ползал перед тобою и целовал твои башмаки?

Никогда не забуду: невозможный, совершенный цинизм этого негодяя вызывал во мне уважение! Он помог ей подняться, она вскочила и мучительно, обиженно наморщила брови.

— Мне больше не о чем с тобой говорить!— сказала она.

— Ну, а если я вспомню твою жаркую, раскаленную улыбку?— спросил он невозмутимо.

— Нет,— только и ответила она, и тотчас снова села, и она все била, била по снегу носком башмачка. Никогда еще я не видел ее такой оскорбленной.

— Иди к своему ребенку!— сказал Николай Арентсен вдруг серьезно и веско.— Мы покончили наши счета.

— Да,— сказала она.— Видит Бог!

— Только я вот вознаграждения не получил.

— Ты его непременно получишь. Я переговорю с Бенони.

— Благодарствую.

— Это, конечно, какая-то ошибка. Бенони не виноват, я уверена.

— Справедливо. Но зачем же ты сидишь в снегу? Моя миссия окончена.

Пауза.

— Сама не знаю,— ответила она.— Верно, я хочу посмотреть, не сделается ли тебе стыдно.

— И напрасно, Роза!

— Стало быть, тебе за меня недоплатили?

— Гм. Так тебе еще мало? — спросил он и распрямился.— Мы покончили наши счета. А засим — прощанье навеки, не правда ли?

Роза качает головой и говорит:

— Но мне кажется, ты хватил через край!

— И так далее, и тому подобное. Нет, мой друг, ничуть не бывало. Просто ты не утолила своего сердца, вот в чем беда. И теперь как же тебе хочется хоть слезинку выжать над нашим прошлым, когда ты вернешься домой!

— Нет-нет, уж я не заплачу.

— А ведь именно этого тебе бы хотелось.

О, сомненья быть не могло, каждый новый его выпад больно ее ранил. Наконец она встала, вышла на дорогу и направилась к дому. Мы пошли за ней.

— Постарайтесь же найти для меня Бенони! — сказала она мне.

Она невольно замедлила шаг у своего поворота. Арендсен снял шляпу и сказал:

— Ну, спасибо тебе, ты, стало быть, переговоришь с твоим мужем?

Она, не глядя на него, кивнула.

— Прощай! — сказал Арендсен и снова надел шляпу.— Но чего же ты еще ждешь?

— Ах, да замолчи ты! — крикнула она вдруг.— В жизни я не слыхала подобного! Чего я жду? Просто я хотела вас попросить,— она повернулась ко мне,— вы, конечно, найдете Бенони на мельнице.

Я кивнул на это, а Арендсен снова вставил:

— Да, это мы знаем, я, во всяком случае, видел, как он туда направлялся. Но ведь ты дожидаясь последнего слова? Какое оно будет? Не правда ли? Что ж, я тебе скажу: ты теперь совладелица в лавке, так, может, ты не откажешь мне отпустить в кредит бутылочку-другую винца?

Роза повернулась и, не оглядываясь, пошла к дому.

Снова мы с ним оказались вдвоем. Мы оба молчали. Я думал о том, как излишне жесток был этот человек и с самим собою и с Розой, но если он так себя вел для того, чтобы ей было легче, не такое уж он ничтожество, и даже напротив.

Мы прошли мимо Сирилунна и дошли до поворота к кузнецу. Тут Арентсен сказал:

— Вы, значит, ищете Бенони? Найдете — так я тут у кузнеца, если что.

Я пошел дальше, к мельнице, нашел Хартвигсена и все ему передал. Хартвигсен сперва онемел, наконец он выговорил:

— Опять шутки милого Мака, его рука. Может, и вы пойдете со мной к кузнецу?

Я попросил было меня уволить, но Хартвигсен сказал: «Должен признать, все бы отдал, чтоб только его не видеть», — и я отправился с ним.

Мы подходим к дому кузнеца, Арентсен, верно, увидел нас в окно, он стоит на пороге и ждет. Они кланяются друг другу, я говорю: «Вот вам Хартвигсен», — и отступаю в сторонку. Несколько минут они разговаривают, каждый называет какую-то сумму, оба, кажется, изумлены.

— Да, это все, что я получил, и не более, — с нажимом говорит Арентсен.

Хартвигсен протягивает ему руку и уходит.

— Ну и задам же я перцу этому Маку! — сказал мне Хартвигсен.

Мы пошли в лавку, Хартвигсен вошел в контору, я его дождался. В конторе он был четверть часа, потом мы пошли к его дому. Он сказал:

— Жуть с этим Маком! Он же мне и моей супруге внушил, что Николай умер.

— А сейчас он что говорит? — спросил я.

— Что говорит! Он мне ответил: «Да, для Розы, для тебя и для всех он умер!» Вот он как мне ответил. Хитрая bestия! Нет, другого такого поискать!

— А про деньги он что говорит?

— Да станет он отчитываться! Как же! Сумму аж стыдно назвать, какую он мне заломил. И ведь надул! Николаю-то он пообещал куда меньше, на несколько тысяч талеров меньше. «Что же это значит?» — спрашиваю я у Мака. «Да то и значит, что я был твой посредник!» Так и ответил. «Я взялся устроить Розе развод за известную сумму, а мои расчеты с Николаем тебя не

касаются, Хартвич!» Вот и весь сказ. Слыхали такое? Шельмец! И это мне благодарность за то, что я по доброте душевной откопал ему эту ванну, чтоб он снова вел свою развратную жизнь!

— Но он и того не заплатил Арендсену, что пообещал?

— Ну. Только половину отдал. А на вторую половину надул бедолагу. «Как же вы так?» — я у него спрашиваю. «Ничуть я его не обманул, — он мне говорит. — Никогда я не обещал ему все сразу, пускай подождет, а мне деньги для нашего оборота нужны». Э, да что с ним толковать, у него на все есть ответ.

Хартвигсен остановился у своего поворота.

— Идите же к своей супруге, — сказал я. — Она вас заждалась.

— Да, бедная Роза, — ответил Хартвигсен и посмотрел в сторону дома. — Весь день искала меня, говорите? И как же ребенок? Но Николай-то какой стал из себя, аж не узнать. Бесподобно! И я так решил — чем ему ждать этих денег, я прямо все ему и отдам. Я уж ему обещался. И сегодня же будет сделано.

XXVII

Дома мне не сиделось, я и нигде-то не находил себе места, я все бродил, и я видел, как Хартвигсен еще раз прошел к кузнецу. «Это чтобы деньги отдать Арендсену!» — подумал я. На другой дець к вечеру я опять спустился к пристани и надеялся еще кое-что разузнать, проходя мимо дома Розы. Но ничего я не разузнал, Роза стояла у окна с ребенком на руках, она была весела, спокойна, она высоко подняла ребенка, когда я шел мимо, а я приподнял картуз и подумал: «Слава Богу, кажется, обошлось!» И пошел дальше, к пристани.

На длинной набережной стоял Хартвигсен и разговаривал с кузнецом, бондарь что-то объяснял двоим рабочим, так что, кроме меня, тут сошлось пятеро. Хартвигсен разговаривал с кузнецом про его гостя, его очень занимал Николай Арендсен, тот произвел на него самое благоприятное впечатление.

— Вот стою, рассуждаю с кузнецом про его постояльца! — сказал мне Хартвигсен. — Я вчера ему кой-каких деньжат снес, уж он меня благодарил, оченно остался довольный. Это не мой долг был ему платить, это Мака

был долг, а не мой. Ну, да ладно. Не обедняю. Он теперь дома?

— К матери своей пошел,— ответил кузнец.

Хартвигсен продолжает про Арентсена:

— И ведь вспомнил вчера меня поздравить с сынком. Бесподобный человек, право слово!

— И правда,— сказал кузнец.

Добрый этот Хартвигсен, он был так удивлен и обрадован, что Арентсен не предъявлял никаких прав на Розу, что сердце его окончательно переполнилось.

— Ученый человек, все науки превзошел,— сказал он.

И снова кузнец закивал головой:

— Вот уж правда истинная!

И тут Хартвигсен сказал:

— Я бы с удовольствием, чтоб он у меня был домашним учителем.

Оба мы с кузнецом не знали, что на это ответить, и Хартвигсен переводил взгляд с одного на другого.

— За ценой бы я не постоял, да и вкусно покушать в моем доме всегда можно.

— Для него бы не худо,— сказал кузнец.— А вы уж ему закинули словцо?

— Нет еще.

— Пожалуй, и не стоит,— сказал я.

— Да? Ну, не знаю, не знаю. Ведь я и кого похуже чуть не нанял, как теперь погляжу. Здесь-то ученость по всем статьям.

— Поговорите лучше с вашей супругой,— сказал я.

— Да я уж и говорил,— сказал Хартвигсен.— Какое! И слышать не хочет. Чтоб ноги его в доме не было, говорит. Ну, это она через край хватила. Дамский пол — он всегда с капризом, а моей супруге — ей только меня одного подавай.

Вдруг на набережную выходит сам Николай Арентсен. Мы все приветствуем его еще издали, и Арентсен нам отвечает. В нем не заметно ничего необычного.

— Хотите поучиться самоубийству, ребята? — говорит он.

Мы не нашли с ответом, но кузнец знал его лучше, он решил, что это обычные его шутки, и ответил:

— Самоубийству? Оно бы и в самый раз.

И тут Арентсен разбежался и спрыгнул с набережной.

— Да что же это!.. — мы смотрели друг на друга, на бухту.

Бухта не замерзала всю зиму, была только тонкая корочка льда, человек пробил в ней дыру своей тяжестью и исчез в мгновение ока. Кто-то высказал предположение, что он решил искупаться, но погода и время года были вовсе для этого неподходящие, кузнец понял, что случилась беда, и кинулся вниз по лестнице, к лодке. Остальные еще не могли опомниться, потом Хартвигсен крикнул бондарю, чтоб спускался с ним в другую лодку.

На двух лодках мы искали баграми, и кое-кто среди нас это умел, час искали, два искали — все напрасно! У набережной-то было мелко, но, видно, подводным течением дальше и дальше уносило Арентсена, на глубину, а там сажен десять. Когда стемнело, пришлось нам оставить поиски.

— А ведь так я и знал! — сказал кузнец на возвратном пути. — Уж больно он чудно говорил. Давеча я спросил, за что он теперь примется. «Ни за что не примусь», — говорит, — я давно взял полный расчет», — говорит. «Но у вас ведь деньги теперь завелись», — я ему говорю. «А это, — говорит, — материны деньги». Нынче еще утром сказал: «Ты уж приходи через часок на пристань!» — «Беспрерывно, — говорю, — приду». А он шляпу надел — и к матери.

Мы задумались и примолкли. Хартвигсен дошел до своего поворота и распрощался с нами. Мы с кузнецом пошли дальше.

Я все думал про Николая Арентсена, и я спросил:

— Что еще говорил он вам, ведь вы много с ним разговаривали? Что он вчера вам сказал, когда повидался с Розой?

— А ничего, почитай, и не говорил. Что ему Роза? Они у меня жили обои, когда поженились. Нет, он сказал только, что вот, мол, я и встретил Розу и слегка ее поскреб скребницей. Он вечно эдак загнет. А теперь, мол, я испытываю удовольствие, какое и всегда человек испытывает, когда ловко обставит кого-то. Его слова. А больше он ничего не сказал. Однако — сперва мать обеспечил, а потом уже в воду.

Проходит недели две, жизнь снова входит в свою колею. Я уже решил: весной я уйду к Мункену Вендту и буду с ним странствовать вместе. Я бы и сразу, я сейчас бы ушел, да баронесса меня уломала остаться и девочек подослала меня упросить. И вот идет день за днем.

От Розы нет никаких вестей. А ведь как она меня во все посвящала, да и последних событий я был отнюдь не

сторонний свидетель. Но у нее нет больше потребности со мною делиться.

Роза совсем оправилась, кажется, она весела и довольна, с тех пор как исчез Николай Арентсен, ее не точит никакая забота. Она живет ребенком и мужем. Словом, все к лучшему!

Хартвигсен тоже, кажется, совсем успокоился, он не жалуется уже, что Роза все чего-то боится, напротив, он не нахвалится, как она к нему добра, и только посмеивается над ее вечными напоминаниями, чтобы он потеплей одевался. Да и на ребенка, шумного, чудного мальчика в коротенькой рубашонке, он не нарадуется.

Как-то Хартвигсен мне говорит:

— Вы только не пугайтесь, но вот-вот вы получите одно извещение.

— Что за извещение? — говорю я.

— Не печальное, уж будьте удостоверены, а так, шальная мысль одна завелась в одной голове — кое-что учинить, как говорится, по такому случаю. Больше я ничего не скажу!

Но поскольку я не выказываю никакого любопытства и ни о чем не расспрашиваю, Хартвигсен продолжает:

— Хочется потешить мою супругу, да и себя самого. И окромя прочего, ребеночка окрестить пора.

«Пир!» — подумал я.

— Нечего вам гадать! — сказал Хартвигсен и расхохотался, добродушно посверкивая желтыми большими зубами. — Об заклад буду биться — не догадаетесь!

Ночью я опять встаю с постели и проделываю старую свою, напрасную прогулку к пристани. У Розы в спальне горит ночник, верно, ради младенца. Все спокойно. «Доброй ночи! — думаю я. — Господи, хоть бы завтра она за мною послала!»

С утра я никакого приглашения не получил, но Хартвигсен шел в лавку, я увидел его и тоже туда пошел. «Может быть, она его просила меня позвать?» — подумал я. Хартвигсен снова принялся за вчерашнее и подпустил еще несколько туманных намеков о том, что он намерен на днях предпринять. Тут я спросил:

— Дома у вас все благополучно?

— Спасибо, спасибо, — ответил он. — Вы ведь и ребенка еще не видели, что так? Моя супруга все интересуется.

И я пошел к Розе. Я на ребенка иду посмотреть, сказал я сам себе. Визит этот мой был недолгий, ах нет, совсем был короткий визит, но привел к окончательной ясности.

Роза сияла бодростью и свежестью, ничего не осталось от прежней ее печали. Она спросила, куда это я подевался. Уж не ребенок ли на меня страху нагнал? «Пойдемте, я вам его сейчас же и покажу!»

Я поднялся с нею наверх. Там сидели старая няня и Марта. Они хотели уйти, но Роза сказала:

— Нет-нет! Сидите, мы только взглянуть на принца!

Принц спал. Да, настоящий принц, крупный, хорошенький, в белом чепчике. Он чуть-чуть пошевеливал пальчиками. Роза на него смотрела не отрываясь, она наклонила голову к плечу и все смотрела на него. Я сказал несколько слов, по-моему, подходящих к случаю, и подержал его за ручку.

И мы снова спустились.

— Ну, рады вы теперь? — спросил я.

— Да, теперь рада.

Меня чуть-чуть покорило, не от зависти, нет, просто мне стало обидно, что Роза так рада. Видит Бог, я от души желал ей добра, но мне хотелось в ней видеть и к другим хоть немного сочувствия. И вот я сидел у нее и огорчался ее счастьем.

— А вы, верно, бывали в Торпельвикене с тех пор, как мы вас не видали? — спросила она и засмеялась.

— Нет, — только и сказал я.

Она заметила, что я обижен, тотчас сделалась серьезна и решила свернуть на другое:

— Я хотела только справиться о моих старичках. Но надеюсь, они здоровы и благополучны. Вот скоро отец принца нашего будет крестить.

— И как вы его назовете? — через силу выдавил я.

— Пока не решили, — ответила она. — Мой муж хочет назвать его Фердинандом, в честь Мака. А я сама не знаю.

Она сказала «мой муж», я заметил. Раньше она называла его только Бенони, раньше она скорее Арентсена считала своим мужем. Да что же это такое кольнуло меня тогда? Зависть? Злость? Я решил ей напомнить про Арентсена, про катастрофу, я сказал:

— И вы уж не испугаетесь теперь лопаря Гилберта?

— Нет, — сказала она и покачала головой. — Теперь я его не боюсь.

— И вам нечего больше печалиться о несчастье, — сказал я, — о катастрофе.

— О чем вы... Ах! Нет, я про это даже не хочу

вспоминать. Это все точно давным-давно было, точно сто лет назад.

И тут я сказал:

— А стоило бы и вспомнить, однако.

— Не знаю,— сказала она.— Это так далеко отодвинулось. Нет-нет, это все отошло, вы же слышали сами, чего он мне тогда наговорил. Нет, это конец, и я рада. Разумеется, слишком печальный конец, но все же. А мне остается быть верной себе и своим.

«И только!» — подумал я. Но ведь тут и я сижу перед нею, мне-то куда прикажете деться? Все ниже и ниже я опускался, мысли мои все тесней замыкались вокруг одного-единственного человека. Отчего я не встал тогда, не ушел? На меня напала такая тоска, я уже ничего не соображал, я сам слышал, как что-то сказал, как она переспросила: «Что-что?» Ах, куда подевалась моя горькая, моя стойкая гордость, да, мой удел был жалок, но из жалкости этой я сделал себе положение, поприще, я стал совершенно как Йенс-Детород, когда он выклянчивал кости.

— Я нынче ночью стоял под вашими окнами и видел у вас свет,— сказал я.

Неужто не поможет и это? Ну, поблагодари же меня, растрогайся, улыбнись!

Роза сморщила нос.

— Верно, это вы для ребенка засветили ночник? Он по ночам не спокоен...— стал было я продолжать и оставил.

— Нет-нет,— встрепенулась Роза.— Его только покормишь, и сразу он опять засыпает.

Теперь надо было встать. Мункен Вендт тут бы встал, и Николай Арентсен тоже.

— Так-так-так,— сказал я и вздохнул, и принялся разглядывать стены и потолок, чтобы казаться равнодушным.— Вот, не знаю, что мне делать весной, идти мне с Мункеном Вендтом или не стоит.

— А-а, вы, значит, не остаетесь в Сирилунне? — спросила она.

— Сам не знаю. Лучше всего, верно, было бы в воде лежать, на десятисаженной глубине.

— Нет, ну зачем так отчаиваться! — говорит Роза с дружеским участием.— Бедненький, до чего же вам худо...— И вдруг я вижу, что она прислушивается к шагам наверху.— Кажется, принц проснулся! — говорит она и встает.

И тут только я наконец встаю и протягиваю ей руку.

— Если встретите моего мужа, скажите ему, чтобы не забыл, о чем я его просила,— сказала мне Роза уже на крыльце.

Мне было так тяжело, я был сам не свой, я ответил:

— Разве что не запомню. Попытаюсь, однако.

— Да-да,— ответила Роза покладисто и стала подниматься по лестнице.

По дороге домой я поклялся себе, что ноги моей не будет в этом доме до самого распоследнего прощанья. Я встретил Хартвигсена и передал ему поручение.

— Как забыть, я за тем ведь и шел,— сказал он.— Моя супруга несколько дней все ко мне приступала, мол, сведи счеты в лавке, с Маком и прочее, мол, надо знать что к чему. Это она правильно. Теперь у нас ребенок, надо и о других, не только о себе позаботиться. Вот я все до нитки и сосчитал. Суммы, заметьте себе, такие, что другой кто и закачался бы и упал, и речи решил. Это уж скажу я вам!

Хартвигсен, кажется, остепенился, это Роза ему помогла, и впредь его будет путеводить ее добрый и кроткий разум. Потом уж узнал я от Стена-Приказчика, что у Хартвигсена в лавке был ужасающий личный счет и теперь он его погасил. Приятно, конечно, было поговорить о великодушии Хартвигсена ко всем нуждающимся, но не мог же он вечно повторять: «Запиши на Б. Хартвича!»

Суций ребенок. Он стоял на дороге после такого важного дела и думал лишь об одном: чтобы я, посторонний, полнобовался его могуществом.

— Да, другой бы кто закачался и упал,— сказал он.— А я вон устоял! Нельзя же!

И тут снова он стал намекать на кое-что, что на днях решил предпринять:

— Все на широкую ногу! Денег уйма уйдет.

И Хартвигсен раскланялся и, смеясь, удалился.

XXVIII

Вот-вот и Пасха, кое-какие суда возвращаются уже с Лофотенов с рыбой для всего околотка. Рыба хорошая, все смотрят с надеждой в будущее.

Нынче шестнадцатое апреля, ровно год, как я приехал сюда. Я сижу в своей комнате и все думаю-думаю, я оглядываюсь на мою жизнь. Солнце поднимается высоко, и я решаю начать новую картину, изобразить то, что

вижу я из окошка: поля, край мельницы и горную грядку за мельницей, в сверкании солнца и снега. Я стану писать мою картину на Святой, когда так долго тянутся дни. Хоть оно и трудновато для глаз.

Девочки выпросили у матери шелковый желтый платок, чтобы глядеть в пасхальное утро, как солнце пляшет от радости, что Христос воскрес. В Финляндии оно плясало. Они обещали, что и мне дадут поглядеть. Милые, добрые детки, ни разу-то мы не поссорились, кроме того случая летом, когда они измяли букет, который я нарвал совсем для другого человека. Потом уж я думал — быть может, и кстати, что букет был измят и я его не стал преподносить, кто знает? А с тех пор мы ни разу не ссорились. Осенью они меня, бывало, бросали, предпочитали общество Йенса-Деторода, но скоро снова они возвращались ко мне, а зимою мы часто ходили на лыжах, катались на санках. Они часто навещают меня в моей комнате, и всегда постучатся, а если вдруг и забудут, тотчас выскочат и постучатся в дверь. Мне от них одна радость. Я не знаю, как уж им за нее отплатить, они вечно прибегают ко мне в неуточное время и требуют сказок, и я им никогда не отказываю, разве прошу отсрочки, если занят своей картиной.

После Святой Хартвигсен с одним из судов, приходивших домой на побывку, ушел на Лофотены. Надо было присмотреть, как там его двое шкиперов, стоя на якоре, скупают рыбу. О, у Хартвигсена столько забот!

Через четыре дня он, однако, вернулся, еще более важный и гордый: он нанял себе пароход, целый корабль! Он сам стоял на капитанском мостике вместе с капитаном и отдавал команды рулевому. Все это совершалось среди бела дня, мы все сбежались на пристань смотреть. Вот Хартвигсен крикнул: «Забрать швартовы!» — и якорь грохнулся вниз.

Не это ли — важное событие, на которое он все намекал? Богач Хартвич из Сирилунна нанял пароход, чтоб вернуться домой с Лофотенов. Он стоял на капитанском мостике и прикидывался, будто нас не видит, но я-то знаю, он прекрасно нас видел, и его буквально распирало от счастья. Потом он сошел на берег вместе с капитаном. Мы их приветствовали. Хартвигсен радовался, как мальчишка. И они проследовали мимо.

Но большой пароход нужен был Хартвигсену, оказывается, не только для возвращения с Лофотенов, нет, он должен был везти его сына на крестины. Так вот оно —

событие, а прочее все чепуха рядом с ним. Крестить ребенка собрался отец Розы, пастор Барфуд в соседнем приходе, путь туда не близкий, и Хартвигсен решил потешить Розу необычным рейсом.

В полдень Хартвигсен явился в Сирилунн и, желая говорить с Маком и баронессой, прошел в гостиную. Разговор был важный — он приглашал своего компаньона и дочь его в крестные к сыну. Ох, этот Мак, можно его ненавидеть до смерти, но он господин почтенный и благовоспитанный, тут уж кто спорит! Мак тотчас согласился, сказал, что премного обязан, то же отвечала и баронесса.

— А как вы его назовете? — спросила она.

Но тут Хартвигсен несколько замялся с ответом:

— Еще не решено. Но моя супруга найдет имечко своему принцу. Она его все принцем зовет.

Дело в том, что Хартвигсен хотел было назвать мальчика Фердинандом в честь Мака. Но Петрина, которая была раньше горничной, а потом вышла за Крючочника, перебежала ему дорогу: она на Пасху окрестила своего мальчика Фердинандом — и ведь имела право. А кто удивлялся, что Мак этому не воспротивился, тот просто плохо его знал. «Пожалуйста», — только и сказал ей Мак.

Прежде чем уйти, Хартвигсен и меня просил завтра пожаловать на пароход и принять затем участие в празднике в честь крестного и крестной, но я поблагодарил и ответил, как уже было однажды, что у меня нет подходящего к случаю платья.

— Ах, у него фрака нет! Он скорее умрет, чем явится в свете без фрака! — сказала баронесса и расхохоталась.

— Так меня воспитали в нашей хорошей семье, — сказал я.

Мак кивнул и за меня заступился. Ну, а для меня важней был кивок и несколько добрых слов Мака, чем весь этот баронессин хохот. Немного погодя она все же сказала:

— Что ж, вы, разумеется, правы!

И вот в доме у Хартвигсена и в Сирилунне началась подготовка к празднику. Баронесса обещала взять с собой девочек, те так и горели от нетерпения, Марту тоже решили взять, и ее отец Стен-Приказчик очень гордился. Хартвигсен погрузил на пароход уйму закусок, вин и сладостей, чтобы не утрудить тестя с тещей.

И корабль отправился в путь.

Через два дня он вернулся и всех доставил обратно.

Все сошло прекрасно, мальчика окрестили Августом в честь Розиного отца. Судно до утра стояло в гавани, я побывал на борту, Хартвигсен повсюду меня водил и приговаривал:

— Да-да, видно, куплю я его, не миновать!

Но уж потом как-то приходит в лавку смотритель Шёнинг и спрашивает:

— Зачем эта несчастная посуда появлялась тут дважды?

— Хартвигсен сына возил крестить,— отвечаю я.

Смотритель улыбнулся бледной своей улыбкой и сказал:

— И вольно же человеку деньгами сорить!

— Хартвигсен, кажется, купит корабль,— сказал я.

Тут смотритель покачал головой и сказал:

— Пусть он сперва кашу купит.

Но Хартвигсен вовсе не намеревался и впредь сорить деньгами, как глупый богач. Он, разумеется, хвастал тем, как пышно обставил он великое событие, но уже не предоставлял всем и каждому своего счета в лавке. Я сам слышал, как он сказал одной женщине: «Насчет кофе и прочего баловства — это ты с моей супругой обговори». Что было мне до Хартвигсена и Розы, а ведь я невольно обрадовался, когда это услышал. Он, конечно, был еще очень богат, и Роза взялась наставлять его, как распоряжаться своими средствами поразумней.

О, все шло как нельзя лучше.

Если б только не злополучная баронесса Эдварда. От нечего делать она снова принялась одолевать Хартвигсена. Право, и смех и грех. Она попадалась ему на набережной, у мельницы, подстерегала на дороге, увязывалась за ним, но Хартвигсену надоели, верно, ее выпренные речи, в которых он ни бельмеса не понимал, и он норовил поскорее с ней распрощаться. Так шло некоторое время, миновала зима, а баронесса от своего не отставала. Но Хартвигсена уж никак нельзя было сбить с толку, он теперь целиком был во власти Розы.

— Напишите опять Мункену Вендту, пусть явится! — сказала мне баронесса.

— Я сам скоро отправлюсь к Мункену Вендту,— ответил я.

— Ах, так вы нас покидаете! — только и сказала она.

И снова принялась уловлять Хартвигсена.

Эта упрямец никак не желала смириться с тем, что Роза так его к себе привязала, да, она стала даже

с ним говорить более естественным тоном и изъясняться удобопонятней. Но Хартвигсен был как камень. Про Розу она говорила: «Ишь, как вцепилась в своего мужа и сына!»

Нет, иногда эта немислимая дама вела себя совершенно неподобающим образом, даром что баронесса!

И какое различие у нее с отцом! Никогда не бывало, чтобы тот потерял самообладание, вышел из равновесия. Например, старая Малене, мать Николая Арентсена, принесла к нему в узелке полученные от сына банкноты. Чтобы деньги сберегались у Мака! А Мак даже бровью не повел, он ответил: «Вот и ладно. Ты помещаешь свои деньги и будешь за то получать у меня все товары, какие тебе понадобятся». Он занес сумму в гроссбух и кивнул Малене. «Я из-за них сна лишилась»,— сказала она. «Теперь можешь спать спокойно!»— ответил Мак. Когда Хартвигсен про это услышал, он всплеснул руками и сказал: «Выходит, он в третий раз этими деньгами унавозится!»

Как-то баронесса просит меня, чтобы я пошел с нею вместе к Фредрику Мензе.

— Ужасно, как он там лежит,— говорит она.— Надо у него прибраться!

Я не очень понимал, отчего именно меня избрала она сопровождающим, но решил, что тут снова набожность, желание добрых дел, и пошел.

Старик лежал один-одинешенек. Петрина ушла с ребенком. Воздух был невозможный, ужасный, пол и стены загажены, баронесса распахнула окно, чтобы не задохнуться. Потом она сделала кулек и сказала мне:

— Я не была бы купеческой дочкой, если бы не умела сделать кулька!

Старик отвечал на чужие голоса «Тпру!», приняв, верно, нас за лошадок. Баронесса обирала с него насекомых и сбрасывала в кулек.

Я думал: как удивительно уживается в этой даме хорошее и дурное, она не считает для себя зазорной работу, которой гнушаются ее слуги. Потом она принялась чесать старика, а он помогал ей, пошевеливая пальцами.

— Подержите кулек!— говорит мне баронесса.

Она берет гребень и расчесывает ему волосы. Ах, какая же это мерзкая работа и какой требует осторожности! В довершение бед старик не желает лежать тихо. Бедного Фредрика Мензу все некому было вычесать,

и вот Господь ему ниспослал наконец этот дивный миг! Он облизывается, он хихикает от блаженства. Он говорит: бу-бу-бу! Баронесса бережно собирает вшей в кулек. О, никто бы этого не мог сделать проворней!

— Кажется достаточно? — спрашивает она и заглядывает в кулек. — Да, пожалуй.

— Достаточно? — спрашиваю я.

— Я просто подумала...

И вдруг она принимается расчесывать старика длинными, сильными взмахами, уже не обчищая гребня, так напористо, рьяно, я едва поспеваю хоть что-то собрать с подушки. Старик блаженно хохочет и бьет, как пьяный, в ладоши. Он говорит: бу-бу-бу, и кивает, и снова хохочет. Но вдруг счастливое лицо его передергивается, и он кричит: «Черт!»

— Ему, верно, больно, — говорю я.

— Да ну! — отвечает баронесса и продолжает свою работу.

И тут Фредрик Менза начинает плевать, плевки попадают в стену, он раздражается бранью. Это было ужасно! Я не мог больше сдерживаться, я снова сказал:

— Да ведь больно ему!

Тут только баронесса остановилась. Она взяла у меня из рук кулек, осторожно его прикрыла, затворила окно. Когда мы вышли, она наведальась к Йенсу-Детороду, к скотнице и обоим наказала навести чистоту у Фредрика Мензы. Потом она встретила Петрину и ей сказала:

— Ты бы приглядывала за Фредриком Мензой, если хочешь с ним в комнате жить!

— Уж я ли не стараюсь, — сказала Петрина и заплакала. — Да разве за ним углядишь, его только корми день-деньской, а он вечно весь изгваздается. Хоть бы Господь его прибрал! Вчера рубашку на нем сменили, а нынче вон опять глядеть тошно!

— Возьми в лавке холстины, — сказала баронесса, — и нашей ему рубах. Ты должна его мыть и вычесывать каждый день и переодевать в чистое, когда надо. Запомни!

О, надо отдать должное баронессе, как и отцу ее! Потом уж кое-что заставило меня, к сожалению, с некоторой подозрительностью взглянуть на баронессу и этот ее кулек, в который она собирала насекомых, но я ценил ее доверие, она ведь ни единым словом не намекнула мне, что я должен молчать, и я оставался нем как могила.

Несколько дней спустя стоим мы с баронессой во дворе, разговариваем, и вдруг идет Хартвигсен.

— Как тут дела?—говорит он.—А нам скоро житья не будет в доме.

— Что так?

— Вследствие истинно всенародного бедствия от насекомых и вшей,—говорит Хартвигсен.—Видно, мы их на пароходе подцепили. Уж я решил—не стану я его покупать.

— Нет, у нас насекомых не водится,—говорит баронесса.

— А-а, вот оно как!—говорит он.—Да мне бы и плевать, это супруга моя все моет-моет и льет горючие слезы.

Баронесса подхватывает Хартвигсена под руку и увлекает в глубь двора. Я не знаю, что и думать, но вот я слышу, как она говорит:

— Хороша же Роза хозяйка, если нечисть в доме не может вывести!

И они еще с часок толковали вдвоем, но кончилось опять-таки тем, что Хартвигсен распростился и ушел восвояси.

Несчастливая, потерянная баронесса Эдварда!

XXIX

Дело идет к весне, снег подтаивает на полях, на площадках, где осенью вялят рыбу, уже взялись таскать свои прутики вороны и галки.

Баронесса сегодня вошла в мою комнату и бросилась на стул. На ней лица не было, вся серая, заплаканная.

— Что случилось?—спрашиваю я.

— Вот он и умер,—отвечает она.—Я ведь знала. Ничего не случилось.

— Кто умер?

— План. В Индии. В газете сказано. Семейство оповещает. Там сказано—в Индии.

Она с трудом это выговорила и закусила губу. Мне стало ее жаль, я сказал:

— Печальное известие. Но не могло ли тут быть ошибки, может быть, перепутали?

— Нет,—сказала она.

И опять она закусила губу, и брызнула кровь, и тут

я вспомнил слова Мункена Вендта про то, как рот ее будто расцвел.

Еще мгновение — и она поднялась со стула и вышла из комнаты. Она не находила себе места, к отцу заглядывала в контору.

— Ничего не случилось, — сказала она, когда я вошел. — Я знала, он умер. А теперь вот сказано — в Индии. Ах, да не все ли равно.

— Но я думаю, что перепутать имя... — начал я, пытаюсь ее утешить.

— Нет! — перебила она. — Я только хотела... вы уж простите, что я к вам давеча ворвалась и сейчас вот обеспокоила... Перепутать... Как так перепутать?

— Известие шло издалека, из Индии, долго. Перепутать имя очень могли.

— Вы думаете? — сказала она. — Может быть.

Но, конечно, она уже ни на что не надеялась. Несколько дней она не вставала с постели, а когда поднималась, еще долго приходила в себя. Она имела привычку охватывать свой стан обеими руками, и до того она похудела, что пальцы ее почти смыкались, да, она сделалась узка, как песочные часы. Но крепкая порода брала свое, и баронесса понемногу оправилась. Когда начали возвращаться рыбаки с Лофотенов, в ней ничего уже не замечалось необычного, она стала разве еще неумней, взбалмошней, чем прежде. Она словно хотела бросить вызов земле и небу за участь Глана. И ведь только вредила себе!

Воротились суда, причалили у сушилен, снова стало суматошно, шумно и весело в бухте. С последним почтовым пароходом с юга явился неизменный сэр Хью Тревилльян. Он был, по своему обычаю, пьян мертвецки и сунулся на сушильни, дабы следить за работой своими собственными остекленелыми глазами. Тут-то и настигла его баронесса и увела в Сирилунн. Поразительно, для нее ничего не было невозможного, так сильна была ее воля и эта худенькая рука. Только что она безутешно горевала из-за смерти Глана и вот снова воспряла, распрямилась, как гибкая пружина, без всякой посторонней помощи. Что же до англичанина, тут у нее была великая, благородная цель, она сама мне сказала:

— Во мне скопились запасы нерастроченной нежности, пора их растратить.

А в самом сэре Хью произошла разительная перемена, он уже не ездил в Торпельвикен взглянуть на

сына, он только деньги посылал его матери, а сам все сидел в Сирилунне. Этот сэр Хью был молчаливый господин благородной наружности, и к тому же, когда изредка случалось ему улыбнуться, у него делалось удивительно милое лицо. Он не отпускал от себя баронессу, он все чаще и чаще улыбался в ее обществе, они подолгу прогуливались вдвоем, и даже и речи быть теперь не могло о том, чтоб ему напиться.

Скоро тот же пароход ожидался уже с севера, из Вадсё, и сэр Хью намеревался вернуться на нем в Англию. Но вот потихоньку и баронесса стала снаряжаться в дорогу, и каждый день на пристань сносили по сундуку. Сомнений не было, что сэр Хью никуда не тронется без баронессы, так невозвратно победила она его сердце. Девочек она положила оставить на попечение экономки Мака.

Настала пора собираться и мне, был уже май на исходе, я ждал только, когда просохнут лесные тропки. Солнце пекло, снег весь стаял, так что уж скоро.

Я преподношу Хартвигсену мою последнюю картину, зимний вид на горы и мельницу, привожу в порядок ружье, мешок с пожитками. Сегодня суббота, в понедельник я ухожу. Хартвигсен от души меня благодарит за картину, он говорит:

— Вы ведь, как приехали, видели мои стены, ну, и милости просим перед отъездом на них глянуть!

— Да, спасибо,— сказал я.

Вечером, когда почтовый пароход показался вдали, у маяка, баронесса вошла ко мне и сказала:

— Вы уж займите сегодня девочек! Я их отослала с Йенсом-Детородом, но скоро они придут!

На лице у нее было это ее беспомощное выражение, она в тоске заламывала руки, и я не стал ни о чем спрашивать.

Вместе с сэром Хью они заходят в контору к Маку. Покуда они отсутствуют, девочки возвращаются. Сэр Хью выходит из конторы первым, он немного спускается к пристани и останавливается, он ждет. Тут появляется баронесса, вся согнувшись, чтобы казаться меньше ростом и чтобы девочки не узнали ее. Ах, они до того близоруки!

— Это мама! — кричит Тонна.

— Нет,— изменив голос, отвечает баронесса и спешит прочь.

— А ты думала — мама! — говорит старшая Алина и хохочет над обознавшейся сестренкой.

Баронессу будто толкает кто, она что-то быстро-быстро говорит сэру Хью, тот кивает и улыбается. Вдруг баронесса бежит обратно, кидается к девочкам, она тискает, обнимает их, она говорит:

— Идите к маме, мы едем, едем! Скорей, скорей! На пароход! О, мои ненаглядные!

И баронесса хватает обеих дочек за ручки и увлекает их за собой. И сэр Хью улыбается им навстречу. И все четвером они спускаются к пристани.

Мак вышел из конторы, он тоже направился к пристани, и я пошел вместе с ним. Я по всей форме простился с детками, я благодарил их за все, за все, а они мне в ответ делали книксы. А когда уж лодка их везла к пароходу, они махали платками и что-то кричали мне и дедушке. Так я до сих пор их и помню.

Потом уж мне рассказали, что баронесса было хотела поразведать о положении сэра Хью в Англии, прежде чем выходить за него замуж и брать туда дочек, но в последнюю минуту не смогла с ними расстаться. Что ж, это делает честь ее сердцу.

На другой день было воскресенье, и как же долго тянулось оно, как тихо стало без деток. Еще до обеда послали за Крючочником, ему поручались серебряные ангелочки, их следовало снова унести из гостиной и водворить на кровати Мака. Все возвращалось на круги своя. Мак лично присматривал за операцией. Наконец, призвали тихую, скромную горничную Маргрету, чтобы она полюбовалась новым убранством спальни.

Вечером я простился с Маком, со всеми его домочадцами и отправился к Хартвигсену. Я решил, что не буду растягивать прощанья, да, я извлек кой-какие уроки из прощания Арендсена с Розой. «Ах, так ты дожидаясь последнего слова? Какое оно будет?» С какой издевкой он это спросил тогда! Он со всем на свете уже тогда считался.

Хартвигсен снова благодарил меня за мои картины, которыми я украсил его стены, он спрашивал моего совета, где бы повесить зимний пейзаж, когда будет готова рама. Роза была сама любезность, выставила вино и печенье. Поговорили о баронессе, как она уехала не простясь, потом о сэре Хью, о его ребенке, о треске, о Маке, потом о Мункене Вендте, к которому я собрался идти. Отчего же я все сидел? Роза, верно, просила своего мужа, чтобы не уходил, когда я приду, она, разумеется, всего лишь просила его помочь ей меня развлекать

беседой. И Хартвигсен помогал. Наконец он встал и сказал:

— Но вы должны перед дорогой глянуть на принца!

Роза тоже встала и сказала:

Нет-нет, я сама его принесу!

— Ну вот, мне не доверяют! — добродушно расплылся Хартвигсен.

И Роза спустилась с принцем, и мы еще и о нем немного поговорили. И я поблагодарил за все и откланялся. Роза встала с ребенком на руках и протянула мне руку, она меня тоже благодарила за приятное общество. Когда я был на пороге, она все сидела и прижимала ребенка к груди. Хартвигсен проводил меня на крыльцо и сказал еще несколько добрых слов.

Последних слов.

Придя к себе, я горячо помолился Богу, на Него одного и была отныне вся моя надежда. Ночью я не уснул. Любовь жестока. Я считал часы, то ложился на постель, то снова садился на стул, и так до утра. Еще не было четырех, когда я взял мое ружье, мой мешок и отправился лесом на север.

А все это я написал так, чтобы скоротать время. Я ведь, собственно, ничего такого и не умею; я только собрал кой-какие воспоминания, кой-какие клочки бумаги, тут не нужно большого искусства.

И на этих страницах о ком только речь не идет, а по мне — об одной-единственной.

КОММЕНТАРИИ



Во второй том Собрания сочинений Кнута Гамсуна включены прозаические произведения, относящиеся к концу 1890-х — началу 1900-х годов.

В этот период в творчестве Гамсуна происходят глубокие изменения. Увлечение одинокими героями-беглецами постепенно проходит, уступая место поиску прочных жизненных основ, которые, по мнению Гамсуна, сохранились у простого народа. Обращение к народной жизни, народной культуре сближает Гамсуна с другими скандинавскими писателями, Ю.-П. Фалькбергетом, М. Андерсен-Нексе, Йоханнесом В. Йенсенем, Я. Кнудсенем, Й. Окьером и другими, по преимуществу выходцами из рабочей или крестьянской среды, создавшими замечательные образцы народно-бытовой литературы. Всем им свойственно ощущение кровной близости к народу, обостренный интерес к традициям народной жизни, к живому разговорному языку. Все они видят в народе источник духовного здоровья. Однако само понятие «народ» воспринимается каждым из них по-разному. Если, например, М. Андерсен-Нексе вкладывает в него совершенно определенное классовое содержание, то для Йоханнеса В. Йенсена понятие «народ» связано главным образом с его представлениями о некоей этнической общности, пролагающей пути мировому прогрессу. По-своему относится к нему и Гамсун. Его взгляд устремлен не в настоящее или будущее, а в прошлое. В его произведениях настойчиво звучит мысль о том, что народ — это хранитель патриархальных устоев жизни.

В начале века изменяется и художественный стиль Гамсуна. Субъективно-лирический элемент, доминировавший в 90-е годы, уступает место более объективному и эпическому. Повествование окрашивается добродушным и мягким юмором.

ВИКТОРИЯ

Роман «Виктория» — последнее прозаическое произведение Гамсуна 90-х годов. Он был написан за необычайно короткое время: еще в июле 1898 года Гамсун не представлял себе его полного объема («Моя новая книга,— писал он,— будет состоять из двух, может быть, из трех небольших частей»), а в конце сентября «Виктория» была уже подготовлена к печати.

Сюжетную основу произведения, как и большинства романов 90-х годов, составляет история трагической любви. Не случайно в письме Г. Брандесу Гамсун обращает внимание на то, что «Виктория» — это «лирическое произведение» и что в центре его «любовный конфликт, подобный тому, который был изображен в «Пане». В то же время в разработку этого, уже привычного для него, конфликта Гамсун вносит и нечто новое: в «Виктории» звучит не только мотив фатальной обреченности сильного чувства любящих, но и мотив сословного неравенства, ставящего перед ними труднопреодолимые преграды. К этому мотиву Гамсун уже обращался в одном из своих ранних произведений, в романе «Бьёргер» — о любви крестьянского парня и дочери богатого купца. В «Виктории» — социальные причины любовной драмы заявляют о себе с новой силой. По сравнению с «Паном» в нем меняется и тональность звучания. Эту особенность романа тонко подметил Куприн, по словам которого, у Гамсуна «существуют разные аккорды» для изображения любви: в «Пане» — это «могучий призыв тела», «трепетное опьянение страсти», «весеннее бурное брожение в крови», в «Виктории» любовь «овеяна нежным, целомудренным благоуханием»¹.

Стр. 12. *...один глаз бывает у троллей...* — Тролли — по скандинавским народным поверьям, враждебные человеку сверхъестественные существа. Позднее ассоциируются с гномами.

Стр. 23. *...стихотворение об Эсфири — «еврейской девишке, которая стала королевой персиян»...* — По ветхозаветному преданию, персидский царь Ксеркс (в Библии — Артаксеркс), разгневанный на царицу Астинь, отказавшуюся явиться на званый царский пир, ее устранил и из собранных со всего царства молодых прекрасных девиц избрал царицей иудейку Эсфирь.

Стр. 43. *Повесть о Дидерике и Изелине.* — См. коммент. к роману «Пан», т. 1 наст. Собр. соч.

¹ Куприн А. Собрание сочинений, т. 6. М., 1958, с. 593.

ПОД ОСЕННЕЙ ЗВЕЗДОЙ

Роман «Под осенней звездой» — первая часть «трилогии о странниках» («Странник играет под сурдинку», 1909, — вторая, «Последняя радость», 1912, — третья). Роман был написан в 1906 году и носит переходный характер: объектом внимания автора в нем по-прежнему остается тайна человеческих чувств и поступков, однако одиночество «героя-странника» уже не источник свободы, а причина серьезной жизненной трагедии. Закономерно, что повествователь, названный подлинным именем автора — Кнут Педерсен, — рассказывает о своих попытках избавиться от «сверхчувствительности» — качества, которым в полной мере обладали герои Гамсуна 90-х годов. Его цель — вернуться к простому народу и простым радостям жизни, о которых он помнит со времен юности. Ситуация осложняется тем, что он далеко не молод (Гамсуну к моменту создания романа было уже под пятьдесят) и вынужден приучать себя к роли стороннего наблюдателя жизни. Через весь роман проходит горькая мысль об одиночестве как о неизбежном уделе человека.

Стр. 104. ...выучить отрывок из *Понтоппидана*... — Х. Понтоппидан (1857—1943) — выдающийся датский писатель-реалист.

Стр. 111. ...смешивал *трённеллагский* и *вальдерский* говоры — то есть норвежские диалекты различных ареалов.

Стр. 151. *Депутат стортинга*. — Стортинг — парламент Норвегии.

Стр. 156. ...изображает императрицу *Евгению*... — Речь идет об испанской аристократке Евгении Монтихо, в 1853 г. сочетавшейся браком с императором Франции Наполеоном III. По рождению она не была особой царствующей фамилии.

Ленсман — государственный чиновник, представитель полицейской и податной власти в сельской местности.

Стр. 158. *Ярл*. — В раннее средневековье ярлы у скандинавов — родовая знать, а также правители государства.

БЕНОНИ

Роман был написан Гамсуном по просьбе российского издательства «Знание», редакционную деятельность которого в период с 1900 по 1911 год возглавлял А. М. Горький, высоко

ценивший талант норвежского писателя. Издательство уделяло большое внимание выпуску произведений зарубежных авторов. 15 ноября 1907 года издательство заключило договор с Гамсуном на публикацию его нового романа. Этим романом стал «Бенони» (первая часть дилогии «Бенони» и «Роза», 1908), над которым писатель работал с зимы 1907 по весну 1908 года. Роман вышел в свет осенью 1908 года в Норвегии и почти одновременно в России в 22-м сборнике «Знание».

События в романе относятся к 70-м годам прошлого века и происходят в небольшом рыбацьем поселке Сирилунн, среди обитателей которого знакомый читателю по роману «Пан» торговец Фердинанд Мак. Однако главным героем произведения становится почталъон и рыбак Бенони. Человек из народа, он не обладает никакими особыми достоинствами. Возвышение Бенони совершается в результате счастливого случая, в сущности, этот персонаж, как и все остальные, бессилен перед Маком, распоряжающимся судьбами всех жителей Сирилунна. Сложные отношения между Бенони и Маком достаточно точно отражают противоречия общественно-политического развития Норвегии того периода. Но при этом они даны преимущественно как фон и редуцированы до минимума. Бенони не является представителем нового времени. Он полностью принимает старые принципы общественного устройства.

Мир представлений других персонажей романа также несет на себе печать статичности норвежского общества. Жизнь их словно застыла в нарисованной автором картине добрых старых времен. Эта идиллическая, несмотря на все потрясения и конфликты, картина «народной жизни», по замыслу автора, призвана послужить альтернативой беспочвенному существованию его прежних героев.

Стр. 183. *Лопари* (лапландцы) — часто употребляемое в художественной литературе название народа саамов, проживающих в северных районах Норвегии, Швеции, Финляндии и СССР.

Стр. 191. *Галеас* — небольшое судно, имеющее грот-мачту и маленькую бизань-мачту.

Стр. 208. *День святого Сильвестрия*. — Сильвестрий (Сильвестр I) — римский папа с 314 по 335 г. Был причислен к лику святых. День его памяти отмечается римско-католической церковью 31 декабря, в день его смерти.

Стр. 224. *Асфодель* (асфоделус) — название рода растений из семейства лилейных.

Стр. 259. *...окропленный розовой кровью агнца*. — Агнец — ягненок, жертвенное животное. В христианстве обычно употреб-

ляется выражение «агнец божий», обозначающее Иисуса Христа, своей смертью искупившего грехи людей.

Стр. 268. *Амтман* — чиновник, управляющий амтом (провинцией).

Стр. 359. *Царь Давид* — царь Израильско-Иудейского государства (X в. до н. э.). По библейской легенде, юноша Давид одержал победу над великаном Голиафом.

РОЗА

В центре романа «Роза», второй части дилогии, так же как и в «Бенони», — изображение народной жизни. Тема трагической любви отступает на задний план. Безнадёжно влюбленный Парелиус не вызывает сочувствия у читателей, настолько бледен и невыразителен этот персонаж, призванный выразить авторское начало. Основное достоинство книги в исполненных веселого юмора картинах быта и нравов Сирилунна.

Роман интересен и тем, что в нем широко представлены персонажи, которые, как правило, переходят из одного романа Гамсуна в другой, позволяя читателю проследить их дальнейшую судьбу. В «Розе», помимо Фердинанда Мака, вновь появляется его дочь Эдварда, возлюбленная Плана. После смерти мужа, финского барона, она возвращается с детьми к своему отцу в Сирилунн. Несчастливая, разочарованная в жизни, она не может забыть своего возлюбленного. О приятеле Парелиуса Мункене Вендте впервые упоминается в «Виктории»; кроме того, он герой одноименной драмы 1902 года. В «Розе» Вендт — один из многочисленных любовников Эдварды.

Гамсун отмечал, что «изображение одних и тех же персонажей в разное время и в различных обстоятельствах» доставляло ему огромную радость. Но ему не всегда удавалось избежать неточностей и анахронизмов. В письме русскому переводчику «Розы» Гамсун признается, что допустил ошибку, указав временем действия — 1858 год: в этом году любовнику Эдварды Мункену Вендту исполнилось бы сто лет. Поэтому в начале романа Гамсун предлагает поставить неопределенную дату 18... . Это исправление было внесено и в норвежское и в русское издание романа, опубликованного в 26-м сборнике «Знание».

Стр. 385. *История войны за освобождение Греции*. — Имеется в виду национально-освободительная революция 1821—1829 гг. (греческая война за независимость), в результате которой было

свергнуто османское иго и Греция была провозглашена независимым государством.

Стр. 428. *Яффа*—город и порт в Палестине на восточном берегу Средиземного моря.

Стр. 467. ...*сам Тидеман... был у нас дома.*—Тидеман Адольф (1814—1876)—норвежский художник, его кисти принадлежат пейзажи Норвегии и жанровые сценки из народной жизни.

А. Сергеев



СОДЕРЖАНИЕ

ВИКТОРИЯ. Роман. <i>Перевод Ю. Яхниной.</i>	7
ПОД ОСЕННЕЙ ЗВЕЗДОЙ. Роман. <i>Перевод В. Хиккиса.</i>	89
БЕНОНИ. Роман. <i>Перевод С. Фридлянд.</i>	181
РОЗА. Роман. <i>Перевод Е. Суриц.</i>	369
Комментарии <i>А. Сергеева.</i>	519

Гамсун К.

- Г 18 Собрание сочинений. В 6 т. Т. 2. Виктория; Под
осенней звездой; Бенони; Роза: Романы: Пер.
с норв./Редкол.: М. Климова и др.; Сост. Ю. Яхни-
ной; Коммент. А. Сергеева.—М.: Худож. лит.,
1991.— 525 с.

ISBN 5-280-01701-9 (Т. 2)

Во второй том шеститомного Собрания сочинений Кнута Гамсуна
(1859—1952) входят романы: «Виктория», «Под осенней звездой», «Бено-
ни» и «Роза».

Г 4703010100-345 Подписное
028(01)-91

ББК 84. 4Нр

КНУТ ГАМСУН
Собрание сочинений
В 6-ти томах
Том 2

Зав. редакцией М. Климова
Редактор Э. Шахова
Художественный редактор Л. Калитовская
Технический редактор В. Кулагина
Корректоры Г. Ганапольская, О. Иванова

ИБ № 6365

Сдано в набор 20.12.90. Подписано к печати 6.06.91. Формат 84 × 108^{1/32}.
Бумага тип. № 1. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л.
27,72 + альб. = 28,56. Усл. кр.-отт. 31,5. Уч.-изд. л. 29,65 + альб. = 30,46.
Тираж 200 000 экз. Изд. № VI-4109. Заказ № 1905. Цена 9 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство
«Художественная литература»,
107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени
МПО «Первая Образцовая типография» Государственного комитета СССР
по печати. 113054, Москва, Валовая, 28.

